АРКАДИЙ

СТРУГАЦКИЙ

БОРИС

СТРУГАЦКИЙ

11

Annotation

В четвертый том собрания сочинений включены произведения, написанные в период с 1964 по 1966 годы: «Хищные вещи века», «Беспокойство», «Улитка на склоне», «Второе нашествие марсиан».

Том дополняют комментарии Б. Стругацкого к данным произведениям и отрывки из критики того времени.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ОДИННАДЦАТИ ТОМАХ
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ
1964-1966

ХИЩНЫЕ ВЕЩИ ВЕКА

Есть лишь одна проблема — одна-единственная в мире — вернуть людям духовное содержание, духовные заботы...

А.де Сент-Экзюпери

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У таможенника было гладкое округлое лицо, выражающее самые добрые чувства. Он был почтительно-приветлив и благожелателен.

— Добро пожаловать, — негромко произнес он. — Как вам нравится наше солнце? — Он взглянул на паспорт в моей руке. — Прекрасное утро, не правда ли?

Я протянул ему паспорт и поставил чемодан на белый барьер. Таможенник бегло пролистал страницы длинными осторожными пальцами. На нем был белый мундир с серебряными пуговицами и серебряными шнурами на плечах. Он отложил паспорт и коснулся кончиком пальца чемодана.

— Забавно, — сказал он. — Чехол еще не высох. Трудно представить себе, что где-то может быть ненастье.

— Да, у нас уже осень, — со вздохом сказал я, открывая чемодан.

Таможенник сочувственно улыбнулся и рассеянно заглянул внутрь.

— Под нашим солнцем невозможно представить себе осень, — сказал он. — Благодарю вас, вполне достаточно... Дождь, мокрые крыши, ветер...

— А если под бельем у меня что-нибудь спрятано? — спросил я. Не люблю разговоров о погоде.

Он от души рассмеялся.

— Пустая формальность, — сказал он. — Традиция. Если угодно, условный рефлекс всех таможенников. — Он протянул мне лист плотной бумаги. — А вот и еще один условный рефлекс. Прочтите, это довольно необычно. И подпишите, если вас не затруднит.

Я прочел. Это был закон об иммиграции, отпечатанный изящным курсивом на четырех языках. Иммиграция категорически запрещалась. Таможенник смотрел на меня.

— Любопытно, не правда ли? — сказал он.

— Во всяком случае, это интригует, — ответил я, доставая авторучку. — Где нужно расписаться?

— Где и как угодно, — сказал таможенник. — Хоть поперек.

Я расписался под русским текстом поперек строчки «С законом об иммиграции ознакомился (лась)».

— Благодарю вас, — сказал таможенник, пряча бумагу в стол. — Теперь вы знаете практически все наши законы. И в течение всего срока... Сколько вы у нас пробудете?

Я пожал плечами.

— Трудно сказать заранее. Как пойдет работа.

— Скажем, месяц?

— Да, пожалуй. Пусть будет месяц.

— И в течение всего этого месяца... — Он наклонился, делая какую-то пометку в паспорте. — В течение всего этого месяца вам не понадобятся больше никакие законы. — Он протянул мне паспорт. — Я уже не говорю о том, что вы можете продлить ваше пребывание у нас на любой разумный срок. А пока пусть будет тридцать дней. Если вам захочется побыть еще, зайдете шестнадцатого мая в полицию, уплатите доллар... У вас ведь есть доллары?

— Да.

— Вот и прекрасно. Причем совсем не обязательно именно доллар. У нас принимают любую валюту. Рубли, фунты, крузейро...

— У меня нет крузейро, — сказал я. — У меня только доллары, рубли и несколько английских фунтов. Это вас устроит?

— Несомненно. Кстати, чтобы не забыть. Внесите, пожалуйста, девяносто долларов семьдесят два цента.

— С удовольствием, — сказал я. — А зачем?

— Так уж принято. В обеспечение минимума потребностей. К нам еще ни разу не приезжал человек, не имеющий каких-нибудь потребностей.

Я отсчитал девяносто один доллар, и он, не садясь, принялся выписывать квитанцию. От неудобной позы шея его налилась малиновой кровью. Я огляделся. Белый барьер тянулся вдоль всего павильона. По ту сторону барьера радушно улыбались, смеялись, что-то доверительно объясняли таможенные чиновники. По эту сторону нетерпеливо переминались, щелкали замками чемоданов, возбужденно оглядывались пестрые пассажиры. Всю дорогу они лихорадочно листали рекламные проспекты, шумно строили всевозможные планы, тайно и явно предвкушали сладкие денечки и теперь жаждали поскорее преодолеть белый барьер — томные лондонские клерки и их спортивного вида невесты, бесцеремонные оклахомские фермеры в ярких рубашках навыпуск, широких штанах до колен и сандалиях на босу ногу, туринские рабочие со своими румяными женами и многочисленными детьми, мелкие партийные боссы из Аргентины, финские лесорубы с деликатно притушенными трубочками в зубах, венгерские баскетболистки, иранские студенты, черные профсоюзные деятели из Замбии...

Таможенник вручил мне квитанцию и отсчитал двадцать восемь центов сдачи.

— Вот и все формальности. Надеюсь, я не слишком задержал вас. Желаю вам приятно провести время.

— Спасибо, — сказал я и взял чемодан.

Таможенник смотрел на меня, слегка склонив набок гладкое улыбающееся лицо.

— Через этот турникет, прошу вас, — сказал он. — До свидания. Позвольте еще раз пожелать вам всего хорошего.

Я вышел на площадь вслед за итальянской парой с четырьмя детьми и двумя механическими носильщиками.

Солнце стояло высоко над сизыми горами. На площади все было блестящее, яркое и пестрое. Немного слишком яркое и пестрое, как это обычно бывает в курортных городах. Блестящие красные и оранжевые автобусы, возле которых уже толпились туристы. Блестящая глянцевитая зелень скверов с белыми, синими, желтыми, золотыми павильонами, тентами и киосками. Зеркальные плоскости, вертикальные, горизонтальные и наклонные, вспыхивающие ослепительными горячими зайчиками. Гладкие матовые шестиугольники под ногами и колесами — красные, черные, серые, едва заметно пружинящие, заглушающие шаги... Я поставил чемодан и надел темные очки.

Из всех солнечных городов, в которых мне довелось побывать, этот был, наверное, самым солнечным. И совершенно напрасно. Было бы гораздо легче, если бы он оказался пасмурным, если было бы грязно и слякотно, если бы этот павильон был серым, с цементными стенами и на сером мокром цементе было бы нацарапано что-нибудь похабное. Унылое и бессмысленное — от скуки. Тогда бы, наверное, сразу захотелось работать. Обязательно захотелось бы, потому что такие вещи раздражают и требуют деятельности... Все-таки трудно привыкнуть к тому, что нищета может быть богатой... И поэтому нет обычного азарта и не хочется немедленно взяться за дело, а хочется сесть в один из этих автобусов, вот в этот красный с синим, и двинуть на пляж, поплавать с аквалангом, обгореть, назначить свидание какой-нибудь киске или отыскать Пека, расположиться с ним в прохладной комнате на полу, вспомнить все хорошее, и чтобы он спрашивал меня про Быкова, про Трансплутон, про новые корабли, в которых я и сам теперь плохо разбираюсь, но все же лучше, чем он, и чтобы он вспоминал про мятеж и хвастался шрамами и своим высоким общественным положением... Это будет очень удобно, если у Пека окажется высокое общественное положение. Хорошо, если бы он оказался, скажем, мэром...

Ко мне неторопливо приблизился, вытирая губы платочком, смуглый

полный человек в белом, в круглой белой шапочке набекрень. Шапочка была с прозрачным зеленым козырьком и с зеленой лентой, на которой было написано: «Добро пожаловать». На мочке правого уха у него блестела серьга-приемник.

— С приездом, — сказал человек.

— Здравствуйте, — сказал я.

— Добро пожаловать. Меня зовут Амад.

— А меня — Иван, — сказал я. — Рад познакомиться.

Мы кивнули друг другу и стали смотреть, как туристы рассаживаются по автобусам. Они весело галдели, и теплый ветерок катил от них по площади окурки и мятые конфетные бумажки. На лицо Амада падала зеленая тень козырька.

— Курортники, — сказал он. — Беззаботные и шумные. Сейчас их развезут по отелям, и они немедленно кинутся на пляж.

— С удовольствием прокатился бы на водных лыжах, — заметил я.

— В самом деле? Вот никогда бы не подумал. Вы меньше всего похожи на курортника.

— Так и должно быть, — сказал я. — Я приехал поработать.

— Поработать? Ну что ж, к нам приезжают и для этого. Два года назад к нам приезжал Джонатан Крайс, писал здесь картину. — Он засмеялся. — Потом в Риме его поколотил какой-то папский нунций, не помню фамилии.

— Из-за этой картины?

— Нет, вряд ли. Ничего он здесь не написал. Здесь он дневал и ночевал в казино... Пойдемте выпьем что-нибудь.

— Пойдемте, — сказал я. — Вы мне что-нибудь посоветуете.

— Советовать — моя приятная обязанность, — сказал Амад.

Мы одновременно наклонились и оба взялись за ручку чемодана.

— Не стоит, я сам...

— Нет, — возразил Амад. — Вы гость, а я хозяин... Пойдемте вон в тот бар. Там сейчас пусто.

Мы вошли под голубой тент. Амад усадил меня за столик, поставил чемодан на пустой стул и отправился к стойке. Здесь было прохладно, щелкала холодильная установка. Амад вернулся с подносом. На подносе стояли два высоких стакана и плоские тарелочки с золотистыми от масла ломтиками.

— Не очень крепкое, — сказал Амад, — но зато по-настоящему холодное.

— Я тоже не люблю крепкое с утра.

Я взял стакан и отхлебнул. Было вкусно.

— Глоток — ломтик, — посоветовал Амад. — Глоток — ломтик. Вот так.

Ломтики хрустели и таяли на языке. По-моему, они были лишние. Некоторое время мы молчали, глядя из-под тента на площадь. Автобусы с негромким гулом один за другим уходили в садовые аллеи. Они казались громоздкими, но в их громоздкости было какое-то изящество.

— Все-таки там слишком шумно, — сказал Амад. — Отличные коттеджи, много женщин — на любой вкус, море рядом, но никакой приватности. Думаю, вам это не подойдет.

— Да, — согласился я. — Шум будет мешать. И я не люблю курортников, Амад. Терпеть не могу, когда люди веселятся добросовестно.

Амад кивнул и осторожно положил в рот очередной ломтик. Я смотрел, как он жует. Было что-то профессиональное в сосредоточенном движении его нижней челюсти. Проглотив, он сказал:

— Нет, все-таки синтетика никогда не сравняется с натуральным продуктом. Не та гамма. — Он подвигал губами, тихонько чмокнул и продолжал: — Есть два превосходных отеля в центре города, но, по-моему...

— Да, это тоже не годится, — сказал я. — Отель налагает определенные обязательства. И я не слыхал, чтобы кто-нибудь мог написать в отеле что-либо путное.

— Ну, это не совсем так, — возразил Амад, критически разглядывая оставшийся ломтик. — Я читал одну книжку, и там было написано, что ее сочинили именно в отеле. Отель «Флорида».

— А, — сказал я. — Вы правы. Но ведь ваш город не обстреливают из пушек.

— Из пушек? Конечно, нет. Во всяком случае, не как правило.

— Я так и думал. А между тем замечено, что хорошую вещь можно написать только в обстреливаемом отеле.

Амад все-таки взял ломтик.

— Это трудно устроить, — сказал он. — В наше время трудно достать пушку. Кроме того, это очень дорого: отель может потерять клиентуру.

— Отель «Флорида» тоже потерял в свое время клиентуру. Хемингуэй жил там один.

— Кто?

— Хемингуэй.

— А... Но это же было так давно, еще при фашистах. Времена все-таки переменились, Иван.

— Да, — сказал я. — И в наше время писать в отелях не имеет смысла.

— Бог с ними, с отелями, — сказал Амад. — Я знаю, что вам нужно. Вам нужен пансионат. — Он достал записную книжку. — Называйте условия, попробуем подобрать что-нибудь подходящее.

— Пансионат, — сказал я. — Не знаю. Не думаю, Амад. Вы поймите, я не хочу знакомиться с людьми, с которыми я знакомиться не хочу. Это во-первых. Во-вторых. Кто живет в частных пансионатах? Те же самые курортники, у которых не хватило денег на отдельный коттедж. Они тоже веселятся добросовестно. Они устраивают пикники, междусобойчики и спевки. Ночью они играют на банджо. Кроме того, они хватают всех, до кого могут дотянуться, и принуждают участвовать в конкурсе на самый долгий поцелуй. И главное — все они приезжие. А меня интересует ваша страна, Амад. Ваш город. Ваши горожане. Я вам скажу, что мне нужно. Мне нужен уютный домик с садом. Умеренное расстояние до центра. Нешумная семья, почтенная хозяйка. Крайне желательна молодая дочка. Представляете, Амад?

Амад взял пустые стаканы, отправился к стойке и вернулся с полными. Теперь в стаканах была бесцветная жидкость, а на тарелочках — микроскопические многоэтажные бутерброды.

— Я знаю такой уютный домик, — заявил Амад. — Вдове сорок пять, дочери двадцать, сыну одиннадцать. Допьем и поедем. Я думаю, вам понравится. Плата обычная, хотя, конечно, дороже, чем в пансионате. Вы надолго приехали?

— На месяц.

— Господи! Всего-то?

— Не знаю, как пойдут дела. Может быть, задержусь еще.

— Обязательно зад`ержитесь, — сказал Амад. — Я вижу, вы совсем не представляете, куда приехали. Вы просто не знаете, как у нас тут весело и ни о чем не надо думать.

Мы допили, поднялись и пошли через площадь под горячим солнцем к стоянке автомобилей. Амад шагал быстро, немного вразвалку, надвинув зеленый козырек на глаза и небрежно помахивая чемоданом. Из таможенного павильона сыпалась очередная порция туристов.

— Хотите — честно? — сказал вдруг Амад.

— Хочу, — сказал я. Что я еще мог сказать? Сорок лет прожил на свете, но так и не научился вежливо уклоняться от этого неприятного вопроса.

— Ничего вы здесь не напишете, — сказал Амад. — Трудно у нас что-нибудь написать.

— Написать что-нибудь всегда трудно, — сказал я. А хорошо все-таки,

что я не писатель.

— Охотно верю. Но в таком случае у нас это просто невозможно. Для приезжего, по крайней мере.

— Вы меня пугаете.

— А вы не бойтесь. Вы просто не захотите здесь работать. Вы не усидите за машинкой. Вам будет обидно сидеть за машинкой. Вы знаете, что такое радость жизни?

— Как вам сказать...

— Ничего вы не знаете, Иван. Пока вы еще ничего об этом не знаете. Вам предстоит пройти двенадцать кругов рая. Смешно, конечно, но я вам завидую...

Мы остановились у длинной открытой машины. Амад бросил на заднее сиденье чемодан и распахнул передо мной дверцу.

— Прошу, — сказал он.

— А вы, значит, уже прошли? — спросил я, усаживаясь.

Он уселся за руль и включил двигатель.

— Что именно?

— Двенадцать кругов рая.

— Я, Иван, уже давно выбрал себе излюбленный круг, — сказал Амад. Машина бесшумно покатилась по площади. — Остальные для меня давно уже не существуют. К сожалению. Это как старость. Со всеми ее привилегиями и недостатками.

Машина промчалась через парк и понеслась по прямой тенистой улице. Я с интересом посматривал по сторонам, но я ничего не узнавал. Глупо было надеяться узнать что-нибудь. Нас высаживали ночью, лил дождь, семь тысяч измученных курортников стояли на пирсах, глядя на догорающий лайнер. Города мы не видели, вместо города была черная мокрая пустота, мигающая красными вспышками. Там трещало, бухало, раздирающе скрежетало. «Перебьют нас, как кроликов, в темноте», — сказал Роберт, и я сейчас же погнал его обратно на паром сгружать броневик. Трап подломился, и броневик упал в воду, и, когда Пек вытащил Роберта, синий от холода Роберт подошел ко мне и сказал, лязгая зубами: «Я же вам говорил, что темно...»

Амад вдруг сказал:

— Когда я был мальчишкой, я жил возле порта, и мы ходили сюда бить заводских. У них у многих были кастеты, и мне проломили нос. Полжизни я проходил с кривым носом, пока не починил его в прошлом году... Любил я подраться в молодости. У меня был кусок свинцовой трубы, и один раз я отсидел шесть месяцев, но это не помогло.

Он замолчал ухмыляясь. Я подождал немного и сказал:

— Хорошую свинцовую трубу теперь не достать. Теперь в моде резиновые дубинки — перекупают у полицейских.

— Точно, — сказал Амад. — Или купит гантели, отпилит один шарик и пользуется. Но ребята пошли уже не те. Теперь за это высылают...

— Да, — сказал я. — А чем вы еще занимались в молодости?

— А вы?

— Я собирался стать межпланетником и тренировался на перегрузки. И еще мы играли в «кто глубже нырнет».

— Мы тоже, — сказал Амад. — На десять метров за автоматами и виски. Там, за пирсами, они лежали ящиками. У меня из носа шла кровь... А когда началась заварушка, мы стали там находить покойников с рельсом на шее и бросили это дело.

— Очень неприятное зрелище — покойник под водой, — сказал я. — Особенно когда течение.

Амад усмехнулся.

— Я видывал и не такое. Мне приходилось работать в полиции.

— Это уже после заварушки?

— Гораздо позже. Когда вышел закон о гангстерах.

— У вас их тоже называли гангстерами?

— А как их еще называть? Не разбойниками же... «Шайка разбойников, вооруженных огнеметами и газовыми бомбами, осадила муниципалитет», — произнес он с выражением. — Не звучит, чувствуете? Разбойник — это топор, кистень, усы до ушей, тесак...

— Свинцовая труба, — предложил я.

Амад хохотнул.

— Что вы делаете сегодня вечером? — спросил он.

— Гуляю.

— У вас тут есть знакомые?

— Есть. А что?

— Тогда другое дело.

— Почему?

— Хотел я вам кое-что предложить, но раз у вас есть знакомые...

— Между прочим, — сказал я, — кто у вас мэром?

— Мэром? Черт его знает, не помню. Выбирали кого-то...

— Не Пек Зенай случайно?

— Не знаю, — сказал Амад с сожалением. — Не хочу врать.

— А вы такого вообще не знаете?

— Зенай... Пек Зенай... Нет, не знаю. Не слыхал. Он что, ваш

приятель?

— Да. Старый приятель. У меня здесь есть еще друзья, но они все приезжие.

— Одним словом, так, — сказал Амад. — Если вам станет скучно и в голову полезут всякие мысли, приходите ко мне. Каждый божий вечер с семи часов я сижу в «Лакомке»... Любите вкусно поесть?

— Еще бы, — сказал я.

— Желудок в порядке?

— Как у страуса.

— Вот и приходите. Будет весело, и ни о чем не надо будет думать.

Амад притормозил и осторожно свернул к решетчатым воротам, которые бесшумно распахнулись перед нами. Машина вкатилась во двор.

— Приехали, — объявил Амад. — Вот ваш дом.

Дом был двухэтажный, белый с голубым. Окна изнутри были закрыты шторами. Чистенький дворик, выложенный разноцветными плитами, был пуст, вокруг был плодовый сад, ветви яблонь царапали стены.

— А где вдова? — спросил я.

— Пойдемте в дом, — сказал Амад.

Он поднялся на крыльцо, листая записную книжку. Я, озираясь, шел следом. Садик мне нравился. Амад нашел нужную страницу, набрал комбинацию цифр на маленьком диске возле звонка, и дверь отворилась. Из дома пахнуло прохладным свежим воздухом. Там было темно, но, едва мы ступили в холл, вспыхнул свет. Амад сказал, пряча записную книжку:

— Направо — хозяйская половина, налево — ваша. Прошу... Здесь гостиная. Это бар, сейчас мы выпьем. Прошу дальше... Это ваш кабинет. У вас есть фонор?

— Нет.

— И не надо. Здесь все есть... Пройдемте сюда. Это спальня. Вот пультик акустической защиты. Умеете пользоваться?

— Разберусь.

— Хорошо. Защита трехслойная, можете устраивать себе здесь могилу или бордель, что вам понравится... Тут управление кондиционированием. Сделано, между прочим, неудобно: управлять можно только из спальни...

— Перебьюсь, — сказал я.

— Что? Ну да... Там ванная и туалет.

— Меня интересует вдова, — сказал я. — И дочка.

— Успеете. Поднять шторы?

— Зачем?

— Правильно, незачем... Пойдемте выпьем.

Мы вернулись в гостиную, и Амад по пояс погрузился в бар.

— Вам покрепче? — спросил он.

— Наоборот.

— Яичницу? Сэндвичи?

— Пожалуй, ничего.

— Нет, — сказал Амад. — Яичницу. С томатами. — Он рылся в баре. — Не знаю, в чем тут дело, но этот автомат готовит совершенно изумительные яичницы с томатами... Кстати, и я тоже перекушу.

Он вытянул из бара поднос и поставил на низенький столик перед полукруглой тахтой. Мы уселись.

— А как насчет вдовы? — напомнил я. — Мне бы хотелось представиться.

— Комнаты вам нравятся?

— Ничего.

— Ну и вдова тоже вполне ничего. И дочка, между прочим. — Он достал из бокового кармана плоский кожаный футляр. В футляре, как патроны в обойме, рядком лежали ампулы с разноцветными жидкостями. Амад покопался в них указательным пальцем, сосредоточенно понюхал яичницу, поколебался, потом выбрал ампулу с чем-то зеленым и, осторожно надломив, покапал на томаты. В гостиной запахло. Запах не был неприятным, но, на мой вкус, не имел отношения к еде. — Но сейчас они еще спят, — продолжал Амад. Взгляд его стал рассеянным. — Спят и видят сны...

Я посмотрел на часы.

— Однако!

Амад кушал.

— Половина одиннадцатого, — сказал я.

Амад кушал. Шапочка его была сдвинута на затылок, и зеленый козырек торчал вертикально, как гребень у раздраженного мимикродона. Глаза его были полузакрыты. Я смотрел на него.

Проглотив последний ломтик помидора, он отломил корочку белого хлеба и тщательно подчистил сковородку. Взгляд его прояснился.

— Что вы там такое говорили? — спросил он. — Половина одиннадцатого? Завтра вы тоже встанете в половине одиннадцатого. А может быть, и в двенадцать. Я, например, встану в двенадцать.

Он поднялся и с удовольствием потянулся, хрустя суставами.

— Фу, — сказал он, — можно наконец ехать домой. Вот вам моя карточка, Иван. Поставьте ее на письменный стол и не выбрасывайте до самого отъезда... — Он подошел к плоскому ящичку возле бара и сунул в

щель другую карточку. Раздался звонкий щелчок. — А вот это, — сказал он, разглядывая карточку на просвет, — передайте вдове с моими наилучшими пожеланиями.

— И что будет? — спросил я.

— Будут деньги. Надеюсь, вы не любитель торговаться, Иван? Вдова назовет вам цифру, и вам не следует торговаться. Это не принято.

— Постараюсь не торговаться, — сказал я. — Хотя интересно было бы попробовать.

Амад поднял брови.

— Ну, если вам так уж хочется, то отчего же не попробовать? Всегда делайте только то, что вам хочется, и у вас будет отличное пищеварение. Сейчас я принесу ваш чемодан.

— Мне нужны проспекты, — сказал я. — Мне нужны путеводители. Я писатель, Амад. Мне понадобятся брошюры об экономическом положении масс, статистические справочники. Где все это можно достать? И когда?

— Путеводитель я вам дам, — сказал Амад. — В путеводителе есть статистика, адреса, телефоны и все такое. А что касается масс, то у нас такой ерунды, по-моему, не издают. Можно, конечно, послать заказ в ЮНЕСКО, только зачем это вам? Сами все увидите... Подождите, я сейчас принесу чемодан и путеводитель.

Он вышел и быстро вернулся с чемоданом в одной руке и с толстеньким голубым томиком в другой. Я встал.

— Судя по вашему лицу, — произнес он, улыбаясь, — вы раздумываете, прилично давать мне чаевые или нет.

— Признаться, да, — сказал я.

— Ну и как? Хочется вам это сделать или нет?

— Признаться, нет, — сказал я.

— У вас здоровая, крепкая натура, — одобрительно сказал Амад. — Не давайте. Никому не давайте чаевых. Можете получить по морде, особенно от девушек. Но зато никогда не торгуйтесь. Тоже можете получить. А вообще все это ерунда. Откуда я знаю, может, вы любите получать по морде, как тот самый Джонатан Крайс... Будьте здоровы, Иван. Развлекайтесь. И приходите в «Лакомку». В любой вечер с семи часов. А самое главное — ни о чем не думайте.

Он помахал рукой и вышел. Я сел, взял запотевший стакан со смесью и раскрыл путеводитель.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Путеводитель был отпечатан на меловой бумаге с золотым обрезом. Вперемежку с роскошными фотографиями в нем содержались любопытные сведения. В городе проживало пятьдесят тысяч человек, полторы тысячи кошек, двадцать тысяч голубей и две тысячи собак (в том числе семьсот медалисток). В городе было пятнадцать тысяч легковых автомобилей, пятьсот вертолетов, тысяча такси (с шоферами и без), девятьсот автоматических мусорщиков, четыреста постоянных баров, кафе и закусочных, одиннадцать ресторанов, четыре отеля международного класса и курорт, ежегодно обслуживающий до ста тысяч человек. В городе было шестьдесят тысяч телевизоров, пятьдесят кинотеатров, восемь увеселительных парков, два Салона Хорошего Настроения, шестнадцать салонов красоты, сорок библиотек и сто восемьдесят парикмахерских автоматов. Восемьдесят процентов взрослого населения было занято в сфере обслуживания, а остальные работали на двух частных кондитерских синтез-комбинатах и одном государственном судоремонтном заводе. В городе было шесть школ и один университет, помещавшийся в древнем замке крестоносца Ульриха де Казы. В городе функционировали восемь гражданских обществ, в том числе «Общество Усердных Дегустаторов», «Общество Знатоков и Ценителей» и «За Старую Добрую Родину, Против Вредных Влияний». Кроме того, полторы тысячи человек входили в семьсот один кружок, где они пели, играли скетчи, учились расставлять мебель, кормить детей грудью и лечить кошек. По потреблению спиртных напитков, натурального мяса и жидкого кислорода на душу населения город занимал в Европе соответственно шестое, двенадцатое и тринадцатое места. В городе было семь мужских и пять женских клубов, а также спортивные клубы «Быки» и «Носороги». Мэром города был избран (большинством в сорок шесть голосов) некто Флим Гао. Среди членов муниципалитета Пека тоже не оказалось...

Я отложил путеводитель, снял пиджак и приступил к подробному осмотру своих владений. Гостиная мне понравилась. Она была выполнена в голубых тонах, а я люблю этот цвет. Бар оказался набит бутылками и охлажденной снедью, так что я мог хоть сейчас принять дюжину изголодавшихся гостей.

Я прошел в кабинет. В кабинете перед окном стоял большой стол с удобным креслом. Вдоль стен тянулись полки, плотно уставленные

собраниями сочинений. Чистые яркие корешки расположены были с большим искусством, так что составляли приятную цветовую гамму. Верхнюю полку занимал пятидесятитомный энциклопедический словарь в издании ЮНЕСКО, а на нижней пестрели детективы в глянцевых бумажных обложках.

На столе я прежде всего увидел телефон. Я взял трубку и, присев на подлокотник кресла, набрал номер Римайера. В трубке раздались протяжные гудки. Я ждал, вертя в пальцах маленький диктофон, оставленный кем-то на столе. Римайер не отвечал. Я повесил трубку и осмотрел диктофон. Пленка была наполовину использована, и, перемотав ее, я включил прослушивание.

— Привет, привет и еще раз привет! — произнес веселый мужской голос. — Крепко жму руку или целую в щечку в зависимости от твоего пола и возраста. Я прожил здесь два месяца и свидетельствую, что мне было хорошо. Позволь дать несколько советов. Лучшее заведение в городе — это «Хойти-Тойти» в Парке Грез. Лучшая девочка в городе — Бася из Дома Моделей. Лучший мальчик в городе — это я, но он уже уехал. По телевидению смотри девятую программу, остальное все моча. Не связывайся с интелями и держись подальше от «Носорогов». Ничего не бери в кредит — хлопот не оберешься. Вдова — добрая женщина, но любит поговорить и вообще... А Вузи я не застал, она уезжала к бабушке за границу. По-моему, она милашка, у вдовы в альбоме была фотография, но я ее взял себе. И еще. Я приеду сюда в будущем году в марте, так что будь другом, если решишь вернуться — выбери другое время. Ну, будь...

Забренчала музыка. Я послушал немного и выключил диктофон. Ни один из томов сочинений мне вытащить не удалось, так плотно они были вбиты и, может быть, даже склеены, а больше в кабинете ничего интересного не оказалось, и я отправился в спальню.

В спальне было особенно прохладно и уютно. Мне всегда хотелось иметь именно такую спальню, но никак не хватало времени этим заняться. Кровать была большая и низкая. На ночном столике стоял очень изящный фонор и маленький переносной пульт управления телевизором. Экран телевизора висел на высокой спинке кровати, в ногах. А над изголовьем вдова навесила картину, очень натурально изображающую свежие полевые цветы в хрустальной вазе. Картина была выполнена светящимися красками, и капли росы на лепестках цветов поблескивали в сумраке спальни.

Я наобум включил телевизор и повалился на кровать. Было мягко и в то же время как-то упруго. Телевизор заорал. Из экрана выскочил нетрезвый мужчина, проломил какие-то перила и упал с высоты в

огромный дымящийся чан. Раздался шумный всплеск, из фонора запахло. Мужчина скрылся в бурлящей жидкости, а затем вынырнул, держа в зубах что-то вроде разваренного ботинка. Невидимая аудитория разразилась ржанием... Затемнение. Тихая лирическая музыка. Из зеленого леса на меня пошла белая лошадь, запряженная в бричку. В бричке сидела хорошенькая девушка в купальнике. Я выключил телевизор, поднялся и заглянул в ванную.

В ванной пахло хвоей и мигали бактерицидные лампы. Я разделся, бросил белье в утилизатор и залез под душ. Потом я неторопливо оделся перед зеркалом, причесался и стал бриться. На туалетной полке стояли ряды флаконов, коробки с гигиеническими присосками и стерилизаторами, тюбики с пастами и мазями. А на краю полки лежала горка плоских коробочек с пестрой этикеткой «Девон». Я выключил бритву и взял одну коробочку. В зеркале мигала бактерицидная трубка, и точно так же она мигала тогда, и я точно так же стоял перед зеркалом и старательно разглядывал такую же коробочку, потому что мне не хотелось выходить в спальню, где Рафка Рейзман громко спорил о чем-то с врачом, а в ванне еще колыхалась зеленая маслянистая вода, и над нею поднимался пар, и орал приемник, висевший на фарфоровом крючке для полотенец, завывал, гукал и всхрапывал, пока Рафка не выключил его с раздражением... Это было в Вене, и там, точно так же как и здесь, очень странно было видеть в ванной комнате «Девон» — популярный репеллент, великолепно отгоняющий комаров, москитов, мошку и прочих кровососов, о которых давным-давно забыли и в Вене, и здесь, в приморском курортном городе... Только в Вене было еще и страшно.

Коробочка, которую я держал в руке, была почти пуста: в ней осталась всего одна таблетка. Остальные коробочки не были распечатаны. Я кончил бриться и вернулся в спальню. Мне захотелось снова позвонить Римайеру, но тут дом ожил. С легким свистом взвились гофрированные шторы, оконные стекла скользнули в пазы, и в спальню хлынул из сада теплый воздух, пахнущий яблоками. Кто-то где-то заговорил, над головой прозвучали легкие шаги, и строгий женский голос сказал: «Вузи! Скушай хоть пирожок, слышишь?..» Тогда я быстро сообщил одежде некоторую небрежность (в соответствии с нынешней модой), пригладил виски и вышел в холл, захватив в гостиной карточку Амада.

Вдова оказалась моложавой полной женщиной, несколько томной, со свежим приятным лицом.

— Как мило! — сказала она, увидев меня. — Вы уже встали? Здравствуйте. Меня зовут Вайна Туур, но вы можете звать меня просто

Вайна.

— Очень приятно, — произнес я, светски содрогаясь. — Меня зовут Иван.

— Как мило! — сказала тетя Вайна. — Какое оригинальное, мягкое имя! Вы завтракали, Иван?

— С вашего позволения, я намеревался позавтракать в городе, — сказал я и протянул ей карточку.

— Ах, — сказала тетя Вайна, разглядывая ее на просвет. — Этот милый Амад... Если бы вы знали, какой это обязательный и милый человек! Но я вижу, что вы не завтракали... Ленч вы скушаете в городе, а сейчас я угощу вас своими гренками. Генерал-полковник Туур говорил, что нигде в мире нельзя отведать такие гренки.

— С удовольствием, — сказал я, содрогаясь вторично.

Дверь за спиной тети Вайны распахнулась, и в холл, звонко стуча каблучками, влетела очень хорошенькая девушка в короткой синей юбке и открытой белой блузке. В руке у нее был огрызок пирожка, она жевала и напевала через нос модный мотивчик. Увидев меня, она остановилась, лихо перекинула через плечо сумочку на длинном ремешке и, нагнув голову, сделала глоток.

— Вузи, — сказала тетя Вайна, поджимая губы. — Вузи, это Иван.

— Ничего себе! — воскликнула Вузи. — Привет!

— Вузи! — укоризненно сказала тетя Вайна.

— Вы с женой приехали? — спросила Вузи, протягивая руку.

— Нет, — сказал я. Пальцы у нее были прохладные и мягкие. — Я один.

— Тогда я вам все покажу, — сказала она. — До вечера. Сейчас мне надо бежать. А вечером сходим.

— Вузи! — укоризненно сказала тетя Вайна.

— Обязательно, — сказал я.

Вузи засунула в рот остаток пирожка, чмокнула мать в щеку и помчалась к выходу. У нее были гладкие загорелые ноги, длинные, стройные, и стриженый затылок.

— Ах, Иван, — сказала тетя Вайна, тоже глядя ей вслед, — в наше время так трудно с молодыми девушками! Так рано развиваются, так быстро нас покидают... С тех пор как она поступила в этот салон...

— Она у вас портниха? — осведомился я.

— О нет! Она работает в Салоне Хорошего Настроения, в отделе для престарелых женщин. И вы знаете, ее там ценят. Но в прошлом году она однажды опоздала, и теперь ей приходится быть очень осторожной. Вы

сами видите, она не смогла даже с вами прилично поговорить, но вполне возможно, что ее уже ждет клиент... Вы можете не поверить, но у нее уже есть постоянная клиентура... Впрочем, что же мы здесь стоим? Гренки остынут...

Мы вошли на хозяйскую половину. Я изо всех сил старался держаться как подобает, хотя как именно подобает, я представлял себе довольно смутно. Тетя Вайна усадила меня за столик, извинилась и вышла. Я огляделся. Это была точная копия моей гостиной, только стены были не голубые, а розовые, и за верандой было не море, а низкая ограда, отделяющая дворик от улицы. Тетя Вайна вернулась с подносом и поставила передо мной чашку с топлеными сливками и тарелочку с гренками.

— Вы знаете, я тоже позавтракаю, — сказала она. — Мой врач не рекомендует мне завтракать вообще и, уж во всяком случае, топлеными сливками, но мы так привыкли... Это любимый завтрак генерал-полковника. И вы знаете, я стараюсь брать только постояльцев-мужчин, этот милый Амад хорошо понимает меня. Он понимает, как это нужно мне — хоть изредка посидеть вот так, как мы сидим сейчас с вами за чашечкой топленых сливок...

— Ваши сливки изумительно хороши, — заметил я довольно искренне.

— Ах, Иван! — Тетя Вайна поставила чашку и слегка всплеснула руками. — Ведь вы сказали это почти так же, как генерал-полковник... И как странно, вы даже похожи на него. Только лицо у него было немного уже, и он завтракал всегда в мундире...

— Да, — сказал я с сожалением. — Мундира у меня нет.

— Но ведь был когда-то! — сказала она, лукаво грозя мне пальчиком. — Я ведь вижу. Ах, как это бессмысленно! Люди теперь вынуждены стесняться своего военного прошлого. Как это глупо, не правда ли? Но их всегда выдает выправка, совершенно особенная мужественная осанка. Этого не скроешь, Иван.

Я сделал сложный неопределенный жест и, сказавши: «М-да», взял гренок.

— Как все это нелепо, не правда ли? — с живостью продолжала тетя Вайна. — Как можно смешивать такие разнородные понятия — война и армия? Мы все ненавидим войну. Война — это ужасно. Моя мать рассказывала мне, она была тогда девочкой, но все помнит: вдруг приходят солдаты, грубые, чужие, говорят на чужом языке, отрыгиваются, офицеры так бесцеремонны и так некультурны, громко хохочут, обижают горничных,

простите, пахнут, и этот бессмысленный комендантский час... Но ведь это война! Она достойна всяческого осуждения! И совсем иное дело — армия. Вы знаете, Иван, вы должны помнить эту картину: войска, выстроенные побатальонно, строгость линий, мужественные лица под касками, оружие блестит, аксельбанты сверкают, а потом командующий на специальной военной машине объезжает фронт, здоровается, и батальоны отвечают послушно и кратко, как один человек!

— Несомненно, — сказал я. — Несомненно, это многих впечатляло.

— Да! И очень многих! У нас всегда говорили, что надо непременно разоружаться, но разве можно уничтожать армию? Это последнее прибежище мужества в наше время повсеместного падения нравов. Это дико, это смешно — государство без армии...

— Смешно, — согласился я. — Вы не поверите, но с самого подписания Пакта я не перестаю улыбаться.

— Да, я понимаю вас, — сказала тетя Вайна. — Нам больше ничего не оставалось делать. Нам оставалось только саркастически улыбаться. Генерал-полковник Туур, — она достала платочек, — он так и умер с саркастической усмешкой на устах... — Она приложила платочек к глазам. — Он говорил нам: «Друзья, я еще надеюсь дожить до того дня, когда все развалится». Надломленный, потерявший смысл существования... Он не вынес пустоты в сердце... — Она вдруг встрепенулась. — Вот взгляните, Иван.

Она резво выбежала в соседнюю комнату и принесла тяжелый старомодный фотоальбом. Я сейчас же поглядел на часы, но тетя Вайна не обратила на это внимания и, усевшись рядом, раскрыла альбом на самой первой странице.

— Вот генерал-полковник.

Генерал-полковник был орел. У него было узкое костистое лицо и прозрачные глаза. Его длинное тело усеивали ордена. Самый большой орден в виде многоконечной звезды, обрамленной лавровым венком, сверкал в районе аппендикса. В левой руке генерал сжимал перчатки, а правая покоилась на рукоятке кортика. Высокий воротник с золотым шитьем подпирал нижнюю челюсть.

— А это генерал-полковник на маневрах.

Генерал-полковник и здесь был орел. Он давал указания своим офицерам, склонившимся над картой, развернутой на лобовой броне гигантского танка. По форме траков и по зализанным очертаниям смотровой башни я узнал тяжелый штурмовой танк «мамонт», предназначенный для преодоления зоны атомных ударов, а ныне успешно

используемый глубоководниками.

— А это генерал-полковник в день своего пятидесятилетия.

Генерал-полковник был орлом и здесь. Он стоял у накрытого стола с бокалом в руке и слушал тост в свою честь. Нижний левый угол фотографии занимала размытая лысина с электрическим бликом, а рядом с генералом, восхищенно глядя на него снизу вверх, сидела очень молодая и очень миловидная тетя Вайна. Я попробовал украдкой определить на ощупь толщину альбома.

— А это генерал-полковник на отдыхе.

Даже на отдыхе генерал-полковник оставался орлом. Широко расставив ноги, он стоял на пляже в тигровых плавках и рассматривал в полевой бинокль туманный горизонт. У его ног копошился в песке голый ребенок трех или четырех лет. Генерал был жилист и мускулист, гренки и сливки не портили его фигуру. Я принялся шумно заводить часы.

— А это... — начала тетя Вайна, переворачивая страницу, но тут в гостиную без стука вошел невысокий полный человек, лицо и особенно одежда которого показались мне необычайно знакомыми.

— Доброе утро, — произнес он, слегка склонив набок гладкое улыбающееся лицо.

Это был давешний таможенник все в том же белом мундире с серебряными пуговицами и серебряными шнурами на плечах.

— Ах, Пети! — сказала тетя Вайна. — Ты уже пришел? Познакомься, пожалуйста, это Иван... Иван, это Пети, друг нашего дома.

Таможенник повернулся ко мне, не узнавая, коротко наклонил голову и щелкнул каблуками. Тетя Вайна переложила альбом ко мне на колени и поднялась.

— Садись, Пети, — сказала она, — я принесу тебе сливок.

Пети еще раз щелкнул каблуками и сел рядом со мной.

— Не желаете ли поинтересоваться? — сейчас же осведомился я, перекладывая альбом со своих колен на колени таможенника. — Вот это генерал-полковник Туур. Это он просто так. (В глазах таможенника появилось странное выражение.) А вот здесь генерал-полковник на маневрах. Видите? А вот здесь...

— Благодарю вас, — отрывисто сказал таможенник. — Не утруждайтесь, потому что...

Вернулась с гренками и сливками тетя Вайна. Еще с порога она сказала:

— Как приятно видеть человека в мундире, не правда ли, Иван? — Она поставила поднос на столик. — Пети, ты сегодня рано. Что-нибудь

случилось? Прекрасная сегодня погода, такое солнце...

Сливки для Пети были налиты в особенную чашку, на которой красовался вензель «Т», осененный четырьмя звездочками.

— Ночью шел дождь, я просыпалась, значит, были тучи, — продолжала тетя Вайна. — А сейчас, взгляните, ни одного облачка... Еще чашечку, Иван?

Я встал.

— Благодарю вас, я сыт. Позвольте мне откланяться. У меня назначено деловое свидание.

Осторожно закрывая за собой дверь, я услыхал, как вдова сказала: «Ты не находишь, что он удивительно похож на штаб-майора Пола?..»

В спальне я распаковал чемодан и переложил одежду в стенной шкаф, и снова позвонил Римайеру. К телефону опять никто не подошел. Тогда я сел за стол в кабинете и принялся исследовать ящики. В одном из ящиков обнаружилась портативная пишущая машинка, в другом — почтовый набор и пустая бутылка из-под смазки для аритмичных двигателей. Остальные ящики были пусты, если не считать пачки смятых квитанций, испорченной авторучки и небрежно сложенного листка, разрисованного рожицами. Я развернул листок. Видимо, это был черновик телеграммы. «Грин умер у рыбарей получай тело воскресенье соболезнуем Хугер Марта мальчики». Я дважды прочел написанное, перевернул листок, изучил рожицы и прочел в третий раз. Видимо, Хугеру и Марте было невдомек, что нормальные люди, сообщая о смерти, говорят в первую очередь, отчего или как умер человек, а не у кого он там умер. Я бы написал: «Грин утонул во время рыбной ловли». В пьяном виде, вероятно. Кстати, какой у меня теперь адрес?

Я вернулся в холл. У двери в хозяйскую половину сидел на корточках худенький мальчик в коротких штанишках. Зажав под мышкой длинную серебристую трубку, он, сопя и пыхтя, торопливо разматывал клубок бечевки. Я подошел к нему и сказал:

— Привет.

Реакция у меня не та, что прежде, но все-таки я успел увернуться. Длинная черная струя пролетела у меня над ухом и плюхнулась в стену. Я изумленно глядел на мальчишку, а он глядел на меня, лежа на боку и выставив перед собой свою трубку. Лицо его было мокрое, рот открыт и перекошен. Я оглянулся на стену. По стене текло черное. Я снова посмотрел на мальчика. Он медленно поднимался, не опуская трубки.

— Что-то ты, брат, нервный, — произнес я.

— Вы стойте, где стоите, — хрипло сказал мальчик. — Я вашего имени не называл.

— Да уж куда там, — сказал я. — Ты и своего не называл, а палишь в меня, как в чучело.

— Вы стойте, где стоите, — повторил мальчик. — И не двигайтесь. — Он попятился и вдруг забормотал скороговоркой: — Уйди от волос моих, уйди от костей моих, уйди от мяса моего...

— Не могу, — сказал я. Я все старался понять, играет он или действительно меня боится.

— Почему? — растерянно спросил мальчик. — Я все говорю как надо.

— Я не могу уйти, не двигаясь, — объяснил я. — И стоя, где стою.

Рот у него снова приоткрылся.

— Хугер, — сказал он неуверенно. — Говорю тебе, Хугер: сгинь!

— Почему Хугер? — удивился я. — Ты меня с кем-то путаешь. Я не Хугер, я Иван.

Тогда мальчик вдруг закрыл глаза и пошел на меня, наклонив голову и выставив перед собой свою трубку.

— Я сдаюсь, — предупредил я. — Смотри не выпали.

Когда трубка уперлась мне в живот, он выронил ее и, опустив руки, весь как-то обмяк. Я наклонился и заглянул ему в лицо. Теперь он был красный. Я поднял трубку. Это было что-то вроде игрушечного автомата — с удобной рифленой рукояткой и с плоским прямоугольным баллончиком, который вставлялся снизу, как магазин.

— Что это за штука? — спросил я.

— Ляпник, — сказал он угрюмо. — Дайте сюда.

Я отдал ему игрушку.

— Ляпник, — сказал я. — Которым, значит, ляпают. А если бы ты в меня попал? — Я посмотрел на стену. — Надо же, теперь это за год не отмыть, придется стену менять.

Мальчик недоверчиво посмотрел на меня снизу вверх.

— Это же ляпа, — сказал он.

— Да? А я-то думал — лимонад.

Лицо его приобрело наконец нормальную окраску и обнаружило определенное сходство с мужественными чертами генерал-полковника Туура.

— Да нет, — сказал он. — Это ляпа.

— Ну?

— Она высохнет.

— И тогда уже все окончательно пропало?

— Да нет же. Просто ничего не останется.

— Гм, — сказал я с сомнением. — Впрочем, тебе виднее. Будем

надеяться на лучшее. Но я все-таки очень рад, что ничего не останется на стене, а не на моей физиономии. Как тебя зовут?

— Зигфрид, — сказал мальчик.

— А подумавши?

Он посмотрел на меня.

— Люцифер.

— Как?

— Люцифер.

— Люцифер, — сказал я. — Велиал. Астарет. Вельзевул и Азраил. А покороче у тебя ничего нет? Очень неудобно звать на помощь человека по имени Люцифер.

— Двери же закрыты, — сказал он и отступил на шаг. Лицо его снова побледнело.

— Ну и что?

Он не ответил и снова начал пятиться, уперся спиной в стену и пошел боком, прижимаясь к ней и не сводя с меня глаз. Я понял наконец, что он принял меня то ли за вора, то ли за убийцу и хочет удрать, но почему-то он не звал на помощь и почему-то не заскочил в комнату матери, а прокрался мимо ее двери и продолжал красться вдоль стены к выходу из дома.

— Зигфрид, — сказал я. — Зигфрид-Люцифер, ты ужасный трус. За кого ты меня принимаешь? — Я нарочно не двигался с места и только поворачивался вслед за ним. — Я ваш новый жилец, твоя мама напоила меня сливками и накормила меня гренками, а ты чуть не заляпал меня и теперь сам же меня боишься. Это я должен тебя бояться.

Все это очень напоминало одну сцену в Аньюдинском интернате, когда мне привезли почти такого же мальчика, сына хлыста. Елки-палки, неужели я до такой степени похож на гангстера?

— Ты похож на мускусную крысу Чучундру, — сказал я, — которая всю свою жизнь плакала, потому что у нее не хватало духу выйти на середину комнаты. У тебя от страха стал голубой нос, уши сделались холодными, а штанишки — мокрыми, и ты оставляешь за собой ручеек...

В таких случаях абсолютно все равно, что говорить. Важно говорить спокойно и не делать резких движений. Выражение его лица не менялось, но, когда я сказал о ручейке, он на секунду скосил глаза, чтобы посмотреть. Всего на секунду. Затем он прыгнул к выходной двери, забился возле нее, дергая засов, и вылетел во двор — только мелькнули грязные подошвы сандалий. Я вышел за ним.

Он стоял в кустах сирени, так что мне видно было только его бледное лицо. Словно удирающая кошка остановилась на миг, чтобы поглядеть

через плечо.

— Ну ладно, — сказал я. — Объясни мне, пожалуйста, что я должен делать. Мне надо сообщить домой свой новый адрес. Адрес вот этого самого дома. Дома, в котором я теперь живу.

Он молча смотрел на меня.

— К твоей маме мне идти неудобно. Во-первых, у нее гости, а во-вторых...

— Вторая Пригородная, семьдесят восемь, — сказал он.

Я не торопясь уселся на крыльце. Между нами было метров десять.

— Ну и голосок у тебя! — сказал я доверительно. — Как у моего знакомого бармена из Мирза-Чарле.

— Когда вы приехали? — спросил он.

— Да вот... — Я посмотрел на часы. — Часа полтора назад.

— Тут до вас жил один, — сказал он и стал глядеть в сторону. — Дрянь-человек. Подарил мне плавки, полосатые, я полез купаться, а они в воде растаяли.

— Ай-яй-яй! — сказал я. — Это же чудовище какое-то, а не человек. Его надо было утопить в ляпе.

— Я не успел, — сказал мальчик. — Я хотел, да он уже уехал.

— Это тот самый Хугер? — спросил я. — С Мартой и мальчиками?

— Нет. Откуда вы взяли? Хугер уже потом жил.

— Тоже дрянь-человек?

Он не ответил. Я привалился спиной к стене и стал смотреть на улицу. Из ворот напротив рывками выполз автомобиль, поерзал, разворачиваясь, взревел двигателем и укатил. Сейчас же вслед за ним промчался еще один такой же автомобиль. Запахло ароматическим бензином. Потом автомобили пошли один за другим, у меня даже запестрело в глазах. В небе появилось несколько вертолетов. Это были так называемые бесшумные вертолеты. Но они летели довольно низко, и, пока они летели, разговаривать было трудно. Впрочем, мальчик разговаривать, по-видимому, не собирался. Не собирался он и выходить. Он что-то делал в кустах со своим ляпником и время от времени поглядывал на меня. Не ляпнул бы он в меня оттуда, подумал я. Вертолеты все шли и шли, и машины все мчались и мчались, и казалось, будто все пятнадцать тысяч легковых автомобилей выкатились на Вторую Пригородную и все пятьсот вертолетов повисли над домом семьдесят восемь. Это продолжалось минут десять, мальчишка совсем перестал обращать на меня внимание, а я сидел и думал, какие вопросы придется задать Римайеру. Затем все стало как прежде: улица опустела, запах бензина рассеялся, в небе стало чисто.

— Куда это они все сразу? — спросил я.

Мальчик пошуршал в кустах.

— А вы что, не знаете? — сказал он.

— Откуда же мне знать?

— А я не знаю — откуда. Хугера-то вы откуда-то знаете...

— Хугера... — сказал я. — Хугера я знаю совершенно случайно. А про вас ничего не знаю. Как вы тут живете, чем занимаетесь... Вот что ты там сейчас делаешь?

— Предохранитель испортился.

— Так давай его сюда, я починю. Чего ты меня так боишься? Я похож на какого-нибудь дрянь-человека?

— Они все на работу поехали, — сказал мальчик.

— Поздно у вас работа начинается. Уже обедать пора, а вы еще только на работу идете... Ты знаешь, где отель «Олимпик»?

— Знаю, конечно.

— Проводишь меня?

Мальчик помедлил.

— Нет, — сказал он.

— Почему?

— Сейчас школа кончается. Мне надо домой идти.

— Ах, вот оно что! — сказал я. — Ты, значит, филонишь? Или, как у нас говорили, мотаешь?.. И в каком же ты классе?

— В третьем.

— Я тоже когда-то учился в третьем.

Он высунулся из кустов.

— А потом?

— А потом в четвертом. — Я поднялся. — Ну ладно. Разговаривать со мной ты не хочешь, проводить меня ты не хочешь, штанишки у тебя мокрые, пойду я к себе. Ну, что смотришь? Даже не хочешь мне сказать, как тебя зовут.

Он молча глядел на меня и дышал через рот. Я пошел к себе. Кремовый холл был обезображен, как мне показалось, необратимо. Огромная угольно-черная клякса на стене не собиралась высыхать. Кому-то сегодня влетит, подумал я. Под ноги мне попался клубок бечевки. Я поднял его. Конец бечевки был привязан к ручке двери в хозяйскую половину. Так, подумал я, это мы тоже понимаем. Я отвязал бечевку и сунул клубок в карман.

В кабинете я достал из стола чистый лист бумаги и составил телеграмму Марии: «Прибыл благополучно Вторая Пригородная семьдесят

восемь целую Иван». В путеводителе я нашел телефон Бюро Обслуживания, передал телеграмму и снова позвонил Римайеру. И снова Римайер не отозвался. Тогда я надел пиджак, посмотрелся в зеркало, пересчитал деньги и собрался уже выходить, когда заметил, что дверь в гостиную приоткрыта и в щель смотрит глаз. Я, конечно, ничего не заметил. Я внимательно оглядел свой костюм спереди, вернулся в ванную и некоторое время, посвистывая, чистил себя пылесосом. Когда я вернулся в кабинет, лопоухая голова, просунутая в полуоткрытую дверь, моментально скрылась — осталась торчать только серебристая трубка ляпника. Усевшись в кресло, я по очереди открыл и закрыл все двенадцать ящиков стола, включая потайные, и только тогда снова поглядел на дверь. Мальчик стоял на пороге.

— Меня зовут Лэн, — сообщил он.

— Приветствую тебя, Лэн, — сказал я рассеянно. — Меня зовут Иван. Заходи. Правда, я уже собрался обедать. Ты еще не обедал сегодня?

— Нет.

— Вот и хорошо. Сбегай, отпросись у мамы, и пойдем.

Лэн помолчал, глядя в пол.

— Еще рано, — сказал он.

— Что рано? Обедать?

— Нет, идти... туда. Школа только через двадцать минут кончается. — Он снова помолчал. — И потом, там этот толстый хмырь со шнурами.

— Дрянь-человек? — спросил я.

— Да, — сказал Лэн. — Вы правда уходите сейчас?

— Да, ухожу, — сказал я и достал из кармана клубок бечевки. — На вот, возьми. А если бы мать первой вышла?

Он пожал плечом.

— Если вы вправду уходите, — сказал он, — то можно, я у вас посижу?

— Ну что ж, посиди.

— А здесь больше никого нет?

— Никого.

Он так и не подошел ко мне, чтобы взять бечевку, но позволил подойти к себе и даже взять себя за ухо. Ухо действительно было холодное. Я легонько потрепал его и, подтолкнув мальчишку к столу, сказал:

— Сиди сколько хочешь. Я вернусь не скоро.

— Я тут посплю, — сказал Лэн.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Отель «Олимпик» был пятнадцатиэтажный, красный с черным. Половина площади перед ним была заставлена автомобилями, в центре площади в маленьком цветнике возвышался монумент, изображающий человека с гордо поднятой головой. Огибая монумент, я вдруг обнаружил, что человек этот мне знаком. Я в замешательстве остановился и пригляделся. Несомненно, в смешном старомодном костюме, опираясь рукой на непонятный аппарат, который я принял было за продолжение абстрактного постамента, устремив презрительно сощуренные глаза в бесконечность, на площади перед отелем «Олимпик» стоял Владимир Сергеевич Юрковский. На постаменте золочеными буквами была вырезана надпись: «Владимир Юрковский, 5 декабря, год Весов».

Я не поверил, потому что это было совершенно невозможно. Юрковским не ставят памятников. Пока они живы, их назначают на более или менее ответственные посты, их чествуют на юбилеях, их выбирают членами академий. Их награждают орденами и удостаивают международных премий. А когда они умирают — или погибают, — о них пишут книги, их цитируют, ссылаются на их работы, но чем дальше, тем реже, а потом наконец забывают о них. Они уходят из памяти и остаются только в книгах. Владимир Сергеевич был генералом науки и замечательным человеком. Но невозможно поставить памятники всем генералам и всем замечательным людям, тем более в странах, к которым они никогда не имели прямого отношения, и в городах, где они если и бывали, то разве что проездом... А в этом их году Весов Юрковский не был даже генералом. В марте он вместе с Дауге заканчивал исследования Аморфного Пятна на Уране, и один бомбозонд взорвался у нас в рабочем отсеке, попало всем, и, когда в сентябре мы вернулись на Планету, Юрковский был весь в сиреневых лишаях, злой и говорил, что вот вволю поплавает и позагорает и засядет за проект нового бомбозонда, потому что старый — дерьмо... Я оглянулся на отель. Мне оставалось только сделать вывод, что жизнь города находится в таинственной и весьма мощной зависимости от Аморфного Пятна на Уране. Или находилась когда-то... Юрковский высокомерно улыбался. Вообще скульптура была хорошая, но я не понимал, на что Юрковский опирается. На бомбозонд этот аппарат похож не был...

Что-то зашипело у меня над ухом. Я повернул голову и невольно

отстранился. Рядом со мной, тупо уставясь в постамент, стоял длинный худой человек, с ног до шеи затянутый в какую-то серую чешую, с громоздким кубическим шлемом на голове. Лицо человека закрывала стеклянная пластина с дырочками. Из дырочек в такт дыханию вырывались струйки дыма. Изможденное лицо за стеклянной пластиной было залито потом и часто-часто ёкало щеками. Сначала я принял его за пришельца, затем подумал, что это курортник, которому прописаны особые процедуры, и только потом догадался, что это артик.

— Простите, — сказал я. — Вы мне не скажете, что это за памятник?

Мокрое лицо совсем исказилось.

— Что? — глухо донеслось из-под шлема.

Я нагнулся.

— Я спрашиваю: что это за памятник?

Человек снова уставился на постамент. Дым из дырочек пошел гуще. Снова раздалось сильное шипение.

— Владимир Юрковский, — прочитал он. — Пятое декабря, год Весов... Ага... декабря... Ну... Так это какой-нибудь еврей или поляк...

— А кто этот памятник поставил?

— Не знаю, — сказал человек. — Тут же не написано. А зачем вам?

— Это мой знакомый, — объяснил я.

— Тогда чего вы спрашиваете? Спросили бы у него самого.

— Он умер.

— А-а... Так, может, его здесь похоронили?

— Нет, — сказал я. — Он далеко похоронен.

— Где похоронен?

— Далеко!.. А что это за штука, на которую он опирается?

— Какая штука? Это эрула.

— Что?

— Эрула, говорю! Электронная рулетка.

Я вытаращил глаза.

— При чем здесь рулетка?

— Где?

— Здесь, на памятнике.

— Не знаю, — сказал человек, подумав. — Может, ваш приятель ее изобрел?

— Вряд ли, — сказал я. — Он работал в другой области.

— В какой?

— Он был планетолог и планетолетчик.

— А-а... Ну, если он ее изобрел, то молодец. Полезная вещь. Надо бы

запомнить: Юрковский Владимир. Головастый был еврей...

— Вряд ли он ее изобрел, — сказал я. — Я же говорю, он был планетолетчик.

Человек воззрился на меня.

— А если не он изобрел, тогда почему он с нею тут стоит, а?

— Так в том-то и дело, — сказал я. — Сам удивляюсь.

— Врешь ты все, — сказал человек неожиданно. — Врешь и сам не знаешь, зачем врешь. С самого утра, а уже наелся... Алкоголик! — Он повернулся и побрел прочь, волоча тощие ноги и звучно шипя.

Я пожал плечами, последний раз глянул на Владимира Сергеевича и через просторную, как аэродром, площадь направился к отелю.

Гигантский швейцар откатил передо мною дверь и звучно произнес: «Милости просим». Я остановился.

— Будьте любезны, — сказал я. — Вы не знаете, что это за памятник?

Швейцар посмотрел поверх моей головы на площадь. На лице его изобразилось замешательство.

— А разве там... не написано?

— Написано, — сказал я. — Но кто поставил этот памятник? И за что?

Швейцар переступил с ноги на ногу.

— Прошу прощения, — виновато сказал он, — никак не могу ответить на этот вопрос. Он здесь давно стоит, а я совсем недавно... Боюсь вас дезинформировать. Может быть, портье...

Я вздохнул.

— Ну хорошо, не беспокойтесь. Где у вас здесь телефон?

— Направо, прошу вас, — сказал швейцар обрадованно.

Ко мне устремился было портье, но я помотал головой, взял трубку и набрал номер Римайера. На этот раз телефон оказался занят. Я направился к лифту и поднялся на девятый этаж.

Римайер, грузный, с непривычно обрюзгшим лицом, встретил меня в халате, из-под которого виднелись ноги в брюках и ботинках. В комнате воняло застоявшимся табачным дымом, пепельница на столе была полна окурков. Вообще в номере царил кавардак. Одно кресло было опрокинуто, на диване валялась скомканная сорочка, явно женская, под подоконником и под столом блестели батареи пустых бутылок.

— Чем могу служить? — неприветливо осведомился Римайер, глядя мне в подбородок. По-видимому, он только что вышел из ванны — редкие светлые волосы на его длинном черепе были мокры.

Я молча протянул ему свою карточку. Римайер внимательно прочитал ее, медленно сунул в карман халата и, по-прежнему глядя мне в

подбородок, сказал: «Садитесь». Я сел.

— Очень неудачно получается, — сказал он. — Я чертовски занят, и нет ни минуты времени.

— Я несколько раз звонил вам сегодня, — сказал я.

— Я только что вернулся... Как вас зовут?

— Иван.

— А фамилия?

— Жилин.

— Видите ли, Жилин... Короче говоря, я должен сейчас одеться и уйти опять... — Он помолчал, растирая ладонью вялые щеки. — Да, собственно, и говорить-то... Впрочем, если хотите, посидите здесь и подождите меня. Если не вернусь через час, уходите и возвращайтесь завтра к двенадцати. Да, оставьте мне ваш адрес и телефон, запишите прямо на столе... — Он сбросил халат и, волоча его по полу, ушел в соседнюю комнату. — А пока осмотрите город. Скверный городишко... Но этим все равно надо заняться. Меня уже тошнит от него... — Он вернулся, затягивая галстук. Руки у него дрожали, кожа на лице была дряблой и серой. Я вдруг ощутил, что не доверяю ему, — смотреть на него было неприятно, как на запущенного больного.

— Вы плохо выглядите, — сказал я. — Вы сильно изменились.

Римайер впервые взглянул мне в глаза.

— А откуда вы знаете, какой я был раньше?

— Я видел вас у Марии... Много курите, Римайер, а табак теперь сплошь и рядом пропитывают дрянью.

— Ерунда это — табак, — сказал он с неожиданным раздражением. — Здесь все дрянью пропитывают... А в общем-то вы правы, наверное, надо бросать. — Он медленно натянул пиджак. — Надо бросать... — повторил он. — И вообще не надо было начинать.

— Как идет работа?

— Бывало и хуже. На редкость захватывающая работа. — Он как-то неприятно усмехнулся. — Ну, я пойду. Меня ждут, я опаздываю. Значит, либо через час, либо завтра в двенадцать.

Он кивнул и вышел.

Я записал на телефонном столике свой адрес и телефон и, въехав ногой в кучу бутылок, подумал, что работа была, по-видимому, действительно захватывающая. Я позвонил портье и потребовал в номер уборщицу. Вежливейший голос ответил, что хозяин номера категорически запретил обслуживающему персоналу появляться в номере в его отсутствие и повторил это запрещение только что, выходя из отеля. «Ага», — сказал я

и повесил трубку. Мне это не слишком понравилось. Сам я таких приказаний никогда не отдаю и никогда ни от кого ничего не скрываю, даже записную книжку. Глупо создавать ненужные впечатления, лучше поменьше пить. Я поднял опрокинутое кресло, уселся и приготовился ждать, стараясь подавить чувство недовольства и разочарования.

Ждать пришлось недолго. Минут через пять дверь приоткрылась, и в комнату просунулась хорошенькая женская мордочка.

— Эй! — чуть сипло произнесла мордочка. — Римайер дома?

— Римайера нет, — сказал я. — Но вы все равно заходите.

Она поколебалась, рассматривая меня. По-видимому, она не собиралась заходить, просто заглянула мимоходом.

— Заходите, заходите, — сказал я. — А то мне одному скучно.

Она вошла легкой танцующей походкой и, подбоченясь, остановилась передо мной. У нее был короткий вздернутый нос и растрепанная мальчишеская прическа. Волосы были рыжие, шорты ярко-красные, а голошейка навыпуск — яично-желтая. Яркая женщина. И довольно приятная. Ей было лет двадцать пять.

— Ждете? — сказала она.

Глаза ее блестели, и от нее пахло вином, табаком и духами.

— Жду, — сказал я. — Садитесь, будем ждать вместе.

Она повалилась на тахту напротив меня и задрала ноги на телефонный столик.

— Киньте сигаретку рабочему человеку, — сказала она. — Пять часов не курила.

— Я некурящий... Позвонить, чтобы принесли?

— Господи, и здесь грустец... Оставьте телефон, а то опять припрется эта баба... Пошарьте в пепельнице и найдите бычок подлиннее!

В пепельнице было полно длинных бычков.

— Они все в помаде, — сказал я.

— Давайте, давайте, это моя помада. Как вас зовут?

— Иван.

Она щелкнула зажигалкой и закурила.

— А меня — Илина. Вы тоже иностранец? Вы все, иностранцы, какие-то широкие. Что вы здесь делаете?

— Жду Римайера.

— Да нет. Чего вас принесло к нам? От жены спасаетесь?

— Я не женат, — сказал я скромно. — Я приехал написать книгу.

— Книгу? Ну и знакомые же у этого Римайера... Книгу он приехал написать. Проблема пола у спортсменов-импотентов. Как у вас с

проблемой пола?

— Это для меня не проблема, — сказал я скромно. — А для вас?

Она спустила ноги со столика.

— Но-но... Полегче. Здесь вам не Париж. Патлы сначала укороти, а то сидит как перш...

— Как кто? — Я был очень терпелив, ждать еще оставалось сорок пять минут.

— Как перш. Знаешь, ходят такие... — Она стала делать руками неопределенные движения возле ушей.

— Не знаю, — сказал я. — Я здесь недавно. Я еще ничего не знаю. Расскажите, это интересно.

— Ну уж нет, только не я. У нас не болтают. Наше дело маленькое — подай, прибери, скаль зубы и помалкивай. Профессиональная тайна. Слыхал про такого зверя?

— Слыхал, — сказал я. — А где это «у вас»? У врачей?

Почему-то ей это показалось очень смешным.

— У врачей!.. Надо же... — хохотала она. — А ты парень ничего, с язычком... У нас в Бюро тоже есть один такой. Как скажет — все лежат. Когда мы рыбарей обслуживаем, его всегда назначают, рыбари любят повеселиться.

— Да и кто не любит? — сказал я.

— Это ты зря. Интели, например, его прогнали. «Уберите, — говорят, — дурака...» Или вот нынче, у этих беременных мужиков...

— У кого?

— У грустецов. Слушай, а ты, я вижу, ничего не понимаешь. Откуда ты такой приехал?

— Из Вены, — сказал я.

— Ну и что? У вас в Вене нет грустецов?

— Вы представить себе не можете, чего только нет в Вене.

— Может быть, у вас там и нерегулярных собраний нет?

— У нас — нет, — сказал я. — У нас все собрания регулярные. Как автобусная линия.

Она развлекалась.

— Может, у вас и официанток нет?

— Официантки есть. Причем попадаются превосходные экземпляры. Значит, вы официантка?

Она вдруг вскочила.

— Не-ет, так у нас дело не пойдет! — закричала она. — Хватит с меня грустецов на сегодня. Сейчас ты у меня выпьешь со мной на брудершафт,

как миленький... — Она принялась валить бутылки под окном. — Вот стервы, все пустые... Может, ты и непьющий? Ага, вот есть немного вермута... Будешь вермут? Или спросить виски?

— Начнем с вермута, — сказал я.

Она грохнула бутылку на столик и взяла с подоконника два стакана.

— Надо вымыть, погоди минутку, накидали мусора... — Она ушла в ванную и продолжала говорить оттуда: — Если бы ты еще оказался непьющим, я бы не знаю что с тобой сделала... Ну и кабак у него здесь, в ванной, люблю! Ты где остановился, тоже здесь?

— Нет, в городе, — ответил я. — На Второй Пригородной.

Она вернулась со стаканами.

— С водой или чистого?

— Пожалуй, чистого.

— Все иностранцы пьют чистое. А у нас почему-то пьют с водой. — Она села ко мне на подлокотник и обняла меня за плечи. От нее здорово пахло спиртным. — Ну, на «ты»...

Мы выпили и поцеловались. Без всякого удовольствия. Губы у нее оказались сильно накрашены, а веки тяжелы от бессонницы и усталости. Она поставила стакан, отыскала в пепельнице еще один окурок и вернулась на тахту.

— Где же этот Римайер? — сказала она. — Сколько можно ждать? Ты давно его знаешь?

— Нет, не очень.

— По-моему, он сволочь, — сказала она с неожиданной злобой. — Все выпытал, а теперь скрывается. Не открывает, скотина, и не дозвонишься к нему. Слушай, а он не шпик?

— Какой шпик?

— А, много их, сволочей... Из Общества Трезвости, нравственники... Знатоки и Ценители тоже дрянь хорошая...

— Нет. Римайер — порядочный человек, — сказал я с некоторым усилием.

— Порядочный... Все вы порядочные. Поначалу. Римайер тоже был порядочным, таким прикидывался добреньким, веселеньким... А теперь смотрит, как крокодил!

— Бедняга, — сказал я. — Он, наверное, вспомнил о семье, и ему стало стыдно.

— Да нет у него никакой семьи. И вообще, ну его к черту! Налить тебе еще?

Мы выпили еще. Она легла и закинула руки за голову. Затем она

сказала:

— Да ты не расстраивайся. Плюнь. Вина у нас полно, спляшем, сбегаем на дрожку... Завтра футбол, поставим на «Быков»...

— Да я и не расстраиваюсь. На «Быков» так на «Быков».

— Ах, «Быки»! Какие мальчики! Век бы смотрела... Руки как железо, прижмешься к нему — как к дереву, честное слово...

В дверь постучали.

— Заходи! — заорала Илина.

В комнату вошел и сразу остановился высокий костлявый человек средних лет со светлыми усами щеточкой и со светлыми выпуклыми глазами.

— Виноват, — сказал он. — Я хотел видеть Римайера.

— Здесь все хотят видеть Римайера, — сказала Илина. — Присаживайтесь, будем ждать вместе.

Незнакомец наклонил голову и присел к столу, положив ногу на ногу.

Вероятно, он был здесь не впервые. Он не озирался по сторонам, а глядел в стену прямо перед собой. Впрочем, может быть, он был не любопытен. Во всяком случае, ни я, ни Илина его явно не интересовали. Мне это показалось неестественным: по-моему, такая пара, как я и Илина, должна была заинтересовать любого нормального человека. Илина приподнялась на локте и стала пристально рассматривать незнакомца.

— Я вас где-то уже видела, — объявила она.

— В самом деле? — холодно сказал незнакомец.

— Как вас зовут?

— Оскар. Я приятель Римайера.

— Вот славно, — сказала Илина. Ее явно раздражало безразличие незнакомца, но пока она сдерживалась. — Он тоже приятель Римайера. — Она показала на меня пальцем. — Вы знакомы?

— Нет, — сказал Оскар, по-прежнему глядя в стену.

— Меня зовут Иван, — сказал я. — А это приятельница Римайера. Ее зовут Илина, и мы с нею только что выпили на брудершафт.

Оскар довольно равнодушно взглянул на Илину и вежливо наклонил голову. Илина, не сводя с него глаз, взяла бутылку.

— Здесь еще немного осталось, — сказала она. — Хотите выпить, Оскар?

— Нет, благодарю вас, — холодно ответил Оскар.

— На брудершафт! — сказала Илина. — Не хотите? Зря.

Она плеснула вина в мой стакан, а остатки вылила в свой и сейчас же выпила.

— В жизни бы не подумала, — сказала она, — что у Римайера могут быть друзья, которые откажутся выпить. А ведь я вас все-таки где-то видела!

Оскар пожал плечами.

— Вряд ли, — сказал он.

Илина накалялась на глазах.

— Сволочь какая-нибудь, — сообщила она мне громко. — Алло, Оскар, может, вы интель?

— Нет.

— Как же нет? — сказала Илина. — Ясно, что интель. Вы еще поцапались в «Ласочке» с плешивым Лейзом, зеркало расколотили, а Моди надавала вам оплеух...

Каменное лицо Оскара слегка порозовело.

— Уверяю вас, — произнес он очень вежливо, — я не интель и никогда в жизни не был в «Ласочке».

— Что же, я вру, по-вашему? — сказала Илина.

Тут я на всякий случай снял со столика бутылку и поставил под кресло.

— Я приезжий, — сказал Оскар. — Турист.

— Давно прибыли? — спросил я, чтобы разрядить атмосферу.

— Нет, недавно, — ответил Оскар. Он по-прежнему глядел в стену. Железной выдержки человек.

— А-а! — сказала вдруг Илина. — Помню... Это я все напутала. — Она расхохоталась. — Никакой вы не интель, конечно... Вы же были позавчера у нас в Бюро. Вы коммивояжер, да? Вы предлагали управляющему партию какой-то дряни... «Дюгонь»... «Дюпон»...

— «Девон», — подсказал я. — Есть такой репеллент, «Девон».

Оскар впервые улыбнулся.

— Совершенно верно, — сказал он. — Но я не коммивояжер, конечно. Я просто выполнил поручение моего родственника.

— Это другое дело, — сказала Илина и вскочила. — Так бы и сказали. Иван, нам всем нужно выпить на брудершафт. Я позвоню... Нет, лучше я сбегаю. А вы пока поболтайте. Я сейчас...

Она выскочила из комнаты, хлопнув дверью.

— Веселая женщина, — сказал я.

— Да, чрезвычайно. Вы местный?

— Нет, я тоже приезжий... Какая странная идея пришла в голову вашему родственнику!

— Что вы имеете в виду?

— Кому нужен «Девон» в курортном городе?

Оскар пожал плечами.

— Мне трудно судить об этом, я не химик. Но согласитесь, нам часто трудно понять даже поступки наших ближних, не то что их фантазии... Так «Девон», оказывается... как вы его назвали? Реце...

— Репеллент, — сказал я.

— Это, кажется, для комаров?

— Не столько для, сколько против.

— Вы, я вижу, хорошо в этом разбираетесь, — сказал Оскар.

— Мне приходилось им пользоваться.

— Ах, даже так...

Что за черт? — подумал я. Что он всем этим хочет сказать? Он больше не смотрел в стену. Он смотрел мне прямо в глаза и улыбался. Но если он хотел что-нибудь сказать, то он уже сказал. Он встал.

— Пожалуй, я не стану больше ждать, — произнес он. — Насколько я понимаю, меня здесь вынудят пить на брудершафт. А я приехал сюда не пить. Я приехал сюда лечиться. Передайте, пожалуйста, Римайеру, что я буду звонить ему сегодня вечером. Не забудете?

— Нет, — сказал я. — Не забуду. Если я скажу, что заходил Оскар, он поймет, о ком идет речь?

— Да, конечно. Это мое настоящее имя.

Он поклонился и вышел размеренным шагом, не оглянувшись, прямой и весь какой-то неестественный. Я запустил пальцы в пепельницу, выбрал окурок без помады и несколько раз затянулся. Табак мне не понравился. Я потушил окурок. Оскар мне тоже не понравился. И Илина. И Римайер мне тоже очень не понравился. Я перебрал бутылки, но все они были пустые.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Римайера я не дождался. Илина так и не вернулась. Мне надоело сидеть в прокуренной комнате, и я спустился вниз, в вестибюль. Я намеревался пообедать и остановился, озираясь, где здесь ресторан. Около меня мгновенно возник портье.

— К вашим услугам, — нежно прошелестел он. — Автомобиль? Ресторан? Бар? Салон?..

— Какой салон? — полюбопытствовал я.

— Парикмахерский салон. — Он деликатно взглянул на мою прическу. — Сегодня принимает мастер Гаоэй. Усиленно рекомендую.

Я вспомнил, что Илина назвала меня, кажется, патлатым першем, и сказал: «Ну что ж, пожалуй». — «Прошу за мной», — сказал портье. Мы пересекли вестибюль. Портье приоткрыл низкую широкую дверь и негромко сказал в пустоту обширного помещения:

— Простите, мастер, к вам клиент.

— Прошу, — произнес спокойный голос.

Я вошел. В салоне было светло и хорошо пахло, блестел никель, блестели зеркала, блестел старинный паркет. С потолка на блестящих штангах свисали блестящие полушария. В центре зала стояло огромное белое кресло. Мастер двигался мне навстречу. У него были пристальные неподвижные глаза, крючковатый нос и седая эспаньолка. Больше всего он напоминал пожилого, опытного хирурга. Я робко поздоровался. Он коротко кивнул и, озирая меня с головы до ног, стал обходить меня сбоку. Мне стало неуютно.

— Приведите меня в соответствие с модой, — сказал я, стараясь не выпускать его из поля зрения. Но он мягко придержал меня за рукав и несколько секунд дышал за моей спиной, бормоча: «Несомненно... Вне всякого сомнения...» Потом я почувствовал, как он прикоснулся к моему плечу.

— Несколько шагов вперед, прошу вас, — сказал он строго. — Пять-шесть шагов, а потом остановитесь и резко повернитесь кругом.

Я повиновался. Он задумчиво разглядывал меня, пощипывая бородку. Мне показалось, что он колеблется.

— Впрочем, — сказал он неожиданно, — садитесь.

— Куда? — спросил я.

— В кресло, в кресло, — сказал он нетерпеливо.

Я опустился в кресло и смотрел, как он снова медленно приближается ко мне. На его интеллигентнейшем лице вдруг появилось выражение огромной досады.

— Ну как же так можно? — произнес он. — Это же ужасно!..

Я не нашелся что ответить.

— Сырье... Дисгармония... — бормотал он. — Безобразно... Безобразно!

— Неужели до такой степени плохо? — спросил я.

— Я не понимаю, зачем вы пришли ко мне, — сказал он. — Ведь вы не придаете своей внешности никакого значения.

— С сегодняшнего дня начинаю придавать, — сказал я.

Он махнул рукой.

— Оставьте!.. Я буду работать вас, но... — Он затряс головой, стремительно повернулся и отошел к высокому столу, уставленному блестящими приборами. Спинка кресла мягко откинулась, и я оказался в полулежачем положении. Сверху на меня надвинулось большое полушарие, излучающее тепло, и сотни крошечных иголок тотчас закололи мне затылок, вызывая странное ощущение боли и удовольствия одновременно.

— Прошло? — спросил мастер, не оборачиваясь. Ощущение исчезло.

— Прошло, — ответил я.

— Кожа у вас хороша, — с некоторым удовольствием проворчал мастер.

Он вернулся ко мне с набором необыкновенных инструментов и принялся ощупывать мои щеки.

— И все-таки Мироза вышла за него, — сказал он вдруг. — Я ожидал всего, чего угодно, но только не этого. После того как Левант столько сделал для нее... Вы помните этот момент, когда они плачут над умирающей Пини? Можно было держать любое пари, что они вместе навсегда. И теперь, представьте себе, она выходит за этого литератора!

У меня есть правило: подхватывать и поддерживать любой разговор. Когда не знаешь, о чем идет речь, это даже интересно.

— Ненадолго, — сказал я уверенно. — Литераторы непостоянны, уверяю вас. Я сам литератор.

Его пальцы на секунду замерли на моих веках.

— Это не приходило мне в голову, — признался он. — Все-таки брак, хотя и гражданский... Надо не забыть позвонить жене. Она была очень расстроена.

— Я ее понимаю, — сказал я. — Хотя мне всегда казалось, что Левант сперва был влюблен в эту... в Пини.

— Влюблен? — воскликнул мастер, заходя с другого бока. — Ну разумеется, он любил ее! Безумно любил! Как может любить только одинокий, всеми отвергнутый мужчина!

— И поэтому совершенно естественно, что после смерти Пини он искал утешения у ее лучшей подруги...

— Подруги... Да, — сказал одобрительно мастер, щекоча меня за ухом. — Мироза обожала Пини. Это очень точное слово: именно подруга! В вас сразу чувствуется литератор. И Пини тоже обожала Мирозу...

— Но заметьте, — подхватил я. — Ведь Пини с самого начала подозревала, что Мироза неравнодушна к Леванту.

— О, конечно. Они необычайно чутки к таким вещам. Это было ясно каждому, моя жена сразу обратила на это внимание. Я помню, она подталкивала меня локтем каждый раз, когда Пини садилась на кудрявую головку Мирозы и так лукаво, знаете ли, выжидательно поглядывала на Леванта...

На этот раз я промолчал.

— Вообще я глубоко убежден, — продолжал он, — что птицы чувствуют не менее тонко, чем люди.

Ага, подумал я и сказал:

— Не знаю, как птицы вообще, но Пини была гораздо более чуткой, чем, может быть, даже мы с вами.

Что-то коротко прожужжало у меня над макушкой, слабо звякнул металл.

— Вы говорите слово в слово как моя жена, — заметил мастер. — Вам, наверное, должен нравиться Дэн. Я был потрясен, когда он сумел сработать бункин этой японской герцогине... не помню ее имени. Ведь никто, ни один человек не верил Дэну. Сам японский король...

— Простите, — сказал я. — Бункин?

— Да, вы же не специалист... Ну, вы помните тот момент, когда японская герцогиня выходит из застенка. Ее волосы, высокий вал белокурых волос, украшенных драгоценными гребнями...

— А-а, — догадался я. — Это прическа!

— Да, она даже вошла на время в моду в прошлом году. Хотя настоящий бункин у нас могли делать единицы... как и настоящий шиньон, между прочим. И конечно, никто не мог поверить, что Дэн с обожженными руками, полуослепший... Вы помните, как он ослеп?

— Это было потрясающе, — проговорил я.

— О-о, Дэн был настоящий мастер. Сделать бункин без электрообработки, без биоразвертки... Вы знаете, — продолжал он, и в

голосе его послышалось волнение, — мне сейчас пришло в голову, что Мироза должна, когда расстанется с этим литератором, выйти не за Леванта, а за Дэна. Она будет вывозить его в кресле на веранду, и они будут слушать при луне поющих соловьев... Вместе, вдвоем...

— И тихо плакать от счастья, — сказал я.

— Да... — Голос мастера прервался. — Это будет только справедливо. Иначе я просто не знаю... Иначе я просто не понимаю, к чему вся наша борьба... Нет, мы должны потребовать. Я сегодня же пойду в союз.

Я снова промолчал. Мастер прерывисто дышал у меня над ухом.

— Пусть бреются в автоматах, — сказал он вдруг мстительно. — Пусть ходят, как ощипанные гуси. Мы дали им попробовать однажды, что это такое, посмотрим теперь, как это им понравилось.

— Боюсь, это будет непросто, — сказал я осторожно, потому что ничего не понимал.

— А мы, мастера, привыкли к сложному. Непросто! А когда к вам является жирное чучело, потное и страшное, и вам нужно сделать из него человека... Или по крайней мере нечто такое, что в обыденной жизни не отличается от человека... это что, просто?! Помните, как сказал Дэн? «Женщина рождает человека раз в девять месяцев, а мы, мастера, делаем это каждый день». Разве это не превосходные слова?

— Дэн говорил о парикмахерах? — спросил я на всякий случай.

— Дэн говорил о мастерах! «На нас держится красота мира», — говорил он. И еще, помните? «Для того чтобы сделать из обезьяны человека, Дарвину нужно было быть отличным мастером».

Я решил сдаться и признался:

— Вот этого я уже не помню.

— А вы давно смотрите «Розу салона»?

— Да я совсем недавно приехал.

— А-а... Тогда вы много потеряли. Мы с женой смотрим эту историю уже седьмой год, каждый вторник. Мы пропустили только один раз: у меня был приступ, и я потерял сознание. Но во всем городе только один человек не пропустил ни разу — мастер Миль из Центрального салона.

Он отошел на несколько шагов, включил и выключил разноцветные софиты и вновь принялся за дело.

— Седьмой год, — повторил он. — И теперь представьте себе: в позапрошлом году они убивают Мирозу и бросают Леванта в японские застенки пожизненно, а Дэна сжигают на костре. Вы можете себе это представить?

— Это невозможно, — сказал я. — Дэна? На костре? Правда, Бруно

тоже сожгли на костре...

— Возможно... — нетерпеливо сказал мастер. — Во всяком случае, нам стало ясно, что они хотят быстренько свернуть программу. Но мы этого не потерпели. Мы объявили забастовку и боролись три недели. Миль и я пикетировали парикмахерские автоматы. И должен вам сказать, что значительная часть горожан нам сочувствовала.

— Еще бы, — сказал я. — И что же? Вы победили?

— Как видите. Они прекрасно поняли, что это такое, и теперь телецентр знает, с кем имеет дело. Мы не отступили ни на шаг, и если понадобится — не отступим. Во всяком случае, теперь по вторникам мы отдыхаем, как встарь, — по-настоящему.

— А в остальные дни?

— А в остальные дни ждем вторника и гадаем, что ожидает нас, чем вы, литераторы, нас порадуете, спорим и заключаем пари... Впрочем, у нас, мастеров, не так много досуга.

— Большая клиентура, вероятно?

— Нет, дело не в этом. Я имею в виду домашние занятия. Стать мастером нетрудно, трудно оставаться мастером. Масса литературы, масса новых методов, новых приложений, за всем надо следить, надо непрерывно экспериментировать, исследовать, и надо непрерывно следить за смежными областями — бионика, пластическая медицина, органика... И потом, вы знаете, накапливается опыт, появляется потребность поделиться. Вот мы с Милем пишем уже вторую книгу, и буквально каждый месяц нам приходится вносить в рукопись исправления. Все устаревает на глазах. Сейчас я заканчиваю статью об одном малоизвестном свойстве врожденно-прямого непластичного волоса, и вы знаете, у меня практически нет никаких шансов оказаться первым. Только в нашей стране я знаю трех мастеров, занятых тем же вопросом. Это естественно: врожденно-прямой непластичный волос — это актуальнейшая проблема. Ведь он считается абсолютно неэстетируемым... Впрочем, вас это, конечно, не может интересовать. Вы ведь литератор?

— Да, — сказал я.

— Вы знаете, как-то во время забастовки мне случилось пробежать один роман. Это не ваш?

— Не знаю, — сказал я. — А о чем?

— Н-ну, я не могу сказать вам совершенно точно... Сын поссорился с отцом, и у него был друг, этакий неприятный человек со странной фамилией... Он еще резал лягушек.

— Не могу вспомнить, — соврал я. Бедный Иван Сергеевич!

— Я тоже не могу вспомнить. Какой-то вздор. У меня есть сын, но он никогда со мной не ссорится. И животных он никогда не мучает... разве что в детстве...

Он снова отступил от меня и медленно пошел по кругу, оглядывая. Глаза его горели. Кажется, он был очень доволен.

— А ведь, пожалуй, на этом можно закончить, — проговорил он.

Я вылез из кресла. «А ведь неплохо... — бормотал мастер. — Просто очень неплохо». Я подошел к зеркалу, а он включил прожекторы, которые осветили меня со всех сторон, так что на лице совсем не осталось теней. В первый момент я не заметил в себе ничего особенного. Я как я. Потом я почувствовал, что это не совсем я. Что это гораздо лучше, чем я. Много лучше, чем я. Красивее, чем я. Добрее, чем я. Гораздо значительнее, чем я. И я ощутил стыд, словно умышленно выдавал себя за человека, которому в подметки не гожусь...

— Как вы это сделали? — спросил я вполголоса.

— Пустяки, — ответил мастер, как-то особенно улыбаясь. — Вы оказались довольно легким клиентом, хотя и основательно подзапущенным.

Я как Нарцисс стоял перед зеркалом и не мог отойти. Потом мне вдруг стало жутко. Мастер был волшебником, и волшебником недобрым, хотя сам, наверное, и не подозревал об этом. В зеркале, озаренная прожекторами, необычайно привлекательная и радующая глаз, отражалась ложь. Умная, красивая, значительная пустота. Нет, не пустота, конечно, я не был о себе такого уж низкого мнения, но контраст был слишком велик. Весь мой внутренний мир, все, что я так ценил в себе... Теперь его вообще могло бы не быть. Оно было больше не нужно. Я посмотрел на мастера. Он улыбался.

— У вас много клиентов? — спросил я.

Он не понял моего вопроса, да я и не хотел, чтобы он меня понял.

— Не беспокойтесь, — ответил он. — Вас я всегда буду работать с удовольствием. Сырье самое высококачественное.

— Спасибо, — сказал я, опуская глаза, чтобы не видеть его улыбки. — Спасибо. До свидания.

— Только не забудьте расплатиться, — благодушно сказал он. — Мы, мастера, очень ценим свою работу.

— Да, конечно, — спохватился я. — Разумеется. Сколько я должен?

Он сказал, сколько я должен.

— Как? — спросил я, приходя в себя.

Он с удовольствием повторил.

— С ума сойти, — честно сказал я.

— Такова цена красоты, — объяснил он. — Вы пришли сюда заурядным туристом, а уходите царем природы. Разве не так?

— Самозванцем я ухожу, — пробормотал я, доставая деньги.

— Ну-ну, не так горько, — вкрадчиво сказал он. — Даже я не знаю этого наверняка. Да и вы не уверены... Еще два доллара, пожалуйста... Благодарю вас. Вот пятьдесят пфеннигов сдачи... Вы ничего не имеете против пфеннигов?

Я ничего не имел против пфеннигов. Мне хотелось скорее уйти.

В вестибюле я некоторое время постоял, приходя в себя, глядя через стеклянную стену на металлического Владимира Сергеевича. В конце концов, все это очень не ново. В конце концов, миллионы людей совсем не то, за что они себя выдают. Но этот проклятый парикмахер сделал меня эмпириокритиком. Реальность замаскировалась прекрасными иероглифами. Я больше не верил тому, что вижу в этом городе. Залитая стереопластиком площадь в действительности, наверное, вовсе не была красива. Под изящными очертаниями автомобилей мнились зловещие, уродливые формы. А вон та прекрасная, милая женщина на самом деле, конечно, отвратительная, вонючая гиена, похотливая, тупая хрюшка. Я закрыл глаза и помотал головой. Старый дьявол...

Неподалеку остановились два лощеных старца и принялись с жаром спорить о преимуществах фазана тушеного перед фазаном, запеченным с перьями. Они спорили, истекая слюной, чмокая и задыхаясь, щелкая друг у друга под носом костлявыми пальцами. Этим двум никакой мастер помочь не смог бы. Они сами были мастерами и не скрывали этого. Во всяком случае, они вернули меня к материализму. Я подозвал портье и спросил, где ресторан.

— Прямо перед вами, — сказал портье и, улыбнувшись, поглядел на спорящих старцев. — Любая кухня мира.

Вход в ресторан я принял за ворота в ботанический сад. Я вошел в этот сад, раздвигая руками ветви экзотических деревьев, ступая то по мягкой траве, то по неровным плитам ракушечника. В пышной прохладной зелени гомонили невидимые птицы, слышались негромкие разговоры, звяканье ножей, смех. Мимо моего носа пролетела золотистая птичка. Она с натугой тащила в клюве маленький бутерброд с икрой.

— Я к вашим услугам, — сказал глубокий бархатный голос.

Из зарослей выступил мне навстречу величественный мужчина со щеками на плечах.

— Обед, — коротко сказал я. Не люблю метрдотелей.

— Обед... — повторил он значительно. — Обед в обществе? Отдельный столик?

— Отдельный столик. А впрочем...

В руке у него мгновенно появился блокнот.

— Мужчину вашего возраста будут рады видеть у себя за столом миссис и мисс Гамилтон-Рэй...

— Дальше, — сказал я.

— Отец Жофруа...

— Я предпочел бы аборигена, — сказал я.

Он перевернул листок.

— Только что сел за стол доктор философии Опир.

— Пожалуй, — сказал я.

Он спрятал блокнотик и повел меня по дорожке, выложенной плитами песчаника. Где-то вокруг разговаривали, ели, шипели сифонами. В листве разноцветными пчелами метались колибри. Метрдотель почтительно осведомился:

— Как прикажете вас представить?

— Иван. Турист и литератор.

Доктору Опиру было под пятьдесят. Он сразу понравился мне, потому что немедленно, без всяких церемоний, прогнал метрдотеля за официантом. Он был румяный, толстый и непрерывно и с удовольствием говорил и двигался.

— Не затрудняйтесь, — сказал он, когда я потянулся за меню. — Все уже известно. Водка, анчоусы под яйцом — у нас их называют пасифунчиками, — картофельный суп «лике»...

— Со сметаной, — вставил я.

— Разумеется!.. Паровая осетрина по-астрахански, ломтик телятины...

— Я хочу фазанов. Запеченных с перьями.

— Не надо: не сезон... Ломтик говядины, угорь в сладком маринаде...

— Кофе, — сказал я.

— Коньяк, — возразил он.

— Кофе с коньяком.

— Хорошо. Коньяк и кофе с коньяком. Какое-нибудь бледное вино к рыбе и хорошую натуральную сигару...

Обедать с доктором философии Опиром оказалось очень удобно. Можно было есть, пить и слушать. Или не слушать. Доктор Опир не нуждался в собеседнике. Доктор Опир нуждался в слушателе. Я в разговоре не участвовал, я даже не подавал реплик, а доктор Опир с наслаждением ораторствовал, почти не прерываясь, размахивая вилкой, но тарелки и

блюда перед ним пустели тем не менее с прямо-таки таинственной быстротой. В жизни не встречал человека, который бы так искусно говорил с набитым и жующим ртом.

— Наука! Ее Величество Наука! — восклицал он. — Она зрела долго и мучительно, но плоды ее оказались изобильны и сладки. Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Сотни поколений рождались, страдали и умирали, и никогда никому не захотелось произнести этого заклинания. Нам исключительно повезло. Мы родились в величайшую из эпох — в Эпоху Удовлетворения Желаний. Может быть, не все это еще понимают, но девяносто девять процентов моих сограждан уже сейчас живут в мире, где человеку доступно практически все мыслимое. О наука! Ты наконец освободила человечество! Ты дала нам, даешь и будешь отныне давать все... пищу — превосходную пищу! — одежду — превосходную, на любой вкус и в любых количествах! — жилье — превосходное жилье! Любовь, радость, удовлетворенность, а для желающих, для тех, кто утомлен счастьем, — сладкие слезы, маленькие спасительные горести, приятные утешительные заботы, придающие нам значительность в собственных глазах... Да, мы, философы, много и злобно ругали науку. Мы призывали луддитов, ломающих машины, мы проклинали Эйнштейна, изменившего нашу вселенную, мы клеймили Винера, посягнувшего на нашу божественную сущность. Что ж, мы действительно утратили эту божественную сущность. Наука отняла ее у нас. Но взамен! Взамен она бросила человечество за пиршественные столы Олимпа... Ага, а вот и картофельный суп, божественный «лике»!.. Нет-нет, делайте, как я... Берите вот эту ложечку... Чуть-чуть уксуса... поперчите... другой ложечкой, вот этой, зачерпните сметану и... нет-нет, постепенно, постепенно разбалтывайте... Это тоже наука, одна из древнейших, более древняя, во всяком случае, чем универсальный синтез... Кстати, обязательно посетите наши синтезаторы «Рог Амальтеи АК». ...Вы ведь не химик? Ах да, вы же литератор! Об этом надо писать, это величайшее таинство сегодняшнего дня, бифштексы из воздуха, спаржа из глины, трюфели из опилок... Как жаль, что Мальтус умер! Над ним хохотал бы сейчас весь мир! Конечно, у него были какие-то основания для пессимизма. Я готов согласиться с теми, кто полагает его даже гениальным. Но он был слишком невежествен, он совершенно не видел перспективы естественных наук. Он был из тех несчастливых гениев, которые открывают законы общественного развития как раз в тот момент, когда эти законы перестают действовать... Мне его искренне жаль. Ведь человечество было для него миллиардом жадно разинутых ртов. Он должен был просыпаться по ночам от ужаса. Это

воистину чудовищный кошмар: миллиард разинутых пастей и ни одной головы! Я оглядываюсь назад и с горечью вижу, как слепы они были — потрясатели душ и властители умов недалекого прошлого. Сознание их было омрачено беспрерывным ужасом. Социальные дарвинисты! Они не верили в возможность существования, видели только сплошную борьбу за существование: толпы остервенелых от голода людей, рвущих друг друга в клочки из-за места под солнцем, как будто оно только одно, это место, как будто солнца не хватит для всех! И Ницше... Может быть, он годился для голодных рабов фараоновых времен со своей зловещей проповедью расы господ, со своими сверхчеловеками по ту сторону добра и зла... Кому сейчас нужно быть по ту сторону? Неплохо и по эту, как вы полагаете? Были, конечно, Маркс и Фрейд. Маркс, например, первым понял, что все дело в экономике. Он понял, что вырвать экономику из рук жадных дураков и фетишистов, сделать ее государственной, безгранично развить ее — это и означает заложить фундамент Золотого Века. А Фрейд показал, для чего, собственно, нам нужен этот Золотой Век. Вспомните, что было причиной всех несчастий рода человеческого. Неудовлетворенные инстинкты, неразделенная любовь и неутоленный голод, не так ли? Но вот является Ее Величество Наука и дарит нам удовлетворение. И как быстро все это произошло! Еще не забыты имена мрачных прорицателей, а уже... Как вам кажется осетрина? У меня такое впечатление, что соус синтетический. Видите, розоватый оттенок... Да, синтетический. В ресторане мы могли бы рассчитывать на натуральный... Метр! Впрочем, пусть его, не будем капризны... Идите, идите!.. О чем это я? Да! Любовь и голод. Удовлетворите любовь и голод, и вы увидите счастливого человека. При условии, конечно, что человек наш уверен в завтрашнем дне. Все утопии всех времен базируются на этом простейшем соображении. Освободите человека от забот о хлебе насущном и о завтрашнем дне, и он станет истинно свободен и счастлив. Я глубоко убежден, что дети, именно дети — это идеал человечества. Я вижу глубочайший смысл в поразительном сходстве между ребенком и беззаботным человеком, объектом утопии. Беззаботен — значит счастлив. И как мы близки к этому идеалу! Еще несколько десятков лет, а может быть, и просто несколько лет, и мы достигнем автоматического изобилия, мы отбросим науку, как исцеленный отбрасывает костыли, и все человечество станет огромной счастливой детской семьей. Взрослые будут отличаться от детей только способностью к любви, а эта способность сделается — опять-таки с помощью науки — источником новых, небывалых радостей и наслаждений... А вот и кофе! М-м-м... неплохой кофе! Но где же коньяк? Ага, благодарю вас... О, какой

коньяк! Между прочим, я слыхал, что Великий Дегустатор удалился от дел. На последнем Брюссельском конкурсе коньяков произошел грандиознейший скандал, который удалось замять с огромным трудом. Гран-при получает девиз «Белый Кентавр». Жюри в восторге. Это нечто небывалое. Это некая феноменальная феерия ощущений! Вскрывают заявочный пакет и — о ужас! — это синтетик! Великий Дегустатор побелел как бумага, его стошнило! Мне, между прочим, довелось попробовать этот коньяк, он действительно превосходен, но его гонят из мазутов, и у него даже нет собственного названия. Эй экс восемнадцать дробь нафтан, и он дешевле гидролизного спирта... Возьмите эту сигару. Вздор, что значит не курите? После такого обеда нельзя не курить... Я люблю этот ресторан. Каждый раз, когда я приезжаю читать лекции в здешний университет, я обедаю в «Олимпике». А перед возвращением я непременно захожу в «Таверну». Да, там нет этой зелени, этих райских птичек, там немного жарко, немного душно и пахнет дымком, но это настоящая, неповторимая кухня. Усердные Дегустаторы собираются именно там. Либо там, либо в «Лакомке». Там только едят. Там нельзя болтать, там нельзя смеяться, туда совершенно бессмысленно являться с женщиной, там только едят! Тихо, вдумчиво, сосредоточенно...

Доктор Опир наконец замолк, откинулся на спинку кресла и глубоко, с наслаждением затянулся. Я сосал могучую сигару и смотрел на него. Он был мне ясен, этот доктор философии. Всегда и во все времена существовали такие люди, абсолютно довольные своим положением в обществе и потому абсолютно довольные положением общества. Превосходно подвешенный язык и бойкое перо, великолепные зубы и безукоризненно здоровые внутренности, и отлично функционирующий половой аппарат.

— Итак, мир прекрасен, доктор? — сказал я.

— Да, — с чувством сказал доктор Опир. — Он, наконец, прекрасен.

— Вы великий оптимист, — сказал я.

— Наше время — это время оптимистов. Пессимист идет в Салон Хорошего Настроения, откачивает желчь из подсознания и становится оптимистом. Время пессимистов прошло, как прошло время туберкулезных больных, сексуальных маньяков и военных. Пессимизм, как умонастроение, искореняется все той же наукой. И не только косвенно, через создание изобилия, но и непосредственно, путем прямого вторжения в темный мир подкорки. Скажем, грезогенераторы — наимоднейшее сейчас развлечение народа. Абсолютно безвредно, необычайно массово и конструктивно просто... Или, скажем, нейростимуляторы...

Я попытался направить его в нужное русло.

— А не кажется ли вам, что как раз в этой области наука — например, та же фармацевтическая химия — иногда перехлестывает?

Доктор Опир снисходительно улыбнулся и понюхал свою сигару.

— Наука всегда действовала методом проб и ошибок, — веско сказал он. — И я склонен полагать, что так называемые ошибки — это всегда результат преступного использования. Мы еще не вступили в Золотой Век, мы еще только вступаем в него, и у нас под ногами до сих пор болтаются всевозможные аутло, хулиганы и просто грязные люди... Так появляются разрушающие здоровье наркотики, созданные, как вы сами знаете, с самыми благородными целями, всякие там ароматьеры... или этот, не к столу будет сказано... — Он вдруг захихикал довольно скабрезно. — Вы догадываетесь, мы с вами взрослые люди... О чем это я?.. Да, так все это не должно нас смущать. Это пройдет, как прошли атомные бомбы.

— Я хотел только подчеркнуть, — заметил я, — что существует еще проблема алкоголизма и проблема наркотиков...

Интерес доктора Опира к разговору падал на глазах. Видимо, он вообразил, будто я оспариваю его тезис о том, что наука — благо. Вести спор на таком уровне ему было, естественно, скучно, как если бы он утверждал пользу морских купаний, а я бы его оспаривал на том основании, что в прошлом году чуть было не утонул.

— Да, конечно... — промямлил он, разглядывая часы. — Не все же сразу... Согласитесь все-таки, что важна прежде всего основная тенденция... Официант!

Доктор Опир вкусно покушал, хорошо поговорил — от лица прогрессивной философии, — чувствовал себя вполне удовлетворенным, и я решил не настаивать, тем более что на его «прогрессивную философию» мне было наплевать, а о том, что меня интересовало больше всего, доктор Опир, в конце концов, ничего конкретного сказать, вероятно, и не мог.

Мы расплатились и вышли из ресторана. Я спросил:

— Вы не знаете, доктор, кому этот памятник? Вон там, на площади...

Доктор Опир рассеянно поглядел.

— В самом деле, памятник, — сказал он. — Я как-то раньше даже не замечал... Вас подвезти куда-нибудь?

— Спасибо, я предпочитаю пройтись.

— В таком случае до свидания. Рад был с вами познакомиться... Конечно, трудно надеяться переубедить вас, — он поморщился, поковырял зубочисткой во рту, — но интересно было бы попробовать... Может быть, вы посетите мою лекцию? Я начинаю завтра в десять.

— Благодарю вас, — сказал я. — Какая тема?
— Философия неооптимизма. Я там обязательно коснусь ряда вопросов, которые мы сегодня с вами так содержательно обсудили.
— Благодарю вас, — сказал я еще раз. — Обязательно.
Я смотрел, как он подошел к своему длинному автомобилю, рухнул на сиденье, поковырялся в пульте автоводителя, откинулся на спинку и, кажется, сейчас же задремал. Автомобиль осторожно покатился по площади и, набирая скорость, исчез в тени и зелени боковой улицы.
Неооптимизм... Неогедонизм и неокретинизм... Нет худа без добра, сказала лиса, зато ты попал в Страну Дураков. Надо сказать, что процент урожденных дураков не меняется со временем. Интересно, что делается с процентом дураков по убеждению? Любопытно, кто ему присвоил звание доктора? Не один же он такой! Была, наверное, целая куча докторов, которая торжественно присвоила такое звание неооптимисту Опиру. Впрочем, это бывает не только среди философов...
Я увидел, как в холл вошел Римайер, и сразу забыл про доктора Опира. Костюм на Римайере висел мешком, Римайер сутулился, лицо Римайера совсем обвисло. И по-моему, он пошатывался на ходу. Он подошел к лифту, и тут я догнал его и взял за рукав.
Римайер сильно вздрогнул и обернулся.
— Какого черта? — сказал он. Он был явно не рад мне. — Зачем вы еще здесь?
— Я ждал вас.
— Я же вам сказал, приходите завтра в двенадцать.
— Какая разница? — сказал я. — Зачем терять время?
Он, тяжело дыша, смотрел мне в лицо.
— Меня ждут, понимаете? В номере сидит человек и ждет меня. И он не должен видеть вас у меня. Вы можете это понять?
— Не кричите так, — сказал я. — На нас глядят.
Римайер повел по сторонам заплывшими глазами.
— Пойдемте в лифт, — сказал он.
Мы вошли в кабину, и Римайер нажал кнопку пятнадцатого этажа.
— Говорите быстро, что вам надо.
Вопрос был на редкость глуп. Я даже растерялся.
— Вы что, не знаете, зачем я здесь?
Он потер лоб, затем проговорил:
— Черт, все так перепуталось... Слушайте, я забыл, как вас зовут.
— Жилин.
— Слушайте, Жилин, ничего нового у меня для вас нет. Мне некогда

было этим заниматься. Это все бред, понимаете? Выдумки Марии. Они там сидят, пишут бумажки и выдумывают. Их всех надо гнать к чертовой матери.

Мы доехали до пятнадцатого этажа, и он нажал кнопку первого.

— Черт, — сказал он. — Еще пять минут, и он уйдет... В общем, я уверен в одном. Ничего этого нет. Во всяком случае, здесь, в городе. — Он вдруг украдкой глянул на меня и отвел глаза. — Вот что я вам скажу. Загляните к рыбарям. Просто для очистки совести.

— К рыбарям? К каким рыбарям?

— Сами узнаете, — нетерпеливо сказал он. — Да не капризничайте там, делайте все, что велят. — Потом он, словно оправдываясь, добавил: — Я не хочу предвзятости, понимаете?

Лифт остановился на первом этаже, и он нажал кнопку девятого.

— Все, — сказал он. — А потом мы увидимся и поговорим подробнее. Скажем, завтра в двенадцать.

— Ладно, — медленно сказал я. Он явно не хотел говорить со мной. Может быть, он не доверял мне. Что ж, это бывает. — Между прочим, — сказал я, — к вам заходил некий Оскар.

Мне показалось, что он вздрогнул.

— Он вас видел?

— Естественно. Он просил передать, что будет звонить сегодня вечером.

— Плохо, черт, плохо... — пробормотал Римайер. — Слушайте... Черт, как ваша фамилия?

— Жилин.

Лифт остановился.

— Слушайте, Жилин, это очень плохо, что он вас видел... Впрочем, плевать... Я пошел. — Он открыл дверцу кабины. — Завтра мы поговорим с вами как следует, ладно? Завтра... А вы загляните к рыбарям, договорились?

Он изо всех сил захлопнул за собой решетчатую дверь.

— Где мне их искать? — спросил я.

Я постоял немного, глядя ему вслед. Он почти бежал неверными шагами, удаляясь по коридору.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Я шел медленно, держась в тени деревьев. Изредка мимо прокатывали машины. Одна машина остановилась, водитель распахнул дверцу, перегнулся с сиденья, и его стошнило. Он вяло выругался, вытер рот ладонью, хлопнул дверцей и уехал. Он был немолодой, краснолицый, в пестрой рубашке на голое тело. Римайер, наверное, спился. Это случается довольно часто: человек старается, работает, считается ценным работником, к нему прислушиваются и ставят его в пример, но как раз в тот момент, когда он нужен для конкретного дела, вдруг оказывается, что он опух и обрюзг, что к нему бегают девки, что от него с утра пахнет водкой... Ваше дело его не интересует, и в то же время он страшно занят, он постоянно с кем-то встречается, разговаривает путано и неясно, и он вам не помощник. А потом вы охнуть не успеваете, как он оказывается в алкогольной лечебнице, или в сумасшедшем доме, или под следствием. Или вдруг женится — странно и нелепо, и от этой женитьбы отчетливо воняет шантажом... И остается только сказать: «Врачу, исцелися сам...»

Хорошо бы все-таки отыскать Пека. Пек — жесткий, честный человек, и он всегда все знает. Вы еще не успеете закончить техконтроль и выйти из корабля, а он уже на «ты» с дежурным поваром Базы, уже с полным знанием дела участвует в разборе конфликта между командиром Следопытов и главным инженером, не поделившими какой-то трозер, техники уже организуют в его честь вечеринку, а замдиректора советуется с ним, отведя его в угол... Бесценный Пек! А в этом городе он родился и прожил здесь треть жизни.

Я нашел телефонную будку, позвонил в Бюро Обслуживания и попросил найти адрес или телефон Пека Зеная. Мне предложили подождать. В будке, как всегда, пахло кошками. Пластиковый столик был исписан телефонами, разрисован рожами и неприличными изображениями. Кто-то, видимо, ножом глубоко вырезал печатными буквами незнакомое слово «СЛЕГ». Я приоткрыл дверь, чтобы не было так душно, и смотрел, как на противоположной, теневой стороне улицы у входа в свое заведение курит бармен в белой куртке с засученными рукавами. Потом мне сообщили, что Пек Зенай, по данным на начало года, обитает по адресу: улица Свободы, 31, телефон 11-331. Я поблагодарил и тут же набрал этот номер. Незнакомый голос сообщил мне, что я не туда попал. Номер телефона правильный и адрес тоже, но Пек Зенай здесь не живет, а если и

жил раньше, то неизвестно, когда и куда выехал. Я дал отбой, вышел из будки и перешел на другую сторону улицы, в тень.

Поймав мой взгляд, бармен оживился и сказал еще издали:

— Давайте заходите!

— Не хочется что-то, — сказал я.

— Что, не соглашается, стерва? — сказал бармен сочувственно. — Заходите, чего там, побеседуем... Скучно.

Я остановился.

— Завтра утром, — сказал я, — в десять часов в университете состоится лекция по философии неооптимизма. Читает знаменитый доктор философии Опир из столицы.

Бармен слушал меня с жадным вниманием, он даже перестал затягиваться.

— Надо же! — сказал он, когда я кончил. — До чего докатились, а! Позавчера девчонок в ночном клубе разогнали, а теперь у них, значит, лекции. Ничего, мы им еще покажем лекции!

— Давно пора, — сказал я.

— Я их к себе не пускаю, — продолжал бармен, все более оживляясь. — У меня глаз острый. Он еще только к двери подходит, а я уже вижу: интель. Ребята, говорю, интель идет! А ребята у нас как на подбор, сам Дод каждый вечер после тренировок у меня сидит. Ну, он, значит, встает, встречает этого интеля в дверях, и не знаю уж, о чем они там беседуют, а только налаживает он его дальше. Правда, иной раз они компаниями бродят. Ну, тогда, чтобы, значит, скандала не было, дверь на стопор, пусть стучатся. Правильно я говорю?

— Пусть, — сказал я. Он мне уже надоел. Есть такие люди, которые надоедают необычайно быстро.

— Что — пусть?

— Пусть стучатся. Стучись, значит, в любую дверь.

Бармен настороженно посмотрел на меня.

— А ну-ка, проходите, — сказал вдруг он.

— А может, значит, по стопке? — предложил я.

— Проходите, проходите, — повторил он. — Вас здесь не обслужат.

Некоторое время мы смотрели друг на друга. Потом он что-то проворчал, попятился и задвинул за собой стеклянную дверь.

— Я не интель, — сказал я. — Я бедный турист. Богатый!

Он глядел на меня, расплющив нос на стекле. Я сделал движение, будто опрокидываю стаканчик. Он что-то сказал и ушел в глубину заведения. Было видно, как он бесцельно бродит между пустыми

столиками. Заведение называлось «Улыбка». Я улыбнулся и пошел дальше.

За углом оказалась широкая магистраль. У обочины стоял огромный, облепленный заманчивыми рекламами грузовик-фургон. Задняя стенка его была опущена, и на ней, как на прилавке, горой лежали разнообразные вещи: консервы, бутылки, игрушки, стопы целлофановых пакетов с бельем и одеждой. Двое молоденьких девчушек щебетали сущую ерунду, выбирая и примеряя блузки. «Фонит», — пищала одна. Другая, прикладывая блузку так и этак, отвечала: «Чушики, чушики, и совсем не фонит». — «Возле шеи фонит». — «Чушики!» — «И кресток не переливается...» Шофер фургона, тощий человек в комбинезоне и в черных очках с мощной оправой, сидел на поребрике, прислонившись спиной к рекламной тумбе. Глаз его видно не было, но, судя по вялому рту и потному носу, он спал. Я подошел к прилавку. Девушки замолчали и уставились на меня, приоткрыв рты. Им было лет по шестнадцати, глаза у них были как у котят — синенькие и пустенькие.

— Чушики, — твердо сказал я. — Не фонит и переливается.

— А около шеи? — спросила та, что примеряла.

— Около шеи просто шедевр.

— Чушики, — нерешительно возразила вторая девочка.

— Ну, давай другую посмотрим, — миролюбиво предложила первая. — Вот эту.

— Вот эту лучше, серебристую, растопырочкой.

Я увидел книги. Здесь были великолепные книги. Был Строгов с такими иллюстрациями, о каких я никогда и не слыхал. Была «Перемена мечты» с предисловием Сарагона. Был трехтомник Вальтера Минца с перепиской. Был почти весь Фолкнер, «Новая политика» Вебера, «Полюса благолепия» Игнатовой, «Неизданный Сянь Ши-куй», «История фашизма» в издании «Память человечества»... Были свежие журналы и альманахи, были карманные Лувр, Эрмитаж, Ватикан. Все было. «И тоже фонит...» — «Зато растопырочка!» — «Чушики...» Я схватил Минца, зажал два тома под мышкой и раскрыл третий. Никогда в жизни не видел полного Минца. Там были даже письма из эмиграции...

— Сколько с меня? — воззвал я.

Девицы опять уставились. Шофер подобрал губы и сел прямо.

— Что? — спросил он сипловато.

— Вы здесь хозяин? — осведомился я.

Он встал и подошел ко мне.

— Что вам надо?

— Я хочу этого Минца. Сколько с меня?

Девицы захихикали. Он молча смотрел на меня, затем снял очки.
— Вы иностранец?
— Да, я турист.
— Это самый полный Минц.
— Да я же вижу, — сказал я. — Я совсем ошалел, когда увидел.
— Я тоже, — сказал он. — Когда увидел, что вам нужно.
— Он же турист, — пискнула одна из девочек. — Он не понимает.
— Да это все без денег, — сказал шофер. — Личный фонд. В обеспечение личных потребностей.
Я оглянулся на полку с книгами.
— «Перемену мечты» вы видели? — спросил шофер.
— Да, спасибо, у меня есть.
— О Строгове я не спрашиваю. А «История фашизма»?
— Превосходное издание.
Девицы опять захихикали. Глаза у шофера выкатились.
— Бр-рысь, сопливые! — рявкнул он.
Девицы шарахнулись. Потом одна вороватым движением схватила несколько пакетов с блузками, они перебежали на другую сторону улицы и там остановились, глядя на нас.
— Р-р-растопырочки! — сказал шофер. Тонкие губы его подергивались. — Надо бросать всю эту затею. Где вы живете?
— На Второй Пригородной.
— А, в самом болоте... Пойдемте, я отвезу вам все. У меня в фургоне полный Щедрин, его я даже не выставляю, вся библиотека классики, вся «Золотая библиотека», полные «Сокровища философской мысли»...
— Включая доктора Опира?
— Сучий потрох, — сказал шофер. — Сластолюбивый подонок. Амеба. Ну его в штаны!.. А Слия вы знаете?
— Мало, — сказал я. — Он мне не понравился. Неоиндивидуализм, как сказал бы доктор Опир.
— Доктор Опир — вонючка, — сказал шофер. — А Слий — это настоящий человек. Конечно, индивидуализм. Но он, по крайней мере, говорит то, что думает, и делает то, о чем говорит... Я вам достану Слия... Послушайте, а вот это вы видели? А это?
Он зарывался в книги по локоть. Он нежно гладил их, перелистывал, на лице его было умиление.
— А это? — говорил он. — А вот такого Сервантеса, а?
К нам подошла немолодая осанистая женщина, покопалась в консервах и брюзгливо сказала:

— Опять нет датских пикулей?.. Я же вас просила.

— Идите к черту, — сказал шофер рассеянно.

Женщина остолбенела. Лицо ее медленно налилось кровью.

— Как вы посмели? — произнесла она шипящим голосом.

Шофер, сбычившись, посмотрел на нее.

— Вы слышали, что я вам сказал? Убирайтесь отсюда!

— Вы не смеете!.. — сказала женщина. — Ваш номер?

— Мой номер девяносто три, — сказал шофер. — Девяносто три, ясно? И я на вас всех плевал! Вам ясно? У вас есть еще вопросы?

— Какое хулиганство! — сказала женщина с достоинством. Она взяла две банки консервированных лакомств, поискала на прилавке глазами и аккуратно содрала обложку с журнала «Космический человек». — Я вас запомню, девяносто третий номер! Это вам не прежние времена. — Она завернула банки в обложку. — Мы еще с вами увидимся в муниципалитете...

Я крепко взял шофера за локоть. Каменная мышца под моими пальцами обмякла.

— Наглец, — сказала дама величественно и удалилась.

Она шла по тротуару, горделиво неся красивую голову с высокой цилиндрической прической. На углу она остановилась, вскрыла одну из банок и стала аккуратно кушать, доставая розовые ломтики изящными пальцами. Я отпустил руку шофера.

— Надо стрелять, — сказал он вдруг. — Давить их надо, а не книжечки им развозить. — Он обернулся ко мне. Глаза у него были измученные. — Так отвезти вам книги?

— Да нет, — сказал я. — Куда я все это дену?

— Тогда пошел вон, — сказал шофер. — Минца взял? Вот пойди и заверни в него свои грязные подштанники.

Он влез в кабину. Что-то щелкнуло, и задняя стенка стала подниматься. Было слышно, как все трещит и катится внутри фургона. На мостовую упало несколько книг, какие-то блестящие пакеты, коробки и консервные банки. Задняя стенка еще не закрылась, когда шофер грохнул дверцей, и фургон рванулся с места.

Девицы уже исчезли. Я стоял один на пустой улице с томиками Минца в руках и смотрел, как ветерок лениво листает страницы «Истории фашизма» у меня под ногами. Потом из-за угла вынырнули мальчишки в коротких полосатых штанах. Они молча прошли мимо меня, засунув руки в карманы. Один из них соскочил на мостовую и погнал перед собой ногами, как футбольный мяч, банку ананасного компота с глянцевитой красивой

этикеткой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

На пути домой меня застигла смена. Улицы наполнились автомобилями. Над перекрестками повисли вертолеты-регулировщики, и потные полицейские, ревя мегафонами, разгоняли поминутно возникающие пробки. Автомобили двигались медленно. Водители высовывали головы, переговаривались, острили, орали, прикуривали друг у друга и отчаянно сигналили. Лязгали бамперы. Все были веселы, все были добры, все так и сияли дикарской восторженностью. Казалось, с души города только что свалился какой-то тяжелый груз, казалось, все были полны каким-то завидным предвкушением. На меня и на других пешеходов показывали пальцами. Несколько раз мне поддавали бампером на перекрестках — девушки, просто так, в шутку. Одна девушка долго ехала рядом со мной по тротуару, и мы познакомились. Потом по резервной полосе прошла демонстрация людей с постными лицами. Они несли плакаты. Плакаты взывали вливаться в самодеятельный городской ансамбль «Песни отечества», вступать в муниципальные кружки кулинарного искусства, записываться на краткосрочные курсы материнства и младенчества. Людям с плакатами поддавали бамперами с особенным удовольствием. В них кидали окурки, огрызки яблок и комки жеваной бумаги. Им кричали: «Сейчас запишусь, только галоши надену!», «А я стерильный!», «Дяденька, научи материнству!» А они продолжали медленно двигаться между двух сплошных потоков автомобилей, невозмутимо, жертвенно, глядя прямо перед собой с печальной надменностью верблюдов.

Недалеко от дома на меня напала толпа девиц, и, когда я выбрался на Вторую Пригородную, в петлице у меня была пышная белая астра, на щеках сохли поцелуи, и мне казалось, что я познакомился с половиной девушек города. Вот это парикмахер! Вот это мастер!

В моем кабинете в кресле сидела Вузи в пламенно-оранжевой кофточке. Ее длинные ноги в остроносых туфлях покоились на столе, в длинных пальцах она держала тонкую длинную сигарету и, закинув голову, пускала через нос к потолку длинные плотные струи дыма.

— Наконец-то! — вскричала она, увидев меня. — Где вы пропадаете, в самом деле? Ведь я вас жду, вы что, не видите?

— Меня задержали, — сказал я, пытаясь вспомнить, точно ли я назначил ей свидание.

— Сотрите помаду, — потребовала она. — У вас дурацкий вид. А это

еще что? Книги? Зачем вам?

— Как зачем?

— С вами просто беда. Опаздывает, таскается с какими-то книгами... Или это порники?

— Это Минц, — сказал я.

— Дайте сюда. — Она вскочила и выхватила книги у меня из рук. — Боже мой, какая глупость! Все три одинаковые... А это что такое? «История фашизма»... Вы что, фашист?

— Что вы, Вузи! — сказал я.

— Тогда зачем вам это? Вы что, будете их читать?

— Перечитывать.

— Ничего не понимаю, — сказала она обиженно. — Вы мне так понравились сначала... Мама говорит, что вы литератор, я уже перед всеми расхвасталась, как дура, а вы, оказывается, чуть ли не интель!

— Как можно, Вузи! — сказал я укоризненно. Я уже понял, что нельзя допускать, чтобы тебя принимали за интеля. — Эти книженции мне понадобились просто как литератору, вот и все.

— Книженции! — Она расхохоталась. — Книженции... Смотрите, как я умею! — Она закинула голову и выпустила из ноздрей две толстые струи дыма. — Со второго раза получилось. Здорово, верно?

— Редкостные способности, — заметил я.

— А вы не смейтесь, попробуйте сами... Меня сегодня научила одна дама в Салоне. Всю меня обслюнявила, старая корова... Будете пробовать?

— А зачем это она вас слюнявила?

— Кто?

— Корова.

— Ненормальная. А может, грустица... Как вас зовут, я забыла.

— Иван.

— Потешное имя. Вы мне потом еще напомните... Вы не тунгус?

— По-моему, нет.

— Ну-у-у... А я всем сказала, что вы тунгус. Жалко... Слушайте, а почему бы нам не выпить?

— Давайте.

— Мне сегодня нужно крепко выпить, чтобы забыть эту слюнявую корову.

Она выскочила в гостиную и вернулась с подносом. Мы выпили немного бренди, посмотрели друг на друга, не нашли что сказать и выпили еще немного бренди. Я чувствовал себя как-то неловко. Не знаю, в чем здесь было дело, но она мне нравилась. Что-то чудилось мне в ней, я сам не

понимал, что именно; что-то отличало ее от длинноногих, гладкокожих красоток, годных только для постели. И по-моему, ей во мне тоже что-то чудилось.

— Прекрасная погода сегодня, — сказала она, отведя глаза.

— Жарко немного, — заметил я.

Она отхлебнула бренди, я тоже. Молчание затягивалось.

— Что вы больше всего любите делать? — спросила она.

— Когда как, а вы?

— Я тоже когда как. Вообще я люблю, чтобы было весело и ни о чем не надо думать.

— Я тоже, — сказал я. — По крайней мере, сейчас.

Она как-то подбодрилась. А я вдруг понял, в чем дело: за весь день я сегодня не встретил ни одного по-настоящему приятного человека, и мне это просто надоело. Ничего в ней не было.

— Пойдем куда-нибудь, — сказала она.

— Можно, — сказал я. Мне никуда не хотелось идти, хотелось немного посидеть в прохладе.

— Я вижу, вам не очень-то хочется, — сказала она.

— Откровенно говоря, я предпочел бы немножко посидеть.

— А тогда сделайте, чтобы было весело.

Я подумал и рассказал про коммивояжера на верхней полке. Ей понравилось, хотя соли она, по-моему, не уловила. Я ввел поправку и рассказал про президента и старую деву. Она долго хохотала, дрыгая чудными длинными ногами. Тогда я хватил бренди и рассказал про вдову, у которой на стенке росли грибы. Она сползла на пол и чуть не опрокинула поднос. Я поднял ее под мышки, водворил в кресло и выдал свою коронную историю про пьяного межпланетника и девочку из колледжа. Тут прибежала тетя Вайна и испуганно спросила, что делается с Вузи, не щекочу ли я ее. Я налил тете Вайне бренди и, обращаясь персонально к ней, рассказал про ирландца, который пожелал быть садовником. Вузи совсем зашлась, а тетя Вайна, грустно улыбнувшись, поведала, что генерал-полковник Туур любил рассказывать эту историю, когда был в хорошем настроении, только там фигурировал, кажется, не ирландец, а негр, и претендовал он на должность не садовника, а настройщика пианино. «И вы знаете, Иван, у нас эта история кончалась как-то не так», — добавила она, подумав. В этот момент я заметил, что в дверях стоит Лэн и смотрит на нас. Я помахал и улыбнулся ему. Он словно не заметил этого, и тогда я подмигнул ему и поманил его пальцем.

— С кем это вы там перемигиваетесь? — спросила Вузи ломаным от

смеха голосом.

— Это Лэн, — сказал я. Все-таки смотреть на нее было одно удовольствие, люблю смотреть, когда люди смеются, особенно такие, как Вузи, красивые и почти дети.

— Где Лэн? — удивилась она.

Лэна в дверях не было.

— Лэна нет, — сказала тетя Вайна, которая одобрительно нюхала свою рюмочку с бренди и ничего не заметила. — Мальчик сегодня пошел к Зирокам на день рождения. Если бы вы знали, Иван...

— А почему он говорит — Лэн? — спросила Вузи, снова оглядываясь на дверь.

— Лэн был здесь, — объяснил я. — Я помахал ему рукой, а он убежал. Вы знаете, он мне показался немножко диковатым.

— Ах, он у нас очень нервный ребенок, — сказала тетя Вайна. — Он родился в тяжелое время, а в этих нынешних школах совершенно не умеют подойти к нервным детям. Сегодня я отпустила его в гости.

— Мы сейчас тоже пойдем, — сказала Вузи. — Вы меня пров`одите. Я только подмалююсь, а то из-за вас у меня все размазалось. А вы пока наденьте что-нибудь приличное.

Тетя Вайна была не прочь остаться, рассказать мне еще что-нибудь и, может быть, даже показать фотоальбом Лэна, но Вузи утащила ее с собой, и я слышал, как она спрашивает мать за дверью: «Как его зовут? Все не могу запомнить... Веселый дядька, правда?» — «Вузи!..» — укоризненно внушала тетя Вайна.

Я выложил на постель весь свой гардероб и попытался сообразить, как Вузи представляет себе прилично одетого человека. До сих пор мне казалось, что я одет вполне прилично. Вузины каблучки уже выбивали в кабинете нетерпеливую чечетку. Ничего не придумав, я позвал ее.

— Это все, что у вас есть? — спросила она, сморщив нос.

— Неужели не годится?

— Да ладно, сойдет... Снимайте пиджак и надевайте вот эту гавайку... или лучше вот эту. Ну и одеваются у вас в Тунгусии... Давайте побыстрее. Нет-нет, рубашку тоже снимайте.

— Что, на голое тело?

— Знаете, вы все-таки тунгус. Вы куда собираетесь? На полюс? На Марс? Что это у вас под лопаткой?

— Пчелка укусила, — сказал я, торопливо натягивая гавайку. — Пошли.

На улице было уже темно. Люминесцентные лампы мертво светили

сквозь черную листву.

— Куда мы направляемся? — спросил я.

— В центр, конечно... Не хватайте меня под руку, жарко... Драться вы хоть умеете?

— Умею.

— Это хорошо, я люблю смотреть.

— Смотреть я тоже люблю...

Народу на улицах было гораздо больше, чем днем. Под деревьями, среди кустов, в воротах группами по нескольку человек торчали какие-то неприкаянные люди. Они остервенело курили трещащие синтетические сигареты, гоготали, небрежно и часто отплевывались и громко разговаривали грубыми голосами. Над каждой группой висел гомон радиоприемников. Под одним фонарем стучало банджо, и двое подростков, корчась и изгибаясь, отчаянно вскрикивая, плясали модный фляг, танец большой красоты, когда умеешь его танцевать. Подростки умели. Вокруг стояла компания, тоже отчаянно вскрикивала и ритмично била в ладоши.

— Может быть, станцуем? — предложил я Вузи.

— Нет уж... — прошипела она, схватила меня за руку и пошла быстрее.

— А почему нет? Вы не умеете фляг?

— Я лучше с крокодилами буду плясать, чем с этими...

— Напрасно, — сказал я. — Ребята как ребята.

— Да, каждый в отдельности, — сказала Вузи с нервным смешком. — И днем.

Они торчали на перекрестках, толпились под фонарями, угловатые, прокуренные, оставляя на тротуарах россыпи плевков, окурков и бумажек от конфет. Нервные и нарочито меланхоличные. Жаждущие, поминутно озирающиеся, сутуловатые. Они ужасно не хотели походить на остальной мир и в то же время старательно подражали друг другу и двум-трем популярным киногероям. Их было не так уж и много, но они бросались в глаза, и мне казалось, что каждый город и весь мир заполнены ими, — может быть, потому, что каждый город и весь мир принадлежали им по праву. И они были полны для меня какой-то темной тайны. Ведь я сам простаивал когда-то вечера с компанией приятелей, пока не нашлись умелые люди, которые увели нас с улицы, и потом много-много раз видел такие же компании во всех городах земного шара, где умелых людей не хватало. Но я так никогда и не смог понять до конца, какая сила отрывает, отвращает, уводит этих ребят от хороших книг, которых так много, от спортивных залов, которых предостаточно в этом городе, от обыкновенных

телевизоров, наконец, и гонит на вечерние улицы с сигаретой в зубах и транзистором в ухе — стоять, сплевывать (подальше), гоготать (попротивнее) и ничего не делать. Наверное, в пятнадцать лет из всех благ мира истинно привлекательным кажется только одно: ощущение собственной значимости и способность вызывать всеобщее восхищение или, по крайней мере, привлекать внимание. Все же остальное представляется невыносимо скучным и занудным, и в том числе, а может быть, и в особенности, те пути достижения желаемого, которые предлагает усталый и раздраженный мир взрослых...

— А вот здесь живет старый Руэн, — сказала Вузи. — У него каждый вечер новая. Устроился так, старый хрыч, что они к нему сами ходят. Во время заварушки ему оторвало ногу... Видите, у него света нет, радиолу слушают. А ведь страшный как смертный грех!

— Хорошо тому живется, у кого одна нога... — рассеянно сказал я.

Она, конечно, захихикала и продолжала:

— А вот тут живет Сус. Он рыбарь. Вот это парень!

— Рыбарь? — сказал я. — И чем же он занимается, этот Сус-рыбарь?

— Рыбарит. Что делают рыбари? Рыбарят! Или вы спрашиваете, где он служит?

— Нет, я спрашиваю, где он рыбарит.

— В метро... — Она вдруг запнулась. — Слушайте, а вы сами не рыбарь?

— Я? А что, заметно?

— Что-то в вас есть, я сразу заметила. Знаем мы этих пчелок, которые кусают в спину.

— Неужели? — сказал я.

Она взяла меня под руку.

— Расскажите что-нибудь, — сказала она, подлащиваясь. — У меня никогда не было знакомых рыбарей. Вы ведь мне что-нибудь расскажете?

— А как же... Рассказать про летчика и корову?

Она подергала меня за локоть.

— Нет, правда...

— Какой жаркий вечер! — сказал я. — Хорошо, что вы сняли с меня пиджак.

— Все равно ведь все знают. И Сус рассказывает, и другие...

— Вот как? — спросил я с интересом. — И что же рассказывает Сус?

Она сразу отпустила мою руку.

— Я сама не слыхала... Девчонки рассказывали.

— И что же рассказывали девчонки?

— Ну... мало ли что... Может быть, они врут все. Может, Сус вовсе тут ни при чем...

— Гм... — сказал я.

— Ты только не подумай про Суса, он хороший парень и очень молчаливый.

— Чего ради я стану думать про Суса? — сказал я, чтобы ее успокоить. — Я его и в глаза не видел.

Она опять взяла меня под руку и с энтузиазмом сказала, что сейчас мы выпьем.

— Сейчас самое время нам с тобой выпить, — сказала она.

Она уже прочно была со мной на «ты». Мы свернули за угол и вышли на магистраль. Здесь было светлее, чем днем. Сияли лампы, светились стены, разноцветными огнями полыхали витрины. Это был, вероятно, один из кругов Амадова рая. Но я представлял себе все это как-то иначе. Я ожидал ревущие оркестры, кривляющиеся пары, полуголых и голых людей. А здесь было довольно спокойно. Народу было много, и, по-моему, все были пьяны, но все были отлично и разнообразно одеты, и все были веселы. И почти все курили. Ветра не было ни малейшего, и волны сизого табачного дыма качались вокруг ламп и фонарей, как в накуренной комнате. Вузи затащила меня в какое-то заведение, высмотрела знакомых и удрала, пообещав найти меня позже. Народ в заведении стоял стеной. Меня прижали к стойке, и я опомниться не успел, как проглотил рюмку горькой. Пожилой коричневый дядя с желтыми белками гудел мне в лицо:

— ...Куэн повредил ногу, так? Брош пошел в артики и теперь никуда не годен. Это уже трое, так? А справа у них нет никого, Финни у них справа, а это еще хуже, чем никого. Официант он, вот и все. Так?

— Что вы пьете? — спросил я.

— Я вообще не пью, — с достоинством ответил коричневый, дыша сивухой. — У меня желтуха. Слыхали про такое?

Позади меня кто-то сверзился с табурета. Шум то стихал, то усиливался. Коричневый, надсаживаясь, выкрикивал историю про какого-то типа, который на работе повредил шланг и чуть не умер от свежего воздуха. Понять что-нибудь было трудно, потому что разнообразные истории выкрикивались со всех сторон.

— ...Он, дурак, успокоился и ушел, а она вызвала грузотакси, погрузила его барахло и велела свезти за город и там все вывалить...

— ...А я твой телевизор к себе и в сортир не повешу. Лучше «Омеги» все равно ничего не придумать, у меня есть сосед, инженер, он так прямо и говорит. Лучше, говорит, «Омеги» ничего не придумать...

— ...Так у них свадебное путешествие и закончилось. Вернулись они домой, отец его в гараж заманил — а отец у него боксер — и там его исхлестал, ну, до потери сознания, врача потом вызывали...

— ...Ну ладно, взяли мы на троих... А правило у них знаешь какое: бери все, что захочешь, но сглотай все, что берешь. А он уже завелся. Берем, говорит, еще... А они уже ходят рядом и смотрят... Ну, думаю, хватит, пора рвать когти...

— ...Деточка, да я бы с твоим бюстом горя бы не знал, такой бюст раз на тысячу встречается, ты не думай, что я тебе комплименты говорю, я комплиментов не люблю...

На опустевший табурет рядом со мной вскарабкалась поджарая девчонка с челкой до кончика носа и принялась стучать кулачками по стойке, крича: «Бармен! Бармен! Пить!» Гомон опять немного стих, и я услышал, как позади двое переговариваются трагическим полушепотом: «А где достал?» — «У Бубы. Знаешь Бубу? Инженер...» — «И что, настоящий?» — «Жуть, сдохнуть можно!» — «Там еще какие-то таблетки нужны...» — «Тихо, ты...» — «Да ладно, кто нас слушает... Есть у тебя?» — «Буба дал один пакетик, он говорит, этого в любой аптеке навалом... Во, смотри...» Пауза. «Де... Девон... Что это такое?» — «Лекарство какое-то, почем я знаю...» Я обернулся. Один был краснощекий, в расстегнутой до пупа рубашке, с волосатой грудью. А другой был какой-то изможденный, с пористым носом. Оба смотрели на меня.

— Выпьем? — предложил я.

— Алкоголик, — сказал пористый нос.

— Не надо, не надо, Пэт, — сказал краснощекий. — Не заводись, пожалуйста.

— Если нужен «Девон», могу ссудить, — громко сказал я.

Они отшатнулись. Пористый нос принялся осторожно озираться. Краем глаза я заметил, что несколько лиц повернулись в нашу сторону и выжидательно застыли.

— Пошли, Пэт, — сказал вполголоса краснощекий. — Пошли, ну его совсем.

Кто-то положил руку мне на плечо. Я оглянулся и увидел загорелого красивого мужчину с мощными мышцами.

— Да? — сказал я.

— Приятель, — сказал он доброжелательно, — брось ты это дело. Брось, пока не поздно. Ты «Носорог»?

— Я гиппопотам, — сострил я.

— Не нужно, я серьезно. Тебя, может, побили?

— До синяков.

— Ладно, не расстраивайся. Сегодня тебя, завтра ты... А «Девон» и все прочее — это дрянь, ты уж мне поверь. Много на свете дряни, а это уж всем дряням дрянь, понимаешь?

Девочка с челкой посоветовала мне:

— Тресни ему по зубам, чего он суется... Шпик паршивый...

— Налакалась, дура, — спокойно сказал загорелый и повернулся к нам спиной. Спина у него была огромная, обтянутая полупрозрачной рубашкой и вся в круглых буграх мускулов.

— Не твое дело, — сказала девочка ему в спину. Затем она сказала мне: — Слушай, друг, позови бармена, я никак не докричусь.

Я отдал ей свой стакан и спросил:

— Чем бы заняться?

— А сейчас все пойдем, — ответила девочка. Проглотив спиртное, она сразу осоловела. — А заняться — это как повезет. Не повезет, так никуда не пробьешься. Или деньги нужны, если к меценатам. Ты приезжий, наверное? У нас эту горькую никто не пьет. Как там у вас, рассказал бы... Не пойду я сегодня никуда, пойду в Салон. Настроение паршивое, ничего не помогает... Мать говорит: заведи ребенка. А ведь тоже скука, на что он мне сдался...

Она закрыла глаза и опустила подбородок на сплетенные пальцы. Вид у нее был какой-то наглый и обиженный одновременно. Я попытался ее расшевелить, но она перестала обращать на меня внимание и вдруг снова принялась орать: «Бармен! Пи-ить! Ба-армен!» Я поискал глазами Вузи. Ее нигде не было видно. Кафе стало пустеть. Все куда-то заспешили. Я тоже слез с табурета и вышел. По улицам потоком шли люди. Все они шли в одном направлении, и минут через пять меня вынесло на площадь. Площадь была большая и плохо освещенная — широкое сумрачное пространство, окаймленное световым кольцом фонарей и витрин. И она была полна людьми.

Люди стояли вплотную друг к другу, мужчины и женщины, подростки, парни и девушки, переминались с ноги на ногу и чего-то ждали. Разговоров почти не было слышно. То там, то здесь разгорались огоньки сигарет, озаряя сжатые губы и втянутые щеки. Потом в наступившей тишине начали бить часы, и над площадью ярко вспыхнули гигантские плафоны. Их было три: красный, синий и зеленый, неправильной формы, в виде закругленных треугольников. Толпа колыхнулась и замерла. Вокруг меня тихонько задвигались, гася сигареты. Плафоны на мгновение погасли, а затем начали вспыхивать и гаснуть поочередно: красный — синий — зеленый, красный

— синий — зеленый... Я ощутил на лице волну горячего воздуха, вдруг закружилась голова. Вокруг шевелились. Я поднялся на цыпочки. В центре площади люди стояли неподвижно; было такое впечатление, словно они оцепенели и не падают только потому, что сжаты толпой. Красный — синий — зеленый, красный — синий — зеленый... Одеревеневшие запрокинутые лица, черные разинутые рты, неподвижные вытаращенные глаза. Они там даже не мигали под плафонами... Стало совсем уж тихо, и я вздрогнул, когда пронзительный женский голос неподалеку крикнул: «Дрожка!» И сейчас же десятки голосов откликнулись: «Дрожка! Дрожка!» Люди на тротуарах по периметру площади начали размеренно хлопать в ладоши в такт вспышкам плафонов и скандировать ровными голосами: «Дрож-ка! Дрож-ка! Дрож-ка!» Кто-то уперся мне в спину острым локтем. На меня навалились, толкая вперед, к центру площади, под плафоны. Я сделал шаг, другой, а затем двинулся через толпу, расталкивая оцепеневших людей. Двое подростков, застывших, как сосульки, вдруг бешено забились, судорожно хватая друг друга, царапаясь и колотя изо всех сил, но их неподвижные лица по-прежнему были запрокинуты к вспыхивающему небу... Красный — синий — зеленый, красный — синий — зеленый. И так же неожиданно подростки вдруг замерли. И тут, наконец, я понял, что все это необычайно весело. Мы все хохотали. Стало просторно, загремела музыка. Я подхватил славную девочку, и мы пустились в пляс как раньше, как надо, как давным-давно, как всегда, беззаботно, чтобы кружилась голова, чтобы все нами любовались, а мы отошли в сторонку, и я не отпускал ее руки, и совсем ни о чем не надо было говорить, и она согласилась, что шофер — очень странный человек. Терпеть не могу алкоголиков, сказал Римайер, этот пористый нос — самый настоящий алкоголик, а как же «Девон», сказал я, как же без «Девона», когда у нас замечательный зоопарк, быки любят лежать в трясине, а из трясины все время летит мошкара, Рим, сказал я, какие-то дураки сказали, что тебе пятьдесят лет, вот еще вздор какой, больше двадцати пяти я тебе не дам, а это Вузи, я ей про тебя рассказывал, так я же вам мешаю, сказал Римайер, нам никто не может помешать, сказала Вузи, а это Сус, самый лучший рыбарь, он схватил ляпник и попал скату прямо в глаз, и Хугер поскользнулся и упал в воду, не хватает, чтобы ты потонул, сказал Хугер, гляди, у тебя уже плавки растворились, какой вы смешной, сказал Лэн, это же есть такая игра в гангстера и мальчика, помните, вы играли с Марией... Ах, как мне хорошо, почему мне еще никогда в жизни не было так хорошо, так обидно, ведь могло быть так хорошо каждый день, Вузи, сказал я, какие мы все молодцы, Вузи, у людей никогда не было такой важной задачи,

Вузи, и мы ее решили, была лишь одна проблема, одна-единственная в мире, вернуть людям духовное содержание, духовные заботы, нет, Сус, сказала Вузи, я тебя очень люблю, Оскар, ты такой славный, но прости меня, пожалуйста, я хочу, чтобы это был Иван, я обнял ее и догадался, что ее можно поцеловать, и я сказал, я люблю тебя...

Бах! Бах! Бах! Что-то стало с треском лопаться в ночном небе, и на нас посыпались острые звонкие осколки, и сразу сделалось холодно и неудобно. Это были пулеметные очереди. Загремели пулеметные очереди. «Ложись, Вузи!» — заорал я, хотя еще ничего не сообразил, и бросил ее на землю, и упал на нее, чтобы прикрыть от пуль, и тут меня стали бить по лицу...

Тра-та-та-та-та... Вокруг меня частоколом торчали одеревеневшие люди. Некоторые стали приходить в себя и обалдело шевелили белками. Я полулежал на груди твердого, как скамейка, человека, и прямо перед моими глазами была его широко раскрытая пасть с блестящей слюной на подбородке... Синий — зеленый, синий — зеленый, синий — зеленый... Чего-то не хватало. Раздавались пронзительные вопли, ругань, кто-то бился и визжал в истерике. Над площадью нарастал густой механический рев. Я с трудом поднял голову. Плафоны были прямо надо мной, синий и зеленый равномерно вспыхивали, а красный погас, и с него сыпался стеклянный мусор. Тра-та-та-та-та!.. — и сейчас же лопнул и погас зеленый плафон. А в свете синего неторопливо проплыли распахнутые крылья, с которых срывались красноватые молнии выстрелов.

Я опять попытался броситься на землю, но это было невозможно, все они вокруг стояли, как столбы. Что-то гадко треснуло совсем недалеко от меня, взвился султан желто-зеленого дыма, и пахнуло отвратительной вонью. Пок! Пок! Еще два султана повисли над площадью. Толпа взвыла и заворочалась. Желтый дым был едкий, как горчица, у меня потекли слезы и слюни, я заплакал и закашлял, и вокруг все тоже заплакали, закашляли и хрипло завопили: «Сволочи! Хулиганы! Бей интелей!..» Снова послышался нарастающий рев мотора. Самолет возвращался. «Да ложитесь же, идиоты!» — закричал я. Все вокруг меня повалились друг на друга. Тра-та-та-та-та!.. На этот раз пулеметчик промахнулся, и очередь пришлась по дому напротив, зато газовые бомбы снова легли точно в цель. Огни вокруг площади погасли, погас синий плафон, и в кромешной тьме началась свалка.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Не знаю, как я добрался до этого фонтана. Наверное, у меня здоровые инстинкты, а обыкновенная холодная вода — это было как раз то, что нужно. Я полез в воду, не раздеваясь, и лег. Мне сразу стало легче. Я лежал на спине, на лицо мне сыпались брызги, и это было необычайно приятно. Здесь было совсем темно, сквозь ветви и воду просвечивали неяркие звезды, и было совсем тихо. Несколько минут я почему-то следил за звездой поярче, медленно двигавшейся по небу, пока не сообразил, что это ретрансляционный спутник «Европа», и подумал, как это далеко отсюда, и как это обидно и бессмысленно, если вспомнить безобразную кашу на площади, отвратительную ругань и визг, мокротное харканье газовых бомб и тухлую вонь, выворачивающую наизнанку желудок и легкие. Понимая свободу как приумножение и скорое утоление потребностей, вспомнил я, искажают природу свою, ибо зарождают в себе много бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок... Бесценный Пек обожал цитировать старца Зосиму, когда кружил с потиранием рук вокруг накрытого стола. Тогда мы были сопливыми курсантами и совершенно серьезно воображали, будто такого рода изречения годятся в наше время лишь для того, чтобы блеснуть эрудицией и чувством юмора...

Тут кто-то шумно рухнул в воду шагах в десяти от меня.

Сначала он хрипло кашлял, отхаркивался и сморкался, так что я поспешил выбраться из воды, потом принялся плескаться, ненадолго совсем затих и вдруг разразился бранью.

— Гниды бесстыжие, — рычал он, — пр-р-роститутки... Дерьмо свинячье, стервы... По живым людям! Гиены вонючие, пархатые суки... Слегачи образованные, гады... — Он снова яростно отхаркался. — Свербит у них в заднице, что люди развлекаются... На щеку наступили, сволочи... — Он болезненно охнул в нос. — Провались они с этой дрожкой, чтобы я туда еще раз пошел...

Он опять застонал и поднялся. Было слышно, как с него льет. Я смутно различал во мраке его шатающуюся фигуру. Он тоже меня заметил.

— Эй, друг, закурить нету? — окликнул он.

— Было, — сказал я.

— Суки, — сказал он. — Я тоже не догадался вынуть. Так во всем и плюхнулся. — Он прошлепал ко мне и присел рядом. — Болван какой-то на щеку наступил, — сообщил он.

— По мне тоже прошлись, — сочувственно сказал я. — Ошалели все.

— Нет, ты мне скажи, откуда они слезогонку берут? — сказал он. — И пулеметы.

— И самолеты, — добавил я.

— Самолет что! — возразил он. — Самолет у меня у самого есть. Купил по дешевке, всего семьсот крон... Чего им надо, вот что я не понимаю!

— Хулиганье, — сказал я. — Набить им как следует морду, вот и весь разговор...

Он желчно рассмеялся.

— Как же, набил один такой!.. Они тебя так отделают... Ты думаешь, их не били? Еще как били! Да, видно, мало... Их надо было в землю вбить, с пометом ихним вместе, а мы прозевали... А теперь они нас бьют. Народ мягкий стал, вот что я тебе скажу. Всем на все наплевать. Отбарабанил свои четыре часика, выпил — и на дрожку, и бей ты его хоть из пушки. — Он в отчаянии хлопнул себя по мокрым бокам. — Ведь были же, говорят, времена! — завопил он. — Ведь пикнуть же не смели! Чуть из них кто вякнет — ночью к нему в белых балахонах или там в черных рубашках, дадут в зубы с хрустом и в лагерь, чтоб не вякал... В школах, сын рассказывает, все фашистов поносят: ах, негров обижали, ах, ученых совсем затравили, ах, лагеря, ах, диктатура! Да не травить надо было, а в землю вбивать, чтобы на развод не осталось! — Он с длинным хлюпаньем провел ладонью под носом. — Завтра на работу с утра, а мне всю морду свезло... Пойдем выпьем, а то еще простудимся...

Мы пролезли через кусты и выбрались на улицу.

— Тут за углом «Ласочка», — сообщил он.

«Ласочка» была полна мокроволосыми полуголыми людьми. По-моему, все были подавлены, как-то смущены и мрачно хвастались друг перед другом синяками и ссадинами. Несколько девушек в одних трусиках, сгрудившись вокруг электрокамина, сушили юбки — их платонически похлопывали по голому. Мой спутник сразу пролез в толпу и, размахивая руками и поминутно сморкаясь в два пальца, стал призывать «вколотить их, сволочей, в землю по самые уши». Ему вяло поддакивали.

Я спросил русской водки, а когда девушки отошли и оделись, снял гавайку и подсел к камину. Бармен поставил передо мной стакан и снова вернулся за стойку к пухлому журналу — решать кроссворд. Публика разговаривала.

— ...И чего, спрашивается, стрелять? Не настрелялись, что ли? Как маленькие, ей-богу... Добро только портят.

— Бандиты, хуже гангстеров, а только как хотите, дрожка эта — тоже гадость...

— Это точно. Давеча моя говорит, я, говорит, тебя, папа, видела, ты, говорит, папа, синий был, как покойник, и очень уж страшный, а ей всего-то десять лет, каково мне было в глаза ей смотреть, а?..

— Эй, кто-нибудь, — сказал бармен, не поднимая головы. — Развлечение из четырех букв, это что?

— Ну, хорошо. А кто все это выдумал? И дрожку, и ароматьеры... А? Вот то-то...

— Если промокнешь, лучше всего бренди.

— ...Ждали мы его на мосту. Смотрим, идет, очкарик, и трубу такую несет со стеклами. Мы его ка-ак взяли — и с моста. С очками вместе и с трубой, только ногами дрыгнул... А потом Ноздря прибегает, в сознание его, значит, привели, посмотрел с моста, как тот булькает. Ребята, говорит, да вы что, пьяные? Это же совсем не тот, я этого, говорит, в первый раз вижу...

— А по-моему, надо издать закон: если ты семейный, нечего на дрожку шляться...

— Эй, кто-нибудь, — сказал бармен. — А как будет литературное произведение из семи букв? «Книжка», что ли?..

— ...Так у меня у самого во взводе было четыре интеля, пулеметчики. Совершенно правильно, дрались, как черти. Я помню, мы с пакгаузов удирали — ну, знаете, там еще теперь фабрику строят, — и вот двое остались прикрывать. Между прочим, никто их не просил, вызвались исключительно сами. А потом вернулись мы, а они висят рядышком на мостовом кране, голые, и все у них калеными щипцами повыдергано. Вот так, понял? А теперь я думаю: где остальные двое сегодня, скажем, были? Может, они меня же слезогонкой угощали, ведь такие могут вполне...

— Мало ли кого вешали... Нас тоже вешали за разные места.

— В землю их вколотить до ноздрей, и все тут!

— Я пойду. Чего тут сидеть... У меня уже изжога началась. А там, наверное, все починили...

— Эй, бармен, девочки! По последней!

Гавайка моя высохла. Я оделся и, когда кафе опустело, перебрался за столик и стал смотреть, как в углу два изысканно одетых пожилых господина тянут через соломинку коктейль. Они сразу бросались в глаза — оба, несмотря на очень теплую ночь, в строгих черных костюмах и при черных галстуках. Они не разговаривали, а один все время поглядывал на часы. Потом я отвлекся. Ну, доктор Опир, как вам показалась эта дрожка?

Вы были на площади? Да нет, вы, конечно, не были. А зря. Интересно было бы знать, что вы об этом думаете. Впрочем, черт с вами. Какое мне дело до того, что думает доктор Опир? Что я сам об этом думаю? Что ты об этом думаешь, ты, высококачественное парикмахерское сырье? Скорей бы акклиматизироваться. Не забивайте мне голову индукцией, дедукцией и техническими приемами. Самое главное — побыстрей акклиматизироваться. Почувствовать себя своим среди них... Вот все они опять пошли на площадь. Несмотря на то, что произошло, они все-таки снова пошли на площадь. А у меня нет ну ни малейшего желания идти на эту площадь. Я бы с удовольствием пошел сейчас домой и опробовал бы свою новую кровать. А когда же к рыбарям? Интели, «Девон» и рыбари. Интели — видимо, это местная золотая молодежь? «Девон»... «Девон» надо иметь в виду. Вместе с Оскаром. Теперь рыбари...

— ...И все-таки рыбари — это немного вульгарно, — негромко, но отнюдь не шепотом объявил один из черных костюмов.

Я прислушался.

— Все зависит от темперамента, — возразил другой. — Лично я нисколько не осуждаю Карагана.

— Карагана я тоже не осуждаю. Но немного шокирует то, что он забрал свой пай. Джентльмен так не поступил бы.

— Простите, но Караган не джентльмен. Он всего лишь директор-распорядитель. Отсюда и мелочность, и меркантильность, и некоторая, я бы сказал, мужиковатость...

— Не будем так строги. Рыбари — это интересно. И честно говоря, я не вижу оснований, почему бы нам не заниматься этим. Старое Метро — это вполне респектабельно. Уайлд элегантнее Нивеля, но мы же не отказываемся на этом основании от Нивеля...

— И вы серьезно готовы?..

— Да хоть сейчас... Кстати, без пяти два. Пойдемте?

Они поднялись, вежливо-дружески попрощались с барменом и пошли к выходу — элегантные, спокойные, снисходительно-высокомерные. Это было удивительной удачей. Я громко зевнул и, проговорив: «На площадь пойти...», последовал за ними, раздвигая табуретки. Улица была еле освещена, но я сразу увидел их. Они не торопились. Тот, что шел справа, был пониже, и, когда они проходили под фонарями, было видно, что волосы у него мягкие и редкие. По-моему, они больше не разговаривали.

Они обогнули сквер, свернули в совсем темный переулок, отшатнулись от пьяного человека, попытавшегося с ними заговорить, и вдруг резко, так ни разу и не оглянувшись, нырнули в сад перед большим мрачным домом.

Я услышал, как гулко хлопнула тяжелая дверь. Было без двух минут два.

Я отпихнул пьяного, вошел в сад и присел на выкрашенную серебряной краской скамейку в кустах сирени. Скамейка была деревянная, дорожка, ведущая через сад, посыпана песком. Подъезд дома освещался синей лампочкой, и я разглядел две кариатиды, держащие балкон над дверью. На вход в метро это не было похоже, но это еще ничего не значило, и я решил подождать.

Ждать пришлось недолго. Зашуршали шаги, и на дорожке появилась темная фигура в накидке. Это была женщина. Я не сразу понял, почему мне показалась знакомой ее гордо поднятая голова с высокой цилиндрической прической, в которой блестели под звездами крупные камни. Я встал ей навстречу и произнес, стараясь придать голосу насмешливо-почтительные интонации:

— Опаздываете, сударыня, уже третий час.

Она нисколько не испугалась.

— Да что вы говорите? — воскликнула она. — Неужели мои часы отстают?

Это была та самая женщина, которая повздорила с шофером фургона, но она, конечно, не узнала меня. Женщины с такой брезгливой нижней губой никогда не помнят случайных встречных. Я взял ее под руку, и мы поднялись по широким каменным ступенькам. Дверь оказалась тяжелой, как крышка реакторного колодца. В вестибюле никого не было. Женщина, не оглядываясь, сбросила мне на руки накидку и пошла вперед, а я задержался на секунду, оглядывая себя в огромном зеркале. Молодец мастер Гаоэй, но держаться мне все-таки рекомендуется в тени. Мы вошли в зал.

Нет, это было что угодно, но только не метро. Зал был большой и невероятно старомодный. Стены были обшиты черным деревом, на высоте пяти метров проходила галерея с балюстрадой. С расписного потолка грустно улыбались одними губами розовые белокурые ангелы. Почти всю площадь зала занимали ряды мягких кресел, обитых тисненой кожей и очень массивных на вид. В креслах, небрежно развалясь, располагались роскошно одетые люди, большей частью пожилые мужчины. Они смотрели в глубину зала, где на фоне черного глубокого бархата сияла ярко подсвеченная картина.

На нас никто не оглянулся. Дама проплыла в передние ряды, а я присел в кресло поближе к двери. Теперь я был почти совершенно уверен, что пришел сюда зря. В зале молчали и покашливали, от толстых сигар мирно тянулись синеватые струйки дыма, многочисленные лысины

покойно сияли под электрической люстрой. Я обратился к картине. Я неважный знаток живописи, но, по-моему, это был Рафаэль, и если не подлинный, то весьма совершенная копия.

Грянул густой медный удар, и в ту же секунду рядом с картиной возник высокий худой человек в черной маске, весь от шеи до ногтей облитый черным трико. За ним, прихрамывая, следовал горбатенький карлик в красном балахоне. В коротких вытянутых лапках карлик держал огромный тускло отсвечивающий меч самого зловещего вида. Он замер справа от картины, а замаскированный человек выступил вперед и глухо заговорил:

— В соответствии с законами и установлениями благородного сообщества меценатов и во имя искусства святого и неповторимого, властью, данной мне вами, я рассмотрел историю и достоинства этой картины, и теперь...

— Прошу остановиться! — раздался позади меня резкий голос.

Все обернулись. Я тоже обернулся и увидел, что на меня в упор глядят трое молодых, видимо, очень сильных людей в изысканно старомодных темных костюмах. У одного в правой глазнице блестел монокль. Несколько секунд мы разглядывали друг друга, затем человек с моноклем, дернув щекой, уронил монокль. Я сейчас же встал. Они разом двинулись на меня, ступая мягко и неслышно, как кошки. Я попробовал кресло — оно было слишком массивное. Они кинулись. Я встретил их как мог, и сначала все шло хорошо, но очень быстро я понял, что у них кастеты, и еле успел увернуться. Я прижался спиной к стене и смотрел на них, а они, тяжело дыша, смотрели на меня. Их еще оставалось двое. В зале покашливали. С галереи по деревянной лестнице поспешно спускались еще четверо, ступеньки скрипели и визжали на весь зал. Плохо дело, подумал я и бросился на прорыв.

Это была тяжелая работа, совсем как в Маниле, но там нас было двое. Уж лучше бы они стреляли, тогда бы я отобрал у кого-нибудь пистолет. Но они все шестеро встретили меня кастетами и резиновыми дубинками. Счастье еще, что было очень тесно. Левая рука у меня вышла из строя, когда четверо вдруг отскочили, а пятый окатил меня из плоского блестящего баллона какой-то холодной мерзостью. И сейчас же в зале погас свет.

Эти штучки были мне знакомы: теперь они меня видели, а я их — нет. И мне бы, наверное, пришел конец, но тут какой-то дурак распахнул дверь и жирным басом провозгласил: «Прошу прощения, я ужасно опоздал и так сожалею...» Я ринулся на свет по падающим телам, смел с ног

опоздавшего, пролетел через вестибюль, вышиб парадную дверь и, придерживая левую руку правой, пустился бежать по песчаной дорожке. Никто меня не преследовал, но я пробежал две улицы, прежде чем догадался остановиться.

Я повалился на газон и долго лежал в жесткой траве, хватая ртом теплый парной воздух. Сразу собрались любопытные. Они стояли полукругом и глазели с жадностью, даже не переговаривались. «Пошли вон...» — сказал я наконец, поднимаясь. Они поспешно разошлись. Я постоял, соображая, где нахожусь, а затем побрел домой. На сегодня с меня было достаточно. Я так ничего и не понял, но с меня было вполне достаточно. Кто бы они ни были, эти члены благородного сообщества меценатов, — тайные поклонники искусства, или недобитые аристократы-заговорщики, или еще кто-нибудь, — дрались они больно и беспощадно, и самым большим дураком у них в зале был все-таки, по-видимому, я.

Я миновал площадь, где опять размеренно вспыхивали цветные плафоны и сотни истерических глоток орали: «Дрож-ка! Дрож-ка!» И этого с меня хватит. Приятные сны, конечно, всегда лучше неприятной действительности, но живем-то мы не во сне... В заведении, куда меня приводила Вузи, я выпил бутылку ледяной минеральной воды, поглазел, отдыхая, на наряд полиции, мирно расположившийся у стойки, потом вышел и свернул на свою Пригородную. За левым ухом у меня наливалась гуля величиной с теннисный мяч. Меня покачивало, и я шел медленно, держась поближе к изгороди. Потом я услыхал за спиной стук каблуков и голоса.

— ...Твое место было в музее, а не в кабаке!

— Ничего подобного... Я не пьян. Как в-вы не понимаете, всего одна бутылка м-мозеля...

— Гадость какая! Напился, подцепил девку...

— При чем здесь девка? Это одна н-натурщица...

— Подрался из-за девки, заставил нас драться из-за девки...

— К-какого черта вы верите им и не верите мне?

— Да потому, что ты пьян! Ты подонок, такой же, как они, даже хуже...

— Ничего! Того мер-рзавца с браслетом я оч-чень хорошо запомнил... Не держите меня! Я сам пойду!..

— Ничего ты, братец, не запомнил. Очки с тебя сбили моментально, а без очков ты не человек, а слепая кишка... Не брыкайся, а то в фонтан!

— Я тебя предупреждаю, еще одна такая выходка, и мы тебя выгоним. Пьяный культуртрегер — какая гадость!

— Да не читай ты ему морали, дай человеку проспаться...

— Р-ребята! Вот он, м-мерзавец!..

Улица была пуста, и мерзавцем, очевидно, был я. Я уже мог сгибать и разгибать левую руку, но мне было еще очень больно, и я остановился, чтобы пропустить их. Их было трое. Это были молодые парни в одинаковых каскетках, сдвинутых на глаза. Один, плотный и приземистый, явно веселясь, очень крепко держал под руку другого, рослого, мордастого, с разболтанными движениями и неожиданными порывами. Третий, худой и длинный, с узким темным лицом, шел поодаль, держа руки за спиной. Поравнявшись со мной, разболтанный верзила решительно затормозил. Приземистый парень попытался сдвинуть его с места, но тщетно. Длинный прошел несколько шагов и тоже остановился, нетерпеливо глядя через плечо.

— Попался, с-скотина! — заорал пьяный, порываясь схватить меня за грудь свободной рукой.

Я отступил к забору и сказал, обращаясь к приземистому:

— Я вас не трогал.

— Перестань безобразничать! — резко сказал длинный издали.

— Я тебя а-атлично запомнил! — орал пьяный. — От меня не уйдешь! Я с тобой посчитаюсь!

Он рывками надвигался на меня, волоча за собой приземистого, который вцепился в него, как полицейский бульдог.

— Да это не тот! — уговаривал приземистый, которому было очень весело. — Тот же на дрожку пошел, а этот трезвый...

— М-меня не обманешь...

— Предупреждаю в последний раз, мы тебя выгоним!

— Испугался, мер-рзавец! Браслет снял!

— Ты же его не видишь! Ты же без очков, балда!..

— Я все а-атлично вижу!.. А если даже и не тот...

— Прекрати, наконец!..

Длинный все-таки подошел и вцепился в пьяного с другой стороны.

— Да проходите вы! — сказал он мне раздраженно. — Что вы, в самом деле, тут остановились? Пьяного не видели?

— Не-ет, от меня не уйдешь!

Я пошел своей дорогой. До дома было уже недалеко. Компания шумно тащилась следом.

— Если угодно, я его насквозь в-вижу! Царь пр-рироды... Напился до р-рвоты, н-набил кому-нибудь мор-рду, сам получил как следует, и н-ничего ему больше не надо... Пу-пустите, я ему навешаю по чавке...

— До чего ты докатился, ведем тебя, как гангстера...

— А ты меня не в-веди!.. Я их ненавижу!.. Дрожки... Водки... Бабы... Студень безмозглый...

— Да, конечно, успокойся... Только не падай.

— Довольно ур-п... упреков!.. Вы мне надоели вашим фарисейством... пу-ри-тант... танством... Нужно рвать! Стрелять! Всех стереть с лица з-земли!

— Ох и нализался! А я было решил, что он совсем протрезвел...

— Я тр-резв! Я все помню. Двадцать восьмого... Что, не так?

— Заткнись, балда!

— Ч-ш-ш-ш-ш! Вер-рна! Враг начеку... Ребята, тут был где-то шпик... Я же с ним разговаривал... Браслет, сволочь, с-снял... Но я этого стукача еще до двадцать восьмого...

— Да замолчи ты!

— Ч-ш-ш-ш-ш! Все! И ни слова больше... И не беспокойтесь, минометы за мной...

— Я его сейчас убью, этого подонка...

— Па вр-врагам сци... цивилизации... Полторы тысячи литров слезогонки — лично... Шесть секторов... Э-эк!

Я был уже у ворот своего дома. Когда я оглянулся, пьяный лежал лицом вниз, приземистый сидел над ним на корточках, а длинный стоял поодаль и потирал левой рукой ребро ладони правой.

— Ну зачем ты это сделал? — сказал приземистый. — Ты же его искалечил.

— Хватит болтовни, — сказал длинный яростно. — Никак не отучимся болтать. Никак не отучимся пить водку. Хватит.

Будем как дети, доктор Опир, подумал я, по возможности бесшумно проскальзывая во двор. Я придержал створки ворот, чтобы они не щелкнули, закрываясь.

— А где этот? — спросил длинный, понижая голос.

— Кто?

— Этот тип, который шел впереди...

— Свернул куда-то...

— Куда, ты не заметил?

— Слушай, мне было не до него.

— Жаль... Ну ладно, бери его и пошли.

Отступив в тень яблонь, я смотрел, как они проволокли пьяного мимо ворот. Пьяный страшно хрипел.

В доме было тихо. Я прошел к себе, разделся и принял горячий душ. Гавайка и шорты попахивали слезогонкой и были покрыты жирными

пятнами светящейся жидкости. Я бросил их в утилизатор. Затем я осмотрелся перед зеркалом и еще раз подивился, как легко отделался: желвак за ухом, порядочный синяк на левом плече и несколько ссадин на ребрах. Да ободранные кулаки.

На ночном столике я обнаружил извещение, в котором мне почтительно предлагалось внести деньги за квартиру за первые тридцать суток. Сумма оказалась изрядной, но вполне терпимой. Я отсчитал несколько кредиток и сунул их в предусмотрительно оставленный конверт, а затем лег на кровать, закинув здоровую руку за голову. Простыни были прохладные, хрустящие, в открытое окно вливался солоноватый морской воздух. Над ухом уютно сопел фонор. Я собирался немного подумать перед сном, но был слишком измотан и быстро задремал.

Что-то разбудило меня, и я открыл глаза и насторожился, прислушиваясь. Где-то недалеко не то плакали, не то пели тонким детским голосом. Я осторожно поднялся и высунулся из окна. Тонкий прерывающийся голос бормотал: «...В гробах мало побыв, выходят и живут, как живые среди живых...» Послышалось всхлипывание. Издалека, словно комариный звон, доносилось: «Дрож-ка! Дрож-ка!» Жалобный голос произнес: «...Кровь с землей замешав, не поест...» Я подумал, что это пьяная Вузи плачет и причитает в своей комнате наверху, и позвал вполголоса: «Вузи!» Никто не отозвался. Тонкий голос выкрикнул: «Уйди от волос моих, уйди от мяса моего, уйди от костей моих!» — и я понял, кто это. Я перелез через подоконник, спрыгнул в траву и вошел в сад, прислушиваясь к всхлипываниям. Между деревьями показался свет, и скоро я наткнулся на гараж. Ворота были полуоткрыты, я заглянул внутрь. Там стоял огромный блестящий «опель». На монтажном столике горели две свечи. Пахло ароматическим бензином и горячим воском.

Под свечами на шведской скамейке сидел Лэн в белой до пяток рубашке и босиком, с толстой потрепанной книгой на коленях. Широко раскрытыми глазами он смотрел на меня, и лицо его было совсем белое и окаменевшее от ужаса.

— Ты что здесь делаешь? — громко спросил я и вошел.

Он молча смотрел на меня, затем начал дрожать. Я услышал, как стучат его зубы.

— Лэн, дружище, — сказал я. — Да ты, видно, не узнал меня. Это же я, Иван.

Он выронил книгу и спрятал руки под мышками. Как и сегодня утром, лицо его покрылось испариной. Я сел рядом с ним и обнял его за плечи. Он обессиленно привалился ко мне. Его всего трясло. Я посмотрел на книгу.

Некий доктор Нэф осчастливил человечество «Введением в учение о некротических явлениях». Я пинком отбросил книгу под столик.

— Чья это машина? — спросил я громко.

— Ма... мамина...

— Отличный «форд».

— Это не «форд». Это «опель».

— А ведь верно, «опель»... Миль двести, наверное?

— Да...

— А где ты свечки достал?

— Купил.

— Да ну? Вот не знал, что в наше время продаются свечи. А у вас тут что, лампочка перегорела? Я, понимаешь, вышел в сад яблочко сорвать, гляжу, свет в гараже...

Он тесно придвинулся ко мне и сказал шепотом:

— Вы... Вы еще немножко не уходите.

— Ладно. А может, погасим свет и пойдем ко мне?

— Нет, туда нельзя.

— Куда нельзя?

— К вам. И в дом нельзя. — Он говорил с огромной убежденностью. — Еще долго нельзя. Пока не заснут.

— Кто?

— Они.

— Кто — они?

— Они. Слышите?

Я прислушался. Слышно было только, как шуршат ветки под ветром, да где-то далеко-далеко орут: «Дрож-ка! Дрож-ка!»

— Ничего особенного не слышу, — сказал я.

— Это потому, что вы не знаете. Вы здесь новичок, а новичков они не трогают.

— А кто же все-таки — они?

— Все они. Видели вы этого хмыря с пуговицами?

— Пети? Видел. А почему он хмырь? По-моему, вполне приличный человек...

Лэн вскочил.

— Пойдемте, — сказал он шепотом. — Я вам покажу. Только тихо.

Мы вышли из гаража, подкрались к дому и обогнули угол. Лэн все время держал меня за руку. Ладонь у него была холодная и мокрая.

— Вот, смотрите, — сказал Лэн.

Действительно, зрелище было страшненькое. На хозяйской веранде,

просунув неестественно свернутую голову сквозь перила, лежал мой таможенник. Ртутный свет с улицы падал на его лицо, оно было синее, вспухшее, покрытое темными потеками. Сквозь полуоткрытые веки виднелись мутные, скошенные к переносице глаза. «Ходят между живыми, как живые, при свете дня, — бормотал Лэн, держась за меня обеими руками. — Кивают и улыбаются, но в ночи лица их белые, и кровь выступает на лицах...» Я подошел к веранде. Таможенник был в ночной пижаме. Он сипло дышал, от него пахло коньяком. На лице его была кровь, похоже было, что он упал мордой на битое стекло.

— Да он просто пьян, — сказал я громко. — Пьяный человек. Храпит. Очень противно.

Лэн помотал головой.

— Вы новичок, — прошептал он. — Вы ничего не видите. А я видел... — Его снова затрясло. — Их много пришло... Это она их привела... И принесли ее... Была луна... Они отпилили ей макушку... Она кричала, так кричала... А потом стали есть ложками... И она ела, и все смеялись, что она кричит и бьется...

— Кто? Кого?

— А потом завалили деревом и сожгли... И плясали у костра... А потом все зарыли в саду... Она за лопатой ездила на машине... Я все видел... Хотите, покажу, где зарыли?

— Вот что, приятель, — сказал я. — Пошли ко мне.

— Зачем?

— Спать, вот зачем. Все давно спят, только мы с тобой тут болтаем.

— Никто не спит. Вы совсем новичок. Сейчас никто не спит. Сейчас спать нельзя...

— Пошли, пошли, — сказал я. — Ко мне пошли.

— Не пойду, — сказал он. — Не трогайте меня. Я вашего имени не называл.

— А вот я сейчас ремень возьму, — сказал я грозно, — и напорю тебя по заднице!

Кажется, это его немного успокоило. Он снова вцепился мне в руку и замолчал.

— Пошли, дружище, пошли, — сказал я. — Ты будешь спать, а я буду рядом сидеть. И если что-нибудь случится, сразу тебя разбужу.

Мы влезли через окно в мою спальню (входить в дом через дверь он отказался наотрез), и я уложил его в постель. Я намеревался рассказать ему сказку, но он сразу заснул. Лицо у него было измученное, и он все время вздрагивал во сне. Я придвинул кресло к окну, закутался в плед и выкурил

сигарету, чтобы успокоиться. Я попытался думать о Римайере, о рыбарях, до которых я так и не добрался, о том, что должно случиться двадцать восьмого числа, о меценатах, но у меня ничего не получалось, и это меня раздражало. Меня раздражало, что я никак не мог заставить себя думать о своем деле как о чем-то важном. Мысли разбегались, лезли эмоции, я не столько думал, сколько чувствовал. Я чувствовал, что не зря приехал сюда, но в то же время чувствовал, что приехал совсем не за тем, за чем нужно.

А Лэн спал. Он не проснулся даже, когда у ворот зафыркал мотор, застучали автомобильные дверцы, кто-то заорал, зареготал и завыл на разные голоса, и я решил было, что перед домом совершают преступление, но оказалось, что это всего-навсего вернулась Вузи. Весело напевая, она принялась раздеваться еще в саду, небрежно развешивая на яблонях юбку, блузку и прочее. Меня она не заметила, вошла в дом, повозилась немного у себя наверху, уронила что-то тяжелое и наконец затихла. Было около пяти. Над морем разгоралась заря.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Когда я проснулся, Лэна уже не было. Плечо у меня ломило так, что боль отдавала в темя, и я дал себе слово весь сегодняшний день «ходить опасно». Кряхтя и чувствуя себя больным и жалким, я проделал некое подобие зарядки, кое-как умылся, взял конверт с деньгами и отправился к тете Вайне, продвигаясь через двери боком. В холле я нерешительно остановился: в доме было совсем тихо, и я не был уверен, что хозяйка встала. Но тут хозяйская дверь отворилась, и в холл вошел таможенник Пети. Ну, знаете, подумал я. Ночью Пети был похож на перепившего утопленника. Сейчас, при свете дня, он напоминал жертву хулиганского нападения. Нижняя часть его лица была залита кровью. Свежая кровь лаково блестела на подбородке, и он держал под челюстью носовой платок, чтобы не запачкать свой белоснежный мундир со шнурами. Лицо у него было напряженное, глаза косили, но в общем он держался удивительно спокойно, словно падать мордой в битое стекло было для него самым обыкновенным делом. Маленькая неприятность, с кем не бывает, не обращайте, пожалуйста, внимания, сейчас все будет в порядке...

— Доброе утро, — пробормотал я.

— Доброе утро, — вежливо, несколько в нос отозвался он, осторожно промакивая подбородок.

— Что с вами? Вам помочь?

— Пустяки, — сказал он. — Упал стул...

Он вежливо поклонился и, пройдя мимо меня, неторопливо вышел из дома. Я с очень неприятным чувством проводил его взглядом, а когда снова повернулся к двери, передо мной стояла тетя Вайна. Она стояла в дверях, грациозно опираясь на косяк, чистенькая, розовая, душистая, и смотрела на меня так, словно я был генерал-полковником Тууром или, по крайней мере, штаб-майором Полом.

— Доброе утро, ранняя птичка, — проворковала она. — А я слышу, кто это разговаривает в доме в такой час?

— Я никак не мог решиться побеспокоить вас, — проговорил я, светски содрогаясь и мысленно взвыв от боли в плече. — Доброе утро, и позвольте вручить вам...

— Как мило! Сразу видно истинного джентльмена. Генерал-полковник Туур говаривал, что истинный джентльмен никогда никого не заставляет ждать. Никогда. Никого...

Тут я заметил, что она медленно, но весьма упорно оттесняет меня от своих дверей. В гостиной у нее было темно, шторы, видимо, были опущены, и в холл тянуло чем-то сладким.

— Но вам, право же, не нужно было так уж спешить... — Она наконец выдвинулась на удобную позицию и плавным небрежным движением закрыла дверь. — Однако вы должны быть уверены, я сумею оценить вашу предупредительность... Вузи еще спит, а мне уже пора собирать в школу Лэна, так что простите... Кстати, свежие газеты у вас на веранде.

— Благодарю вас, — сказал я, отступая.

— Если у вас достанет терпения, через часок прошу вас на чашку сливок.

— К сожалению, я должен буду уйти, — сказал я и откланялся.

Газет было шесть. Две местные, иллюстрированные, толстые, как альманахи, одна столичная, два роскошных еженедельника и почему-то арабская «Эль Гуния». «Эль Гунию» я отложил, а остальные просмотрел, заедая новости сэндвичами и запивая горячим какао.

В Боливии правительственные войска после упорных боев овладели городом Рейес, мятежники оттеснены за реку Бени. В Москве на Международном конгрессе ядерников Хаггертон и Соловьев сообщили о проекте промышленной установки для получения антивещества. Третьяковская галерея прибыла в Леопольдвиль, официальное открытие произойдет завтра. С базы «Старый Восток» (Плутон) в зону абсолютно свободного полета запущена очередная серия беспилотных устройств, с двумя устройствами из четырех связь временно потеряна. Генеральный секретарь ООН направил генералиссимусу Орельяносу официальное послание, в котором предупредил, что в случае повторного применения экстремистами атомных гранат в Эльдорадо будут введены полицейские силы ООН. У истоков реки Квандо (Центральная Ангола) археологическая экспедиция Академии наук ОАР обнаружила остатки циклопических сооружений, построенных, как полагают, задолго до ледникового периода. Группа специалистов Объединенного центра исследований субэлектронных (ритринитивных) структур оценивает запасы энергии, имеющиеся в распоряжении человечества, как достаточные на три миллиарда лет. Космический отдел ЮНЕСКО сообщает, что относительный прирост населения внеземных баз и плацдармов приближается к приросту населения на Земле. Глава английской делегации в ООН от имени великих держав выступил с проектом полной демилитаризации, хотя бы и насильственным путем, еще милитаризованных районов земного шара...

Сообщения о том, кто сколько килограммов выжал и кто сколько

мячей в чьи ворота закатил, я читать не стал. Из местных же сообщений меня заинтересовали три.

Городская газета «Радость жизни» писала: «Этой ночью группа злоумышленников на частном самолете вновь совершила налет на площадь Звезды, полную отдыхающих граждан. Хулиганы выпустили несколько пулеметных очередей и сбросили одиннадцать газовых бомб. В результате возникшей паники несколько мужчин и женщин получили тяжкие увечья. Нормальный отдых сотен порядочных людей был сорван ничтожной группкой бандитствующих, с позволения сказать, интеллигентов при явном попустительстве полиции. Председатель общества «За Старую Добрую Родину, Против Вредных Влияний» заявил нашему корреспонденту, что общество намерено взять дело охраны заслуженного отдыха сограждан в свои руки. Председатель недвусмысленно дал понять, кого именно народ считает источником вредной заразы, бандитизма и милитаризованного хулиганства...»

На девятнадцатой странице газета отвела полосу для статьи «выдающегося представителя новейшей философии, лауреата Государственных премий доктора Опира». Статья называлась «Мир без забот». Доктор Опир красивыми словами и очень убедительно обосновывал всемогущество науки, звал к оптимизму, клеймил угрюмых скептиков-очернителей и приглашал «быть как дети». Особенную роль в формировании психологии современного (то есть беззаботного) человека он отводил методам волновой психотехники. «Вспомните, какой великолепный заряд бодрости и хорошего настроения дает вам светлый, счастливый, радостный сон! — восклицал представитель новейшей философии. — И недаром сон, как средство излечения многих психических заболеваний, известен уже более ста лет. Но ведь все мы немножко больны: мы больны нашими заботами, нас одолевают мелочи быта, нас раздражают, правда, редкие, но кое-где еще сохранившиеся и иногда встречающиеся неустройства, неизбежные трения между индивидуальностями, нормальная здоровая сексуальная неудовлетворенность и недовольство собой, столь присущее каждому гражданину... И подобно тому как ароматный бадусан смывает дорожную пыль с усталого тела, так радостное сновидение омывает и очищает истомленную душу. И теперь нам не страшны более никакие заботы и неустройства. Мы знаем: наступит час, и невидимое излучение грезогенератора, который я вместе с народом склонен называть ласковым именем «дрожка», исцелит нас, исполнит оптимизма, вернет нам радостное ощущение бытия». Далее доктор Опир объяснял, что дрожка абсолютно безвредна в физическом и психическом смысле и что нападки

недоброжелателей, усматривающих в дрожке сходство с наркотиками, демагогически болтающих о «дремлющем человечестве», не могут не вызвать у нас тягостного недоумения, а возможно, и более высоких и грозных для них, недоброжелателей, гражданских чувств. В заключение доктор Опир объявлял счастливый сон лучшим видом отдыха, смутно намекал на то, что дрожка является лучшим средством против алкоголизма и наркомании, и настоятельно убеждал не смешивать дрожку с иными (не апробированными медициной) средствами волнового воздействия.

Еженедельник «Золотые дни» сообщал о том, что из Государственной картинной галереи похищено ценное полотно, принадлежащее, по мнению специалистов, кисти Рафаэля. Еженедельник обращал внимание компетентных органов на то, что этот преступный акт является третьим за истекшие четыре месяца этого года и что ни одно из ранее похищенных произведений искусства найдено так и не было.

В общем-то, читать в еженедельниках было нечего. Я бегло просмотрел их, и они произвели на меня самое тягостное впечатление. Их заполняли удручающие остроты, бездарные карикатуры, среди которых особенной глупостью сияли серии «без слов», биографии каких-то тусклых личностей, слюнявые очерки из жизни различных слоев населения, кошмарные циклы фотографий «Ваш муж на службе и дома», бесконечные полезные советы, как занять свои руки и при этом, упаси бог, не побеспокоить голову, страстные идиотские выпады против пьянства, хулиганства и распутства, уже знакомые мне призывы вступать в кружки и хоры. Были там воспоминания участников «заварушки» и борьбы против гангстеризма, поданные в литературной обработке каких-то ослов, лишенных совести и литературного вкуса, беллетристические упражнения явных графоманов со слезами и страданиями, с подвигами, с великим прошлым и сладостным будущим, бесконечные кроссворды, чайнворды и ребусы и загадочные картинки...

Я швырнул эту груду макулатуры в угол. Ну что за тоска! Дурака лелеют, дурака заботливо взращивают, дурака удобряют, и не видно этому конца... Дурак стал нормой, еще немного — и дурак станет идеалом, и доктора философии заведут вокруг него восторженные хороводы. А газеты водят хороводы уже сейчас. Ах, какой ты у нас славный, дурак! Ах, какой ты бодрый и здоровый, дурак! Ах, какой ты оптимистичный, дурак, и какой ты, дурак, умный, какое у тебя тонкое чувство юмора, и как ты ловко решаешь кроссворды!.. Ты, главное, только не волнуйся, дурак, все так хорошо, все так отлично, и наука к твоим услугам, дурак, и литература, чтобы тебе было весело, дурак, и ни о чем не надо думать... А всяких там

вредно влияющих хулиганов и скептиков мы с тобой, дурак, разнесем (с тобой, да не разнести!). Чего они, в самом деле! Больше других им надо, что ли?.. Тоска, тоска... Какое-то проклятие на человечестве, какая-то жуткая преемственность угроз и опасностей. Империализм, фашизм... Десятки миллионов загубленных жизней, исковерканных судеб... В том числе миллионы погибших дураков, злых и добрых, виноватых и невиновных... Последние схватки, последние путчи, особенно беспощадные, потому что последние. Уголовники, озверелое от безделья офицерье, всякая сволочь из бывших разведок и контрразведок, наскучившая однообразием экономического шпионажа, взалкавшая власти... Пришлось вернуться из космоса, выйти из заводов и лабораторий, вернуть в строй солдат. Ладно, справились. Ветерок перебирает листы «Истории фашизма» под ногами... Не успели вдоволь повосхищаться безоблачными горизонтами, как из тех же грязных подворотен истории полезли недобитки с короткоствольными автоматами и самодельными квантовыми пистолетами, гангстеры, гангстерские шайки, гангстерские корпорации, гангстерские империи... «Мелкие, кое-где еще встречающиеся неустройства», — увещевали и успокаивали доктора опиры, а в окна университетов летели бутылки с напалмом, города захватывались бандами хулиганов, музеи горели как свечи... Ладно. Отпихнув локтем докторов опиров, снова вернулись из космоса, снова вышли из заводов и лабораторий, вернули в строй солдат — справились. Снова горизонты безоблачны. Снова вылезли опиры, снова замурлыкали еженедельники, и снова все из тех же подворотен потек гной. Тонны героина, цистерны опиума, моря спирта... и еще что-то, чему пока нет названия... И снова все висит на волоске, а дураки решают кроссворды, пляшут фляг, желают одного: чтобы было весело. Но где-то кто-то сходит с ума, кто-то рожает детей-идиотов, кто-то странно умирает в ваннах, кто-то не менее странно умирает у каких-то рыбарей, а меценаты оберегают свою страсть к искусству кастетами... И еженедельники стараются прикрыть это смрадное болото хрупкой, как меренги, приторной корочкой благополучной болтовни, а этот дипломированный дурак прославляет сладкие сны, и тысячи недипломированных дураков с удовольствием (чтобы было весело и ни о чем не надо думать) предаются снам, как пьянству... И снова дураков убеждают, что все хорошо, что космос осваивается небывалыми темпами (и это правда), что энергии хватит на миллиарды лет (и это тоже правда), что жизнь становится все интереснее и разнообразнее (и это, несомненно, тоже правда, но не для дураков), а демагоги-очернители (читай: люди, думающие, что в наше время любая капля гноя способна заразить все

человечество, как когда-то пивные путчи превратились в мировую угрозу), чуждые интересам народа, подлежат всемерному осуждению... Дураки и преступники... Преступники-дураки...

— Работать надо, — сказал я вслух. — К черту меланхолию... Мы вам покажем скептиков!

Пора было идти к Римайеру. Правда, рыбари... Ладно, к рыбарям можно будет сходить потом. Надоело тыкаться вслепую. Я вышел во двор. Было слышно, как на веранде тетя Вайна кормит Лэна завтраком.

— Ну, мам, ну я не хочу!

— Кушай, сынок, надо кушать... Ты такой бледненький...

— А я не хочу! Комки противные...

— Да где же комки? Ну, давай я сама съем... М-м-м! Как вкусно! Попробуй только и увидишь, как вкусно...

— А если я не хочу! Я больной, я не пойду в школу.

— Лэн, ну что ты говоришь! Ты и так много пропускаешь...

— И пусть...

— Как же пусть! Меня уже директор два раза вызывал. Нас оштрафуют!

— Ну и пусть штрафуют...

— Кушай, кушай, сынок... Может быть, ты не выспался?

— Не выспался! И у меня живот болит... и голова... и зуб... Вот видишь, вот этот...

Голос у Лэна был капризный, и я сразу представил себе его надутые губы, болтающуюся ногу в носке. Я вышел за ворота. День опять был ясный, солнечный, чирикали птицы. Было еще слишком рано, и на пути до «Олимпика» я встретил только двоих. Они шли рядом по обочине тротуара, чудовищно дикие в веселом мире свежей зелени и ясного неба. Один был выкрашен ярко-красной краской, другой — ярко-синей. Сквозь краску проступал пот. Они дышали с трудом, рты их были разинуты, глаза налиты кровью. Я непроизвольно расстегнул все пуговицы на рубашке и вздохнул с облегчением, когда эта странная пара миновала меня.

В отеле я сразу поднялся на девятый этаж. Я был настроен очень решительно. Хочет того Римайер или не хочет, но ему придется рассказать мне все, что меня интересует. Впрочем, теперь Римайер нужен мне не только для этого. Мне нужен был слушатель, а в этом солнечном бедламе я мог пока говорить откровенно только с Римайером. Правда, это был не тот Римайер, на которого я изначально рассчитывал, но и об этом, в конце концов, тоже нужно было поговорить...

У дверей номера Римайера стоял давешний рыжий Оскар, и, увидев

его, я сразу замедлил шаги. Он задумчиво поправлял галстук, откинув голову и глядя в потолок. Вид у него был озабоченный.

— Привет, — сказал я. Надо же было с чего-то начинать.

Он шевельнул бровями, посмотрел на меня, и я понял, что он меня вспомнил. Он медленно сказал:

— Здравствуйте, здравствуйте.

— Вы тоже к Римайеру? — спросил я.

— Римайер плохо себя чувствует, — сказал он. Он стоял у самой двери и не собирался, по-видимому, уступать мне дорогу.

— Какая жалость, — сказал я, придвигаясь. — И что же с ним?

— Он очень плохо себя чувствует.

— Ай-яй-яй-яй, — сказал я. — Надо бы посмотреть...

Я подошел к Оскару вплотную. Он явно не собирался пускать меня в номер. У меня сразу заболело плечо.

— Я не уверен, что это так уж надо, — желчно сказал он.

— Что вы говорите! Неужели так плохо?

— Вот именно. Очень плохо. И вам не следует его беспокоить. Ни сегодня, ни в другие дни.

Кажется, я пришел вовремя, подумал я. И надеюсь, не опоздал.

— Вы его родственник? — спросил я. Я был очень миролюбив.

Он осклабился.

— Я его друг. Самый близкий в этом городе. Можно сказать, друг детства.

— Это очень трогательно, — сказал я. — А вот я — его родственник. Все равно что брат. Давайте вместе зайдем и вместе посмотрим, что могут сделать для бедняги Римайера его друг и его брат.

— Может быть, брат уже сделал для Римайера достаточно?

— Ну что вы... Я только вчера приехал.

— А у вас нет здесь случайно других братьев?

— Я думаю, их нет среди ваших друзей, — сказал я. — Римайер — исключение...

Пока мы несли всю эту чушь, я внимательно его рассматривал. Он не выглядел слишком уж ловким человеком, даже если учесть мое больное плечо. Но он все время держал руку в кармане, и хотя я был почти убежден, что он не станет стрелять в отеле, рисковать мне не хотелось. Тем более что мне приходилось слышать о квантовых разрядниках ограниченного действия.

Мне много раз ставили в упрек, что мои намерения отчетливо видны на моей физиономии. А Оскар, по-видимому, был достаточно

проницательным человеком. С другой стороны, в карманах у него ничего подходящего явно не было, и руки в карманах он держал зря. Он отступил от двери и сказал:

— Заходите...

Мы вошли. Римайер действительно был плох. Он лежал на кушетке, накрытый сорванной портьерой, и неразборчиво бредил. Стол в номере был перевернут, посредине комнаты валялась в луже спиртного разбитая бутылка, и всюду была разбросана смятая мокрая одежда. Я подошел к Римайеру и сел так, чтобы не терять из виду Оскара, который встал у окна, опершись задом на подоконник. Глаза у Римайера были открыты. Я наклонился над ним.

— Римайер, — позвал я. — Это я, Иван. Ты узнаешь меня?

Он тупо глядел мне в лицо. На подбородке у него виднелась под щетиной свежая ссадина.

— Ты уже там... — пробормотал он. — Рыбарей... Чтобы долго... Не бывает... Ты не обижайся... Мешал очень... Не терплю...

Это был бред. Я посмотрел на Оскара. Оскар жадно слушал, вытянув шею.

— Нехорошо, когда просыпаешься... — бормотал Римайер. — Никому... просыпаться... Начинают... Тогда не просыпаться...

Оскар не нравился мне все больше и больше. Мне не нравилось, что он слушает бред Римайера. Мне не нравилось, что он оказался здесь раньше меня. И еще мне не нравилась ссадина на подбородке Римайера, совсем свежая. Рыжая морда, подумал я, глядя на Оскара, как же от тебя избавиться?

— Надо вызвать врача, — сказал я. — Почему вы не вызвали врача, Оскар? По-моему, это делириум тременс...

Я сейчас же пожалел о сказанном. От Римайера, к моему немалому изумлению, совсем не пахло спиртным, и Оскар, очевидно, хорошо знал это. Он ухмыльнулся и спросил:

— Делириум тременс? Вы уверены?

— Нужно немедленно вызвать врача, — повторил я. — И сиделок.

Я опустил руку на телефонную трубку. Он моментально подскочил ко мне и положил ладонь на мою руку.

— Зачем же вы? — сказал он. — Давайте лучше я вызову врача. Вы тут человек новый, а я знаю отличного врача.

— Ну какой там у вас врач... — возразил я, глядя на ссадину у него на костяшках пальцев. Эта ссадина тоже была свежая.

— Отличный врач. Как раз специалист по белой горячке.

— Вот видите, — сказал я. — А может быть, у Римайера и нет никакой белой горячки.

Римайер вдруг сказал:

— Так я велел... Альзо шпрахт Римайер... Наедине с миром...

Мы оглянулись на него. Он говорил высокомерно, но глаза его были закрыты, а лицо в складках дряблой серой кожи казалось жалким. Сволочь, подумал я про Оскара, имеет наглость торчать здесь. У меня вдруг мелькнула дикая мысль, показавшаяся мне в тот момент очень удачной: свалить Оскара толчком в солнечное сплетение, связать и заставить немедленно выложить все, что он знает. Знает он, вероятно, много. А может быть, и все. Он смотрел на меня, и в его бледных глазах были страх и ненависть.

— Хорошо, — сказал я. — Пусть врача вызовет портье.

Он убрал руку, и я позвонил портье. В ожидании врача я сидел возле Римайера, а Оскар ходил из угла в угол, перешагивая через лужу спиртного. Я следил за ним краем глаза. Он вдруг нагнулся и поднял что-то с пола. Что-то маленькое и пестрое.

— Что это там? — спросил я равнодушно.

Он поколебался немного, а затем бросил мне на колени плоскую коробочку с пестрой этикеткой.

— А, — сказал я и поглядел на Оскара. — «Девон».

— «Девон», — отозвался он. — Странно, что здесь, а не в ванной, правда?

Черт, подумал я. Пожалуй, я был слишком зелен, чтобы драться с ним в открытую. Я еще слишком мало знал.

— Ничего странного, — сказал я наобум. — Вы ведь, кажется, распространяете этот репеллент. Наверное, это образец, который вывалился у вас из кармана.

— У меня из кармана? — Он страшно удивился. — А, вы имеете в виду, что я... Но я уже давно выполнил все поручения и теперь просто отдыхаю. — Он помолчал. — Но, если вы интересуетесь, я мог бы помочь.

— Это очень интересно, — сказал я. — Я посоветуюсь...

Тут, к сожалению, дверь распахнулась, и появился врач в сопровождении двух сестер.

Врач оказался человеком решительным. Он жестом убрал меня с кушетки и отбросил портьеру, которой был накрыт Римайер. Римайер лежал совершенно голый.

— Ну конечно... — сказал врач. — Опять... — Он поднял Римайеру веки, оттянул ему нижнюю губу, пощупал пульс. — Сестра, кордеин... И

вызовите горничных, пусть вылижут эту конюшню до блеска... — Он выпрямился и посмотрел на нас. — Родственники?

— Да, — сказал я. Оскар промолчал.

— Вы нашли его уже без сознания?

— Он лежал и бредил, — сказал Оскар.

— Это вы перенесли его сюда?

Оскар помедлил.

— Я только укрыл его портьерой, — сказал он. — Когда я пришел, он лежал, как сейчас. Я боялся, что он простудится.

Врач некоторое время смотрел на него, потом сказал:

— Впрочем, это безразлично. Вы можете идти. Оба. С ним останется сиделка. Вечером можете позвонить. Всего хорошего.

— А что с ним, доктор? — спросил я.

Врач пожал плечами.

— Ничего особенного. Переутомление, нервное истощение... Кроме того, он, по-видимому, слишком много курит. Завтра он станет транспортабельным, и тогда увезите его домой. У нас ему оставаться вредно. У нас слишком весело. До свидания.

Мы вышли в коридор.

— Пойдемте выпьем, — предложил я.

— Вы забыли, что я не пью, — заметил Оскар.

— Жаль. Вся эта история меня так расстроила, что хочется выпить. Римайер всегда был таким здоровяком...

— Ну, в последнее время он сильно сдал, — сказал Оскар осторожно.

— Да, я с трудом узнал его, когда вчера увидел...

— Я тоже, — сказал Оскар. Он не верил ни одному моему слову. Я ему тоже.

— Где вы остановились? — спросил я.

— Здесь же, — сказал Оскар. — Этажом ниже, восемьсот семнадцатый номер.

— Жаль, что вы не пьете. Мы бы могли посидеть у вас и хорошо поговорить.

— Да, это было бы неплохо. Но, к сожалению, я очень спешу. — Он помолчал. — Знаете что, дайте мне ваш адрес, завтра утром я вернусь и зайду к вам. Около десяти — вас устроит? Или вы позвоните мне...

— Отчего же... — сказал я и дал ему свой адрес. — Честно говоря, меня очень интересует «Девон».

— Я думаю, мы сумеем договориться, — сказал Оскар. — До завтра.

Он сбежал по лестнице. Он действительно, по-видимому, спешил. А я

спустился на лифте в вестибюль и дал телеграмму Марии: «Брату очень плохо чувствую себя одиноким бодрюсь Иван». Я и в самом деле чувствовал себя одиноким. Римайер снова вышел из игры — по крайней мере на сутки. Единственный намек, который он мне дал, — это совет насчет рыбарей. Ничего определенного у меня не было. Были рыбари, которые обитают где-то в Старом Метро; был «Девон», который, возможно, каким-то боком касался моего дела, но с тем же успехом мог не иметь к нему никакого отношения; был Оскар, явно связанный с «Девоном» и с Римайером, фигура достаточно неприятная и зловещая, но, несомненно, лишь одна из множества неприятных и зловещих фигур на местных безоблачных горизонтах; был еще какой-то Буба, снабдивший «Девоном» пористый нос... В конце концов, я здесь всего сутки, подумал я. Время есть. И на Римайера, в конце концов, можно еще рассчитывать, и Пека, может быть, удастся найти... Я вдруг вспомнил вчерашнюю ночь и дал телеграмму Зигмунду: «Концерт самодеятельности двадцать восьмого подробности не знаю Иван». Потом я подозвал портье и спросил, как быстрее пройти к Старому Метро.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Приходили бы вечером, сейчас слишком рано.
— А мне хочется сейчас.
— Приспичило, значит... А вы, может, адресом ошиблись?
— Да нет, не ошибся.
— И вот именно сейчас вам и надо?
— Именно сейчас. И не позже.

Он поцокал языком и дернул себя за нижнюю губу. Он был коренастый, плотный, с круглой, гладко выбритой головой. Говорил он, едва шевеля языком, и утомленно заводил глаза под верхние веки. По-моему, он не выспался. Его приятель, сидевший за барьером в кресле, по-видимому, тоже не выспался. Но он вообще не говорил ни слова и даже не смотрел в мою сторону. Помещение было мрачное, затхлое, с отставшими от стен покоробленными панелями. С потолка свисала тусклая от пыли лампочка без абажура на грязном шнуре.

— Почему бы вам все-таки не прийти попозже? — промямлил круглоголовый. — Когда все приходят...

— Так уж мне захотелось, — скромно сказал я.

— Захотелось... — Он пошарил в столе. — У меня вот и бланка не осталось... Эль, у тебя есть бланки?

Эль молча нагнулся и вытянул откуда-то из-под барьера мятый лист бумаги. Круглоголовый сказал зевая:

— Прих`одите ни свет ни заря... Народу никого нет, девчонок тоже... спят еще... Веселья никакого... — Он протянул мне бланк. — Заполните и подпишите, — сказал он. — Мы с Элем подпишемся за свидетелей. Деньги сдайте... Не беспокойтесь, у нас честно. Документы у вас есть какие-нибудь?

— Никаких.

— И то хорошо.

Я просмотрел бланк. «Настоящим я, нижеподписавшийся (пропуск), в присутствии свидетелей (большой пропуск) убедительно прошу подвергнуть меня приемным испытаниям на соискание звания члена общества ДОЦ. Подпись соискателя. Подписи свидетелей».

— Что такое ДОЦ? — спросил я.

— Это мы так зарегистрированы, — ответил круглоголовый. Он пересчитывал деньги.

— Но ДОЦ как-то расшифровывается?

— А кто его знает... Это еще до меня было. ДОЦ и ДОЦ... Ты не знаешь, Эль? — Эль лениво помотал головой. — Ну, в самом деле, не все ли вам равно...

— Абсолютно все равно, — сказал я, вставил свое имя и подписался.

Круглоголовый посмотрел, тоже вписал свое имя и подписался, и передал бланк Элю.

— Похоже, вы иностранец, — сказал он.

— Да.

— Тогда припишите ваш домашний адрес. У вас родные есть?

— Нет.

— Тогда и не надо. Готово, Эль? Положи в папку... Ну, пойдемте?

Он поднял барьер и подвел меня к массивной квадратной двери, оставшейся, наверное, еще с тех времен, когда метро оборудовали под атомоубежище.

— Выбора-то никакого нет, — сказал он, словно оправдываясь. Он выдвинул засовы и с натугой повернул ржавую рукоять. — Пойдете прямо по коридору, — сказал он, — а там сами увидите.

Мне показалось, что Эль позади хихикнул. Я обернулся. В барьер перед Элем был встроен небольшой экран. На экране что-то двигалось, но я не разглядел что. Круглоголовый, налегая всей тяжестью на рукоять, откатил дверь. За дверью открылся пыльный проход. Несколько секунд круглоголовый прислушивался, затем повторил:

— Прямо по этому коридору.

— А что там будет? — спросил я.

— Чего хотели, то и получите... Или, может, вы раздумали?

Все это было явно не то, что надо, но, как известно, никто ничего не знает, пока сам не попробует. Я перешагнул через высокий порог, и дверь с чмоканьем закрылась за мной. Было слышно, как заскрежетали засовы.

Коридор освещали несколько уцелевших ламп. Было сыро, на бетонных стенах цвела плесень. Я постоял, прислушиваясь, но ничего не услышал, кроме редкого стука капель. Я осторожно двинулся вперед. Под ногами скрипела цементная крошка. Коридор скоро кончился, и я очутился в сводчатом бетонном тоннеле, освещенном совсем уже скверно. Когда глаза привыкли к сумраку, я разглядел рельсовый путь. Рельсы были ржавые, между ними темнели лужи неподвижной воды. Под сводом тянулись провисшие провода. Сырость прохватывала до костей, и отвратно пахло — не то падалью, не то испорченной канализацией. Нет, это было совсем не то, что нужно. Мне не хотелось терять времени даром, и я

подумал, что, пожалуй, сейчас вернусь и скажу, что приду в другой раз. Но сначала я решил — просто из любопытства — пройти немного по тоннелю. Я пошел направо, на свет далеких ламп. Я перескакивал через лужи, спотыкался о прогнившие шпалы, путался в оборванных кабелях. Дойдя до первой лампы, я снова остановился.

Рельсовый путь был разобран. Шпалы валялись вдоль стен, а на пустом полотне зияли дыры, наполненные водой. Затем я увидел рельсы. Никогда мне не приходилось видеть рельсы в таком состоянии. Некоторые были скручены штопором. Одни были начищены до блеска и напоминали огромные сверла. Другие были с огромной силой вбиты в полотно и в стены тоннеля. А третьи были завязаны в узлы. У меня мороз пошел по коже, когда я увидел это. Простые узлы, узлы с бантом, узлы с двумя бантами, как шнурки на ботинках... Они были сизые от окалины.

Я посмотрел вперед, в глубину тоннеля. Оттуда тянуло гниющей падалью, тусклые желтые огни редких ламп мерно мигали, словно что-то раскачивалось на сквозняке, заслоняя и снова открывая их. Нервы мои не выдержали. Я чувствовал, что это не более чем дурацкая шутка, но я ничего не мог с собой поделать. Я присел на корточки и осмотрелся. Скоро я нашел то, что искал: метровый обломок железного прута. Я взял его под мышку и двинулся дальше. Железо было холодное, влажное и шершавое от ржавчины.

Косой мигающий свет далеких ламп озарял скользкие, блестящие от сырости стены. Я уже давно заметил на них странные округлые потеки, но вначале не обратил на это внимания, а потом заинтересовался и подошел посмотреть. По стене, на сколько хватал глаз, тянулись два ряда круглых следов, разделенных метровыми интервалами. Это выглядело так, как будто по стене здесь пробежал слон, и пробежал не очень давно — на краю одного такого следа слабо шевелилась раздавленная белая сороконожка. Хватит, подумал я, пора возвращаться. Я посмотрел вдоль тоннеля. Теперь под лампами впереди были отчетливо видны черные качающиеся гирлянды. Я взял прут поудобнее и пошел вперед, держась поближе к стене.

Это тоже впечатляло. Под сводами тоннеля тянулись провисшие кабели, а на них, связанные хвостами и собранные в тяжелые щетинистые гроздья, покачивались на сквозняке сотни и сотни мертвых крыс. В полумраке жутко блестели мелкие оскаленные зубы, торчали во все стороны закостеневшие лапки, и эти гроздья длинными гнусными гирляндами уходили в темноту. Густой тошнотворный смрад опускался из-под свода и растекался по тоннелю, шевелящийся, плотный, как кисель...

Раздался пронзительный визг, и под ноги мне вдруг бросилась огромная крыса. Потом еще одна. И еще. Я попятился. Они мчались оттуда, из темноты, где не было ни одной лампы. И оттуда вдруг толчками пошел теплый воздух. Я нащупал локтем пустоту в стене и вдвинулся в нишу. Под каблуками заверещало и задергалось живое — я не глядя отмахнулся своей железной палкой. Мне было не до крыс, потому что я слышал, как кто-то тяжело и мягко бежит по тоннелю, плюхая по лужам. Зря я ввязался в это дело, подумал я. Железный прут показался мне таким легким и ничтожным по сравнению с завязанными в узлы рельсами. Это не летучая пиявка... И не динозавр из Конго... Только б не гигантопитек, все что угодно, только бы не гигантопитек. У этих ослов хватит ума выловить гигантопитека и запустить в тоннель... Я плохо соображал в эти секунды. И неожиданно ни с того ни с сего подумал о Римайере. Зачем он послал меня сюда? Что он — с ума сошел?.. Только бы не гигантопитек...

Он пронесся мимо меня так быстро, что я не успел разобрать, что это такое. Тоннель гудел от его галопа. Затем где-то совсем рядом раздался отчаянный скрежещущий визг пойманной крысы, и наступила тишина. Я осторожно выглянул. Он стоял шагах в десяти, под самой лампой, и ноги подо мной обмякли от огромного облегчения.

— Умники-затейники, — сказал я вслух, чуть не плача. — Остряки-самоучки... Это же надо было додуматься! Таланты доморощенные...

Он услышал мой голос и, задрав кормовые ноги, произнес:

— Температурка у нас будет два метра тринадцать дюймов, влажности нет, чего нет, того нет...

— Доложи свое задание, — сказал я, подходя.

Он со свистом выпустил из присосков сжатый воздух, бессмысленно подрыгал ногами и взбежал на потолок.

— Слезай вниз, — приказал я строго, — и отвечай на вопрос.

Он висел у меня над головой среди заплесневелых проводов, этот давно устаревший кибер, предназначенный для работ на астероидах, жалкий и нелепый, весь в лохмотьях от карбонной коррозии и в кляксах черной подземной грязи.

— Слезай вниз! — рявкнул я.

Он швырнул в меня дохлой крысой и умчался в темноту.

— Базальты! Граниты!.. — вопил он на разные голоса. — Псевдометаморфические породы!.. Я над Берлином! Как слышите? Пора спать!

Я бросил палку и пошел за ним следом. Он добежал до следующей лампы, спустился вниз и стал быстро, по-собачьи, рыть бетон рабочими

манипуляторами. Бедняга, у него и в лучшие-то времена мозг был способен к нормальной работе только при тяжести в одну сотую земной, а сейчас он был совершенно невменяем. Я нагнулся над ним и стал шарить под панцирем, отыскивая узел регулировки. «Вот поганцы», — сказал я вслух. Узел регулировки был расплющен, словно по нему ударили кувалдой. Он бросил копать и мягко схватил меня за ногу.

— Стоп! — гаркнул я. — Прекратить!

Он прекратил, лег на бок и сообщил басом:

— Надоел он мне до смерти, Эль. Бренди бы сейчас выпить...

Внутри у него щелкнули контакты, и заиграла музыка. Шипя и посвистывая, он исполнял «Марш охотников». Я смотрел на него и думал, как это глупо и отвратительно, как смешно и страшно одновременно. Если бы я не был межпланетником, если бы я испугался и побежал, он бы почти наверняка убил меня... А ведь здесь никто не мог знать, что я был межпланетником. Никто. Ни один человек. И Римайер тоже не знал, что я был межпланетником...

— Встань, — сказал я.

Он зажужжал и принялся ковырять стену, и тогда я повернулся и пошел обратно. Все время, пока я шел до поворота в коридор, мне было слышно, как он гремит и лязгает в груде исковерканных рельсов, шипит электросваркой и несет околесицу на два голоса.

Противоатомная дверь была уже открыта. Я шагнул через порог и захлопнул ее за собой.

— Ну как? — спросил круглоголовый.

— Глупо, — ответил я.

— Я же не знал, что вы межпланетник. Вы работали в космосе?

— Работал. Все равно глупо. На дураков. На неграмотных экзальтированных дураков.

— На каких?

— Экзальтированных.

— А-а... Ну, это вы зря. Многим нравится. А вообще я вам говорил, что приходили бы вечером. У нас вообще для одиночек развлечений мало... — Он налил виски и добавил содовой из сифона. — Хотите?

Я взял стакан и облокотился на барьер. Эль с сигареткой, прилипшей к губе, угрюмо смотрел на экран. По экрану метались осклизлые стены тоннеля, скрюченные рельсы, черные лужи, летели искры электросварки.

— Это не для меня, — заявил я. — Пусть этим занимаются бухгалтеры и парикмахеры. Я против них, конечно, ничего не имею, но мне-то надо такое, чего я никогда в жизни не видел.

— Сами, значит, не знаете, чего хотите, — сказал круглоголовый. — Это тяжелый случай. Вы, извиняюсь, не интель?

— А в чем дело?

— Нет, вы только не подумайте чего-нибудь, перед костлявой, сами понимаете, все равны. Я только что хочу сказать? Что интели — самые капризные клиенты, вот и все. Верно, Эль? Если приходит, скажем, тот же бухгалтер или парикмахер, он хорошо знает, чего ему надо. Кровь погонять ему надо, чтобы себя показать, собой погордиться, чтобы девчонки визжали, чтобы показывать всем дырки в шкуре... Это парни простые, каждому хочется считать себя мужчиной. Ведь кто он такой, наш клиент? Способностей особенных у него нет, да они ему и не требуются... Вот раньше, я в книге читал, хоть завидовали друг другу, сосед, мол, как сыр в масле катается, а я на холодильник накопить не могу — разве это можно вытерпеть? Цеплялись, конечно, зубами, за барахло, за деньги, за место выгодное... Жизнь на это клали! У кого кулак крепче или голова хитрее, тот и наверху... А теперь ведь жизнь стала жирная, тихая, всего в достатке. К чему себя применить? Я же не карась, я же человек все-таки, мне же скучно, а придумать сам ничего не умею. Это ведь надо особые способности иметь — придумывать! Это надо же гору книг прочитать, а попробуй-ка их читать, когда тебя от них тошнит... Прославиться там в мировом масштабе или выдумать чего-нибудь вроде машины — это мне и в голову не сразу придет, а если и придет — что толку? Никому ты в общем-то не нужен, даже жене и детям собственным не нужен, если разобраться, верно, Эль? Да и тебе никого не надо... Теперь, значит, придумывают для тебя умные люди что-нибудь новенькое, то ароматьеры эти, то дрожку, то новую пляску... Питье вот новое придумали... «хорек» называется... Хотите, я вам собью? Он этого «хорька» хватит — глаза на лоб, он и доволен... А пока глаза у него на месте, жизнь для него все равно что дождевая вода. Вот к нам тут один интель ходит и каждый раз жалуется: жизнь, говорит, пресна, ребята... А отсюда я выхожу — герой! После, скажем, пульки или «один на двенадцать» я же совсем по-другому на себя смотрю. Верно, Эль? Мне все снова сладко делается — бабы, жратва, вино...

— Да, — сказал я сочувственно. — Я вас хорошо понимаю. Но для меня-то все это тоже пресно.

— Слег ему нужен, — сказал вдруг Эль басом.

— Что-что? — спросил я.

— Слег, говорю.

Круглоголовый весь сморщился.

— Ну брось, Эль. Ну что ты сегодня какой-то...

— Кашлять я на него хотел, — сказал Эль. — Не люблю я этих... Все ему пресно, все ему не так.

— Вы его не слушайте, — сказал круглоголовый. — Он ночь не спал, утомился...

— Нет, почему же? — возразил я. — Очень интересно. Что это за слег?

Круглоголовый опять сморщился.

— Неприлично это, понимаете? — сказал он. — Вы Эля не слушайте, он хороший парень, простой, но ему обложить человека ничего не стоит. А слово это нехорошее. Повадились сейчас какие-то на стенах его везде писать. Вот ведь хулиганье, а? Сопляки, толком и не знают, что это такое, а пишут... Вон, видите, мы барьер обстругали... Сволочь какая-то вырезала, поймал бы его — наизнанку бы вывернул... Ведь у нас здесь и женщины бывают.

— Ты скажи ему, — произнес Эль, обращаясь к круглоголовому, — чтобы раздобыл себе слег и утихомирился. Пусть найдет Бубу...

— Да заткнись ты, Эль! — сказал круглоголовый сердито. — Не слушайте вы его...

Услышав имя Бубы, я снова наполнил стакан и устроился поудобнее.

— Что же это такое, — сказал я, — тайный порок какой-нибудь?

— Тайный! — сказал Эль басом и нехорошо заржал.

Круглоголовый тоже засмеялся.

— У нас тайного ничего быть не может, — сказал он. — Какие могут быть тайны, когда народ с пятнадцати лет закладывает? Дураки эти, интели, все секреты разводят... Хотят двадцать восьмого заварушку устроить, шепчутся, минометы давеча за город повезли, чтобы спрятать, значит, ну, как дети, ей-богу! Верно, Эль?

— Ты ему скажи. — Простой хороший парень Эль гнул свое. — Ты ему скажи: пусть валит ко всем чертям. Ты за него не заступайся. Так ему и скажи: пусть идет к Бубе в «Оазис», и весь разговор.

Он выбросил на барьер мой бумажник и бланк. Я допил виски. Круглоголовый серьезно сказал:

— Конечно, вы как хотите, дело ваше, но я вам советую от этих вещей держаться подальше. Мы, может, все к этому придем, да чем позже, тем лучше. Я вам этого даже объяснить не могу, я только чувствую, что это — как в могилу: никогда не поздно и всегда рано.

— Спасибо, — сказал я.

— Он еще благодарит! — Эль снова заржал. — Ты видал такое? Еще и благодарит!

— Три рубля мы удержали, — сказал круглоголовый. — А бланк

порвите. Нет, дайте я сам порву. А то, не дай бог, случится с вами что-нибудь, а полиция к нам пожалует.

— Честно говоря, — сказал я, пряча бумажник, — мне все-таки непонятно, как это вашу контору не прикроют.

— А у нас все честно-благородно, — сказал круглоголовый. — Не хочешь — никто тебя не заставит. А если что-нибудь случилось — сам виноват.

— Наркоманов тоже никто не заставляет, — возразил я.

— Э, сравнили! Наркотики — дело денежное, корыстное...

— Ну ладно, до свиданья, — сказал я. — Спасибо вам, ребята. Где, вы сказали, Бубу искать?

— «Оазис», — пробасил Эль. — Кафе. Проваливай.

— Какой ты вежливый, дружок, — сказал я, — даже сердце щемит.

— Проваливай, проваливай, — повторил Эль. — Интель вонючий.

— Не волнуйся так, милый, — сказал я, — а то ведь запор наживешь. Береги желудок, дороже желудка у тебя ничего нет. Верно я говорю?

Эль начал медленно выдвигаться из-за барьера, и я ушел. У меня снова разболелось плечо.

На улице падал крупный теплый дождь. Листья деревьев блестели мокро и весело, пахло свежестью, озоном, грозой.

Я остановил такси и назвал «Оазис». Улица вся струилась свежими ручейками, и город был таким красивым и уютным, что неприятно было даже думать о заплесневелом, вонючем, заброшенном метро.

Дождь хлестал вовсю, когда я выскочил из машины и, перемахнув через тротуар, ворвался в кафе «Оазис». Народу было довольно много, почти все ели, даже бармен за стойкой хлебал суп, пристроив тарелку между стаканчиками для спиртного. Пообедавшие курили, рассеянно глядя на улицу сквозь залитую водой витрину. Я подошел к стойке и вполголоса осведомился, здесь ли Буба. Бармен положил ложку и оглядел зал.

— Не-а, — сказал он. — Да вы обедайте пока, он скоро будет.

— А как скоро?

— Минут через двадцать, через полчаса.

— Ага, — сказал я. — Тогда я пообедаю, а потом подойду, и вы мне его покажете.

— Умгум, — сказал бармен, возвращаясь к своему супу.

Я взял поднос, набрал себе какой-то обед и сел к окну подальше от других посетителей. Мне хотелось подумать. Я чувствовал, что материала набралось достаточно для того, чтобы подумать о деле. Кажется, цепочка намечалась. Коробочки с «Девоном» в ванной. Пористый нос говорил о

Бубе и о «Девоне» (шепотом говорил). Простой хороший парень Эль говорил о Бубе и о слеге... Отчетливая цепочка: ванна — «Девон» — Буба — слег. Более того. Загорелый парень с мышцами предупреждал, что «Девон» и все прочее — всем дряням дрянь, а круглоголовый адепт социального мазохизма не видел разницы между слегом и могилой. Как будто все сходится. Как будто это то, что мы ищем... И если это так, то Римайер правильно посылал меня к рыбарям... Римайер, сказал я про себя. Зачем ты посылал меня к рыбарям, Римайер? Да еще наказывал не капризничать и делать, что велят... И ведь ты не знал, что я межпланетник, Римайер. А если даже и знал, то ведь там есть не только сумасшедший кибер, там есть и пулька, и «один на двенадцать». Чем-то я тебе очень не понравился, Римайер... Чем-то я тебе помешал. Да нет же, сказал я, этого же не может быть. Просто ты мне очень не доверял, Римайер. Просто я чего-нибудь еще не знаю. Например, я не знаю, что такое Оскар, который торгует в курортном городе «Девоном» и который с тобой связан, Римайер. И наверное, до нашего разговора в лифте ты встречался с Оскаром... Я не хочу об этом думать. Он лежит, как покойник, а я думаю о нем такие вещи, и он даже не может оправдаться... Я вдруг почувствовал скверный холодок внутри. Ну хорошо, ну мы выловим эту шайку. И что изменится? Дрожка останется, лопоухий Лэн будет по-прежнему не спать по ночам, Вузи будет приходить домой пьяная до безобразия, а таможенник Пети будет зачем-то падать мордой в битое стекло... И все будут заботиться о «благе народа». Одних будут поливать слезогонкой, других вколачивать по уши в землю, третьих превращать из обезьян в то, что вполне сойдет за людей... А потом дрожка выйдет из моды, и народу подарят супердрожку, а вместо изъятого слега подсунут суперслег. Все будет для блага народа. Веселись, Страна Дураков, и ни о чем не думай!..

За соседний столик уселись с подносами двое в накидках. Один из них показался мне чем-то знакомым. У него было породистое высокомерное лицо, и, если бы не толстый белый пластырь на левой скуле, я бы обязательно узнал его — во всяком случае, у меня было такое ощущение. Второй был румяный человек с большой плешью и суетливыми движениями. Разговаривали они негромко, но не потому, что хотели скрыть что-нибудь, и их было отлично слышно с того места, где я сидел.

— Поймите меня правильно, — убедительно повествовал румяный, торопливо поглощая шницель. — Я вовсе не против театров и музеев. Но ассигнования на городской театр в прошлом году недоиспользованы, а в музеи ходят одни туристы...

— И похитители картин, — вставил человек с пластырем.

— Оставьте, пожалуйста. У нас нет картин, которые стоило бы похищать. Слава богу, «Сикстинских мадонн» пока еще не научились синтезировать из опилок. Я хочу обратить ваше внимание на то, что распространение культуры должно в наше время идти совсем другим путем. Культура должна не входить в народ, а исходить из народа. Народные капеллы, кружки самодеятельности, массовые игры — вот что нужно нашей публике...

— Нашей публике нужна хорошая оккупационная армия, — сказал человек с пластырем.

— Ах, оставьте, пожалуйста, вы ведь так не думаете... Охват кружками у нас на безобразном уровне. Боэла мне жаловалась вчера, что на ее чтения ходит только один человек, и тот, кажется, с матримониальными намерениями. А нам надо отвлекать народ от дрожки, от алкоголя, от сексуальных развлечений. Нам надо поднимать дух...

Человек с пластырем прервал его:

— Что вам от меня нужно? Чтобы я сегодня поддерживал ваш проект против этого осла, нашего уважаемого мэра? Ради бога! Мне абсолютно все равно. Но если вы хотите знать мое мнение о духе, то духа нет, дорогой советник! Дух давно умер! Он захлебнулся в брюшном сале. И на вашем месте я бы считался с этим и только с этим!

Румяный человек, казалось, был убит. Некоторое время он молчал, потом вдруг застонал:

— Боже мой, боже мой, чем мы вынуждены заниматься! Но я спрашиваю вас, кто-то все-таки летит ведь к звездам! Где-то строят мезонные реакторы! Где-то создают новую педагогику! Боже мой, совсем недавно я понял, что мы даже не захолустье, мы — заповедник! В глазах всего мира мы — заповедник глупости, невежества и порнократии. Представьте себе, в нашем городе второй год сидит профессор Рубинштейн. Социальный психолог, мировое имя. Он изучает нас, как животных... «Инстинктивная социология разлагающихся экономических формаций» — так называется его работа. Его интересует человек как носитель первобытных инстинктов, и он мне жаловался, как трудно ему было набирать материал в странах, где инстинктивная деятельность искажена и подавлена системой педагогики. А у нас он блаженствует! По его словам, у нас вообще нет никакой деятельности, кроме инстинктивной. Я был оскорблен, мне было стыдно, но боже мой, что же я мог ему возразить?.. Вы поймете меня. Вы же умный человек, мой друг, вы холодный человек, я знаю, но не могу же я поверить, чтобы вам до такой степени было все равно...

Человек с пластырем высокомерно глядел на него и вдруг дернул щекой. И я сразу же узнал его: это был тот самый тип с моноклем, который так ловко облил меня светящейся гадостью вчера у меценатов. Ах ты стервец! — подумал я. Ах ты вор! Оккупационная армия ему понадобилась! Дух, видите ли, захлебнулся в сале...

— Простите, советник, — брезгливо произнес человек с пластырем. — Я все это понимаю, и именно поэтому мне совершенно ясно, что все вокруг нас — это маразм. Последние судороги. Эйфория.

Я встал и приблизился к их столику.

— Разрешите? — спросил я.

Они удивленно воззрились на меня. Я сел.

— Простите меня, пожалуйста, — сказал я. — Я, собственно, турист и здесь у вас недавно, а вы, по-моему, местные и даже имеете какое-то отношение к городскому управлению... Вот я и решился побеспокоить вас. Я все слышу вокруг: меценаты, меценаты... А что это такое, никто толком не знает...

Человек с пластырем снова дернул щекой. Глаза его расширились — он тоже узнал меня.

— Меценаты? — сказал румяный советник приветливо. — Есть, есть такая варварская организация у нас. Очень печально, но есть. (Я кивал и рассматривал пластырь. Мой знакомый уже оправился и с прежним высокомерным видом кушал желе.) По сути дела, это современные вандалы. Мне просто трудно подобрать другое слово. Они скупают на паях ворованные картины, скульптуры, рукописи неопубликованных книг, патенты и уничтожают их. Вы представляете, как это отвратительно? Они находят некое патологическое наслаждение в уничтожении элементов мировой культуры. Собираются большой, хорошо одетой толпой и неторопливо, продуманно, со сладострастием уничтожают...

— Ай-яй-яй-яй! — сказал я, не сводя глаз с пластыря. — А ведь таких надо вешать за ноги.

— Мы их преследуем! — воскликнул румяный советник. — Мы их преследуем по закону. Мы, к сожалению, не можем преследовать артиков и першей, они, собственно, не нарушают никаких писаных законов, но коль скоро речь заходит о меценатах...

— Вы уже кончили, советник? — осведомился человек с пластырем. Меня он игнорировал.

Румяный спохватился.

— Да-да, нам пора идти. Вы нас извините, — сказал он, обращаясь ко мне, — у нас заседание в муниципалитете...

— Бармен! — металлическим голосом позвал человек с пластырем. — Вызовите такси, прошу вас.

— Вы давно в городе? — спросил румяный.

— Второй день, — ответил я.

— И вам... нравится?

— Красивый город.

— М-да, — промямлил румяный.

Мы помолчали. Человек с пластырем нахально вставил в глаз монокль и вытащил сигару.

— Болит? — спросил я сочувственно.

— Что именно? — надменно сказал он.

— Скула, — сказал я. — И еще должна болеть печень.

— У меня никогда ничего не болит, — ответил он, блеснув моноклем.

— Разве вы знакомы? — удивился румяный.

— Немножко, — сказал я. — Мы поспорили об искусстве.

Бармен крикнул, что такси прибыло. Человек с пластырем сейчас же встал.

— Пойдемте, советник, — сказал он.

Румяный растерянно улыбнулся мне и тоже встал. Они пошли к выходу. Я проводил их глазами и направился к стойке.

— Бренди? — спросил бармен.

— Именно, — сказал я. Меня трясло от злости. — Кто эти люди, с которыми я сейчас говорил?

— Плешивый — это советник муниципалитета, культурой занимается. А тот, что с моноклем, — это городской казначей.

— Казначей, — сказал я. — Сволочь он, а не казначей.

— Да ну? — сказал бармен с интересом.

— Вот вам и ну. Буба пришел?

— Нет еще. А казначей, он что?

— Сволочь он, — сказал я. — Ворюга.

Бармен подумал.

— Очень даже может быть, — сказал он. — Вообще-то он барон. Бывший, конечно. Повадки у него и верно сволочные. Жалко, я голосовать не ходил, а то бы против него голосовал... А что он вам сделал?

— Он вам сделал, — сказал я. — А я ему сделал. И еще кое-что сделаю. Вот такое положение.

Бармен, ничего не поняв, кивнул и сказал:

— Повторим?

— Давайте, — сказал я.

Он налил мне бренди и сообщил:
— А вот и Буба пришел.
Я оглянулся и чуть не выронил стакан. Я узнал Бубу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Он стоял у дверей и озирался с таким видом, будто пытался вспомнить, куда он пришел и для чего пришел. Он был очень не похож на себя, но я его все-таки узнал сразу, потому что мы четыре года просидели рядом в аудиториях Школы, и потом было еще несколько лет, когда мы встречались чуть ли не ежедневно.

— Слушайте, — сказал я бармену. — Его зовут Буба?

— Умгум, — сказал бармен.

— Что же это — кличка?

— Откуда мне знать? Буба и Буба. Его все так зовут.

— Пек! — крикнул я.

Все посмотрели на меня. И он тоже медленно повернул голову и поискал глазами, кто зовет. Но на меня он не обратил внимания. Словно вспомнив что-то, он вдруг судорожными движениями принялся отряхивать воду с плаща, а потом, шаркая каблуками, подковылял к стойке и с трудом взобрался на табурет рядом со мной.

— Как обычно, — сказал он бармену. Голос у него был глухой и сдавленный, словно его держали за горло.

— Вас тут дожидаются, — сказал бармен, ставя перед ним стакан спирта и глубокую тарелку, наполненную сахарным песком.

Он медленно повернул голову, посмотрел на меня и спросил:

— Ну? Чего надо?

Веки у него были воспалены и полуопущены, в уголках глаз скопилась слизь. И дышал он через рот, как будто страдал аденоидами.

— Пек Зенай, — тихо произнес я, — курсант Пек Зенай, вернитесь, пожалуйста, с Земли на небо.

Он все так же слепо смотрел на меня. Потом облизнул губы и сказал:

— Сокурсник, что ли?

Мне стало жутко. Он отвернулся, взял стакан, выцедил спирт и, давясь от отвращения, стал есть сахарный песок большой столовой ложкой. Бармен налил ему второй стакан.

— Пек, — сказал я, — ты что же, дружище, не помнишь меня?

Он снова оглядел меня.

— Да нет... Наверное, видел где-то...

— Видел где-то! — сказал я с отчаянием. — Я — Иван Жилин, неужели ты меня совсем забыл?

Его рука со стаканом едва заметно дрогнула, и этим все кончилось.

— Нет, приятель, — сказал он. — Прошу извинить, конечно, но я вас не помню.

— И «Тахмасиб» не помнишь? И Айову Смита не помнишь?

— Изжога меня сегодня изводит, — сообщил он бармену. — Дайте-ка мне содовой, Кон.

Бармен, с любопытством нас слушавший, налил содовой.

— Дрянной сегодня день, — сказал Буба. — Два автомата отказали, представляете, Кон?

Бармен покачал головой и вздохнул.

— Директор лается, — продолжал Буба. — Вызвал меня на ковер и облаял. Уйду я оттуда. Послал я его к чертовой матери, он меня и уволил.

— А вы заявите в профсоюз, — посоветовал бармен.

— Да ну их, — сказал Буба. Он выпил содовую и вытер рот ладонью. На меня он не смотрел.

Я сидел как оплеванный. Я совершенно забыл, зачем мне нужен был Буба. Мне нужен был Буба, а не Пек... То есть Пек мне тоже был нужен, но не этот... Этот не был Пеком, он был каким-то незнакомым и неприятным мне Бубой, и я с ужасом смотрел, как он выцедил второй стакан спирта и снова принялся заталкивать в себя полные ложки сахара. Лицо его покрылось красными пятнами, он давился и слушал, как бармен азартно рассказывает ему про футбол... Мне захотелось крикнуть: Пек, что с тобой случилось, Пек, ты же ненавидел все это!.. Я положил руку ему на плечо и сказал умоляюще:

— Пек, милый, выслушай меня, пожалуйста...

Он отстранился.

— В чем дело, приятель? — Глаза его совсем уже не смотрели. — Я не Пек, меня зовут Буба, понял? Вы меня с кем-то путаете... Никакого Пека здесь нет... Так что тогда «Носороги», Кон?..

И я вспомнил, где я нахожусь, и понял, что Пека здесь действительно больше нет, а есть Буба, агент преступной организации, и это единственная реальность, а Пек Зенай — мираж, доброе воспоминание, и о нем надо скорее забыть, если я намерен работать... Ладно, подумал я, стискивая зубы, пусть будет по-вашему.

— Алё, Буба, — сказал я. — У меня к тебе дело.

Он уже был пьян.

— А я о делах возле стойки не разговариваю, — заявил он. — И вообще я работу кончил. Все. Больше у меня никаких дел нет. Обратись, приятель, в муниципалитет. Там тебе помогут.

— Я к тебе обращаюсь, а не в муниципалитет, — сказал я. — Ты меня будешь слушать?

— А я тебя и так все время слушаю. Здоровье только порчу.

— Дело у меня небольшое, — сказал я. — Мне нужен слег.

Он сильно вздрогнул.

— Ты что, приятель, обалдел, что ли?

— Вы бы все-таки постыдились, — сказал бармен, — при людях-то... Совесть совсем потеряли.

— Заткнись, — сказал я ему.

— Ты потише, — грозно сказал бармен. — В полицию давно не таскали? А то смотри, раз, два — и высылка...

— Плевал я на высылку, — нагло сказал я. — Не суйся в чужие дела...

— Слегач вонючий, — сказал бармен. Он заметно озверел, но говорил негромко. — Слег ему захотелось. Сейчас позову сержанта, он тебе даст слег...

Буба сполз с табуретки и поспешно заковылял к выходу. Я оставил бармена и поспешил следом. Он выскочил под дождь и, забыв поднять капюшон, стал озираться, ища такси. Я догнал его и взял за рукав.

— Ну, что тебе от меня надо? — с тоской сказал он. — Я полицию позову.

— Пек, — сказал я. — Опомнись, Пек, я — Иван Жилин, ты же меня помнишь...

Он все озирался, то и дело вытирая ладонью воду, струившуюся по лицу. Вид у него был жалкий, загнанный, и я, стараясь подавить раздражение, все уверял себя, что это мой Пек, бесценный Пек, незаменимый Пек, добрый, умный, веселый Пек, все пытался вспомнить, какой он был за пультом «Гладиатора», и не мог, потому что невозможно было теперь представить его где-либо, кроме бара, над стаканом спирта.

— Такси! — завизжал он, но машина промчалась мимо, в ней было полно людей.

— Пек, — сказал я, — поедем ко мне. Я тебе все расскажу.

— Отстаньте от меня, — сказал он, стуча зубами. — Я никуда с вами не поеду. Отстань! Я же тебя не трогал, я же тебе ничего не сделал, отстань, ради бога!

— Ну хорошо, — сказал я. — Я от тебя отстану. Но ты мне должен дать слег и дать свой адрес.

— Не знаю я никаких слегов, — застонал он. — Да что ж это за день такой сегодня, господи!..

Припадая на левую ногу, он побрел прочь и вдруг нырнул в подвальчик

с красивой скромной вывеской. Я последовал за ним. Мы сели за столик, и нам тотчас принесли горячее мясо и пиво, хотя мы ничего не заказывали. Буба дрожал, мокрое лицо его стало синим. Он с отвращением оттолкнул тарелку и стал глотать пиво, обхватив кружку обеими ладонями. В подвальчике было тихо и пусто, над сверкающим буфетом висела белая доска с золотыми буквами: «У НАС ПЛАТЯТ».

Буба поднял голову от кружки и тоскливо сказал:

— Можно, я уйду, Иван? Не могу... К чему все эти разговоры? Отпусти меня, пожалуйста...

Я взял его за руку.

— Пек, что с тобой творится? Ведь я тебя искал, адреса твоего нигде нет... Я тебя встретил совершенно случайно и ничего не понимаю. Как ты попал в эту историю?.. Может, я могу помочь тебе чем-нибудь? Может быть, мы...

Он вдруг с бешенством вырвал у меня руку.

— Вот палач, — прошипел он. — Гестаповец... Черт меня понес в этот «Оазис»... Дурацкая болтовня, сопли... Нет у меня слега, понял? Есть один, так я тебе его не отдам! Что я потом — как Архимед?.. Есть у тебя совесть? Тогда отпусти меня, не мучай...

— Я не могу тебя отпустить, — сказал я, — пока не получу слег. И твой адрес. Должны же мы поговорить...

— Я не желаю с тобой говорить, неужели ты этого не понимаешь? Я ни с кем ни о чем не желаю говорить. Я хочу домой... И слег свой я тебе не отдам... Что я вам, фабрика? Тебе отдам, а потом через весь город крюка давать?

Я молчал. Ясно было, что он ненавидит меня сейчас. Что если бы он чувствовал себя в силах, он бы убил меня и ушел. Но он знал, что это не в его силах.

— Сволочь, — сказал он с яростью. — Почему ты сам купить не можешь? Денег у тебя нет? На! На! — Он стал судорожно рыться в карманах, выбрасывая на стол медяки и смятые бумажки. — Бери, здесь хватит!

— Что купить? У кого?

— Вот осел проклятый... Ну этот... Как его... м-м-м... как его... А, дьявол!.. — крикнул он. — Провались ты совсем! — Он запустил пальцы в нагрудный карман и вытащил плоский пластмассовый футлярчик. Внутри была блестящая металлическая трубочка, похожая на инвариант-гетеродин для карманных радиоприемников. — На! Жри! — Он протянул мне эту трубочку. Она была маленькая, длиной не больше дюйма и толщиной в

миллиметр.

— Спасибо, — сказал я. — И как ею пользоваться?

У Пека раскрылись глаза. Он даже, кажется, улыбнулся.

— Господи, — сказал он почти с нежностью, — неужели ты ничего не знаешь?

— Ничего не знаю, — сказал я.

— Ну, так бы и сказал с самого начала. А я думаю, что он меня изводит, как палач? У тебя приемник есть? Вставь туда вместо гетеродина, повесь где-нибудь в ванной или поставь, все равно, и валяй.

— В ванной?

— Да.

— Обязательно в ванной?

— Ну да! Обязательно нужно, чтобы тело было в воде. В горячей воде. Эх ты, теленок...

— А «Девон»?

— А «Девон» высыпь в воду. Таблеток пять в воду и одну в рот. На вкус они отвратительные, но зато потом не пожалеешь... И еще обязательно добавь в воду ароматических солей. А перед самым началом выпей пару стаканчиков чего-нибудь покрепче. Это нужно, чтобы... как это... ну... развязаться, что ли...

— Так, — сказал я. — Понятно. Теперь все понятно. — Я завернул слег в бумажную салфетку и положил в карман. — Значит, волновая психотехника?

— Господи, да какое тебе до этого дело? — Он уже стоял, надвигая капюшон на голову.

— Никакого, — сказал я. — Сколько я тебе должен?

— Пустяки, вздор! Пошли скорее... Какого черта мы теряем время?

Мы поднялись на улицу.

— Ты правильно решил, — сказал Пек. — Разве это мир? Разве в этом мире мы люди? Это дерьмо, а не мир. Такси! — завопил он. — Эй, такси! — Его затрясло от возбуждения. — И чего меня понесло в «Оазис»?.. Не-ет, теперь я больше никуда, никуда...

— Дай мне твой адрес, — сказал я.

— Зачем тебе мой адрес?

Подкатило такси, Буба рванул дверцу.

— Адрес! — сказал я, хватая его за плечо.

— Вот дурак, — сказал Буба. — Солнечная, одиннадцать... Вот дурак, — повторил он, усаживаясь.

— Завтра я к тебе зайду, — сказал я.

Он уже не обращал на меня внимания. «Солнечная! — крикнул он шоферу. — Через центр! И побыстрее ради бога!»

Как просто, подумал я, глядя вслед его машине. Как все оказалось просто! И все совпадает. И ванна, и «Девон». И орущие приемники, которые так нас раздражали и на которые мы никогда не обращали внимания. Мы их просто выключали... Я взял такси и отправился домой.

А вдруг он меня обманул, подумал я. Просто хотел от меня поскорее избавиться... Впрочем, это я скоро узнаю. Он совсем не похож на агента-распространителя. Он же Пек... Впрочем, нет, он уже больше не Пек. Бедный Пек. Никакой ты не агент, ты просто жертва. Ты знаешь, где можно купить эту гадость, но ты всего лишь жертва. Слушайте, я не желаю допрашивать Пека, я не желаю его трясти, как какую-нибудь шпану... Правда, он уже не Пек. Чепуха, что значит не Пек? Он — Пек... и все-таки... придется... Волновая психотехника... Но дрожка — это ведь тоже волновая психотехника. Что-то слишком просто все получается, подумал я. Я здесь и двух суток не пробыл... А Римайер живет здесь с самого мятежа. Как забросили его тогда, так он здесь и прижился, и все им были довольны, хотя в последних отчетах он писал, что ничего похожего на то, что мы ищем, здесь нет. Правда, у него нервное истощение... и «Девон» на полу. И Оскар. И он не стал умолять меня, чтобы я его отпустил, а просто направил меня к рыбарям...

Я никого не встретил ни во дворе, ни в холле. Было уже около пяти. Я прошел к себе в кабинет и позвонил Римайеру. Ответил тихий женский голос.

— Как больной? — спросил я.

— Он спит. Не надо его беспокоить.

— Я не буду. Ему лучше?

— Я же вам сказала, что он заснул. И не звоните так часто, пожалуйста. Ваши звонки его тревожат.

— Вы будете у него все время?

— Во всяком случае, до утра. Если вы позвоните еще хоть раз, я выключу телефон.

— Благодарю вас, — сказал я. — Вы только не уходите от него до утра. Я больше не буду вас беспокоить.

Я повесил трубку и некоторое время сидел, размышляя, в удобном мягком кресле перед большим и совершенно пустым столом. Потом я достал из кармана слег и положил перед собой. Маленькая блестящая трубочка, незаметная и совершенно безобидная на вид, обычная радиодеталь. Такие можно делать миллионами. Они должны стоить

копейки и очень удобны при транспортировке.

— Что это у вас? — спросил Лэн над самым моим ухом.

Он стоял рядом и смотрел на слег.

— А разве ты не знаешь? — спросил я.

— Это из приемника, — сказал он. — У меня в приемнике есть такая. Все время портится.

Я достал из кармана свой приемник, вынул из него гетеродин и положил рядом со слегом. Гетеродин был похож на слег, но это был не слег.

— Не одинаковые, — признал Лэн. — Но такую штучку я тоже видел.

— Какую?

— Вот такую, как у вас.

Он вдруг насупился, и лицо его сделалось сердитым.

— Вспомнил? — спросил я.

— Вовсе нет, — сказал он мрачно. — Ничего я не вспомнил.

— Ну и ладно, — сказал я. Я взял слег и вставил его в приемник вместо гетеродина. Лэн схватил меня за руку.

— Не надо, — сказал он.

— Почему?

Он не ответил, глядя на приемник настороженными глазами.

— Ты чего боишься? — спросил я.

— Ничего я не боюсь, откуда вы взяли...

— Посмотрись в зеркало, — сказал я и положил приемник в карман. — У тебя такой вид, будто ты за меня испугался.

— За вас? — удивился он.

— Ну ясно, за меня. Не за себя же... Хотя да, ведь ты еще боишься этих... некротических явлений.

Он стал смотреть в сторону.

— Откуда вы взяли? — сказал он. — Просто мы так играем.

Я презрительно фыркнул.

— Знаю я эти игры! Одного вот только не знаю: откуда в наше время берутся некротические явления?

Он озирался по сторонам, потом стал пятиться.

— Я пойду, — сказал он.

— Нет уж, — сказал я решительно. — Давай договорим, раз начали. Как мужчина с мужчиной. Ты не думай, я в этих некротических явлениях кое-что смыслю.

— Что вы смыслите? — Он был уже возле дверей и говорил очень тихо.

— Побольше тебя, — сказал я строго. — Но орать об этом на весь дом

не собираюсь. Если хочешь говорить, подойди сюда... Я-то ведь не какое-нибудь там некротическое явление. Залезай сюда на стол и садись.

Целую минуту он колебался, исподлобья глядя на меня, и все, чего он опасался, и все, на что он надеялся, появлялось и исчезало у него на лице. Наконец он сказал:

— Я только дверь закрою.

Он сбегал в гостиную, закрыл дверь в холл, вернулся, плотно закрыл дверь в гостиную и подошел ко мне. Руки у него были в карманах, лицо бледное, а оттопыренные уши — красные и холодные.

— Во-первых, ты дурак, — объявил я, подтащив его к себе и поставив между коленей. — Жил-был мальчик до того запуганный, что штанишки у него не высыхали даже на пляже, а уши у него от страха были такие холодные, словно он клал их на ночь в холодильник. Этот мальчик все время дрожал, и так он дрожал, что, когда вырос, у него оказались извилистые ноги, а кожа сделалась, как у ощипанного гусака.

Я надеялся, что он хоть раз улыбнется, но он слушал очень серьезно и очень серьезно спросил:

— А чего он боялся?

— У него был старший брат, хороший человек, но большой любитель выпить. И как это часто бывает, подвыпивший брат был совсем не похож на брата трезвого. У него делался очень дикий вид. А когда он выпивал особенно много, то делался похожим на покойника. И вот этот мальчик...

На лице Лэна появилась презрительная усмешка.

— Нашел чего бояться... Они, когда пьяные, наоборот, добрые.

— Кто — они? — сейчас же спросил я. — Мать? Вузи?

— Ну да. Мама, наоборот, с утра, как встанет, всегда злится, а потом раз выпьет вермуту, два выпьет вермуту, и все. А к вечеру уже совсем добрая, потому что ночь близко...

— А ночью?

— Ночью этот хмырь приходит, — неохотно сказал Лэн.

— До хмыря нам дела нет, — деловито сказал я. — Не от хмыря же ты в гараж убегаешь.

— Я не убегаю, — сказал он упрямо. — Это такая игра.

— Не знаю, не знаю, — сказал я. — Есть, конечно, на свете вещи, которых даже я боюсь. Например, когда мальчик плачет и дрожит. Я на такие вещи смотреть не могу, у меня все внутри прямо переворачивается. Или когда зубы болят, а по ходу дела надо улыбаться, — вот это страшно, ничего не скажешь. А бывают просто глупости. Когда дураки, например, от безделья и от жира угощаются мозгом живой обезьянки. Это уже не

страшно, это просто противно. Тем более что это они не сами придумали. Это еще тысячу лет назад — и тоже с жиру — придумали толстые тираны на Дальнем Востоке. А нынешние дурачки услыхали про это и обрадовались. Так их ведь жалеть надо, а не бояться...

— Жалеть, — сказал Лэн. — Они-то ведь никого не жалеют. Они что захотят, то и делают. Им ведь все равно, как вы не понимаете... Им если скучно, то все равно, кому голову пилить... Дурачки... Это они днем, может быть, дурачки, вы вот все это не понимаете, а ночью они не дурачки, они все пр`оклятые...

— Как это так?

— Всем миром они проклятые. Покоя им нет и не будет. Вы-то ничего не знаете... Вам что, как приехали, так и уедете... А они — ночью живые, а днем мертвые... трупные...

Я сходил в гостиную и принес ему воды. Он выпил полный стакан и сказал:

— А вы скоро уедете?

— Да нет, что ты, — сказал я, похлопывая его по спине. — Я же только что приехал.

— Можно, я у вас ночевать буду?

— Конечно.

— Сначала у меня замок был, а сейчас она у меня замок зачем-то сняла. А зачем сняла — не говорит...

— Ладно, — сказал я. — Будешь спать у меня в гостиной. Хочешь?

— Да.

— Вот, запирайся там и спи на здоровье. А я тогда в спальню через окно забираться буду.

Он поднял голову и пристально посмотрел мне в лицо.

— Думаете, у вас двери запираются? Я тут все знаю. У вас ведь тоже не запираются.

— Это у вас они не запираются, — сказал я по возможности небрежно. — А у меня они запираться будут. На полчаса работы.

Он неприятно, как взрослый, засмеялся.

— Вы сами-то боитесь. Ладно, я пошутил. Запираются они у вас, не бойтесь.

— Дурачина ты, — сказал я. — Я же тебе сказал, что ничего такого не боюсь. — Он испытующе смотрел на меня. — А замок я сделаю в гостиной для того, чтобы ты спал спокойно, раз уж ты такой боязливый. А я всегда сплю с открытым окном.

— Я же говорю, — сказал он, — я пошутил.

Мы помолчали.

— Лэн, — сказал я, — а кем ты будешь, когда вырастешь?

— А что? — сказал он. Он очень удивился. — Какая мне разница?

— Как так — какая разница? Тебе все равно, химиком ты будешь или барменом?

— Я же вам сказал: мы все проклятые. От проклятия-то не уйдешь, как вы понять не можете, это же всякий знает.

— Что ж, — сказал я, — бывали и раньше проклятые народы. А потом рождались дети, которые вырастали и снимали проклятие.

— А как?

— Это долго объяснять, дружище. — Я встал. — Я тебе это еще обязательно расскажу. А сейчас беги играй. Днем-то ты хоть играешь? Ну, вот и беги. А когда солнце сядет, приходи, я тебе постелю.

Он сунул руки в карманы и пошел к дверям. Там он остановился и сказал через плечо:

— А эту штучку из приемника вы лучше выньте. Вы думаете, это что такое?

— Гетеродин, — сказал я.

— Никакой это не гетеродин. Вы его выньте, а то вам плохо будет.

— Почему это мне плохо будет? — сказал я.

— Выньте, — сказал он. — Вы всех будете ненавидеть. Вы сейчас не проклятый, а станете проклятым. Кто вам его дал? Вузи?

— Нет.

Он умоляюще посмотрел на меня.

— Иван, выньте!

— Так и быть, — сказал я. — Выну. Беги играй. И никогда меня не бойся, слышишь?

Он ничего не сказал и вышел, а я остался сидеть в кресле, положив руки на стол, и скоро услышал, как он завозился в кустах сирени под окнами. Он шуршал, топал, что-то бормотал и тихонько вскрикивал, разговаривая сам с собой: «...Принесите флаги и ставьте здесь, и здесь, и здесь... вот... вот... вот... И тогда я сел в самолет и улетел в горы...» Интересно, когда он ложится спать? — подумал я. Хорошо, если в восемь или хотя бы в девять, зря я, пожалуй, все это затеял, сейчас бы заперся в ванной и через два часа уже все знал бы, да нет, не мог же я отказать ему, представь-ка себя на его месте, но это не метод, я потакаю его страхам, надо было придумать что-нибудь поумнее, а попробуй придумай, это тебе не Аньюдинский интернат, ох, какой же это не Аньюдинский интернат, какое же это все не такое, и что же мне сейчас предстоит, какой, интересно,

круг рая, только если будет щекотно, я не смогу, интересно, рыбари — это тоже круг рая, наверняка меценатство для аристократов духа, а Старое Метро для тех, кто попроще, хотя интели тоже аристократы духа, а напиваются как свиньи и ни на что больше не годны, даже они больше ни на что не годны, слишком много ненависти, слишком мало любви, ненависти легко научить, а вот любви — трудно, и потом, любовь слишком затаскали и обслюнявили, и она пассивна, почему-то так получилось, что любовь всегда пассивна, а ненависть зато всегда активна и потому очень привлекательна, и говорят еще, что ненависть — от природы, а любовь — от ума, от большого ума, а с интелями все-таки хорошо бы поговорить, не все же они там дураки и истерики, а вдруг удастся найти Человека, что, собственно, хорошо у человека от природы, фунт серого вещества, но и это не всегда хорошо, так что человеку всегда приходится начинать на голом месте, а хорошо было бы, если бы наследовались социальные признаки; правда, тогда Лэн был бы сейчас маленьким генерал-полковником; нет уж, лучше не надо, лучше на голом месте, он бы, конечно, ничего не боялся, но зато он бы пугал других, которые не генерал-полковники...

Я вздрогнул, потому что увидел: на яблоне напротив окна сидит Лэн и пристально смотрит на меня. В следующее мгновение он исчез, только затрещали ветки и посыпались яблоки. Нипочем не верит, подумал я. Никому не верит. А я кому-нибудь верю в этом городе? Я перебрал всех, кого мог вспомнить. Нет, никому я не верю. Я снял трубку, позвонил в «Олимпик» и попросил соединить с номером восемьсот семнадцать.

— Слушаю вас, — сказал голос Оскара.

Я молчал, прикрыв микрофон пальцами.

— Слушаю! — раздраженно повторил Оскар. — Второй раз уже, — сказал он кому-то в сторону. — Алло!.. Да нет, какие у меня здесь могут быть женщины?.. — Он повесил трубку.

Я взял томик Минца, лег в гостиной на тахту и читал до сумерек. Очень люблю Минца, но совершенно не помню, о чем я читал. С шумом проехала вечерняя смена. Тетя Вайна кормила Лэна ужином, пичкала его толокном с горячим молоком. Лэн капризничал, хныкал, а она терпеливо и ласково уговаривала его. Таможенник Пети внушал командирским голосом, но вполне добродушно: «Надо есть, надо есть, раз мать говорит — надо есть, выполняйте...» Заходили двое каких-то, судя по голосам — разболтанных молодых людей, спрашивали Вузи и заигрывали с тетей Вайной. По-моему, они были пьяны. Темнело быстро. В восемь часов в кабинете зазвонил телефон. Я босиком сбегал в кабинет и взял трубку, но никто не заговорил. Как аукнется, так и откликнется. В восемь десять в

дверь постучали. Я обрадовался, что это Лэн, но это оказалась Вузи.

— Что же вы даже не заходите? — возмущенно спросила она прямо с порога. На ней были шорты с изображением подмигивающей физиономии, тесная курточка-безрукавка, открывающая пупок, и огромный прозрачный шарф, она была свежая и крепенькая, как недозрелое яблоко. До оскомины.

— Я сижу и жду его весь день, а он здесь валяется. У вас болит что-нибудь?

Я поднялся и сунул ноги в туфли.

— Садитесь, Вузи. — Я похлопал по тахте рядом с собой.

— Не сяду я с вами, — сказала она. — Он тут читает, оказывается... Хоть бы выпить предложил.

— В баре, — сказал я. — Как поживает слюнявая корова?

— Слава богу, сегодня ее не было, — сказала Вузи, залезая в бар. — Сегодня мне досталась мэриха... Вот дурища! Почему, значит, ее никто не любит? А за что ее любить?.. Вам с водой?.. Глаза белые, морда красная, задница диваном — ну как у лягушки, ей-богу... Слушайте, давайте сделаем «хорек». Сейчас все делают «хорек»...

— А я не люблю делать, как все.

— Это я и сама вижу. Все идут гулять, а он валяется. И читает вдобавок.

— Он устал, — сказал я.

— Ах так? Тогда я могу уйти!

— А я вас не пущу, — сказал я, поймал ее за шарф и посадил рядом с собой. — Вузи, девочка, вы специалист только по дамскому хорошему настроению или вообще? Не можете ли вы привести в хорошее настроение одинокого мужчину, которого никто не любит?

— А за что вас любить? — Она оглядела меня. — Глаза рыжие, нос картошкой...

— Как у крокодила.

— Как у пса... Не обнимайтесь, я вам не позволяю. Почему вы не зашли?

— А почему вы меня вчера бросили?

— Здравствуйте, я его бросила!..

— Одного, в чужом городе...

— Я его бросила! Да я вас потом везде искала! Я всем рассказывала, что вы тунгус, а вы пропали, — очень нехорошо с вашей стороны... Нет, я не разрешаю! Где вы вчера были? Рыбарили, наверное? А сегодня опять ничего не расскажете...

— Почему это не расскажу? — возразил я. И я рассказал ей про Старое

Метро. Я сразу сообразил, что правды будет недостаточно, и я рассказал про людей в металлических масках, про жуткую клятву, про стену, мокрую от крови, про рыдающий скелет — про разные вещи я рассказал и дал ей пощупать желвак за ухом. Ей все это очень понравилось.

— Пойдемте сейчас же, — сказала она.

— Ни за что, — сказал я и лег.

— Что за манеры? Сейчас же вставайте, и пойдем! Ведь мне никто не поверит, а вы покажете эту шишку, и все сразу будет в порядке.

— А потом мы пойдем на дрожку? — осведомился я.

— Ну да! Знаете, это, оказывается, даже полезно для здоровья...

— И будем пить бренди?

— И бренди, и вермут, и «хорек», и виски...

— Хватит, хватит... И будем тискаться в машинах на скорости в сто пятьдесят миль?.. Слушайте, Вузи, зачем вам туда идти?

Она наконец поняла и растерянно заулыбалась.

— А что тут плохого? Рыбари ведь тоже ходят...

— Да нет, ничего плохого, — сказал я. — Но что тут хорошего?

— Не знаю. Все так делают. Иногда бывает очень весело... И дрожка. В дрожке все всегда исполняется...

— Что же это — все?

— Ну не все, конечно... Но о чем думаешь, чего хотелось бы, часто исполняется. Как во сне.

— Так, может, лучше лечь спать?

— Ну да! — сердито сказала она. — В настоящем сне такое бывает... Будто вы не знаете! А в дрожке — только то, что хочется!..

— А что вам хочется?

— Н-ну... Много чего...

— А все-таки? Вот пусть я волшебник. И я вам говорю: загадайте три желания. Любые, какие хотите. Самые сказочные. И я вам их исполню. Ну-ка?

Она тяжело задумалась, у нее даже плечи опустились. Потом лицо ее прояснилось.

— Чтобы я никогда не старилась! — заявила она.

— Отлично, — сказал я. — Раз.

— Чтобы я... — вдохновенно начала она и замолчала.

Я очень любил задавать этот вопрос своим знакомым и задавал его при каждом удобном случае. Несколько раз я задавал своим ребятам даже сочинение на тему «три желания». И мне всегда было очень интересно, что из тысячи мужчин и женщин, стариков и ребятишек всего два-три десятка

сообразили, что желать можно не только для себя лично и для ближайших тебе людей, но и для большого мира, для человечества в целом. Нет, это не было свидетельством неистребимости человеческого эгоизма, желания совсем не всегда были сугубо эгоистичными, а большинство опрошенных потом, когда я напоминал им об упущенных возможностях и о великих всечеловеческих проблемах, спохватывались, совершенно искренне сердились и упрекали меня, что я сразу не сказал. Но так или иначе все они начинали свой ответ чем-нибудь вроде: «Чтобы я...» Здесь проявлялась какая-то вековая подсознательная убежденность, что твои личные желания ничего не могут изменить в большом мире — есть у тебя волшебная палочка или нет, безразлично...

— Чтобы мне... — снова начала Вузи и снова замолчала. Я украдкой следил за нею. Она заметила это, расплылась в улыбке и, махнув рукой, сказала: — Да ну вас, в самом деле... Ну и трепач вы!

— Нет-нет-нет, — сказал я. — К этому вопросу всегда нужно быть готовым. А то вот был у меня один знакомый, он всем задавал этот вопрос, а потом сокрушался: «Ах, а я вот так не сообразил, такой случай потерял». Так что это совершенно серьезно. Первое у вас — чтобы никогда не стариться. А дальше?

— Ну что дальше?.. Ну, конечно, хорошо бы иметь красивого парня, чтобы все за ним бегали, а он бы только со мной был. Всегда.

— Превосходно, — сказал я. — Это два. И наконец?

По ее лицу было видно, что эта игра ей уже надоела и что сейчас она что-нибудь отмочит. И она отмочила. Я даже глазами захлопал.

— Да, — сказал я. — Это, конечно, да... Только это случается и без волшебства...

— Как сказать! — возразила она и принялась развивать идею, ссылаясь на невзгоды своих клиенток. Все это ей было очень весело и забавно, а я, позорно потерявшись, дул бренди с лимонным соком и стесненно хихикал, чувствуя себя девой-неудачницей. Нет, если бы это происходило в кабаке, я бы знал, как себя вести... Ой-ей-ей... Ну и ну... Да-а-а!.. Хорошенькими делами они там занимаются в своих Салонах Хорошего Настроения... Ай да престарелые!..

— Ф-фу-у... — сказал я наконец. — Вузи, вы меня смущаете... И потом я уже все понял. Я вижу, что без волшебства тут действительно не обойтись. Хорошо, что я не волшебник!

— Здорово я вас уела! — радостно сказала Вузи. — А вы бы чего сейчас пожелали?

Тогда я тоже решил пошутить.

— Мне ничего такого не надо, — сказал я. — Я ничего такого и не умею. Я бы хотел хороший добрый слег...

Она весело улыбалась.

— Мне трех желаний не требуется, — пояснил я. — Мне хватит одного.

Она еще улыбалась, но улыбка ее стала растерянной, потом кривой, потом она перестала улыбаться.

— Что? — сказала она жалким голосом.

— Вузи!.. — сказал я, поднимаясь. — Вузи!..

Она словно не знала, что делать. Она вскочила, потом села, потом опять вскочила. Столик с бутылками опрокинулся. На глазах у нее были слезы, а лицо было жалким, как у ребенка, которого нагло, грубо, жестоко, издевательски обманули. И вдруг она закусила губу и изо всех сил ударила меня по лицу — раз и еще раз. И пока я моргал, она, уже совсем плача, отшвырнула ногой опрокинутый столик и выбежала вон. Я сидел с раскрытым ртом. В темном саду взревел мотор, вспыхнули фары, затем шум двигателя пронесся по двору, по улице и затих в отдалении.

Я ощупал физиономию. Ай да шутка! Никогда в жизни я еще не шутил так эффектно. Болван старый... Вот тебе и слег...

— Можно? — спросил Лэн. Он стоял в дверях, и он был не один. С ним был угрюмый, остриженный наголо конопатый мальчик. — Это Рюг, — сказал Лэн. — Можно, он тоже будет ночевать здесь?

— Рюг, — задумчиво сказал я, разглаживая щеки. — Рюг, значит... Ну да, конечно, хоть два Рюга... Слушай, Лэн, а почему ты не пришел хоть на пять минут раньше?

— Так тут же она была, — сказал Лэн. — Мы в окно смотрели, ждали, когда она уйдет.

— Да? — сказал я. — Очень интересно. Рюг, голубчик, а что скажут твои родители?

Рюг не ответил. Лэн сказал:

— У него не бывает родителей.

— Ну хорошо, — сказал я, испытывая легкое утомление. — А вы не будете драться подушками?

— Нет, — сказал Лэн без улыбки. — Мы будем спать.

— Ладно, — сказал я. — Я вам сейчас постелю, а вы быстренько приберите вот это все...

Я постелил им на тахте и на креслах, они сразу же разделись и легли. Я запер дверь в холл, погасил у них свет и перешел к себе в спальню и некоторое время сидел у окна, слушая, как они шепчутся, ворочаются и

двигают мебель. Потом они затихли. Около одиннадцати часов в доме раздался звон битого стекла. Голос тети Вайны запел какую-то маршевую песню, и снова зазвенело разбитое стекло. По-видимому, неутомимый Пети опять падал мордой. Из города доносилось: «Дрож-ка! Дрож-ка!» Кого-то громко тошнило на улице.

Я запер окно и опустил шторы. Дверь из кабинета в спальню я тоже запер. Потом я отправился в ванную и пустил горячую воду. Я все сделал по инструкции: поставил приемник на полочку для мыла, бросил в воду несколько таблеток «Девона» и кристаллики ароматической соли и хотел уже проглотить таблетку, когда вспомнил, что необходимо еще «развязаться». Мне не хотелось беспокоить ребятишек, да это и не понадобилось: початая бутыль с бренди нашлась в туалетном шкафчике. Я сделал несколько глотков прямо из горлышка, закусил таблеткой, потом разделся догола, залез в ванну и включил приемник.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Я нарочно не включал терморегулятор, и, когда вода остыла, я очнулся. Вопил приемник, блеск яркого света на белых стенах резал глаза. Я основательно озяб и покрылся пупырышками. Выключив приемник, я пустил горячую воду и остался в ванне, наслаждаясь приливающим теплом и очень странным, очень новым ощущением полной, какой-то космически огромной пустоты. Я ожидал похмелья, но похмелья не было. Было просто хорошо. И было очень много воспоминаний. И очень хорошо думалось, словно после долгого отдыха в горах...

В середине прошлого века Олдс и Милнер занимались экспериментами по мозговой стимуляции. Они вживляли электроды в мозг белых крыс. У них была варварская техника и варварская методология, но, отыскав в мозгу у крыс центры наслаждения, они добились того, что животные часами нажимали на рычажок, замыкающий ток в электродах, производя до восьми тысяч самораздражений в час. Эти крысы не нуждались ни в чем реальном. Они знать ничего не хотели, кроме рычага. Они игнорировали пищу, воду, опасность, самку, их ничто в мире не интересовало, кроме рычага стимулятора. Позже опыты были поставлены на обезьянах и дали те же результаты. Ходили слухи, что кто-то ставил такие эксперименты на преступниках, приговоренных к смерти...

То было тяжелое для человечества время: время угрозы атомного уничтожения, время свирепых малых войн по всему лицу планеты, время, когда большинство населения голодало, но даже тогда английский писатель и критик Кингсли Эмис, узнав об опытах с крысами, написал: «Не могу утверждать, что это пугает меня сильнее, нежели берлинский или тайваньский кризис, но должно, по-моему, пугать сильнее». Он многого опасался в будущем, этот умный и ядовитый автор «Новых карт ада», и, в частности, он предвидел возможности мозговой стимуляции для создания иллюзорного бытия, столь же или более яркого, нежели бытие реальное.

В конце века, когда наметились первые триумфы волновой психотехники и стали пустеть психиатрические лечебницы, в хоре восторженных воплей научных комментаторов раздражающим диссонансом прозвучала брошюрка Криницкого и Миловановича. В заключительной ее главке педагог Криницкий и инженер Милованович писали примерно следующее. В огромном большинстве стран мира воспитание молодого поколения находится на уровне восемнадцатого-

девятнадцатого столетий. Эта давняя система воспитания ставила и ставит своей целью прежде всего и по преимуществу подготовить для общества квалифицированного участника производственного процесса. Эту систему не интересуют все остальные потенции человеческого мозга, и поэтому вне производственного процесса современный человек в массе остается психологически человеком пещерным, Человеком Невоспитанным. Неиспользование этих потенций имеет результатом неспособность индивидуума к восприятию нашего сложного мира во всех его противоречиях, неспособность связывать психологически несовместимые понятия и явления, неспособность получать удовольствие от рассмотрения связей и закономерностей, если они не касаются непосредственного удовлетворения самых примитивных социальных инстинктов. Иначе говоря, эта система воспитания практически не развивает в человеке чистого воображения, фантазии и — как немедленное следствие — чувства юмора. Человек Невоспитанный воспринимает мир как некий по сути своей тривиальный, рутинный, традиционно простой процесс, из которого лишь ценой больших усилий удается выколотить удовольствия, тоже, в конце концов, достаточно рутинные и традиционные. Но и неиспользованные потенции остаются, по-видимому, скрытой реальностью человеческого мозга. Задача научной педагогики как раз и состоит в том, чтобы привести в движение эти потенции, научить человека фантазии, привести множественность и разнообразие потенциальных связей человеческой психики в качественное и количественное соответствие с множественностью и разнообразием связей реального мира. Эта задача, как известно, и должна стать основной задачей человечества на ближайшую эпоху. Но пока эта задача не решена, остаются основания предполагать и опасаться, что успехи психотехники приведут к таким способам волновой стимуляции мозга, которые подарят человеку иллюзорное бытие, яркостью и неожиданностью своей значительно превышающее бытие реальное. И если вспомнить, что фантазия позволяет человеку быть и разумным существом, и наслаждающимся животным, если добавить к этому, что психический материал для создания ослепительного иллюзорного бытия поставляется у Человека Невоспитанного самыми темными, самыми первобытными рефлексами, тогда нетрудно представить себе тот жуткий соблазн, который таится в подобных возможностях...

И вот — слег.

Понятно, почему слово «слег» они пишут на заборах...

Теперь все понятно. Скверно, что это мне понятно... Лучше бы я ничего не понял, лучше бы я, очнувшись, пожал плечами и вылез из ванны

разочарованный. Неужели и Строгову это было бы понятно, и Эйнштейну, и Петрарке?.. Фантазия — бесценная вещь, но нельзя ей давать дорогу внутрь. Только вовне, только вовне... До чего же вкусного червячка забросила какая-то сволочь на удочке в эту заводь! И как точно выбрано время... Да, если бы я командовал уэллсовскими марсианами, я не стал бы возиться с боевыми треножниками, тепловым лучом и прочей ерундой... Иллюзорное бытие... Нет, это не наркотик, куда там наркотикам... Это именно то, что должно было быть. Здесь. Сейчас. Каждому времени свое. Маковые зерна и конопля, царство сладостных смутных теней и покоя — для нищих, для заморенных, для забитых... А здесь никому не нужен покой, здесь ведь не угнетают и никто не умирает от голода, здесь просто скучно. Сытно, тепло, пьяно и скучно. Мир не то чтобы плох, мир скучен. Мир без перспектив, мир без обещаний... А он же не карась, он же все-таки человек... Да, это вам не царство теней, это именно бытие, настоящее, без скидок, без грезовой путаницы... Слег надвигается на мир, и этот мир будет не прочь покориться слегу.

И вдруг на какую-то долю мгновения я почувствовал, что погиб. И погибать мне было уютно. К счастью, я разозлился. Расплескивая воду, я вылез из ванны, ругаясь, разжигая в себе злобу, натянул на мокрое тело трусы и рубашку и схватил часы. Было три часа, и это могло быть три часа дня, и три часа следующей ночи, и три часа через сто лет. Дурак, подумал я, натягивая брюки. Разжалобился, отпустил Бубу, ведь он готов был дать мне адрес притона... Оперативники были бы уже здесь, и мы накрыли бы все это проклятое гнездо. Гнусное гнездо. Клопиное гнездо. Отвратительную клоаку... И в этот момент по самому дну сознания световым зайчиком прошла какая-то очень спокойная мысль. Но я не уловил ее.

В аптечке я нашел «потомак» — самое сильное возбуждающее, какое там только было. Сунулся в гостиную, но там посапывали ребятишки, и я вылез в окно. Город, естественно, отдыхал. На Пригородной торчали под фонарями ржущие подростки, по магистралям, залитым светом, бродили галдящие толпы. Где-то орали песни, где-то вопили: «Дрож-ка!», где-то били стекла. Я схватил такси без шофера, нашел индекс Солнечной улицы и набрал его на пульте управления. Машина пошла кружить по городу. В кабине воняло кислятиной, под ногами катались бутылки. На одном перекрестке я чуть не врезался в хоровод завывающих людей, на другом ритмично вспыхивали и гасли цветные огни, — видимо, дрожку можно было устраивать не только на площади. Они отдыхали, они отдыхали во все тяжкие, добрые духовники из Салонов Хорошего Настроения, вежливые

таможенники, искусные парикмахеры, нежные матери и мужественные отцы, невинные юноши и девушки, — все сменили дневной облик на ночной, все старались, чтобы было весело и ни о чем не надо было думать...

Я затормозил. На том самом месте. Мне даже почудилось, будто потянуло гарью.

...Пек подбил бронетранспортер из «гремучки». Бронетранспортер завертелся на одной гусенице, прыгая на кучах битого кирпича, и наружу сейчас же выскочили двое фашистов в распахнутых камуфляжных рубашках, швырнули в нас по гранате и помчались в тень. Они действовали умело и проворно, и было ясно, что это не сопляки из Королевской гимназии и не уголовники из Золотой бригады, а настоящие матерые офицеры-танкисты. Роберт в упор срезал их пулеметной очередью. Бронетранспортер был набит ящиками с консервированным пивом. Мы вдруг сразу вспомнили, что уже два дня непрерывно хотим пить. Айова Смит забрался в кузов и стал передавать нам банки. Пек вскрывал банки ножом. Роберт, прислонив пулемет к борту, пробивал банки ударом об острый выступ на броне. А Учитель, поправляя пенсне, путался в ремнях «гремучки» и бормотал: «Погодите, Смит, минуточку, вы же видите, у меня заняты руки...» В конце улицы ярко пылал пятиэтажный дом, густо пахло гарью и горячим металлом, мы жадно глотали теплое пиво, мы были мокрые, было очень жарко, а мертвые офицеры лежали на битом и перебитом кирпиче, одинаково раскинув ноги в коротких черных штанах, камуфляжные рубахи сбились к затылку, и кожа на их спинах все еще лоснилась от пота. «Это офицеры, — сказал Учитель, — слава богу. Я больше не могу видеть мертвых мальчиков. Проклятая политика, люди забывают бога из-за нее». — «Какого такого бога? — спросил Айова Смит из кузова. — В первый раз слышу». — «Не надо шутить с этим, Смит, — сказал Учитель. — Все это скоро кончится, и впредь никогда и никому не будет больше позволено отравлять души людей суетностью». — «А как они будут размножаться?» — спросил Айова Смит. Он снова нагнулся за пивом, и мы увидели горелые дыры у него на ягодицах. «Я говорю о политике, — сказал Учитель кротко. — Фашисты должны быть уничтожены, это звери, но этого мало. Есть еще много политических партий, и всем им со всей их пропагандой не место в нашей стране. — Учитель был из этого города и жил в двух кварталах от нашего поста. — Социал-анархисты, технократы, коммунисты, конечно...» — «Я коммунист, — объявил Айова Смит. — Во всяком случае, по убеждениям. Я за коммуну». Учитель растерянно смотрел на него. «И я безбожник, — добавил Айова Смит. — Бога нет,

Учитель, и с этим ничего не поделаешь». И тут мы все стали говорить, что мы безбожники, а Пек сказал, что он к тому же за технократию, а Роберт объявил, что отец его — социал-анархист, и дед был социал-анархистом, и ему, Роберту, тоже не миновать стать социал-анархистом, хотя он и не знает, что это такое. «Вот если бы пиво сделалось ледяным, — задумчиво сказал Пек, — я бы с удовольствием поверил в бога». Учитель сконфуженно улыбался и протирал пенсне. Он был хороший, мы всегда над ним подшучивали, и он никогда не обижался. Я с первой же ночи заметил, что храбрости он был не великой, но и никогда не отступал без команды. Мы все еще шутили и болтали, когда раздался грохот и треск, стена горящего дома обрушилась, и прямо из крутящегося огня, из тучи искр и дыма на нашу улицу выплыл, держась в метре над мостовой, штурмовой танк «мамонт». Такого ужаса мы еще не видели. Выплыв на середину улицы, он повел метателем, словно осматриваясь, затем убрал воздушную подушку и с громом и скрежетом двинулся в нашу сторону. Я опомнился только в подворотне. Танк был уже значительно ближе, и сначала я не увидел никого из наших, но затем в кузове бронетранспортера поднялся во весь рост Айова Смит, выставив перед собой «гремучку», уперев казенник в живот, и стал целиться. Я видел, как отдача согнула его пополам, я видел, как по черному лбу танка ширкнула огненная черта, а затем улица наполнилась ревом и пламенем, и когда я с трудом поднял опаленные веки, улица была пуста и дымилась, и на улице был только танк. Не было бронетранспортера, не было куч битого кирпича, не было покосившегося киоска возле соседнего дома — был только танк. Он словно проснулся теперь, он извергал водопады огня, и улица на глазах переставала быть улицей и превращалась в площадь. Пек сильно ударил меня по шее, и прямо перед лицом я увидел его стеклянные глаза, но не было уже времени бежать к траншее и разворачивать лоток. Мы вдвоем подхватили мину и побежали навстречу танку, и я помню только, что неотрывно смотрел Пеку в затылок, задыхался и считал шаги, и вдруг каска слетела с головы Пека, и Пек упал, и я едва не выронил тяжеленную мину и упал на него. Танк взорвали Роберт и Учитель. Я не знаю, как и когда они это сделали, — должно быть, они бежали вслед за нами с другой миной. Я просидел до утра на середине улицы, держа на коленях перебинтованную голову Пека и глядя на чудовищные гусеницы танка, торчащие из асфальтового озера. И в то же утро как-то сразу все кончилось. Зун Падана сдался со всем своим штабом и уже пленный был застрелен на улице какой-то сумасшедшей женщиной...

Это было то самое место. Мне даже чудилось, будто пахнет гарью и

раскаленным металлом. И даже киоск стоял на углу, и он даже был немного перекошенный — в стиле новой архитектуры. А часть улицы, которую танк превратил в площадь, так и осталась площадью, а на месте асфальтового озера был сквер, и в сквере кого-то били. Айова Смит был инженером-мелиоратором из Айовы, Соединенные Штаты. Роберт Свентицкий был кинорежиссером из Кракова, Польша. Учитель был школьным учителем из этого города. Их никто никогда больше не видел, даже мертвыми. А Пек был Пеком, который стал теперь Бубой. Я включил двигатель.

Буба жил в таком же коттедже, как и я, и входная дверь была раскрыта настежь. Я постучал, но никто не отозвался и никто не вышел мне навстречу. Я вошел в темный холл. Свет не загорелся. Дверь на правую половину оказалась запертой, и я заглянул на левую. В гостиной на растерзанной тахте спал бородатый мужчина в пиджаке и без брюк. Чьи-то ноги торчали из-под перевернутого стола. Пахло коньяком, табачным дымом и еще чем-то сладким, как давеча из гостиной тети Вайны. У двери в кабинет я столкнулся с красивой пышной женщиной, которая нисколько не удивилась, увидев меня.

— Добрый вечер, — сказал я. — Простите, Буба здесь живет?

— Здесь, — ответила она, разглядывая меня блестящими, словно масляными глазами.

— Можно его видеть?

— А почему бы нет? Сколько угодно.

— Где он?

— Вот чудак! — Она засмеялась. — Ну где может быть Буба?

Я предполагал — где, но сказал:

— Не знаю. Может быть, в спальне?

— Тепло, — сказала она.

— Что тепло?

— Вот дурак. И еще трезвый. Хочешь выпить?

— Нет, — сказал я сердито. — Где Буба? Он мне срочно нужен.

— Плохо твое дело, — сказала она весело. — Ну поищи, поищи, а я пойду.

Она потрепала меня по щеке и вышла.

В кабинете было пусто. На столе возвышалась большая хрустальная ваза с какой-то красноватой дрянью. От нее пахло сладко и тошно. В спальне тоже никого не было, простыни и подушки были скомканы и валялись как попало. Я подошел к двери ванной. В дверь явно стреляли из пистолета, изнутри, если судить по форме пробоин. Я помедлил, затем взялся за ручку. Дверь была заперта.

Я с трудом открыл ее. Буба лежал в ванне по шею в зеленоватой воде, от воды поднимался пар. На краю ванны хрипел и завывал приемник. Я стоял и глядел на Бубу. На бывшего космонавта-испытателя Пека Зеная. На бывшего стройного мускулистого парня, который в восемнадцать лет покинул свой теплый город у теплого моря и ушел в космос во славу человечества, а в тридцать лет вернулся на родину, чтобы драться с последними фашистами, и остался здесь навсегда. Мне было противно думать, что какой-нибудь час назад я был похож на него. Я потрогал его лицо, подергал за редкие влажные волосы. Он не пошевелился. Тогда я нагнулся над ним, чтобы дать ему понюхать «потомак», и вдруг понял, что он мертв.

Я сбросил на пол приемник и раздавил его каблуком. На полу валялся пистолет. Но Пек не застрелился, просто ему, наверное, мешали, и он стрелял в дверь, чтобы его оставили в покое. Я сунул руки в горячую воду, поднял его и перенес в спальню на кровать. Он лежал весь обмякший, страшный, с глазами, утонувшими подо лбом. Если бы он не был моим другом... Если бы он не был таким замечательным парнем... Если бы он не был таким замечательным работником...

Я вызвал по телефону «скорую помощь» и сел рядом с Пеком. Я старался о нем не думать. Я старался думать о деле. И я старался быть жестким и холодным, потому что по дну моего сознания снова прошел теплый световой зайчик, и на этот раз я понял, что это за мысль. Когда приехал врач, я уже знал, что буду делать дальше. Я найду Эля. Я заплачу ему любую сумму. Может быть, я буду его бить. Если понадобится, я буду его пытать. Он скажет мне, откуда ползет на мир эта зараза. Он назовет мне адреса и имена. Он скажет мне все. И мы найдем этих людей. Мы разгромим и сожжем их тайные мастерские, а их самих мы увезем так далеко, что они никогда не смогут вернуться. Кто бы они ни были. Мы выловим всех, мы выловим всех, кто когда-либо пробовал слег, и их мы тоже изолируем. Кто бы они ни были. Потом я потребую, чтобы изолировали меня, потому что я знаю, что такое слег. Потому что я понял, что это была за мысль, потому что я социально опасен так же, как и они все. И это будет только начало. Начало всех начал, и впереди останется самое важное: сделать так, чтобы _люди_ _никогда_, _никогда_, _никогда_ _не_ _захотели_ _узнать_, _что_ _такое_ _слег_. Наверное, это будет дико. Наверное, многие и многие скажут, что это слишком дико, слишком жестоко, слишком глупо, но нам же придется это сделать, если мы только хотим, чтобы человечество не остановилось...

Врач, старый седой человек, положил белый саквояж, нагнулся над

Бубой, осмотрел его и сказал равнодушно:

— Безнадежен.

— Вызовите полицию, — сказал я.

Он медленно спрятал в саквояж инструменты.

— В этом нет никакой необходимости, — сказал он. — Здесь нет состава преступления. Это нейростимулятор...

— Да, я знаю.

— Ну вот. Второй случай за ночь. Они совсем не знают меры.

— Давно это началось?

— Нет, не очень... Несколько месяцев.

— Так какого же черта вы молчите?

— Молчим? Не понимаю. Это у меня шестой вызов за ночь, молодой человек. Второй случай нервного истощения и четыре случая белой горячки. Вы его родственник?

— Нет.

— Ну ничего. Я пришлю людей. — Он постоял немного, глядя на Пека. — Вступайте в хоровые кружки, — сказал он. — Записывайтесь в лигу раскаявшихся шлюх...

Он бормотал еще что-то, уходя, — старый, равнодушный, сгорбленный человек. Я накрыл Пека простыней, опустил штору и вышел в гостиную. Пьяные гнусно храпели, распространяя запах перегара, и я взял их обоих за ноги, выволок во двор и бросил в лужу возле фонтана. Снова наступал рассвет, звезды гасли на бледнеющем небе. Я сел в такси и набрал на пульте индекс Старого Метро.

Здесь было людно. В регистратуре к барьеру было не пробиться, хотя мне показалось, что бланки заполняли всего два или три человека, а остальные только смотрели, жадно вытягивая шеи. Ни круглоголового, ни Эля за барьером не оказалось, и никто не знал, как их найти. Внизу, в переходах и тоннелях, толкались и кричали пьяные полусумасшедшие мужчины и истеричные женщины. То глухо, то резко и отчетливо гремели выстрелы, дрожал от взрывов бетон под ногами, воняло гарью, порохом, потом, бензином, духами и водкой. Рукоплещущие, визжащие девки теснились вокруг капающего кровью детины с бледным торжествующим лицом, где-то жутко рычали дикие звери. В залах публика бесновалась у огромных экранов, а на экранах кто-то с завязанными глазами веером палил из автомата, прижав приклад к животу, кто-то сидел по грудь в черной тяжелой жидкости, весь синий, и курил толстую трещащую сигару, кто-то с перекошенным от напряжения лицом висел, словно окаменев, в паутине туго натянутых нитей...

Потом я узнал, где Эль. Возле грязного помещения, заваленного мешками с песком, я увидел круглоголового. Он неподвижно стоял в дверях, лицо его было закопчено, от него несло пороховой гарью, и зрачки были во весь глаз. Через каждые пять секунд он нагибался и чистил колени, и он не слушал меня, и пришлось сильно встряхнуть его, чтобы он меня заметил.

— Нету Эля! — гаркнул он. — Нету его, понимаешь? Один дым, понял? Двадцать киловольт, сто ампер, понимаешь? Не допрыгнул!

Он сильно оттолкнул меня, повернулся и устремился в грязное помещение, прыгая через мешки с песком. Расталкивая любопытных, он продрался к низенькой железной двери.

— А ну, пусти! — визжал он. — А ну, я опять! Бог троицу любит...

Дверь гулко захлопнулась за ним, и люди шарахнулись прочь, спотыкаясь и падая. Я не стал ждать, пока он выйдет. Или не выйдет. Он мне больше не был нужен. Оставался только Римайер. Оставалась еще и Вузи, но на нее я не надеялся. Значит, только Римайер. Я не буду его будить, я подожду под дверью.

Уже взошло солнце, и загаженные улицы были пусты. Из каких-то подземных стоянок выползали и принимались за работу дворники-автоматы. Они знали только работу, у них не было потенций, которые стоило развивать, но зато у них не было и первобытных рефлексов. Возле «Олимпика» мне пришлось остановиться и пропустить длинную колонну красных и зеленых людей и людей, закованных в дымящуюся чешую, которые, трудно волоча ноги, проплелись из одной улицы в другую, оставив за собой запах пота и краски. Я стоял и ждал, пока они пройдут, а солнце уже озаряло громаду отеля и весело блестело на металлическом лице Владимира Сергеевича Юрковского, смотревшего, как и при жизни, поверх всех голов. Потом они прошли, и я вошел в отель. Портье дремал за своим барьером. Проснувшись, он профессионально улыбнулся и спросил свежим голосом:

— Прикажете номер?

— Нет, — сказал я. — Я иду к господину Римайеру.

— К Римайеру? Но простите... Девятьсот второй номер?

Я остановился.

— Да, кажется. В чем дело?

— Прошу прощения, но господина Римайера нет дома.

— Как нет?

— Он уехал.

— Не может быть, он же болен... Вы не ошибаетесь? Девятьсот второй

номер.

— Совершенно верно, девятьсот второй номер. Римайер. Наш постоянный клиент. Полтора часа назад он уехал. Точнее, улетел. Друзья помогли ему спуститься и сесть в вертолет.

— Какие друзья? — спросил я безнадежно.

— Я сказал — друзья? Прошу прощения, возможно, это знакомые. Их было трое, и двоих я действительно не знаю. Просто молодые люди спортивного типа. Но мистера Пеблбриджа я знаю, он наш постоялец, но он уже выписался.

— Пеблбридж?

— Совершенно верно. Последнее время он довольно часто встречался с господином Римайером, из чего я и заключил, что они хорошо знакомы. Он снимал у нас восемьсот семнадцатый номер... Такой представительный мужчина, в годах, рыжеватый...

— Оскар...

— Совершенно верно, мистер Оскар Пеблбридж.

— Понятно, — произнес я, стараясь держать себя в руках. — Так вы говорите, они помогли ему?

— Да. Ведь он сильно болел, к нему даже врача вызывали вчера. Он был еще очень слаб, и молодые люди поддерживали его под локти и почти несли.

— А сиделка? У него была сиделка.

— Была. Но она ушла сразу же после них. Они ее отпустили.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Вайл, к вашим услугам.

— Слушайте, Вайл, — сказал я. — А вам не показалось, что господина Римайера увезли насильно?

Я не спускал с него глаз. Он растерянно заморгал.

— Н-нет, — проговорил он. — Впрочем, сейчас, когда вы это сказали...

— Хорошо, — сказал я. — Дайте мне ключ от его номера и пойдемте со мной.

Портье, как правило, весьма дошлый народ. Во всяком случае, на определенные вещи нюх у них просто замечательный. Было совершенно ясно, что он догадался, кто я. И может быть, даже — откуда я. Он подозвал швейцара, что-то шепнул ему, и мы поднялись в лифте на девятый этаж.

— Какой валютой он расплачивался? — спросил я.

— Кто? Пеблбридж?

— Да.

— Кажется... Ах да, марками. Немецкими марками.

— А когда он к вам приехал?

— Минуточку... сейчас я вспомню... Шестнадцать марок... Совершенно точно, четыре дня назад.

— Он знал, что Римайер живет у вас?

— Простите, не могу сказать. Но позавчера они обедали вместе. А вчера долго беседовали в вестибюле. Рано утром, когда еще никто не спал.

В номере Римайера было непривычно чисто и прибрано. Я прошелся, осматривая комнаты. В стенном шкафу стояли чемоданы. Постель была смята, но никаких следов борьбы я не нашел. В ванной тоже все было чисто и прибрано. На туалетной полочке лежали коробки «Девона».

— Как вы полагаете, я должен вызвать полицию? — спросил портье.

— Не знаю, — ответил я. — Посоветуйтесь с администрацией.

— Вы понимаете, я опять начал сомневаться... Правда, он не попрощался со мной... Но все это выглядело совершенно невинно. Ведь он же мог подать знак, я бы понял его, мы давно знаем друг друга. А он только просил мистера Пеблбриджа: «Приемник, приемник не забудьте...»

Приемник лежал под зеркалом, скрытый небрежно брошенным полотенцем.

— Да? — сказал я. — И что же отвечал мистер Пеблбридж?

— Мистер Пеблбридж успокаивал его, говорил: «Обязательно, обязательно, не беспокойтесь...»

Я взял приемник и, выйдя из ванной, уселся за письменный стол. Портье смотрел то на меня, то на приемник. Так, подумал я, теперь он знает, зачем я сюда пришел. Я включил приемник. В нем захрипело и завыло. Все они знают о слеге. Не нужно Эля, не нужно Римайера, можно брать любого, первого встречного. Вот этого портье, например. Хоть сейчас. Я выключил приемник и сказал:

— Будьте добры, включите комбайн.

Портье мелкими шажками побежал к радиокомбайну, включил и вопросительно оглянулся на меня.

— Оставьте на этой станции, — сказал я. — Немножко потише, пожалуйста. Благодарю вас.

— Так вы мне не советуете вызывать полицию? — спросил портье.

— Как вам угодно.

— Мне показалось, что вы имели в виду что-то вполне определенное, когда расспрашивали меня.

— Это вам только показалось, — холодно сказал я. — Просто я недолюбливаю мистера Пеблбриджа. Но это вас не касается.

Портье поклонился.

— Я пока останусь здесь, Вайл, — сказал я. — У меня есть предположение, что мистер Пеблбридж вернется и зайдет сюда. Не надо предупреждать его, что я здесь, а вы пока свободны.

— Слушаюсь, — сказал портье.

Когда он вышел, я позвонил в Бюро Обслуживания и продиктовал телеграмму Марии: «Нашел смысл жизни но одинок брат неожиданно убыл приезжай немедленно Иван». Потом я снова включил приемник, и он снова захрипел и завыл. Тогда я снял крышку и вытянул гетеродин. Это был не гетеродин. Это был слег. Красивая аккуратная деталька, явно заводского производства, и чем больше я смотрел на нее, тем больше мне казалось, что где-то когда-то — задолго до приезда сюда, и не один раз — я уже видел такие детали в каком-то очень знакомом приборе. Я попытался вспомнить, где же я их видел, но вместо этого вспомнил портье, его лицо, его ухмылку, понимающе-сочувственные глаза. Все они заражены. Нет, они не пробовали слега, упаси бог! Они даже никогда не видели его. Это же так неприлично! Это же всем дряням дрянь... Тише, дорогая, как можно при мальчике?.. Но мне рассказывали, это нечто необыкновенное... Я? Ну что ты, дружище! Ты, однако, обо мне невысокого мнения... Не знаю, говорят, что в «Оазисе», у Бубы, а сам я не знаю... А почему бы и нет? Я человек умеренный, если почувствую неладное — остановлюсь... Дайте пять пачек «Девона», мы собрались (хи, хи!) на рыбную ловлю... Пятьдесят тысяч человек. И их знакомые в других городах. И сто тысяч туристов ежегодно. И дело ведь не в банде. Бог с ней, с бандой, что нам стоит ее разогнать! Дело в том, что все они готовы, все они жаждут, и нет ни малейшего намека на возможность доказать им, что это страшно, что это гибель, что это позор...

Я стиснул слег в кулаке, подпер кулаком голову и уставился на парадный, с колодкой орденских ленточек пиджак Римайера, висящий на спинке стула. Вот так же, как я сейчас, он сидел, должно быть, в этом самом кресле несколько месяцев назад, и тоже второй раз держал в руках слег и приемник, и тот же теплый световой зайчик бродил по дну его сознания: ни о чем не надо беспокоиться, ведь теперь есть свет в любой тьме, сладость в любой горечи, радость в любой муке...

...Вот-вот, сказал Римайер. Теперь ты понял. Надо быть просто честным перед собой. Это немножко стыдно сначала, а потом начинаешь понимать, как много времени ты потратил зря...

...Римайер, сказал я. Я тратил время не для себя. Этого нельзя делать, просто нельзя, это гибель для всех, нельзя заменять жизнь снами...

...Жилин, сказал Римайер. Когда человек что-нибудь делает, он всегда

делает это для себя. Может быть, и существуют на свете совершенные эгоисты, но уж совершенных альтруистов не бывает. Если ты имеешь в виду смерть в ванной, то, во-первых, в реальном мире мы все равно смертны, а во-вторых, раз наука дала нам слег, она позаботится и о том, чтобы слег стал безвреден. А пока нужна просто умеренность. И не говори мне о замене яви сном. Ты же не новичок, ты прекрасно знаешь, что эти сны тоже явь. Это целый мир. Почему же обретение этого мира ты называешь гибелью?..

...Римайер, сказал я. Потому что этот мир все-таки иллюзорен, он весь в тебе, а не вне тебя, и все, что ты в нем делаешь, остается в тебе. Он противоположен реальному миру, он враждебен ему. Люди, ушедшие в иллюзорный мир, погибают для мира реального. Они все равно что умирают. И когда в иллюзорные миры уйдут все — а ты знаешь, этим может кончиться, — история человечества прекратится...

...Жилин, сказал Римайер. История — это история людей. Каждый человек хочет прожить жизнь недаром, и слег дает тебе такую жизнь... Да, знаю, ты считаешь, что и без слега живешь недаром, но сознайся, ты никогда так ярко и горячо не жил, как сегодня в ванне. Тебе немного стыдно вспоминать, ты не рискнул бы рассказать об этой жизни другим? И не надо. У них свои жизни, у тебя своя...

...Римайер, сказал я. Все это верно. Но прошлое! Космос, школы, борьба с фашистами, с гангстерами — что же, все это зря? Сорок лет я прожил зря? А другие? Тоже зря?..

...Жилин, сказал Римайер. В истории ничего не бывает зря. Одни боролись и не дожили до слега. А ты боролся и дожил...

...Римайер, сказал я. Я боюсь за человечество. Это же конец. Это конец взаимодействию человека с природой, это конец взаимодействию личности с обществом, это конец связям между личностями, это конец прогресса, Римайер. Все миллиарды людей в ваннах, погруженные в горячую воду и в себя. Только в себя...

...Жилин, сказал Римайер. Это страшно, потому что непривычно. А что касается конца, то он настанет только для _реального_ общества, только для _реального_ прогресса. А каждый отдельный человек не потеряет ничего, он только приобретет, ибо его мир станет несравненно ярче, его связи с природой — иллюзорной, конечно, — станут многообразнее, а связи с обществом — тоже иллюзорным, но ведь он об этом не будет знать, — станут и мощнее, и плодотворнее. И не надо горевать о конце прогресса. Ты же знаешь, все имеет конец. Вот кончается и прогресс реального мира. Раньше мы не знали, как он кончится. Теперь знаем. Мы не успели познать

всей потенциальной яркости реального бытия, может быть, мы и достигли бы этого познания через сотни лет, а теперь оно в наших руках. Слег дарит тебе восприятие отдаленнейших потомков и отдаленнейших предков, какого ты никогда не достигнешь в реальной жизни. Ты просто в плену одного старого идеала, но будь же логичен, идеал, который тебе предлагает слег, столь же прекрасен... Ведь ты же всегда мечтал о человеке с фантазией и гигантским воображением...

...Римайер, сказал я. Если бы ты знал, как я устал. Мне надоело спорить. Всю жизнь я спорю и с самим собой, и с другими людьми. Я всегда любил спорить, потому что иначе жизнь — это не жизнь. Но я устал именно сейчас, и именно о слеге я не хочу спорить...

...Тогда иди, Иван, сказал Римайер.

Я вставил слег в приемник. Как и он тогда. Я поднялся. Как и он тогда. Я уже ни о чем не думал, я уже не принадлежал этому миру, но я еще услышал, как он сказал: не забудь только плотно запереть дверь, чтобы тебе не мешали. И тогда я сел.

...Ах вот как, Римайер! — сказал я. Вот как это было! Ты сдался. Ты плотно запер дверь. А потом ты писал лживые отчеты своим друзьям, что никакого слега нет. А еще потом ты, поколебавшись всего минуту, послал меня на смерть, чтобы я тебе не мешал. Твой идеал — дерьмо, Римайер. Если во имя идеала человеку приходится делать подлости, то цена этому идеалу — дерьмо. Именно так, Римайер. Так. Так... Я мог бы сказать тебе еще много, слегач. Я мог бы еще долго говорить о том, что не так просто вырвать из крови природное стремление каждого человека бороться с остановкой, с любой остановкой, со смертью, с покоем, с регрессом. Твой слег — та же ядерная бомба, только замедленного действия и для сытых. Но я не буду распространяться об этом. Я скажу тебе только одно: если во имя идеала человеку приходится делать подлости, то цена этому идеалу — дерьмо...

Я взглянул на часы и сунул приемник в карман. Мне надоело ждать Оскара. Я хотел есть. И еще у меня было чувство, будто я сделал наконец в этом городе что-то полезное. Я оставил портье свой телефон — на случай, если вернется Оскар или Римайер, — и вышел на площадь. Я не верил, что Римайер вернется и даже что я когда-нибудь его увижу, но Оскар еще мог сдержать свое обещание, хотя, скорее всего, его придется все-таки искать. И искать его буду уже не я. И вероятно, не здесь.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В кафе-автомате был только один посетитель: за столиком в углу, обставившись закусками и бутылками, сидел смуглый, прекрасно, но нелепо одетый человек восточного типа. Я взял себе простоквашу и творожники со сметаной и принялся за еду, время от времени поглядывая на него. Он ел и пил много и жадно, лицо его блестело от пота, ему было жарко в дурацком лоснящемся фраке. Он отдувался, откидываясь на спинку стула, и распускал широкий ремень на брюках. При этом на солнце ярко вспыхивала длинная желтая кобура, висящая у него под фалдами. Я уже доедал последний творожник, когда он вдруг окликнул меня.

— Алло! — сказал он. — Вы местный?

— Нет, — сказал я. — Турист.

— А, значит, вы тоже ничего не понимаете...

Я сходил к стойке, сбил себе коктейль из соков и подошел к нему.

— Почему пусто? — продолжал он. У него было живое худощавое лицо и свирепый взгляд. — Где жители? Почему все закрыто?.. Все спят, никого не добьешься...

— Вы только что приехали?

— Да.

Он отодвинул пустую тарелку и придвинул полную. Потом он отхлебнул светлого пива.

— Откуда вы? — спросил я. Он свирепо взглянул на меня, и я поспешно добавил: — Если это не секрет, конечно...

— Нет, — сказал он, — не секрет... — и принялся есть.

Я допил сок и собрался было уходить, но он сказал:

— Здорово живут, собаки. Такая еда, и сколько хочешь, и все бесплатно.

— Ну, все-таки не совсем бесплатно, — возразил я.

— Девяносто долларов! Гроши! Я за три дня съем на девяносто долларов! — Глаза его вдруг остановились. — С-собаки, — пробормотал он, снова принимаясь за еду.

Я знал таких людей. Они приезжали из крошечных, разграбленных до полной нищеты королевств и республик, они жадно ели и пили, вспоминая прокаленные солнцем пыльные улицы своих городов, где в жалких полосках тени неподвижно лежали умирающие голые мужчины и женщины, а дети с раздутыми животами копались в помойках на задворках

иностранных консульств. Они были переполнены ненавистью, и им нужны были только две вещи: хлеб и оружие. Хлеб для своей шайки, находящейся в оппозиции, и оружие против другой шайки, стоящей у власти. Они были самыми яростными патриотами, горячо и пространно говорили о любви к народу, но всякую помощь извне решительно отвергали, потому что не любили ничего, кроме власти, и никого, кроме себя, и готовы были во славу народа и торжества высоких принципов уморить свой народ — если понадобится, до последнего человека — голодом и пулеметами.

— Оружие? Хлеб? — спросил я.

Он насторожился.

— Да, — сказал он. — Оружие и хлеб. Только без дурацких условий. И по возможности даром. Или в кредит. Истинные патриоты никогда не имеют денег. А правящая клика купается в роскоши...

— Голод? — спросил я.

— Все что угодно. А вы тут купаетесь в роскоши. — Он ненавидяще посмотрел на меня. — Весь мир купается в роскоши, и только мы голодаем. Но вы напрасно надеетесь. Революцию не остановить!

— Да, — сказал я. — А против кого революция?

— Мы боремся против кровопийц Бадшаха! Против коррупции и разврата правящей верхушки, за свободу и истинную демократию... Народ с нами, но народ надо кормить. А вы нам заявляете: хлеб дадим только после разоружения. Да еще грозите вмешательством... Какая гнусная лживая демагогия! Какой обман революционных масс! Разоружиться перед лицом кровопийц — это значит накинуть петлю на шею настоящих борцов! Мы отвечаем: нет! Вы не обманете народ! Пусть разоружаются Бадшах и его убийцы! Тогда мы посмотрим, что надо делать.

— Понятно, — сказал я. — Но Бадшах, вероятно, тоже не хочет, чтобы ему накинули петлю на шею.

Он резко отставил бокал с пивом, и рука его привычно потянулась к кобуре. Впрочем, он быстро опомнился.

— Я так и знал, что вы ни черта не понимаете, — сказал он. — Вы, сытые, вы осоловели от сытости, вы слишком кичливы, чтобы понять нас. В джунглях вы бы не осмелились так разговаривать со мной!

В джунглях я бы говорил с тобой по-другому, бандюга, подумал я и сказал:

— Я действительно многого не понимаю. Я, например, не понимаю, что случится после того, как вы одержите победу. Предположим, вы победили, повесили Бадшаха, если он, в свою очередь, не успел удрать за хлебом и оружием...

— Он не успеет. Он получит то, что заслужил. Революционный народ раздерет его в клочья! И вот тогда мы начнем работать. Мы построим у себя химические заводы и завалим страну едой и одеждой. Мы вернем территории, отторгнутые у нас сытыми соседями, мы выполним всю программу, о которой вопит сейчас лживый Бадшах, чтобы обмануть народ... И вот тогда, только тогда, мы разоружимся. Нам уже не нужна будет ваша помощь. Понимаете? Мы разоружимся не потому, что вы поставили нам такие условия, а потому, что нам уже не нужно будет оружие. И вот тогда... — Он закрыл глаза, сладко застонал и повел головой.

— Тогда вы станете сытыми, будете купаться в роскоши и спать до полудня?

Он усмехнулся.

— Я это заслужил. Народ это заслужил. Никто не посмеет попрекнуть нас. Мы будем есть и пить, сколько пожелаем, мы будем жить в настоящих домах, мы скажем народу: теперь вы свободны, отдыхайте и развлекайтесь!

— И ни о чем не думайте, — добавил я. — А вам не кажется, что это все может выйти вам боком?

— Бросьте! — сказал он благодушно. — Это демагогия. Вы демагог. И догматик. У нас тоже есть такие догматики, вроде вас: бойтесь сытости! Человек, мол, потеряет смысл жизни. Нет, отвечаем мы, человек ничего не потеряет. Человек найдет, а не потеряет. Надо чувствовать народ, надо самому быть из народа, народ не любит умников! Ради чего же мы, черт побери, даем себя жрать древесным пиявкам и сами жрем червей? — Он вдруг вполне добродушно ухмыльнулся. — Вы, наверное, на меня обиделись немного. Я тут обозвал вас сытыми и еще как-то... Не надо, не обижайтесь. Изобилие плохо, когда его у тебя нет, а у соседа оно есть. А завоеванное изобилие — это отличная штука! За него стоит подраться. Все за него дрались. Его нужно добывать с оружием в руках, а не обменивать на свободу и демократию.

— Значит, все-таки ваша конечная цель — изобилие?

— Безусловно!.. Конечная цель всегда изобилие. Учтите только, что мы разборчивы в средствах...

— Это я уже учел... Значит, изобилие. А человек?

— Что — человек?

Впрочем, я понимал, что спорить бесполезно.

— Вы никогда здесь не были раньше? — спросил я.

— А что?

— Поинтересуйтесь, — сказал я. — Этот город дает отличные предметные уроки изобилия.

Он пожал плечами.

— Пока мне здесь нравится. — Он снова отодвинул пустую тарелку и придвинул полную. — Закуски какие-то незнакомые... Все вкусно и дешево... Этому можно позавидовать. — Он проглотил несколько ложек салата и проворчал: — Мы знаем, что все великие революционеры дрались за изобилие. У нас нет времени самим теоретизировать, но в этом и нет необходимости. Теорий достаточно и без нас. И потом изобилие нам никак не грозит. Оно нам еще долго не будет грозить. Есть задачи гораздо более насущные.

— Повесить Бадшаха, — сказал я.

— Да, для начала. А потом нам придется истребить догматиков. Я чувствую это уже сейчас. Потом осуществление наших законных притязаний. Потом еще что-нибудь объявится. А уж потом-потом-потом наступит изобилие. Я оптимист, но я не верю, что доживу до него. Так что вы не беспокойтесь, справимся как-нибудь. Если с голодом справимся, то с изобилием и подавно... Догматики болтают: изобилие, мол, не цель, а средство. Мы отвечаем на это так: всякое средство было когда-то целью. Сегодня изобилие — цель. И только завтра оно, может быть, станет средством.

Я встал.

— Завтра может оказаться поздно, — сказал я.

Он смотрел на меня как на слабоумного. Я ушел.

Проходя мимо витрины, я еще раз взглянул на него. Он сидел спиной к улице и снова ел, растопырив локти.

Когда я пришел домой, гостиная была уже пуста. Простыни и подушки ребята свалили в углу. На письменном столе лежала прижатая телефоном записка. Детским корявым почерком было написано: «Берегитесь. Она что-то задумала. Возилась в спальне». Я вздохнул и сел в кресло.

До встречи с Оскаром (если она состоится) оставалось еще около часа. Ложиться спать не имело смысла, да было и небезопасно — Оскар мог пожаловать не один, и пораньше, и не через дверь. Я достал из чемодана пистолет, вставил обойму и сунул в боковой карман. Потом я залез в бар, сварил себе кофе и снова вернулся в кабинет.

Я вынул слег из своего приемника и из приемника Римайера, положил перед собой на стол и снова попытался вспомнить, где же я видел точно такие детали и почему мне кажется, что я видел их даже неоднократно. И я вспомнил. Я сходил в спальню и принес оттуда фонор. Мне даже не понадобилась отвертка. Я снял с фонора футляр, сунул указательный палец под раструб одоратора и, зацепив ногтем, извлек вакуумный тубусоид

ФХ-92-У, четырехразрядный, статичного поля, емкость два. Продается в магазинах бытовой электроники по пятьдесят центов за штуку. На местном жаргоне — слег.

Так и должно быть, подумал я. Нас сбили с толку разговоры о новом наркотике. Нас постоянно сбивают с толку разговоры о новых ужасных изобретениях. Мы уже несколько раз садились в аналогичную лужу. Когда Мхагана и Бурис обратились в ООН с жалобой на то, что сепаратисты применяют новый вид оружия — замораживающие бомбы, мы кинулись искать подпольные военные фабрики и даже арестовали двух самых настоящих подпольных изобретателей (шестнадцати и девяноста шести лет). А потом выяснилось, что эти изобретатели совершенно ни при чем, а ужасные замораживающие бомбы были приобретены сепаратистами в Мюнхене на оптовом складе холодильных установок и оказались бракованными суперфризерами. Правда, действие этих суперфризеров действительно было ужасным. В сочетании с молекулярными детонаторами (широко применяются подводными археологами на Амазонке для отпугивания пираний и кайманов) суперфризеры были способны дать мгновенное понижение температуры до ста пятидесяти градусов ниже нуля в радиусе двадцати метров. Потом мы долго убеждали друг друга не забывать и всегда иметь в виду, что в наше время буквально ежемесячно появляется масса технических новинок самого мирного назначения и с самыми неожиданными побочными свойствами, и свойства эти часто бывают таковы, что нарушение закона о запрещении производства оружия и боеприпасов становятся просто бессмысленными. Мы сделались очень осторожными с новыми видами вооружения, применяемыми различными экстремистами, и спустя всего год попались на другом, когда принялись искать изобретателей таинственной аппаратуры, с помощью которой браконьеры выманивали птеродактилей далеко за пределы заповедника в Уганде, и нашли остроумную самоделку из детской игрушки «Встань — сядь» и довольно распространенного медицинского прибора. А вот теперь мы поймали слег — сочетание стандартного приемника, стандартного тубусоида и стандартных химикалий с очень стандартной горячей водопроводной водой.

Короче говоря, тайные фабрики искать не придется, подумал я. И на том спасибо. Придется искать ловких и беспринципных спекулянтов, которые очень тонко чувствуют, что живут в Стране Дураков. Как трихины в свиной ляжке... Пять-шесть предприимчивых корыстолюбцев. Невинный коттедж где-нибудь на окраине. Пойти в универсальный магазин, купить за пятьдесят центов вакуумный тубусоид, содрать с него целлофановую

упаковку и переложить в изящную коробку со стекловатой. И продать («только по знакомству и только вам!») за пятьдесят марок. Правда, имел место еще изобретатель. И даже не один. Наверняка не один. Но они вряд ли выжили: это вам не манок для птеродактилей... И вообще разве дело в спекулянтах?.. Ну продадут они еще сорок слегов, ну сто. Даже в Городе Дураков должны же сообразить наконец, что к чему. И когда это случится, слег начнет распространяться, как пожар. И позаботятся об этом прежде всего моралисты из «Радости жизни». А потом выступит доктор Опир и заявит, что, по данным науки, слег способствует ясности мышления и незаменим в борьбе против алкоголизма и плохого настроения. И вообще идеал будущего — это огромное корыто с горячей водой... И слово «слег» перестанут писать на заборах... Вот кого надо брать за глотку, если вообще кого-нибудь брать, подумал я. Не в спекулянтах же беда. В конце концов, спекулируют всегда только тем товаром, на который есть спрос. Но Мария-то все равно пошлет нас ловить спекулянтов, подумал я уныло.

В дверь постучали. В кабинет вошел Оскар, и он был действительно не один. С ним был сам Мария, плотный, седой, как всегда в темных очках и с толстой тростью, смахивающий на ветерана, потерявшего зрение. Оскар самодовольно улыбался.

— Здравствуйте, Иван, — сказал Мария. — Познакомьтесь, это ваш дублер Оскар Пеблбридж. Из Юго-Западного отделения.

Мы пожали друг другу руки. Что мне всегда не нравилось в нашем Совете Безопасности, так это множество замшелых традиций, а из всех традиций больше всего меня бесила идиотская система перекрестной конспирации, из-за которой мы постоянно перехватываем друг у друга агентуру, бьем друг другу физиономии и сплошь и рядом стреляем друг в друга, и довольно метко. Не работа, а игра в сыщики-разбойники, ну их всех в болото...

— Я вас собирался сегодня брать, — сообщил Оскар. — В жизни не видел более подозрительного субъекта...

Я молча вынул из кармана пистолет, разрядил его и бросил в ящик стола. Оскар следил за мной с одобрением. Я сказал, обращаясь к Марии:

— Я догадываюсь, что следствие бы просто провалилось, не начавшись, если бы я знал об Оскаре. Однако должен сообщить, что вчера я его чуть не искалечил.

— Я вас так и понял, — сказал Оскар самодовольно.

Мария кряхтя уселся в кресло.

— Никак не могу припомнить случая, — сказал он, — чтобы Иван был чем-либо доволен. А между тем конспирация — это основа нашей работы...

Возьмите стулья, оба, и садитесь... Вы, Оскар, не имели права дать себя покалечить, а вы, Иван, не имели права дать себя арестовать. Вот как надлежит смотреть на эти вещи... А это что тут у вас? — сказал он, снимая темные очки над слегами. — Между делом занялись радиотехникой? Похвально, похвально...

Я понял, что они ничего не знают. Оскар листал записную книжку, где у него все было зашифровано личным кодом, и, по-видимому, готовился делать сообщение, а Мария водил мясистым носом над слегами, держа очки в поднятой руке. В этом зрелище было нечто символическое.

— Итак, агент Жилин заполняет свой досуг радиотехникой, — проговорил Мария, надевая очки и откидываясь в моем кресле. — У него много досуга, он перешел на четырехчасовой рабочий день... А как обстоит дело со смыслом жизни, агент Жилин? Вы, кажется, его нашли? Надеюсь, вас не придется увозить, как агента Римайера?

— Не придется, — сказал я. — Я не успел втянуться. Римайер вам что-нибудь рассказывал?

— Нет, что вы! — сказал Мария с огромным сарказмом. — Зачем? Ему приказали выследить наркотик, он его выследил, воспользовался и теперь, видимо, полагает, что исполнил свой долг... Он сам стал наркоманом, понимаете? — сказал Мария. — Он молчит! Он накачался этим зельем до ушей, и говорить с ним бесполезно! Он бредит, что убил вас, и все время просит радиоприемник... — Мария запнулся и посмотрел на радиоприемники. — Странно, — сказал он. Он посмотрел на меня. — Впрочем, я люблю порядок. Оскар прибыл сюда первым, у него есть кое-какие соображения — как по поводу снадобья, так и по поводу операции. Начнем с него.

Я взглянул на Оскара.

— По поводу какой операции?

— Черт знает что... — сказал Мария.

— Захват центра, — сказал Оскар. — Вы еще не напали на центр?

Ловля начинается, подумал я и сказал:

— Нет, не напал. На центр я не напал. Но...

— По порядку, по порядку, — строго сказал Мария и похлопал ладонью по столу. — Начинайте, Оскар, а вы, Иван, слушайте внимательно и готовьте свои соображения. Если вы еще способны соображать.

Оскар начал. По-видимому, он был хороший работник. Он действовал быстро, энергично и целеустремленно. Правда, Римайер обвел его вокруг пальца так же, как и меня. Но Оскару тем не менее удалось многое. Он понял, что искомое «снадобье» называют здесь слегом. Он очень быстро

понял связь слега с «Девоном». Он понял, что ни рыбари, ни перши, ни грустецы не имеют к слегу никакого отношения. Он превосходно понял, что в этом городе практически невозможно сохранить какую бы то ни было тайну. Ему удалось даже втереться в доверие к интелям, и он твердо установил, что в городе существуют всего две действительно тайные организации: меценаты и интели. И поскольку меценаты исключались, оставались только интели...

— Это не противоречило создавшемуся у меня убеждению, — говорил Оскар, — что единственные люди в городе, способные вести научные или квазинаучные изыскания и имеющие доступ к лабораториям, это студенты и преподаватели университета. Правда, заводы города тоже имеют лаборатории. Таких лабораторий всего четыре, и я обследовал их все. Эти лаборатории сугубо специализированы и загружены текущей работой до предела. Поскольку заводы работают круглосуточно, не было никаких оснований предполагать, что заводские лаборатории могут стать центрами производства слега. А вот из семи лабораторий университета две явно окружены атмосферой тайны. Что там делается, выяснить мне не удалось, однако я взял на заметку трех студентов, которые, как мне кажется, должны знать это наверняка...

Я слушал его очень внимательно, поражаясь, как много он успел здесь, но мне было уже ясно, в чем его главная ошибка. Я понимал, что он шел по ложному следу, и вместе с тем во мне зрело смутное ощущение еще более значительной ошибки, главной ошибки, ошибки в изначальной схеме Совета.

— ...И я пришел к представлению, — говорил Оскар, — о существовании полугангстерской организации вертикального типа с четкими разделениями функций отдельных групп. Производственная группа занимается изготовлением и совершенствованием слега... Должен вам сказать, что слег, чем бы он ни был, совершенствуется: мне удалось установить, что в самом начале «Девон» не применялся... Далее, коммерческая группа занимается распространением слега, а боевая группа терроризирует население и пресекает возникающие разговоры о слеге. Запуганность обывателей...

И тут я все понял.

— Одну минутку, — сказал я. — Оскар, вы гарантируете, что в городе всего две тайные организации?

— Да, — сказал Оскар. — Только меценаты и интели.

— Продолжайте, Оскар, — сказал Мария недовольно. — Иван, я попросил бы не перебивать.

— Виноват, — сказал я.

Оскар продолжал говорить, но я его больше не слушал. В мозгу у меня словно вспыхнуло что-то. Традиционная изначальная схема всех наших мероприятий с ее непременной аксиомой о существовании разветвленной организации злоумышленников разлетелась в пыль, и я только удивлялся, как я раньше не усмотрел всей ее глупой сложности для этой простой страны. Не было тайных мастерских, охраняемых угрюмыми личностями с кастетами, не было осторожных, лишенных принципов деловых людей, не было коммивояжеров с двойными воротничками, набитыми контрабандой, и зря Оскар вычерчивал эту красивую схему из кружков и квадратиков, соединенных путаницей линий, с надписями «центр», «штаб» и многочисленными вопросительными знаками. Нечего было разрушать и сжигать, некого здесь было брать и высылать на Баффинову Землю. Была современная промышленность бытовых приборов, государственные магазины, где слеги продавались по пятьдесят центов, и были — вначале — один-два не лишенных изобретательности человека, изнывающих от безделья и жаждущих новых впечатлений, и была средних размеров страна, где изобилие было когда-то целью, да так и не стало средством. И этого оказалось вполне достаточно.

Кто-то по ошибке вставил в приемник слег вместо гетеродина и залег в ванну понежиться, послушать хорошую музыку или узнать последние новости, — и началось. Поползли слухи, в мусоропроводы посыпались останки фоноров, потом до кого-то дошло, что слеги можно добывать не из фоноров, а просто покупать в магазинах, и кто-то догадался применить ароматические соли, и кто-то пустил в ход «Девон», и люди начали умирать в ваннах от нервного истощения, и статистический отдел Совета Безопасности подал в Президиум совершенно секретный доклад, и сразу обнаружилось, что все умертвия произошли с туристами, побывавшими в этой стране, и что в этой стране таких умертвий больше, чем в любом другом месте Планеты. И как это часто бывает, на хорошо проверенных фактах построили неверную теорию и нас, строго законспирированных, одного за другим послали сюда раскрывать тайную шайку торговцев новым, неизвестным наркотиком, и мы прибыли сюда, и делали тут глупости, и как это всегда бывает, никакой труд не пропал даром, и если искать виноватого, то виноваты все, от мэра до Римайера, а раз все, то значит — никто, и теперь надо...

— Иван, — раздраженно сказал Мария. — Вы заснули?

Они оба смотрели на меня. Оскар протягивал мне блокнот со схемой. Я взял блокнот и бросил его на стол.

— Послушайте, — сказал я. — Оскар, конечно, молодчина, но мы опять сели в лужу... Оскар, вы так много увидели, и вы ничего не поняли. Если в этой стране и есть люди, ненавидящие слег, то это интели. Интели не гангстеры, это отчаявшиеся люди, патриоты... У них одна задача — расшевелить это болото. Любыми средствами. Дать этому городу хоть какую-нибудь цель, заставить его оторваться от корыта... Они жертвуют собой, понимаете? Они вызывают огонь на себя, пытаются возбудить в городе хоть одну общую для всех эмоцию, пусть хотя бы ненависть... Неужели вы не слыхали о слезогонке, о расстрелах дрожек?.. И в лабораториях они изготовляют не слег, они там делают бомбы, варят слезогонку... и вообще нарушают закон о военной технике. Они путч готовят на двадцать восьмое, а слег — вот!

Я сунул им каждому по слегу и тут же выложил все, что я по этому поводу думаю.

Сначала они слушали меня с недоверием. Потом они уставились на слеги и не сводили с них глаз, пока я не закончил, а когда я закончил, они довольно долго молчали. Мария держал свой слег, как жужелицу. На лице его было неудовольствие. Оскар сказал:

— Вакуумный тубусоид... Гм... Действительно... И приемники... В этом что-то есть...

Мария сунул слег в нагрудный карман и решительно объявил:

— Ничего в этом нет. То есть я вами, конечно, доволен, Иван, вы, видимо, нашли то, что нужно, но работать вам не в Совете, а в Комиссии Мировых Проблем. Они там обожают философствовать и по сей день ничего полезного не сделали. А вы работаете у нас уже десять лет, но так и не осознали простой истины: если есть преступление, значит, есть и преступник...

— Это неверно, — сказал я.

— Это верно! — сказал Мария. — Не затевайте со мной спора, вечно вы спорите!.. Молчите, Оскар, сейчас говорю я. И я спрашиваю вас, Иван: какой толк в вашей версии? Что вы предлагаете делать? Только конкретно, пожалуйста. Конкретно!

— Конкретно... — проговорил я.

Да, моя версия им не подходила. Они, наверное, даже не считали ее версией. Для них это была философия. Они были люди, так сказать, решительного действия, гиганты немедленных решительных мер. Они не давали спуску. Они рубили узлы и срывали дамокловы мечи. Они принимали решения быстро, а приняв, больше уже не сомневались. Они не умели иначе. Это было их мировоззрение... И это только я так считал, что

их время прошло... Терпение, подумал я. Мне понадобится очень много терпения... Я понял вдруг, что логика жизни снова отрывает от меня моих лучших товарищей и что теперь мне будет особенно плохо, потому что решения _этого_ спора придется ждать долго, очень долго... Они смотрели на меня.

— Конкретно... — повторил я. — Конкретно я предлагаю столетний план восстановления и развития человеческого мировоззрения в этой стране.

Оскар неприязненно сморщился, а Мария сказал желчно:

— Ха-ха! Я говорю с вами серьезно.

— Я тоже. Нужны не сыщики и не опергруппы с автоматами.

— Нужно _решение_! — сказал Мария. — Не разговоры, а решение!

— Я предлагаю именно решение, — сказал я.

Мария побагровел.

— Нужно спасать людей, — сказал он. — Души мы будем спасать потом, когда спасем людей... Не раздражайте меня, Иван!

— Пока вы будете восстанавливать мировоззрение, — сказал Оскар, — люди будут умирать или становиться идиотами.

Я не хотел спорить, но все-таки сказал:

— До тех пор пока человеческое мировоззрение не будет восстановлено, люди будут умирать и становиться идиотами, и никакие опергруппы здесь не помогут... Вспомните Римайера, — сказал я.

— Римайер забыл свой долг! — яростно сказал Мария.

— Вот именно, — сказал я.

Мария захлопнул рот и, сорвав очки, некоторое время молча вращал глазами. Он был, несомненно, железный человек: просто-таки видно было, как он загоняет свое бешенство в желчный пузырь. Через минуту он был уже совершенно спокоен и мирно улыбался.

— Да, — сказал он. — Я, кажется, вынужден признать, что разведка как общественный институт окончательно деградировала. Видимо, последних настоящих разведчиков мы перебили во время путчей. Нож — Данцигер, Бамбук — Савада, Кукла — Гровер, Козлик — Боас... Да, они продавались и покупались, у них не было родины, они были подонками, люмпенами, но они работали! Сириус — Харам... Он работал на четыре разведки, он был мерзавец. Он был грязная скотина. Но если он давал информацию, то это была настоящая информация, ясная, точная и своевременная. Помню, я приказал повесить его, не испытывая никакой жалости, но, когда я смотрю на сегодняшних моих сотрудников, я понимаю, какая это была потеря... Ну хорошо, ну не удержался человек, стал

наркоманом, в конце концов, Бамбук-Савада тоже был наркоманом. Но зачем писать лживые донесения? Ну не пиши их вообще, уволься, извинись... Я приезжаю в этот город в глубокой уверенности, что знаю его досконально, потому что у меня здесь уже десять лет сидит опытный, проверенный резидент. И вдруг выясняю, что ровно ничего не знаю. Каждый местный мальчишка знает, кто такие рыбари. А я не знаю! Я знаю только, что организация «КВС», занимавшаяся примерно тем же, чем занимаются нынешние рыбари, была расформирована и запрещена три года назад. Я знаю это из донесений моего резидента. А в местной полиции мне сообщают, что общество «ДОЦ» возникло два года назад, и этого из донесений моего резидента я уже не узнал... Я беру элементарный пример, мне, в конце концов, нет никакого дела до рыбарей, но это же превращается в стиль работы! Донесения задерживаются, донесения лгут, донесения дезинформируют... донесения, наконец, просто выдумываются! Один явочным порядком увольняется из Совета и не считает нужным сообщить об этом своему начальнику, ему, видите ли, надоело, он все собирался сообщить, да как-то не нашел времени... Другой, вместо того чтобы бороться с наркотиками, сам становится наркоманом... А третий философствует!

Он горестно мне покивал.

— Поймите меня правильно, Иван, — продолжал он. — Я не против философствований. Но философия — это одно, а наша работа — это совсем другое. Ну посудите сами, Иван, если нет тайного центра, если имеет место стихийная самодеятельность, то откуда эта скрытность? Эта конспирация? Почему слег окружен такой таинственностью? Я допускаю, что Римайер молчит потому, что его мучают угрызения совести вообще и в частности за вас, Иван. Но остальные? Ведь слег не запрещен законом, о слеге знают все, и все таятся. Вот Оскар не философствует, он полагает, что обывателя просто запугивают. Это я понимаю. А что полагаете вы, Иван?

— У вас в кармане, — сказал я, — лежит слег. Идите в ванную. «Девон» на туалетной полочке — таблетку в рот, четыре в воду. Водка в шкафчике. Мы вас подождем с Оскаром. А потом вы нам расскажете — громко, вслух, своим товарищам по работе и подчиненным — о своих ощущениях и переживаниях. А мы... вернее, Оскар пусть послушает, а я, так и быть, выйду.

Мария надел очки и воззрился на меня.

— Вы полагаете, что я не расскажу? Вы полагаете, что я тоже пренебрегу служебным долгом?

— То, что вы узнаете, не будет иметь никакого отношения к

служебному долгу. Служебный долг вы, может быть, нарушите потом. Как Римайер. Это слег, товарищи. Это машинка, которая будит фантазию и направляет ее куда придется, а в особенности туда, куда вы сами бессознательно — я подчеркиваю: бессознательно — не прочь ее направить. Чем дальше вы от животного, тем слег безобиднее, но чем ближе вы к животному, тем больше вам захочется соблюсти конспирацию. Сами животные вообще предпочитают помалкивать. Они знай себе давят на рычаг.

— На какой рычаг?

Я объяснил им про крыс.

— А вы сами-то пробовали? — спросил Мария.

— Да.

— И что?

— Как видите, помалкиваю, — сказал я.

Некоторое время Мария сопел. Потом он сказал:

— Ну, я не ближе к животному, чем вы... Как это вставить?

Я зарядил приемник и подал ему. Оскар следил за нами с интересом.

— С богом, — сказал Мария. — Где тут ванная? Заодно помоюсь с дороги.

Он заперся в ванной, и было слышно, как он там все роняет.

— Странное дело, — сказал Оскар.

— Это вообще не дело, — возразил я. — Это кусок истории, Оскар, а вы хотите засунуть его в папку с тесемками. А это вам не гангстеры. Ясно даже и ежу, как говаривал Юрковский.

— Кто?

— Юрковский Владимир Сергеевич. Был такой известный планетолог, я с ним вместе работал.

— А-а, — сказал Оскар. — Между прочим, на площади напротив «Олимпика» стоит памятник какому-то Юрковскому.

— Это тот самый и есть.

— Правда? — сказал Оскар. — А впрочем, вполне возможно. Только памятник ему воздвигли не за то, что он был известным планетологом. Он просто впервые в истории города сорвал банк в электронную рулетку. Такой подвиг было решено увековечить.

— Я ожидал чего-нибудь в этом роде, — пробормотал я. Мне было тоскливо.

В ванной зашумел душ, и вдруг Мария заорал ужасным голосом. Сначала я решил, что он пустил ледяную воду вместо теплой, но он орал не переставая, а потом принялся ругаться страшными словами. Мы с Оскаром

переглянулись. Оскар был в общем спокоен, он решил, что так проявляется действие слега, и на лице его возникло сочувственное выражение. Бешено лязгнула задвижка, дверь ванной с треском откатилась, в спальне зашлепали мокрые пятки, и голый Мария ввалился в кабинет.

— Вы что, идиот? — заорал он на меня. — Что за грязные шутки?

Я обмер. Мария был похож на чудовищную зебру. Его упитанное тело покрывали вертикальные ядовито-зеленые потеки. Он орал и топал ногами, от него летели изумрудные брызги. Когда мы пришли в себя и осмотрели место происшествия, выяснилось, что душевой конус забит губкой, пропитанной зеленым лаком, и я вспомнил записку Лэна, и понял, что это Вузи. Инцидент исчерпывался долго. Мария считал, что это издевательство и хамское нарушение субординации. Оскар ржал. Я тер Марию щеткой и объяснялся. Потом Мария заявил, что теперь уж он никому не верит и испытает слег дома. Он оделся и принялся обсуждать с Оскаром план блокады города.

А я мыл ванну и думал, что моя работа в Совете Безопасности на этом заканчивается, что мне будет плохо и мне уже плохо, что я не знаю, с чего нужно начинать, что мне хочется включиться в обсуждение плана блокады, но хочется не потому, что я считаю блокаду необходимой, а потому, что это так просто, гораздо проще, чем вернуть людям души, сожранные вещами, и научить каждого думать о мировых проблемах как о своих личных.

«...Изолировать этот гнойник от мира, изолировать жестко — вот и вся наша философия», — вещал Мария. Это предназначалось мне. А может, и не только мне. Ведь Мария — умница. Он наверняка понимает, что изоляция — это всегда оборона, а здесь надо наступать. Но наступать он умел только опергруппами, и ему, наверное, было неловко в этом признаться.

Спасать. Опять спасать. До каких же пор вас нужно будет спасать? Вы когда-нибудь научитесь спасать себя сами? Почему вы вечно слушаете попов, фашиствующих демагогов, дураков опиров? Почему вы не желаете утруждать свой мозг? Почему вы так не хотите думать? Как вы не можете понять, что мир огромен, сложен и увлекателен? Почему вам все просто и скучно? Чем же таким ваш мозг отличается от мозга Рабле, Свифта, Ленина, Эйнштейна, Строгова? Когда-нибудь я устану от этого, подумал я. Когда-нибудь у меня не хватит больше сил и уверенности. Ведь я такой же, как вы! Только я хочу помогать вам, а вы не хотите помогать мне...

Наверху визгливо закричала Вузи, тонко и жалобно заплакал Лэн. В кабинете что-то бубнил Оскар. А я вдруг подумал, что теперь не уеду

отсюда. Я здесь всего три дня, я не знаю, с чего здесь надо начинать и что должен делать, но я не уеду отсюда, пока мне позволяет закон об иммиграции. А когда он перестанет позволять, я его нарушу.

БЕСПОКОЙСТВО (УЛИТКА НА СКЛОНЕ — 1)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

С этой высоты лес был как пышная пятнистая пена, как огромная, на весь мир, рыхлая губка, как животное, которое затаилось когда-то в ожидании, а потом заснуло и поросло грубым мхом. Как бесформенная маска, скрывающая лицо, которое никто еще никогда не видел.

Леонид Андреевич сбросил шлепанцы и сел, свесив босые ноги в пропасть. Ему показалось, что пятки сразу стали влажными, словно он и в самом деле погрузил их в теплый лиловатый туман, скопившийся в тени под утесом. Он достал из кармана камешки и аккуратно разложил их возле себя, а потом выбрал самый маленький и тихонько бросил его вниз, в живое и молчаливое, в спящее, в равнодушное и глотающее навсегда, и белая искра погасла, и ничего не произошло — никакие глаза не приоткрылись, чтобы взглянуть на него. Тогда он бросил второй камешек.

— Так это вы гремели сегодня у меня под окнами, — сказал Турнен.

Леонид Андреевич скосил глаз и увидел ноги Турнена в мягких сандалиях.

— Доброе утро, Тойво, — сказал он. — Да, это был я. Очень твердый камень попался. Я вас разбудил?

Турнен придвинулся к обрыву, осторожно заглянул вниз и сейчас же отступил.

— Кошмар, — сказал он. — Как вы можете так сидеть?

— Как?

— Да вот так. Здесь два километра. — Турнен присел на корточки. — Даже дух захватило, — сказал он.

Леонид Андреевич нагнулся и посмотрел через раздвинутые колени.

— Не знаю, — сказал он. — Понимаете, Тойво, я человек вообще боязливый, но вот чего не боюсь, того не боюсь... Неужели я вас разбудил? По-моему, вы уже не спали, я даже немножко надеялся, что вы выйдете...

— А босиком почему? — спросил Турнен. — Так надо?

— Иначе нельзя. Я вчера уронил туда правую туфлю и решил, что впредь всегда буду сидеть босиком. — Он снова поглядел вниз. — Вон она лежит. Сейчас я в нее камушком...

Он бросил камушек и сел по-турецки.

— Да не шевелитесь вы, ради бога, — сказал Турнен нервно. — И лучше вообще отодвиньтесь. На вас смотреть страшно.

Леонид Андреевич послушно отодвинулся.

— Ровно в семь, — сообщил он, — под утесом выступает туман. А ровно в семь часов сорок минут туман исчезает. Я заметил по часам. Интересно, правда?

— Это не туман, — сказал Турнен сквозь зубы.

— Я знаю, — сказал Леонид Андреевич. — Вы скоро уезжаете?

— Нет, — сказал Турнен сквозь зубы. — Мы уезжаем не скоро. Мы уезжаем через два дня. Через — два — дня... — сказал он с расстановкой. — Повторить?

— Сегодня я спросил вас в первый раз, — кротко сказал Леонид Андреевич.

— И больше не спрашивайте, — сказал Турнен. — Хотя бы сегодня.

— Не буду, — сказал Леонид Андреевич.

Турнен посмотрел на него.

— Я надеюсь, вы не обиделись?

— Ну что вы, Тойво...

— А вы тоже не любите охоту?

— Терпеть я ее не могу.

Турнен опустил глаза.

— Что бы вы делали на моем месте? — спросил он.

— На вашем месте? Ну что бы я делал... Ходил бы за женой по лесу и носил бы ее... этот... ружье... и разные огнеприпасы.

— А вам не кажется, что это было бы глупо?

— Зато спокойно. Мне нравится, когда спокойно.

Турнен поджал губы и покачал головой.

— Она не выносит, когда я таскаюсь следом. Она раздражается, нервничает, все время промахивается. И егеря злятся... Так что я предпочитаю оставаться. В конце концов, можно представить себе, что это даже полезно... Здоровое волнение, этакое взбадривание...

— Действительно, — сказал Леонид Андреевич, — как это мне сразу не пришло в голову? Все эти наши страхи — просто нормальная функция застоявшегося воображения... Ведь что такое этот лес? А?

— Да, — сказал Турнен. — Что он, собственно, такое?

— Ну, тахорги... Ну, туман, который, правда, не туман... Смешно!

— Какие-то там блуждающие болота, — проговорил Турнен, усмехаясь.

— Насекомые! — сказал Леонид Андреевич и поднял палец. — Вот насекомые — это действительно неприятно.

— Ну, разве что насекомые...

— Да. Так что, я думаю, мы совершенно напрасно беспокоимся.

— Слушайте, Горбовский, — сказал Турнен, — почему-то, когда я разговариваю с вами, мне всегда кажется, что вы надо мною издеваетесь.

Леонид Андреевич поднял брови.

— Странно, — сказал он. — Честное слово, я действительно думаю, что мы с вами напрасно беспокоимся.

Они помолчали.

— Я беспокоюсь о своей жене, — сказал Турнен. — А вот о чем беспокоитесь вы, Горбовский?

— Я? Кто вам сказал, что я беспокоюсь?

— Вы все время говорите «мы с вами»...

— А-а... Ну, это просто... Вы только не подумайте, что я тоже беспокоюсь за вашу жену. Если бы вы видели, как она на двести шагов...

— Я видел, — сказал Турнен.

— И я тоже видел. Поэтому я нисколько за нее не беспокоюсь.

Он замолчал. Турнен подождал немного и спросил:

— Все?

— Что — все?

— Больше вы ничего мне не скажете?

— Н-ничего.

— Тогда пойдемте завтракать, — сказал Турнен, поднимаясь.

Леонид Андреевич тоже поднялся и запрыгал на одной ноге, натягивая шлепанец.

— Ох, — сказал Турнен. — Да отойдите же вы от края!

— Уже все, — сказал Леонид Андреевич, притопывая. — Сейчас отойду.

Он последний раз посмотрел на лес, на плоские пористые пласты его у самого горизонта, на его застывшее грозовое кипение, на липкую паутину тумана в тени утеса.

— Хотите бросить камушек? — сказал он, не оборачиваясь.

— Что?

— Бросьте туда камушек.

— Зачем?

— Я хочу посмотреть.

Турнен открыл рот, но ничего не сказал. Он подобрал камень и, размахнувшись, швырнул его в пропасть. Потом он поглядел на Горбовского.

— Я еще мог бы напомнить вам, — сказал Леонид Андреевич, — что с нею Вадим Сартаков, а это самый опытный егерь на базе.

Турнен все смотрел на него.

— А ищейку настраивал сам Поль, а это значит...

— Все это я помню, — сказал Турнен. — Я спрашивал вас совсем не об этом.

— Правда? — сказал Горбовский. — Значит, я вас неправильно понял.

Алик Кутнов пил томатный сок, держа стакан двумя толстыми красными пальцами. На месте Риты почему-то расположился тот молодой человек с громким голосом, что прибыл вчера на спортивном корабле, и Турнен сидел, нахохлившись, не поднимая глаз от своей тарелки, и резал на тарелке кусочек сухого хлеба — пополам и еще раз пополам, и еще раз пополам...

— Или, например, Ларни, — сказал Алик, взбалтывая в стакане остатки сока. — Он видел треугольный пруд, в котором купались русалки.

— Русалки! — сказал новичок с восторгом. — Превосходно!

— Да-да, самые обыкновенные русалки. Вы не смейтесь, Марио. Я же вам говорю, что наш лес немножечко не похож на ваши сады. Русалки были зеленые и необычайно красивые, они плескались в воде... Только у Ларни не было времени ими заниматься, у него истекал срок биоблокады, но он говорит, что запомнил их смех на всю жизнь. Он говорит, что это было как громкий комариный звон.

— А может быть, это и был комариный звон? — предположил Марио.

— У нас все может быть, — сказал Алик.

— И может быть, биоблокада к тому времени у него уже ослабела?

— Может быть, — охотно согласился Алик. — Он вернулся совсем больной. Но вот, скажем, скачущие деревья я видел сам и неоднократно. Это выглядит так. Огромное дерево срывается с места и перепрыгивает шагов на двадцать.

— И не падает при этом?

— Один раз упало, но сейчас же поднялось, — сказал Алик.

— Великолепно! Вы просто прелесть! Ну а зачем же они скачут?

— Этого, к сожалению, никто не знает. О деревьях в нашем лесу вообще мало что известно. Одни деревья скачут, другие деревья плюют в прохожего едким соком пополам с семенами, третьи еще что-нибудь... Вот в километре от Базы есть, например, такое дерево. Я, например, остаюсь возле него, а вы отправляетесь точно на восток и в трех километрах трехстах семидесяти двух метрах находите второе такое же дерево. И вот когда я режу ножом свое дерево, ваше дерево вздрагивает и начинает топорщиться. Вот так. — Алик показал руками, как топорщится дерево.

— Понимаю! — воскликнул Марио. — Они растут из одного корня.

— Нет, — сказал Алик, — просто они чувствуют друг друга на расстоянии. Фитотелепатия. Слыхали?

— А как же, — сказал Марио.

— Да, — сказал Алик лениво, — кто об этом не слыхал... Но вот чего вы, наверное, не слыхали, так это что в лесу есть еще люди, кроме нас. Их видел Курода. Он искал Сидорова и видел, как они прошли в тумане. Маленькие и чешуйчатые, как ящеры.

— У него тоже кончалась биоблокада?

— Нет, просто он любит приврать. Не то что я, скажем, или вы. Правда, Тойво?

— Нет, — сказал Турнен, не поднимая глаз. — Вранья вообще не бывает. Все, что выдумано, — возможно.

— В том числе и русалки? — спросил Марио. Видимо, он подумал, что его мрачный сосед тоже наконец решил пошутить.

Турнен посмотрел на него. По лицу его было видно, что шутить он не собирается.

— Я их вижу, — сказал он. — И треугольный пруд. И туман, и зеленую луну. Все это я вижу так отчетливо, что могу описать во всех подробностях. Для меня это и есть критерий реальности, и он не хуже любого другого.

Марио неуверенно улыбнулся. Он все еще надеялся, что Турнен шутит.

— Превосходная мысль, — сказал он. — Отныне нам не нужны лаборатории. Субэлектронные структуры? Я вижу их. Могу описать, если хотите. Они так и переливаются. И треугольно-зеленые.

— Мне лаборатории не нужны уже давно, — произнес Турнен. — Они, по-моему, вообще никому не нужны. Вряд ли они помогут вам представить субэлектронные структуры.

Лицо Марио утратило готовность к веселью. Обнаружилось, что глаза у него совсем не детские.

— Я — физик, — сказал он. — Я легко представляю себе субэлектронные структуры без фигур и цветов.

— И что же дальше? — сказал Турнен. — Ведь я тоже могу представить себе эти структуры. И еще многое такое, для чего вы пока не придумали закорючек, значков и греческих букв.

— Ваши представления, может быть, и годятся для вашего личного употребления, но беда в том, что на них далеко не уедешь.

— На представлениях давно уже никто не ездит. Не вижу, чем мои представления хуже ваших.

— На представлениях физики вы приехали сюда и уедете отсюда, а ваши представления годятся только для застольных парадоксов.

— Я мог бы вам напомнить, что идея деритринитации возникла тоже из застольного парадокса. Да и все идеи возникли из застольных парадоксов. Все фундаментальные идеи выдумываются, и вы это прекрасно знаете. Они не висят на концах логических цепочек. Но дело ведь даже не в этом. Что дальше? Ну не смог бы я прилететь сюда. И что? Ведь я не увидел здесь ничего такого, чего не мог бы представить себе, сидя дома.

Леонид Андреевич не стал слушать, что там отвечает физик. Он посмотрел на Алика. Инженер-водитель тосковал. Просто встать и уйти ему, наверное, было неловко, наверное, он боялся, что это будет выглядеть демонстративно. Спор же ему был до одурения скучен. Сначала он порывался встрянуть и направить беседу в другое русло и даже сказал: «Между прочим, в прошлом году...» Потом съел кусочек маринованной миноги. Потом сотворил из салфетки кораблик. Потом с надеждой взглянул на часы, но нужное ему время еще, по-видимому, не приспело. И не то чтобы спор ему был непонятен, он слышал тысячи таких споров — и когда сидел, обливаясь потом, за рулем вездехода, идущего через заросли, и здесь в столовой, и в мастерских Базы, и даже на танцевальной веранде. Просто все это было ему бесконечно чуждо. Он любил конкретности своего времени: ощущение микронных зазоров на кончиках пальцев, спокойный и правильный гул могучих двигателей, блеск приборов в качающейся кабине. И он всю жизнь с кротким недоумением следил за тем, как эти конкретности теряют смысл на Земле, оттесняются на периферию Большой Жизни, уходят на далекие дикие планеты, и он отступал и уходил вместе с ними, любя их по-прежнему, но постепенно теряя уверенность в их (и своей) нужности, потому что если на этих диких мирах и нельзя обойтись без его искусства и его вездеходов, то люди, кажется, намереваются обойтись без самих этих миров. Таких, как инженер-водитель Алик Кутнов, было много, гарнизоны инопланетных баз комплектовались теперь в основном из них. Это были очень способные люди (неспособных людей вообще не бывает), но области приложения их способностей неумолимо уходили в прошлое, и большинству Аликов еще предстояло понять это и искать выход.

— Вы безобразно самоуверенны, — говорил Турнен. — Вы воображаете, что оседлали наконец историю человечества. Но вы никак не можете понять, что не нужны никому, кроме самих себя, и не нужны уже давно...

— Человечество тоже никому не нужно, кроме самого себя. Вы ничего не утверждаете, вы только отрицаете...

Алик Кутнов мастерил второй кораблик. С мачтой.

В том-то и беда. Человечество никогда никому не было нужно, кроме самого себя. Да и самому себе оно стало нужным не так уж давно. А дальше? Дальше была равнина, и по равнине пролегали широкие дороги, и петляли едва заметные тропинки, и все они вели за горизонт, а горизонт скрывала мгла, и не видно было, что в этой мгле. Может быть, все та же равнина, может быть, гора. А может быть, и наоборот. И не видно было, какие дороги сузятся в тропинки и какие тропинки расширятся в дороги...

— Алик, — сказал Леонид Андреевич, — что вы делаете, когда по незнакомой дороге вы подъезжаете к незнакомому лесу?

— Снижаю скорость и повышаю внимание, — ответил Алик не задумываясь.

Леонид Андреевич посмотрел на него с восхищением.

— Вы молодец, — сказал он. — Все бы так.

— Да, — оживился Алик. — Вот в прошлом году...

Снизить скорость и повысить внимание. Очень точно сказано. А за рулем восседает молодой широкоплечий парень, ему весело мчаться по прямой дороге, а лес все ближе, и парню кажется, что вот там-то и есть самое интересное, и он влетает в лес на полной скорости, не потрудившись узнать, по-прежнему ли пряма дорога в лесу, или она обернулась там тропинкой, или оборвалась болотом.

— ...И после этого, — сказал Алик, — мы больше туда никогда не ездили. — Он посмотрел на часы. — Вот теперь я пойду, — сказал он.

— И я тоже, — сказал Леонид Андреевич.

Физик посмотрел на них незрячими глазами, не переставая говорить. Турнен опять резал хлеб.

Когда они вышли из столовой, Леонид Андреевич спросил Алика:

— Неужели все, что вы говорили этому физику, — выдумка?

— А что я ему говорил?

— Про русалок, про чешуйчатых людей...

Алик ухмыльнулся.

— Да как вам сказать... По-моему, все это вранье. Куроде никто не верит, а Ларни болел... Да вы сами, Леонид Андреевич, бывали в лесу. Ну какие там могут быть люди? И тем более русалки...

— Я так и подумал, — сказал Леонид Андреевич.

Кабинет Поля Гнедых, директора Базы и начальника Службы индивидуальной безопасности, находился на самом верхнем ярусе Базы. Леонид Андреевич поднялся к нему на эскалаторе.

Кабинет Поля с экранами и селекторами межзвездной, планетной и

внутренней связи, с фильмотеками, с информарием, с планетографическими картами олицетворял на Пандоре то же, что здание Всемирного совета — на Земле: здесь было сосредоточено управление планетой. Но в отличие от Всемирного совета директор Базы реально мог управлять только ничтожным кусочком территории своей планеты, крошечным каменным архипелагом в океане леса, покрывавшего континент. Лес не только не подчинялся Базе, он противостоял ей со всеми ее миллионами лошадиных сил, с ее вездеходами, дирижаблями и вертолетами, с ее вирусофобами и дезинтеграторами. Собственно, он даже не противостоял. Он просто не замечал Базы.

— Иногда мне хочется взорвать там что-нибудь, — сказал Поль, глядя в окно.

— Где именно? — сейчас же спросил Леонид Андреевич.

— В самой середине.

— Тогда бы мы даже не увидели взрыва, — сказал Леонид Андреевич. — А уехать вам отсюда иногда не хочется?

— Иногда хочется, — сказал Поль. — Когда много туристов. Когда на всех не хватает егерей и они начинают бунтовать и требовать права на самообслуживание.

— Вы им не разрешайте, — попросил Леонид Андреевич. — Я вот тут пошел без егеря, чуть не заблудился.

— Знаю, — мрачно сказал Поль. — А почему вы не берете с собой карабина, когда выходите, Леонид Андреевич?

— Какого карабина?

— Любого!

Леонид Андреевич поморгал.

— Боюсь, — сказал он.

— Не понимаю.

— Боюсь, — пояснил Леонид Андреевич. — Вдруг выстрелит.

— Ну?

— Ну и попадет в кого-нибудь...

Некоторое время Поль смотрел на него. Потом вынул из шкафа свой карабин и подошел к Леониду Андреевичу.

— Вот здесь в прикладе, — сказал он терпеливо, — встроен маленький радиопередатчик. Где бы вы ни находились...

— Да нет, я это знаю... — сказал Леонид Андреевич.

— Так в чем же дело?

— Хорошо. — Леонид Андреевич взял карабин и отсоединил приклад. — Так? — спросил он. — Теперь я буду брать эту деревяшку с собой. Буду

носить ее в своем... ядг... ягд... в охотничьей сумке. — Он вставил приклад на место и вернул карабин Полю. — Вы довольны, Поль?

Поль пожал плечами.

— Не понимаю. Вы что — кокетничаете?

— Нет, — сказал Леонид Андреевич. — Я капризничаю.

— Когда мы с Атосом писали о вас сочинение... это было очень много лет назад... мы изображали вас совсем не таким.

— А каким же? — спросил польщенный Леонид Андреевич.

— Вы были велик. У вас горели глаза...

— Всегда?

— Практически всегда.

— А когда я спал?

— В наших сочинениях вы никогда не спали. Вы вели корабль сквозь магнитные бури, сквозь бешеные атмосферы. Руки у вас были как сталь, и вы были стремительны...

— Так я и сейчас такой! — вскричал Леонид Андреевич. — Где здесь корабль?

Он вскочил, выхватил у Поля карабин, приложился, прищурив один глаз, и закричал:

— Тра-та-та-та!..

Потом он опустил карабин и спросил:

— Ну как?

— Не то, — сказал Поль, безнадежно махнув рукой. — Интеллекта нет.

— Очень мне нужен интеллект, — обиженно сказал Леонид Андреевич.

Он снова лег в кресло и спросил:

— Я вам не мешаю?

— Нет, — сказал Поль, пряча карабин в шкаф. — Я только все удивляюсь: что вы у нас на Базе делаете?

— А вы никому не расскажете? — спросил Леонид Андреевич.

— Если не хотите, нет, не расскажу.

— Я ухаживаю, — сказал Леонид Андреевич.

Поль сел.

— Это за кем же? — спросил он. — Неужели за Ритой Сергеевной?

— А что, заметно?

— Да есть такое мнение.

— Так вот я не за ней ухаживаю, — оскорбленно сказал Леонид Андреевич. — Я ухаживаю совершенно за другой женщиной. Она уже

давно улетела.

— Ага, — сказал Поль. — А вы, значит, остались на медовый месяц.

— Вы циничны, — сказал Леонид Андреевич. — Мы никогда не поймем друг друга. Расскажите лучше, что сегодня новенького.

— Рита Сергеевна застрелила тахорга, — сказал Поль значительно.

— Молодец. А еще?

— На вверенной мне Базе за истекшие сутки ничего не случилось, все в порядке, недостатка ни в чем не испытываем, — сказал Поль.

— А на базах, которые вам не вверены?

— Какие имеются в виду?

— Земля, например. Или, скажем, Радуга.

— На Земле тоже недостатка ни в чем не испытывают. Испытывают избыток. А на Радуге... Знаете что, Леонид Андреевич, сводки уже в типографии, через полчаса прочтете сами.

— Нет, — сказал Леонид Андреевич. — Я хочу узнать что-нибудь первым. Ведь вы же про меня сочинение писали, Поль. Расскажите мне что-нибудь особенное. Чего нет в сводках.

— Вас интересуют сплетни? — осведомился Поль.

— Очень, — сказал Леонид Андреевич.

— Жаль. Сплетен у меня нет. По Д-связи сплетен не передают. По Д-связи нынче передают черт знает что.

Леонид Андреевич сейчас же вытащил записную книжку и приготовил авторучку.

— Нет, серьезно, — продолжал Поль. — Сегодня ночью вдруг прервали передачу ядерного прогноза и выдали нам какую-то шифровку на имя Мостепаненко. Без имени адресанта. Это уже третий случай. На прошлой неделе была шифровка некоему Геростратру, а на позапрошлой — Пеккелису. На мой запрос не ответили. Идиотство какое-то.

— Да, — сказал Леонид Андреевич. — Но зато интересно.

Он нарисовал в записной книжке женскую головку и написал под ней печатными буквами: ИДИОТСТВО; ИДИОТСТВО; ИДИОТСТВО...

— Герострат... — сказал он. — Какой же это Герострат? Не тот ли? Вообще в свете современной физической теории вполне можно предположить...

— Кто-то идет, — сказал Поль, и Леонид Андреевич замолчал.

В кабинет вбежал человек.

Леонид Андреевич не знал его, но было видно, что этот человек из леса и что он взволнован, и Леонид Андреевич сел прямо и сунул записную книжку в карман.

— Связь! — сказал человек, задыхаясь. — Когда будет связь, Поль?

Он был в комбинезоне, отстегнутый капюшон болтался у него на груди на шнурке рации. От башмаков до пояса комбинезон щетинился бледно-розовыми стрелками молодых побегов, правая нога была опутана оранжевой плетью лианы, волочащейся по полу, и казалось, что это щупальце самого леса, что оно сейчас напряжется и потянет человека обратно, через коридоры управления, вниз по эскалатору, мимо ангара и мастерских, и снова вниз по эскалатору, и через аэродром, к обрыву, к башне лифта, но не в лифт, а мимо, вниз...

— Выйди отсюда, — сердито сказал Поль.

— Ты ничего не понимаешь, — задыхаясь, сказал человек. Лицо его было в красных и белых пятнах, глаза выкачены. — Когда будет связь?

— Курода! — железным голосом сказал Поль. — Выйдите вон и приведите себя в порядок!

Курода остановился.

— Поль, — сказал он и сделал странное движение головой, словно у него чесалась шея. — Честное слово, мне срочно нужно!

Леонид Андреевич снова лег. Поль подошел к Куроде, взял его за плечи и повернул лицом к двери.

— Формалист, — сказал Курода плаксиво. — Бюрократ.

— Стой, не двигайся, — сказал Поль. — Шляпа! Дай пакет.

Курода снова сделал странное движение головой, и Леонид Андреевич увидел на его тощей подбритой шее, в самой ямочке под затылком, коротенький бледно-розовый побег, тоненький, острый, уже завивающийся спиралью, дрожащий, как от жадности.

— Что там, опять подхватил? — спросил Курода и полез в нагрудный карман. — Нет у меня пакета... Слушай, Поль, ты мне можешь сказать, когда будет связь?

Поль что-то делал с его шеей, что-то уминал и массировал длинными пальцами, брезгливо оскалившись и бормоча что-то неласковое.

— Стой смирно, — прикрикнул он. — Не дергайся! Ну что ты за шляпа!

— Вы поймали чешуйчатого человека? — спросил Леонид Андреевич.

— Чепуха! — сказал Курода. — Я не говорил, что эти люди были чешуйчатые... Поль, ты скоро? Это надо послать им в первую очередь! Ай!

— Все, — сказал Поль. Он отошел от Куроды и бросил что-то полуживое, корчащееся, окровавленное в диспенсер. — Немедленно к врачу. Связь в семь вечера.

Лицо Куроды вытянулось.

— Попроси экстренный сеанс! — сказал он. — Ну что это такое — ждать до семи вечера?

— Хорошо, хорошо, иди, потом поговорим.

Курода неохотно пошел к двери, демонстративно волоча ноги. Розовые побеги на его комбинезоне уже увядали, сморщивались и осыпались на пол. Когда он вышел, Поль сказал:

— Обнаглели. Вы представить себе не можете, Леонид Андреевич, до чего мы все обнаглели. Никто ничего не боится. Как дома. Поиграл в садике — и к маме на коленки, прямо как есть, в земле и песочке. Мама вымоет...

— Да, обнаглели немножко, — негромко проговорил Леонид Андреевич. — Я рад, что вы это замечаете.

Поль Гнедых не слушал. Он смотрел в окно, как Курода сбегает по эскалатору, волоча за собой обрывок лианы.

— Похож на Атоса, — сказал он вдруг. — Только Атос, конечно, никогда не пришел бы в таком виде. Вы помните Атоса, Леонид Андреевич? Он писал мне, что когда-то работал с вами.

— Да, на Владиславе. Атос-Сидоров.

— Он погиб, — сказал Поль, не оборачиваясь. — Давно уже. Где-то вон там... Жалко, что он вам не понравился.

Леонид Андреевич промолчал.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Атос проснулся и сразу подумал: «Послезавтра мы уходим». И сейчас же в другом углу Нава зашевелилась на своей постели и спросила:

— Когда ты уходишь?

— Не знаю, — ответил он. — Скоро.

Он открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку опять шли муравьи. Они двигались двумя ровными колоннами. Слева направо двигались нагруженные, справа налево шли порожняком. Месяц назад было наоборот. И через месяц будет наоборот, если им не укажут делать что-нибудь другое. Месяц назад я тоже проснулся и подумал, что послезавтра мы уходим, и никуда мы не ушли, и еще когда-то, задолго до этого, я проснулся и тоже подумал, что послезавтра мы уходим, и мы, конечно, не ушли, но если мы не уйдем послезавтра, я уйду один. Впрочем, и так я уже думал раньше, но теперь-то уж я обязательно уйду.

— А когда — скоро? — спросила Нава.

— Очень скоро, — ответил он.

— Получилось так, — сказала Нава, — что мертвяки вели нас ночью, а ночью они плохо видят, это тебе всякий скажет, вот хотя бы Горбун, хотя он не здешний, он из деревни, что по соседству с моей, и ты его знать не можешь, получилось так, что в его деревне все заросло грибами, а это не всякому нравится, мой отец, например, ушел из своей деревни, а он сказал, что Одержание произошло и в деревне теперь делать людям нечего... Так вот, луны тогда не было, и они все сбились в кучу, и стало жарко — не продохнуть...

Атос посмотрел на нее. Она лежала на спине, закинув руки за голову и положив ногу на ногу, и не шевелилась, только двигались губы и время от времени вспыхивали в полутьме глаза. Когда вошел старик, она не перестала говорить, а старик подсел к столу, придвинул горшок и стал есть. Тогда Атос поднялся и обтер с тела ладонями ночной пот. Старик чавкал и брызгал. Атос отобрал у него горшок и молча протянул его Наве, чтобы она замолчала. Старик обсосал губы и сказал:

— Невкусно. К кому ни придешь, везде невкусно. Тропинка эта заросла совсем, где я тогда ходил, а я ходил много, и на дрессировку, и просто выкупаться, я в те времена часто купался, там было озеро, а теперь там болото, и ходить стало опасно, но кто-то все равно ходит, потому что

иначе откуда там столько утопленников? И тростник. Я любого могу спросить: откуда там в тростнике тропинки? Никто не может этого знать, да и не следует. Только там уже не сеять. А сеяли, потому что нужно было для Одержания, и все везли на глиняную поляну, теперь-то тоже возят, но там не оставляют, а привозят обратно, я говорил, что нельзя, но они и не понимают, что это такое — нельзя, староста меня прямо при всех спросил: почему нельзя? Я ему говорю, как же ты можешь при всех спрашивать, почему нельзя? Отец у него был умнейший человек, а может, он и не отец ему вовсе, некоторые говорили, что не отец, и вправду не похоже... Почему нельзя при всех спросить, почему нельзя?

Нава встала и протянула горшок Атосу. Атос стал есть. Старик замолчал и некоторое время смотрел на него, а потом заметил:

— Не добродила у вас еда, есть такое нельзя.

— Почему нельзя? — спросил Атос.

Старик захихикал.

— Эх ты, Молчун, — сказал он. — Ты бы уж лучше, Молчун, молчал. Ты вот лучше мне расскажи, очень это болезненно, когда голову отрезают?

— А тебе какое дело? — крикнула Нава.

— Кричит, — сообщил старик. — Покрикивает. Ни одного еще не родила, а покрикивает. Ты почему не рожаешь? Сколько с Молчуном живешь, а не рожаешь. Так поступать нельзя. А что такое «нельзя» — ты знаешь? Это значит — нежелательно, не одобряется. А поскольку не одобряется, значит, поступать так нельзя. Что можно — это еще неизвестно, а уж что нельзя, то нельзя. Это всем надлежит понимать, а тебе тем более, потому что в чужой деревне живешь, дом тебе дали, Молчуна вот в мужья пристроили. У него, может быть, голова чужая, но телом он здоровый, и рожать тебе отказываться нельзя. Вот и получается, что «нельзя» — это самое что ни на есть нежелательное. Как еще можно понимать «нельзя»? Можно и нужно понимать так, что «нельзя» — вредно...

Атос доел, поставил пустой горшок перед стариком и вышел. Дом сильно зарос за ночь, и в густой поросли видна была только тропинка, протоптанная стариком, и место у порога, где он сидел и ждал, пока они проснутся. Улицу уже расчистили, зеленый ползун толщиной в ногу, вылезший вчера из переплетения ветвей над деревней и пустивший корни перед домом соседа, был порублен, облит бродилом, потемнел и уже закис, от него остро и аппетитно пахло, и соседские ребятишки, столпившись вокруг него, рвали бурую мякоть и совали в рот сочные комки. Когда Атос проходил, один из них невнятно крикнул набитым ртом: «Молчак-

Мертвяк!», но его не поддержали: были заняты. Больше на улице, оранжевой и красной от высокой травы, в которой тонули дома, сумрачной, покрытой неяркими зелеными пятнами от солнца, пробивающегося сквозь лесную кровлю, никого не было. С поля доносился нестройный хор скучных голосов: «Эй, сей веселей!.. Вправо сей, влево сей!..» В лесу откликалось эхо. А может быть, и не эхо. Может быть, мертвяки.

Колченог, конечно, сидел дома и массировал ногу.

— Садись, — сказал он Атосу приветливо. — Уходишь, значит?

— Ухожу, — сказал Атос и сел у порога. — Что, опять разболелась?

— Нога-то? Да нет, просто приятно. Гладишь ее вот так — хорошо. А когда уходишь?

— Если бы ты со мной пошел, то хоть послезавтра. Придется искать другого человека, который знает лес. Ты ведь, я вижу, идти не хочешь?

Колченог осторожно вытянул ногу и сказал задумчиво:

— Как от меня выйдешь, поворачивай налево и ступай до самого поля. По полю — мимо двух камней, сразу увидишь дорогу. Она мало заросла, потому что валунов много. Прямо по этой дороге, две деревни пройдешь, одна пустая, грибная, грибами она поросла, так там не живут, а в другой живут чудаки, через их деревню два раза синяя трава прошла, с тех пор болеют, и за той чудаковой деревней по правую руку и будет тебе твоя глиняная поляна. И никаких тебе провожатых не надо, сам дойдешь.

— До глиняной поляны мы дойдем, — согласился Атос. — А вот дальше?

— Куда дальше?

— Дальше в лес. Через болота. Где раньше озера были и проходила большая дорога.

— Это же какая дорога? До глиняной поляны? Так я тебе говорю, поверни налево, иди до поля, до двух камней...

Атос дослушал и сказал:

— До глиняной поляны я дорогу теперь знаю. Мы дойдем. Но нам нужно дальше. Я же рассказывал тебе. Мне необходимо добраться до Города. Ты говорил, что знаешь дорогу.

Колченог сочувственно покачал головой.

— До Го-о-орода... Так до Города, Молчун, не дойти. До глиняной поляны, например, это просто: мимо двух камней, через грибную деревню, через чудакову деревню, а там по правую руку и будет глиняная поляна. Или, скажем, до Тростников. Тут уж поворачивай от меня направо, через редколесье, мимо Хлебного болота, а там все время за солнцем, куда солнце, туда и ты. Трое суток идти, но если надо — пойдем. Там мы

горшки добывали раньше, пока здесь свои не рассадили... Так бы и говорил, что до Тростников. Тогда и до послезавтра ждать нечего. Завтра утром выйдем, и еды с собой брать не надо, раз там Хлебное болото. Ты, Молчун, говоришь больно мало, только начнешь прислушиваться, а ты уже и рот закрыл. А в Тростники пойдем. Завтра утром и пойдем...

Атос дослушал и сказал:

— Понимаешь, Колченог, мне не надо в Тростники. В Тростники мне не надо. Не надо мне в Тростники. (Колченог жадно слушал и кивал.) Мне надо в Город. Мы с тобой уже целый месяц об этом говорим. Я тебе вчера говорил, что мне надо в Город. Позавчера говорил, что мне надо в Город. Неделю назад говорил, что мне надо в Город. Ты сказал, что знаешь до Города дорогу, и позавчера, и неделю назад ты говорил, что знаешь до Города дорогу. Расскажи мне про дорогу до Города. Не до Тростников, а до Города. А еще лучше — пойдем до Города вместе. Не до Тростников пойдем вместе, а до Города пойдем вместе.

Атос замолчал. Колченог снова принялся оглаживать больное колено.

— Тебе, Молчун, когда голову отрезали, что-нибудь внутри повредили. Это как у меня нога. Сначала была нога ногой, самая обыкновенная. А потом шел я однажды ночью через Муравейники, нес муравьиную матку, и эта нога попала у меня в дупло, и теперь кривая. Почему кривая — никто не знает, но ходит плохо. Но до Муравейников дойду. Доведу тебя. Только не пойму, зачем ты сказал, чтобы я пищу на дорогу готовил. До Муравейников тут рукой подать. — Он посмотрел на Атоса и открыл рот. — Так тебе же не в Муравейники, — сказал он. — Тебе же в Тростники. Нет, не могу я в Тростники. Не дойду. Видишь, нога кривая. Слушай, Молчун, а почему ты так не хочешь в Муравейники? Давай пойдем в Муравейники, а? Я ведь с тех пор так и не бывал там ни разу, может, их уже и нету? Дупло то поищем, а?

Атос наклонился на бок и подкатил к себе горшок.

— Хороший горшок, — сказал он. — И не помню, где я в последний раз видел такие хорошие горшки. Так ты меня проводишь до Города? Ты говорил, что никто, кроме тебя, дорогу до Города не знает. Пойдем до Города, Колченог. Как ты думаешь, дойдем мы до Города?

— А как же? Дойдем. До Города? Конечно, дойдем. А горшки такие ты видел, я знаю где. У чудаков такие горшки. Они их, понимаешь, не выращивают, а из глины делают. У них там близко глиняная поляна, я тебе говорил, от меня сразу налево и мимо двух камней до грибной деревни. А в грибной деревне никто уже не живет. Туда и ходить не стоит. Что мы, грибов не видели, что ли... Когда у меня нога здоровая была, я никогда в эту

грибную деревню не ходил, знаю только, что от них прямо за двумя оврагами чудаки живут. Да. Завтра, значит, выйдем. Слушай, Молчун, давай туда не пойдем. Не люблю я эти грибы. Понимаешь, у нас в лесу грибы — это одно. Их даже есть можно. А в той деревне они зеленые и запах от них дурной. Зачем тебе туда? Еще грибницу сюда занесешь. Пойдем лучше в Город. Только тогда завтра не выйти. Надо еду запасти. Расспросить надо про дорогу. Или ты дорогу знаешь? Если знаешь, тогда я не буду спрашивать, а то я что-то и не соображу, у кого бы это спросить. Может, у старосты? Как ты думаешь?

— А сам ты про дорогу в Город ничего не слыхал? — спросил Атос. — Ты про эту дорогу много слыхал. Ты даже один раз почти дошел до Города, только мертвяков испугался. Боялся, что один не отобьешься.

— Мертвяков я не боялся и не боюсь, — возразил Колченог. — Я тебе скажу, чего я боюсь. Как мы с тобой идти будем? Ты так все время и будешь молчать? Я ведь так не могу. Ты не обижайся на меня, Молчун, ты мне скажи, громко не хочешь говорить, так шепотом скажи. Или просто кивни. А если кивать не хочешь, так вот правый глаз у тебя в тени, ты его прикрой, я увижу. Может быть, ты все-таки немножечко мертвяк? Я ведь мертвяков не терплю. У меня от них дрожь начинается, и ничего я с собой не могу поделать.

— Нет, Колченог, я не мертвяк, — сказал Атос. — Я их сам не терплю. А если ты боишься, что я буду молчать, так мы не вдвоем пойдем, я тебе уже говорил. С нами Кулак пойдет, и Хвост, и еще несколько парней из Новой деревни.

— С Кулаком я не пойду, — решительно сказал Колченог. — Кулак у меня дочь за себя взял. И не уберег. Мне не то жалко, что он взял, а то мне жалко, что не уберег. Угнали у него дочку. Шел он с нею в Новую деревню, подстерегли его воры и дочку отобрали, а он и отдал. Нет, Молчун, с ворами шутки плохи. Если бы мы в Город пошли, от воров бы покою не было. То ли дело в Тростники! Туда можно без всяких колебаний идти. Завтра и выйдем.

— Послезавтра, — сказал Атос. — Ты пойдешь, я пойду, Кулак, Хвост и еще трое из Новой деревни. Так до самого Города и дойдем.

— Всемером дойдем, — уверенно сказал Колченог. — Один бы я не пошел, а всемером дойдем. Всемером мы до Чертовых Гор дойдем, только я дороги туда не знаю. А может, пошли до Чертовых Гор? Далеко очень, но всемером дойдем. А зачем тебе на Чертовы Горы? Слушай, Молчун, давай до Города дойдем, а там посмотрим. Пищи наберем побольше и пойдем.

— Значит, договорились, — сказал Атос и встал. — Послезавтра

выходим в Город. Завтра я еще зайду к тебе.

— Заходи, заходи, — сказал Колченог. — Я бы сам к тебе зашел, да у меня нога болит. А ты заходи, поговорим. Я знаю, многие с тобой говорить не любят, но я не такой. Я...

Атос вышел на улицу и снова обтер ладонями пот. Продолжение следовало.

Кто-то хихикнул рядом и закашлялся. Атос обернулся. Из травы поднялся старик, потрещал узловатыми пальцами и сказал:

— В Город, значит, собрались. Интересно затеяли, да только до Города никто еще не доходил живым. Да и нельзя. Хоть у тебя голова и переставленная, сам понимать должен...

Атос свернул направо и пошел по улице. Старик, путаясь в траве, некоторое время плелся следом и бормотал:

— Если нельзя, то всегда в каком-нибудь смысле нельзя, в том или ином, например, нельзя без старосты или без собрания, а со старостой или с собранием можно, но опять же не в любом смысле...

Атос шел быстро, насколько позволяла влажная жара, и старец понемногу отстал. На площади Атос увидел Слухача. Слухач, кряхтя и пошатываясь, ходил кругами, расплескивая пригоршнями коричневый травобой из огромного горшка, подвешенного на животе. Трава позади него дымилась и жухла на глазах. Атос попытался его миновать, но Слухач так ловко изменил траекторию, что столкнулся с ним нос к носу.

— А, Молчун! — радостно закричал он, торопливо снимая с шеи ремень и ставя горшок на землю. — Куда идешь, Молчун? Домой небось идешь, к Наве, дело молодое, а не знаешь ты, Молчун, что Навы твоей дома нету, Нава твоя на поле, своими глазами видел, как Нава на поле пошла, хочешь верь, хочешь не верь... Может, конечно, и не на поле, дело молодое, да только пошла твоя Нава, Молчун, по во-он тому переулку, а по тому переулку, кроме как на поле, никуда не выйдешь, да и куда ей, спрашивается, идти, твоей Наве, тебя, Молчуна, может, разве искать...

Атос снова попытался его обойти и снова оказался с ним нос к носу.

— Да и не ходи ты за ней на поле, — продолжал Слухач убедительно, — зачем тебе за нею ходить, когда я вот сейчас траву побью и всех сюда зазову, потому что землемер сказал, что ему староста велел, чтобы он сказал мне на площади траву побить, потому что скоро будет собрание, а как будет собрание, так все сюда с поля придут, и Нава твоя придет, если она на поле пошла, а куда ей еще по тому переулку идти, хотя, если подумать, то по тому переулку и не только на поле попасть можно...

Он вдруг замолчал и судорожно вздохнул. Глаза его выкатились, руки

как бы сами собой поднялись ладонями вверх. Атос приостановился. Мутное лиловатое облачко возникло возле лица Слухача, губы его затряслись, и он заговорил быстро и отчетливо чужим металлическим голосом с чужими интонациями, чужим диковинным стилем и даже, кажется, на чужом языке, так что понятными были только отдельные фразы.

— На фронте южных земель в битву вступают новые... отодвигается все дальше на юг... победного передвижения... Большое разрыхление почвы на северном направлении ненадолго прекращено из-за редких кое-где... Новые приемы заболачивания дают новые обширные места для покоя и нового передвижения на... Во всех деревнях... большие победы... усилия... новые отряды подруг... завтра и навсегда спокойствие и слияние...

Подоспевший старик стоял у Атоса за плечом и приговаривал:

— Видел? Спокойствие и слияние!.. Все время твержу: нельзя! Во всех деревнях, слышал?.. Значит, и в нашей тоже. И новые отряды подруг...

Слухач замолчал и опустился на корточки. Лиловое облачко растаяло.

— О чем это я? — сказал он. — Что, передача была? Ну как там Одержание, исполняется? А на поле ты, Молчун, не ходи. Ты ведь, наверное, за своей Навой идешь...

Атос перешагнул через горшок с травобойкой и поспешно пошел прочь. Дом Кулака находился на самой окраине. Замурзанная старуха — не то мать, не то тетка — сказала, недоброжелательно фыркая, что Кулака дома нету, Кулак в поле, а если бы был в доме, то искать его в поле было бы нечего, а раз он в поле, то чего ему, Молчуну, тут зря стоять. Атос отправился на поле.

В поле сеяли. Душный стоячий воздух был пропитан крепкой смесью запахов. Разило потом, бродилом, гниющими злаками. Утренний урожай был уже снят и толстым слоем навален вдоль борозды. Зерно уже разлагалось. Тучи рабочих мух толклись над горшками с закваской, а в самой гуще этого черного, отсвечивающего металлом круговорота стоял староста и, наклонив голову и прищурив один глаз, внимательно изучал каплю сыворотки на ногте большого пальца. Ноготь был специальный, плоский, тщательно отполированный, до блеска отмытый нужными составами. Мимо ног старосты по борозде, в десяти шагах друг от друга, гуськом ползли сеятели. Они больше не пели, но в глубине леса все еще гукало и ахало, и теперь ясно было, что это не эхо.

Атос пошел вдоль цепи, наклоняясь и заглядывая в опущенные лица. Отыскав Кулака, он тронул его за плечо, и Кулак сразу же, ни о чем не спрашивая, вылез из борозды. Борода его была забита грязью.

— Чего, шерсть на носу, касаешься? — прохрипел он, глядя Атосу в ноги. — Один вот тоже, шерсть на носу, касался, так его взяли за руки и за ноги и на дерево закинули, там он до сих пор и висит, а когда его снимут, так больше небось касаться не будет, шерсть на носу...

— Идешь? — коротко спросил Атос.

— Еще бы не иду, когда закваски на семерых наготовил, в дом не войти, шерсть на носу, воняет, жить невозможно, как же теперь не идти — старуха выносить не хочет, а сам я на это уже глядеть не могу. Да только куда идем? Колченог вчера говорил, что в Тростники, а я в Тростники не пойду, шерсть на носу, там и людей-то в Тростниках нет, не то что девок, там если человек захочет кого за ногу взять и на дерево закинуть, шерсть на носу, так некого, а мне без девки жить больше невозможно, меня староста со свету сживет... Вон, стоит, шерсть на носу, глаза вылупил, а сам слепой, как пятка, шерсть на носу, один вот так стоял, дали ему в глаз, больше не стоит, шерсть на носу, а в Тростники я не пойду, как хочешь...

— В Город, — сказал Атос.

— В Город — другое дело, в Город я пойду, тем более, говорят, что никакого Города вообще и нету, шерсть на носу, а врет о Городе этот старый пень, придет утром, половину горшка выест и начинает, шерсть на носу, плести: то нельзя, это нельзя... Я его спрашиваю, а кто ты такой, чтобы мне запрещать, что нельзя, а что можно, шерсть на носу — не говорит, сам не знает, про Город какой-то несет...

— Выходим послезавтра, — сказал Атос.

— А чего ждать? — возмутился Кулак. — У меня в доме ночевать невозможно, закваска смердит, пошли лучше вечером, а то вот так один ждал-ждал, а ему как дали по ушам, так он и ждать перестал, и до сих пор не ждет... И старуха ругается, житья нет, шерсть на носу, слушай, Молчун, давай старуху возьмем, может, ее воры отберут, я бы отдал, а?

— Выходим послезавтра, — терпеливо повторил Атос. — И ты молодец, что закваски приготовил много. Нам...

Он не закончил, потому что на поле закричали.

«Мертвяки! Мертвяки! — заорал староста. — Женщины, назад!» Атос огляделся. Между деревьями на краю поля стояли мертвяки: двое синих совсем близко и один желтый поодаль. Головы их с круглыми дырами глаз и с черной трещиной на месте рта медленно поворачивались из стороны в сторону, огромные руки плетьми висели вдоль тела. Земля под их ступнями уже курилась, белые струйки пара мешались с сизым дымком. Мертвяки эти видали виды и поэтому держались крайне осторожно. У желтого весь правый бок был изъеден травобоем, а оба синих были испятнаны лишаями

ожогов от бродила. Местами шкура на них отмерла и свисала лохмотьями. Пока они стояли и смотрели, женщины с визгом убежали в деревню, а мужчины, угрожающе и многословно бормоча, сбились в кучу с горшками травобоя наготове. Потом староста сказал: «Чего стоять? Пошли!» — и все неторопливо двинулись на мертвяков, рассыпаясь в цепь. «В глаза! — покрикивал староста. — Старайтесь в глаза им плеснуть! В глаза!» В цепи пугали: «Гу-гу-гу! А ну пошли отсюда! А-га-га-га!» — связываться никому не хотелось.

Кулак шел рядом с Атосом, выдирая из бороды засохшую грязь, и кричал громче всех, а между криками приговаривал: «Да не-ет, зря идем, шерсть на носу, не устоят они, сейчас побегут... Разве это мертвяки? Драные какие-то, где им устоять... Гу-гу-гу! Вы!» Подойдя к мертвякам шагов на двадцать, люди остановились. Кулак бросил в желтого ком земли, мертвяк с необычайным проворством выбросил вперед широкую ладонь и отбил ком в сторону. Все снова загукали и затопали ногами, некоторые показывали мертвякам горшки и делали угрожающие движения. Травобоя было жалко, и не хотелось потом тащиться в деревню за новым бродилом, мертвяки были битые, осторожные, и должно было обойтись и так.

И обошлось. Пар и дым из-под ног мертвяков пошел гуще, они попятились. «Ну, все, — сказали в цепи. — Сейчас вывернутся...» Мертвяки неуловимо изменились, словно повернулись внутри шкуры. Не стало видно ни глаз, ни рта — они стояли спиной. Через секунду они уже уходили, мелькая между деревьями. Там, где они только что стояли, медленно оседало облако пара.

Люди, оживленно галдя, двинулись обратно к борозде. Выяснилось вдруг, что пора уже идти в деревню на собрание. «На площадь ступайте, на площадь... — повторял каждому староста. — На площади собрание будет, так что идти надо на площадь...» Атос искал глазами Хвоста, но Хвоста в толпе видно не было. Кулак, трусивший рядом, говорил:

— А помнишь, Молчун, как ты на мертвяка прыгал? Как он, понимаешь, на него прыгнет, шерсть на носу, да как его за голову ухватит, обнял, как свою Наву, шерсть на носу, да как заорет... Помнишь, Молчун, как ты заорал? Обжегся, значит, ты, потом весь в волдырях ходил... Зачем же ты на него прыгал, Молчун? Один вот так на мертвяка прыгал, слупили с него кожу на брюхе, больше не прыгает, шерсть на носу, и детям прыгать закажет... Говорят, Молчун, ты на него прыгал, чтобы он тебя в Город унес, да ведь ты же не девка, чего он тебя понесет, да и Города, говорят, никакого нет, это все этот старый пень выдумывает слова разные — Город, Одержание... А кто его, это Одержание, видел? Слухач пьяных мух

наглотается, как пойдет плести, а старый пень тут как тут, слушает, а потом ходит, жрет чужое и повторяет...

— Так послезавтра будь готов выходить, — сказал Атос. — Выйдем из Новой деревни. Если увидишь Колченога, напомни ему. Я напоминал и еще напоминать буду, но и ты тоже напомни...

— Я ему так напомню, что последнюю ногу отломаю, — пообещал Кулак.

На собрание сошлась вся деревня, болтали, толкались, сыпали на пустую землю семена — выращивали подстилки, чтобы мягко было сидеть. Под ногами путались детишки, их возили за вихры и за уши. Староста, бранясь, отгонял колонну плохо обученных муравьев, потащивших было личинок рабочих мух прямо через площадь, допрашивал окружающих, по чьему же это приказу муравьи здесь ходят. Но выяснить было уже невозможно. Подозревали Слухача и Атоса.

Атос отыскал Хвоста, но поговорить не успел, потому что собрание началось, и первым, как всегда, полез выступать старик. О чем он говорил, понять было невозможно, но все сидели смирно и шикали на возившихся детишек. Кое-кто дремал. Старик долго распространялся о том, что такое нельзя и в каких оно бывает смыслах, призывал к Одержанию, сообщал об успехах на всех фронтах, бранил деревню, что везде есть новые отряды подруг, а в деревне нет, и ни спокойствия нет, ни слияния, и происходит это из того, что люди забыли слово «нельзя» и вообразили будто теперь все можно, а Молчун, например, вообще хочет уйти в Город, хотя его никто не вызывал, но деревня за это ответственности не несет, потому что он чужой, но если окажется вдруг, что он все-таки мертвяк, а такое мнение есть, то вот тогда неизвестно, что будет, тем более, что у Навы, хотя она тоже чужая, от Молчуна детей нет, и терпеть этого нельзя, а староста терпит... К концу выступления староста задремал, но, услыхав свое имя, вздрогнул и сейчас же грозно крикнул: «Эй, не спать!»

— Спать дома будете, — сказал он, — на то дома и есть, чтобы в них спать, а на площади никто не спит, на площади собрания бывают. На площади мы спать не позволяли, не позволяем и позволять не будем. — Он покосился на старика. Старик важно кивнул. — Это и есть наше общее нельзя. — Он пригладил волосы и сообщил: — В Новой деревне объявилась невеста. А у нас есть жених, известный вам всем Болтун. Болтун, ты встань и покажись... впрочем, нет, ты лучше посиди так, мы тебя все знаем... Отсюда вопрос: отпускать Болтуна в Новую деревню или наоборот невесту из Новой деревни взять к нам... Нет-нет, ты, Болтун, посиди, мы без тебя решим, а если кто имеет мнение, то пусть скажет.

Мнений оказалось два. Одни (главным образом, соседи Болтуна) требовали, чтобы Болтуна отдали в Новую деревню — пусть-ка он там живет. Другие же, люди спокойные и серьезные, живущие на другом конце деревни, считали, что нет, женщин стало мало, воруют женщин, и потому невесту нужно брать к себе. Спорили долго и сначала по существу. Потом Колченог неудачно выкрикнул, что время военное, а про это забывают, и про Болтуна сразу забыли. Слухач стал кричать, что никакой войны нет и не было, а есть и будет Великое Разрыхление Почвы. И вовсе не Разрыхление, возразили в толпе, а Необходимое Заболачивание. Поднялся старик и, выкатив глаза, хрипло завопил, что все это нельзя, что нет никакой войны, и нет никакого Разрыхления, и нет никакого Заболачивания, а есть, была и будет борьба на всех фронтах. Как же нет войны, шерсть на носу, отвечали ему, когда за чудаковой деревней полное озеро утопленников? Собрание взорвалось. Мало ли что утопленники, где вода, там и утопленники. И вовсе это не борьба и не война, и никакие это не утопленники, а есть это Спокойствие и Слияние в целях Одержания. А почему же тогда Молчун в Город идет? Раз он в Город идет, значит Город есть, а раз Город есть, то какая может быть война? Ясно, что Слияние! Мало ли куда идет Молчун! Один тоже шел, так ему дали по зубам, больше никуда... Молчун потому и идет в Город, что Города нет, а раз Города нет, то какое может быть Слияние? Нет никакого Слияния, одно время было, но уже давно нет. И Одержания уже нет! Потому что война! Да не война, я вам говорю, а борьба на всех фронтах! А утопленники? А ты их видел — утопленников? Эй, Болтуна держите!..

Атос, зная, что теперь это надолго, попытался начать разговор с Хвостом, Хвосту было не до разговоров. Хвост кричал: «Одержание! А мертвяки почему? Про мертвяков молчите, потому что не знаете, что и думать! Вот и кричите про Одержание!» Покричали про мертвяков, потом про грибные деревни, потом устали и начали затихать, утирая лица, обессиленно отмахиваясь друг от друга руками, и скоро обнаружилось, что все молчат, а спорят только старик и Болтун. Тогда все опомнились. Болтуна посадили, навалились, напихали в рот листьев. Старик еще некоторое время говорил, но потерял голос и не был слышен. Тогда поднялся взъерошенный представитель Новой деревни и, прижимая руки к груди, искательно озираясь, стал сорванным голосом просить, чтобы Болтуна к ним в Новую деревню не посылали, а взяли бы невесту к себе, а уж за приданым Новая деревня не постоит... Новый спор начинать уже не было никакой возможности, и выступление представителя решило вопрос.

Народ стал расходиться на обед. Хвост взял Атоса за руку и увлек в

сторону под дерево.

— Ну когда же идем? — спросил он. — Мне в деревне надоело, я в лес хочу, в деревне скучно, не пойдешь, так и скажи, я один пойду, Кулака или Колченога подговорю и с ними вместе уйду...

— Выходим послезавтра, — сказал Атос. — Ты пищу приготовил?

— Я пищу приготовил и уже съел, у меня терпенья не хватает на нее смотреть, как она зря лежит и никто ее, кроме старика, не ест, а у меня сердце болит на это смотреть, я этому старику когда-нибудь шею накостыляю, если скоро не уйду... Как ты думаешь, Молчун, кто такой этот старик, почему он у всех все ест? И где он живет? Я человек бывалый, я в десяти деревнях бывал, у чудаков бывал, даже к заморенным заходил, ночевал у них и от страху чуть не помер, а такого старика никогда не видел, он у нас какой-то редкостный старик, я думаю, мы его потому и держим, и не бьем, но у меня больше никакого терпения не хватает смотреть, как он по моим горшкам днем и ночью шарит и на месте ест, и с собой уносит, а ведь его еще мой отец ругал, пока его мертвяки не забили... И как в него все это влазит, ведь кожа да кости, там у него внутри и места нет, а два горшка вылижет, и с собой два унесет, и горшки никогда обратно не возвращает... Слушай, Молчун, может, это не один старик, а их двое или трое? Двое спят, а один работает, нажрется, второго разбудит и спать ложится...

Хвост проводил Атоса до дома, но обедать отказался — из вежливости. Поговорив еще минут пятнадцать о том, как на озере в Тростниках приманивают рыбу шевелением пальцев и пообещав приготовить к послезавтрему новые запасы, а старика беспощадно гнать, он удалился. Атос перевел дыхание и вошел в дом. В голове от бесконечных разговоров и шума уже сгущался тяжелый туман, который к вечеру обычно доводил его до обмороков и тошноты.

Навы дома еще не было, а за столом сидел старик и ждал кого-нибудь, чтобы подали обед. Он повернулся лицом к Атосу и сказал:

— Медленно ты, Молчун, ходишь, я уже в двух домах побывал, везде уже обедают, а у вас пусто, потому у вас, наверное, и детей нет, что медленно ходите и дома вас никогда не бывает, когда обедать пора...

Атос подошел к нему вплотную и некоторое время постоял, соображая. Старик говорил:

— Сколько же это ты будешь до Города идти, если тебя и к обеду не дождаться? Я теперь все про тебя знаю, знаю, как вы в Город собрались, и решил я, что с вами пойду, мне в Город давно надо, да я дороги туда не знаю, а в Город мне надо для того, чтобы свой родовой долг исполнить и все обо всем кому следует рассказать...

Атос взял его под мышки и рывком поднял от стола. Старик от удивления замолчал. Атос вынес его на вытянутых руках из дома, поставил на дорогу и вытер руки о траву. Старик опомнился.

— А еду вы на меня возьмите сами, — сказал он вслед Атосу. — Потому что я иду свой долг исполнять, а вы — для удовольствия, через нельзя.

Атос вернулся в дом, сел за стол и опустил голову на стиснутые кулаки. Послезавтра я ухожу, думал он. Послезавтра. Послезавтра.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Голос дежурного произнес:

— Экстренный сеанс Д-связи. Земля вызывает Горбовского Леонида Андреевича. Говорите, Леонид Андреевич...

Поль поднялся, чтобы выйти, но Горбовский сказал:

— Куда вы, Поль? Останьтесь! Какие у меня с Землей могут быть секреты? Да еще по Д-связи... Горбовский слушает, — сказал он в микрофон. — Это кто?.. Кто?! А если по буквам? Нет, на экране ничего не разберу... Ботва какая-то на экране... Бот-ва!.. Да... А-а, Павел?! Так бы и говорил. Ну как ты живешь?!

Связь была на редкость плохая. Изображение на экране напоминало полуразрушенную древнюю фреску, а Горбовский все время морщился и переспрашивал, вдавливая пальцем в ухо горошину репродуктора. Поль присел в кресло для посетителей и стал разбирать сводки.

— Как тебе сказать... Более или менее отдохнул... Что?.. А-а, да, неплохо... Пока все в порядке. А почему ты вдруг заинтересовался?.. Ну-ну!.. Опять... А нельзя ли как-нибудь этого Прянишникова временно посадить под замок? Чтобы не открывал... Закрыть надо, а не работать! Слышишь? Закрыть! Контакт уже установлен?.. Ну вот. Только этого нам и не хватало... Да. Я всегда очень интересовался этим вопросом. Только не в том смысле, как ты думаешь... Я говорю: интересовался, только в другом смысле! В негативном смысле, понимаешь? В негативном!.. В смысле «да минет нас чаша сия»!.. Правильно ты понимаешь. Решительно против. Это открытие нужно закрыть, пока еще не поздно! Вы не даете себе труда подумать, что вы там делаете!..

За окном был дождь и туман. Настоящий туман. Тянуло сыростью и запахом леса, неприятным, острым запахом, который в обычные дни не поднимался на такую высоту. Издалека, из очень далекого далека, слабо доносилось урчание грома. Поль записал для памяти на полях сводки: «В 15.00 пожарная тревога, в 17.00 биологическая тревога...»

— ...Да, мне здесь очень хорошо сидеть... А в печати нужны контрвыступления... Ты мне скажи вот что. Чего тебе от меня нужно? Только прямо и без дипломатии, потому что плохо слышно... Не скажу я этого. Как я могу тебе это сказать, если я считаю, что — нет?.. Представляю. Действительно, глупо. Надо как-то сдерживать... Откуда вы там взяли, что это общественная потребность? Стоит компании мальчишек

поднять шум, как вы... Да!.. Да, я — нет. Решительно — нет... Нет!.. Слушай, Павел. Я об этом думаю уже лет десять... Давай лучше я подумаю еще лет десять, а?.. Кстати, какой это чудак посылает сюда шифровки на имя Герострата?.. Как много тебе нужно, чтобы я оставался твоим любимейшим другом. Ладно, передай им так. Только имей в виду, что я все равно скажу — нет... Ну как... Как ты сам только что сказал. Леонид, мол, Горбовский... Ах, на магнитофон... А что я старый стал, ты тоже записываешь?.. Значит, так... Э-э... Я... м-м-м... глубоко убежден в том, что в настоящее время всякие акции подобного рода могут иметь далеко идущие и даже катастрофические для человечества последствия. Хорошо я сказал?.. Так. Ты не хочешь, чтобы я заставлял тебя врать, но ты хочешь, чтобы врал я сам?.. Не буду я врать, Павел. И вообще, имей в виду: этот вопрос не в нашей компетенции. Теперь этот вопрос уже в компетенции Всемирного совета... Вот я и даю Всемирному совету рекомендацию... Да, мне здесь хорошо сидеть, и никаких проблем... Будь здоров.

Поль поднял глаза. Горбовский медленно вынул из ушей репродукторы, осторожно положил их в кювету с раствором и некоторое время сидел, помаргивая и постукивая пальцами по поверхности стола. Лицо у него стало желчным.

— Поль, — сказал он, — вы давно здесь?

— Четвертый год.

— Четвертый год... А до вас кто был?

— Максим Хайроуд, а до него — Ральф Ионеско, а кто был до Ральфа — я уже не знаю. Вернее, не помню. Узнать?

Горбовский, казалось, не слушал.

— А чем вы занимались до Пандоры? — спросил он.

— Года два охотился, а до этого работал на мясомолочной ферме. На Волге.

Это не было похоже на беседу. Горбовский задавал вопросы таким тоном, как будто собирался пригласить Поля на работу.

— Поль, если это не секрет, как случилось, что вы сменили здесь Макса?

— Я работал у Максима старшим егерем. При нем здесь погибли двое туристов и один биолог, и он ушел. Меня назначили начальником по традиции.

— Это вам Макс сам сказал?

— Что именно?

Горбовский повернулся и посмотрел на Поля.

— Макс ушел потому, что... не выдержали нервы?

— Мне кажется, да. Он очень мучился. Со мной он, конечно, не говорил ни о чем подобном, но я знаю, что последнее время он не спал ночей. Каждый раз, когда кто-нибудь выходил на связь нерегулярно, он менялся в лице. Это я видел сам.

— Да-а... — протянул Горбовский. Потом он встрепенулся. — Что же это я тут расселся? Садитесь на свое место, Поль, а я сяду туда. Если вы меня не выгоняете, конечно.

Они поменялись местами. Несколько секунд Горбовский сидел в кресле для посетителей очень прямо и выжидательно смотрел на Поля, потом осторожно прилег.

— Лет пять назад, — сказал он, — мне пришлось участвовать в увлекательнейшей охоте. Мой друг Кондратьев... Вы слыхали о нем, конечно, он недавно умер... Кондратьев пригласил меня охотиться на гигантских спрутов. Не припомню, чтобы какое-нибудь другое существо вызывало у меня такое же отвращение и инстинктивную ненависть. Одного я убил, второго сильно покалечил, но он ушел. А спустя два месяца появилась хорошо вам, вероятно, известная статья Лассвица.

Поль сдвинул брови, пытаясь вспомнить.

— Лассвиц, Лассвиц... Хоть убейте, не помню, Леонид Андреевич.

— А я помню, — сказал Горбовский. — Вы знаете, у человечества есть по крайней мере два крупных недостатка. Во-первых, оно совершенно не способно созидать, не разрушая. А во-вторых, оно очень любит так называемые простые решения. Простые, прямые пути, которые оно почитает кратчайшими. Вам не приходилось думать по этому поводу?

— Нет, — сказал Поль улыбаясь, — боюсь, что не приходилось.

— А как у вас обстоят дела с эмоциями, Поль?

— Думаю, что обстоят хорошо. Я могу любить, могу ненавидеть, могу презирать, могу уважать. По-моему, спектр полный. Да, и еще могу удивляться. Вот как сейчас, например.

Горбовский тоже вежливо улыбнулся.

— А такая эмоция, как разочарование, вам знакома? — спросил он.

— Разочарование... Еще бы! Я всю жизнь только и делаю, что разочаровываюсь.

— Я тоже, — сказал Горбовский. — Я был очень разочарован, когда выяснилось, что расшатать инстинкты у человека еще труднее, чем расшатать наследственность. Я был очень разочарован, когда оказалось, что мы интересуемся Странниками гораздо больше, чем Странники — нами...

— Правильнее сказать, Странники нами вовсе не интересуются.

— Вот именно. Я несколько приободрился, — продолжал Горбовский,

— когда наметились успехи алгоритмизации человеческих эмоций, мне казалось, что это открывает широкие и довольно ясные перспективы. Но боже мой, как я был разочарован, когда мне довелось поговорить с первым кибернетическим человеком!.. Вы знаете, Поль, у меня такое впечатление, что мы можем чрезвычайно много, но мы до сих пор так и не поняли, что из того, что мы можем, нам действительно нужно. Я боюсь, что мы не поняли даже, чего мы, собственно, хотим. Вы чего-нибудь хотите, Поль?

Поль вдруг ощутил усталость. И какое-то недоверие к Горбовскому. Ему показалось, что Горбовский смеется над ним.

— Не знаю, — сказал он. — Хочу, конечно. Например, очень хочу, чтобы меня полюбила женщина, которую я люблю. Чтобы охотники возвращались из леса благополучно. Чтобы мои друзья не погибали неизвестно где. Вы об этом спрашиваете, Леонид Андреевич?

— Но _достаточно_ ли вы хотите этого?

— Думаю, что достаточно, — сказал Поль и взял сводку.

— Странно, — сказал Горбовский задумчиво. — Последнее время я все чаще замечаю, что раздражаю людей. Раньше этого не было. Не пора ли и мне заняться чем-нибудь другим?

— А чем вы занимаетесь сейчас? — спросил Поль, делая пометки на полях сводки.

— Вот вы даже из вежливости не сказали, что я вас вовсе не раздражаю. Но кто-то же должен раздражать! Слишком стало все определенно, слишком все уверены... Я, пожалуй, пойду, Поль. Пойду побросаю камешки. Вот уж что, кажется, никого не раздражает, как я ни стараюсь... — Он сделал попытку встать и снова лег, глядя на окно, по которому текли крупные капли.

Поль засмеялся и бросил карандаш.

— Вы действительно иногда действуете на нервы, Леонид Андреевич. Но снаружи мокро и неуютно, так что лучше останьтесь. Вы мне не мешаете.

— В конце концов, нервы тоже нужно тренировать, — заметил Горбовский задумчиво. — Тренировать свою способность к восприятию. Иначе человек становится невосприимчивым, а это скучно.

Они замолчали. Горбовский, кажется, задремал в своем кресле. Поль работал. Потом секретарь-автомат доложил, что егерь Сименон с туристом-новичком явились на инструктаж. Поль приказал звать.

Вошел маленький чернявый Сименон в сопровождении новичка, физика Марио Пратолини, оба в комбинезонах, увешанные снаряжением, при карабинах и охотничьих ножах. Сименон был, как всегда, угрюм, а

Марио сиял и лоснился от удовольствия и волнения. Поль встал им навстречу. Горбовский открыл глаза и стал смотреть. На лице его появилось сомнение, и Поль сразу понял, в чем дело: новичок был явно плох.

— Куда отправляетесь? — спросил Поль.

— Пробный выход, — ответствовал Сименон. — Первая зона. Сектор шестнадцать.

— Я не такой уж и новичок, директор, — сказал Марио с веселым достоинством. — Я уже охотился на Яйле. Может быть, можно обойтись без пробы?

— Нет, без пробы нельзя, — сказал Поль. Он вышел из-за стола и остановился перед Марио. — Без пробы нельзя, — повторил он. — Инструкцию изучили?

— Два дня зубрил, директор. Мне приходилось охотиться на ракопауков, и мне говорили...

— Это несущественно, — мягко перебил Поль. — Давайте лучше поговорим о Пандоре. Вы потеряли егеря. Ваше решение?

— Даю серию сигнальных выстрелов и жду ответа, — отбарабанил Марио.

— Егерь не отвечает.

— Включаю рацию, сообщаю вам.

— Действуйте.

Марио схватился за рацию, и Сименон едва успел подхватить его карабин. Горбовский опасливо поджал ноги.

— Не торопитесь, — посоветовал Поль, — и будем считать, что карабин вы уже утопили.

Марио воспринял это как шутку. По его движениям было видно, что рации вообще для него не диковинка, но не такие — агрегаты из коротковолнового приемо-передатчика, радиометра и биоанализатора. Марио с сопением крутил верньеры, Поль ждал, а Сименон, держа у ноги оба карабина, смотрел в угол.

— Странно, — сказал наконец Марио. — Просто удивительно...

— Да нет, — сказал Поль. — Что же тут удивительного? Вы, собственно, чего хотите?

— Ах, да! — Марио вдруг осенило. — Так я получаю концентрацию белка... Ага... Белка много... Так. Сейчас. Готово! Передавать?

— Передавайте, — холодно сказал Поль.

— Э-э... А-а... Постойте, я еще не подсоединил микрофон... — Марио засунул руку за воротник, ища шнур микрофона. — Вообще, если рассуждать логически, совершенно непонятно, как может потеряться егерь.

— Слева, слева, — мрачно подсказал Сименон.

— Да, — согласился Поль. — Егерю теряться совершенно незачем. Но можете потеряться вы.

Марио подсоединил микрофон и снова спросил:

— Передавать?

— Передавайте, — сказал Поль.

— Алло, алло, — сказал Марио стандартным радиоголосом. — База, База, говорит Пратолини, потерял егеря, жду указаний!

— Поль, — мрачно сказал Сименон. — В пробном выходе все это не так уж обязательно. Мы пройдем от ориентира к ориентиру, я покажу ему тахорга, и мы вернемся менять белье...

— А в чем дело? — спросил Марио несколько раздраженно. — Меня не слышно? Как вы меня слышите? Алло!

— Слышу вас хорошо, — сказал Поль. — С запада на ваш сектор идет лиловый туман, приготовьтесь. Включайте пеленгатор и ждите на месте.

Марио включил пеленгатор и спросил:

— А что, лиловый туман — это существенно?

Поль повернулся к Сименону.

— Ты готовил его к выходу? — спросил он тихо.

Сименон покусал губу.

— Поль, — сказал он. — Мы идем в пробный выход.

— Ты ошибаешься, — сказал Поль ровным голосом. — Вы не идете в пробный выход. Вы сейчас идете в террарий и будете тщательно готовиться к пробному выходу. Не в кафе, а в террарий. И не рассказывать легенды, а готовиться к пробному выходу. А завтра я приму вас опять и посмотрю, как вы подготовились. Я вас не задерживаю.

— Прошу прощения! — воскликнул Марио. Глаза его засверкали. — Я не мальчик! Я охотился на Яйле, у меня не так уж много времени! Я приехал охотиться на Пандору! В Пандорианский террарий я мог бы сходить и в Кэйптауне...

— Пойдем, пойдем, — сказал Сименон, взяв его за руку.

— Да нет, Жак, что значит — пойдем? Это странный, необъяснимый формализм! — Поль холодно смотрел ему в глаза. Марио стало неловко, и он стал смотреть на Горбовского — как на знакомого человека и соседа по столу в столовой. — На Яйле я не видел ничего подобного!

— Пойдем, пойдем, — повторил Сименон и потянул его за собой.

— Но я требую хотя бы объяснений! — гремел Марио, обращаясь уже прямо к Горбовскому. — Я терпеть не могу, когда со мной обращаются как с каким-нибудь сопляком! Что это за вздор? Почему это у меня может вдруг

потеряться егерь?

— Не сердитесь, Марио, — сказал Горбовский и улегся поудобнее. — Не надо так сердиться, а то на вас по-настоящему рассердятся. Вы ведь совсем-совсем не правы. Совсем-совсем. И ничего уж тут не поделаешь.

Марио несколько секунд смотрел на него, раздувая ноздри. Потом, произведя неопределенное движение рукой, он сказал:

— Это совсем другое дело. В конце концов, порядок должен быть во всем. Но могли же мне сразу просто сказать, что я не прав...

— Да пойдем же! — в отчаянии вскричал Сименон.

— Жак, — сказал Поль им вслед. — В восемнадцать ноль-ноль зайдешь ко мне.

Горбовский неожиданно вскочил.

— Подождите, Жак! — закричал он. — Один вопрос! Можно? Что вы будете делать, если столкнетесь в лесу с неизвестным животным?

— Пристрелю и позову биологов, — зло ответил Сименон и скрылся за дверью.

— Гордец какой, — сказал Горбовский и снова повалился в кресло.

— Видали? — сказал Поль. — Ну, я им покажу пробный выход, они у меня вспомнят первый закон человечества... — Он вернулся за свой стол, отыскал давешнюю сводку и приписал на полях: «22.00 — радиологическая тревога и землетрясение. 24.00 — общая эвакуация». Затем он нагнулся над микрофоном секретаря и продиктовал: «В 18.00 совещание всего свободного от дежурства персонала у меня в кабинете».

Горбовский сказал:

— Очень вы грозны, Поль.

— Тем хуже для меня, — сказал Поль.

— Да, — согласился Горбовский. — Тем хуже для вас. Вы еще очень молодой начальник. Со временем это проходит.

Поль хотел ответить, что, в конце концов, он предпочел бы вообще не быть начальником и что на благоустроенных планетах начальники вообще никому не нужны, как вдруг под потолком вспыхнул красный свет и раздался оглушительный, неприятный звон. Оба вздрогнули и разом повернулись к экрану аварийной связи. Поль включил прием и сказал:

— Директор слушает.

Послышался хриплый задыхающийся голос:

— Говорит Сартаков! Говорит Сартаков! Как меня слышно?

— Слышно хорошо, — нетерпеливо сказал Поль. — В чем дело?

— Поль! Мы свалились! Сектор семьдесят три, повторяю, сектор семьдесят три. Слышишь меня?

— Да, сектор семьдесят три. Продолжай.

— Пеленгаторы работают, люди целы, вертолет разрушен. Ждем помощи. Ты слышишь меня?

— Слышу отлично, жди на связи... — Поль положил руки на пульт. — Дежурный, говорит директор. Один дирижабль с одним вездеходом. На дирижабль группу Шестопала, на вездеход — Кутнова. Готовность доложить через десять минут. Полный аварийный запас. Повторите!

Дежурный повторил.

— Исполняйте... Внимание, База! Заместителю директора Робинзону срочно явиться к директору в полном походном снаряжении...

— Поль! — снова проговорил хриплый голос. — Если можешь, прилетай сам, мне кажется, это очень важно... Мы висим на дереве, и я вижу очень странные вещи... Такого мы еще не видели! Объяснить тебе не могу, но это что-то особенное... Осторожно, Рита Сергеевна!.. Поль, если можешь, прилетай сам! Не пожалеешь!

— Буду сам, оставайся на связи, — сказал Поль. — Все время оставайся на связи. Оружие в порядке?

— У нас все в порядке, кроме вертолета... Он весь в каком-то киселе... И сломана лопасть...

Поль отскочил от стола и распахнул стенной шкаф. Горбовский стоял около карты и водил пальцем по сектору семьдесят три.

— Здесь уже была авария, — сказал он.

Поль подошел к нему, застегивая комбинезон.

— Где? — Руки его замерли. — Ах вот оно что... — проговорил он и начал застегиваться еще быстрее. Горбовский смотрел на него, подняв брови.

— Да? — сказал он.

— В этом секторе, — сказал Поль, — три года назад погиб Атос. По крайней мере, он пеленговал в последний раз именно отсюда.

Хриплый голос сказал:

— Я вам, Рита Сергеевна, не советую что-нибудь здесь трогать. Давайте будем сидеть смирненько и ждать. Вам удобно сидеть?.. Ага, вот и хорошо... Нет, я сам здесь ничего не понимаю, так что давайте сидеть и ждать, ладно? Вы кушать не хотите?.. Ну и что же, меня тоже тошнит... Примите вот эту пилюльку...

Горбовский нежно взял Поля за пуговицу нагрудного прожектора и сказал:

— Можно, я с вами, Поль?

Полю стало неприятно. Этого он никак не ожидал от Горбовского. Это

никуда не годилось с любой точки зрения.

— Что вы, Леонид Андреевич, — сказал он, морщась, — зачем?

— Я чувствую, что мне нужно там быть, — сказал Горбовский. — Непременно. Можно?

Глаза у Горбовского были какие-то непривычные. Полю они показались испуганными и жалкими. Этого Поль терпеть не мог.

— Знаете что, Леонид Андреевич, — сказал он, отстраняясь, — тогда уж лучше, может быть, мне взять Турнена? Как вы полагаете?

Горбовский задрал брови еще выше и вдруг покраснел. Поль почувствовал, что тоже краснеет. Сцена получалась омерзительная.

— Поль, — сказал Горбовский, — голубчик, опомнитесь, что вы? Я — старый занятой человек, мне это все, что вы думаете, как-то даже безразлично... Я совсем из других соображений...

Поль совсем смутился, потом рассвирепел, а потом ему пришло в голову, что все это сейчас не имеет никакого значения и думать нужно совсем о другом.

— Снаряжайтесь, — сухо сказал он. — И приходите к ангару. Извините, все.

— Благодарю вас, — сказал Горбовский и вышел. В дверях он столкнулся с заместителем директора Робинзоном, и они потеряли несколько секунд, уступая друг другу дорогу с озабоченными улыбками.

— Джек, — сказал Поль, — ты остаешься за меня. Я лечу сам. Авария у Сартакова. Туристы не должны знать. Понял? Ни одна живая душа. Там Рита Сергеевна. Объяви готовность номер один.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Атос вышел затемно, чтобы вернуться к обеду. До Новой деревни было километров десять, дорога была знакомая, утоптанная, вся в голых проплешинах от рассыпанной травобойки. Считалось, что ходить по ней было безопасно. Справа и слева тянулись теплые бездонные болота, из ржавой воды торчали сгнившие черные ветви, округлыми блестящими куполами поднимались гигантские шляпки болотных поганок, иногда возле самой дороги попадались покинутые раздавленные дома водяных пауков. Но что делается на болотах, с дороги увидеть было трудно: из плотного переплетения древесных крон над головой свешивались и уходили в топь торопливыми корнями мириады толстых зеленых колонн, канатов, нитей и создавали непроницаемую завесу. Время от времени в желто-зеленом сумраке что-то обрывалось и с шумом падало, раздавался жирный всплеск, болото вздыхало и чавкало, и снова наступала тишина. По бездонной трясине человек, по-видимому, пройти не мог, зато мертвяки ходили везде, но мужчине мертвяки не опасны. На всякий случай Атос выломал себе дубину. О лесных опасностях ходили всякие слухи, и некоторые могли оказаться верными.

Он отошел от деревни шагов на пятьсот, когда его нагнала Нава. Он остановился.

— Ты почему без меня ушел? — спросила Нава запыхавшимся голосом. — Я же тебе говорила, что я с тобой уйду, я одна в этой деревне не останусь, нечего мне одной там делать, там меня никто не любит, а ты — мой муж, ты должен меня взять с собой, это ничего не значит, что у нас нет детей, все равно ты мой муж, а я твоя жена, а дети у нас с тобой еще будут, просто я честно тебе скажу, я пока еще не хочу детей, непонятно мне, зачем они, мало ли что там староста говорит или старик, у нас в деревне совсем не так было, кто хочет, тот имеет, а кто не хочет, тот не имеет...

— Вернись домой, — сказал Атос. — Откуда ты взяла, что я ухожу? Я к обеду буду дома.

— Вот я с тобой и пойду, а к обеду мы вместе вернемся, обед у меня со вчерашнего дня готов, я его спрятала, и старик его не найдет.

Атос повернулся и пошел дальше. Спорить было бесполезно, пусть идет. Он даже повеселел. Ему захотелось с кем-нибудь сцепиться, помахать дубиной, сорвать на ком-нибудь тоску и злость, накопленные за столько-то там лет. На ворах. Или на мертвяках. Пусть девчонка идет. Тоже мне жена!

Детей она не хочет. Он размахнулся и ахнул дубиной по сырой коряге у обочины и чуть не свалился: коряга распалась в труху, и дубина проскочила сквозь нее, как сквозь тень. Несколько юрких серых животных выскочили и, булькнув, скрылись в темной воде.

Нава скакала рядом, то забегая вперед, то отставая, время от времени она брала Атоса за руку обеими руками и повисала на нем. Она говорила об обеде, который очень ловко спрятала от старика, о том, что обед могли бы съесть дикие муравьи, если бы она не сделала так, что муравьи до него в жизни не доберутся, о том, что разбудила ее муха, а когда она вчера засыпала, Атос уже храпел...

Атос слушал и не слушал, привычный нудный гул заполнял его голову, он шагал и тупо думал о том, почему он ни о чем не может думать, может быть, это сказывалось действие бесконечных прививок, которыми так злоупотребляли деревенские жители, а может быть, сказывался весь дремотный, даже не первобытный, а просто растительный образ жизни, который он вел с незапамятных времен, когда вертолет на полной скорости влетел в невидимую преграду, перевернулся и камнем рухнул в болота. А может быть, когда его выбросило из кабины, он ударился головой, да так и не оправился... Ему вдруг пришло в голову, что все это — умозаключения, и он обрадовался; ему казалось, что он давно потерял способность к умозаключениям и может твердить только одно: послезавтра, послезавтра... Он глянул на Наву. Девчонка висела у него на левой руке, смотрела снизу вверх и рассказывала:

— Они все сбились в кучу, и стало страшно жарко, ты знаешь ведь, какие они, а луны в эту ночь совсем не было. Тогда моя мать тихонько вытолкнула меня, и я проползла на четвереньках у всех под ногами и больше уже матери не видела...

— Нава, — сказал Атос, — ведь ты мне эту историю рассказывала уже двести раз.

— Ну и что же? — сказала Нава, удивившись. — Какой ты странный, Молчун. А что же мне тебе еще рассказывать? Я больше ничего не помню и не знаю. Не буду же я тебе рассказывать, как мы с тобой на прошлой неделе рыли погреб... Ты же это и сам все видел. Вот если бы я рыла погреб с кем-нибудь другим, с Колченогом, например, или с Болтуном... — Она вдруг оживилась. — А знаешь, Молчун, это даже интересно. Расскажи ты мне, как мы с тобой рыли погреб. Мне еще никто об этом не рассказывал...

Атос опять отвлекся. Медленно, покачиваясь, проплывали по сторонам желто-зеленые заросли, кто-то сопел и вздыхал в воде, с тонким воем пронесся рой мягких белесых жуков, из которых делают пьяные настойки.

Дорога под ногами то становилась мягкой от высокой травы, то жесткой от щебня и крошеного камня. Желтые, серые, зеленые пятна — взгляду не за что было зацепиться, и нечего было запоминать. Потом тропа круто свернула влево, Атос прошел еще несколько шагов и остановился. Нава замолчала на полуслове.

У дороги головой в болоте лежал мертвяк. Руки и ноги его были растопырены и неестественно вывернуты, и он был совершенно неподвижен. Он лежал на смятой, пожелтевшей от жара траве, и даже издали было видно, как страшно его били. Он был как студень. Атос осторожно обошел его стороной. Ему стало тревожно. Бой произошел совсем недавно: мятые пожелтевшие травинки на глазах распрямлялись. Атос внимательно оглядел дорогу. Следов было много, но он в них ничего не понимал. А дорога впереди, совсем близко, делала новый поворот, и что было за поворотом — угадать было нельзя. Нава все оглядывалась на мертвяка.

— Это не наши, — сказала она очень тихо. — Наши так не могут. Кулак все грозится, но он тоже не может, только болтает... Молчун, давай вернемся, а? Вдруг это уроды? Давай лучше вернемся...

Атос разозлился. Опять? Опять откладывать? Сто раз он ходил по этой дороге и не встречал ничего, что стоило запомнить. А теперь, когда завтра нужно уходить, эта единственная безопасная дорога становится опасной. В Город можно пройти только через Новую деревню. Если в Город вообще можно пройти, если Город вообще существует, то дорога к нему идет через Новую деревню... Он вернулся к мертвяку. Он представил себе, как Колченог, Кулак и Хвост, непрерывно болтая, хвастаясь и грозясь, топчутся возле этого мертвяка, а потом, не переставая грозиться и хвастать, поворачивают назад.

Он нагнулся и взял мертвяка за ноги. Ноги были еще горячие, но уже не обжигали. Атос рывком толкнул грузное тело в болото. Трясина чвакнула, засипела и подалась. Мертвяк исчез. По темной воде пробежала и погасла рябь.

— Нава, — сказал Атос, — иди в деревню.

— Как же я пойду в деревню, — рассудительно сказала Нава, — если ты туда не пойдешь? Вот если бы ты тоже пошел в деревню...

— Перестань болтать, — сказал Атос. — Сейчас же беги в деревню и жди меня. И ни с кем не разговаривай.

— А ты?

— Я — мужчина, — сказал Атос. — Мне никто ничего не сделает.

— Еще как сделают, — возразила Нава. — Я тебе говорю: вдруг это

уроды? Им все равно, мужчина, женщина, мертвяк... Они тебя тоже уродом сделают. Как же я пойду одна, когда они, может быть, там, сзади?

— Никаких уродов на свете нет, — неуверенно сказал Атос. Он посмотрел назад. Там тоже был поворот, а что было за поворотом — угадать тоже было нельзя.

Нава что-то говорила, много, быстро и шепотом. Атос взял дубину поудобнее.

— Хорошо, — сказал он. — Иди со мною. Только держись рядом и, если я буду что-нибудь приказывать, сразу же выполняй. И молчи. Закрой рот и молчи до самой Новой деревни.

Молчать она, конечно, не умела. Она действительно шла рядом, не забегала вперед и не отставала, но все время что-то бормотала себе под нос. Они миновали опасный поворот, затем миновали еще один опасный поворот, и Атос уже немного успокоился, когда из высокой травы, прямо из болота, им навстречу молча вышли и остановились люди.

Ну вот, устало подумал Атос. Как мне не везет. Мне все время не везет. Он поглядел на Наву. Нава затрясла головой, лицо ее сморщилось.

— Ты меня им не отдавай, Молчун, — пробормотала она. — Я не хочу с ними. Я хочу с тобой, не отдавай меня...

Он посмотрел на людей. Их было семеро — все мужчины, все заросшие до глаз и все с громадными суковатыми дубинами. Это были не здешние люди, и одеты они были не по-здешнему, совсем в другие растения. Это были воры.

— Ну так что же вы встали? — глубоким раскатистым голосом сказал вожак. — Подходите, мы дурного не делаем... Если бы вы были мертвяки, тогда, конечно, разговор был бы другой, да и никакого разговора вовсе бы и не было, приняли бы вас на сучки да на палочки, вот и весь разговор. Куда направляетесь? В Новую деревню? Ну так вот, отец, ты себе иди, а дочку нам оставь, да не жалей, ей у нас лучше будет...

— Нет, — сказала Нава, — я к ним не хочу. Это же воры.

Воры засмеялись без всякой злобы, привычно.

— А может, нас обоих пропустите? — спросил Атос.

— Нет, — сказал вожак, — обоих нельзя. Тут кругом сейчас мертвяки, пропадет твоя девка, подругой славной станет, а это нам, людям, ни к чему, да и тебе ни к чему, отец, сам подумай, если ты человек, а не мертвяк, а на мертвяка ты вроде не похож, хотя и человек ты на вид странный...

— Она же еще девочка, — сказал Атос. — Зачем вам ее обижать?

Вожак удивился.

— Почему же обижать? Не век же она девочкой будет, придет время,

станет женщиной, не славной там какой-нибудь подругой, а женщиной...

— Это он все врет, — сказала Нава. — Ты ему, Молчун, не верь. Ты что-нибудь сделай скорее, а то они меня сейчас заберут, как Колченогову дочку забрали, с тех пор ее так никто и не видел, не хочу я к ним, я лучше этой славной подругой стану, смотри, какие они все дикие да тощие, у них и есть-то, наверное, нечего.

Атос беспомощно огляделся, а потом в голову ему пришла мысль, показавшаяся ему очень удачной.

— Слушайте, люди, — сказал он. — Возьмите нас обоих.

Воры приблизились. Вожак внимательно оглядел Атоса с головы до ног.

— Нет, — сказал он. — Зачем ты нам такой нужен! Вы, деревенские, никуда не годитесь, отчаянности в вас нет, и живете вы непонятно зачем, вас приходи и голыми руками бери. Не нужен ты нам, отец, иди себе в свою Новую деревню, а девочку оставь нам.

Атос глубоко вздохнул, взял дубину обеими руками и сказал Наве негромко:

— Ну, Нава, беги. Беги, не оглядывайся, я их задержу.

Глупо, подумал он. До чего же глупо. Он вспомнил мертвяка, лежащего головой в темной воде, постарался отогнать от себя это видение и поднял дубину над головой.

— Эй, эй! — закричал вожак. Все семеро, толкаясь и оскальзываясь в болото, гурьбой кинулись вперед. Несколько секунд Атос еще слышал дробный стук Навиных пяток, а потом ему стало не до этого.

Ему было страшно и стыдно, но потом страх прошел, потому что довольно быстро выяснилось, что единственным стоящим бойцом из воров был вожак. Отбивая его удары, Атос видел, как остальные, довольно бессмысленно размахивая дубинами, задевают друг друга, падают от собственных богатырских размахов и попадают друг по другу. Один с шумом упал в болото и заорал: «Тону!» Двое принялись его тащить, но вожак наседал, пока Атос случайно не угодил ему по коленной чашечке. Тогда вожак зашипел и присел на корточки. Атос отскочил. Двое воров тащили третьего из болота. Тот уже здорово увяз, лицо его посинело. Вожак сидел на корточках и укоризненно смотрел на Атоса. Остальные трое столпились позади вожака с грозно поднятыми дубинами.

— Дурак ты, — сказал вожак с обидой. — Долбня ты деревенская. И откуда ты такой взялся... Выгоды своей не понимаешь, дерево ты стоеросовое...

Больше Атос ждать не стал. Он повернулся и со всех ног пустился

бежать вслед за Навой. Воры кричали ему вслед насмешливо. Вожак гукал и взревывал: «А держи его! Держи!» Они за ним не гнались, и это Атосу не понравилось. Вообще он испытывал некоторое разочарование и досаду и на бегу пытался сообразить, как же эти неуклюжие и неповоротливые люди могут наводить ужас на деревни да еще каким-то образом уничтожать мертвяков. Скоро он увидел Наву: девочка скакала шагах в двадцати впереди, твердо ударяя в тропу босыми пятками. Потом она снова скрылась за поворотом и вдруг снова выскочила, замерла на мгновение и пустилась вбок, прямо через болото, прыгая с коряги на корягу — только брызги летели. У Атоса замерло сердце.

— Стой! — заорал он, задыхаясь. — С ума сошла! Стой!

Нава тотчас же остановилась, ухватившись за свисающую лиану, и повернулась к нему. А он увидел, как из-за поворота ему навстречу вышли еще трое воров и тоже остановились, глядя то на него, то на Наву.

— Молчун! — пронзительно закричала Нава. — Ты их бей и сюда беги, здесь тропинка есть, я давно про нее знаю! А ты их бей, бей, палкой бей! Гу-гу-гу! О-го-го их!

— Ты там держись, — сказал один из воров заботливо, — ты там не кричи, а держись, а то свалишься, тащи тебя потом...

Сзади тяжело затопали и тоже закричали: «Гу-гу-гу!» Трое впереди ждали. Атос, ухватив дубину за концы и выставив ее перед собой поперек груди, налетел на них, повалил всех троих и упал сам. Он сильно ушибся, но сейчас же вскочил. Перед глазами плыли разноцветные круги, кто-то снова испуганно вопил: «Тону!», кто-то сунулся бородатым лицом, и Атос ударил его дубиной, не глядя. Дубина переломилась. Атос бросил ее и прыгнул в болото. Коряга ушла из-под ног, он едва не сорвался, но сейчас же перепрыгнул на следующую и пошел прыгать с коряги на корягу, разбрызгивая вонючую черную грязь. Нава победно верещала и свистела ему навстречу. Позади гудели сердитые голоса. «Что же вы, руки дырявые?» — «А сам что?» — «Упустили девчонку, пропадет...» — «Да обезумел человек, дерется!..» — «Хватит вам разговоры разговаривать, в самом деле! Догонять нужно, а не разговоры разговаривать! Видите, они бегут, а вы разговоры разговариваете!» — «А сам что?» — «Ногу мне он подбил, видите!» — «А Семиглазый где? Ребята, а Семиглазый-то тонет! Семиглазый тонет, а они разговоры разговаривают!» Атос остановился возле Навы, ухватился за лианы и, тяжело дыша, смотрел и слушал, как странные люди, сгрудившись на тропе, размахивая руками, тащат из болота за ноги своего Семиглазого. Слышалось бульканье и храп. Впрочем, двое воров, подхватив дубинки, уже шли к Атосу прямо по болоту по колено в

черной жиже. И опять наврали, подумал Атос, болото-то вброд можно перейти, а говорили, что другого пути, кроме тропы, нет. Нава потянула его за руку.

— Пошли, Молчун, — сказала она, — чего ты стоишь? Пошли скорей. А может быть, ты еще хочешь подраться? Тогда погоди, я тебе палку поищу. Ты вот этих двух побей, а другие, может быть, и испугаются. Хотя, если они не испугаются, то они тебя все-таки одолеют, потому что ты один, а их... раз, два, три... четыре...

— Иди вперед, — сказал Атос. Он уже немного отдышался. — Показывай, куда идти.

Нава легко запрыгала в лес, в гущу лиан.

— А я вообще-то не знаю, куда эта тропинка ведет, — говорила она на бегу. — Мы тут с Колченогом ходили, когда тебя еще не было... или нет, был уже, только ты тогда еще без памяти ходил, ничего не соображал, говорить не мог, смотрел, как рыба, потом меня к тебе приставили ходить за тобой, я тебя и выходила, да только ты не помнишь, наверное, ничего...

Атос прыгал следом, стараясь держать правильное дыхание и ступать след в след. Время от времени он оглядывался. Воры были недалеко.

— А с Колченогом мы сюда ходили, когда у Кулака его дочку воры увели, он тогда все время меня с собой брал, обменять хотел, что ли, а может, хотел взять вместо дочки, вот и брал меня в лес, потому что очень без дочки убивался...

Лианы липли к рукам и хлестали по лицу, омертвевшие клубки их путались в ногах. Сверху сыпался мусор, иногда какие-то тяжелые бесформенные массы оседали, проваливались вниз в путанице зелени и раскачивались над самой головой. То справа, то слева сквозь завесу лиан просвечивали клейкие лиловые гроздья — Атос опасливо на них косился.

— Колченог говорил, что эта тропа к какой-то деревне ведет. — Нава говорила на бегу легко, как будто и не бежала вовсе, а валялась на своей постели, сразу было видно, что она не здешняя, здешние бегать не умели. — Не к нашей деревне и не к Новой деревне, а к какой-то другой, название Колченог говорил, но я забыла, все-таки это давно было, тебя еще не было... или нет, ты был уже, только ничего не соображал, еще тебя мне не отдали... А ты, когда бежишь, ты ртом дыши, ты зря носом дышишь, и разговаривать еще хорошо при этом, а то так ты скоро запыхаешься, тут еще долго бежать, мы еще мимо ос не пробегали, вот где нам быстро бежать придется, хотя, может быть, с тех пор осы оттуда ушли... Это в той деревне осы были, а в той деревне, Колченог говорит, вроде бы людей уже давно нет, там уже Одержание, говорит, произошло, так что людей совсем

не осталось... Нет, Молчун, это я вру, это он про другую деревню говорил...

Атос перешел на второе дыхание. Бежать стало легче. Теперь они были в самой гуще леса. Так глубоко Атос забирался только один раз, когда попытался оседлать мертвяка, чтобы добраться на нем до его хозяев, мертвяк понес галопом, он был раскаленный, как кипящий чайник, и Атос в конце концов потерял сознание от боли и сорвался с него. Он потом долго мучился ожогами на ладонях и на груди...

Становилось все темнее. Неба уже не было видно совсем, духота усиливалась. Зато становилось все меньше открытой воды, появились могучие заросли красного и белого мха. Мох был мягкий, прохладный и сильно пружинил, и ступать по нему было приятно.

— Давай отдохнем, — сказал Атос, задыхаясь.

— Нет, что ты, Молчун, — сказала Нава, — здесь нам отдыхать нельзя. От этого мха надо скорее подальше, это мох опасный, Колченог говорил, что это и не мох вовсе, это животное такое лежит, вроде паука, ты на нем заснешь и больше уже не проснешься, вот какой это мох, пусть на нем воры отдыхают, только они, наверное, знают, что нельзя, а то было бы хорошо...

Она посмотрела на Атоса и все-таки перешла на шаг. Атос дотащился до ближайшего дерева, прислонился к нему спиной, затылком, всей тяжестью и закрыл глаза. Очень хотелось сесть, но он боялся. Сердце билось, как бешеное, и тряслись ноги, а легкие лопались и растекались в груди. И весь мир был скользкий и соленый от пота.

— А если нас догонят? — услыхал он, словно сквозь вату, голос Навы. — Что мы будем делать, Молчун, если нас догонят? Что-то ты совсем никуда не годным стал, ты ведь, наверное, драться больше не сможешь, а?

Он хотел сказать: «Смогу», но не сказал. Воров он больше не боялся. Он вообще больше ничего не боялся. Он боялся только пошевелиться и боялся сесть. Все-таки это был лес, это-то он помнил.

— Вот у тебя даже и дубины теперь нет, — говорила Нава. — Поискать, что ли, тебе дубину, Молчун? Поискать?

— Нет, — пробормотал он. — Не надо.

Он открыл глаза. Воры были близко. Слышно было, как они пыхтят и топают в зарослях. В топоте этом не чувствовалось никакой бойкости. Ворам тоже было тяжко.

— Пошли, — сказал Атос.

Они миновали новую полосу опасного мха, снова началось мокрое болото с неподвижной черной водой, на которой пластались исполинские бледные цветы с неприятным запахом, а из каждого цветка выглядывало мохнатое многоногое животное и провожало их глазами на стебельках.

— Ты, Молчун, шлепай посильнее, — советовала Нава, — а то присосется кто-нибудь, потом не оторвешь, ты не думай, что раз тебе прививку сделали, то не присосется. Потом, конечно, сдохнет, но тебе-то от этого не легче...

Болото неожиданно кончилось, и местность стала повышаться. Появилась высокая трава с режущими, как у осоки, краями. Атос оглянулся и увидел воров. Почему-то они стояли по колено в болоте, опираясь на дубины, и глядели на него. Выдохлись, подумал Атос. Тоже выдохлись. Один из воров поднял руку, сделал приглашающий жест и крикнул:

— Давайте, спускайтесь!

Атос повернулся и пошел вслед за Навой. После болота идти по твердой земле казалось совсем легко, даже в гору. Воры что-то кричали — в два, а потом в три голоса. Атос оглянулся в последний раз. Воры по-прежнему стояли в болоте, они стояли в воде и даже не вышли на сухое место. Увидев, что он оглянулся, они отчаянно замахали руками и заорали снова. До Атоса донеслось:

— Наза-ад!.. Не тро-онем!.. Пропадете, дураки-и!..

Не так просто, подумал Атос со злорадством. Это вам не на Земле, здесь не верят. Нава уже скрылась за деревьями, и он поспешил за нею.

— Назад идите-е!.. Отпу-устим!.. — ревел вожак.

Не очень-то они выдохлись, если так орут, мельком подумал Атос.

Деревня была очень странная. Когда они вышли из леса, перед ними открылась обширная поляна, словно выжженная и вытоптанная, без единого куста, без единой травинки. Большая глиняная проплешина, отгороженная от неба сросшимися кронами могучих деревьев. Поляна была треугольная, и деревня тоже была треугольная.

— Не нравится мне эта деревня, — сказала Нава, — здесь, наверное, еды не допросишься. Смотри, поля у них нет, наверное, это охотники, они всяких животных ловят и едят, тошнит даже, как подумаешь...

— Надо же где-нибудь переночевать, — сказал Атос. — Да и дорогу спросить надо.

Они шли через лес весь день, и даже Нава устала и все чаще висла на руке Атоса. Издали их поразило, что на улицах не было видно ни одного человека, но когда она подошли к первому домику, стоявшему несколько на отшибе, их окликнули. Атос не сразу нашел — кто.

Рядом с домом на серой земле сидел серый, почти не одетый человек. Уже наступали сумерки, и трудно было разглядеть как следует его лицо.

— Вы куда? — спросил человек слабым голосом.

— Нам нужно переночевать, — сказал Атос. — А утром нам нужно в Новую деревню.

— Это вы, значит, сами пришли, — сказал человек вяло. — Это вы хорошо сделали. Вы заходите, а то работы много, а людей что-то совсем мало осталось. — Он еле выговаривал слова, словно засыпал. — А работать нужно, нужно, нужно...

— Ты нас не накормишь? — спросил Атос.

— Нам сейчас нужно... — Человек произнес несколько слов, которые Атос никогда не слыхал раньше. — Это хорошо, что мальчик пришел, он подойдет для... — И он опять произнес странные, непонятные слова.

Нава потянула Атоса за рукав. Атос с досадой выдернул руку.

— Я тебя не понимаю, — сказал он человеку. — Ты мне скажи, еда у тебя найдется?

— Вот если бы трое... — сказал человек.

Нава потащила Атоса прочь изо всех сил. Они отошли в сторону.

— Больной он, что ли? — сказал Атос. — Ты поняла, что он говорил?

— У него же нет лица, — шепотом сказала Нава. — Что ты с ним разговариваешь? Как с ним можно говорить, когда у него нет лица?

— Почему нет лица? — удивился Атос и оглянулся. Человека видно не было: то ли он ушел, то ли растворился в сумерках.

— А так, — сказала Нава. — Глаза есть, рот есть, а лица нету... — Она вдруг прижалась к нему. — Он как мертвяк, — сказала она. — Только он не мертвяк, от него пахнет, но весь он как мертвяк... Пойдем в какой-нибудь другой дом, только еды мы здесь не достанем, ты не надейся.

Она подтащила его к следующему дому, и они заглянули внутрь, но в доме никого не оказалось. Все в этом доме было непривычное: и не было постелей, и не было запахов еды. Нава понюхала воздух.

— Здесь вообще никогда не было еды, — сказала она с отвращением. — В какую-то ты меня глупую деревню привел, Молчун. Что мы здесь будем делать? Я таких деревень никогда в жизни не видела. И дети здесь не кричат, и на улице никого нет...

На сумеречной улице действительно никого не было, и стояла мертвая тишина. Даже в лесу не ухало и не булькало, как обычно по вечерам.

— Так ты ничего не поняла, что он говорил? — спросил Атос. — Странно он как-то говорил, я вот сейчас вспоминаю, и словно я слышал уже когда-то такую речь... А когда, где — не помню...

— И я тоже не помню, — сказала Нава, помолчав. — А ведь верно, Молчун, я тоже слыхала такие слова, может быть, во сне, а может быть, в нашей деревне, не в той, где мы живем, а в другой, где я родилась, только

тогда это, должно быть, очень давно, потому что тогда я была еще очень маленькая и с тех пор все позабыла, а сейчас как будто бы и вспомнила, но никак не могу вспомнить...

В следующем доме они увидели человека, который лежал прямо на полу и спал. Атос нагнулся над ним, потряс его за плечо, но человек не проснулся. Кожа у него была сухая и горячая, а мускулов почти не было.

— Спит, — сказал Атос, поворачиваясь к Наве.

— Как же спит? — сказала Нава. — Когда он смотрит...

Атос снова нагнулся над человеком. Ему показалось, что тот действительно смотрит. Но только показалось.

— Да нет, спит он, — сказал Атос. — Пойдем.

Против обыкновения Нава промолчала. Они дошли до середины деревни, заглядывая в каждый дом, и в каждом доме они видели спящих. Все спящие были мужчины. Не было ни одной женщины, ни одного ребенка. Нава совсем замолчала. Атосу тоже было не по себе. Спящие не просыпались, но почти каждый раз, когда Атос оглядывался на них, выходя на улицу, ему казалось, что они провожают его короткими осторожными взглядами. Стало совсем темно. Атос чувствовал, что устал до последней степени, до полного безразличия. Ему хотелось сейчас только одного: прилечь где-нибудь под крышей (чтобы не свалилась на сонного сверху какая-нибудь гадость), пусть прямо на жестком утоптанном полу, но лучше все-таки в пустом доме, а не с этими подозрительными спящими. Нава совсем повисла на руке.

— Ты не бойся, — сказал Атос. — Бояться здесь совершенно нечего.

— Что ты говоришь? — спросила она сонным голосом.

— Я говорю, не бойся. Они тут все полумертвые, я их одной рукой раскидаю.

— Никого я не боюсь, — сказала Нава сердито. — Я устала и хочу спать, раз уж ты есть не даешь. А ты все ходишь и ходишь из дома в дом, из дома в дом, надоело даже, во всех домах все одинаково. Все люди лежат, а мы с тобой бродим.

Тогда Атос поискал глазами и зашел в первый попавшийся дом. Там было абсолютно темно. Атос прислушался, пытаясь понять, есть здесь кто-нибудь или нет, но слышал только сопение Навы, уткнувшейся лбом ему в бок. Он ощупью нашел стену, пошарил руками, сухо ли на полу, и лег, положив голову Навы себе на живот. Нава уже спала. Завтра... пораньше встать... обратно через лес на тропу... воры, конечно, ушли... а если и не ушли... как там ребята в Новой деревне... неужели опять послезавтра?.. Нет уж, завтра... завтра...

Он проснулся от света и подумал, что взошла Луна. В доме было темно, лиловатый свет падал в окно и в дверь. Ему стало интересно, как это свет Луны может падать и в окно, и в дверь напротив, потом он догадался, что он на Пандоре, и настоящей Луны здесь быть не может, и тут же забыл об этом, потому что в полосе света, падающего из окна, появился силуэт человека. Человек стоял здесь, в доме, спиной к нему и глядел в окно, и по силуэту видно было, что он стоит, заложив руки за спину и нагнув голову, как любил стоять у окна во время дождей и туманов Карл, и он отчетливо понял, что это и есть Карл, который когда-то отлучился с Базы в лес и не вернулся. Он задохнулся от волнения и крикнул: «Карл!» Карл медленно повернулся, лиловый свет от окна прошел по его лицу, и Атос увидел, что это не Карл, а какой-то незнакомый местный человек, он неслышно подошел к Атосу и нагнулся над ним, не размыкая рук за спиной, и лицо его стало видно совершенно отчетливо, изможденное безбородое лицо, решительно ничем не похожее на лицо Карла. Он не произнес ни слова, выпрямился и пошел к двери, по-прежнему сутулясь, и когда он перешагивал через порог, Атос понял, что это все-таки Карл, вскочил и выбежал за ним следом.

За дверью он остановился и оглядел улицу. Было очень светло, потому что низко над деревней висело лиловое светящееся небо. Наискосок, на другой стороне улицы, возвышалось плоское, диковинное строение, и возле него толпились люди. Человек, похожий на Карла, шел к этому строению, он подошел к этим людям и смешался с толпой. Он тоже хотел подойти к строению, но почувствовал, что ноги у него как ватные и он совсем не может идти. Он удивился, как это он еще может стоять на таких ногах; боясь упасть, он хотел ухватиться за что-нибудь, но было не за что, его окружала пустота.

Раздался крик, громкий откровенный крик боли, так что зазвенело в ушах, и почему-то он сразу понял, что кричат в этом плоском здании, может быть, потому, что больше кричать было негде. И почти тотчас же он сам ощутил острый укол в спину. Он обернулся и увидел Наву, которая, откинув голову, медленно падала навзничь, и он подхватил ее и поднял, не понимая, что с ней происходит, и ощущая страшное желание узнать, что же с ней происходит. Голова ее была откинута, и ее открытое горло было перед его глазами, то место, где у всех землян ямочка между ключицами, а у Навы было две таких ямочки, и у всех местных людей было две таких ямочки, но ведь это чрезвычайно важно узнать, почему у них две. Он заметил, что крик не прекратился, и понял, что ему нужно туда, где кричат. Что же им дают две ямочки? В чем целесообразность? Крик продолжался.

Может быть, в этом все дело, почему об этом никто не подумал, надо было подумать об этом гораздо раньше, и тогда все было бы по-другому...

Крик оборвался. Атос увидел, что стоит уже перед самым зданием, среди этих людей, перед квадратной черной дверью, и он попытался понять, что он здесь делает с Навой на руках, но не успел, потому что из черной квадратной двери вышли Карл и Валентин, угрюмые и раздраженные, и остановились, разговаривая. Он видел, как шевелятся их губы, и догадывался, что они спорят, что они недовольны, но он не понимал слов, только один раз он уловил полузнакомое слово «хиазма». И тут он вспомнил, что Карл-то пропал без вести, а Валентина нашли через месяц после аварии и похоронили. Ему стало невыносимо жутко, и он попятился, толкая кого-то спиной, и даже когда он увидел, что никакой это не Карл, и никакой это не Валентин, страх его не уменьшился, он продолжал пятиться, и вдруг кто-то рядом сказал ему: «Куда же ты с ним? Иди прямо, вот же дверь, дверей не видишь, что ли?» Тогда он повернулся, вскинул Наву на плечо и двинулся по пустой освещенной улице, как во сне, на мягких подгибающихся ногах, только не слыша за собой топота преследователей.

Он опомнился, ударившись о дерево. Нава вскрикнула, и он опустил ее на землю. Под ногами была трава.

Отсюда была видна вся деревня. Над деревней лиловым светящимся конусом стоял туман, и дома казались размытыми, и размытыми казались фигурки людей.

— Что-то я ничего не помню, — проговорила Нава. — Почему мы здесь? Мы ведь уже спать легли. Или это мне все снится?

Атос поднял ее и понес дальше, дальше, дальше, пока вокруг не стало совсем темно. Тогда он прошел еще немного, снова опустил Наву на землю и сел возле нее. Вокруг была высокая теплая трава. Сырости совсем не чувствовалось, никогда еще в лесу Атосу не попадалось такого сухого благодатного места. Голова у него болела, и все время клонило в сон, не хотелось ни о чем думать, было только чувство огромного облегчения от того, что он собирался сделать что-то ужасное и не сделал.

— Молчун, — сказала Нава сонным голосом, — ты знаешь, Молчун, я все-таки вспомнила, где я слышала такую речь. Это ты так сам говорил, Молчун. Когда еще был без памяти. Слушай, Молчун, а может, ты из этой деревни родом? Может, ты просто забыл? Ты ведь очень больной был тогда, Молчун, совсем без памяти...

— Спи, — сказал Атос. Ему не хотелось думать. Ни о чем не хотелось думать. «Хиазма», — вспомнил он.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Дирижабль, рискованно низко ныряя над лесом в крутящихся под ветром тучах, сбросил вездеход в полукилометре от того места, где были замечены сигнальные ракеты Сартакова.

Леонид Андреевич ощутил легкий толчок, когда включились парашюты, и через несколько секунд второй, более сильный толчок, почти удар, когда вездеход, сокрушая деревья, рухнул в лес. Алик Кутнов отстрелил парашюты, включил для пробы двигатели и доложил: «Готов». Поль скомандовал: «Бери пеленг и — вперед».

Леонид Андреевич косился на них с некоторой завистью. Оба они работали, оба были заняты, и видно было, что им обоим нравится все это — и рискованный прыжок с малой высоты, и колодец в лесной зелени, получившийся в месте падения танка, и гул двигателей, и вообще все положение, когда не надо больше чего-то ожидать, когда все уже произошло и мысли не разбредаются, как веселая компания на пикнике, а строго подчинены ясной и определенной цели. Так, вероятно, чувствовали себя старинные полководцы, когда затерявшийся было противник вдруг обнаруживался, намерения его определялись и можно было в своих действиях опереться наконец на хорошо знакомые положения приказов и уставов. Леонид Андреевич подозревал также, что они втихомолку даже радуются происшествию как случаю продемонстрировать свою готовность, свое умение, свою опытность. Радуются постольку, конечно, поскольку все пока были живы и никому ничего особенного не угрожало. Сам же Леонид Андреевич, если отвлечься от мимолетного ощущения зависти, ждал встречи с неизвестным, надеялся на эту встречу и боялся ее.

Вездеход медленно и осторожно двигался на пеленг. При его приближении растительность мгновенно теряла влагу, и все — стволы деревьев, ветви, листья, лианы, цветы, грибы — рассыпалось в труху, смешивалось с болотным илом и тут же смерзалось, стеля под гусеницы звонкую ледяную броню. «Вас видим!» — сообщил голос Сартакова из репродуктора, и Алик сейчас же затормозил. Туча трухи медленно оседала.

Леонид Андреевич, поспешно отстегивая предохранительные ремни, водил глазами по обзорному экрану. Он не знал, что он должен увидеть. Что-то похожее на кисель, от которого тошнит. Что-то необычное, что нельзя описать. А вокруг шевелился лес, трепетал и корчился лес, менял окраску, переливаясь и вспыхивая, обманывая зрение, наплывая и отступая,

издевался, пугал и глумился лес, и он весь был необычен, и его нельзя было описать, и от него тошнило. Но самым необычным, самым невозможным, самым невообразимым в этом лесу были люди, и поэтому прежде всего Леонид Андреевич увидел их. Они шли к вездеходу, тонкие и ловкие, уверенные и изящные, они шли легко, не оступаясь, мгновенно и точно выбирая место, куда ступить, и они делали вид, что не замечают леса, что в лесу они как дома, что лес уже принадлежит им, они даже, наверное, не делали вид, они действительно думали так, а лес висел над ними, беззвучно смеясь и указывая мириадами глумливых пальцев, ловко притворяясь и знакомым, и покорным, и простым — совсем своим. Пока.

Рита Сергеевна и Сартаков вскарабкались на гусеницу, и все вышли им навстречу.

— Что же это ты так неловко? — сказал Поль Сартакову.

— Неловко? — сказал Сартаков. — Ты посмотри! Видишь?

— Что?

— То-то, — сказал Сартаков. — А теперь присмотрись...

— Здравствуйте, Леонид Андреевич, — сказала Рита Сергеевна. — Вы сообщили Тойво, что все в порядке?

— Тойво ничего не знает, — ответил Леонид Андреевич. — Вы не беспокойтесь, Рита. А вы как себя чувствуете? Что у вас случилось?

— Да ты не туда смотришь, — нетерпеливо говорил Сартаков Полю. — Да вы, кажется, ослепли все!..

— А! — закричал Алик, указывая пальцем. — Вижу! Ух ты...

— Да-а... — тихо и напряженно произнес Поль.

И тогда Леонид Андреевич тоже увидел. Это появилось как изображение на фотобумаге, как фигурка на детской загадочной картинке «Куда спрятался зайчик?» — и, однажды разглядев это, больше невозможно было потерять его из виду. Оно было совсем рядом, оно начиналось в нескольких шагах от широких гусениц вездехода.

Огромный живой столб поднимался к кронам деревьев, сноп тончайших прозрачных нитей, липких, блестящих, извивающихся и напряженных; пронизывающий плотную листву и уходящий выше, в облака. Он зарождался в клоаке, в жирной клокочущей клоаке, заполненной протоплазмой, живой, активной, вспухающей пузырями, примитивной плотью, хлопотливо организующей и тут же разлагающей себя, изливающей продукты разложения на плоские берега, плюющейся клейкой пеной... И сразу из шума леса выделился голос клоаки, словно включились невидимые звукофильтры: клокотание, плеск, всхлипывания, бульканье, протяжные болотные стоны, и надвинулась тяжелая стена запахов: сырого

сочащегося мяса, сукровицы, свежей желчи, сыворотки, горячего клейстера, и только тогда Леонид Андреевич заметил, что Рита Сергеевна и Сартаков были в кислородных масках, и увидел, как Алик и Поль, брезгливо кривясь, поднимают к лицу намордники респираторов, но сам он не стал надевать респиратор, он словно бы надеялся, что хоть запахи расскажут ему то, чего не рассказали ни глаза, ни уши.

— Какая жуть... — сказал Алик с отвращением. — Что это такое, Вадим?

— Откуда я знаю? — сказал Сартаков. — Может быть, какое-нибудь растение...

— Животное, — сказала Рита Сергеевна. — Животное, а не растение... Оно питается растениями.

Вокруг клоаки, заботливо склоняясь над нею, трепетали деревья, их ветви были повернуты в одну сторону и никли к бурлящей массе, и по ветвям струились и падали в клоаку толстые мохнатые лианы, и клоака принимала их в себя, а протоплазма обгладывала их и превращала в себя, как она могла растворить и сделать своею плотью все, что окружало ее...

— Нет, — говорил Сартаков. — Оно не движется. Оно даже не становится больше, не растет. Сначала мне показалось, что оно разливается и подбирается к нашему дереву, но это было просто от страха. Или это дерево подбиралось к нему...

— Не знаю, — говорила Рита. — Я вела вертолет и ничего не заметила. Скорее всего, мы налетели на этот... столб, винты запутались в слизи, хорошо, что мы шли низко и на самой маленькой скорости, мы боялись грозы и искали место отсидеться...

— Если бы только растения! — говорил Сартаков. — Мы видели, как туда падают животные, их словно тянет туда что-то, они с визгом сползают по ветвям и бросаются туда, и растворяются — сразу, без остатка.

— Нет, это, конечно, чистая случайность, — говорила Рита. — Нам сначала не повезло, а потом повезло. Вертолет буквально сел на крону и даже не перевернулся, и даже дверцу не заклинило, так что, по-моему, корпус цел, полетели только лопасти винтов...

— Ни минуты покоя, — говорил Сартаков. — Оно бурлит непрерывно, как сейчас, но это еще не самое интересное. Подождем еще несколько минут, и вы увидите самое интересное...

И когда прошли эти несколько минут, Сартаков сказал:

— Вот оно!

Клоака рожала. На ее плоские берега нетерпеливыми судорожными толчками один за другим стали извергаться обрубки белесого, зыбко

вздрагивающего теста, они беспомощно и слепо катились по земле, потом замирали, сплющивались, вытягивали осторожные ложноножки и вдруг начинали двигаться осмысленно, еще суетливо, еще тычась, но уже в одном направлении, все в одном определенном направлении, расходясь и сталкиваясь, но все в одном направлении, по одному радиусу от клоаки, в заросли, прочь, одной текучей белесой колонной, как исполинские мешковатые слизнеподобные муравьи.

— Оно выбрасывает их каждые полтора часа, — говорил Сартаков, — по десять, двадцать, по тридцать штук... С удивительной правильностью, каждые восемьдесят семь минут...

— Нет, не обязательно туда, — говорила Рита. — Иногда они уходят в том направлении, а иногда вон туда, мимо нашего дерева. Но чаще всего они действительно ползут так, как сейчас... Поль, давайте посмотрим, куда они ползут, вряд ли это далеко, они слишком беспомощны...

— Может быть, и семена, — говорил Сартаков, — а может быть, и щенки, откуда мне знать, может быть, это маленькие тахорги. Ведь никто и никогда еще не видел маленьких тахоргов. Хорошо бы проследить и посмотреть, что с ними делается дальше. Как ты думаешь, Поль?

Да, хорошо бы. Почему бы и нет? Раз уж мы здесь, то почему бы и нет? Мы могли бы ехать рядом и быть настороже. Все возможно, пока еще возможно все, возможно, это лишний нарост на маске, загадочный и бессмысленный, а может быть, именно здесь маска приоткрылась, но лицо под нею такое незнакомое, что тоже кажется маской, и как хорошо было бы, если бы это оказались семена или маленькие тахорги...

— А почему бы и нет? — сказал Поль решительно. — Давайте! По крайней мере, я буду знать, в чем будут копаться наши биологи. Пошли в рубку, надо сообщить Шестопалу, пусть дирижабль следует за нами...

Они спустились в рубку, Поль связался с дирижаблем, а Алик стал разворачивать вездеход. «Хорошо, — говорил Шестопал. — Будет исполнено. А что там внизу? Там какой-нибудь гейзер? Я все время натыкаюсь на что-то мягкое и ничего не вижу, очень неприятно, и стекла в кабине залепило какой-то слизью...» Алик делал поворот на одной гусенице и валил кормой деревья. «Ай! — вдруг сказала Рита. — Вертолет!» Алик затормозил, и все посмотрели на вертолет. Вертолет медленно падал, цепляясь за распростертые ветви, скользя по ним, переворачиваясь, цепляясь изуродованными винтами, увлекая за собой тучи листьев. Он упал в клоаку. Все разом встали. Леониду Андреевичу показалось, что протоплазма прогнулась под вертолетом, словно смягчая удар, мягко и беззвучно пропустила его в себя и сомкнулась над ним. «Да, — сказал

Сартаков с неудовольствием. — Глупость какая, вся недельная добыча...» Клоака стала пастью сосущей, пробующей, наслаждающейся. Она катала в себе вертолет, как человек катает языком от щеки к щеке большой леденец. Вертолет крутило в пенящейся массе, он исчезал, появлялся вновь, беспомощно взмахивая остатками винтов, и с каждым появлением его становилось все меньше, органическая обшивка истончалась, делалась прозрачной, как тонкая бумага, и уже смутно мелькали сквозь нее каркасы двигателей и рамы приборов, а потом обшивка расползлась, вертолет исчез в последний раз и больше не появился. Леонид Андреевич посмотрел на Риту. Она была бледна, руки ее были стиснуты. Сартаков откашлялся и сказал: «Честно говоря, я не предполагал... Должен тебе сказать, директор, я вел себя достаточно опрометчиво, но я никак не предполагал...»

— Вперед, — сухо сказал Поль Алику.

«Щенков» было сорок три. Они медленно, но неутомимо двигались колонной один за другим, словно текли по земле, переливаясь через стволы сгнивших деревьев, через рытвины, по лужам стоячей воды, в высокой траве, сквозь колючие кустарники. И они оставались белыми, чистыми, ни одна соринка не приставала к ним, ни одна колючка не ранила их, и их не пачкала черная болотная грязь. Они лились с тупой бездумной уверенностью, как будто по давно знакомой привычной дороге.

Алик с величайшей осторожностью, выключив все агрегаты внешнего воздействия, шел параллельно колонне, стараясь не слишком приближаться к ней, но и не терять ее из виду. Скорость была ничтожная, едва ли не меньше скорости пешехода, и это длилось долго. Через каждые полчаса Поль выбрасывал сигнальную ракету, и скучный голос Шестопала сообщал в репродукторе: «Ракету вижу, вас не вижу». Иногда он добавлял: «Меня сносит ветром. А вас?» Это была его личная традиционная шутка.

Время от времени Сартаков (с разрешения Поля) выбирался из рубки, соскакивал на землю и шел рядом с одним из «щенков». «Щенки» не обращали на него никакого внимания: видимо, они даже не подозревали, что он существует. Потом (опять-таки с разрешения Поля) рядом со «щенками» прошлись по очереди Рита Сергеевна и Леонид Андреевич. От «щенков» резко и неприятно пахло, белая оболочка их казалась прозрачной, и под нею волнами двигались какие-то тени. Алик тоже попросился к «щенкам», но Поль его не отпустил и сам не пошел, может быть, желая таким образом выразить свое неудовольствие просьбами экипажа.

Возвратившись из очередной прогулки, Сартаков предложил изловить одного «щенка». «Ничего нет легче, — сказал он. — Опростаем контейнер

с водой, накроем одного и оттащим в сторону. Все равно когда-нибудь придется ловить». — «Не разрешаю, — сказал Поль. — Во-первых, он сдохнет. А во-вторых, я ничего не разрешу до тех пор, пока не станет все ясно». — «Что именно — все?» — спросил агрессивно Сартаков. «Все, — сказал Поль. — Что это такое, почему, зачем?» — «А заодно — в чем смысл жизни», — сказал агрессивно Сартаков. «По-моему, это просто разновидность живого существа», — сказал Алик, который очень не любил ссор. «Слишком сложно для живого существа, — сказала Рита. — Я имею в виду, что слишком сложно для таких больших размеров. Трудно себе представить, что это может быть за живое существо». — «Это вам трудно представить, — сказал Алик добродушно. — Или мне, например. А вот, скажем, ваш Тойво может все это представить без малейшего труда, ему это проще, чем для меня — завести двигатель. Раз — и представил. Величиной с дом». — «Знаете, что это, — сказал успокоившийся Сартаков. — Это ловушка». — «Чья ловушка?» — «Чья-то ловушка», — сказал Сартаков. «Занимается ловлей вертолетов», — сказал Поль. «А что же, — сказал Сартаков. — Сидоров попался три года назад, Карл еще раньше попался, а теперь вот мой вертолет». — «Разве Карл здесь сгинул?» — спросил Алик. «Это неважно, — сказал Сартаков. — Ловушек может быть много». — «Поль, — сказала Рита Сергеевна, — можно я поговорю с Тойво?» — «Можно, — сказал Поль, — сейчас я его вызову...»

Рита поговорила с Тойво. Сартаков еще раз вылез и прошелся рядом со «щенками». Шестопал еще раз сообщил, что его сносит, и еще раз спросил, не сносит ли их. А потом они увидели, как строй «щенков» нарушился. Колонна разделилась. Леонид Андреевич считал: тридцать два «щенка» пошли прямо, а одиннадцать, построившись в такую же колонну, свернули налево, наперерез вездеходу. Алик продвинулся еще на несколько десятков метров и остановился.

— Слева озеро, — объявил он.

Слева между деревьями открылось озеро, ровная гладь неподвижной темной воды — совсем недалеко от вездехода. Леонид Андреевич увидел низкое туманное небо и смутные очертания дирижабля. Одиннадцать «щенков» уверенно направлялись к воде. Леонид Андреевич смотрел, как они переливаются через кривую корягу на самом берегу и один за другим тяжело плюхаются в озеро. По темной воде пошли маслянистые круги.

— Тонут! — сказал Сартаков с удивлением.

— Тогда уж — топятся, — сказал Алик. — Ну что, Поль, за ними? Или прямо?

Поль рассматривал карту.

— Как всегда, — сказал он. — Этого озера у нас на картах нет. Если карте больше двух лет, то она уже никуда не годится. — Он сложил карту и придвинул к себе перископ. — Пойдем прямо, — сказал он. — Только погоди немного.

Он медленно поворачивал перископ, а потом остановился и стал вглядываться. В кабине вдруг стало тихо. Все смотрели на него. Леонид Андреевич увидел, как его правая рука нашарила клавишу кинокамеры и несколько раз нажала на нее. Потом Поль обернулся и, моргая, посмотрел на Леонида Андреевича.

— Странно, — сказал он. — Может, вы взглянете? У того берега...

Леонид Андреевич подтянул перископ к себе. Он ничего не ожидал увидеть: это было бы слишком просто. И он ничего не увидел. Озерная гладь, далекий, заросший травою берег, зубчатая кромка леса на фоне серого неба.

— А что вы там увидели? — спросил он, вглядываясь.

— Там была белая точка, — сказал Поль. — Мне показалось, что там, в воде, человек... Глупо, конечно.

Темная вода, кромка леса, серое небо.

— Будем считать, что это была русалка, — сказал Леонид Андреевич и отодвинулся от перископа.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Когда Атос проснулся, Нава еще спала. Она лежала на животе в углублении между двумя корнями, уткнувшись лицом в сгиб левой руки, а правую откинув в сторону, и Атос увидел в ее грязном полураскрытом кулаке тонкий металлический предмет. Сначала он не понял, что это такое, и только вдруг вспомнил странный полусон этой ночи, и свой страх, и свое облегчение оттого, что не произошло чего-то ужасного. А потом он вспомнил, что это за предмет, и даже название его вдруг всплыло в памяти. Это был скальпель. Он подождал немного, проверяя соответствие формы предмета и звучания этого слова, сознавая вторым планом, что проверять здесь нечего, что все правильно, но совершенно невозможно, потому что скальпель, со своей формой и названием своим, чудовищно не соответствовал этому миру. Он разбудил Наву.

Девочка проснулась, сейчас же села и заговорила:

— Какое сухое место, никогда в жизни не думала, что бывают такие сухие места, и как здесь только трава растет, а, Молчун?.. — Она замолчала и поднесла к глазам кулак со скальпелем. Секунду она глядела на скальпель, потом взвизгнула, отбросила его и вскочила на ноги. Скальпель вонзился в траву и встал торчком. Они смотрели на него, и обоим было страшно. — Что это такое, Молчун? — сказала наконец Нава шепотом. — Какая страшная вещь... Или это растение? Здесь все такое сухое, может быть, это растение?

— Почему — страшная? — спросил Атос.

— Еще бы не страшная, — сказала Нава. — Ты возьми его в руки... Попробуй, попробуй, возьми, тогда и будешь знать, почему страшная. Я сама не знаю, почему страшная...

Атос взял скальпель. Скальпель был еще теплый, а острый кончик его холодил, и осторожно ведя по скальпелю пальцем, можно было найти то место, где он перестает быть теплым и становится холодным.

— Где ты его взяла? — спросил Атос.

— Нигде я его не брала, — сказала Нава. — Он, наверное, сам залез ко мне в руку, пока я спала. Видишь, какой он холодный. Он, наверное, захотел согреться и залез мне в руку. Я никогда не видела таких... таких... я даже не знаю, как это назвать. Может быть, у него есть ножки, только он их спрятал? Какой он твердый... А может быть, мы еще спим с тобой, Молчун? — Она вдруг запнулась и посмотрела на Атоса. — А мы в деревне сегодня

ночью были? Ведь были... Там еще был человек без лица, который думал, что я мальчик... И мы искали, где поспать... Да, а потом я проснулась, тебя не было, и я стала шарить рукой... Вот где он залез мне в кулак! — сказала она. — Только вот что удивительно, Молчун. Я совсем тогда его не боялась, даже наоборот... Он мне был для чего-то нужен...

— Все это был сон, — решительно сказал Атос. У него мурашки бежали по затылку. — Забудь, это был сон. Поищи лучше какой-нибудь еды. А эту штуку я закопаю.

— Для чего-то он мне был нужен... — повторила Нава. — Что-то я должна была сделать... — Она помотала головой. — Я не люблю таких снов, — сказала она. — Ничего не вспомнить. Ты поглубже его закопай, а то он выберется и снова заползет в деревню и кого-нибудь напугает... Ну, ты закапывай, а я пойду искать. — Она потянула носом воздух. — Где-то поблизости есть ягоды. Удивительно, откуда в таком сухом месте ягоды?

Она легко и бесшумно побежала по траве. А Атос остался сидеть, держа на ладони скальпель. Он не стал его закапывать. Он обмотал лезвие пучком травы и сунул скальпель за пазуху. Теперь он вспомнил все. Но так и не мог понять, что было сном, а что было на самом деле.

Нава скоро вернулась и выгребла из-за пазухи целую груду ягод и несколько больших грибов.

— Там есть тропа, Молчун, — сказала она. — Давай мы с тобой не будем возвращаться в ту деревню, а пойдем по тропе. Обязательно куда-нибудь придем. Спросим там дорогу до Новой деревни, и все будет хорошо. А в эту деревню давай мы не будем возвращаться. Мне там сразу не понравилось. Правильно, что мы оттуда ушли. Нам туда и приходить не надо было, тебе же воры кричали, что не ходи, пропадешь, да ты никогда никого не слушаешься, вот мы из-за тебя чуть в беду и не попали... Что же ты не ешь? Грибы сытные, ягоды вкусные, я теперь вспоминаю, мама мне всегда говорила, что самые хорошие грибы растут там, где сухо, но тогда я не понимала, что это такое — сухо. Мама говорила, что раньше много где было сухо, поэтому она понимала, а я вот не понимала...

Атос попробовал гриб и съел его. Грибы действительно были хороши. И ягоды были хороши, и он почувствовал себя бодрее. В деревню возвращаться ему тоже не хотелось. Он попытался представить себе местность, как объяснял и рисовал ему прутиком на земле Колченог, и вспомнил, что Колченог говорил о дороге в Город, которая должна проходить где-то в этих местах. Очень хорошая дорога, говорил Колченог с сожалением, самая прямая дорога до Города, только не добраться до нее через болото-то, да и неизвестно, есть она сейчас или нет ее... Возможно,

Навина тропа и была этой дорогой. Рискнуть стоило. Но сначала нужно было все-таки вернуться.

— Придется все-таки вернуться, Нава, — сказал он, когда они поели.

— Куда, в ту деревню? — Нава расстроилась. — Ну зачем ты это говоришь, Молчун? Чего мы в той деревне еще не видели? Вот за что я тебя не люблю, Молчун, так это что с тобой никак не договоришься по-человечески... Только что ведь решили, что больше возвращаться в ту деревню не станем, а теперь ты опять заводишь разговор, чтобы вернуться...

— Придется вернуться, — повторил он. — Мне самому не хочется, Нава, но надо туда сходить. Может быть, нам объяснят там, как отсюда побыстрее попасть в Город... Ты не сердись, Нава, ведь мне самому не хочется...

— А раз не хочется, так зачем ходить?

Он не хотел и не мог объяснить ей — зачем. Он поднялся и, не оглядываясь, пошел в ту сторону, где должна была быть деревня. Нава догнала его и пошла рядом. Некоторое время она даже молчала, но в конце концов не выдержала.

— Только я с этими людьми разговаривать не буду, — заявила она. — Ты теперь с ними сам разговаривай. Сам туда идешь, сам и разговаривай. А я не люблю иметь дело с человеком, если у него даже лица нет. От такого человека хорошего не жди. Мальчика от девочки отличить не может... У меня вот с утра голова болит. И я знаю, почему...

Они вышли на деревню неожиданно. Видимо, Атос взял слишком влево, и деревня открылась между деревьями справа от них. Все здесь изменилось, но Атос не сразу понял, в чем дело. Потом понял: деревня тонула. Треугольная поляна была залита черной водой, и вода прибывала на глазах, затопляя дома. Поляна вместе с деревней погружалась на дно озера. Атос беспомощно стоял и смотрел, как исчезают под водой окна, как оседают и разваливаются размокшие стены, как проваливаются крыши. И никто не выбегал из домов, никто не пытался добраться до берега, ни один человек не показался на поверхности воды. Пожалуй, самой удивительной характеристикой топографии Пандоры является необычайно быстрое перемещение фронта озер и болот... Перемещение фронта... На всех фронтах... Борьба... Скальпель... Но Валентин был мертв. Он был мертв уже по крайней мере две недели... Плавно прогнувшись, бесшумно канула в воду крыша плоского строения. Над черной водой пронесся словно легкий вздох, по спокойной поверхности побежала рябь. Все кончилось. Перед Атосом было обычное треугольное озеро.

— Все, — сказал Атос.

— Да, — сказала Нава. У нее был такой спокойный голос, что Атос невольно взглянул на нее. Она и в самом деле была совершенно спокойна. Даже, кажется, довольна. — Это называется Одержание, — сказала она. — Теперь здесь всегда будет озеро, а те, кто в домах, станут жить в этом озере. Вот почему у них не было лица, а я сразу и не поняла. Кто не хочет жить в озере, тот уходит. Я бы, например, ушла, но когда-нибудь все равно всем придется жить в озере. Может быть, это даже хорошо. Никто не рассказывал... Пойдем, — сказала она. — Пойдем на тропу.

*** * ***

Вначале тропа шла по удобным сухим местам, но спустя некоторое время она круто спустилась со склона холма и стала топкой полоской черной грязи. Чистый лес кончился, справа и слева опять потянулись болота, сделалось сыро и душно. Нава чувствовала себя здесь гораздо лучше. Она непрерывно говорила, и Атос понемногу успокаивался. В голове снова привычно зашумело, он двигался, словно в полусне, отдавшись случайным бессвязным мыслям, скорее даже не мыслям, а представлениям. В деревне все уже давно встали. Колченог ковыляет по главной улице и говорит всем встречным, что ушел Молчун и Наву с собой забрал, в Город, наверное, ушел, а Города никакого и нет. А может, и не в Город, может, в Тростники ушел, в Тростниках хорошо рыбу подманивать, сунул пальцы в воду, пошевелил, и вот она, рыба. Да только зачем ему рыба, если подумать, не ест Молчун рыбу, дурак, хотя, может, решил для Навы рыбу поймать, Нава рыбу ест, вот он ее и будет кормить рыбой, но только зачем он тогда все время про Город спрашивал? Нет, не в Тростники он пошел, и нужно ожидать, что не скоро вернется... А навстречу ему по главной улице идет Кулак и говорит всем встречным, что вот Молчун все ходил, уговаривал, пойдем, говорил, Кулак, в Город, послезавтра пойдем, целый год звал послезавтра в Город идти, а когда я еды наготовил невпроворот, что старуха ругается, тогда он без меня и без еды ушел... А ведь один уходил-уходил вот так без еды, дали ему в лоб, больше не уходит, и с едой не уходит, и без еды не уходит, так ему дали... А Хвост стоит рядом с завтракающим у него дома стариком и говорит ему: опять ты ешь и опять ты чужое ешь, ты не думай, мне не жалко, я только удивляюсь, как это в одного такого тощего старика столько горшков еды помещается, ты ешь, но ты мне скажи, может быть, ты все-таки не один у нас тут в деревне,

может быть, вас трое или хотя бы двое, ведь на тебя смотреть опасно, как ты ешь, наешься, а потом говоришь, что нельзя...

Нава шла рядом, держась обеими руками за его руку, и рассказывала:

— Потом жил у нас в деревне один мужчина, которого звали Обида-Мученик. Ты его не помнишь, ты тогда без памяти был. А этот Обида-Мученик всегда на все обижался и спрашивал: почему? Почему днем светло, а ночью темно. Почему мертвяки женщин угоняют, а мужчин не угоняют. У него мертвяки двух жен украли, одну за другой. Первую еще до меня, а вторую уже при мне, так он все ходил и спрашивал, почему, спрашивал, они его не украли, а украли его жену. Нарочно целыми днями и ночами по лесу бродил, чтобы его тоже угнали и он бы своих жен нашел, но его так и не угнали, потому что мертвякам мужчины ни к чему, им женщины нужны, так уж у них заведено, и из-за какого-то Обиды-Мученика они порядков своих менять не стали... Еще спрашивал, почему нужно на поле работать, когда в лесу и без того еды вдоволь, поливай бродилом и ешь, староста ему говорит: не хочешь — не работай, никто тебя не принуждает, а тот все твердит, почему да почему... Или к Кулаку пристал. Почему, говорит, Верхняя деревня грибами заросла, а наша никак не зарастает? Кулак ему сначала спокойно объясняет: у верхних Одержание произошло, а у нас еще нет, и весь вопрос. А тот спрашивает, а почему у нас Одержание не происходит так долго? Измотал он Кулака, закричал Кулак громко, на всю деревню, и побежал к старосте жаловаться, староста тоже рассердился, собрал деревню, и погнались они за Обидой-Мучеником, чтобы его наказать, да так и не поймали. К старику он тоже приставал много раз, старик даже к нему есть перестал ходить, а потом не выдержал и сказал: отстань ты, говорит, от меня, у меня из-за тебя пища в рот не лезет, откуда я знаю — почему? Город знает, почему. И все. Пошел Обида-Мученик в Город, да так больше и не возвращался...

Медленно проплывали справа и слева желто-зеленые пятна, глухо фукали созревшие дурман-грибы, разбрасывая веером рыжие фонтаны спор; с воем налетала заблудившаяся лесная оса, старалась ударить в глаз, и приходилось сотню шагов бежать, чтобы отвязаться; шумно и деловито мастерили свои постройки разноцветные подводные пауки, цепляясь за лианы; деревья-прыгуны приседали и корчились, готовясь к прыжку, но, почувствовав людей, замирали, притворяясь обыкновенными деревьями; и не на чем было остановить взгляд, нечего было запоминать. И не над чем было думать, потому что думать о Карле и Валентине, о прошлой ночи и потонувшей деревне означало бредить.

— Этот Обида-Мученик был добрый человек, это они с Колченогом

нашли тебя за Тростниками, пошли в Муравейники, да как-то их занесло в Тростники, и нашли они там тебя и притащили, вернее, тащил тебя Обида-Мученик, а Колченог только сзади шел да подбирал все, что из тебя вываливалось... Много он чего подобрал, а потом рассказывал, страшно ему стало, он все и выбросил. Такое, рассказывал, у нас никогда не росло и расти не может. А потом Обида-Мученик одежду твою с тебя снял, очень на тебе была странная одежда, никто не мог понять, где такое растет, так он эту одежду разрезал и рассадил, думал — вырастет. Но ничего не выросло, не взошло даже, и опять он стал ходить по деревне и спрашивать, почему если любую одежду взять, разрезать и рассадить, то она вырастет, а твоя, Молчун, даже не взошла. К тебе он много приставал, но ты тогда без памяти был и только бормотал что-то и рукой заслонялся... Так он от тебя и отстал ни с чем. А потом еще многие за Тростники ходили: и Кулак, и Хвост, и сам староста ходил, надеялись еще одного такого найти. Нет, не нашли. Тогда меня к тебе и приставили. Выхаживай, говорят, выходишь — будет тебе муж, а что он чужой — так ты тоже вроде чужая. А я как в эту деревню попала? Захватили нас с матерью мертвяки. А ночь была без луны...

Местность опять стала повышаться, но сырости не убавилось, хотя лес и стал чище. Уже не видно было коряг, гнилых сучьев, завалов гниющих лиан. Пропала зелень, все вокруг сделалось желтым. Деревья стали стройнее, и болото стало какое-то необычное — чистое, без мха и без грязевых куч. Трава на обочинах стала мягче и сочнее, травинка к травинке, как будто их подбирали.

Нава остановилась на полуслове, потянула носом воздух и деловито сказала, оглядываясь:

— Куда бы здесь спрятаться?

— Кто-нибудь идет? — спросил Атос.

— Кого-то много, и я не знаю, кто это. Это не мертвяки, но лучше бы все-таки спрятаться... Можно, конечно, и не прятаться, все равно они уже близко, а спрятаться здесь негде. Давай на обочину встанем и посмотрим... — Она еще раз потянула носом. — Скверный какой-то запах, не то чтобы опасный, а лучше бы его не было... А ты, Молчун, неужели ничего не чуешь? Ведь так разит, будто от перепрелого бродила — горшок у тебя перед носом стоит, а в нем перепрелое бродило... Вон они! Э-э, маленькие, не страшно, ты их сейчас прогонишь... Гу-гу-гу!

— Помолчи, — сказал Атос, всматриваясь.

Сначала ему показалось, что им навстречу по тропинке ползут белые черепахи. Потом он понял, что таких животных он еще не видел. Они были

похожи на огромных непрозрачных амеб или на очень молодых древесных слизней, только у слизней не было ложноножек и слизни были все-таки побольше. Их было много, они ползли гуськом друг за дружкой, довольно быстро, ловко выбрасывая вперед ложноножки и переливаясь в них. Скоро они оказались совсем близко, и Атос тоже почувствовал резкий незнакомый запах и отступил с тропы на обочину, потянув за собой Наву. Слизни-амебы один за другим проползали мимо них, не обращая на них никакого внимания. Их оказалось всего двенадцать, и последнего, двенадцатого, Нава пнула пяткой. Слизень проворно поджал зад и задвигался быстрее. Нава пришла в восторг и кинулась было догнать и пнуть еще раз, но Атос ее удержал.

— Какие они потешные, — сказала Нава, — и как они ползут, будто люди идут по тропинке... И куда же это они интересно идут? Наверное, Молчун, они в ту деревню идут, они, наверное, оттуда, а теперь возвращаются и не знают, что в деревне уже Одержание произошло... Покрутятся возле воды и обратно пойдут. Куда же они, бедные, пойдут? Может, другую деревню искать? Эй! — закричала она. — Не ходите! Нет уже вашей деревни, одно озеро там!

— Помолчи! — сказал Атос. — Пойдем. Не понимают они твоего языка, не кричи зря.

Они пошли дальше. После слизняков тропинка казалась немножко скользкой. Атос поймал себя на том, что мысленно перебирает известных ему диких обитателей леса. Тахорги, псевдоцефалы, подобрахии, орнитозавры Циммера, орнитозавры Максвелла, трахеодонты... это только самые крупные, тяжелее пяти центнеров... рукоеды, волосатики, живохваты, кровососки, болотные прыгуны... Почти каждый выход в лес означал встречу с каким-нибудь новым животным — не только для чужака, но и для местного жителя. То же самое относилось и к растениям. И никого это не удивляло. Новые растения приносили из леса, новые растения совершенно неожиданно вырастали на поле — иногда из семян старых. Это было в самой природе, и никто не искал этому объяснений. Возможно, новые животные тоже рождались от старых, давно известных. А может быть, они были стадиями метаморфоза — личинками, куколками, яйцами... Эти слизни-амебы, например, наверняка какие-нибудь зародыши...

— Скоро будет озеро, — сказала Нава. — Пойдем скорее, я хочу пить и есть. Может быть, ты рыбы для меня приманишь...

Они пошли быстрее. Начались тростники. Тропа вдруг раздвоилась, одна, по-видимому, шла к озеру, а другая круто свернула куда-то в сторону. Они оставили ее слева, — Нава заявила, что эта тропа ведет вверх. Тропа

становилась все уже, потом превратилась в рытвину и заглохла в зарослях тростника. Нава остановилась.

— Знаешь, Молчун, — сказала она, — а может, мы не пойдем к этому озеру? Мне это озеро что-то не нравится. Что-то там не так. По-моему, это даже не озеро, чего-то там еще много, кроме воды.

— Но вода там есть? — спросил Атос. — Я пить хочу.

— Вода есть, — неохотно сказала Нава. — Но теплая. Плохая вода. Нечистая. Знаешь что, Молчун, ты здесь постой, а то больно шумно ты ходишь, ничего из-за тебя не слыхать, ты постой и подожди меня, а я тебя позову, крикну прыгуном. Знаешь, как прыгун кричит? Вот я прыгуном и крикну. А ты здесь постой или лучше даже посиди...

Она нырнула в тростники и исчезла... И тогда Атос обратил внимание на странную тишину, царившую здесь. Не было ни звона насекомых, ни бульканья и вздохов болота, ни криков лесного зверья. Сырой горячий воздух был неподвижен. Атос сел на траву, вырвал несколько травинок, растер между пальцами и неожиданно увидел, что земля здесь должна быть съедобна. Он выдрал пучок травы с землей и стал есть. Дерн хорошо утолял голод и жажду. Он был прохладен и солоноват на вкус. Потом из тростника бесшумно вынырнула Нава. Она присела рядом на корточки и тоже стала есть, быстро и аккуратно. Глаза у нее были круглые.

— Это хорошо, что мы здесь поели, — сказала она наконец. — Хочешь посмотреть, что это за озеро? А то я хочу посмотреть еще раз, но мне одной страшно. Это то самое озеро, про которое Колченог всегда рассказывает, только я думала, что он выдумывает или ему привиделось, а это, оказывается, правда, хотя, может быть, мне тоже привиделось...

— Пойдем, посмотрим, — сказал Атос.

Озеро оказалось шагах в двустах. Атос и Нава по пояс в воде спустились по топкому дну и раздвинули тростники. Над водой толстым двухметровым слоем лежал белый туман. Вода была теплая, даже горячая, но чистая и прозрачная. Туман медленно колыхался в правильном ритме, и через минуту Атосу стало казаться, что он слышит какую-то мелодию. В тумане кто-то был. Люди. Много людей. Все они были голые и совершенно неподвижно лежали на воде. Туман ритмично поднимался и опускался, то открывая, то застилая изжелта-белые тела, запрокинутые лица — люди не плавали, люди лежали на воде. Атоса передернуло. «Пойдем отсюда», — проговорил он и потянул Наву за руку. Они выбрались на берег и вернулись на тропу.

— Никакие это не утопленники, — сказала Нава. — Колченог ничего не понял. Просто они здесь купались, а тут ударил горячий источник, и все

они сварились. Очень это страшно, Молчун, — сказала она, помолчав. — Мне даже говорить об этом не хочется. А как их там много, целая деревня...

Они дошли до того места, где тропа раздваивалась, и остановились.

— Пойдем вверх? — спросила Нава.

— Да, — сказал Атос. — Вверх.

Они свернули направо и стали подниматься по склону.

— И все они женщины, — сказала Нава. — Ты заметил?

— Да, — сказал Атос.

— Вот это самое страшное. Вот это я никак не могу понять. А может быть... — Она посмотрела на Атоса. — А может быть, их мертвяки туда загоняют? Наловят по всем деревням, пригонят к озеру и варят... Зачем мы только из деревни ушли? Сидели бы в деревне, ничего бы этого не видели, жили бы спокойно, так нет, тебе вот понадобилось в Город идти... Ну зачем тебе понадобилось в Город идти?

— Не знаю, — сказал Атос.

Они лежали в кустах на самой опушке и глядели сквозь листву на вершину холма. Холм был пологий и голый, а на вершине его шапкой лежало облако лилового тумана. Над холмом было открытое небо, дул порывистый ветер и гнал серые тучи, моросил дождь. Лиловый туман стоял неподвижно, словно никакого ветра не было. Было довольно прохладно, даже свежо, они ежились от озноба и стучали зубами, но уйти они уже не могли: в двадцати шагах от них, прямые, как статуи, с широко раскрытыми ртами стояли три мертвяка и тоже смотрели на вершину холма пустыми глазами. Эти мертвяки подошли пять минут назад и остановились. Нава почуяла их и рванулась было бежать, но Атос зажал ей рот рукой и вдавил ее в землю. Теперь она немного успокоилась, только дрожала крупной дрожью. Но уже не от страха, а от холода, и снова смотрела не на мертвяков, а на холм.

На холме происходило что-то странное. Из леса с густым басовым гулом вырывались невообразимые стаи мух, устремлялись к вершине и скрывались в тумане. Это происходило волнами. Мириады мух, гигантские рои ос и пчел, тучи разноцветных жуков уверенно неслись под дождем к холму. Склоны холма оживали колоннами муравьев и пауков, из кустарников выливались сотни слизней-амеб. Поднимался шум, как от бури. Все это поднималось к вершине, всасывалось в лиловое облако, и вдруг наступала тишина. Проходило какое-то время, снова поднимался шум и гул, и все это вновь извергалось из тумана и устремлялось в лес. Только слизни оставались на вершине, зато вместо них по склонам ссыпались

самые разнообразные животные: катились волосатики, ковыляли на ломких ногах неуклюжие рукоеды и еще какие-то неизвестные, никогда не виданные, многоцветные, голые, блестящие, многоглазые... И снова наступала тишина, и снова все повторялось сначала. Однажды из тумана вылез молодой тахорг, несколько раз выбегали мертвяки и сразу кидались в лес, оставляя за собою белесые полосы исчезающего пара. Лиловое неподвижное облако глотало и выплевывало, глотало и выплевывало неустанно и регулярно, как машина.

Колченог говорил, что Город стоит на холме. Может быть, это был Город. Но в чем его смысл? В чем цель этой странной деятельности? Чего-нибудь в этом роде можно было ожидать. Но где хозяева? Атос посмотрел на мертвяков. Те стояли в прежних позах, и рты их были все так же раскрыты. Может быть, я ошибаюсь, подумал Атос. Может быть, они и есть хозяева. Я совсем разучился думать здесь. Если у меня иногда и появляются мысли, оказывается, что я совершенно не способен их связать. Почему из тумана не вышел еще ни один слизень? Нет, не то. Надо по порядку. Я ищу источник разумной деятельности. Это, в общем, неверно. Меня совсем не интересует разумная деятельность. Я просто ищу кого-нибудь, кто помог бы мне вернуться домой. Кто помог бы мне преодолеть две тысячи километров леса. Или хотя бы сказать, в какую сторону идти. У мертвяков должны быть хозяева, я ищу этих хозяев, я ищу источник разумной деятельности. Он немного приободрился. Получалось вполне связно. Начнем с самого начала. У мертвяков должны быть хозяева, потому что мертвяки — это не люди, потому что мертвяки — это не животные. Следовательно, мертвяки сделаны. Если они не люди. А почему они не люди? Он потер лоб. Я же уже решал этот вопрос. Давно. В деревне. Я его два раза решал, потому что в первый раз я забыл решение, а сейчас я забыл доказательство... Он затряс головой изо всех сил, и Нава тихонько зашипела на него. Он затих и некоторое время полежал неподвижно, уткнувшись лицом в мокрую траву. Почему они не животные — я тоже уже доказал когда-то... Высокая температура... Нет, вздор... Он вдруг с ужасом ощутил, что забыл даже, как выглядят мертвяки. Он помнил только их раскаленное тело и резкую боль в ладонях. Он повернул голову и посмотрел на мертвяков. Да. Думать мне нельзя. Пора поесть; ты мне это уже рассказывала, Нава; послезавтра мы уходим — вот и все, что мне можно. Но я же ушел! И я здесь, у Города! Я пойду в Город. Что бы это ни было — Город. У меня весь мозг зарос лесом. Я ничего не понимаю. Вспомнил. Я шел в Город, чтобы мне объяснили про все: про Одержание, мертвяков, Великое Разрыхление Земли, озера с утопленниками... Оказывается, что все

это обман, чепуха. Я надеялся, что мне в Городе объяснят, как добраться до своих. Не может же быть, чтобы они не знали о нашей Базе. Колченог все время болтает о Чертовых Скалах и о летающих деревнях... Но разве может лиловое облако что-нибудь объяснить? Это было бы страшно, если бы хозяином оказалось лиловое облако. А ведь это напрашивается, Молчун. Лиловый туман здесь везде хозяин, разве я не помню? И не туман это вовсе... Так вот в чем дело, вот почему люди загнаны, как звери, в чащи, в болота, утоплены в озерах, они были слишком слабы, они не поняли, а если и поняли, то ничего не смогли сделать, чтобы помешать... Когда я был еще землянином и не был загнан, кто-то как-то доказывал очень убедительно, что контакт между гуманоидным разумом и негуманоидным невозможен. Да, он невозможен. И никто мне не скажет теперь, как добраться до своих... Мой контакт с землянами тоже невозможен, и я могу это доказать. Я еще могу увидеть Солнце, если ночью заберусь на дерево и если это будет подходящий сезон. И подходящее дерево. Нормальное земное дерево. Которое не прыгает. И не отталкивает. И не старается уколоть в глаз. Но нет такого дерева, с которого я мог бы увидеть Базу... Базу... Ба-зу. Он забыл, что такое База.

Лес снова загудел, зажужжал, зафыркал, снова к лиловому куполу ринулись полчища мух и муравьев. Одна туча прошла над их головами и их засыпало дохлыми и слабыми, помятыми в тесноте роя. Атос ощутил неприятное жжение в руке и поглядел. Локоть его, упертый в рыхлую землю, оплели нежные нити грибницы. Атос равнодушно растер их ладонью. Потом сбоку раздался знакомый храп. Атос повернул голову. Сразу из-за семи деревьев на холм тупо глядел матерый тахорг. Один из мертвяков ожил, вывернулся и сделал несколько шагов навстречу тахоргу. Снова раздался храп, треснули деревья, и тахорг удалился. Мертвяков даже тахорги боятся, подумал Атос. Кто же их не боится?.. Мухи ревут. Глупо. Мухи — ревут. Осы ревут...

— Мама... — прошептала вдруг Нава. — Мама идет...

Она стояла на четвереньках и глядела через плечо. Лицо ее выражало огромное изумление и недоверие. Атос посмотрел. Из леса вышли три женщины и, не замечая мертвяков, направились к холму.

— Мама! — завизжала Нава не своим голосом, перепрыгнула через Атоса и понеслась им наперерез.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Трое мертвяков, подумал Атос. Трое... Хватило бы и одного. Он с трудом поднялся на ноги. Тут мне и конец, подумал он. Глупо. Зачем они сюда приперлись? Мертвяки закрыли рты, головы их поворачивались вслед за бегущей Навой. Потом они разом шагнули вперед, и Атос побежал.

— Назад! — закричал он. — Уходите! Здесь мертвяки!

Мертвяки были огромные, плечистые, новенькие, без единой царапины. Невероятно длинные их руки касались травы. Не спуская с них глаз, Атос встал у них на дороге. Мертвяки смотрели поверх его головы и с уверенной неторопливостью надвигались на него, а он пятился, отступал, оттягивая неизбежное начало и неизбежный конец, борясь с нервной тошнотой и никак не решаясь остановиться. Нава за его спиной кричала: «Мама! Это я! Мама!» Глупые бабы, почему они не бегут? Обмерли от страха? Остановись! Остановись же! — говорил он себе. Сколько можно пятиться? Он не мог остановиться, и презирал себя за это, и продолжал пятиться.

Остановились мертвяки. Сразу, как по команде. Тот, что шел впереди, застыл с поднятой ногой, а потом медленно, словно в нерешительности, опустил ее в траву. Рты их снова вяло раскрылись, и головы повернулись к вершине холма. Атос, все еще пятясь, оглянулся. Нава висела на шее у одной из женщин, та улыбалась и гладила ее по спине. Остальные две спокойно стояли рядом и негромко переговаривались, одна расчесывала волосы. Атос остановился и поглядел на мертвяков. Мертвяки в полной неподвижности смотрели на вершину холма. Атос повернулся к женщинам. Женщины не обращали внимания ни на него, ни на мертвяков. Они переговаривались о чем-то низкими голосами, похлопывали Наву и ерошили ей волосы, улыбались и больше всего, видимо, были озабочены приведением в порядок своих мокрых блестящих волос. Словно после купания, машинально отметил Атос.

Шагая, как во сне, он приблизился к ним.

— Бегите, — сказал он, уже чувствуя, что говорит бессмыслицу. — Что вы стоите? Бегите, пока не поздно...

Женщины обратили, наконец, внимание и на него. Они были рослые, здоровые, непривычно чистые, словно вымытые, они и были вымытые, волосы у них были мокрые, и желтая одежда приставала к телу. Одна женщина была беременна, другая — совсем еще молоденькая, с розовым

детским лицом и гладкой, без единой морщинки, шеей. Мать Навы была ниже всех ростом и, по-видимому, самая старшая из них. Нава обнимала ее за талию и прижималась лицом к ее животу.

— Почему вы не бежите? — упавшим голосом спросил Атос.

— Это человек с Белых Скал, — сказала мать Навы, рассматривая его внимательно, но без всякого интереса. — Они теперь попадаются все чаще. Как они оттуда спускаются?

— Труднее понять, как они туда поднимаются, — возразила беременная женщина. Она взглянула на Атоса только мельком. — Как они спускаются, я видела. Они падают. Некоторые убиваются, некоторые остаются в живых. Сейчас начнется выход, — сказала она, обращаясь к девушке. — Сбегай наверх, мы подождем тебя.

Девушка кивнула и легко побежала вверх по склону. Атос смотрел, как она добежала до вершины и, не останавливаясь, нырнула в лиловый туман.

— Ты хочешь есть? — спросила мать Навы Атоса. — Вы всегда хотите есть и едите слишком много, совершенно непонятно, зачем вам столько еды, вы ведь ничего не делаете... Или, может быть, ты что-нибудь делаешь? Некоторые твои приятели умеют работать и даже могут быть полезны для Одержания, хотя они совершенно не знают, что такое Одержание, между тем грудной младенец знает, что Одержание есть не что иное, как Великое Разрыхление Почвы...

— Ты всегда делаешь одну и ту же ошибку, — мягко прервала ее беременная женщина. — Влияние этой толстой желтой дуры сказывается на тебе до сих пор. Великое Разрыхление Почвы есть не цель, а всего лишь средство для Одержания Победы над врагом...

— Но что есть Победа над врагом? — слегка повысив голос, сказала мать Навы. — Победа над врагом есть победа над силами, которые лежат вне нас. А что значит «вне нас»? Вне нас — это не только вне меня и не только вне тебя, это вне нас всех, это вне Запада и вне Востока, ибо Запад — это тоже мы... Одержание — это не Одержание над Западом, но Одержание над тем, что есть вне Запада и вне Востока...

Атос слушал, стискивая челюсти. Все это не было бредом, как он сначала надеялся. Это было что-то обычное, просто незнакомое еще, но мало ли незнакомого в лесу? К этому надо было привыкнуть, как к съедобной земле, к повадкам мертвяков и ко всему прочему.

Беременная женщина поморщилась и, повернув голову, небрежно протянула руку к мертвякам. Один из них тотчас сорвался с места, подбежал, скользя ногами по траве от торопливости, упал на колени и вдруг как-то странно расплылся и изогнулся. Атос потряс головой.

Мертвяка больше не было. Было удобное на вид, уютное кресло. Беременная женщина, облегченно кряхтя, опустилась на мягкое сидение и откинула голову на мягкую спинку.

— Видишь ли, подруга, — сказала она, — я могу ответить тебе только одно. Твои слова — это вольное и бездоказательное толкование разговоров нового времени, эти разговоры не представляют ничего нового, они начались задолго до того, как ты появилась среди нас. Поверь мне, Одержание состоит в победоносной борьбе с Западным лесом и с теми, кто этот лес ведет на нас, это знают даже мужчины. Вот он, например. Послушай, человек с Белых Скал, в чем состоит Одержание?

Атос смотрел на нее. Странная догадка появилась у него в голове. Он старался не формулировать ее точно, потому что боялся, что собьется и потеряет нить. Потом, подумал он. Потом.

— Что же ты молчишь? — спросила беременная женщина нетерпеливо.

— Оставь его, подруга, — сказала мать Навы. — Что ты хочешь от мужчины, да еще с Белых Скал? Что бы он ни сказал, это не решит нашего спора. Кого может интересовать, что он думает об Одержании? Да он и не думает о нем вовсе. Он думает о еде, о своих грязных женщинах, о своем грязном жилище. И, возможно, о мертвых вещах, которые он оставил на своих Белых Скалах. Он — ошибка, одна из многих ошибок леса, и Одержание в том и состоит, чтобы эти ошибки исправить, все равно, на Западе они или на Востоке, копошатся в грязных деревушках или мерзнут на Белых Скалах.

— Ошибки надо не только исправлять, — сказала беременная женщина. — Ошибки надо использовать. У нас не должно быть ошибок, ошибки должны быть у них...

Атос заметил, что Нава несколько раз порывалась заговорить, но каждый раз рука матери опускалась ей на голову, и она замолкала, еще крепче прижимаясь и обнимая мать.

— Кто вы такие? — спросил Атос.

Женщины с недоумением взглянули на него, как будто вспомнили, что он стоит рядом, затем рассмеялись.

— Он что-то спросил? — сказала беременная женщина.

— По-моему, он хочет знать, кто мы такие, — сказала мать Навы. — Интересно, зачем это ему?

— Нам просто послышалось, — сказала беременная женщина. — Но ты подняла интересный вопрос. Эти люди с Белых Скал все время набивают себе головы бесполезными знаниями, я полагаю, это проистекает

из их бесстыдного и противоестественного увлечения мертвой природой. Одно время я даже думала, что они сами мертвые, такие же мертвые, как их дурацкие летающие дома, их одежда и масса вещей из блестящего камня, которые они всюду таскают с собой. Это не так. Вчерашнее испытание, например, показало, что они кричат от боли в тех же случаях, что и любой мужчина... А, у меня есть идея! — сказала вдруг беременная женщина и задумалась.

Мать Навы рассеянно смотрела на вершину холма, поглаживая Наву по растрепанным волосам. Из лиловой тучи на четвереньках выползали мертвяки. Они двигались неуверенно, то и дело валились, тычась головами в землю. Девушка ходила между ними, наклонялась, трогала их, подталкивала, и они один за другим поднимались на ноги, выпрямлялись и сначала неуверенно, а потом все тверже и тверже шагая, уходили в лес. Хозяева, подумал Атос. Это хозяева. Они ничего не боятся. Мертвяки их слушают. Значит, это они командуют мертвяками. Значит, это они посылают мертвяков за женщинами. Значит, это они... Атос посмотрел на мокрые волосы женщин. И мать Навы, которую угнали мертвяки...

— Где вы купаетесь? — спросил он. — Зачем? Кто вы такие? Чего вы хотите?

Ему не ответили. Девушка спускалась с холма, и женщины смотрели на нее, обменивались замечаниями, которых Атос не понимал. Он разбирал только отдельные слова, как в бреду Слухача. Девушка подошла, волоча за лапу неуклюжего рукоеда.

— Видите, что там делается, — сказала она.

Беременная женщина встала и принялась рассматривать рукоеда. Злобное чудовище, ужас деревенских детей, жалобно пищало, слабо вырывалось и бессильно раскрывало страшные роговые челюсти. Беременная женщина взяла его за нижнюю челюсть и сильным движением вывернула ее. Рукоед всхлипнул и замер, затянув глаза пергаментной пеленой. Женщина говорила что-то: «...потому что не хватает... запомни, девочка... слабые челюсти, глаза открываются не полностью... переносить не может и поэтому бесполезен, а может быть, и вреден, как всякая ошибка... надо чистить, переменить место, а здесь все почистить...» — «...холм... сухость, — говорила девушка. — ...лес останавливается...» — «...вот и подумай над этим, — сказала мать Навы. — И не откладывай. Если ты все поняла, то мы пойдем, а ты работай». Они поговорили еще немного, а потом девушка снова пошла на вершину холма. Женщины, взяв Наву за руки и не обращая на Атоса внимания, направились в лес. Атос пошел следом.

Я зачем-то искал хозяев, думал он. Все дело в том, что я ждал совсем не таких хозяев. Я ничего не понимаю. Я думал, что хозяева совсем другие, и теперь не могу вспомнить, зачем они были мне нужны. Я искал злых, холодных, умных владык леса, они и есть владыки леса, эти бабы, но ведь они просто болтающие обезьяны, они сами не знают, чем они занимаются... И я не знаю, чем они занимаются, и чего они хотят, но если они не знают, чем они занимаются и чего хотят, то как я могу это узнать... Впрочем, мне это и не нужно знать, мне нужно совсем другое... Он сморщился от шума в голове... Что же мне нужно узнать...

Что-то горячее надвинулось со спины. Атос оглянулся и прыгнул в сторону. За ним по пятам шел огромный мертвяк — тяжелый, жаркий, бесшумный, немой. Робот, подумал Атос. Слуга. Я молодец, подумал он. Я это понял. Я забыл, как я до этого дошел, но это неважно, важно, что я понял, сам...

— Молчун! — позвала Нава и обернулась, и увидела мертвяка. — Мама! — завопила она и рванулась вперед, вырывая руки.

Женщины величественно повернули головы. Не было в этом мире ничего такого, ради чего стоило бы оборачиваться быстро. Хозяева, подумал Атос. Мать Навы засмеялась.

— Старые страхи! — сказала она беременной женщине. Та тоже улыбалась, но с некоторым неудовольствием. — Не бойся, девочка, — сказала мать Наве. — Это работник. Посланец. Тебе не нужно их бояться. Бояться вообще никого не нужно: здесь все твое. Работники тоже принадлежат тебе. Завтра ты будешь уже командовать ими, и они будут делать все, что ты прикажешь, и пойдут, куда ты пожелаешь...

— Лес страшен только мужчинам, — сказала беременная женщина. — Потому что в лесу ничто не принадлежит им. Теперь ты стала нашей подругой и лес принадлежит тебе...

— Есть, однако, воры, — сказала мать Навы, обнаруживая готовность уточнять и спорить. — Вероятно, это самая опасная ошибка, но их становится все меньше...

— А я видела воров, — сказала Нава. — Молчун бил их палкой, а потом они гнались за нами, но мы убежали, мы очень быстро бежали, прямо через болото, хорошо, что Колченог показал мне, где тропа, а то нам бы не убежать. Молчун совсем из сил выбился, пока мы бежали, он совсем плохо бегает... Молчун, ты не отставай, ты за нами иди!..

Да, подумал Атос. Иду. Иду за вами. Зачем? Он вдруг понял, что Наву он потерял. И с этим ничего не поделаешь. Нава уходит к хозяевам, а я остаюсь... Остаюсь противником? Почему, собственно, противником? Какое

мне до них дело? Какое-то дело есть... Что-то у них надо узнать... Нет, не то... Да, они держат в осаде деревню, значит, я все-таки их противник... Тогда зачем я иду за ними? Провожаю Наву? И его охватила тоска. Прощай, Нава, подумал он.

Они вышли к развилке тропы, женщины свернули налево. К озеру. К озеру с утопленницами. Они и есть утопленницы.

«Мы идем к озеру, да? — спрашивала Нава. — Вы там купаетесь? Почему вы просто лежите, а не плаваете? Мы думали, что вы все утонули, мы все время думали, что вас топят мертвяки...» Мать что-то ответила ей — Атос не расслышал. Они прошли мимо того места, где Атос ждал Наву и ел землю. Это было очень давно, подумал Атос. Так же почти давно, как База... Он едва шел, если бы по пятам не шел мертвяк, он, наверное, бы отстал. Потом женщины остановились и посмотрели на него. Кругом были тростники, земля под ногами была мокрая и топкая. Нава что-то тарахтела, а женщины задумчиво смотрели на него. Тогда он вспомнил.

— Как мне пройти на Базу? — спросил он. На их лицах изобразилось изумление, и он понял, что говорит по-русски. Он сам удивился: он уже не помнил, когда в последний раз говорил по-русски.

— Как мне пройти к Белым Скалам? — сказал он.

Беременная женщина сказала, усмехаясь:

— К Белым Скалам тебе не пройти. Ты сгинешь по дороге. Даже мы не рискуем пересекать линию боев. Даже приближаться к ней...

— А ведь мы защищены, — добавила мать Навы. — Правда, там не линия боев, конечно, а фронт борьбы за Разрыхление Почвы, но это не меняет дело. Тебе не перейти. Да и зачем тебе переходить? Ты все равно не сможешь подняться на Белые Скалы...

— Тебе не пройти линии боев между Западом и Востоком, — сказала беременная женщина. — Ты утонешь, а если не утонешь, тебя съедят, а если не съедят, то ты сгниешь заживо, а если не сгниешь заживо, то попадешь в переработку и растворишься... Одним словом, тебе не перейти. Но может быть, ты защищен? — В глазах ее появилось что-то похожее на любопытство.

— Не ходи, Молчун, не ходи, — сказала Нава. — Зачем тебе уходить? Оставайся с нами, в Городе! Ты ведь хотел в Город, вот это озеро и есть Город, мне мама сказала, правда, мама?

— Твой Молчун здесь не останется, — сказала мать Навы. — Но и фронт Разрыхления ему тоже не пересечь. Если бы я была на его месте — забавно, подруга, я сейчас попытаюсь представить себя на его месте, на месте мужчины с Белых Скал... Так вот, если бы я была на его месте, я бы

вернулась в деревню, из которой я так легкомысленно ушла, и ждала бы там Одержания, потому что это неизбежно, и очередь его деревни наступит, как прежде наступила очередь многих и многих других деревень, таких же грязных и бессмысленных...

— Я тоже хочу вернуться с ним в деревню, — заявила вдруг Нава. — Мне не нравится, как ты говоришь. Раньше ты так никогда не говорила...

— Ты просто ошибаешься, — спокойно сказала ей мать. — Может быть, и я тоже когда-то ошибалась, хотя я этого и не помню. Даже наверняка ошибалась, пока не стала подругой...

Беременная женщина все смотрела на Атоса.

— Так, может быть, ты защищен? — повторила она.

— Я не понимаю, — сказал Атос.

— Значит, не защищен, — сказала женщина. — Это хорошо. Тебе не надо ходить к Белым Скалам и тебе не надо возвращаться в деревню. Ты останешься здесь...

— Да, с нами, — сказала Нава. — Я так и хотела, и вовсе я не ошибаюсь. Когда я ошибаюсь, я всегда говорю, что ошибаюсь, правда, Молчун?

Мать поймала ее за руку. Атос увидел, как вокруг материной головы быстро сгустилось знакомое лиловое облачко. Глаза ее на мгновение остекленели и закрылись. Потом она сказала:

— Пойдем, Нава, нас уже ждут.

— А Молчун? — спросила Нава.

— Ты же слышала, он останется здесь... В Городе ему совершенно нечего делать.

— Но я хочу, чтобы он был со мной! Как ты не понимаешь, мама, он же мой муж, мне дали его в мужья, и он уже давно мой муж...

Беременная женщина брезгливо скривилась. Мать Навы тоже.

— Не говори так больше, — сказала она. — Это нехорошее слово. Его надо забыть. Впрочем, ты его забудешь... Мужчины подругам совсем не нужны. Они никому не нужны. Они лишние. Они ошибка.

Атос невольно взглянул на беременную женщину. Та перехватила его взгляд и засмеялась.

— Глупец, — сказала она. — Ты даже этого не понимаешь. Боюсь, что я зря трачу на тебя время.

— Пойдем, Нава, — сказала мать. — Он останется здесь. Ну хорошо, ты потом придешь к нему.

Она потащила Наву в тростники. Нава все оборачивалась и кричала:

— Ты не уходи, Молчун! Я скоро вернусь, ты не вздумай без меня

уходить, это будет нехорошо, пусть ты не мой муж, раз здесь так нельзя, но я все равно твоя жена, я тебя выходила, и ты меня теперь жди...

Он смотрел ей вслед, понимая, что больше никогда не увидит ее, а если и увидит, то это будет уже не Нава, кивал, слабо махал рукой и старался улыбаться. Они скрылись из виду, и остались только тростники, потом Нава замолчала, послышался всплеск, и все стихло. Он проглотил комок, застрявший в горле, и спросил:

— Что вы с нею сделаете?

— Тебе этого не понять, — пренебрежительно сказала беременная женщина. — Ты — мужчина, и ты воображаешь, что ты нужен миру, а мир вот уже столько лет великолепно обходится без мужчин... Но оставим это, мне это неинтересно. Итак, ты не защищен. Иначе и не могло быть. Что ты умеешь?

— Я ничего не умею, — вяло сказал Атос.

— Ты умеешь управлять живым?

— Умел когда-то, — сказал Атос.

— Прикажи этому дереву согнуться, — сказала женщина.

Атос посмотрел на дерево и пожал плечами.

— Хорошо, — сказала женщина терпеливо. — Тогда убей это дерево. Тоже не можешь... Вызови воду. (Она сказала что-то другое, но Атос понял ее именно так.) Что же ты можешь? Что ты делал на своих Белых Скалах?

— Я изучал лес, — сказал Атос.

— Ты лжешь, — возразила женщина. — Один человек не может изучать лес, это все равно что считать травинки. Если ты не хочешь говорить правду, то так и скажи...

— Я действительно изучал лес, — сказал Атос. — Я изучал... — Он замялся. — Я изучал самые маленькие существа в лесу. Те, которые не видны простым глазом.

— Ты опять лжешь, — ровным голосом сказала женщина. — Невозможно изучать то, что не видно глазом.

— Возможно, — сказал Атос. — Нужны только... — Он опять замялся. Микроскоп... линзы... приборы... Это не передать. — Если взять каплю воды, — сказал он, — то, имея нужные вещи, можно увидеть в ней тысячи тысяч мелких животных...

— Для этого не нужно никаких вещей, — сказала женщина нетерпеливо. — Вы там впали в распутство с вашими мертвыми вещами на ваших Белых Скалах, вы потеряли умение видеть то, что видит в лесу любой нормальный человек... Постой, ты говоришь о мелких или о мельчайших? Может, ты говоришь о строителях всего?

— Может быть, — сказал Атос. — Я не понимаю тебя. Я говорю о мелких животных, которые служат причинами болезней, которые могут лечить, помогают готовить пищу и делать вещи... Я искал, как они устроены здесь, на этой земле.

— Ты так давно ушел с этой земли, что уже забыл... — саркастически сказала женщина. — Впрочем, ладно, я поняла, чем ты занимаешься. И я поняла, что ты не имеешь над строителями никакой власти... Любой деревенский дурак может больше, чем ты. Что же мне с тобой делать? Что же мне с тобой делать, раз уж ты пришел сюда?

— Я пойду, — сказал Атос устало. — Прощай.

— Нет, погоди, — сказала она. Атос ощутил раскаленные клещи, сжавшие сзади его локти. Он рванулся, но это было бессмысленно. Женщина размышляла вслух: — Они абсолютно ни на что не годны. Ловить их для растворения — долго и бессмысленно, к тому же они дают плохую плоть. И они почти ничего не умеют, даже эти умники с Белых Скал. Но их довольно много, обидно оставлять их втуне. А почему я должна об этом думать? Есть ночные работники, пусть они и думают... — Она махнула рукой, повернулась и неторопливо, вперевалку, ушла в тростники.

И тогда Атос почувствовал, что его поворачивают на тропинку. Локти у него онемели и, казалось, обуглились. Он рванулся изо всех сил, и тиски сжались крепче. Он не понимал, что с ним будет и куда его отведут, но он вдруг вспомнил прошлую ночь, призраки Карла и Валентина в черном квадрате низких дверей и отчаянные стонущие вопли боли. Тогда он изловчился и ударил мертвяка ногой, ударил назад, вслепую, изо всех сил. Нога его погрузилась в мягкое и горячее. Мертвяк хрюкнул и ослабил хватку. Атос упал лицом в траву, вскочил, повернулся — мертвяк уже снова шел на него, широко раскинув неимоверно длинные руки. Это было страшно, и Атос закричал. Не было ничего под рукой, ни травобоя, ни бродила, ни палки, ни камня. Топкая теплая земля разъезжалась под ногами. Потом он вспомнил и сунул руку за пазуху, и когда мертвяк навис над ним, он зажмурился, ударил его скальпелем куда-то между глаз и, навалившись всем телом, протащил лезвие сверху вниз до земли и упал.

Он лежал, прижимаясь щекой к траве, и глядел на мертвяка, а тот стоял, шатаясь, медленно распахиваясь, как чемодан, по всей длине белесого туловища, а потом оступился и рухнул на спину, заливая все вокруг густой белой жидкостью. Он дернулся несколько раз и замер. Тогда Атос встал и побрел прочь. По тропинке.

Он смутно помнил, что хотел кого-то здесь ждать, что-то хотел узнать,

что-то собирался сделать. Но теперь все это было неважно. Важно было уйти подальше, хотя он сознавал, что никуда уйти не удастся. Ни ему, ни многим, многим, многим другим.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Он проснулся, открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку опять шли муравьи. Справа налево двигались нагруженные, слева направо шли порожняком. Месяц назад было наоборот, и месяц назад была Нава. А больше ничего не изменилось. Послезавтра мы уходим, подумал он.

За столом сидел старик и смотрел на него, ковыряя в ухе. Старик окончательно отощал, глаза ввалились, зубов во рту совсем не осталось. Наверное, он скоро умрет.

— Что же это ты, Молчун, — плаксиво сказал старик, — совсем у тебя нечего есть, как у тебя Наву отняли, так у тебя и еды в доме больше не бывает, говорил я тебе: не ходи, нельзя. Зачем ушел? Колченога наслушался, а разве Колченог понимает, что можно, а что нельзя? И Колченог этого не понимает, и отец Колченога такой же был, и дед его такой же, и весь их Колченогов род такой был, вот они все и померли, и Колченог обязательно помрет, никуда не денется... А может быть, у тебя, Молчун, есть какая-нибудь еда, может быть, ты ее спрятал? Если спрятал, то доставай, я есть хочу, мне без еды нельзя, я всю жизнь ем, привык уже, а то Навы теперь нет, Хвоста тоже деревом убило, вот у него всегда еды было много, я у него горшка по три сразу съедал, хотя она всегда у него была недоброженная, потому его, наверное, деревом и убило...

Атос встал, поискал по дому в потайных местечках, устроенных Навой. Еды действительно не было. Тогда он вышел из дому, повернул налево и направился к площади, к дому Кулака. Старик плелся за ним. На поле нестройно и скучно покрикивали: «Эй, сей веселей!.. Вправо сей, влево сей!..» В лесу откликалось эхо. Каждое утро Атосу теперь казалось, что лес придвигается ближе. На самом деле этого не было, а если и было, то вряд ли человеческий глаз мог бы это заметить. И мертвяков в лесу не стало больше, чем прежде. Но теперь Атос точно знал, кто они такие, и теперь он их ненавидел. Когда мертвяк появлялся из леса, раздавались крики: «Молчун! Молчун!» Он шел туда и уничтожал мертвяка скальпелем, быстро, надежно, с жестоким наслаждением. Вся деревня сбегалась смотреть на это зрелище и неизменно ахала в один голос и закрывалась руками, когда вдоль окутанного паром тела распахивался страшный белый шрам. Ребятишки больше не дразнили Молчуна, а просто разбегались и прятались при его появлении. О скальпеле в домах по вечерам шептались.

Посреди площади в траве стоял торчком, вытянув руки к небу, Слухач, окутанный лиловым облачком, со стеклянными глазами и пеной на губах. Вокруг него топтались любопытные детишки, смотрели и слушали, раскрывши рты. Атос тоже остановился послушать. (Ребятишек как ветром сдуло.)

— В битву вступают все новые... — металлическим голосом бредил Слухач. — Победное передвижение... обширные места покоя... новые отряды подруг... спокойствие и слияние...

Атос пошел дальше. Сегодня с утра голова его была довольно ясной, он почувствовал, что может думать, и подумал, что вот этот бред Слухача — это, наверное, одна из древнейших традиций этой деревни и всех деревень, потому что в Новой деревне тоже был свой слухач, и старик как-то хвастался, какие слухачи были, когда он был ребенком; можно было представить себе времена, когда многие знали, что такое Одержание, когда ОНИ были заинтересованы в том, чтобы многие знали, или воображали, что заинтересованы, а потом выяснилось, что можно прекрасно обойтись без этих многих — когда научились управлять лиловым туманом и из лиловых туч вышли первые мертвяки, и первые деревни очутились на дне первых треугольных озер, и возникли первые отряды подруг. А традиция осталась, такая же бессмысленная, как весь этот лес, как все эти искусственные чудовища и Города, откуда идет разрушение и где никто не знает, что оно такое, но согласны, что оно необходимо и полезно; бессмысленная, как бессмысленна всякая закономерность, наблюдаемая извне спокойными глазами естествоиспытателя... Атос обрадовался: ему показалось, что он, наконец, сумел связно сформулировать все это... и, кажется, не просто сформулировать, но и определить свое место... Я не во вне, я здесь, я не естествоиспытатель, я сам частица, которой играет эта закономерность.

Он оглянулся на Слухача. Слухач с обычным своим обалделым видом сидел в траве и вертел головой, вспоминая, где он и что он. Наверное, уж много веков тысячи Слухачей в тысячах деревень, затерянных в лесах огромного континента, выходят по утрам на пустые теперь площади и бормочут непонятные, давным-давно утратившие всякий смысл фразы о подругах, об Одержании, о слиянии и покое; фразы, которые передаются тысячами каких-то людей из тысяч Городов, где тоже забыли, зачем это надо и кому.

Кулак неслышно подошел к нему сзади и треснул его ладонью между лопаток.

— Встал тут и глазеет, — сказал он. — Один вот тоже глазел-глазел,

переломали ему руки-ноги — больше не глазеет. Когда уходим-то, Молчун? Долго ты мне голову будешь морочить? У меня ведь старуха в другой дом ушла, и сам я третью ночь у старосты ночую, а нынче вот думаю пойти к Хвостовой вдове ночевать. Еда вся до того перепрела, что и старик уже жрать не желает, кривится, говорит: перепрело у тебя все, не то что жрать — нюхать невозможно... Только к Чертовым Скалам я не пойду, Молчун, а пойду я с тобою в Город, наберем мы там с тобой баб, если воры встретятся, половину отдадим, не жалко, а другую половину в деревню приведем, пусть здесь живут, нечего им там плавать зря, а то одна тоже вот плавала, дали ей хорошенько по соплям — больше не плавает и воды видеть не может... Слушай, Молчун, а может, ты наврал про Город или привиделось тебе, отняли у тебя воры Наву, тебе с горя и привиделось. Колченог вот не верит: считает, что тебе привиделось. Какой же это Город в озере — все говорили, что на холме, а не в озере. Да разве в озере можно жить, мы же там все потонем, там же вода, мало ли что там бабы, я в воду даже за бабами не полезу, я плавать не умею, да и зачем? Но я могу, в крайнем случае, на берегу стоять, пока ты их из воды тащить будешь... Ты, значит, в воду полезешь, а я на берегу останусь, и мы с тобой эдак быстро управимся...

— Дубину ты себе сломал? — спросил Атос.

— А где я тебе в лесу дубину возьму? — возразил Кулак. — Это на болото идти надо — за дубиной. А у меня времени не было, я еду стерег, чтобы старик ее не сожрал, да и зачем мне дубина, когда я драться ни с кем не собираюсь... Один вот тоже дрался...

— Ладно, — сказал Атос. — Я тебе сам сломаю дубину. Послезавтра выходим.

Он повернулся и пошел обратно. Кулак не изменился. И никто из них не изменился. Как он ни старался втолковать им, они ничего не поняли, а может быть, ничему не поверили. Идея надвигающейся гибели просто не умещалась в их головах. Гибель надвигалась слишком медленно. И начала надвигаться слишком давно. Может быть, дело было в том, что гибель — понятие, связанное с мгновенностью, катастрофой, сиюминутностью. Они не умели обобщать, они не умели думать о мире вне своей деревни. Была деревня и был лес. Лес был сильнее, но лес _всегда_ был и всегда _будет_ сильнее. При чем здесь гибель? Такова жизнь. Когда-нибудь они спохватятся. Когда не останется больше женщин, когда болота подойдут вплотную к домам, когда посреди улиц ударят подземные источники, и деревня начнет погружаться под воду... Впрочем, может быть, и тогда они не спохватятся — просто скажут: «Нельзя здесь больше жить», — и уйдут в

Новую деревню...

Колченог сидел у порога, поливал бродилом выводок грибов, поднявшихся за ночь, и готовился завтракать.

— Садись, — сказал он Атосу приветливо. — Есть будешь? Хорошие грибы.

— Поем, — сказал Атос и сел рядом.

— Поешь, поешь, — сказал Колченог. — Навы у тебя теперь нету, когда еще без Навы приспособишься... Я слыхал, ты опять уходишь... Что это тебе дома не сидится? Сидел бы дома, хорошо бы тебе было. В Тростники идешь или в Муравейники? В Тростники бы я тоже с тобой сходил. Свернули бы мы сейчас с тобой по улице направо, перешли бы через редколесье, там бы грибов набрали заодно, захватили бы с собой бродило, там же и поели бы, хорошие в редколесье грибы, в деревне такие не растут, да и в других местах тоже, ешь-ешь, и все мало... А как поели бы, вышли бы мы с тобой из редколесья, да мимо Хлебного болота, там бы опять поели, хорошие злаки там родятся, сладкие, просто удивляешься, что на болоте и такие злаки произрастают... Ну а потом, конечно, прямо за солнцем, три дня бы шли, а там уже и Тростники...

— Мы с тобой идем к Чертовым Скалам, — терпеливо напомнил Атос. — Послезавтра выходим. Кулак тоже идет.

Колченог с сомнением покачал головой.

— К Чертовым Скалам... — повторил он. — Нет, Молчун, к Чертовым Скалам нам не пройти. Это ты знаешь, где Чертовы Скалы? Их, может, и вообще нигде нет, а просто так говорят: скалы, мол, Чертовы... Так что к Чертовым Скалам я не пойду: не верю я в них. Вот если бы в Город, например, или еще лучше в Муравейники, это тут рядом, рукой подать... Слушай, Молчун, а пошли-ка мы с тобой в Муравейники, и Кулак пойдет... Я ведь в Муравейниках как ногу себе сломал, так с тех пор там и не был. Нава, бывало, все просила меня: сходим, Колченог, в Муравейники, охота, видишь, ей было посмотреть дупло, где я ногу сломал, а я ей говорю, что я не помню, где это дупло, и вообще, может, Муравейников больше теперь нет, я там давно не был...

Атос жевал гриб и смотрел на Колченога. Колченог говорил и говорил, говорил о Тростниках, говорил о Муравейниках, глаза его были опущены, и он только изредка взглядывал на Атоса. И Атосу вдруг пришло в голову, что Колченог только с ним говорит так — как слабоумный, не способный сосредоточиться на одной мысли, что вообще-то Колченог хороший спорщик и видный оратор, и с ним считается и староста, и Кулак, а старик просто боится его и не любит, и что Колченог был лучшим приятелем и

спутником известного Обиды-Мученика, человека беспокойного и ищущего, ничего не нашедшего и сгинувшего где-то в лесу... И тогда Атос понял, что Колченог просто не хочет пускать его в лес, боится за него и жалеет его, что Колченог просто добрый и умный человек, но лес для него — это лес, опасное место, гибельное, куда многие ходили да немногие возвращались, и если уж полоумному Молчуну удалось один раз вернуться, потеряв там девочку, то дважды таких чудес не случается...

— Слушай, Колченог, — сказал он. — Послушай меня внимательно, послушай и поверь. Я не сумасшедший, и к Чертовым Скалам я не потому иду, что мне дома не сидится. Люди, которые живут на Чертовых Скалах, это единственные люди, которые могут спасти деревню. К ним я и иду. Понимаешь, я иду звать их на помощь.

Колченог смотрел на Атоса. Выцветшие глаза его были непроницаемы.

— А как же! — сказал он. — Я так тебя и понимаю. Вот как отсюда выйдем, свернем налево, дойдем до поля и мимо двух камней выйдем на тропу, эту тропу сразу отличить можно — там валунов столько, что ноги сломаешь... Да ты ешь грибы, Молчун, ешь, они хорошие... По этой, значит, тропе дойдем до грибной деревни, я тебе про нее, по-моему, рассказывал, она пустая, вся грибами поросла, но не такими, как эти, например, а скверными, их мы есть не будем, от них болеют и умереть можно, так что мы в этой деревне даже останавливаться не будем, а сразу пойдем дальше и, спустя время, дойдем мы до чудаковой деревни, там горшки делают из земли — вот додумались, это после того случилось у них, как синяя трава через них прошла — и ничего, не заболели даже, только горшки из земли делать стали... У них мы тоже останавливаться не будем, нечего нам у них там останавливаться, а пойдем сразу от них направо — тут тебе и будет глиняная поляна...

Атос глядел на него и думал. Обреченные. Несчастные обреченные. Правда, они не знают, что они несчастные. Они не знают, что сильные этой планеты считают их лишними, жалкой ошибкой. Они не знают, что сильные, занятые своей непонятной всепланетной деятельностью, уже нацелились в них тучами управляемых вирусов, колоннами роботов, стенами леса. Они не знают, что все для них уже предопределено, что будущее человечество на этой планете — это партеногенез и рай в теплых озерах и, что самое страшное, историческая правда на этой планете не на их стороне, что они являются реликтами, осужденными на гибель объективными законами, и что помогать им — означает на этой планете — идти против прогресса, задерживать прогресс на каком-то крошечном участке его фронта...

Но только меня не это интересует, подумал Атос. Какое мне дело до их прогресса, это не мой прогресс, я и прогрессом-то его называю только потому, что нет другого слова для обозначения объективного направления истории. Здесь выбирает не голова, здесь выбирает сердце. Может быть, хотя теперь я вижу, что это невозможно, но предположим... Если бы подруги подобрали меня, вылечили и обласкали, приняли бы меня как своего, пожалели бы — может быть, тогда я сломал бы себя и объединил бы сердце с головой, встал бы на сторону этого прогресса, и Колченог был бы для меня просто досадной ошибкой, с которой слишком уж долго возятся... Но меня спас, выходил и обласкал Колченог, и деревня стала моей деревней, и ее беды стали моими бедами, и ее ужасы стали моими ужасами... И мне плевать, что она досадный камешек в жерновах прогресса, я сделаю все, чтобы на этом камешке жернова затормозили, и если я доберусь до Базы, я сделаю все, чтобы эти жернова остановились, а если мне это не удастся, — а мне почти наверняка не удастся уговорить их, — тогда я вернусь сюда один и уже не со скальпелем... И тогда мы посмотрим.

— Значит, договорились, — сказал он. — Послезавтра выходим.

— А как же! — немедленно ответствовал Колченог. — Сразу от меня налево...

На поле вдруг зашумели. Завизжали женщины. Много голосов закричало хором: «Молчун! Молчун!» Колченог встрепенулся.

— Пойдем! — сказал он, торопливо поднимаясь. — Пойдем, посмотреть хочу.

Атос встал, вытащил из-за пазухи скальпель и зашагал к окраине.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Сегодня мы наконец улетаем, — сказал Турнен.

— Поздравляю, — сказал Леонид Андреевич. — А я еще останусь немножко.

Он бросил камешек, и камешек канул в облако. Облако было совсем близко внизу, под ногами. Леса видно не было. Леонид Андреевич лег на спину, свесив босые ноги в пропасть и заложив руки за голову. Турнен сидел на корточках неподалеку и внимательно, без улыбки смотрел на него.

— А ведь вы действительно боязливый человек, Горбовский, — сказал он.

— Да, очень, — согласился Леонид Андреевич. — Но вы знаете, Тойво, стоит поглядеть вокруг, и вы увидите десятки и сотни чрезвычайно смелых, отчаянно храбрых, безумно отважных... даже скучно становится, и хочется разнообразия. Ведь правда?

— Да, пожалуй, — сказал Турнен, опуская глаза. — Но я-то боюсь только за одного человека...

— За себя, — сказал Горбовский.

— В конечном итоге — да. А вы?

— В конечном итоге — тоже да.

— Скучные мы с вами люди, — сказал Турнен.

— Ужасно, — сказал Леонид Андреевич. — Вы знаете, я чувствую, что с каждым днем становлюсь все скучнее и скучнее. Раньше около меня всегда толпились люди, все смеялись, потому что я был забавный. А теперь вот вы только... и то не смеетесь. Вы понимаете, я стал тяжелым человеком. Уважаемым — да. Авторитетным — тоже да. Но без всякой приятности. А я к этому не привык, мне это больно.

— Привыкнете, — пообещал Турнен. — Если раньше не умрете от страха, то привыкнете. А в общем-то вы занялись самым неблагодарным делом, какое можно себе представить. Вы думаете о смысле жизни сразу за всех людей, а люди этого не любят. Люди предпочитают принимать жизнь такой, какая она есть. Смысла жизни не существует. И смысла поступков не существует. Если поступок принес вам удовольствие — хорошо, если не принес — значит он был бессмысленным. Зря стараетесь, Горбовский.

Леонид Андреевич извлек ноги из пропасти и перевалился на бок.

— Ну вот уже и обобщения, — сказал он. — Зачем судить обо всех по себе?

— Почему обо всех? Вас это не касается.

— Это многих не касается.

— Да нет. Многих — вряд ли. У вас какой-то обостренный интерес к последствиям, Горбовский. У большинства людей этого нет. Большинство считает, что это не важно. Они даже могут предвидеть последствия, но это не проникает им в кровь, действуют они все равно исходя не из последствий, а из каких-то совсем других соображений.

— Это уже другое дело, — сказал Леонид Андреевич. — Тут я с вами согласен. Я не согласен только, что эти другие соображения — всегда собственное удовольствие.

— Удовольствие — понятие широкое...

— А, — прервал Леонид Андреевич. — Тогда я с вами согласен полностью.

— Наконец-то, — сказал Турнен язвительно. — А я-то думал, что мне, бедному, делать, если вы не согласитесь. Я уже собирался вас прямо спрашивать: зачем вы, собственно, здесь сидите, Горбовский?

— Но ведь вы не спрашиваете?

— В общем — нет, потому что я и так знаю.

Леонид Андреевич с восхищением посмотрел на него.

— Правда? — сказал он. — А я-то думал, что законспирировался удачно.

— А зачем вы, собственно, законспирировались?

— Так смеяться же будут, Тойво. И вовсе не тем смехом, какой я привык слышать рядом с собой.

— Привыкнете, — снова пообещал Турнен. — Вот спасете человечество два-три раза — и привыкнете... Чудак вы все-таки. Человечеству совсем не нужно, чтобы его спасали.

Леонид Андреевич натянул шлепанцы, подумал и сказал:

— В чем-то вы, конечно, правы. Это мне нужно, чтобы человечество было в безопасности. Я, наверное, самый большой эгоист в мире. Как вы думаете, Тойво?

— Несомненно, — сказал Турнен. — Потому что вы хотите, чтобы всему человечеству было хорошо только для того, чтобы вам было хорошо.

— Но, Тойво! — вскричал Леонид Андреевич и даже слегка ударил себя кулаком в грудь. — Разве вы не видите, что они все стали как дети? Разве вам не хочется возвести ограду вдоль пропасти, возле которой они играют? Вот здесь, например. — Он ткнул пальцем вниз. — Вот вы давеча хватались за сердце, когда я сидел на краю, вам было нехорошо, а я вижу, как двадцать миллиардов сидят, спустив ноги в пропасть, толкаются, острят

и швыряют камешки, и каждый норовит швырнуть потяжелее, а в пропасти туман, и неизвестно, кого они разбудят там, в тумане, а им всем на это наплевать, они испытывают приятство оттого, что у них напрягается мускулюс глютеус, а я их всех люблю и не могу...

— Чего вы, собственно, боитесь? — сказал Турнен раздраженно. — Человечество все равно не способно поставить перед собой задачи, которые оно не может разрешить.

Леонид Андреевич с любопытством посмотрел на него.

— Вы серьезно так думаете? — сказал он. — Напрасно. Вот оттуда, — он опять ткнул пальцем вниз, — может выйти братец по разуму и сказать: «Люди, помогите нам уничтожить лес». И что мы ему ответим?

— Мы ему ответим: «С удовольствием». И уничтожим. Это мы — в два счета.

— Нет, — возразил Леонид Андреевич. — Потому что едва мы приступили к делу, как выяснилось, что лес — тоже братец по разуму, только двоюродный. Братец — гуманоид, а лес — негуманоид. Ну?

— Представить можно все что угодно, — сказал Турнен.

— В том-то и дело, — сказал Горбовский. — Потому-то я здесь и сижу. Вы спрашиваете, чего я боюсь. Я не боюсь задач, которые ставит перед собой человечество, я боюсь задач, которые может поставить перед нами кто-нибудь другой. Это только так говорится, что человек всемогущ, потому что, видите ли, у него разум. Человек — нежнейшее, трепетнейшее существо, его так легко обидеть, разочаровать, морально убить. У него же не только разум. У него так называемая душа. И то, что хорошо и легко для разума, то может оказаться роковым для души. А я не хочу, чтобы все человечество — за исключением некоторых сущеглупых — краснело бы и мучилось угрызениями совести или страдало бы от своей неполноценности и от сознания своей беспомощности, когда перед ним встанут задачи, которые оно даже и не ставило. Я уже все это пережил в фантазии и никому не пожелаю. А вот теперь сижу и жду.

— Очень трогательно, — сказал Турнен. — И совершенно бессмысленно.

— Это потому, что я пытался воздействовать на вас эмоционально, — грустно сказал Леонид Андреевич. — Попробую убедить вас логикой. Понимаете, Тойво, возможность неразрешимых задач можно предсказать априорно. Наука, как известно, безразлична к морали. Но только до тех пор, пока ее объектом не становится разум. Достаточно вспомнить проблематику евгеники и разумных машин... Я знаю, вы скажете, что это наше внутреннее дело. Тогда возьмем тот же разумный лес. Пока он сам по

себе, он может быть объектом спокойного, осторожного изучения. Но если он воюет с другими разумными существами, вопрос из научного становится для нас моральным. Мы должны решать, на чьей стороне быть, а решить мы этого не можем, потому что наука моральные проблемы не решает, а мораль — сама по себе, внутри себя — не имеет логики, она нам задана до нас, как мода на брюки, и не отвечает на вопрос: почему так, а не иначе. Я достаточно ясно выражаюсь?

— Слушайте, Горбовский, — сказал Турнен. — Что вы прицепились к разумному лесу? Вы что, действительно считаете этот лес разумным?

Леонид Андреевич приблизился к краю и заглянул в пропасть.

— Нет, — сказал он. — Вряд ли... Но есть в нем что-то нездоровое с точки зрения нашей морали. Он мне не нравится. Мне в нем все не нравится. Как он пахнет, как он выглядит, какой он скользкий, какой он непостоянный. Какой он лживый, и как он притворяется... Нет, скверный это лес, Тойво. Он еще заговорит. Я знаю: он еще заговорит.

— Пойдемте, я вас исследую, — сказал Тойво. — На прощание.

— Нет, — сказал Леонид Андреевич. — Пойдемте лучше ужинать. Попросим открыть нам бутылку вина...

— Не дадут, — сказал Тойво с сомнением.

— Я попрошу Поля, — сказал Леонид Андреевич. — Кажется, я пока еще имею на него какое-то влияние.

Он нагнулся, собрал в горсть оставшиеся камешки и швырнул их вниз. Подальше. В туман. В лес, который еще заговорит.

Тойво, заложив руки за спину, уже неторопливо поднимался по лестнице.

УЛИТКА НА СКЛОНЕ

За поворотом, в глубине
Лесного лога
Готово будущее мне
Верней залога.

Его уже не втянешь в спор
И не заластишь,
Оно распахнуто, как бор,
Всё вглубь, всё настежь.

*_Б. Пастернак_*

Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!

*_Исса_, _сын_ _крестьянина_*

Глава первая ПЕРЕЦ

С этой высоты лес был как пышная пятнистая пена; как огромная, на весь мир, рыхлая губка; как животное, которое затаилось когда-то в ожидании, а потом заснуло и проросло грубым мохом. Как бесформенная маска, скрывающая лицо, которое никто еще никогда не видел.

Перец сбросил сандалии и сел, свесив босые ноги в пропасть. Ему показалось, что пятки сразу стали влажными, словно он в самом деле погрузил их в теплый лиловый туман, скопившийся в тени под утесом. Он достал из кармана собранные камешки и аккуратно разложил их возле себя, а потом выбрал самый маленький и тихонько бросил его вниз, в живое и молчаливое, в спящее, равнодушное, глотающее навсегда, и белая искра погасла, и ничего не произошло — не шевельнулись никакие веки и никакие глаза не приоткрылись, чтобы взглянуть на него. Тогда он бросил второй камешек.

Если бросать по камешку каждые полторы минуты; и если правда то, что рассказывала одноногая повариха по прозвищу Казалунья и предполагала мадам Бардо, начальница группы Помощи местному населению; и если неправда то, о чем шептались шофер Тузик с Неизвестным из группы Инженерного проникновения; и если чего-нибудь стоит человеческая интуиция; и если исполняются хоть раз в жизни ожидания — тогда на седьмом камешке кусты позади с треском раздвинутся, и на полянку, на мятую траву, седую от росы, ступит директор, голый по пояс, в серых габардиновых брюках с лиловым кантом, шумно дышащий, лоснящийся, желто-розовый, мохнатый, и ни на что не глядя, ни на лес под собой, ни на небо над собой, пойдет сгибаться, погружая широкие ладони в траву, и разгибаться, поднимая ветер размахами широких ладоней, и каждый раз мощная складка на его животе будет накатывать сверху на брюки, а воздух, насыщенный углекислотой и никотином, будет со свистом и клокотанием вырываться из разинутого рта. Как подводная лодка, продувающая цистерны. Как сернистый гейзер на Парамушире...

Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно оглянулся, но это был не директор, это был знакомый человек Клавдий-Октавиан Домарощинер из группы Искоренения. Он медленно приблизился и остановился в двух шагах, глядя на Переца сверху вниз пристальными темными глазами. Он что-то знал или подозревал, что-то очень важное, и

это знание или подозрение сковывало его длинное лицо, окаменевшее лицо человека, принесшего сюда, к обрыву, странную тревожную новость; еще никто в мире не знал этой новости, но уже ясно было, что все решительно изменилось, что все прежнее отныне больше не имеет значения и от каждого, наконец, потребуется все, на что он способен.

— А чьи же это туфли? — спросил он и огляделся.

— Это не туфли, — сказал Перец. — Это сандалии.

— Вот как? — Домарощинер усмехнулся и потянул из кармана большой блокнот. — Сандалии? Оч-чень хорошо. Но чьи это сандалии?

Он придвинулся к обрыву, осторожно заглянул вниз и сейчас же отступил.

— Человек сидит у обрыва, — сказал он, — и рядом с ним сандалии. Неизбежно возникает вопрос: чьи это сандалии и где их владелец?

— Это мои сандалии, — сказал Перец.

— Ваши? — Домарощинер с сомнением посмотрел на большой блокнот. — Значит, вы сидите босиком? Почему? — Он решительно спрятал большой блокнот и извлек из заднего кармана малый блокнот.

— Босиком — потому что иначе нельзя, — объяснил Перец. — Я вчера уронил туда правую туфлю и решил, что впредь всегда буду сидеть босиком. — Он нагнулся и посмотрел через раздвинутые колени. — Вон она лежит. Сейчас я в нее камушком...

— Минуточку!

Домарощинер проворно поймал его за руку и отобрал камешек.

— Действительно, простой камень, — сказал он. — Но это пока ничего не меняет. Непонятно, Перец, почему это вы меня обманываете. Ведь туфлю отсюда увидеть нельзя — даже если она действительно там, а там ли она, это уже особый вопрос, которым мы займемся попозже, — а раз туфлю увидеть нельзя, значит, вы не можете рассчитывать попасть в нее камнем, даже если бы вы обладали соответствующей меткостью и действительно хотели бы этого и только этого: я имею в виду попадание... Но мы все это сейчас выясним.

Он сунул малый блокнот в нагрудный карман и снова достал большой блокнот. Потом он поддернул брюки и присел на корточки.

— Итак, вы вчера тоже были здесь, — сказал он. — Зачем? Почему вы вот уже вторично пришли на обрыв, куда остальные сотрудники Управления, не говоря уже о внештатных специалистах, ходят разве для того, чтобы справить нужду?

Перец сжался. Это просто от невежества, подумал он. Нет, нет, это не вызов и не злоба, этому не надо придавать значения. Это просто

невежество. Невежеству не надо придавать значения, никто не придает значения невежеству. Невежество испражняется на лес. Невежество всегда на что-нибудь испражняется, и, как правило, этому не придают значения. Невежество никогда не придавало значения невежеству...

— Вам, наверное, нравится здесь сидеть, — вкрадчиво продолжал Домарощинер. — Вы, наверное, очень любите лес. Вы его любите? Отвечайте!

— А вы? — спросил Перец.

Домарощинер шмыгнул носом.

— А вы не забывайтесь, — сказал он обиженно и раскрыл блокнот. — Вы прекрасно знаете, где я состою, а я состою в группе Искоренения, и поэтому ваш вопрос, а вернее, контрвопрос абсолютно лишен смысла. Вы прекрасно понимаете, что мое отношение к лесу определяется моим служебным долгом, а вот чем определяется ваше отношение к лесу — мне неясно. Это нехорошо, Перец, вы обязательно подумайте об этом, советую вам для вашей же пользы, не для своей. Нельзя быть таким непонятным. Сидит над обрывом, босиком, бросает камни... Зачем, спрашивается? На вашем месте я бы прямо рассказал мне все. И все расставил бы на свои места. Откуда вы знаете, может быть, есть смягчающие обстоятельства, и вам в конечном счете ничто не грозит. А, Перец? Вы же взрослый человек и должны понимать, что двусмысленность неприемлема. — Он закрыл блокнот и подумал. — Вот, например, камень. Пока он лежит неподвижно, он прост, он не внушает сомнений. Но вот его берет чья-то рука и бросает. Чувствуете?

— Нет, — сказал Перец. — То есть, конечно, да.

— Вот видите. Простота сразу исчезает, и ее больше нет. Чья рука? — спрашиваем мы. Куда бросает? Или, может быть, кому? Или, может быть, в кого? И зачем?.. И как это вы можете сидеть на краю обрыва? От природы это у вас или вдруг вы специально тренировались? Я, например, на краю обрыва сидеть не могу. И мне страшно подумать, ради чего бы это я стал тренироваться. У меня голова кружится. И это естественно. Человеку вообще незачем сидеть на краю обрыва. Особенно если он не имеет пропуска в лес. Покажите мне, пожалуйста, ваш пропуск, Перец.

— У меня нет пропуска.

— Так. Нет. А почему?

— Не знаю... Не дают вот.

— Правильно, не дают. Нам это известно. А вот почему не дают? Мне дали, ему дали, им дали и еще многим, а вам почему-то не дают.

Перец осторожно покосился на него. Длинный тощий нос

Домарощинера шмыгал, глаза часто мигали.

— Наверное, потому что я посторонний, — предположил Перец. — Наверное, поэтому.

— И ведь не только я вами интересуюсь, — продолжал Домарощинер доверительно. — Если бы только я! Вами интересуются люди и поважнее... Слушайте, Перец, может быть, вы отсядете от обрыва, чтобы мы могли продолжать? У меня голова кружится смотреть на вас.

Перец поднялся.

— Это потому, что вы нервный, — сказал он. — Не будем мы продолжать. В столовую пора, опоздаем.

Домарощинер поглядел на часы.

— Действительно, пора, — сказал он. — Что-то я увлекся сегодня. Всегда вы меня, Перец, как-то... не знаю даже, что сказать.

Перец запрыгал на одной ноге, натягивая сандалию.

— Ох, да отойдите же вы от края! — страдальчески закричал Домарощинер, махая на Переца блокнотом. — Вы меня убьете когда-нибудь своими выходками!

— Уже все, — сказал Перец, притопывая. — Больше не буду. Пошли?

— Пошли, — сказал Домарощинер. — Но я констатирую, что вы не ответили ни на один мой вопрос. Вы меня очень огорчаете, Перец. Разве так можно? — Он посмотрел на большой блокнот и, пожав плечами, сунул его под мышку. — Странно даже. Решительно никаких впечатлений, я уже не говорю об информации. Сплошная неясность.

— Так а что отвечать? — сказал Перец. — Просто мне нужно было здесь поговорить с директором.

Домарощинер замер, словно застряв в кустах.

— Ах, вот как это у вас делается, — сказал он изменившимся голосом.

— Что делается? Ничего не делается...

— Нет-нет, — шепотом сказал Домарощинер, озираясь. — Молчите и молчите. Не надо никаких слов. Я уже понял. Вы были правы.

— Что вы поняли? В чем это я прав?

— Нет-нет, я ничего не понял. Не понял — и все. Вы можете быть совершенно спокойны. Не понял и не понял. И вообще я здесь не был и вас не видел. Я, если хотите знать, все утро просидел на этой вот скамеечке. Очень многие могут подтвердить. Я поговорю, я попрошу.

Они миновали скамеечку, поднялись по выщербленным ступеням, свернули в аллею, посыпанную мелким красным песком, и через ворота вступили на территорию Управления.

— Полная ясность может существовать лишь на определенном уровне,

— говорил Домарощинер. — И каждый должен знать, на что он может претендовать. Я претендовал на ясность на своем уровне, это мое право, и я исчерпал его. А там, где кончаются права, там начинаются обязанности, и смею вас уверить, что свои обязанности я знаю так же хорошо, как и права...

Они прошли мимо десятиквартирных коттеджей с тюлевыми занавесками на окнах, миновали гараж, крытый гофрированным железом, пересекли спортивную площадку, где на столбах одиноко висела дырявая волейбольная сетка, и пошли мимо складов, возле которых такелажники стаскивали с грузовика громадный красный контейнер, мимо гостиницы, в дверях которой стоял с портфелем болезненно-бледный комендант с неподвижными выпученными глазами, вдоль длинного забора, за которым скрежетали двигатели, они шли все быстрее, потому что времени оставалось мало, и Домарощинер уже ничего не говорил, а только задыхался и сипел, потом они побежали, и все-таки, когда они ворвались в столовую, было уже поздно и все места были заняты, только за дежурным столиком в дальнем углу оставались еще два места, а третье занимал шофер Тузик, и шофер Тузик, заметив, что они в нерешительности топчутся у порога, помахал им вилкой, приглашая к себе.

Все пили кефир, и Перец тоже взял себе кефира, так что у них на столе на заскорузлой скатерти выстроилось шесть бутылок, а когда Перец задвигал под столом ногами, устраиваясь поудобнее на стуле без сиденья, звякнуло стекло, и в проход между столиками выкатилась бутылка из-под бренди. Шофер Тузик ловко подхватил ее и засунул обратно под стол, и там снова звякнуло стекло.

— Вы поосторожнее ногами, — сказал он.

— Я нечаянно, — сказал Перец. — Я же не знал.

— А я знал? — возразил шофер Тузик. — Их там четыре штуки, доказывай потом, что ты не домкрат.

— Ну, я, например, вообще не пью, — с достоинством сказал Домарощинер. — Так что ко мне это вообще не относится.

— Знаем мы, как вы не пьете, — сказал Тузик. — Так-то и мы не пьем.

— Но у меня печень больна! — забеспокоился Домарощинер. — Как вы можете? Вот справка, прошу...

Он выхватил откуда-то и сунул под нос Перецу мятый тетрадный листок с треугольной печатью. Это, действительно, была справка, написанная неразборчивым медицинским почерком. Перец различил только одно слово: «антабус», а когда, заинтересовавшись, попытался взять бумагу, Домарощинер не дал и подсунул ее под нос шоферу Тузику.

— Это самая последняя, — сказал он. — А есть еще за прошлый год и за позапрошлый, только они у меня в сейфе.

Шофер Тузик справку смотреть не стал. Он выцедил полный стакан кефиру, помотал головой, понюхал сустав указательного пальца и, прослезившись, сказал севшим голосом:

— Вот, например, что еще бывает в лесу? Деревья. — Он вытер рукавом глаза. — Но на месте они не стоят: прыгают. Понял?

— Ну-ну? — жадно спросил Перец. — Как так — прыгают?

— А вот так. Стоит оно неподвижно. Дерево, одним словом. Потом начинает корчиться, корячиться и ка-ак даст! Шум, треск, не разбери-поймешь. Метров на десять. Кабину мне помяло. И опять стоит.

— Почему? — спросил Перец.

Он очень ясно представлял это себе. Но оно, конечно же, не корчилось и не корячилось, оно начинало дрожать, когда к нему приближались, и старалось уйти. Может быть, ему было противно. Может быть, страшно.

— Почему оно прыгает? — спросил он.

— Потому что называется: прыгающее дерево, — объяснил Тузик, наливая себе кефиру.

— Вчера прибыла партия новых электропил, — сообщил Домарощинер, облизывая губы. — Феноменальная производительность. Я бы даже сказал, что это не пилы, это пилящие комбайны. Наши пилящие комбайны искоренения.

А вокруг все пили кефир — из граненых стаканов, из жестяных кружек, из кофейных чашечек, из свернутых бумажных кульков, прямо из бутылок. Ноги у всех были засунуты под стулья. И все, наверное, могли предъявить справки о болезнях печени, желудка, двенадцатиперстной кишки. И за этот год, и за прошлые годы.

— А потом меня вызывает менеджер, — продолжал Тузик в повышенном тоне, — и спрашивает, почему у меня кабина помята. Опять, говорит, стервец, налево ездил? Вы вот, пан Перец, играете с ним в шахматы, замолвили бы за меня словечко, он вас уважает, часто о вас говорит... Перец, говорит, это, говорит, фигура! Я, говорит, для Переца машины не дам, и не просите. Нельзя такого человека отпускать. Поймите же, говорит, дураки, нам же без него тошно будет! Замолвите, а?

— Х-хорошо, — упавшим голосом произнес Перец. — Я попробую. Только как же это он... машину?

— С менеджером могу поговорить я, — сказал Домарощинер. — Мы вместе служили, я был капитаном, а он был у меня лейтенантом. Он до сих пор приветствует меня прикладыванием руки к головному убору.

— Потом еще есть русалки, — сказал Тузик, держа на весу стакан с кефиром. — В больших чистых озерах. Они там лежат, понял? Голые.

— Это вам, Туз, померещилось от вашего кефира, — сказал Домарощинер.

— А я их сам и не видел, — возразил Тузик, поднося стакан к губам. — Но воду из этих озер пить нельзя.

— Вы их не видели, потому что их нет, — сказал Домарощинер. — Русалки — это мистика.

— Сам ты мистика, — сказал Тузик, вытирая глаза рукавом.

— Подождите, — сказал Перец. — Подождите. Тузик, вы говорите, они лежат... А еще что? Не может быть, чтобы они просто лежали, и все.

...Возможно, они живут под водой и выплывают на поверхность, как мы выходим на балкон из прокуренных комнат в лунную ночь и, закрыв глаза, подставляем лицо прохладе, и тогда они могут просто лежать. Просто лежать — и все. Отдыхать. И лениво переговариваться и улыбаться друг другу...

— Ты со мной не спорь, — сказал Тузик, рассматривая Домарощинера в упор. — Ты в лесу-то когда-нибудь был? Не был ведь в лесу-то ни разу, а туда же.

— И глупо, — сказал Домарощинер. — Что мне в вашем лесу делать? У меня пропуск есть в ваш лес. А вот у вас, Туз, никакого пропуска нет. Покажите-ка мне, пожалуйста, ваш пропуск, Туз.

— Я сам этих русалок не видел, — повторил Тузик, обращаясь к Перецу. — Но я в них вполне верю. Потому что ребята рассказывают. И даже Кандид вот рассказывал. А уж Кандид про лес знал все. Он в этот лес как к своей бабе ходил, все там знал на ощупь. Он и погиб там, в этом своем лесу.

— Если бы погиб, — сказал Домарощинер значительно.

— Чего там «если бы». Улетел человек на вертолете, и три года о нем ни слуху ни духу. В газете траурное извещение было, поминки были, чего тебе еще? Разбился Кандид, конечно.

— Мы слишком мало знаем, — сказал Домарощинер, — чтобы утверждать что-либо со всей категоричностью.

Тузик плюнул и пошел к стойке взять еще бутылку кефиру. Тогда Домарощинер нагнулся к уху Переца и, бегая глазами, прошептал:

— Имейте в виду, что относительно Кандида было закрытое распоряжение... Я считаю себя вправе информировать вас, потому что вы человек посторонний...

— Какое распоряжение?

— Считать его живым, — гулко прошептал Домарощинер и отодвинулся. — Хороший, свежий кефир сегодня, — произнес он громко.

В столовой поднялся шум. Те, кто уже позавтракал, вставали, двигая стульями, и шли к выходу, громко разговаривая, закуривали и бросали спички на пол. Домарощинер злобно озирался и всем, кто проходил мимо, говорил: «Как-то странно, господа, вы же видите, мы беседуем...»

Когда Тузик вернулся с бутылкой, Перец сказал ему:

— Неужели менеджер серьезно говорил, что не даст мне машину? Наверное, он просто шутил?

— Почему шутил? Он же вас, пан Перец, очень любит, ему без вас тошно, и отпускать вас отсюда ему просто-таки невыгодно... Ну, отпустит он вас, ну и что ему от этого? Какие уж тут шутки.

Перец закусил губу.

— Как же мне уехать? Мне здесь делать больше нечего. И виза кончается. И потом я просто хочу уже уехать.

— Вообще, — сказал Тузик, — если вы получите три строгача, вас отсюда выпрут в два счета. Специальный автобус дадут, шофера среди ночи подымут, вещичек собрать не успеете... Ребята у нас как делают? Первый строгач — и понижают его в должности. Второй строгач — посылают в лес, грехи замаливать. А третий строгач — с приветом, до свидания. Если, скажем, я захочу уволиться, выпью я полбанки и дам вот этому по морде. — Он показал на Домарощинера. — Сразу мне снимают наградные и переводят меня на дерьмовоз. Тогда я что? — выпиваю еще полбанки и даю ему по морде второй раз, понял? Тут меня снимают с дерьмовоза и отсылают на биостанцию ловить всяких там микробов. Но я на биостанцию не еду, выпиваю еще полбанки и даю ему по морде в третий раз. Вот тогда уже все. Уволен за хулиганские действия и выслан в двадцать четыре часа.

Домарощинер погрозил Тузику пальцем.

— Дезинформируете, дезинформируете, Туз. Во-первых, между действиями должно пройти не менее месяца, иначе все поступки будут рассматриваться как один и нарушителя просто поместят в карцер, не давая никакого хода его делу внутри самого Управления. Во-вторых, после второго проступка виновного отправляют в лес немедленно в сопровождении охранника, так что он будет лишен возможности произвести третий проступок по своему усмотрению. Вы его не слушайте, Перец, он в этих проблемах не разбирается.

Тузик отхлебнул кефиру, сморщился и крякнул.

— Это верно, — признался он. — Тут я, пожалуй, действительно...

того. Вы уж извините, пан Перец.

— Да нет, что уж... — грустно сказал Перец. — Все равно я не могу ни с того ни с сего бить человека по физиономии.

— Так ведь не обязательно же по этой... по морде, — сказал Тузик. — Можно, например, и по этой... по заднице. Или просто костюм на нем порвать.

— Нет, я так не умею, — сказал Перец.

— Тогда плохо, — сказал Тузик. — Тогда вам беда, пан Перец. Тогда мы вот как сделаем. Вы завтра утром часикам к семи приходите в гараж, садитесь там в мою машину и ждите. Я вас отвезу.

— Правда? — обрадовался Перец.

— Ну. Мне завтра на Материк ехать, железный лом везти. Вместе и поедем.

В углу кто-то вдруг страшно закричал: «Ты что наделал? Ты суп мой пролил!»

— Человек должен быть простым и ясным, — сказал Домарощинер. — Не понимаю я, Перец, почему это вы хотите отсюда уехать. Никто не хочет уехать, а вы хотите.

— У меня всегда так, — сказал Перец. — Я всегда делаю наоборот. И потом, почему это обязательно человек должен быть простым и ясным?

— Человек должен быть непьющим, — заявил Тузик, нюхая сустав указательного пальца. — Скажешь, нет?

— Я не пью, — сказал Домарощинер. — И я не пью по очень простой и каждому ясной причине: у меня больна печень. Так что вы меня, Туз, не поймаете.

— Что меня в лесу удивляет, — сказал Тузик, — так это болота. Они горячие, понял? Я этого не выношу. Никак я привыкнуть не могу. Врюхаешься где-нибудь, снесет с гати, и вот сижу я в кабине и вылезти не могу. Как щи горячие. Пар идет, и пахнет щами, я даже хлебать пробовал, только невкусно, соли там не хватает, что ли... Не-ет, лес — это не для человека. И чего они там не видели? И гонят, и гонят технику, как в прорубь, она там тонет, а они еще выписывают, она тонет, а они еще...

...Зеленое пахучее изобилие. Изобилие красок, изобилие запахов. Изобилие жизни. И все чужое. Чем-то знакомое, кое в чем похожее, но по-настоящему чужое. Наверное, труднее всего примириться с тем, что оно и чужое, и знакомое одновременно. С тем, что оно — производное от нашего мира, плоть от плоти нашей, но порвавшее с нами и не желающее нас знать. Наверное, так мог бы думать питекантроп о нас, о своих потомках, — с горечью и со страхом...

— Когда выйдет приказ, — провозгласил Домарощинер, — мы двинем туда не ваши паршивые бульдозеры и вездеходы, а кое-что настоящее, и за два месяца превратим там все в... э-э... в бетонированную площадку, сухую и ровную.

— Ты превратишь, — сказал Тузик. — Тебе если по морде вовремя не дать, ты родного отца в бетонную площадку превратишь. Для ясности.

Густо загудел гудок. В окнах задребезжали стекла, и сейчас же над дверью грянул мощный звонок, замигали огни на стенах, а над стойкой вспыхнула крупная надпись: «ВСТАВАЙ, ВЫХОДИ!» Домарощинер торопливо поднялся, перевел стрелку на ручных часах и, не говоря ни слова, бросился бежать.

— Ну, я пойду, — сказал Перец. — Работать пора.

— Пора, — согласился Тузик. — Самое время.

Он скинул стеганку, аккуратно скатал ее и, сдвинув стулья, улегся, подложив стеганку под голову.

— Значит, завтра в семь? — сказал Перец.

— Что? — спросил Тузик сонным голосом.

— Завтра в семь я приду.

— Куда это? — спросил Тузик, ворочаясь на стульях. — Разъезжаются, подлые, — пробормотал он. — Сколько раз я им говорил: поставьте диван...

— В гараж, — сказал Перец. — К вашей машине.

— А-а... Ну, приходите, приходите, там посмотрим. Трудное это дело.

Он поджал ноги, сунул ладони под мышки и засопел. Руки у него были волосатые, а под волосами виднелась татуировка. Там было написано: «что нас губит» и «только вперед». Перец пошел к выходу.

Он переправился по дощечке через огромную лужу на заднем дворе, обогнул курган пустых консервных банок, пролез сквозь щель в дощатом заборе и через служебный подъезд вошел в здание Управления. В коридорах было холодно и темно, пахло табачным перегаром, пылью, лежалыми бумагами. Никого нигде не было, из-за обитых дерматином дверей ничего не было слышно. По узкой лестничке без перил, придерживаясь за обшарпанную стену, Перец поднялся на второй этаж и подошел к двери, над которой вспыхивала и гасла надпись: «ПОМОЙ РУКИ ПЕРЕД РАБОТОЙ». На двери красовалась большая черная буква «М». Перец толкнул дверь и испытал некоторое потрясение, обнаружив, что попал в свой кабинет. То есть, конечно, это был не его кабинет, это был кабинет Кима, начальника группы Научной охраны, но в этом кабинете Перецу поставили стол, и теперь этот стол стоял сбоку от двери у кафельной стены, и полстола занимал, как всегда, зачехленный «мерседес»,

а у большого отмытого окна стоял стол Кима, а сам Ким уже работал: сидел, согнувшись, и смотрел на логарифмическую линейку.

— Я хотел руки помыть... — сказал Перец растерянно.

— Помой, помой, — сказал Ким, мотнув головой. — Вот тебе умывальник. Теперь будет очень удобно. Теперь все к нам ходить будут.

Перец подошел к умывальнику и стал мыть руки. Он мыл руки холодной и горячей водой, двумя сортами мыла и специальной жиропоглощающей пастой, тер их мочалкой и несколькими щеточками различной степени жесткости. Затем он включил электросушилку и некоторое время держал розовые влажные руки в завывающем потоке теплого воздуха.

— В четыре утра всем объявили, что нас переведут на второй этаж, — сказал Ким. — А ты где был? У Алевтины?

— Нет, я был на обрыве, — сказал Перец, усаживаясь за свой стол.

Дверь распахнулась, в помещение стремительно вошел Проконсул, помахал приветственно портфелем и скрылся за кулисой. Было слышно, как скрипнула дверца кабинки и щелкнула задвижка. Перец снял чехол с «мерседеса», посидел неподвижно, а потом подошел к окну и распахнул его.

Лес отсюда не был виден, но лес был. Он был всегда, хотя увидеть его можно было только с обрыва. В любом другом месте Управления его всегда что-нибудь заслоняло. Его заслоняли кремовые здания механических мастерских и четырехэтажный гараж для личных автомобилей сотрудников. Его заслоняли скотные дворы подсобного хозяйства и белье, развешанное возле прачечной, где постоянно была сломана сушильная центрифуга. Его заслонял парк с клумбами и павильонами, с чертовым колесом и гипсовыми купальщицами, покрытыми карандашными надписями. Его заслоняли коттеджи с верандами, увитыми плющом, и с крестами телевизионных антенн. А отсюда, из окна второго этажа, лес не был виден из-за высокой кирпичной ограды, пока еще недостроенной, но уже очень высокой, которая возводилась вокруг плоского одноэтажного здания группы Инженерного проникновения. Лес можно было видеть только с обрыва, но и испражняться на лес можно было только с обрыва.

Но даже человек, который никогда в жизни не видел леса, ничего не слышал о лесе, не думал о нем, не боялся леса и не мечтал о лесе, даже такой человек мог легко догадаться о существовании его уже просто потому, что существовало Управление. Вот я очень давно думал о лесе, спорил о лесе, видел его в моих снах, но я даже не подозревал, что он существует в действительности. И я уверился в его существовании не

тогда, когда впервые вышел на обрыв, а когда прочел надпись на вывеске возле подъезда: «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ЛЕСА». Я стоял перед этой вывеской с чемоданом в руке, пыльный и высохший после длинной дороги, читал и перечитывал ее и чувствовал слабость в коленях, потому что знал теперь, что лес существует, а значит, все, что я думал о нем до сих пор, — игра слабого воображения, бледная немощная ложь. Лес есть, и это огромное мрачноватое здание занимается его судьбой...

— Ким, — сказал Перец, — неужели я так и не попаду в лес? Ведь я завтра уезжаю.

— А ты действительно хочешь туда попасть? — спросил Ким рассеянно.

...Зеленые горячие болота, нервные пугливые деревья, русалки, отдыхающие на воде под луной от своей таинственной деятельности в глубинах, осторожные непонятные аборигены, пустые деревни...

— Не знаю, — сказал Перец.

— Тебе туда нельзя, Перчик, — сказал Ким. — Туда можно только людям, которые никогда о лесе не думали. Которым на лес всегда было наплевать. А ты слишком близко принимаешь его к сердцу. Лес для тебя опасен, потому что он тебя обманет.

— Наверное, — сказал Перец. — Но ведь я приехал сюда только для того, чтобы повидать его.

— Зачем тебе горькие истины? — сказал Ким. — Что ты с ними будешь делать? И что ты будешь делать в лесу? Плакать о мечте, которая превратилась в судьбу? Молиться, чтобы все было не так? Или, чего доброго, возьмешься переделывать то, что есть, в то, что должно быть?

— А зачем же я сюда приезжал?

— Чтобы убедиться. Неужели ты не понимаешь, как это важно: убедиться. Другие приезжают для другого. Чтобы обнаружить в лесу кубометры дров. Или найти бактерию жизни. Или написать диссертацию. Или получить пропуск, но не для того, чтобы ходить в лес, а просто на всякий случай: когда-нибудь пригодится, да и не у всех есть. А предел поползновений — извлечь из леса роскошный парк, как скульптор извлекает статую из глыбы мрамора. Чтобы потом этот парк стричь. Из года в год. Не давать ему снова стать лесом.

— Уехать бы мне отсюда, — сказал Перец. — Нечего мне здесь делать. Кому-то надо уехать, либо мне, либо вам всем.

— Давай умножать, — сказал Ким, и Перец сел за свой стол, нашел наспех сделанную розетку и включил «мерседес».

— Семьсот девяносто три пятьсот двадцать два на двести шестьдесят

шесть ноль одиннадцать...

«Мерседес» застучал и задергался. Перец подождал, пока он успокоится, и, запинаясь, прочитал ответ.

— Так. Погаси, — сказал Ким. — Теперь шестьсот девяносто восемь триста двенадцать подели мне на десять пятнадцать...

Ким диктовал цифры, а Перец набирал их, нажимал на клавиши умножения и деления, складывал, вычитал, извлекал корни, и все шло как обычно.

— Двенадцать на десять, — сказал Ким. — Умножить.

— Один ноль ноль семь, — механически продиктовал Перец, а потом спохватился и сказал: — Слушай, он ведь врет. Должно быть сто двадцать.

— Знаю, знаю, — нетерпеливо сказал Ким. — Один ноль ноль семь, — повторил он. — А теперь извлеки мне корень из десять ноль семь...

— Сейчас, — сказал Перец.

Снова щелкнула задвижка за кулисой, и появился Проконсул, розовый, свежий и удовлетворенный. Он стал мыть руки, напевая при этом приятным голосом «Аве Мария». Потом он провозгласил:

— Какое же это все-таки чудо — лес, господа мои! И как преступно мало мы говорим и пишем о нем! А между тем он достоин того, чтобы о нем писать. Он облагораживает, он будит высшие чувства. Он способствует прогрессу. Он сам подобен символу прогресса. А мы никак не можем пресечь распространение неквалифицированных слухов, побасенок, анекдотов. Пропаганда леса, по существу, не ведется. О лесе говорят и думают черт те что...

— Семьсот восемьдесят пять умножь на четыреста тридцать два, — сказал Ким.

Проконсул повысил голос. Голос у него был сильный и хорошо поставленный — «мерседеса» не стало слышно.

— «Живем как в лесу»... «Лесные люди»... «Из-за деревьев не видно леса»... «Кто в лес, кто по дрова»... Вот с чем мы должны бороться! Вот что мы должны искоренять. Скажем, вы, мосье Перец, почему вы не боретесь? Ведь вы могли бы сделать в клубе обстоятельный целенаправленный доклад о лесе, а вы его не делаете. Я давно за вами наблюдаю и все жду, и все напрасно. В чем дело?

— Так я ведь там никогда не был, — сказал Перец.

— Неважно. Я там тоже никогда не был, но я прочел лекцию, и, судя по отзывам, это была очень полезная лекция. Дело ведь не в том, был ты в лесу или не был, дело в том, чтобы содрать с фактов шелуху мистики и суеверий, обнажить субстанцию, сорвав с нее одеяние, напяленное

обывателями и утилитаристами...

— Дважды восемь поделить на сорок девять минус семью семь, — сказал Ким.

«Мерседес» заработал. Проконсул снова повысил голос:

— Я делал это как философ по образованию, а вы могли бы сделать это как лингвист по образованию. Я вам дам тезисы, а вы их разовьете в свете последних достижений лингвистики... Или какая там у вас тема диссертации?

— У меня «Особенности стиля и ритмики женской прозы позднего Хэйана» на материале «Макура-но соси», — сказал Перец. — Боюсь, что...

— Пре-вос-ход-но! Это именно то, что нужно. И подчеркните, что не болота и трясины, а великолепные грязелечебницы; не прыгающие деревья, а продукт высокоразвитой науки; не туземцы, не дикари, а древняя цивилизация людей гордых, свободных, с высокими помыслами, скромных и могущественных. И никаких русалок! Никакого лилового тумана, никаких туманных намеков — простите меня за неудачный каламбур... Это будет превосходно, мингер Перец, это будет замечательно. И это очень хорошо, что вы знаете лес, можете поделиться своими личными впечатлениями. Моя лекция была тоже хороша, однако, боюсь, несколько умозрительна. В качестве основного материала я использовал протоколы заседаний. А вы, как исследователь леса...

— Я не исследователь леса, — сказал Перец убедительно. — Меня в лес не пускают. Я не знаю леса.

Проконсул, рассеянно кивая, что-то быстро писал на манжете.

— Да, — говорил он. — Да, да. К сожалению, это горькая правда. К сожалению, это у нас еще встречается — формализм, бюрократизм, эвристический подход к личности... Об этом вы, между прочим, тоже можете сказать. Можете, можете, об этом все говорят. А я попытаюсь согласовать ваше выступление с дирекцией. Я чертовски рад, Перец, что вы наконец примете участие в нашей работе. Я уже давно и очень внимательно приглядываюсь к вам... Вот так, я вас записал на следующую неделю.

Перец выключил «мерседес».

— Меня не будет на следующей неделе. У меня кончилась виза, и я уезжаю. Завтра.

— Ну, это мы как-нибудь уладим. Я пойду к директору, он сам член клуба, он поймет. Считайте, что вы остались еще на неделю.

— Не надо, — сказал Перец. — Не надо!

— Надо! — сказал Проконсул, глядя ему в глаза. — Вы отлично знаете, Перец: надо! До свидания.

Он поднес два пальца к виску и удалился, помахивая портфелем.

— Паутина какая-то, — сказал Перец. — Что я им — муха? Менеджер не хочет, чтобы я уезжал, Алевтина не хочет, а теперь и этот тоже...

— Я тоже не хочу, чтобы ты уезжал, — сказал Ким.

— Но я не могу здесь больше!

— Семьсот восемьдесят семь умножить на четыреста тридцать два...

Все равно я уеду, думал Перец, нажимая на клавиши. Все равно я уеду. Вы не хотите себе, а я уеду. Не буду я играть с вами в пинг-понг, не буду играть в шахматы, не буду я с вами спать и пить чай с вареньем, не хочу я больше петь вам песни, считать вам на «мерседесе», разбирать ваши споры, а теперь еще читать вам лекции, которых вы все равно не поймете. И думать за вас я не буду, думайте сами, а я уеду. Уеду. Уеду. Все равно вы никогда не поймете, что думать — это не развлечение, а обязанность...

Снаружи, за недостроенной стеной, тяжко бухала баба, стучали пневматические молотки, с грохотом сыпался кирпич, а на стене рядком сидели четверо рабочих, голых по пояс, в фуражках, и курили. Потом под самым окном заревел и затрещал мотоцикл.

— Из леса кто-то, — сказал Ким. — Скорее умножь мне шестнадцать на шестнадцать.

Дверь рванули, и в комнату вбежал человек. Он был в комбинезоне, отстегнутый капюшон болтался у него на груди на шнурке рации. От башмаков до пояса комбинезон щетинился бледно-розовыми стрелками молодых побегов, а правая нога была опутана оранжевой плетью лианы бесконечной длины, волочащейся по полу. Лиана еще подергивалась, и Перецу показалось, что это щупальце самого леса, что оно сейчас напряжется и потянет человека обратно — через коридоры Управления, вниз по лестнице, по двору мимо стены, мимо столовой и мастерских и снова вниз, по пыльной улице, через парк, мимо статуй и павильонов, к въезду на серпантин, к воротам, но не в ворота, а мимо, к обрыву, вниз...

Он был в мотоциклетных очках, лицо его было густо припорошено пылью, и Перец не сразу понял, что это Стоян Стоянов с биостанции. В руке у него был большой бумажный кулек. Он сделал несколько шагов по кафельному полу, по мозаике, изображающей женщину под душем, и остановился перед Кимом, спрятав бумажный кулек за спину и делая странные движения головой, словно у него чесалась шея.

— Ким, — сказал он. — Это я.

Ким не отвечал. Слышно было, как его перо рвет и царапает бумагу.

— Кимушка, — заискивающе сказал Стоян. — Я ведь тебя умоляю.

— Пошел вон, — сказал Ким. — Маньяк.

— В последний разочек, — сказал Стоян. — В самый распоследний.

Он снова сделал движение головой, и Перец увидел на его тощей подбритой шее, в самой ямочке под затылком, коротенький розоватый побег, тоненький, острый, уже завивающийся спиралью, дрожащий, как от жадности.

— Ты только передай и скажи, что от Стояна, и больше ничего. Если в кино станет звать, соври, что срочная вечерняя работа. Если будет чаем угощать, скажи, мол, только что пил. И от вина тоже откажись, если предложит. А? Кимушка! В самый наираспоследнейший!

— Что ты ежишься? — спросил Ким со злостью. — А ну-ка повернись!

— Опять подхватил? — спросил Стоян, поворачиваясь. — Ну, это неважно. Ты только передай, а остальное все неважно.

Ким, перегнувшись через стол, что-то делал с его шеей, что-то уминал и массировал, растопырив локти, брезгливо скалясь и бормоча ругательства. Стоян терпеливо переминался с ноги на ногу, наклонив голову и выгнув шею.

— Здравствуй, Перчик, — говорил он. — Давно я тебя не видел. Как ты тут? А я вот опять привез, что ты будешь делать... В самый разнаипоследнейший. — Он развернул бумагу и показал Перецу букетик ядовито-зеленых лесных цветов. — А пахнут-то как! Пахнут!

— Да не дергайся ты, — прикрикнул Ким. — Стой смирно! Маньяк, шляпа!

— Маньяк, — с восторгом соглашался Стоян. — Шляпа. Но! В самый разнаипоследнейший!

Розовые побеги на его комбинезоне уже увядали, сморщивались и осыпались на пол, на кирпичное лицо женщины под душем.

— Все, — сказал Ким. — Убирайся.

Он отошел от Стояна и бросил в мусорное ведро что-то полуживое, корчащееся, окровавленное.

— Убираюсь, — сказал Стоян. — Немедленно убираюсь. А то ведь, знаешь, у нас Рита опять начудила, я теперь с биостанции и уезжать как-то боюсь. Перчик, ты бы приехал к нам, поговорил бы с ними, что ли...

— Еще чего! — сказал Ким. — Нечего там Перецу делать.

— Как это нечего? — вскричал Стоян. — Квентин просто на глазах тает! Ты послушай только: неделю назад Рита сбежала — ну ладно, ну что поделаешь... А этой ночью вернулась вся мокрая, белая, ледяная. Охранник было к ней сунулся с голыми руками — что-то она с ним такое сделала, до сих пор валяется без памяти. И весь опытный участок зарос травой.

— Ну? — сказал Ким.

— А Квентин все утро плакал...

— Это я все знаю, — перебил его Ким. — Я не понимаю, при чем здесь Перец.

— Ну как при чем? Ну что ты говоришь? Кто же еще, если не Перец? Не я ведь, верно? И не ты... Не Домарощинера же звать, Клавдия-Октавиана!

— Хватит! — сказал Ким, хлопнув ладонью по столу. — Убирайся работать, и чтобы я тебя здесь в рабочее время не видел. Не зли меня.

— Всё, — торопливо сказал Стоян. — Всё. Ухожу. А ты передашь?

Он положил букет на стол и выбежал вон, крикнув в дверях: «И клоака снова заработала...»

Ким взял веник и смел всё осыпавшееся в угол.

— Безумный дурак, — сказал он. — И Рита эта... Теперь все пересчитывай заново. Провалиться им с этой любовью...

Под окном снова раздражающе затрещал мотоцикл, и снова все стихло, только бухала баба за стеной.

— Перец, — сказал Ким, — а зачем ты был утром на обрыве?

— Я надеялся повидать директора. Мне сказали, что он иногда делает над обрывом зарядку. Я хотел попросить его, чтобы он отправил меня, но он не пришел. Ты знаешь, Ким, по-моему, здесь все врут. Иногда мне кажется, что даже ты врешь.

— Директор, — задумчиво сказал Ким. — А ведь это, пожалуй, мысль. Ты молодец. Это смело...

— Все равно я завтра уеду, — сказал Перец. — Тузик меня отвезет, он обещал. Завтра меня здесь не будет, так и знай.

— Не ожидал, не ожидал, — продолжал Ким, не слушая. — Очень смело... Может, действительно послать тебя туда — разобраться?

Глава вторая КАНДИД

Кандид проснулся и сразу подумал: послезавтра я ухожу. И сейчас же в другом углу Нава зашевелилась на своей постели и спросила:

— Ты уже больше не спишь?

— Нет, — ответил он.

— Давай тогда поговорим, — предложила она. — А то мы со вчерашнего вечера не говорили. Давай?

— Давай.

— Ты мне сначала скажи, когда ты уходишь.

— Не знаю, — сказал он. — Скоро.

— Вот ты всегда говоришь: скоро. То скоро, то послезавтра, ты, может быть, думаешь, что это одно и то же, хотя нет, теперь ты говорить уже научился, а вначале все время путался, дом с деревней путал, траву с грибами, даже мертвяков с людьми и то путал, а то еще начинал бормотать, ни слова не понятно, никто тебя понять не мог...

Он открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку шли рабочие муравьи. Они двигались двумя ровными колоннами, слева направо нагруженные, справа налево порожняком. Месяц назад было наоборот: справа налево — с грибницей, слева направо — порожняком. И через месяц будет наоборот, если им не укажут делать что-нибудь другое. Вдоль колонн редкой цепью стояли крупные черные сигнальщики, стояли неподвижно, медленно поводя длинными антеннами, и ждали приказов. Месяц назад я тоже просыпался и думал, что послезавтра ухожу, и никуда мы не ушли, и еще когда-то, задолго до этого, я просыпался и думал, что послезавтра мы наконец уходим, и мы, конечно, не ушли, но если мы не уйдем послезавтра, я уйду один. Конечно, так я уже тоже думал когда-то, но теперь-то уж я обязательно уйду. Хорошо бы уйти прямо сейчас, ни с кем не разговаривая, никого не упрашивая, но так можно сделать только с ясной головой, не сейчас. А хорошо бы решить раз и навсегда: как только я проснусь с ясной головой, я тотчас же встаю, выхожу на улицу и иду в лес, и никому не даю заговорить со мной, это очень важно — никому не дать заговорить с собой, заговорить себя, занудить голову, особенно вот эти места над глазами, до звона в ушах, до тошноты, до мути в мозгу и в костях. А ведь Нава уже говорит...

— ...И получилось так, — говорила Нава, — что мертвяки вели нас

ночью, а ночью они плохо видят, совсем слепые, это тебе всякий скажет, вот хотя бы Горбун, хотя он не здешний, он из той деревни, что была по соседству с нашей, не с этой нашей, где мы сейчас с тобой, а с той, где я была без тебя, где я с мамой жила, так что ты Горбуна знать не можешь, в его деревне все заросло грибами, грибница напала, а это не всякому нравится, Горбун вот сразу ушел из деревни. Одержание произошло, говорит, и в деревне теперь делать людям нечего... Во-от. А луны тогда не было, и они, наверное, дорогу потеряли, сбились все в кучу, а мы в середине, и жарко стало, не продохнуть...

Кандид посмотрел на нее. Она лежала на спине, закинув руки за голову и положив ногу на ногу, и не шевелилась, только непрестанно двигались ее губы да время от времени поблескивали в полутьме глаза. Когда вошел старец, она не перестала говорить, а старец подсел к столу, придвинул к себе горшок, шумно, с хлюпаньем, понюхал и принялся есть. Тогда Кандид поднялся и обтер ладонями с тела ночной пот. Старец чавкал и брызгал, не спуская глаз с корытца, закрытого от плесени крышкой. Кандид отобрал у него горшок и поставил рядом с Навой, чтобы она замолчала. Старец обсосал губы и сказал:

— Невкусно. К кому ни придешь теперь, везде невкусно. И тропинка эта заросла совсем, где я тогда ходил, а ходил я много — и на дрессировку, и просто выкупаться, я в те времена часто купался, там было озеро, а теперь стало болото, и ходить стало опасно, но кто-то все равно ходит, потому что иначе откуда там столько утопленников? И тростник. Я любого могу спросить: откуда там в тростнике тропинки? И никто не может этого знать, да и не следует. А что это у вас в корытце? Если, например, ягода моченая, то я бы ее поел, моченую ягоду я люблю, а если просто что-нибудь вчерашнее, огрызки какие-нибудь, то не надо, я их есть не буду, сами ешьте огрызки. — Он подождал, переводя взгляд с Кандида на Наву и обратно. Не дождавшись ответа, он продолжал: — А там, где тростник пророс, там уже не сеять. Раньше сеяли, потому что нужно было для Одержания, и всё везли на Глиняную поляну, теперь тоже возят, но теперь там на поляне не оставляют, а привозят обратно. Я говорил, что нельзя, но они не понимают, что это такое: нельзя. Староста меня прямо при всех спросил: почему нельзя? Тут вот Кулак стоит, как ты, даже ближе, тут вот, скажем, Слухач, а тут вот, где Нава твоя, тут стоят братья Плешаки, все трое стоят и слушают, и он меня при них при всех спрашивает. Я ему говорю, как же ты можешь, мы же, говорю, с тобой не вдвоем тут... Отец у него был умнейший человек, а может, он и не отец ему вовсе, некоторые говорили, что не отец, и вправду не похож. Почему, говорит, при всех

нельзя спросить, почему нельзя?

Нава поднялась, передала горшок Кандиду и занялась уборкой. Кандид стал есть. Старец замолчал, некоторое время смотрел на него, жуя губами, а потом заметил:

— Не добродила у вас еда, есть такое нельзя.

— Почему нельзя? — спросил Кандид, чтобы позлить.

Старец хихикнул.

— Эх ты, Молчун, — сказал он. — Ты бы уж лучше, Молчун, молчал. Ты вот лучше мне расскажи, давно я уже у тебя спрашиваю: очень это болезненно, когда голову отрезают?

— А тебе-то какое дело? — крикнула Нава. — Что ты все допытываешься?

— Кричит, — сообщил старец. — Покрикивает на меня. Ни одного еще не родила, а покрикивает. Ты почему не рожаешь? Сколько с Молчуном живешь, а не рожаешь. Все рожают, а ты нет. Так поступать нельзя. А что такое «нельзя», ты знаешь? Это значит: не желательно, не одобряется, а поскольку не одобряется, значит, поступать так нельзя. Что можно — это еще неизвестно, а уж что нельзя — то нельзя. Это всем надлежит понимать, а тебе тем более, потому что в чужой деревне живешь, дом тебе дали, Молчуна вот в мужья пристроили. У него, может быть, голова и чужая, пристроенная, но телом он здоровый, и рожать тебе отказываться нельзя. Вот и получается, что «нельзя» — это самое что ни на есть нежелательное...

Нава, злая и надутая, схватила со стола корытце и ушла в чулан. Старец поглядел ей вслед, посопел и продолжал:

— Как еще можно понимать «нельзя»? Можно и нужно понимать так, что «нельзя» — вредно...

Кандид доел, поставил со стуком порожний горшок перед старцем и вышел на улицу. Дом сильно зарос за ночь, и в густой поросли вокруг видна была только тропинка, протоптанная старцем, и место у порога, где старец сидел и ждал, ерзая, пока они проснутся. Улицу уже расчистили, зеленый ползун толщиной в руку, вылезший вчера из переплетения ветвей над деревней и пустивший корни перед соседским домом, был порублен, облит бродилом, потемнел и уже закис. От него остро и аппетитно пахло, и соседовы ребятишки, обсев его, рвали бурую мякоть и набивали рты сочными брызжущими комками. Когда Кандид проходил, старший невнятно крикнул набитым ртом: «Молчак-мертвяк!» Но его не поддержали — были заняты. Больше на улице, оранжевой и красной от высокой травы, в которой тонули дома, сумрачной, покрытой неяркими

зелеными пятнами от солнца, пробивающегося сквозь лесную кровлю, никого не было. С поля доносился нестройный хор скучных голосов: «Эй, сей веселей, вправо сей, влево сей...» В лесу откликалось эхо. А может быть, и не эхо. Может быть, мертвяки.

Колченог, конечно, сидел дома и массировал ногу.

— Садись, — сказал он Кандиду приветливо. — Вот тут я мягкой травки постелил для гостей. Уходишь, говорят?

Опять, подумал Кандид, опять все сначала.

— Что, опять разболелась? — спросил он, усаживаясь.

— Нога-то? Да нет, просто приятно. Гладишь ее вот так, и хорошо. А когда уходишь?

— Да как мы с тобой договаривались. Если бы ты со мной пошел, то хоть послезавтра. А теперь придется искать другого человека, который знает лес. Ты ведь, я вижу, идти не хочешь.

Колченог осторожно вытянул ногу и сказал вразумляюще:

— Как от меня выйдешь, поворачивай налево и ступай до самого поля. По полю — мимо двух камней, сразу увидишь дорогу, она мало заросла, потому что там валуны. По этой дороге две деревни пройдешь, одна пустая, грибная, грибами она поросла, так там не живут, а в другой живут чудаки, через них два раза синяя трава проходила, с тех пор там болеют, и заговаривать с ними не надо, все равно они ничего не понимают, память у них как бы отшибло. А за той чудаковой деревней по правую руку и будет тебе твоя Глиняная поляна. И никаких тебе провожатых не надо, сам спокойненько дойдешь и не вспотеешь.

— До Глиняной поляны мы дойдем, — согласился Кандид. — А вот дальше как?

— Куда дальше?

— Через болото, где раньше озера были. Помнишь, ты про каменную дорогу рассказывал?

— Это про какую же дорогу? До Глиняной поляны? Так я же тебе втолковываю: поверни налево, иди до поля, до двух камней...

Кандид дослушал и сказал:

— До Глиняной поляны я дорогу теперь знаю. Мы дойдем. Но мне нужно дальше, ты же знаешь. Мне необходимо добраться до Города, а ты обещал показать дорогу.

Колченог сочувственно покачал головой.

— До Го-о-орода!.. Вот ты куда нацелился. Помню, помню... Так до Города, Молчун, не дойти. До Глиняной поляны, например, это просто: мимо двух камней, через грибную деревню, через чудакову деревню, а там

по правую руку и будет тебе Глиняная поляна. Или, скажем, до Тростников. Тут уж поворачивай от меня направо, через редколесье, мимо Хлебной лужи, а там все время за солнцем. Куда солнце, туда и ты. Трое суток идти, но если тебе уж так надо — пойдем. Мы там горшки добывали раньше, пока здесь свои не рассадили. Тростники я знаю хорошо. Ты бы так и говорил, что до Тростников. Тогда и до послезавтра ждать нечего, завтра утром и выйдем, и еды нам с собой брать не надо, раз там Хлебная лужа... Ты, Молчун, говоришь больно коротко: только начнешь к тебе прислушиваться, а ты уже и рот закрыл. А в Тростники пойдем. Завтра утром и пойдем...

Кандид дослушал и сказал:

— Понимаешь, Колченог, мне не надо в Тростники. В Тростники мне не надо. Не надо мне в Тростники. — Колченог внимательно слушал и кивал. — А надо мне в Город, — продолжал Кандид. — Мы с тобой уже давно об этом говорим. Я тебе вчера говорил, что мне надо в Город. Позавчера говорил, что мне надо в Город. Неделю назад говорил, что мне надо в Город. Ты сказал, что знаешь до Города дорогу. Это ты вчера сказал. И позавчера говорил, что знаешь до Города дорогу. Не до Тростников, а до Города. Мне не надо в Тростники. («Только бы не сбиться, — подумал он. — Может быть, я все время сбиваюсь. Не Тростники, а Город. Город, а не Тростники».) Город, а не Тростники, — повторил он вслух. — Понимаешь? Расскажи мне про дорогу до Города. Не до Тростников, а до Города. А еще лучше — пойдем до Города вместе. Не до Тростников пойдем вместе, а до Города пойдем вместе.

Он замолчал. Колченог снова принялся оглаживать больное колено.

— Наверное, тебе, Молчун, когда голову отрезали, что-нибудь внутри повредили. Это как у меня нога. Сначала была нога ногой, самая обыкновенная, а потом шел я однажды ночью через Муравейники, нес муравьиную матку, и эта нога попала у меня в дупло, и теперь кривая. Почему кривая, никто не знает, а ходит она плохо. Но до Муравейников дойду. И сам дойду, и тебя доведу. Только не пойму, зачем ты сказал, чтобы я пищу на дорогу готовил, до Муравейников тут рукой подать. — Он посмотрел на Кандида, смутился и открыл рот. — Так тебе же не в Муравейники, — сказал он. — Тебе же куда? Тебе же в Тростники. А я не могу в Тростники, не дойду. Видишь, нога кривая. Слушай, Молчун, а почему ты так не хочешь в Муравейники? Давай пойдем в Муравейники, а? Я ведь с тех пор так и не бывал там ни разу, может, их, Муравейников, уже и нету. Дупло то поищем, а?

«Сейчас он меня собьет», — подумал Кандид. Он наклонился набок и

подкатил к себе горшок.

— Хороший какой у тебя горшок, — сказал он. — И не помню, где я в последний раз видел такие хорошие горшки... Так ты меня проводишь до Города? Ты говорил, что никто, кроме тебя, дорогу до Города не знает. Пойдем до Города, Колченог. Как ты думаешь, дойдем мы до Города?

— А как же! Дойдем! До Города? Конечно, дойдем. А горшки такие ты видел, я знаю где. У чудаков такие горшки. Они их, понимаешь, не выращивают, они их из глины делают, у них там близко Глиняная поляна, я тебе говорил: от меня сразу налево и мимо двух камней до грибной деревни. А в грибной деревне никто уже не живет, туда и ходить не стоит. Что мы, грибов не видели, что ли? Когда у меня нога здоровая была, я никогда в эту грибную деревню не ходил, знаю только, что от нее за двумя оврагами чудаки живут. Да. Можно было бы завтра и выйти... Да... Слушай, Молчун, а давай мы туда не пойдем. Не люблю я эти грибы. Понимаешь, у нас в лесу грибы — это одно, их кушать можно, они вкусные. А в той деревне грибы зеленые какие-то, и запах от них дурной. Зачем тебе туда? Еще грибницу сюда занесешь. Пойдем мы лучше в Город. Гораздо приятнее. Только тогда завтра не выйти. Тогда еду надо запасать, расспросить нужно про дорогу. Или ты дорогу знаешь? Если знаешь, тогда я не буду расспрашивать, а то я что-то и не соображу, у кого бы это спросить. Может, у старосты спросить, как ты думаешь?

— А разве сам ты про дорогу в Город ничего не знаешь? — спросил Кандид. — Ты про эту дорогу много знаешь. Ты даже один раз почти до Города дошел, но испугался мертвяков, испугался, что один не отобьешься...

— Мертвяков я не боялся и не боюсь, — возразил Колченог. — Я тебе скажу, чего я боюсь: как мы с тобой идти будем, вот чего я боюсь. Ты так все время и будешь молчать? Я ведь так не умею. И еще чего я боюсь... Ты не обижайся на меня, Молчун, ты мне скажи, а громко не хочешь говорить, так шепотом скажи или даже просто кивни, а если уж и кивать не хочешь, так вот правый глаз у тебя в тени, ты его и прикрой, никто не увидит, один я увижу. А вопрос у меня такой: может быть, ты все-таки немножечко мертвяк? Я ведь мертвяков не терплю, у меня от них дрожь начинается, и ничего я с собой не могу поделать...

— Нет, Колченог, я не мертвяк, — сказал Кандид. — Я их и сам не выношу. А если ты боишься, что я буду молчать, так мы ведь не вдвоем пойдем, я тебе уже говорил. С нами Кулак пойдет, и Хвост, и еще два мужика из Выселок.

— С Кулаком я не пойду, — решительно сказал Колченог. — Кулак у

меня дочь мою за себя взял и не уберег. Угнали у него мою дочку. Мне не то жалко, что он взял, а то мне жалко, что не уберег. Шел он с нею в Выселки, подстерегли его воры и дочку отобрали, а он и отдал. Сколько я потом с твоей Навой ее искал, так и не нашел. Нет, Молчун, с ворами шутки плохи. Если бы мы с тобой в Город пошли, от воров бы покою не было. То ли дело в Тростники, туда можно без всяких колебаний идти. Завтра и выйдем.

— Послезавтра, — сказал Кандид. — Ты пойдешь, я пойду, Кулак, Хвост и еще двое из Выселок. Так до самого Города и дойдем.

— Вшестером дойдем, — уверенно сказал Колченог. — Один бы я не дошел, конечно, а вшестером дойдем. Вшестером мы до самых Чертовых гор дойдем, только я дороги туда не знаю. А может, пошли до Чертовых гор? Далеко очень, но вшестером дойдем. Или тебе не надо на Чертовы горы? Слушай, Молчун, давай до Города доберемся, а там уже и посмотрим. Пищи нужно только набрать побольше.

— Хорошо, — сказал Кандид, поднимаясь. — Значит, послезавтра выходим в Город. Завтра я схожу на Выселки, потом тебя повидаю и еще разок напомню.

— Заходи, — сказал Колченог. — Я бы и сам к тебе зашел, да вот нога у меня болит — сил нет. А ты заходи. Поговорим. Я знаю, многие с тобой говорить не любят, очень с тобой трудно говорить, Молчун, но я не такой. Я уже привык, и мне даже нравится. И сам приходи, и Наву приводи, хорошая она у тебя, Нава твоя, детей вот только у нее нет, ну да еще будут, молодая она у тебя...

На улице Кандид снова обтер с себя ладонями пот. Продолжение следовало. Рядом кто-то хихикнул и закашлялся. Кандид обернулся. Из травы поднялся старец, погрозил узловатым пальцем и сказал:

— В Город, значит, нацелились. Интересно затеяли, да только до Города никто еще живым не доходил, да и нельзя. Хоть у тебя голова и переставленная, а это ты понимать должен...

Кандид свернул направо и пошел по улице. Старец, путаясь в траве, некоторое время плелся следом, бормотал: «Если нельзя, то всегда в каком-нибудь смысле нельзя, в том или ином... Например, нельзя без старосты или без собрания, а со старостой или с собранием, наоборот, можно, но опять же не в любом смысле...» Кандид шел быстро, насколько позволяла томная влажная жара, и старец понемногу отстал.

На деревенской площади Кандид увидел Слухача. Слухач, пошатываясь и заплетая кривые ноги, ходил кругами, расплескивая пригоршнями коричневый травобой из огромного горшка, подвешенного на животе. Трава позади него дымилась и жухла на глазах. Слухача надо было

миновать, и Кандид попытался его миновать, но Слухач так ловко изменил траекторию, что столкнулся с Кандидом носом к носу.

— А-а, Молчун! — радостно закричал он, поспешно снимая с шеи ремень и ставя горшок на землю. — Куда идешь, Молчун? Домой, надо думать, идешь, к Наве, дело молодое, а не знаешь ты, Молчун, что Навы твоей дома нету, Нава твоя на поле, вот этими глазами видел, как Нава на поле пошла, хочешь теперь верь, хочешь не верь... Может, конечно, и не на поле, дело молодое, да только пошла твоя Нава, Молчун, по во-он тому переулку, а по тому переулку, кроме как на поле, никуда не выйдешь, да и куда ей, спрашивается, идти, твоей Наве? Тебя, Молчуна, может, разве искать...

Кандид снова попытался его обойти и снова каким-то образом оказался с ним носом к носу.

— Да и не ходи ты за ней на поле, Молчун, — продолжал Слухач убедительно. — Зачем тебе за нею ходить, когда я вот сейчас траву побью и всех сюда созову: землемер тут приходил и сказал, что ему староста велел, чтобы он мне сказал траву на площади побить, потому что скоро будет тут собрание, на площади. А как будет собрание, так все сюда с поля и заявятся, и Нава твоя заявится, если она на поле пошла, а куда ей еще по тому переулку идти, хотя, подумавши-то, по тому переулку и не только на поле попасть можно. А можно ведь...

Он вдруг замолчал и судорожно вздохнул. Глаза его зажмурились, руки как бы сами собой поднялись ладонями вверх. Лицо расплылось в сладкой улыбке, потом оскалилось и обвисло. Кандид, уже шагнувший было в сторону, остановился послушать. Мутное лиловатое облачко сгустилось вокруг голой головы Слухача, губы его затряслись, и он заговорил быстро и отчетливо, чужим, каким-то дикторским голосом, с чужими интонациями, чужим, не деревенским стилем и словно бы даже на чужом языке, так что понятными казались только отдельные фразы:

— На дальних окраинах Южных земель в битву вступают все новые... Отодвигается все дальше и дальше на юг... Победного передвижения... Большое разрыхление почвы в Северных землях ненадолго прекращено из-за отдельных и редких... Новые приемы заболачивания дают новые обширные места для покоя и нового продвижения на... Во всех поселениях... Большие победы... Труд и усилия... Новые отряды подруг... Завтра и навсегда спокойствие и слияние...

Подоспевший старец стоял у Кандида за плечом и разъяснял азартно: «Во всех поселениях, слышал?.. Значит, и в нашем тоже... Большие победы! Все время ведь твержу: нельзя... Спокойствие и слияние — понимать же

надо... И у нас, значит, тоже, раз во всех... И новые отряды подруг, понял?..»

Слухач замолчал и опустился на корточки. Лиловое облачко растаяло. Старец нетерпеливо постучал Слухача по лысому темени. Слухач заморгал, потер себе уши.

— О чем это я? — сказал он. — Передача, что ли, была? Как там Одержание? Исполняется или как?.. А на поле ты, Молчун, не ходи. Ты ведь, полагаю, за своей Навой идешь, а Нава твоя...

Кандид перешагнул через горшок с травобоем и поспешно пошел прочь. Старца вскоре не стало слышно — то ли он сцепился со Слухачом, то ли запыхался и зашел в какой-нибудь дом отдышаться и заодно перекусить.

Дом Кулака стоял на самой окраине. Замурзанная старуха, не то мать, не то тетка, сказала, недоброжелательно фыркая, что Кулака дома нету, Кулак в поле, а если бы был в доме, то искать его в поле было бы нечего, а раз он в поле, то чего ему, Молчуну, тут зря стоять.

В поле сеяли. Душный стоячий воздух был пропитан крепкой смесью запахов, разило потом, бродилом, гниющими злаками. Утренний урожай толстым слоем был навален вдоль борозды, зерно уже тронулось. Над горшками с закваской толклись и крутились тучи рабочих мух, и в самой гуще этого черного, отсвечивающего металлом круговорота стоял староста и, наклонив голову и прищурив один глаз, внимательно изучал каплю сыворотки на ногте большого пальца. Ноготь был специальный, плоский, тщательно отполированный, до блеска отмытый нужными составами. Мимо ног старосты по борозде в десяти шагах друг от друга гуськом ползли сеятели. Они больше не пели, но в глубине леса все еще гукало и ахало, и теперь было ясно, что это не эхо.

Кандид пошел вдоль цепи, наклоняясь и заглядывая в опущенные лица. Отыскав Кулака, он тронул его за плечо, и Кулак сразу же, ни о чем не спрашивая, вылез из борозды. Борода его была забита грязью.

— Чего, шерсть на носу, касаешься? — прохрипел он, глядя Кандиду в ноги. — Один вот тоже, шерсть на носу, касался, так его взяли за руки — за ноги и на дерево закинули, там он до сих пор висит, а когда снимут, так больше уже касаться не будет, шерсть на носу...

— Идешь? — коротко спросил Кандид.

— Еще бы не иду, шерсть на носу, когда закваски на семерых наготовил, в дом не войти, воняет, жить невозможно, как же теперь не идти — старуха выносить не желает, а сам я на это уже смотреть не могу. Да только куда идем? Колченог вчера говорил, что в Тростники, а я в Тростники не пойду, шерсть на носу, там и людей-то в Тростниках нет, не

то что девок, там если человек захочет кого за ногу взять и на дерево закинуть, шерсть на носу, так некого, а мне без девки жить больше невозможно, меня староста со свету сживет... Вон стоит, шерсть на носу, глаз вылупил, а сам слепой, как пятка, шерсть на носу... Один вот так стоял, дали ему в глаз, больше не стоит, шерсть на носу, а в Тростники я не пойду, как хочешь...

— В Город, — сказал Кандид.

— В Город — другое дело, в Город я пойду, тем более, говорят, что никакого Города вообще и нету, а врет о нем этот старый пень — придет утром, половину горшка выест и начинает, шерсть на носу, плести: то нельзя, это нельзя... Я его спрашиваю: а кто ты такой, чтобы мне объяснять, что мне нельзя, а что можно, шерсть на носу? Не говорит, сам не знает, про Город какой-то бормочет...

— Выходим послезавтра, — сказал Кандид.

— А чего ждать? — возмутился Кулак. — Почему это послезавтра? У меня в доме ночевать невозможно, закваска смердит, пошли лучше сегодня вечером, а то вот так один ждал-ждал, а как ему дали по ушам, так он и ждать перестал, и до сих пор не ждет... Старуха же ругается, житья нет, шерсть на носу! Слушай, Молчун, давай старуху мою возьмем, может, ее воры отберут, я бы отдал, а?

— Послезавтра выходим, — терпеливо повторил Кандид. — И ты молодец, что закваски приготовил много. Из Выселок, знаешь...

Он не закончил, потому что на поле закричали.

— Мертвяки! Мертвяки! — заорал староста. — Женщины, домой! Домой бегите!

Кандид огляделся. Между деревьями на самом краю поля стояли мертвяки: двое синих совсем близко и один желтый поодаль. Головы их с круглыми дырами глаз и с черной трещиной на месте рта медленно поворачивались из стороны в сторону, огромные руки плетьми висели вдоль тела. Земля под их ступнями уже курилась, белые струйки пара мешались с сизым дымком.

Мертвяки эти видали виды и поэтому держались крайне осторожно. У желтого весь правый бок был изъеден травобоем, а оба синих сплошь обросли лишаями ожогов от бродила. Местами шкура на них отмерла, полопалась и свисала лохмотьями. Пока они стояли и присматривались, женщины с визгом убежали в деревню, а мужики, угрожающе и многословно бормоча, сбились в толпу с горшками травобоя наготове.

Потом староста сказал: «Чего стоим, спрашивается? Пошли, чего стоять!» — и все неторопливо двинулись на мертвяков, рассыпаясь в цепь.

«В глаза! — покрикивал староста. — Старайтесь в глаза им плеснуть! В глаза бы попасть хорошо, а иначе толку мало, если не в глаза...» В цепи пугали: «Гу-гу-гу! А ну, пошли отсюда! А-га-га-га-га!» Связываться никому не хотелось.

Кулак шел рядом с Кандидом, выдирая из бороды засохшую грязь, кричал громче других, а между криками рассуждал: «Да не-ет, зря идем, шерсть на носу, не устоят они, сейчас побегут... Разве это мертвяки? Драные какие-то, где им устоять... Гу-гу-гу-у! Вы!» Подойдя к мертвякам шагов на двадцать, люди остановились. Кулак бросил в желтого ком земли, тот с необычайным проворством выбросил вперед широкую ладонь и отбил ком в сторону. Все снова загугукали и затопали ногами, некоторые показывали мертвякам горшки и делали угрожающие движения. Травобоя было жалко, и никому не хотелось потом тащиться в деревню за новым бродилом, мертвяки были битые, осторожные — должно было обойтись и так.

И обошлось. Пар и дым из-под ног мертвяков пошел гуще, мертвяки попятились. «Ну, всё, — сказали в цепи, — не устояли, сейчас вывернутся...» Мертвяки неуловимо изменились, словно повернулись внутри собственной шкуры. Не стало видно ни глаз, ни рта — они стояли спиной. Через секунду они уже уходили, мелькая между деревьями. Там, где они только что стояли, медленно оседало облако пара.

Люди, оживленно галдя, двинулись обратно к борозде. Выяснилось вдруг, что пора уже идти в деревню на собрание. Пошли на собрание. «На площадь ступайте, на площадь... — повторял каждому староста. — На площади собрание будет, так что идти надо на площадь...» Кандид искал глазами Хвоста, но Хвоста в толпе что-то не было видно. Пропал куда-то Хвост. Кулак, трусивший рядом, говорил:

— А помнишь, Молчун, как ты на мертвяка прыгал? Как он, понимаешь, на него прыгнет, шерсть на носу, да как его за голову ухватит, обнял, будто свою Наву, шерсть на носу, да как заорет... Помнишь, Молчун, как ты заорал? Обжегся, значит, ты, потом весь в волдырях ходил, мокли они у тебя, болели. Зачем же ты на него прыгал, Молчун? Один вот так на мертвяка прыгал-прыгал, слупили с него кожу на пузе, больше теперь не прыгает, шерсть на носу, и детям прыгать закажет... Говорят, Молчун, ты на него прыгал, чтобы он тебя в Город унес, да ведь ты же не девка, чего он тебя понесет, да и Города, говорят, никакого нет, это все этот старый пень выдумывает слова разные — Город, Одержание... А кто его, это Одержание, видел? Слухач пьяных жуков наглотается, как пойдет плести, а старый пень тут как тут, слушает, а потом бродит везде, жрет чужое и повторяет...

— Я завтра с утра на Выселки иду, — сказал Кандид. — Вернусь только к вечеру, днем меня не будет. Ты повидай Колченога и напомни ему про послезавтра. Я напоминал и еще напоминать буду, но и ты тоже напомни, а то еще убредет куда-нибудь...

— Напомню, — пообещал Кулак. — Я ему так напомню, что последнюю ногу отломаю.

На площадь сошлась вся деревня, болтали, толкались, сыпали на пустую землю семена — выращивали подстилки, чтобы мягко было сидеть. Под ногами путались детишки, их возили за вихры и за уши, чтобы не путались. Староста, бранясь, отгонял колонну плохо обученных муравьев, потащивших было личинки рабочей мухи прямо через площадь, допрашивал окружающих, по чьему же это приказу муравьи здесь идут и что же это такое за безобразие. Подозревали Слухача и Кандида, но точно выяснить было уже невозможно.

Кандид отыскал Хвоста, хотел заговорить с ним, но не успел, потому что собрание было объявлено, и первым, как всегда, полез выступать старец. О чем он выступал, понять было невозможно, однако все сидели смирно, прислушивались и шикали на возившихся ребятишек, чтобы не возились. Некоторые, устроившись особенно удобно — подальше от горячих солнечных пятен, — дремали.

Старец долго распространялся о том, что такое «нельзя» и в каких оно встречается смыслах, призывал к поголовному Одержанию, грозился победами на Севере и на Юге, бранил деревню, а заодно и Выселки, что везде есть новые отряды подруг, а ни в деревне, ни на Выселках — нет, и ни спокойствия нет, ни слияния, и происходит это оттого, что люди забыли слово «нельзя» и вообразили себе, будто теперь все можно, а Молчун, например, так и вовсе хочет уйти в Город, хотя его никто туда не вызывал, деревня за это ответственности не несет, потому что он чужой, но если окажется вдруг, что он все-таки мертвяк, а такое мнение в деревне есть, то вот тогда неизвестно, что будет, тем более что у Навы, хотя она тоже чужая, от Молчуна детей нет, и терпеть этого нельзя, а староста терпит...

К середине выступления староста тоже задремал, разморившись, но, услыхав свое имя, вздрогнул и сейчас же грозно гаркнул: «Эй! Не спать!»

— Спать дома будете, — сказал он, — на то дома и стоят, чтобы в них спать, а на площади никто не спит, на площади собрания собирают. На площади мы спать не позволяли, не позволяем и позволять никому не будем. — Он покосился на старца. Старец довольно кивнул. — Вот это и есть наше общее «нельзя». — Он пригладил волосы и сообщил: — На Выселках объявилась невеста. А у нас есть жених, известный вам всем

Болтун. Болтун, ты встань и покажись... А лучше нет, ты лучше посиди так, мы тебя все знаем... Отсюда вопрос: отпускать Болтуна на Выселки или, наоборот, невесту с Выселок взять к нам в деревню... Нет-нет, ты, Болтун, посиди, мы без тебя решим... Кто там с ним рядом сидит, придержите его там хорошенько, пока собрание идет. А у кого есть мнение, тот пусть нам скажет.

Мнений оказалось два. Одни (больше соседи Болтуна) требовали, чтобы Болтуна поперли на Выселки — пусть-ка он там поживет, а мы тут. Другие же, люди спокойные и серьезные, живущие от Болтуна далеко, полагали, что нет, женщин стало мало, воруют женщин, и потому невесту надо брать к себе: Болтун — он хоть и Болтун, а детишки от него, надо полагать, все равно пойдут, это дело независимое. Спорили долго, горячо и сперва по существу. Потом Колченог неудачно выкрикнул, что время теперь военное, а все про это забывают. От Болтуна сразу отвлеклись. Слухач стал объяснять, что никакой войны нет и никогда не было, а есть и будет Большое Разрыхление Почвы. Да не Разрыхление, возразили в толпе, а Необходимое Заболачивание. Разрыхление давно кончилось, уже сколько лет как Заболачивание, а Слухачу невдомек, да и откуда ему знать, раз он Слухач. Поднялся старец и, выкатив глаза, хрипло завопил, что все это нельзя, что нет никакой войны, и нет никакого Разрыхления, и нет никакого такого Заболачивания, а есть, была и будет Поголовная Борьба на Севере и на Юге. Как же нет войны, шерсть на носу, отвечали ему, когда за чудаковой деревней полное озеро утопленников? Собрание взорвалось. Мало ли что утопленники! Где вода, там и утопленники, за чудаковой деревней все не как у людей, и чудакова деревня нам не указ, они с глины едят, под глиной живут, жену-то ворам отдал, а теперь на утопленников ссылаешься? Да никакие это не утопленники, и не борьба это, и не война, а Спокойствие это и Слияние в целях Одержания! А почему же тогда Молчун в Город идет? Молчун в Город идет — значит Город есть, а раз есть, то какая же может быть война — ясно, что Слияние!.. А мало ли куда идет Молчун? Один вот тоже шел, дали ему хорошенько по ноздрям, больше никуда не идет... Молчун потому и идет в Город, что Города нет, знаем мы Молчуна, Молчун дурак-дурак, а умный, его, Молчуна, на кривой не объедешь, а раз Города нет, то какое же может быть Слияние?.. Нет никакого Слияния, одно время, правда, было, но уже давно нет... Так и Одержания уже нет!.. Это кто там кричит, что нет Одержания? Ты в каком это смысле кричишь? Ты это что?.. Болтуна! Болтуна держите!.. Эх, не удержали Болтуна! Что же вы Болтуна не удержали?..

Кандид, зная, что теперь это надолго, попытался начать разговор с

Хвостом, но Хвосту было не до разговоров. Хвост кричал, надсаживаясь:

— Одержание?! А мертвяки почему?! Про мертвяков молчите, потому что знать не знаете, что о них и думать, вот и кричите про всякое Одержание!..

Покричали про мертвяков, потом про грибные деревни, потом устали и начали затихать, утирая лица, обессиленно отмахиваясь друг от друга, и скоро обнаружилось, что все уже молчат, а спорят только старец и Болтун. Тогда все опомнились. Болтуна посадили, навалились, напихали ему в рот листьев. Старец еще некоторое время говорил, но потерял голос и не был слышен. Тогда встал взъерошенный представитель от Выселок и, прижимая руки к груди, искательно озираясь, стал сорванным голосом просить, чтобы Болтуна к ним на Выселки не отдавали, не надо им Болтуна, сто лет без Болтуна жили и еще сто лет проживут, а чтобы взяли невесту к себе, и тогда за приданым Выселки не постоят, сами увидите... Начинать спор снова ни у кого уже не было сил — обещали подумать и решить потом, тем более что не горит.

Народ стал расходиться на обед. Хвост взял Кандида за руку и оттащил в сторонку под дерево.

— Так когда же идем? — спросил он. — Мне в деревне вот как надоело, я в лес хочу, тут я от скуки больной скоро сделаюсь... Не пойдешь — так и скажи, я один пойду, Кулака или Колченога подговорю и с ними вместе уйду...

— Послезавтра выходим, — сказал Кандид. — Пищу ты приготовил?

— Я пищу приготовил и уже съел, у меня терпения не хватает на нее смотреть, как она зря лежит и никто ее, кроме старика, не ест, у меня от него просто все болит, я этому старику когда-нибудь шею накостыляю, если скоро не уйду... Как ты думаешь, Молчун, кто такой этот старик, почему он у всех все ест и где он живет? Я — человек бывалый, я в десяти деревнях бывал, у чудаков бывал, даже к заморенным заходил, ночевал у них и от страха чуть не околел, а такого старика нигде не видел, он у нас какой-то редкостный старик, наверное, мы его потому и держим и не бьем, но у меня больше никакого терпения не хватает смотреть, как он по моим горшкам днем и ночью шарит — и на месте ест, и с собой уносит, а ведь его еще мой отец ругал, пока его мертвяки не забили... И как в него все это влазит? Ведь кожа да кости, там у него внутри и места нет, а два горшка вылижет и с собой два унесет, а горшки никогда обратно не возвращает... Знаешь, Молчун, может, это у нас не один старик такой, может, их у нас двое или даже трое? Двое спят, а один работает. Нажрется, второго разбудит, а сам отдохнуть укладывается...

Хвост проводил Кандида до дома, но обедать у него отказался — из деликатности. Поговорив еще минут пятнадцать о том, как на озере в Тростниках приманивают рыбу шевелением пальцев, согласившись зайти завтра к Колченогу и напомнить ему про поход в Город, рассказав, что Слухач — никакой на самом деле не Слухач, а просто очень уж болезненный человек, и что мертвяки ловят женщин в пищу, поскольку у мужиков мясо жесткое, а зубов мертвяки не имеют, пообещав приготовить к послезавтрему новые запасы, а старика беспощадно гнать, он наконец удалился.

Кандид с трудом перевел дыхание и, прежде чем войти, немножечко постоял в дверях, мотая головой. Ты, Молчун, только не забудь, что тебе завтра на Выселки идти, с самого утра идти, не забудь, не в Тростники, не на Глиняную поляну, а на Выселки... И зачем это тебе, Молчун, на Выселки идти, шел бы ты лучше в Тростники, рыбы там много... занятно... На Выселки, не забудь, Молчун, на Выселки, не забудь, Кандид... Завтра с утра на Выселки... парней уговаривать, а то ведь вчетвером до Города не дойти... Он не заметил, что вошел в дом.

Навы еще не было, а за столом сидел старец и ждал кого-нибудь, чтобы подали обедать. Он сердито покосился на Кандида и сказал:

— Медленно ты, Молчун, ходишь, я тут в двух домах побывал — везде уже обедают, а у вас пусто... Потому у вас, наверное, и детей нет, что медленно вы ходите и дома вас никогда не бывает, когда обедать пора...

Кандид подошел к нему вплотную и некоторое время постоял, соображая. Старец говорил:

— Сколько же времени будешь ты до Города идти, если тебя и к обеду не дождаться? До Города, говорят, очень, очень далеко, я теперь все про тебя знаю, знаю, что вы в Город собрались, одного только не знаю, как это ты до Города доберешься, если ты до горшка с едой целый день добираешься и добраться не можешь... Придется мне с вами идти, я уж вас доведу, мне в Город давно надо, да дороги я туда не знаю, а в Город мне надо для того, чтобы свой долг исполнить и все обо всем кому следует рассказать...

Кандид взял его под мышки и рывком поднял от стола. От удивления старец замолчал. Кандид вынес его из дома на вытянутых руках, поставил на дорогу, а ладони свои вытер травой. Старец опомнился.

— Только вот еды вы на меня взять не забудьте, — сказал он вслед Кандиду. — Еды вы мне возьмите хорошей и побольше, потому что я иду свой долг исполнять, а вы для своего удовольствия и через «нельзя»...

Кандид вернулся в дом, сел за стол и опустил голову на стиснутые

кулаки. И все-таки послезавтра я ухожу, подумал он. Вот бы что мне не забыть: послезавтра. Послезавтра, подумал он. Послезавтра, послезавтра.

Глава третья ПЕРЕЦ

Перец проснулся оттого, что холодные пальцы тронули его за голое плечо. Он открыл глаза и увидел, что над ним стоит человек в исподнем. Света в комнате не было, но человек стоял в лунной полосе, и было видно его белое лицо с выкаченными глазами.

— Вам чего? — шепотом спросил Перец.

— Очистить надо, — тоже шепотом сказал человек.

Да это же комендант, с облегчением подумал Перец.

— Почему очистить? — спросил он громко и приподнялся на локте. — Что очистить?

— Гостиница переполнена. Вам придется очистить место.

Перец растерянно оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему, остальные три койки были по-прежнему свободны.

— А вы не озирайтесь, — сказал комендант. — Нам виднее. И все равно белье надо на вашей койке менять и отдавать в стирку. Сами-то вы стирать не будете, не так воспитаны...

Перец понял: коменданту было очень страшно, и он хамил, чтобы придать себе смелости. Он был сейчас в том состоянии, когда тронь человека — и он завопит, заверещит, задергается, высадит раму и станет звать на помощь.

— Давай, давай, — сказал комендант и в каком-то жутком нетерпении потянул из-под Переца подушку. — Белье, говорят...

— Да что же это, — проговорил Перец. — Обязательно сейчас? Ночью?

— Срочно.

— Господи, — сказал Перец. — Вы не в своем уме. Ну хорошо... Забирайте белье, я и так обойдусь, мне всего эта ночь осталась.

Он слез с койки на холодный пол и стал сдирать с подушки наволочку. Комендант, словно бы оцепенев, следил за ним выпученными глазами. Губы его шевелились.

— Ремонт, — сказал он наконец. — Ремонт пора делать. Обои все ободрались, потолок потрескался, полы перестилать надо... — Голос его окреп. — Так что место вы все равно очищайте. Сейчас мы здесь начнем делать ремонт.

— Ремонт?

— Ремонт. Обои-то какие стали, видите? Сейчас сюда рабочие придут.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас. Ждать больше немыслимо. Потолок весь растрескался. Того и гляди...

Переца бросило в дрожь. Он оставил наволочку и взял в руки штаны.

— Который час? — спросил он.

— Первый час уже, — сказал комендант, снова переходя на шепот и почему-то озираясь.

— Куда же я пойду? — сказал Перец, остановившись с одной ногой в штанине. — Ну, вы меня устройте где-нибудь. В другом номере...

— Переполнено. А где не переполнено, там ремонт.

— Ну, в дежурке.

— Переполнено.

Перец с тоской уставился на луну.

— Ну хоть в кладовой, — сказал он. — В кладовой, в бельевой, в изоляторе. Мне всего шесть часов осталось спать. Или, может быть, вы меня у себя как-нибудь поместите...

Комендант вдруг заметался по комнате. Он бегал между койками, босой, белый, страшный, как привидение. Потом он остановился и сказал стонущим голосом:

— Да что же это, а? Ведь я тоже цивилизованный человек, два института окончил, не туземец какой-нибудь... Я же все понимаю! Но невозможно, поймите! Никак невозможно! — Он подскочил к Перецу и прошептал ему на ухо: — У вас виза истекла! Двадцать семь минут уже как истекла, а вы все еще здесь. Нельзя вам быть здесь. Очень я вас прошу... — Он грохнулся на колени и вытащил из-под кровати ботинки и носки Переца. — Я без пяти двенадцать проснулся весь в поту, — бормотал он. — Ну, думаю, все. Вот и конец мой пришел. Как был, так и побежал. Ничего не помню. Облака какие-то на улицах, гвозди цепляют за ноги... А у меня жена родить должна! Одевайтесь, одевайтесь, пожалуйста...

Перец торопливо оделся. Он плохо соображал. Комендант все бегал между койками, шлепая по лунным квадратам, выглядывал в коридор, высовывался в окна и шептал: «Боже мой, что же это...»

— Можно я хоть чемодан у вас оставлю? — спросил Перец.

Комендант лязгнул зубами.

— Ни в коем случае! Вы же меня погубите... Ну надо же быть таким бессердечным! Боже мой, боже мой...

Перец кое-как собрал книги, с трудом закрыл чемодан, взял на руку плащ и спросил:

— Куда же мне теперь?

Комендант не ответил. Он ждал, приплясывая от нетерпения. Перец поднял чемодан и по темной тихой лестнице спустился на улицу. Он остановился на крыльце и, стараясь унять дрожь, некоторое время слушал, как комендант втолковывал сонному дежурному: «...будет назад проситься. Не пускать! У него... (неясный зловещий шепот) понял? Ты отвечаешь...» Перец сел на чемодан и положил плащ на колени.

— Нет уж, извините, — сказал комендант у него за спиной. — С крыльца попрошу сойти. Территорию гостиницы попрошу все-таки полностью очистить.

Пришлось сойти и поставить чемодан на мостовую. Комендант потоптался немного, бормоча: «Очень прошу... Жена... Без никаких эксцессов... последствия... Нельзя...» — и ушел, белея исподним, крадясь вдоль забора. Перец поглядел на темные окна коттеджей, на темные окна Управления, на темные окна гостиницы. Нигде не было света, даже уличные фонари не горели. Была только луна — круглая, блестящая и какая-то злобная.

И вдруг он обнаружил, что он один. У него никого не было. Вокруг спят люди, и все они любят меня, я это знаю, я много раз это видел. И все-таки я один, словно они вдруг умерли или стали моими врагами... И комендант — добрый уродливый человек, страдающий базедовой болезнью, неудачник, прилепившийся ко мне с первого же дня... Мы играли с ним на пианино в четыре руки и спорили, и я был единственным, с кем он осмеливался спорить и рядом с кем он чувствовал себя полноценным человеком, а не отцом семерых детей. И Ким. Он вернулся из канцелярии и принес огромную папку с доносами. Девяносто два доноса на меня, все написаны одним почерком и подписаны разными фамилиями. Что я ворую казенный сургуч на почте, и что я привез в чемодане малолетнюю любовницу и прячу ее в подвале пекарни, и что я еще много чего... И Ким читал эти доносы и одни бросал в корзину, а другие откладывал в сторону, бормоча: «А это надо обмозговать...» И это было неожиданно и ужасно, бессмысленно и отвратительно... Как он робко взглядывал на меня и сразу отводил глаза...

Перец поднялся, взял чемодан и побрел куда глаза глядят. Глаза никуда не глядели. Да и не на что было глядеть на этих пустых темных улицах. Он спотыкался, он чихал от пыли и, кажется, несколько раз упал. Чемодан был невероятно тяжелый и какой-то неуправляемый. Он грузно терся о ногу, потом тяжело отплывал в сторону и, вернувшись из темноты, с размаху ударял по колену. В темной аллее парка, где совсем не было света и только зыбкие, как комендант, статуи смутно белели во мраке, чемодан вдруг

вцепился в штанину какой-то отставшей пряжкой, и Перец в отчаянии бросил его. Пришел час отчаяния. Плача и ничего не видя из-за слез, Перец продрался через колючие сухие и пыльные живые изгороди, скатился по ступенькам, упал, больно ударившись спиной, в какую-то канаву и совсем уже без сил, задыхаясь от обиды и от жалости, опустился на колени у края обрыва.

Но лес оставался безразличен. Он был так безразличен, что даже не был виден. Под обрывом была тьма, и только на самом горизонте что-то широкое и слоистое, серое и бесформенное вяло светилось в сиянии луны.

— Проснись, — попросил Перец. — Погляди на меня хотя бы сейчас, когда мы одни, не беспокойся, они все спят. Неужели тебе никто из нас не нужен? Или ты, может быть, не понимаешь, что это такое — нужен? Это когда нельзя обойтись без. Это когда все время думаешь о. Это когда всю жизнь стремишься к. Я не знаю, какой ты. Этого не знают даже те, кто совершенно уверен в том, что знают. Ты такой, какой ты есть, но могу же я надеяться, что ты такой, каким я всю жизнь хотел тебя видеть: добрый и умный, снисходительный и помнящий, внимательный и, может быть, даже благодарный. Мы растеряли все это, у нас не хватает на это ни сил, ни времени, мы только строим памятники, все больше, все выше, все дешевле, а помнить — помнить мы уже не можем. Но ты-то ведь другой, потому-то я и пришел к тебе, издалека, не веря в то, что ты существуешь на самом деле. Так неужели я тебе не нужен? Нет, я буду говорить правду. Боюсь, что ты мне тоже не нужен. Мы увидели друг друга, но ближе мы не стали, а должно было случиться совсем не так. Может быть, это они стоят между нами? Их много, я один, но я — один из них, ты, наверное, не различаешь меня в толпе, а может быть, меня и различать не стоит. Может быть, я сам придумал те человеческие качества, которые должны нравиться тебе, но не тебе, какой ты есть, а тебе, каким я тебя придумал...

Из-за горизонта вдруг медленно всплыли яркие белые комочки света, повисли, распухая, и сразу же справа под утесом, под нависшими скалами суматошно забегали лучи прожекторов, заметались по небу, застревая в слоях тумана. Световые комочки над горизонтом все распухали, растягивались, обратились в белесые облачка и погасли. Через минуту погасли и прожектора.

— Они боятся, — сказал Перец. — Я тоже боюсь. Но я боюсь не только тебя, я еще боюсь и за тебя. Ты ведь их еще не знаешь. Впрочем, я их тоже знаю очень плохо. Я знаю только, что они способны на любые крайности, на самую крайнюю степень тупости и мудрости, жестокости и жалости, ярости и выдержки. У них нет только одного: понимания. Они

всегда подменяли понимание какими-нибудь суррогатами: верой, неверием, равнодушием, пренебрежением. Как-то всегда получалось, что это проще всего. Проще поверить, чем понять. Проще разочароваться, чем понять. Проще плюнуть, чем понять. Между прочим, я завтра уезжаю, но это еще ничего не значит. Здесь я не могу помочь тебе, здесь все слишком прочно, слишком устоялось. Я здесь слишком уж заметно лишний, чужой. Но точку приложения сил я еще найду, не беспокойся. Правда, они могут необратимо загадить тебя, но на это тоже надо время, и немало: им ведь еще нужно найти самый эффективный, экономичный и главное простой способ. Мы еще поборемся, было бы за что бороться... До свидания.

Перец поднялся с колен и побрел назад, через кусты, в парк, на аллею. Он попытался найти чемодан и не нашел. Тогда он вернулся на главную улицу, пустую и освещенную только луной. Был уже второй час ночи, когда он остановился перед приветливо раскрытой дверью библиотеки Управления. Окна библиотеки были завешены тяжелыми шторами, а внутри она была освещена ярко, как танцевальный павильон. Паркет рассохся и отчаянно скрипел, и вокруг были книги. Стеллажи ломились от книг, книги грудами лежали на столах и по углам, и кроме Переца и книг в библиотеке не было ни души.

Перец опустился в большое старое кресло, вытянул ноги и, откинувшись, покойно положил руки на подлокотники. Ну, что стоите, сказал он книгам. Бездельники! Разве для этого вас писали? Доложите, доложите-ка мне, как идет сев, сколько посеяно? Сколько посеяно: разумного? доброго? вечного? И какие виды на урожай? А главное — каковы всходы? Молчите... Вот ты, как тебя... Да-да, ты, двухтомник! Сколько человек тебя прочитало? А сколько поняло? Я очень люблю тебя, старина, ты добрый и честный товарищ. Ты никогда не орал, не хвастался, не бил себя в грудь. Добрый и честный. И те, кто тебя читают, тоже становятся добрыми и честными. Хотя бы на время. Хотя бы сами с собой... Но ты знаешь, есть такое мнение, что для того, чтобы шагать вперед, доброта и честность не так уж обязательны. Для этого нужны ноги. И башмаки. Можно даже немытые ноги и нечищенные башмаки... Прогресс может оказаться совершенно безразличным к понятиям доброты и честности, как он был безразличен к этим понятиям до сих пор. Управлению, например, для его правильного функционирования ни честность, ни доброта не нужны. Приятно, желательно, но отнюдь не обязательно. Как латынь для банщика. Как бицепсы для бухгалтера. Как уважение к женщине для Домарощинера... Но все зависит от того, как понимать прогресс. Можно понимать его так, что появляются эти

знаменитые «зато»: алкоголик, зато отличный специалист; распутник, зато отличный проповедник; вор ведь, выжига, но зато какой администратор! Убийца, зато как дисциплинирован и предан... А можно понимать прогресс как превращение всех людей в добрых и честных. И тогда мы доживем когда-нибудь до того времени, когда будут говорить: специалист он, конечно, знающий, но грязный тип, гнать его надо...

Слушайте, книги, а вы знаете, что вас больше, чем людей? Если бы все люди исчезли, вы могли бы населять землю и были бы точно такими же, как люди. Среди вас есть добрые и честные, мудрые, многознающие, а также легкомысленные пустышки, скептики, сумасшедшие, убийцы, растлители, дети, унылые проповедники, самодовольные дураки и полуохрипшие крикуны с воспаленными глазами. И вы бы не знали, зачем вы. В самом деле, зачем вы? Многие из вас дают знания, но зачем это знание в лесу? Оно не имеет к лесу никакого отношения. Это как если бы будущего строителя солнечных городов старательно учили бы фортификации, и тогда, как бы он потом ни тщился построить стадион или санаторий, у него все выходил бы какой-нибудь угрюмый редут с флешами, эскарпами и контрэскарпами. То, что вы дали людям, которые пришли в лес, это не знание, это предрассудки... Другие из вас вселяют неверие и упадок духа. И не потому, что они мрачны, или жестоки, или предлагают оставить надежду, а потому что лгут. Иногда лгут лучезарно, с бодрыми песнями и лихим посвистом, иногда плаксиво, стеная и оправдываясь, но — лгут. Почему-то такие книги никогда не сжигают и никогда не изымают из библиотеки, не было еще в истории человечества случая, чтобы ложь предавали огню. Разве что случайно, не разобравшись или поверив. В лесу они тоже не нужны. Они нигде не нужны. Наверное, именно поэтому их так много... То есть не поэтому, а потому что их любят... Тьмы горьких истин нам дороже... Что? Кто это тут разговаривает? Ах, это я разговариваю... Так вот я и говорю, что есть еще книги... Что?..

— Тише, пусть спит...

— Чем спать, лучше бы выпил.

— Да не скрипи ты так... Ой, да это же Перец!

— А что нам Перец, ты знай не падай...

— Неухоженный какой-то, жалкий...

— Я не жалкий, — пробормотал Перец и проснулся.

Перед стеллажом напротив стояла библиотечная лесенка. На верхней ее ступени стояла Алевтина из фотолаборатории, а внизу шофер Тузик держал лесенку вытатуированными руками и смотрел вверх.

— И всегда-то он какой-то неприкаянный, — сказала Алевтина, глядя

на Переца. — И не ужинал, наверное. Надо бы его разбудить, пусть хоть водки выпьет... Что, интересно, такие люди видят во сне?

— А вот что я вижу наяву!.. — сказал Тузик, глядя вверх.

— Что-нибудь новое? — спросила Алевтина. — Никогда раньше не видел?

— Да нет, — сказал Тузик. — Нельзя сказать, чтобы особенно новое, но это как кино бывает — двадцать раз смотришь и все с удовольствием.

На третьей ступеньке лестницы лежали ломти здоровенного штруцеля, на четвертой ступеньке были разложены огурцы и очищенные апельсины, а на пятой ступеньке стояла полупустая бутылка и пластмассовый стаканчик для карандашей.

— Ты смотреть смотри, а лесенку держи хорошенько, — сказала Алевтина и принялась доставать с верхних полок стеллажа толстые журналы и выцветшие папки. Она сдувала с них пыль, морщилась, листала страницы, некоторые папки откладывала в сторону, а прочие ставила на прежнее место. Шофер Тузик громко сопел.

— А за позапрошлый год тебе нужно? — спросила Алевтина.

— Мне сейчас одно нужно, — загадочно сказал Тузик. — Вот я сейчас Переца разбужу.

— Не отходи от лестницы, — сказала Алевтина.

— Я не сплю, — сказал Перец. — Я уже давно на вас смотрю.

— Оттуда ничего не видно, — сказал Тузик. — Вы сюда идите, пан Перец, тут все есть: и женщины, и вино, и фрукты...

Перец поднялся, припадая на отсиженную ногу, подошел к лестнице и налил себе из бутылки.

— Что вы видели во сне, Перчик? — спросила Алевтина сверху. Перец механически взглянул вверх и сейчас же опустил глаза.

— Что я видел... Какую-то чепуху... Разговаривал с книгами.

Он выпил и взял дольку апельсина.

— Подержите-ка минуточку, пан Перец, — сказал Тузик. — Я себе тоже налью.

— Так тебе за позапрошлый год нужно? — спросила Алевтина.

— А как же! — сказал Тузик. Он плеснул себе в стаканчик и стал выбирать огурец. — И за позапрошлый, и за позапозапрошлый... Мне всегда нужно. У меня это всегда было, я без этого жить не могу. Да без этого никто жить не может. Одному больше надо, другому — меньше... Я всегда говорю: чего вы меня учите, такой уж я человек... — Тузик выпил с большим удовольствием и с хрустом закусил огурец. — А так жить невозможно, как я здесь живу. Я вот еще немного потерплю-потерплю, а

потом угоню машину в лес и русалку себе поймаю...

Перец держал лестницу и пытался думать о завтрашнем дне, а Тузик, присев на нижнюю ступеньку, принялся рассказывать, как в молодости они с компанией приятелей поймали на окраине парочку, ухажера побили и прогнали, а дамочку попытались использовать. Было холодно, сыро, по крайней молодости лет ни у кого ничего не получалось, дамочка плакала, боялась, и приятели один за другим от нее отстали, и только он, Тузик, долго тащился за нею по грязным задворкам, хватал, ругался, и все ему казалось, что вот-вот получится, но никак не получалось, пока он не довел ее до самого ее дома, и там, в темной парадной, прижал ее к железным перилам и получил, наконец, свое. В Тузиковом изложении случай казался чрезвычайно захватывающим и веселым.

— Так что русалочки от меня не уйдут, — сказал Тузик. — Я своего не упускаю и сейчас не упущу. У меня что на витрине, то и в магазине — без обмана.

У него было смуглое красивое лицо, густые брови, живые глаза и полный рот отличных зубов. Он был очень похож на итальянца. Только вот от ног у него пахло.

— Господи, что делают, что делают, — сказала Алевтина. — Все папки перепутали. На, держи пока эти.

Она наклонилась и передала Тузику кипу папок и журналов. Тузик принял кипу, перебросил несколько страниц, почитал про себя, шевеля губами, пересчитал папки и сказал:

— Еще две штуки нужно.

Перец все держал лестницу и смотрел на свои сжатые кулаки. Завтра в это время меня уже здесь не будет, думал он. Я буду сидеть рядом с Тузиком в кабине, будет жарко, металл еще только начнет остывать. Тузик включит фары, развалится поудобнее, высунув левый локоть в окно, и примется рассуждать о мировой политике. Больше я ему ни о чем не дам рассуждать. Пусть он останавливается возле каждой закусочной, пусть берет каких угодно попутчиков, пусть даже сделает крюк, чтобы перевезти кому-нибудь молотилку из ремонта. Но рассуждать я ему дам только о мировой политике. Или буду расспрашивать про разные автомобили. Про нормы расхода горючего, про аварии, про убийства взяточников-инспекторов. Он хороший рассказчик, и никогда не поймешь, врет он или говорит правду...

Тузик выпил еще порцию, причмокнул, поглядел на Алевтинины ноги и стал рассказывать дальше, ерзая, выразительно жестикулируя и заливаясь жизнерадостным смехом. Скрупулезно придерживаясь хронологии, он

рассказывал историю своей половой жизни, как она протекала из года в год, из месяца в месяц. Повариха из концентрационного лагеря, где он сидел за кражу бумаги в голодное время (повариха приговаривала: «Ну, не подкачай, Тузик, ну, смотри!..»). Дочка политического заключенного из того же лагеря (ей было все равно — кто, она была уверена, что ее все равно сожгут). Жена одного моряка из портового города, пытавшаяся таким образом отомстить своему кобелю-мужу за непрерывные измены. Одна богатая вдова, от которой Тузику потом пришлось убегать ночью в одних кальсонах, потому что она хотела бедного Тузика взять за себя и заставить торговать наркотиками и стыдными медицинскими препаратами. Женщины, которых он возил, когда работал шофером такси: они платили ему по монете с гостя, а в конце ночи — натурой («...Я ей говорю: что же это ты, а обо мне кто подумает — ты вот уже с четырьмя, а я еще ни с одной...»). Потом жена, пятнадцатилетняя девочка, которую он взял за себя по специальному разрешению властей, — она родила ему двойню и в конце концов ушла от него, когда он попытался расплачиваться ею с приятелями за приятелевых любовниц. Женщины... девки... стервы... бабочки... падлы... сучки...

— Так что никакой я не развратник, — заключил он. — Просто я темпераментный мужчина, а не какой-нибудь слабосильный импотент...

Он допил спиртное, забрал папки и, не простившись, ушел, скрипя паркетом и насвистывая, странно сутулясь, похожий неожиданно не то на паука, не то на первобытного человека. Перец беспомощно смотрел ему вслед, когда Алевтина сказала:

— Дайте мне руку, Перчик.

Она присела на верхней ступеньке, опустила руки ему на плечи и, тихонько взвизгнув, спрыгнула вниз. Он поймал ее под мышки и опустил на пол, и некоторое время они стояли близко друг к другу, лицом к лицу. Она держала руки у него на плечах, а он держал ее под мышками.

— Меня из гостиницы выгнали, — сказал он.

— Я знаю, — сказала она. — Пойдемте ко мне, хотите?

Она была добрая и теплая и смотрела ему в глаза спокойно, хотя и без особой уверенности. Глядя на нее, можно было представить себе много добрых, теплых и сладких картин, и Перец жадно проглядел все эти картины одну за другой и попытался представить самого себя рядом с нею, но вдруг почувствовал, что это не получается: вместо себя он видел Тузика, красивого, наглого, точного в движениях и пахнущего ногами.

— Да нет, спасибо, — сказал он и отнял от нее руки. — Я уж как-нибудь так.

Она сейчас же повернулась и принялась собирать остатки еды на газетный лист.

— А зачем же — так? — сказала она. — Я вам могу на диване постелить. До утра поспите, а утром найдем вам комнату. Нельзя же каждую ночь сидеть в библиотеке...

— Спасибо, — сказал Перец. — Только завтра я уезжаю.

Она изумленно оглянулась на него.

— Уезжаете? В лес?

— Нет, домой.

— Домой... — Она медленно заворачивала еду в газету. — Но ведь вы же все время хотели попасть в лес, я сама слышала.

— Да видите ли, я хотел... Но меня туда не пускают. Не знаю даже почему. А в Управлении мне делать нечего. Вот я и договорился... Тузик меня завтра отвезет. Сейчас уже три часа. Пойду в гараж, заберусь в Тузиков грузовик и подожду там до утра. Так что вы не беспокойтесь...

— Значит, будем прощаться... А то, может, пойдемте все-таки?

— Спасибо, но я лучше в машине... Проспать боюсь. Тузик ведь ждать не станет.

Они вышли на улицу и рука об руку пошли к гаражу.

— Значит, вам не понравилось, что Тузик рассказывал? — спросила она.

— Нет, — сказал Перец. — Совсем не понравилось. Не люблю, когда об этом рассказывают. Зачем? Стыдно как-то... И за него стыдно, и за вас стыдно, и за себя. За всех. Слишком бессмысленно все это. Как от большой скуки.

— Чаще всего это и бывает от большой скуки, — сказала Алевтина. — А за меня вы не стыдитесь, я к этому равнодушна. Мне это совершенно безразлично. Ну вот, вам сюда. Поцелуйте меня на прощание.

Перец поцеловал ее, ощущая какое-то смутное сожаление.

— Спасибо, — сказала она, повернулась и быстро пошла в другую сторону. Перец зачем-то помахал ей вслед рукой.

Потом он вошел в гараж, освещенный синими лампочками, перешагнул через храпевшего на вытащенном автомобильном сиденье охранника, нашел Тузиков грузовик и забрался в кабину. Здесь пахло резиной, бензином, пылью. На ветровом стекле, растопырившись, покачивался Микки Маус. Хорошо, подумал Перец, уютно. Надо было сразу сюда идти. Вокруг стояли молчаливые машины, темные и пустые. Громко храпел охранник. Машины спали, охранник спал, и спало все Управление. И Алевтина раздевалась перед зеркалом в своей комнате рядом

с расстеленной кроватью, большой, двуспальной, мягкой, жаркой... Нет, об этом не надо. Потому что днем мешает болтовня, стук «мерседеса», весь деловой бессмысленный хаос, а сейчас нет ни искоренения, ни проникновения, ни охраны, ни прочих зловещих глупостей, а есть сонный мир над обрывом, призрачный, как все сонные миры, невидимый и неслышимый, и нисколько не более реальный, чем лес. Лес сейчас даже более реален: лес ведь никогда не спит. А может быть, он спит и всех нас видит во сне. Мы — сон леса. Атавистический сон. Грубые призраки его охладевшей сексуальности...

Перец лег, скорчившись, и подсунул под голову скомканный плащ. Микки Маус тихонько покачивался на ниточке. При виде этой игрушки девушки всегда вскрикивали: «Ах, какой хорошенький!», а шофер Тузик им отвечал: «Что на витрине, то и в магазине». Рычаг передач упирался Перецу в бок, и Перец не знал, как его убрать. И можно ли его убрать. Может быть, если его убрать, машина поедет. Сначала медленно, потом все быстрее, прямо на спящего охранника, а Перец будет метаться по кабине и нажимать на все, что попадется под руки и под ноги, а охранник все ближе, уже виден его раскрытый храпящий рот. Потом машина подпрыгивает, круто сворачивает, врезается в стену гаража, и в проломе показывается синее небо...

Перец проснулся и увидел, что уже утро. В распахнутых дверях гаража курили механики, и была видна площадь перед гаражом, желтая от солнца. Было семь часов. Перец сел, потер лицо и посмотрелся в зеркальце заднего вида. Побриться бы надо, подумал он, но не вылез из машины. Тузика еще не было, и надо было ждать его здесь, на месте, потому что все шоферы забывчивы и всегда уезжают без него. Есть два правила общения с шоферами: во-первых, никогда не вылезай из машины, если можешь терпеть и ждать; и во-вторых, никогда не спорь с шофером, который тебя везет. В крайнем случае притворись спящим...

Механики в воротах бросили окурки, тщательно растерли их носками ботинок и вошли в гараж. Одного Перец не знал, а второй был, оказывается, вовсе не механик, а менеджер. Они прошли рядом, причем менеджер задержался возле кабины и, положив руку на крыло, почему-то заглянул под грузовик. Потом Перец услыхал, как он распоряжается: «Ну, пошевеливайся, давай домкрат». — «А он где?» — спросил незнакомый механик. «...! — спокойно сказал менеджер. — Под сиденьем посмотри». — «Откуда же мне знать, — раздраженно сказал механик. — Я же вас предупреждал, что я официант...» Некоторое время было тихо, потом водительская дверца кабины открылась и появилось хмурое расстроенное

лицо механика-официанта. Он посмотрел на Переца, оглядел кабину, зачем-то подергал руль, а потом запустил обе руки под сиденье и начал там греметь.

— Это, что ли, домкрат? — спросил он негромко.

— Н-нет, — сказал Перец. — Это, по-моему, разводной ключ.

Механик поднес разводной ключ к глазам, осмотрел его, поджав губы, положил на подножку и снова запустил руки под сиденье.

— Это? — спросил он.

— Нет, — сказал Перец. — Это я могу вам совершенно точно сказать. Это арифмометр. Домкраты не такие.

Механик-официант, сморщив низкий лоб, разглядывал арифмометр.

— А какие? — спросил он.

— Н-ну... Такая железная палка... Они разные бывают. У них такая подвижная ручка...

— А вот тут есть ручка. Как у кассы.

— Нет, это совсем другая ручка.

— А если эту повертеть, что будет?

Перец совсем затруднился. Механик подождал, со вздохом положил арифмометр на подножку и снова полез под сиденье.

— Может, вот это? — спросил он.

— Пожалуй. Очень похоже. Только там должна быть еще такая железная спица. Толстая.

Механик нашел и спицу. Он покачал ее на ладони, сказал: «Ладно, отнесу ему это для начала», — и ушел, оставив дверцу открытой. Перец закурил. Где-то сзади звякало железо и бранились. Потом грузовик начал покрякивать и вздрагивать.

Тузика все не было, но Перец не беспокоился. Он представлял себе, как они покатят по главной улице Управления, и никто не будет на них смотреть. Потом они свернут на проселок, потащат за собой кучу желтой пыли, а солнце будет подниматься все выше, оно будет справа от них и скоро начнет припекать, а они свернут с проселка на шоссе, и оно будет длинное, ровное, блестящее и скучное, и у горизонта будут струиться миражи, похожие на большие сверкающие лужи...

Мимо кабины снова прошел механик, катя перед собой тяжелое заднее колесо. Колесо разогналось на бетонном полу, и видно было, что механик хочет его остановить и прислонить к стене, но колесо только слегка свернуло и грузно выкатилось во двор, а механик неловко побежал за ним, все больше отставая. Потом они скрылись из глаз, и во дворе механик громко и отчаянно закричал. Послышался топот многих ног, и мимо ворот с

криками: «Лови его! Заходи справа!» — пробежали еще люди.

Перец заметил, что машина стоит не так ровно, как раньше, и выглянул из кабины. Менеджер возился возле заднего колеса.

— Здравствуйте, — сказал Перец. — Что это вы...

— А, Перец, дорогой! — радостно вскричал менеджер, не прекращая работы. — Да вы сидите, сидите, не вылезайте! Вы нам не мешаете. Заело, дрянь проклятая... Одно вот хорошо снялось, а второе заело...

— Как заело? Испортилось что-нибудь?

— Не думаю, — сказал менеджер, выпрямляясь и вытирая лоб тыльной стороной ладони, в которой он держал ключ. — Просто приржавело, наверное, немножко. Ну, я его сейчас, быстро... А потом мы с вами шахматишки расставим. Как вы полагаете?

— Шахматишки? — сказал Перец. — А где Тузик?

— Тузик-то? То есть Туз? Туз у нас теперь старший лаборант. Направлен он в лес. Туз у нас больше не работает. А зачем он вам?

— Да так... — тихо сказал Перец. — Просто я предполагал... — Он открыл дверь и спрыгнул на цементный пол.

— Да вы зря беспокоитесь, — сказал менеджер. — Сидели бы там, вы же не мешаете.

— Да что же сидеть, — сказал Перец. — Ведь эта машина не поедет?

— Нет, не поедет. Без колес она не может, а колеса надо снять... Надо же, как заело! А, чтоб тебя... Ладно, механики снимут. Пойдемте-ка мы лучше расставим.

Он взял Переца под руку и отвел в свой кабинет. Там они сели за стол, менеджер отодвинул в сторону кучу бумаг, поставил шахматы и выключил телефон.

— С часами будем играть? — спросил он.

— Да я как-то даже не знаю, — сказал Перец.

В кабинете было сумеречно и холодно, сизый табачный дым плавал между шкафами, как студенистые водоросли, а менеджер — бородавчатый, раздутый, пестрящий разноцветными пятнами, — словно гигантский осьминог, двумя волосатыми щупальцами вскрыл лакированную раковину шахматной доски и принялся хлопотливо извлекать из нее деревянные внутренности. Круглые глаза его тускло поблескивали, и правый, искусственный, был все время направлен в потолок, а левый, живой, как пыльная ртуть, свободно катался в орбите, устремляясь то на Переца, то на дверь, то на доску.

— С часами, — решил наконец менеджер. Он вынул из шкафа часы, завел их и, нажавши кнопку, сделал первый ход.

Солнце поднималось. На дворе кричали: «Заходи справа!» В восемь часов менеджер в трудном положении глубоко задумался и вдруг потребовал завтрак на двоих. Из гаража с рокотом выкатывались автомобили. Менеджер проиграл одну партию и предложил другую. Они плотно позавтракали: выпили по две бутылки кефиру и съели по черствому штруцелю. Менеджер проиграл вторую партию, с преданностью и восхищением поглядел на Переца живым глазом и предложил третью. Он разыгрывал все время один и тот же ферзевый гамбит, не отклоняясь ни на ход от выбранного раз и навсегда проигрышного варианта. Он словно отрабатывал поражение, и Перец переставлял фигуры совершенно автоматически, ощущая себя тренировочной машиной: ни в нем, ни в мире не было ничего, кроме шахматной доски, кнопки часов и жестко заданной программы действий.

Без пяти девять репродуктор внутреннего вещания хрюкнул и объявил бесполым голосом: «Всем работникам Управления находиться у телефонов. Ожидается обращение директора к сотрудникам». Менеджер стал очень серьезным, включил телефон, снял трубку и приложил ее к уху. Теперь в потолок были направлены оба его глаза. «Мне можно идти?» — спросил Перец. Менеджер страшно нахмурился, прижал палец к губам, а потом замахал на Переца рукой. В телефонной трубке раздалось гнусавое кваканье. Перец на цыпочках вышел.

В гараже было много народу. Лица у всех были строгие, значительные, даже торжественные. Никто не работал, все прижимали к ушам телефонные трубки. Только на ярко освещенном дворе одинокий официант-механик, потный, красный, растерзанный, хрипло дыша, гонялся за колесом. Происходило что-то очень важное. Нельзя же так, подумал Перец, нельзя, я все время в стороне, я никогда ничего не знаю, может быть, в этом вся беда, может быть, на самом деле все правильно, но я не знаю, что к чему, и поэтому все время оказываюсь лишним.

Он заскочил в будку ближайшего телефона-автомата, сорвал трубку, жадно прислушался, но в трубке были только гудки. Тогда он почувствовал внезапный страх, зудящее опасение, что он опять куда-то опаздывает, что опять где-то что-то всем раздают, а он как всегда останется без. Прыгая через канавы и ямы, он пересек строительную площадку, шарахнулся от заступившего ему дорогу охранника с пистолетом в одной руке и с телефонной трубкой в другой и по приставной лестнице вскарабкался на недостроенную стену. Во всех окнах он успел увидеть сосредоточенно застывших людей с телефонными трубками, затем над ухом у него пронзительно взвизгнуло, и почти сразу он услыхал за спиной

револьверный выстрел, спрыгнул вниз, в кучу мусора, и бросился к служебному входу. Дверь была заперта. Он несколько раз рванул ручку, ручка сломалась. Он отшвырнул ее в сторону и секунду соображал, что делать дальше. Рядом с дверью было раскрытое узкое окно, и он влез в него, весь перепачкавшись в пыли и сорвав ногти на пальцах.

В комнате, куда он попал, было два стола. За одним сидел с телефонной трубкой Домарощинер. Лицо у него было каменное, глаза закрыты. Он прижимал трубку к уху плечом и что-то быстро записывал карандашом в большом блокноте. Второй стол был пуст, и на нем стоял телефон. Перец жадно схватил трубку и стал слушать.

Шорох. Потрескивания. Незнакомый писклявый голос: «...Управление реально может распоряжаться только ничтожным кусочком территории в океане леса, омывающего континент. Смысла жизни не существует и смысла поступков тоже. Мы можем чрезвычайно много, но мы до сих пор так и не поняли, что из того, что мы можем, нам действительно нужно. Он даже не противостоит, он попросту не замечает. Если поступок принес вам удовольствие — хорошо, если не принес — значит, он был бессмысленным...» Снова шорох и потрескивания. «...Противостоим миллионами лошадиных сил, десятками вездеходов, дирижаблей и вертолетов, медицинской наукой и лучшей в мире теорией снабжения. У Управления обнаруживаются по крайней мере два крупных недостатка. В настоящее время акции подобного рода могут иметь далеко идущие шифровки на имя Герострата, чтобы он оставался нашим любимейшим другом. Оно совершенно не способно созидать, не разрушая авторитета и неблагодарности...» Гудки, свист, звуки, похожие на надрывный кашель. «...Оно очень любит так называемые простые решения, библиотеки, внутреннюю связь, географические и другие карты. Пути, которые оно почитает кратчайшими, чтобы думать о смысле жизни сразу за всех людей, а люди этого не любят. Сотрудники сидят, спустив ноги в пропасть, каждый на своем месте, толкаются, острят и швыряют камешки, и каждый старается швырнуть потяжелее, в то время как расход кефира не помогает ни взрастить, ни искоренить, ни в должной мере законспирировать лес. Я боюсь, что мы не поняли даже, что мы, собственно, хотим, а нервы, в конце концов, тоже надлежит тренировать, как тренируют способность к восприятию, и разум не краснеет и не мучается угрызениями совести, потому что вопрос из научного, из правильно поставленного становится моральным. Он лживый, он скользкий, он непостоянный и притворяется. Но кто-то же должен раздражать, и не рассказывать легенды, а тщательно готовиться к пробному выходу. Завтра я приму вас опять и посмотрю, как

вы подготовились. Двадцать два ноль-ноль — радиологическая тревога и землетрясение, восемнадцать ноль-ноль — совещание свободного от дежурства персонала у меня, как это говорится, на ковре, двадцать четыре ноль-ноль — общая эвакуация...»

В трубке послышался звук как от льющейся воды. Потом все стихло, и Перец заметил, что Домарощинер смотрит на него строгими обвиняющими глазами.

— Что он говорит? — спросил Перец шепотом. — Я ничего не понимаю.

— И не странно, — сказал Домарощинер ледяным тоном. — Вы взяли не свою трубку. — Он опустил глаза, записал что-то в блокноте и продолжал: — Это, между прочим, абсолютно недопустимое нарушение правил. Я настаиваю, чтобы вы положили трубку и ушли. Иначе я вызову официальных лиц.

— Хорошо, — сказал Перец. — Я уйду. Но где моя трубка? Это — не моя. А где тогда моя?

Домарощинер не ответил. Глаза его вновь закрылись, и он снова прижал трубку к уху. До Переца донеслось кваканье.

— Я спрашиваю, где моя трубка? — крикнул Перец. Теперь он больше ничего не слышал. Был шорох, было потрескивание, а потом раздались частые гудки отбоя. Тогда он бросил трубку и выбежал в коридор. Он распахивал двери кабинетов и всюду видел знакомых и незнакомых сотрудников. Одни сидели и стояли, застывши в полной неподвижности, похожие на восковые фигуры со стеклянными глазами; другие расхаживали из угла в угол, переступая через телефонный провод, тянущийся за ними; третьи лихорадочно писали в толстых тетрадях, на клочках бумаги, на полях газет. И каждый плотно прижимал к уху трубку, словно боясь пропустить хотя бы слово. Свободных телефонов не было. Перец попытался отобрать трубку у одного из застывших в трансе сотрудников, молодого парня в рабочем комбинезоне, но тот сейчас же ожил, завизжал и принялся лягаться, и тогда остальные зашикали, замахали руками, а кто-то истерически крикнул: «Безобразие! Вызовите стражу!»

— Где моя трубка? — кричал Перец. — Я такой же человек, как и вы, я имею право знать! Дайте мне послушать! Дайте мне мою трубку!

Его выталкивали и запирали за ним двери. Он добрался до самого последнего этажа, где у входа на чердак, рядом с механическим отделением никогда не работающего лифта, сидели за столиком два дежурных механика и играли в крестики-нолики. Перец, задыхаясь, прислонился к стене. Механики поглядели на него, рассеянно ему улыбнулись и снова

склонились над бумагой.

— У вас тоже нет своей трубки? — спросил Перец.

— Есть, — сказал один из механиков. — Как не быть? До этого мы еще не дошли.

— А что же вы не слушаете?

— А ничего не слышно, чего слушать-то.

— Почему не слышно?

— А мы провода перерезали.

Перец скомканным платком обтер лицо и шею, подождал, пока один механик выиграл у другого, и спустился вниз. В коридорах стало шумно. Двери распахивались, сотрудники выходили покурить. Жужжали оживленные, возбужденные, взволнованные голоса. «Я же вам достоверно говорю: эскимо изобрели эскимосы. Что? Но, в конце концов, я просто читал в одной книге... А вы сами не слышите созвучия? Эс-ки-мос. Эс-ки-мо. Что?..» — «Я смотрел в каталоге Ивера: сто пятьдесят тысяч франков, и это — в пятьдесят шестом году. Представляете, сколько она стоит сегодня?» — «Странные сигареты какие-то. Говорят, теперь табак в сигареты не кладут вовсе, а берут специальную бумагу, крошат ее и пропитывают никотином...» — «От томатов тоже бывает рак. От томатов, от трубки, от яиц, от шелковых перчаток...» — «Как вы спали? Представьте, я всю ночь не мог заснуть: непрерывно грохает эта баба. Слышите? И вот так всю ночь... Здравствуйте, Перец! А говорят, вы уехали... Молодец, что остались...» — «Нашли наконец вора, помните, вещи все пропадали? Так это оказался дискобол из парка, знаете, статуя у фонтана. У него еще на ноге написано неприлично...» — «Перчик, будь другом, дай пять монет до получки, до завтра то есть...» — «А он за нею не ухаживал. Она сама на него бросалась. Прямо при муже. Вот вы не верите, а я своими глазами видел...»

Перец спустился в свой кабинет, поздоровался с Кимом и умылся. Ким не работал. Он сидел, спокойно положив руки на стол, и смотрел на кафельную стену. Перец снял чехол с «мерседеса», воткнул вилку и выжидательно оглянулся на Кима.

— Нельзя сегодня работать, — сказал Ким. — Какой-то болван ходит и все чинит. Сижу и не знаю, что теперь делать.

Тут Перец заметил на своем столе записку. «Перецу. Доводим до сведения, что ваш телефон находится в кабинете 771». Подпись неразборчива. Перец вздохнул.

— Нечего тебе вздыхать, — сказал Ким. — Надо было на работу вовремя приходить.

— Я же не знал, — сказал Перец. — Я уехать сегодня намеревался.

— Сам виноват, — сухо сказал Ким.

— Все равно я немножко послушал. И ты знаешь, Ким, я ничего не понял. Почему это так?

— Немножко послушал! Ты дурак. Ты идиот. Ты упустил такой случай, что мне даже говорить с тобой не хочется. Придется теперь знакомить тебя с директором. Просто из жалости.

— Познакомь, — сказал Перец. — Ты знаешь, — продолжал он, — иногда мне казалось, будто я что-то улавливаю, какие-то обрывки мыслей, по-моему, очень интересных, но вот я сейчас пытаюсь вспомнить — и ничего...

— А чей это был телефон?

— Я не знаю. Это там, где Домарощинер сидит.

— А-а... Правильно, она сейчас рожает. Не везет Домарощинеру. Возьмет новую сотрудницу, поработает она у него полгода — и рожать... Да, Перчик, тебе женская трубка попалась. Так что я даже не знаю, чем тебе помочь... Подряд вообще никто не слушает, женщины, наверное, тоже. Ведь директор обращается ко всем сразу, но одновременно и к каждому в отдельности. Понимаешь?

— Боюсь, что...

— Я, например, рекомендую слушать так. Разверни речь директора в одну строку, избегая знаков препинания, и выбирай слова случайным образом, мысленно бросая кости домино. Тогда, если половинки костей совпадают, слово принимается и выписывается на отдельном листе. Если не совпадает — слово временно отвергается, но остается в строке. Там есть еще некоторые тонкости, связанные с частотой гласных и согласных, но это уже эффект второго порядка. Понимаешь?

— Нет, — сказал Перец. — То есть да. Жалко, я не знал этого метода. И что же он сказал сегодня?

— Это не единственный метод. Есть еще, например, метод спирали с переменным ходом. Этот метод довольно груб, но если речь идет только о хозяйственно-экономических проблемах, то он очень удобен, потому что прост. Есть метод Стивенсон-заде, но он требует электронных приспособлений... Так что, пожалуй, лучше всего метод домино, а в частных случаях, когда словарь специализирован и ограничен, — метод спирали.

— Спасибо, — сказал Перец. — А о чем сегодня директор говорил?

— Что значит — о чем?

— Как?.. Ну... О чем? Ну, что он... сказал?

— Кому?

— Кому? Ну, тебе, например.

— К сожалению, я не могу тебе об этом рассказать. Это закрытый материал, а ты все-таки, Перчик, внештатный сотрудник. Так что не сердись.

— Нет, я не сержусь, — сказал Перец. — Я только хотел бы узнать... Он говорил что-то о лесе, о свободе воли... Я давеча камешки бросал в обрыв, ну просто так, без всякой цели, так он и об этом что-то говорил.

— Ты мне этого не рассказывай, — сказал Ким нервно. — Это меня не касается. Да и тебя тоже, раз это была не твоя трубка.

— Ну подожди, о лесе он что-нибудь говорил?

Ким пожал плечами.

— Ну, естественно. Он никогда ни о чем другом и не говорит. И давай прекратим этот разговор. Расскажи лучше, как ты уезжал.

Перец рассказал.

— Зря ты его все время обыгрываешь, — сказал Ким задумчиво.

— Я ничего не могу сделать. Я ведь довольно сильный шахматист, а он просто любитель... И потом, он играет как-то странно...

— Это неважно. Я бы на твоем месте как следует подумал. Вообще ты мне что-то не нравишься последнее время... Доносы на тебя пишут... Знаешь что, завтра я устрою тебе свидание с директором. Пойди к нему и решительно объяснись. Я думаю, он тебя отпустит. Ты только подчеркни, что ты лингвист, филолог, что попал сюда случайно, упомяни как бы между прочим, что очень хотел попасть в лес, а теперь раздумал, потому что считаешь себя некомпетентным.

— Хорошо.

Они помолчали. Перец представил себя лицом к лицу с директором и ужаснулся. Метод домино, подумал он. Стивенсон-заде...

— И главное, не стесняйся плакать, — сказал Ким. — Он это любит.

Перец вскочил и взволнованно прошелся по комнате.

— Господи, — сказал он. — Хоть бы знать, как он выглядит. Какой он.

— Какой? Невысокого роста, рыжеватый...

— Домарощинер говорил, что он настоящий великан.

— Домарощинер дурак. Хвастун и враль. Директор — рыжеватый человек, полный, на правой щеке небольшой шрам. Когда ходит, слегка косолапит, как моряк. Собственно, он и есть бывший моряк.

— А Тузик говорил, что он сухопарый и носит длинные волосы, потому что у него нет одного уха.

— Это какой еще Тузик?

— Шофер, я же тебе рассказывал.

Ким желчно засмеялся.

— Откуда шофер Тузик может все это знать? Слушай, Перчик, нельзя же быть таким доверчивым.

— Тузик говорит, что был у него шофером и несколько раз его видел.

— Ну и что? Врет, вероятно. Я был у него личным секретарем, а не видел его ни разу.

— Кого?

— Директора. Я долго был у него секретарем, пока не защитил диссертацию.

— И ни разу его не видел?

— Ну естественно! Ты воображаешь, это так просто?

— Подожди, откуда же ты знаешь, что он рыжеватый и так далее?

Ким покачал головой.

— Перчик, — сказал он ласково. — Душенька. Никто никогда не видел атома водорода, но все знают, что у него есть одна электронная оболочка определенных характеристик и ядро, состоящее в простейшем случае из одного протона.

— Это верно, — сказал Перец вяло. Он чувствовал, что устал. — Значит, я его завтра увижу.

— Нет уж, ты спроси меня что-нибудь полегче, — сказал Ким. — Я устрою тебе встречу, это я тебе гарантирую. А уж что ты там увидишь и кого — этого я не знаю. И что ты там услышишь, я тоже не знаю. Ты ведь меня не спрашиваешь, отпустит тебя директор или нет, и правильно делаешь, что не спрашиваешь. Я ведь не могу этого знать, верно?

— Но это все-таки разные вещи, — сказал Перец.

— Одинаковые, Перчик, — сказал Ким. — Уверяю тебя, одинаковые.

— Я, наверное, кажусь очень бестолковым, — печально сказал Перец.

— Есть немножко.

— Просто я сегодня плохо спал.

— Нет, ты просто непрактичен. А почему ты, собственно, плохо спал?

Перец рассказал. И испугался. Добродушное лицо Кима вдруг налилось кровью, волосы взъерошились. Он зарычал, схватил трубку, бешено набрал номер и рявкнул:

— Комендант? Что это значит, комендант? Как вы смели выселить Переца? Ма-ал-чать! Я вас не спрашиваю, что там у него кончилось, я вас спрашиваю, как вы смели выселить Переца! Что? Ма-ал-чать! Вы не смеете! Что? Болтовня, вздор! Ма-ал-чать! Я вас растопчу! Вместе с вашим Клавдий-Октавианом! Вы у меня сортиры чистить будете, вы у меня в лес

поедете в двадцать четыре часа, в шестьдесят минут! Что? Так... Так... Что? Так... Правильно. Это другой разговор. И белье самое лучшее... Это уж ваше дело, хоть на улице... Что? Хорошо. Ладно. Ладно. Благодарю вас. Извините за беспокойство... Ну, естественно... Большое спасибо. До свидания.

Он положил трубку.

— Все в порядке, — сказал он. — Прекрасный все-таки человек. Иди отдыхай. Будешь жить у него в квартире, а он с семьей переселится в твой бывший номер, иначе он, к сожалению, не может... И не спорь, умоляю тебя, не спорь, это совершенно не наше с тобой дело. Он сам так решил. Иди, иди, это приказ. Я тебе еще позвоню насчет директора...

Перец, пошатываясь, вышел на улицу, постоял немного, щурясь от солнца, и отправился в парк искать свой чемодан. Он не сразу нашел его, потому что чемодан крепко держал в мускулистой гипсовой руке прифонтанный вор-дискобол с неприличной надписью на левом бедре. Собственно, надпись не была такой уж неприличной. Там было химическим карандашом написано: «ДЕВОЧКИ, БОЙТЕСЬ СИФИЛИСА».

Глава четвертая КАНДИД

Кандид вышел затемно, чтобы вернуться к обеду. До Выселок было километров десять, дорога была знакомая, хорошо утоптанная, вся в голых проплешинах от пролитого травобоя. Считалось, что ходить по ней безопасно. Справа и слева лежали теплые бездонные болота, из ржавой пахучей воды торчали сгнившие черные ветки, округлыми блестящими куполами поднимались липкие шляпки гигантских болотных поганок, иногда возле самой дороги попадались покинутые раздавленные дома водяных пауков. Что делается на болотах, с дороги увидеть было трудно: из плотного переплетения древесных крон над головой свешивались и уходили в топь торопливыми корнями мириады толстых зеленых колонн, канатов, зыбких, как паутина, нитей — жадная наглая зелень стояла стеной, похожей на туман, скрывала все, кроме звуков и запахов. Время от времени в желто-зеленом сумраке что-то обрывалось и с протяжным шумом падало, раздавался густой жирный всплеск, болото вздыхало, урчало, чавкало, и снова наступала тишина, а минуту спустя сквозь зеленую завесу на дорогу выбиралась утробная вонь потревоженной бездны. Говорили, что по этим бездонным местам человек пройти не может, но зато мертвяки ходят везде, на то они и мертвяки — не принимает их болото. На всякий случай Кандид выломал себе дубину, не потому что боялся мертвяков, мертвяки мужчине, как правило, не опасны, но о лесной и болотной жизни ходили всякие слухи, и некоторые из них при всей своей нелепости могли оказаться верными.

Он отошел от деревни шагов на пятьсот, когда его нагнала Нава. Он остановился.

— Ты почему без меня ушел? — спросила Нава немного запыхавшимся голосом. — Я же тебе говорила, что я с тобой уйду, я одна в этой деревне не останусь, нечего мне одной там делать, там меня никто и не любит, а ты мой муж, ты должен меня взять с собой, это еще ничего не значит, что у нас нет детей, все равно ты мой муж, а я твоя жена, а дети у нас с тобой еще появятся... Просто я честно тебе скажу, я пока еще не хочу детей, непонятно мне, зачем они и что мы с ними будем делать... Мало ли что там староста говорит или этот твой старец, у нас в деревне совсем не так было: кто хочет, у того дети, а кто не хочет, у того их и нет...

— А ну вернись домой, — сказал Кандид. — Откуда это ты взяла, что я ухожу? Я же на Выселки, я же к обеду буду дома...

— Вот и хорошо, вот я с тобой и пойду, а к обеду мы вместе вернемся, обед у меня со вчерашнего дня готов, я его так спрятала, что его даже этот твой старик не найдет...

Кандид пошел дальше. Спорить было бесполезно, пусть идет. Он даже повеселел, ему захотелось с кем-нибудь сцепиться, помахать дубиной, сорвать на ком-нибудь тоску, и злость, и бессилие, накопленное за сколько-то там лет. На ворах. Или на мертвяках — какая разница? Пусть девчонка идет. Тоже мне жена, детей она не хочет. Он размахнулся как следует, ахнул дубиной по сырой коряге у обочины и чуть не свалился: коряга распалась в труху, и дубина проскочила сквозь нее, как сквозь тень. Несколько юрких серых животных выскочили и, булькнув, скрылись в темной воде.

Нава скакала рядом, то забегая вперед, то отставая. Время от времени она брала Кандида за руку обеими руками и повисала на нем, очень довольная. Она говорила об обеде, который так ловко спрятала от старца, о том, что обед могли бы съесть дикие муравьи, если бы она не сделала так, что муравьям до него в жизни не добраться, о том, что разбудила ее какая-то вредная муха и что, когда она вчера засыпала, он, Молчун, уже храпел, а во сне бормотал непонятные слова, и откуда это ты такие слова знаешь, Молчун, просто удивительно, никто у нас в деревне таких слов не знает, один ты знаешь, и всегда знал, даже когда совсем больной был, и то знал...

Кандид слушал и не слушал, привычный нудный гул отдавался у него в мозгу, он шагал и тупо, многословно думал о том, почему он ни о чем не может думать, наверное, это от бесконечных прививок, которыми только и занимаются в деревне, когда не занимаются болтовней, а может, еще от чего-нибудь... Может быть, это сказывается весь дремотный, даже не первобытный, а попросту растительный образ жизни, который он ведет с тех незапамятных времен, когда вертолет на полной скорости влетел в невидимую преграду, перекосился, поломал винты и камнем рухнул в болота... Вот тогда меня, наверное, и выбросило из кабины, подумал он. Выбросило меня тогда из кабины, в тысячный раз подумал он. Ударило обо что-то головой, так я больше и не оправился... А если б не выбросило, то я бы утонул в болоте вместе с машиной, так что это еще хорошо, что меня выбросило... Его вдруг осенило, что все это — умозаключения, и он обрадовался; ему казалось, что он давно потерял способность к умозаключениям и может твердить только одно: послезавтра, послезавтра...

Он глянул на Наву. Девчонка висела у него на левой руке, смотрела снизу вверх и азартно рассказывала:

— Тут все они сбились в кучу, и стало страшно жарко, ты знаешь ведь, какие они горячие, а луны в ту ночь совсем не было. Тогда мама стала

подталкивать меня тихонько, и я проползла на четвереньках у всех под ногами, и мамы уж больше мне видеть не привелось...

— Нава, — сказал Кандид, — опять ты мне эту историю рассказываешь. Ты мне ее уже двести раз рассказывала.

— Ну так и что же? — сказала Нава, удивившись. — Ты какой-то странный, Молчун. Что же мне тебе еще рассказывать? Я больше ничего не помню и не знаю. Не стану же я тебе рассказывать, как мы с тобой на прошлой неделе рыли погреб, ты же это и сам все видел. Вот если бы я рыла погреб с кем-нибудь другим, с Колченогом, например, или с Болтуном... — Она вдруг оживилась. — А знаешь, Молчун, это даже интересно. Расскажи ты мне, как мы с тобой на прошлой неделе рыли погреб, мне еще никто об этом не рассказывал, потому что никто не видел...

Кандид опять отвлекся. Медленно покачиваясь, проплывали по сторонам желто-зеленые заросли, кто-то сопел и вздыхал в воде, с тонким воем пронесся рой мягких белесых жуков, из которых делают хмельные настойки, дорога под ногами становилась то мягкой от высокой травы, то жесткой от щебня и крошеного камня. Желтые, серые, зеленые пятна — взгляду не за что было зацепиться, и нечего было запоминать. Потом тропа круто свернула влево, Кандид прошел еще несколько шагов и, вздрогнув, остановился. Нава замолчала на полуслове.

У дороги, головой в болоте, лежал большой мертвяк. Руки и ноги его были растопырены и неприятно вывернуты, и он был совершенно неподвижен. Он лежал на смятой, пожелтевшей от жары траве, бледный, широкий, и даже издали было видно, как страшно его били. Он был как студень. Кандид осторожно обошел его стороной. Ему стало тревожно. Бой произошел совсем недавно: примятые пожелтевшие травинки на глазах распрямлялись. Кандид внимательно оглядел дорогу. Следов было много, но он в них ничего не понимал, а дорога впереди, совсем близко, делала новый поворот, и что было за поворотом, угадать он не мог. Нава все оглядывалась на мертвяка.

— Это не наши, — сказала она очень тихо. — Наши так не умеют. Кулак все грозится, но он тоже не умеет, только руками размахивает... И на Выселках так тоже не умеют... Молчун, давай вернемся, а? Вдруг это уроды? Говорят, они тут ходят, редко, но ходят. Давай лучше вернемся... И чего ты меня на Выселки повел? Что я, Выселок не видела, что ли?

Кандид разозлился. Да что же это такое? Сто раз он ходил по этой дороге и не встречал ничего, что стоило бы запомнить или обдумать. А вот теперь, когда завтра нужно уходить — даже не послезавтра, а завтра, наконец-то! — эта единственная безопасная дорога становится опасной... В

Город-то можно пройти только через Выселки. Если в Город вообще можно пройти, если Город вообще существует, то дорога к нему ведет через Выселки...

Он вернулся к мертвяку. Он представил себе, как Колченог, Кулак и Хвост, непрерывно болтая, хвастаясь и грозясь, топчутся возле этого мертвяка, а потом, не переставая грозиться и хвастать, поворачивают от греха назад, в деревню. Он нагнулся и взял мертвяка за ноги. Ноги были еще горячие, но уже не обжигали. Он рывком толкнул грузное тело в болото. Трясина чавкнула, засипела и подалась. Мертвяк исчез, по темной воде побежала и погасла рябь.

— Нава, — сказал Кандид, — иди в деревню.

— Как же я пойду в деревню, — рассудительно сказала Нава, — если ты туда не пойдешь? Вот если бы ты тоже пошел в деревню...

— Перестань болтать, — сказал Кандид. — Сейчас же беги в деревню и жди меня. И ни с кем там не разговаривай.

— А ты?

— Я мужчина, — сказал Кандид, — мне никто ничего не сделает.

— Еще как сделают, — возразила Нава. — Я тебе говорю: вдруг это уроды? Им ведь все равно, мужчина, женщина, мертвяк, они тебя самого уродом сделают, будешь тут ходить, страшный, а ночью будешь к дереву прирастать... Как же я пойду одна, когда они, может быть, там, сзади?

— Никаких уродов на свете нет, — не очень уверенно сказал Кандид. — Вранье это все...

Он посмотрел назад. Там тоже был поворот, и что было за этим поворотом, угадать он тоже не мог. Нава что-то говорила ему, много, быстро и шепотом, отчего становилось особенно неприятно. Он взял дубину поудобнее.

— Хорошо. Иди со мной. Только держись рядом и, если я буду что-нибудь приказывать, сразу же выполняй. И молчи, закрой рот и молчи до самых Выселок. Пошли.

Молчать она, конечно, не умела. Она действительно держалась рядом, не забегала больше вперед и не отставала, но все время бормотала что-то себе под нос: сначала что-то про уродов, потом про погреб, потом про Колченога, как она с ним тут ходила и он ей сделал дудку... Они миновали опасный поворот, затем миновали еще один опасный поворот, и Кандид уже немного успокоился, когда из высокой травы, прямо из болота, им навстречу молча вышли и остановились люди.

Ну вот, устало подумал Кандид. Как мне не везет. Мне же все время не везет. Он покосился на Наву. Нава трясла головой, лицо ее сморщилось.

— Ты меня им не отдавай, Молчун, — бормотала она, — я не хочу с ними. Я хочу с тобой, не отдавай меня...

Он посмотрел на людей. Их было семеро — все мужчины, все заросшие до глаз и все с громадными суковатыми дубинами. Это были не здешние люди, и одеты они были не по-здешнему, совсем в другие растения. Это были воры.

— Ну так что же вы встали? — глубоким раскатистым голосом сказал вожак. — Подходите, мы дурного не сделаем... Если бы вы были мертвяки, тогда, конечно, разговор был бы другой, да никакого разговора вовсе бы и не было, приняли бы мы вас на сучки да на палочки, вот и весь был бы у нас с вами разговор... Куда направляетесь? На Выселки, я понимаю? Это можно, это пожалуйста. Ты, папаша, ты себе иди. А дочку, конечно, нам оставь. Да не жалей, ей с нами лучше будет...

— Нет, — сказала Нава, — я к ним не хочу. Ты, Молчун, так и знай, я к ним не хочу, это же воры...

Воры засмеялись — без всякой злобы, привычно.

— А может быть, нас обоих пропустите? — спросил Кандид.

— Нет, — сказал вожак, — обоих нельзя. Тут же кругом сейчас мертвяки, пропадет твоя дочка, подругой славной станет или еще какой-нибудь дрянью, а это нам ни к чему, да и тебе, папаша, ни к чему, сам подумай, если ты человек, а не мертвяк, а на мертвяка ты вроде не похож, хотя, конечно, и человек ты на вид странный...

— Она же еще девочка, — сказал Кандид, — зачем вам ее обижать?

Вожак удивился:

— Почему же обязательно обижать? Не век же она девочкой будет, придет время — станет женщиной, не славной там какой-нибудь подругой, а женщиной...

— Это он все врет, — сказала Нава, — ты ему, Молчун, не верь, ты что-нибудь делай скорее, раз сюда меня привел, а то они меня сейчас заберут, как Колченогову дочку забрали, с тех пор ее так никто и не видел, не хочу я к ним, я лучше этой славной подругой стану... Смотри, какие они дикие да тощие, у них и есть-то, наверное, нечего...

Кандид беспомощно огляделся, а потом в голову ему пришла мысль, показавшаяся ему очень удачной.

— Слушайте, люди, — сказал он просительно, — возьмите нас обоих.

Воры не спеша приблизились. Вожак внимательно оглядел Кандида с головы до ног.

— Нет, — сказал он. — Зачем ты нам такой нужен? Вы, деревенские, никуда не годитесь, отчаянности в вас нет, и живете вы непонятно зачем,

вас приходи и голыми руками бери. Не нужен ты нам, папаша, говоришь ты как-то не так, как все, неизвестно, что ты за человек, иди ты себе на Выселки, а дочку нам оставь.

Кандид глубоко вздохнул, взял дубину обеими руками и сказал Наве негромко:

— Ну, Нава, беги! Беги, не оглядывайся, я их задержу.

Глупо, подумал он. Надо же, до чего глупо. Он вспомнил мертвяка, лежавшего головой в темной воде, похожего на студень, и поднял дубину над головой.

— Эй-эй! — закричал вожак.

Все семеро, толкаясь и оскальзываясь, гурьбой кинулись вперед. Несколько секунд Кандид еще слышал дробный стук Навиных пяток, а потом ему стало не до этого. Ему было страшно и стыдно, но очень скоро страх прошел, потому что неожиданно выяснилось, что единственным стоящим бойцом из воров был вожак. Отбивая его удары, Кандид видел, как остальные, угрожающе и бессмысленно мотая дубинами, задевают друг друга, шатаются от собственных богатырских размахов и часто останавливаются, чтобы поплевать на ладони. Один вдруг отчаянно завопил: «Тону!» — и с шумом обрушился в болото, двое сразу бросили дубины и принялись его тащить, но вожак наседал, крякая и притопывая, пока Кандид случайно не угодил ему по коленной чашечке. Вожак уронил дубину, зашипел и присел на корточки. Кандид отскочил.

Двое воров тащили тонущего из болота. Тот увяз основательно, лицо его посинело. Вожак сидел на корточках и озабоченно рассматривал ушиб. Остальные трое воров, подняв дубины, толпились у него за спиной и тоже рассматривали ушиб через его голову.

— Дурак ты, папаша, — сказал вожак укоризненно. — Разве же так можно, долбня ты деревенская. И откуда ты только такой взялся... Выгоды своей ты не понимаешь, дерево ты стоеросовое, твердое...

Больше ждать Кандид не стал. Он повернулся и со всех ног пустился бежать за Навой. Воры кричали ему вслед сердито и насмешливо, вожак гукал и взревывал: «А держи его! Держи!» Они за ним не гнались, и Кандиду это не понравилось. Он испытывал разочарование и досаду и на бегу пытался сообразить, как же эти неуклюжие, неповоротливые и незлые люди могут наводить ужас на деревни, да еще каким-то образом уничтожать мертвяков — бойцов ловких и беспощадных.

Скоро он увидел Наву: девчонка скакала шагах в тридцати впереди, твердо ударяя в землю босыми пятками. Он увидел, как она скрылась за поворотом и вдруг снова выскочила — уже ему навстречу, — замерла на

мгновение и пустилась вбок, прямо через болото, прыгая с коряги на корягу, только брызги летели. У Кандида замерло сердце.

— Стой! — заорал он, задыхаясь. — С ума сошла! Стой!

Нава тотчас же остановилась и, ухватившись за свисающую лиану, повернулась к нему. А он увидел, как из-за поворота ему навстречу вышли еще трое воров и тоже остановились, глядя то на него, то на Наву.

— Молчун! — пронзительно закричала Нава. — Ты их бей и сюда беги! Ты здесь не утонешь, не бойся! Бей их, бей! Палкой бей! Гу-гу-гу! О-го-го их!

— Ты вот что, — сказал один из воров заботливо. — Ты там держись, ты там не кричи, а держись покрепче, а то свалишься, тащи тебя потом...

Сзади тяжело затопали и тоже закричали: «Гу-гу-гу!» Трое впереди ждали. Тогда Кандид, ухватив дубину за концы и выставив ее перед собой поперек груди, с разбегу налетел на них, повалил всех троих и упал сам. Он сильно ушибся об кого-то, но сейчас же вскочил. Перед глазами у него все плыло. Кто-то снова испуганно вопил: «Тону!» Кто-то сунулся бородатым лицом, и Кандид ударил его дубиной, не глядя. Дубина переломилась. Кандид бросил обломок и прыгнул в болото.

Коряга ушла из-под ног, он едва не сорвался, но сейчас же перескочил на следующую и пошел грузно прыгать с коряги на корягу, разбрасывая вонючую черную грязь. Нава победно верещала и свистела ему навстречу. Позади гудели сердитые голоса: «Что же вы, руки дырявые, корявые?» — «А сам что, скажи, пожалуйста?» — «Упустили мы девчонку, пропадет девчонка теперь...» — «Да обезумел же человек, дерется!» — «Одежду на мне порвал, надо же, какая одежда была, цены ей не было, одежде моей, а он порвал, и даже это не он мне порвал, а ты мне ее порвал...» — «Хватит вам разговоры разговаривать, в самом деле; догонять нужно, а не разговоры разговаривать... Видите, они бегут, а вы разговоры разговариваете!» — «А сам что, скажи, пожалуйста?» — «Ногу он мне подбил, видите? Коленку мне повредил, и как он мне ее повредил, не понимаю, только это я размахнулся...» — «А Семиглазый где? Ребята, а Семиглазый-то тонет!» — «Тонет! И верно, тонет... Семиглазый тонет, а они разговоры разговаривают!»

Кандид остановился возле Навы, тоже ухватился за лианы и, тяжело дыша, слушал и смотрел, как странные люди, сгрудившись на дороге, размахивая руками, тащат из болота за ногу и за голову своего Семиглазого. Слышались бульканье и храп. Впрочем, двое воров, ощупывая трясину дубинками, уже шли к Кандиду по колено в черной жиже. Коряги они обходили. И опять все наврали, подумал Кандид. Болото

вброд можно перейти, а говорили, будто другого пути, кроме дороги, нет. Ворами пугали, тоже мне, нашли кем пугать...

Нава потянула его за руку.

— Пошли, Молчун, — сказала она. — Что ты стоишь? Пошли скорей... Или, может, ты еще хочешь подраться? Тогда погоди, я тебе палку подходящую найду, ты тогда вот этих двух побей, а другие, наверное, испугаются. Хотя если они не испугаются, то они тебя, я думаю, одолеют, потому что ты ведь один, а их... раз... два, три... четыре...

— А куда идти? — спросил Кандид. — На Выселки мы попадем?

— Попадем, наверное, — сказала Нава. — Я не знаю, почему нам на Выселки не попасть...

— Тогда иди вперед, — сказал Кандид. Он уже немного отдышался. — Показывай, куда идти.

Нава легко запрыгала в лес, в чащу, в зеленое марево зарослей.

— Я вообще-то не знаю, куда нам идти и как, — говорила она на бегу. — Но я тут уже один раз была, а может быть, даже не один, а больше. Мы тут с Колченогом ходили, когда тебя еще не было... Или нет, был уже, только ты тогда еще без памяти ходил, ничего не соображал, говорить не мог, смотрел на всех как рыба, потом тебя мне отдали, я тебя и выходила, да только ты не помнишь, наверное, ничего...

Кандид прыгал за нею, стараясь держать правильное дыхание и ступать след в след. Время от времени он оглядывался. Воры были недалеко.

— А с Колченогом мы сюда ходили, — продолжала Нава, — когда у Кулака воры жену увели, Колченогову дочку. Он тогда все время меня с собой брал, обменять хотел, что ли, а может быть, хотел взять себе вместо дочки, вот и ходил со мной в лес, потому что очень без дочки убивался...

Лианы липли к рукам, хлестали по лицу, омертвевшие клубки их цеплялись за одежду и путались в ногах. Сверху сыпался мусор и насекомые, иногда какие-то тяжелые бесформенные массы оседали, проваливались вниз в путанице зелени и раскачивались над самой головой. То справа, то слева сквозь завесу лиан просвечивали клейкие лиловые гроздья — не то грибы, не то плоды, не то гнезда какой-то мерзости.

— Колченог говорил, что тут где-то одна деревня есть... — Нава говорила на бегу легко, как будто и не бежала вовсе, а валялась на своей постели: сразу было видно, что она не здешняя, здешние бегать не умели. — Не наша деревня и не Выселки, какая-то другая, название мне Колченог говорил, да я забыла, все-таки это давно было, тебя еще не было... Или нет, ты уже был, только ничего не соображал, и еще тебя мне не отдали... А ты,

когда бежишь, ты ртом дыши, ты зря носом дышишь, и разговаривать еще хорошо при этом, а то ты так скоро запыхаешься, тут еще долго бежать, мы еще мимо ос не пробегали, вот где нам быстро бежать придется, хотя, может быть, с тех пор осы оттуда ушли... Это той самой деревни осы были, а в той деревне, Колченог говорит, вроде бы людей уже давно нет, там уже Одержание, говорит, произошло, так что людей совсем не осталось... Нет, Молчун, это я вру, это он про другую деревню говорил...

Кандид перешел на второе дыхание, бежать стало легче. Теперь они были в самой гуще, в самых зарослях. Так глубоко Кандид забирался только один раз, когда попытался оседлать мертвяка, чтобы добраться на нем до его хозяев, мертвяк понес галопом, он был раскален, как кипящий чайник, и Кандид в конце концов потерял сознание от боли и сорвался с него в грязь. Он долго потом мучился ожогами на ладонях и на груди...

Становилось все темнее. Неба уже не было видно совсем, духота усиливалась. Зато становилось все меньше открытой воды, появились могучие заросли красного и белого моха. Мох был мягкий, прохладный и сильно пружинил, ступать по нему было приятно.

— Давай... отдохнем... — просипел Кандид.

— Нет, что ты, Молчун, — сказала Нава. — Здесь нам отдыхать нельзя. От этого моха надо поскорее подальше, это мох опасный. Колченог говорил, что это и не мох вовсе, это животное такое лежит, вроде паука, ты на нем заснешь и больше уже никогда не проснешься, вот какой это мох, пусть на нем воры отдыхают, только они, наверное, знают, что нельзя, а то было бы хорошо...

Она посмотрела на Кандида и все-таки перешла на шаг. Кандид дотащился до ближайшего дерева, привалился к нему спиной, затылком, всей тяжестью и закрыл глаза. Ему очень хотелось сесть, упасть, но он боялся. Он твердил про себя: ведь наверняка же врут, и про мох врут. Но все-таки он боялся. Сердце билось как бешеное, ног словно бы и не было вовсе, а легкие лопались и болезненно растекались в груди при каждом вдохе, и весь мир был скользкий и соленый от пота.

— А если они нас догонят? — услыхал он словно сквозь вату голос Навы. — Что мы будем делать, Молчун, когда они нас догонят? Что-то ты совсем никуда не годный стал, ты ведь, наверное, драться больше не сможешь, а?

Он хотел сказать: смогу, но только пошевелил губами. Воров он больше не боялся. Он вообще больше ничего не боялся. Он боялся только пошевелиться и боялся лечь в мох. Все-таки это был лес, что бы там они ни врали, это был лес, это-то он помнил хорошо, этого он не забывал никогда,

даже когда забывал все остальное.

— Вот у тебя даже и палки теперь нет, — говорила Нава. — Поискать, что ли, тебе палку, Молчун? Поискать?

— Нет, — пробормотал он. — Не надо... Тяжелая...

Он открыл глаза и прислушался. Воры были близко, слышно было, как они пыхтят и топают в зарослях, и в этом топоте не чувствовалось никакой бойкости — ворам тоже было тяжко.

— Пошли дальше, — сказал Кандид.

Они миновали полосу белого опасного моха, потом полосу красного опасного моха, снова началось мокрое болото с неподвижной густой водой, по которой пластались исполинские бледные цветы с неприятным мясным запахом, а из каждого цветка выглядывало серое крапчатое животное и провожало их глазами на стебельках.

— Ты, Молчун, шлепай посильнее, — деловито говорила Нава, — а то присосется кто-нибудь, потом ни за что не оторвешь, ты не думай, что раз тебе прививку сделали, так теперь уж и не присосется, еще как присосется. Потом оно, конечно, сдохнет, но тебе-то от этого не легче...

Болото вдруг кончилось, и местность стала круто повышаться. Появилась высокая полосатая трава с острыми режущими краями. Кандид оглянулся и увидел воров. Почему-то они остановились. Почему-то они стояли по колено в болоте, опираясь на дубины, и смотрели им вслед. Выдохлись, подумал Кандид, тоже выдохлись. Один из воров поднял руку, сделал приглашающий жест и крикнул:

— Давайте спускайтесь, чего же вы?

Кандид отвернулся и пошел за Навой. После трясины идти по твердой земле казалось совсем легко, даже в гору. Воры что-то кричали — в два, а потом в три голоса. Кандид оглянулся в последний раз. Воры по-прежнему стояли в болоте, в грязи, полной пиявок, даже не вышли на сухое место. Увидев, что он оглянулся, они отчаянно замахали руками и наперебой закричали снова; понять было трудно.

— Назад! — кричали они, кажется. — Наза-ад!.. Не тро-онем!.. Пропадете, дураки-и-и!..

Не так просто, подумал Кандид со злорадством, сами вы дураки, так я вам и поверил. Хватит с меня — верить... Нава уже скрылась за деревьями, и он поспешил за нею.

— Назад идите-е-е!.. Отпусти-и-им!.. — ревел вожак.

Не очень-то они выдохлись, если так орут, мельком подумал Кандид и сразу стал думать, что теперь надо бы отойти подальше, а потом сесть отдохнуть и поискать на себе пиявок и клещей.

Глава пятая ПЕРЕЦ

Перец явился в приемную директора точно в десять часов утра. В приемной уже была очередь, человек двадцать. Переца поставили четвертым. Он сел в кресло между Беатрисой Вах, сотрудницей группы Помощи местному населению, и сумрачным сотрудником группы Инженерного проникновения. Сумрачного сотрудника, судя по опознавательному жетону на груди и по надписи на белой картонной маске, следовало называть Брандскугелем. Приемная была окрашена в бледно-розовый цвет, на одной стене висела табличка: «НЕ КУРИТЬ, НЕ СОРИТЬ, НЕ ШУМЕТЬ», на другой — большая картина, изображающая подвиг лесопроходца Селивана: Селиван с подъятыми руками на глазах у потрясенных товарищей превращался в прыгающее дерево. Розовые шторы на окнах были глухо задернуты, под потолком сияла гигантская люстра. Кроме входной двери, на которой было написано «ВЫХОД», в приемной имелась еще одна дверь, огромная, обитая желтой кожей, с надписью «ВЫХОДА НЕТ». Эта надпись была выполнена светящимися красками и смотрелась как угрюмое предупреждение. Под надписью стоял стол секретарши с четырьмя разноцветными телефонами и электрической пишущей машинкой. Секретарша, полная пожилая женщина в пенсне, надменно изучала «Учебник атомной физики». Посетители переговаривались сдержанными голосами. Многие явно нервничали и судорожно перелистывали старые иллюстрированные журналы. Все это чрезвычайно напоминало очередь к зубному врачу, и Перец снова ощутил неприятный холодок, дрожь в челюстях и желание немедленно уйти куда-нибудь.

— Они даже не ленивы, — сказала Беатриса Вах, чуть повернув красивую голову в сторону Переца. — Однако они не выносят систематической работы. Как вы, например, объясните ту необыкновенную легкость, с которой они покидают обжитые места?

— Это вы мне? — робко спросил Перец. Он понятия не имел, как объяснить необыкновенную легкость.

— Нет. Я — моншеру Брандскугелю.

Моншер Брандскугель поправил отклеивающийся левый ус и задушенным голосом промямлил:

— Я не знаю.

— Вот и мы тоже не знаем, — сказала Беатриса горько. — Стоит

нашим отрядам появиться вблизи от деревни, как они бросают дома, все имущество и уходят. Создается впечатление, что они в нас совершенно не заинтересованы. Им ничего от нас не нужно. Как вы полагаете, это так и есть?

Некоторое время моншер Брандскугель молчал, словно раздумывая, и глядел на Беатрису странными крестообразными бойницами своей маски, а потом произнес с прежней интонацией:

— Я не знаю.

— Очень неудачно, — продолжала Беатриса, — что наша группа комплектуется исключительно из женщин. Я понимаю, в этом есть глубокий смысл, но зачастую так не хватает мужской твердости, жесткости, я бы сказала — целенаправленности. К сожалению, женщины склонны разбрасываться, вы, наверное, замечали это.

— Я не знаю, — сказал Брандскугель, и усы у него вдруг отвалились и мягко спланировали на пол. Он подобрал их, внимательно осмотрел, приподняв край маски, и, деловито на них поплевав, посадил на место.

На столе секретарши мелодично звякнул колокольчик. Она отложила учебник, проглядела список, элегантно придерживая пенсне, и объявила:

— Профессор Какаду, вас просят.

Профессор Какаду уронил иллюстрированный журнал, вскочил, опять сел, огляделся, бледнея на глазах, потом, закусив губу, с совершенно искаженным лицом оттолкнулся от кресла и исчез за дверью с надписью «ВЫХОДА НЕТ». Несколько секунд в приемной стояла болезненная тишина. Потом снова загудели голоса и зашелестели страницы.

— Мы никак не можем найти, — сказала Беатриса, — чем их заинтересовать, увлечь. Мы строили им удобные сухие жилища на сваях. Они забивают их торфом и заселяют какими-то насекомыми. Мы пытались предложить им вкусную пищу вместо той кислой мерзости, которую они поедают. Бесполезно. Мы пытались одеть их по-человечески. Один умер, двое заболели. Но мы продолжаем свои опыты. Вчера мы разбросали по лесу грузовик зеркал и позолоченных пуговиц... Кино им не интересно, музыка тоже. Бессмертные творения вызывают у них что-то вроде хихиканья... Нет, начинать нужно с детей. Я, например, предлагаю отлавливать их детей и организовывать специальные школы. К сожалению, это сопряжено с техническими трудностями, человеческими руками их не возьмешь, здесь понадобятся специальные машины... Впрочем, вы знаете это не хуже меня.

— Я не знаю, — сказал тоскливо моншер Брандскугель.

Снова звякнул колокольчик, и секретарша сказала:

— Беатриса, теперь вы. Прошу вас.

Беатриса засуетилась. Она бросилась было к двери, но остановилась, растерянно оглядываясь. Вернулась, заглянула под кресло, шепча: «Где же она? Где?» — огромными глазами обвела приемную, дернула себя за волосы, громко закричала: «Где же она?!» — а потом вдруг схватила Переца за пиджак и вывалила из кресла на пол. Под Перецом оказалась коричневая папка, и Беатриса схватила ее и несколько секунд стояла с закрытыми глазами и безмерно счастливым лицом, прижимая папку к груди, а затем медленно направилась к двери, обитой желтой кожей, и скрылась за нею. При мертвом молчании Перец поднялся и, стараясь ни на кого не глядеть, почистил брюки. Впрочем, на него никто не обращал внимания; все смотрели на желтую дверь.

Что же я ему скажу? — подумал Перец. Скажу, что я филолог и не могу быть полезен Управлению, отпустите меня, я уеду и больше никогда не вернусь, честное слово. А зачем же вы приехали сюда? Я всегда очень интересовался лесом, но ведь в лес меня не пускают. И вообще, я попал сюда совершенно случайно, ведь я филолог. Филологам, литераторам, философам нечего делать в Управлении. Так что правильно меня не пускают, я это сознаю, я с этим согласен... Не могу я быть ни в Управлении, откуда испражняются на лес, ни в лесу, где отлавливают детей машинами. Мне бы отсюда уехать и заняться чем-нибудь попроще. Я знаю, меня здесь любят, но меня любят, как ребенок любит свои игрушки. Я здесь для забавы, я здесь не могу никого научить тому, что я знаю... Нет, этого, конечно, говорить нельзя. Надо пустить слезу, а где я ее, эту слезу, найду? Но я у него все разнесу, пусть только попробует меня не пустить. Все разнесу и уйду пешком. Перец представил себе, как идет по пыльной дороге под палящим солнцем, километр за километром, а чемодан ведет себя все более и более самостоятельно. И с каждым шагом он все дальше и дальше удаляется от леса, от своей мечты, от своей тревоги, которая давно уже стала смыслом его жизни...

Что-то долго никого не вызывают, подумал он. Наверное, директор очень заинтересовался проектом отлова детей. И почему это из кабинета никто не выходит? Вероятно, есть другой выход.

— Извините, пожалуйста, — сказал он, обращаясь к моншеру Брандскугелю. — Который час?

Моншер Брандскугель посмотрел на свои ручные часы, подумал и сказал:

— Я не знаю.

Тогда Перец нагнулся к его уху и прошептал:

— Я никому не скажу. Ни-ко-му.

Моншер Брандскугель колебался. Он нерешительно потрогал пальцами пластиковый жетон со своим именем, украдкой огляделся, нервно зевнул, снова огляделся и, надвинув плотнее маску, ответил шепотом:

— Я не знаю.

Затем он встал и поспешно удалился в другой угол приемной. Секретарша сказала:

— Перец, ваша очередь.

— Как моя? — удивился Перец. — Я же четвертый.

— Внештатный сотрудник Перец, — повысив голос, сказала секретарша. — Ваша очередь.

— Рассуждает... — проворчал кто-то.

— Вот таких нам надо гнать... — громко сказали слева. — Раскаленной метлой!

Перец поднялся. Ноги у него были как ватные. Он бессмысленно пошаркал себя ладонями по бокам. Секретарша пристально глядела на него.

— Чует кошка, — сказали в приемной.

— Сколько веревочке ни виться...

— И вот такого мы терпели!

— Извините, но это вы терпели. Я его в первый раз вижу.

— А я, между прочим, тоже не в двадцатый.

— Ти-ше! — сказала секретарша, повысив голос. — Соблюдайте тишину! И не сорите на пол — вот вы, там... Да, да, я вам говорю. Итак, сотрудник Перец, вы будете проходить? Или вызвать охрану?

— Да, — сказал Перец. — Да, я иду.

Последним, кого он видел в приемной, был моншер Брандскугель, загородившийся в углу креслом, оскаленный, присевший, с рукой в заднем кармане брюк. А потом он увидел директора.

Директор оказался стройным ладным человеком лет тридцати пяти, в превосходно сидящем дорогом костюме. Он стоял у распахнутого окна и сыпал хлебные крошки голубям, толпившимся на подоконнике. Кабинет был абсолютно пуст, не было ни одного стула, не было даже стола, и только на стене против окна висела уменьшенная копия «Подвига лесопроходца Селивана».

— Внештатный сотрудник Управления Перец? — чистым звонким голосом произнес директор, поворачивая к Перецу свежее лицо спортсмена.

— Д-да... Я... — промямлил Перец.

— Очень, очень приятно. Наконец-то мы с вами познакомимся. Здравствуйте. Моя фамилия Ахти. Много о вас наслышан. Будем знакомы.

Перец, наклонившись от робости, пожал протянутую руку. Рука была сухая и крепкая.

— А я вот, видите, голубей кормлю. Любопытная птица. Огромные в ней чувствуются потенции. А как вы, мосье Перец, относитесь к голубям?

Перец замялся, потому что терпеть не мог голубей. Но лицо директора излучало такое радушие, такой живой интерес, такое нетерпеливое ожидание ответа, что Перец совладал с собою и соврал:

— Очень люблю, мосье Ахти.

— Вы их любите в жареном виде? Или в тушеном? Я, например, люблю в пироге. Пирог с голубями и стакан хорошего полусухого вина — что может быть лучше? Как вы думаете?

И снова на лице мосье Ахти появилось выражение живейшего интереса и нетерпеливого ожидания.

— Изумительно, — сказал Перец. Он решил махнуть на все рукой и со всем соглашаться.

— А «Голубка» Пикассо! — сказал мосье Ахти. — Я сразу же вспоминаю: «Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать, мгновения бегут неудержимо...» Как точно выражена эта идея нашей неспособности уловить и материализовать прекрасное!

— Превосходные стихи, — тупо сказал Перец.

— Когда я впервые увидел «Голубку», я, как и многие, вероятно, подумал, что рисунок неверен или, во всяком случае, неестественен. Но потом по роду службы мне пришлось приглядеться к голубям, и я вдруг осознал, что Пикассо, этот чудодей, схватил то мгновение, когда голубь складывает крылья перед приземлением! Его лапки уже касаются земли, но сам он еще в воздухе, еще в полете. Мгновение превращения движения в неподвижность, полета в покой.

— У Пикассо есть странные картины, которые я не понимаю, — сказал Перец, проявляя независимость суждений.

— О, вы просто недостаточно долго смотрели на них. Чтобы понимать настоящую живопись, недостаточно два или три раза в год пройти по музею. На картины нужно смотреть часами. Как можно чаще. И только на оригиналы. Никаких репродукций. Никаких копий... Вот взгляните на эту картину. По вашему лицу я вижу, что вы о ней думаете. И вы правы: это дурная копия. Но вот если бы вам довелось ознакомиться с оригиналом, вы бы поняли идею художника.

— В чем же она заключается?

— Я попытаюсь вам объяснить, — с готовностью предложил директор. — Что вы видите на этой картине? Формально — получеловека-полудерево. Картина статична. Не виден, не улавливается переход от одной сущности к другой. В картине отсутствует главное — направление времени. А вот если бы вы имели возможность изучить оригинал, вы бы поняли, что художнику удалось вложить в изображение глубочайший символический смысл, что он запечатлел не человеко-дерево и даже не превращение человека в дерево, а именно и только превращение дерева в человека. Художник воспользовался идеей старой легенды для того, чтобы изобразить возникновение новой личности. Новое из старого. Живое из мертвого. Разумное из косной материи. Копия абсолютно статична, и все, изображенное на ней, существует вне потока времени. Оригинал же содержит время-движение! Вектор! Стрелу времени, как сказал бы Эддингтон...

— А где же оригинал? — спросил Перец вежливо.

Директор улыбнулся.

— Оригинал, разумеется, уничтожен как предмет искусства, не допускающий двоякого толкования. Первая и вторая копии тоже из некоторой предосторожности уничтожены.

Мосье Ахти вернулся к окну и локтем спихнул голубей с подоконника.

— Так. О голубях мы поговорили, — произнес он новым, каким-то казенным голосом. — Ваше имя?

— Что?

— Имя. Ваше имя.

— Пе... Перец.

— Год рождения?

— Тридцатый...

— Точнее!

— Тысяча девятьсот тридцатый. Пятое марта.

— Что вы здесь делаете?

— Внештатный сотрудник. Прикомандирован к группе Научной охраны.

— Я вас спрашиваю: что вы здесь делаете? — сказал директор, обращая к Перецу слепые глаза.

— Я... Не знаю. Я хочу уехать отсюда.

— Ваше мнение о лесе. Кратко.

— Лес — это... Я всегда... Я его... боюсь. И люблю.

— Ваше мнение об Управлении?

— Тут много хороших людей, но...

— Достаточно.

Директор подошел к Перецу, обнял его за плечи и, заглядывая в глаза, сказал:

— Слушай, друг! Брось! Возьмем на троих? Секретаршу позовем, видел бабу? Это же не баба, это же тридцать четыре удовольствия! «Откроем, ребята, заветную кварту!..» — пропел он спертым голосом. — А? Откроем? Брось, не люблю. Понял? Ты как насчет этого?

От него вдруг запахло спиртом и чесночной колбасой, глаза съехались к переносице.

— Инженера позовем, Брандскугеля, моншера моего, — продолжал он, прижимая Переца к груди. — Он такие истории излагает — никакой закуски не надо... Пошли?

— Собственно, можно, — сказал Перец. — Но я ведь...

— Ну чего там — ты?

— Я, мосье Ахти...

— Брось! Какой я тебе мосье? Камрад — понял? Генацвале!

— Я, камрад Ахти, пришел попросить вас...

— Пр-р-роси! Ничего не пожалею! Деньги надо — на деньги! Не нравится тебе кто — скажи, рассмотрим! Ну?

— Н-нет, я просто хочу уехать. Я никак не могу уехать, я попал сюда случайно, камрад Ахти, и мне здесь больше нечего делать. Разрешите мне уехать. Мне никто не хочет помочь, и я прошу вас как директора...

Ахти отпустил Переца, поправил галстук и сухо улыбнулся.

— Вы ошибаетесь, Перец, — сказал он. — Я не директор. Я референт директора по кадрам. Извините, я несколько задержал вас. Прошу в эту дверь. Директор вас примет.

Он распахнул перед Перецом низенькую дверцу в глубине своего голого кабинета и сделал приглашающий жест рукой. Перец кашлянул, сдержанно кивнул ему и, нагнувшись, пролез в следующее помещение. При этом ему показалось, что его слегка ударили по задней части. Впрочем, вероятно, только показалось или, может быть, мосье Ахти несколько поторопился захлопнуть дверь.

Комната, в которую он попал, была точной копией приемной, и даже секретарша была точной копией первой секретарши, но читала она книгу под названием «Сублимация гениальности». В креслах совершенно так же сидели бледные посетители с журналами и газетами. Был тут и профессор Какаду, тяжко страдающий от нервной почесушки, и Беатриса Вах с коричневой папкой на коленях. Правда, все прочие посетители были незнакомы, а под копией картины «Подвиг лесопроходца Селивана»

равномерно вспыхивала и гасла строгая надпись: «ТИХО!». Поэтому здесь никто не разговаривал. Перец осторожно опустился на краешек кресла. Беатриса улыбнулась ему несколько настороженно, но в общем приветливо.

Через минуту нервного молчания звякнул колокольчик, и секретарша, отложив книгу, сказала:

— Преподобный Лука, вас просят.

На преподобного Луку было страшно смотреть, и Перец отвернулся. Ничего, подумал он, закрывая глаза. Выдержу. Он вспомнил, как дождливым осенним вечером в квартиру принесли Эсфирь, которую зарезал в подъезде дома пьяный хулиган... и соседей, повисших на нем, и стеклянные крошки во рту — он разгрыз стакан, когда ему принесли воды... Да, подумал он, самое тяжелое позади...

Его внимание привлекли быстрые скребущие звуки. Он открыл глаза и огляделся. Через кресло от него профессор Какаду яростно чесался обеими руками под мышками. Как обезьяна.

— Как вы думаете, нужно отделять мальчиков от девочек? — дрожащим шепотом спросила Беатриса.

— Я не знаю, — желчно сказал Перец.

— Комплексное воспитание имеет, конечно, свои преимущества, — продолжала бормотать Беатриса, — но это же особый случай... Господи! — сказала она вдруг плаксиво. — Неужели он меня прогонит? Куда я тогда пойду? Меня уже отовсюду прогоняли, у меня не осталось ни одной пары приличных туфель. Все чулки поехали, пудра какая-то комками...

Секретарша отложила книгу и строго сказала:

— Не отвлекайтесь.

Беатриса испуганно замерла. Тут низенькая дверь распахнулась, и в приемную просунулся наголо обритый человек.

— Перец здесь есть такой? — зычно осведомился он.

— Есть, — сказал Перец, вскакивая.

— На выход с вещами! Машина отходит через десять минут, живо!

— Куда машина? Почему?

— Вы Перец?

— Да.

— Вы уехать хотели или нет?

— Я хотел, но...

— Ну, как хотите, — сердито рявкнул бритый. — Мое дело сказать.

Он скрылся, и дверца захлопнулась. Перец кинулся следом.

— Назад! — закричала секретарша, и несколько рук схватили его за одежду. Перец отчаянно рванулся, пиджак его затрещал.

— Там же машина! — простонал он.

— Вы с ума сошли! — сказала раздраженная секретарша. — Куда вы ломитесь? Вот же дверь, написано «ВЫХОД», а вы куда?

Твердые руки направили Переца к надписи «ВЫХОД». За дверью оказался обширный многоугольный зал, в который выходило множество дверей, и Перец заметался, раскрывая их одну за другой.

Яркое солнце, стерильно-белые стены, люди в белых халатах. Голая спина, замазанная йодом. Запах аптеки. Не то.

Тьма, треск кинопроектора. На экране кого-то тянут за уши в разные стороны. Белые пятна недовольно повернутых лиц. Голос: «Дверь! Дверь закройте!» Опять не то...

Перец, скользя по паркету, пересек зал.

Запах кондитерской, небольшая очередь с сумками. За стеклянным барьером блестят бутылки с кефиром, цветут торты и пирожные.

— Господа! — крикнул Перец. — Где здесь выход?

— А вам откуда выход? — спросил дебелый продавец в поварском колпаке.

— Отсюда...

— А вот дверь, в которой вы стоите.

— Не слушайте его, — сказал продавцу хилый старик из очереди. — Это здесь есть один такой остряк, только очередь задерживает... Работайте, не обращайте внимания.

— Да я не острю, — сказал Перец. — У меня машина сейчас уйдет...

— Да, это не тот, — сказал справедливый старик. — Тот всегда спрашивает, где уборная. Где у вас, вы говорите, машина, сударь?

— На улице...

— На какой улице? — спросил продавец. — Улиц много.

— Мне все равно на какую, мне лишь бы выйти наружу!

— Нет, — сказал проницательный старик. — Это все тот же. Он просто программу переменил. Не обращайте на него внимания...

Перец в отчаянии огляделся, выскочил обратно в зал и ткнулся в соседнюю дверь. Дверь была заперта. Недовольный голос осведомился:

— Кто там?

— Мне нужно выйти! — крикнул Перец. — Где здесь выход?

— Подождите, сейчас.

За дверью раздавался какой-то шум, плеск воды, стук задвигаемых ящиков. Голос спросил:

— Что вам нужно?

— Выйти! Выйти мне нужно!

— Сейчас.

Скрипнул ключ, и дверь отворилась. В комнате было темно.

— Проходите, — сказал голос.

Пахло проявителем. Перец, выставив вперед руки, сделал несколько неуверенных шагов.

— Ничего не вижу, — сказал он.

— Сейчас привыкнете, — пообещал голос. — Ну, идите же, что вы встали?

Переца взяли за рукав и повели.

— Распишитесь вот здесь, — сказал голос.

В пальцах Переца оказался карандаш. Теперь он видел в темноте смутно белеющий лист бумаги.

— Расписались?

— Нет. А в чем расписываться?

— Да вы не бойтесь, это не смертный приговор. Распишитесь, что вы ничего не видели.

Перец наугад расписался. Его снова цепко взяли за рукав, провели между какими-то портьерами, потом голос спросил:

— Много вас здесь накопилось?

— Четверо, — раздалось как бы из-за двери.

— Очередь построена? Имейте в виду, сейчас я открою дверь и выпущу человека. Проходите по одному, не толкайтесь, и без шуток. Ясно?

— Ясно. Не в первый раз.

— Одежду никто не забыл?

— Не забыли, не забыли. Выпускайте.

Снова раздался скрип ключа. Перец чуть не ослеп от яркого света, и тут его вытолкнули. Еще не раскрывая глаз, он скатился по каким-то ступеням и только тогда понял, что находится во внутреннем дворе Управления. Недовольные голоса закричали:

— Ну что же вы, Перец? Скорее! Сколько можно ждать?

Посередине двора стоял грузовик, набитый сотрудниками группы Научной охраны. Из кабины выглядывал Ким и сердито махал рукой. Перец подбежал к машине, вскарабкался на борт, его рванули, подхватили и свалили на дно кузова. Грузовик сейчас же взревел, дернулся, кто-то наступил Перецу на руку, кто-то с размаху сел на него, все загорланили, засмеялись, и они поехали.

— Перчик, вот твой чемодан, — сказал кто-то.

— Перец, это правда, что вы уезжаете?

— Пан Перец, сигарету не угодно?

Перец закурил, уселся на чемодан и поднял воротник пиджака. Ему подали плащ, и он, благодарно улыбнувшись, завернулся в него. Грузовик мчался все быстрее, и хотя день был жаркий, встречный ветер казался весьма пронзительным. Перец курил, укрывая сигарету в кулаке, и озирался. Еду, думал он. Еду. В последний раз вижу тебя, стена. В последний раз вижу вас, коттеджи. Прощай, свалка, где-то здесь я оставил галоши. Прощай, лужа, прощайте, шахматы, прощай, кефир. Как славно, как легко! Никогда в жизни больше не буду пить кефира. Никогда в жизни больше не сяду за шахматы...

Сотрудники, сбившись к кабине, держась друг за друга и прячась друг за друга от ветра, разговаривали на отвлеченные темы.

— Это подсчитано, и я сам считал. Если так пойдет дальше, то через сто лет на каждый квадратный метр территории будет приходиться десять сотрудников, а общая масса будет такая, что утес обвалится. Транспортных средств для доставки продовольствия и воды понадобится столько, что придется создавать автоконвейер между Управлением и Материком, машины будут идти со скоростью сорок километров в час и с интервалом в один метр, а разгружаться будут на ходу... Нет, я совершенно уверен, что дирекция уже сейчас думает о регулировании притока новых сотрудников. Ну посудите сами: комендант гостиницы — так же нельзя, семеро и вот-вот восьмой. И все здоровы. Домарощинер считает, что с этим надо что-то делать. Нет, не обязательно стерилизация, как он предлагает...

— Кто бы говорил, но не Домарощинер.

— Поэтому я и говорю, что не обязательно стерилизация...

— Говорят, что годовые отпуска будут увеличены до шести месяцев.

Они миновали парк, и Перец вдруг понял, что грузовик едет не в ту сторону. Сейчас они выедут за ворота и поедут по серпантину, вниз, под утес.

— Слушайте, куда мы едем? — спросил он встревоженно.

— Как — куда? Жалование получать.

— А разве не на Материк?

— Зачем же на Материк? Кассир приехал на биостанцию.

— Так вы едете на биостанцию? В лес?

— Ну да. Мы же Научная охрана и деньги получаем на биостанции.

— А как же я? — растерянно спросил Перец.

— И ты получишь. Тебе премия полагается... Кстати, все оформлены?

Сотрудники зашевелились, извлекая из карманов и внимательно осматривая разноформатные и разноцветные бумаги с печатями.

— Перец, а вы заполнили анкету?

— Какую анкету?

— То есть позвольте, что значит — какую? Форму номер восемьдесят четыре.

— Я ничего не заполнял, — сказал Перец.

— Милостивые государи! Да что же это? У Переца бумаг нет!

— Ну, это не важно. У него, вероятно, пропуск...

— Нет у меня пропуска, — сказал Перец. — Ничего нет. Только чемодан и вот плащ... Я ведь не в лес собирался, я уехать хотел...

— А медосмотр? А прививки?

Перец помотал головой. Грузовик уже катил по серпантину, и Перец отрешенно смотрел на лес, на плоские пористые пласты его у самого горизонта, на его застывшее грозовое кипение, на липкую паутину тумана в тени утеса.

— Такие вещи даром не проходят, — сказал кто-то.

— Ну, в конце концов, на дороге никаких объектов нет...

— А Домарощинер?

— Ну что ж Домарощинер, раз объектов нет?

— Этого, положим, ты не знаешь. И никто не знает. А вот в прошлом году Кандид вылетел без документов, отчаянный парень, и где теперь Кандид?

— Во-первых, не в прошлом году, а гораздо раньше. А во-вторых, он просто погиб. На своем посту.

— Да? А ты приказ видел?

— Это верно, не было приказа.

— То есть даже спорить не о чем. Как посадили его в бункер при пропускном пункте, так он там до сих пор и сидит. Анкеты заполняет...

— Как же ты это, Перчик, анкеты не заполнил? Может быть, у тебя не все чисто?

— Минуточку, господа! Это вопрос серьезный. Я предлагаю на всякий случай проверить сотрудника Переца, так сказать, в демократическом порядке. Кто у нас будет секретарем?

— Домарощинера секретарем!

— Очень хорошее предложение. Почетным секретарем мы избираем нашего многоуважаемого Домарощинера. По лицам вижу, что единогласно. А кто у нас будет товарищ секретаря?

— Вандербильда товарищем секретаря!

— Вандербильда?.. Ну что же... Есть предложение избрать товарищем секретаря Вандербильда. Еще предложения есть? Кто за? Против? Воздержался? Гм... Двое воздержались. Вы почему воздержались?

— Я?

— Да-да, именно вы.

— Смысла не вижу. Зачем из человека душу вынимать? Ему и так плохо.

— Понятно. А вы?

— Не твое собачье дело.

— Как угодно... Товарищ секретаря, запишите: двое воздержались. Начнем. Кто первый? Нет желающих? Тогда позвольте мне. Сотрудник Перец, ответьте на следующий вопрос. Какие расстояния вы преодолели в промежуток между двадцатью пятью и тридцатью годами: а — на ногах, бэ — наземным транспортом, це — воздушным транспортом? Не торопитесь, подумайте. Вот вам бумага и карандаш.

Перец послушно взял бумагу и карандаш и принялся вспоминать. Грузовик трясло. Сначала все смотрели на него, а потом смотреть надоело, и кто-то забубнил:

— Перенаселения я не боюсь. А вот видели вы, сколько техники стоит? На пустыре за мастерскими — видели? А что это за техника, знаете? Правильно, она в ящиках, заколочена. И времени нет ни у кого ее раскрыть и посмотреть. А знаете, что я там позапрошлым вечером видел? Остановился я закурить, и вдруг раздается какой-то треск. Оборачиваюсь и вижу: стенка одного ящика, огромного, с хороший дом, выдавливается и распахивается как ворота. И из ящика выползает механизм. Описывать я его вам не буду, сами понимаете почему. Но зрелище... Постоял он несколько секунд, выбросил из себя вверх длинную трубу с такой вертушкой на конце, как бы огляделся, и снова в ящик заполз и крышкой закрылся. Я себя плохо тогда чувствовал и просто не поверил своим глазам. А сегодня утром думаю: «Дай все-таки посмотрю». Пришел — и мороз у меня по коже. Ящик в полном порядке, ни одной щели, но стенка эта гвоздями ИЗНУТРИ приколочена! А наружу торчат острия блестящие, в палец длиной. И вот теперь я думаю: зачем она вылезала? И одна ли она такая? Может быть, они все каждую ночь вот этак... осматриваются. И пока там перенаселение, пока что, а они устроят нам когда-нибудь Варфоломеевскую ночь, и полетят наши косточки с обрыва. А может быть, и не косточки даже, а костяная крупа... Что? Нет уж, спасибо, дорогой, инженерникам сам сообщай, если хочешь. Ведь я эту машину ВИДЕЛ, а откуда мне теперь знать, можно ее было видеть или нельзя? На ящиках грифа нет...

— Итак, Перец, вы готовы?

— Нет, — сказал Перец. — Ничего не могу вспомнить. Это же давно

было.

— Странно. Вот я, например, отлично помню. Шесть тысяч семьсот один километр по железной дороге, семнадцать тысяч сто пятьдесят три километра по воздуху (из них три тысячи двести пятнадцать километров по личным надобностям) и пятнадцать тысяч семь километров — пешком. А ведь я старше вас. Странно, странно, Перец... Н-ну, хорошо. Попробуем следующий пункт. Какие игрушки вы более предпочитали в дошкольном возрасте?

— Заводные танки, — сказал Перец и вытер со лба пот. — И броневики.

— Ага! Помните! А ведь это был дошкольный возраст, времена, так сказать, гораздо более отдаленные. Хотя и менее ответственные, правда, Перец? Так. Значит, танки и броневики... Следующий пункт. В каком возрасте вы почувствовали влечение к женщине, в скобках — к мужчине? Выражение в скобках обращено, как правило, к женщинам. Можете отвечать.

— Давно, — сказал Перец. — Это было очень давно.

— Точнее.

— А вы? — сказал Перец. — Скажите сначала вы, а потом я.

Председательствующий пожал плечами.

— Мне скрывать нечего. Впервые это случилось в возрасте девяти лет, когда меня мыли вместе с двоюродной сестрой... А теперь прошу вас.

— Не могу, — сказал Перец. — Не желаю я отвечать на такие вопросы.

— Дурак, — прошептали у него над ухом. — Соври что-нибудь с серьезным видом, и все. Что ты мучаешься? Кто там тебя будет проверять?

— Ладно, — покорно сказал Перец. — В возрасте десяти лет. Когда меня купали вместе с собакой Муркой.

— Прекрасно! — воскликнул председательствующий. — Можете ведь, если захотите! А теперь перечислите болезни ног, которыми вы страдали.

— Ревматизм.

— Еще?

— Перемежающаяся хромота.

— Очень хорошо. Еще?

— Насморк, — сказал Перец.

— Это не болезнь ног.

— Не знаю. Это у вас, может быть, не болезнь ног. А у меня — именно ног. Промочил ноги, и насморк.

— Н-ну, предположим. А еще?

— Неужели мало?

— Это как вам угодно. Но предупреждаю: чем больше, тем лучше.

— Спонтанная гангрена, — сказал Перец. — С последующей ампутацией. Это была последняя болезнь моих ног.

— Теперь, пожалуй, достаточно. Последний вопрос. Ваше мировоззрение, кратко.

— Материалист, — сказал Перец.

— Какой именно материалист?

— Эмоциональный.

— У меня вопросов больше нет. Как у вас, господа?

Вопросов больше не было. Сотрудники частью дремали, частью беседовали, повернувшись к председательствующему спиной. Грузовик шел теперь медленно. Становилось жарко, тянуло влагой и запахом леса, неприятным и острым запахом, который в обычные дни не достигал Управления. Грузовик катился с выключенным мотором, и слышно было, как издалека, из очень далекого далека доносится слабое урчание грома.

— Поражаюсь я, на вас глядя, — говорил товарищ секретаря, тоже повернувшись спиной к председательствующему. — Нездоровый пессимизм какой-то. Человек по своей натуре оптимист, это во-первых. А во-вторых — и в главных, — неужели вы полагаете, что директор меньше вас думает обо всех эти вещах? Смешно даже. В последнем своем выступлении, обращаясь ко мне, директор развернул величественные перспективы. У меня просто дух захватило от восторга, я не стыжусь сознаться. Я всегда был оптимистом, но эта картина... Если хотите знать, все будет снесено, все эти склады, коттеджи... Вырастут ослепительной красоты здания из прозрачных и полупрозрачных материалов, стадионы, бассейны, воздушные парки, хрустальные распивочные и закусочные! Лестницы в небо! Стройные гибкие женщины со смуглой упругой кожей! Библиотеки! Мышцы! Лаборатории! Пронизанные солнцем и светом! Свободное расписание! Автомобили, глайдеры, дирижабли... Диспуты, обучение во сне, стереокино... Сотрудники после служебных часов будут сидеть в библиотеках, размышлять, сочинять мелодии, играть на гитарах и других музыкальных инструментах, вырезать по дереву, читать друг другу стихи!..

— А ты что будешь делать?

— Я буду вырезать по дереву.

— А еще что?

— Еще я буду писать стихи. Меня научат писать стихи, у меня хороший почерк.

— А я что буду делать?

— Что захочешь! — великодушно сказал товарищ секретаря. — Вырезать по дереву, писать стихи... Что захочешь.

— Не хочу я вырезать по дереву. Я математик.

— И пожалуйста! И занимайся себе математикой на здоровье!

— Математикой я и сейчас занимаюсь на здоровье.

— Сейчас ты получаешь за это жалованье. Глупо. Будешь прыгать с вышки.

— Зачем?

— Ну как — зачем? Интересно ведь...

— Не интересно.

— Ты что же хочешь сказать? Что ты ничем, кроме математики, не интересуешься?

— Да вообще-то ничем, пожалуй... День проработаешь, до того обалдеешь, что больше ничем уже не интересуешься.

— Ты просто ограниченный человек. Ничего, тебя разовьют. Найдут у тебя какие-нибудь способности, будешь сочинять музыку, вырезать что-нибудь такое...

— Сочинять музыку — не проблема. Вот где найти слушателей...

— Ну, я тебя послушаю с удовольствием... Перец вот...

— Это тебе только кажется. Не будешь ты меня слушать. И стихи ты сочинять не будешь. Повыпиливаешь по дереву, а потом к бабам пойдешь. Или напьешься. Я же тебя знаю. И всех я здесь знаю. Будете слоняться от хрустальной распивочной до алмазной закусочной. Особенно если будет свободное расписание. Я даже подумать боюсь, что же это будет, если дать вам здесь свободное расписание.

— Каждый человек в чем-нибудь да гений, — возразил товарищ секретаря. — Надо только найти в нем это гениальное. Мы даже не подозреваем, а я, может быть, гений кулинарии, а ты, скажем, гений фармацевтики, а занимаемся мы не тем и раскрываем себя мало. Директор сказал, что в будущем этим будут заниматься специалисты, они будут отыскивать наши скрытые потенции...

— Ну, знаешь, потенции — это дело темное. Я-то, вообще, с тобой не спорю, может быть, действительно в каждом сидит гений, да только что делать, если данная гениальность может найти себе применение либо только в далеком прошлом, либо в далеком будущем, а в настоящем — даже гениальностью не считается, проявил ты ее или нет. Хорошо, конечно, если ты окажешься гением кулинарии. А вот как выяснится, что ты гениальный извозчик, а Перец — гениальный обтесыватель каменных наконечников, а я — гениальный уловитель какого-нибудь икс-поля, о котором никто ничего

не знает и узнает только через двести лет... Вот тогда-то, как сказал поэт, и повернется к нам черное лицо досуга...

— Ребята, — сказал кто-то, — а пожрать-то мы с собой ничего не взяли. Пока приедем, пока деньги выдадут...

— Стоян накормит.

— Стоян тебя накормит, как же. У них там пайковая система.

— Надо же, ведь давала жена бутерброды!

— Ничего, потерпим, вон уже шлагбаум...

Перец вытянул шею. Впереди желто-зеленой стеной стоял лес, и дорога уходила в него, как нитка уходит в пестрый ковер. Грузовик проехал мимо фанерного плаката: «ВНИМАНИЕ! СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ! ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ!» Уже был виден полосатый опущенный шлагбаум, грибок возле него, а правее — колючая проволока, белые шишки изоляторов, решетчатые башни с прожекторами. Грузовик остановился. Все стали смотреть на охранника, который, перекрестив ноги, стоя дремал под грибком с карабином под мышкой. На губе у него висела потухшая сигарета, а площадка под грибком была усыпана окурками. Рядом со шлагбаумом торчал шест с прибитыми к нему предупреждающими надписями: «ВНИМАНИЕ! ЛЕС!», «ПРЕДЪЯВЛЯЙ ПРОПУСК В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ!», «НЕ ЗАНЕСИ ЗАРАЗУ!». Шофер деликатно погудел. Охранник открыл глаза, мутно посмотрел перед собою, потом отделился от грибка и пошел вокруг автомобиля.

— Много что-то вас, — сказал он сипло. — За деньгами?

— Точно так, — заискивающе сказал бывший председательствующий.

— Хорошее дело, доброе, — сказал охранник. Он обошел грузовик, стал на подножку и заглянул в кузов. — Ох, сколько же вас, — сказал он с упреком. — А руки? Руки как, чистые?

— Чистые! — хором сказали сотрудники. Некоторые выставили ладони.

— У всех чистые?

— У всех!

— Ладненько, — сказал охранник и по пояс засунулся в кабину. Из кабины донеслось: — Кто старший? Вы будете старший? Сколько везешь? Ага... Не врешь? Фамилия как? Ким? Ну, смотрите, Ким, я твою фамилию запишу... Здорово, Вольдемар! Все ездишь?.. А я вот все охраняю. Покажи удостоверение. Ну-ну, ты не лайся, давай показывай... В порядке удостоверение, а то бы я тебя... Что же это ты на удостоверении телефоны пишешь? Постой... Это какая же Шарлотка? А-а, помню. Дай-ка я тоже перепишу... Ну, спасибо. Езжайте. Можно ехать.

Он соскочил с подножки, подымая сапогами пыль, подошел к шлагбауму и навалился на противовес. Шлагбаум медленно поднялся, развешанные на нем кальсоны съехали в пыль. Грузовик тронулся.

В кузове загомонили, но Перец ничего не слышал. Он въезжал в лес. Лес приближался, надвигался, громоздился все выше и выше, как океанская волна, и вдруг поглотил его. Не стало больше солнца и неба, пространства и времени, лес занял их место. Было только мелькание сумрачных красок, влажный густой воздух, диковинные запахи, как чад, и терпкий привкус во рту. Только слуха не касался лес: звуки леса заглушались ревом двигателя и болтовней сотрудников. Вот и лес, повторял Перец, вот я и в лесу, бессмысленно повторял он. Не сверху, а внутри, не наблюдатель, а участник. Вот я и в лесу. Что-то прохладное и влажное коснулось его лица, пощекотало, отделилось и медленно опустилось к нему на колени. Он посмотрел: тонкое длинное волокно какого-то растения, а может быть, животное, а может быть, просто прикосновение леса, дружеское приветствие или подозрительное ощупывание; он не стал трогать этого волокна.

А грузовик мчался по дороге славного наступления, желтое, зеленое, коричневое покорно уносилось назад, а вдоль обочин тянулись неубранные и забытые колонны ветеранов наступавшей армии, вздыбленные черные бульдозеры с яростно задранными ржавыми щитами, зарывшиеся по кабину в землю тракторы, за которыми змеились распластанные гусеницы, грузовики без колес и без стекол — все мертвое, заброшенное навсегда, но по-прежнему бесстрашно глядящее вперед, в глубину леса развороченными радиаторами и разбитыми фарами. А вокруг шевелился лес, трепетал и корчился, менял окраску, переливаясь и вспыхивая, обманывая зрение, наплывая и отступая, издевался, пугал и глумился лес, и он весь был необычен, и его нельзя было описать, и от него мутило.

Глава шестая ПЕРЕЦ

Перец, отворив дверцу вездехода, смотрел в заросли. Он не знал, что он должен увидеть. Что-то похожее на тошнотворный кисель. Что-то необычайное, что нельзя описать. Но самым необычайным, самым невообразимым, самым невозможным в этих зарослях были люди, и поэтому Перец видел только их. Они шли к вездеходу, тонкие и ловкие, уверенные и изящные, они шли легко, не оступаясь, мгновенно и точно выбирая место, куда ступить, и они делали вид, что не замечают леса, что в лесу они как дома, что лес уже принадлежит им, они даже, наверное, не делали вид, они действительно думали так, а лес висел над ними, беззвучно смеясь и указывая мириадами глумливых пальцев, ловко притворяясь и знакомым, и покорным, и простым — совсем своим. Пока. До поры до времени...

— Ох, и хороша же эта баба — Рита, — сказал бывший шофер Тузик Перецу. Он стоял рядом с вездеходом, широко раздвинув кривоватые ноги, придерживая ляжками хрюкающий и дрожащий мотоцикл. — Обязательно я бы добрался до нее, да только вот этот Квентин... Внимательный мужчина.

Квентин и Рита подошли совсем близко, и Стоян вылез им навстречу из-за руля.

— Ну, как она у вас тут? — спросил Стоян.

— Дышит, — сказал Квентин, внимательно разглядывая Переца. — Что, деньги привезли?

— Это Перец, — сказал Стоян. — Я вам рассказывал.

Рита и Квентин улыбнулись Перецу. Не было времени рассматривать их, и Перец только мельком подумал, что никогда раньше не видел такой странной женщины, как Рита, и такого глубоко несчастного мужчины, как Квентин.

— Здравствуйте, Перец, — сказал Квентин, продолжая жалко улыбаться. — Приехали посмотреть? Никогда раньше не видели?

— Я и сейчас не вижу, — сказал Перец. Несомненно, эта несчастность и эта странность были неуловимо, но очень жестко связаны между собой.

Рита, повернувшись к ним спиной, закурила.

— Да вы не туда смотрите, — сказал Квентин. — Прямо смотрите, прямо! Неужели не видите?

И тогда Перец увидел и сразу забыл о людях. Это появилось, как

скрытое изображение на фотобумаге, как фигурка на детской загадочной картинке «Куда спрятался зайчик?» — и, однажды разглядев это, больше невозможно было потерять из виду. Оно было совсем рядом, оно начиналось в десятке шагов от колес вездехода и от тропинки. Перец судорожно глотнул.

Живой столб поднимался к кронам деревьев, сноп тончайших прозрачных нитей, липких, блестящих, извивающихся и напряженных, сноп, пронизывающий плотную листву и уходящий еще выше, в облака. И он зарождался в клоаке, в жирной клокочущей клоаке, заполненной протоплазмой — живой, активной, пухнущей пузырями примитивной плоти, хлопотливо организующей и тут же разлагающей себя, изливающей продукты разложения на плоские берега, плюющейся клейкой пеной... И сразу же, словно включились невидимые звукофильтры, из хрюканья мотоцикла выделился голос клоаки: клокотание, плеск, всхлипывания, бульканье, протяжные болотные стоны; и надвинулась тяжелая стена запахов: сырого сочащегося мяса, сукровицы, свежей желчи, сыворотки, горячего клейстера — и только тогда Перец заметил, что у Риты и Квентина на груди висят кислородные маски, и увидел, как Стоян, брезгливо кривясь, поднимает к лицу намордник респиратора, но сам он не стал надевать респиратор, он словно надеялся, что хотя бы запахи расскажут ему то, чего не рассказали ни глаза, ни уши...

— Воняет тут у вас, — говорил Тузик с отвращением. — Как в покойницкой...

А Квентин говорил Стояну:

— Ты бы попросил Кима, пусть похлопочет насчет пайков. У нас все-таки вредный цех. Нам полагается молоко, шоколад...

А Рита задумчиво курила, выпуская дым из тонких подвижных ноздрей.

Вокруг клоаки, заботливо склоняясь над нею, трепетали деревья, их ветви были повернуты в одну сторону и никли к бурлящей массе, и по ветвям струились и падали в клоаку толстые мохнатые лианы, и клоака принимала их в себя, и протоплазма обглядывала их и превращала в себя, как она могла растворить и сделать своею плотью все, что окружало ее...

— Перчик, — сказал Стоян. — Не выпучивайся так, глаза выскочат.

Перец улыбнулся, но он знал, что улыбка у него получилась фальшивая.

— А зачем ты мотоцикл взял? — спросил Квентин.

— На случай, если застрянем. Они ползут по тропинке, я одним колесом встану на тропинку, а другим — по траве, а мотоцикл будет идти

сзади. Если завязнем, Тузик смотается на мотоцикле и вызовет тягач.

— Обязательно завязнете, — сказал Квентин.

— Конечно, завязнем, — сказал Тузик. — Глупая это у вас затея, я вам сразу сказал.

— Ты помалкивай, — сказал ему Стоян. — Твое дело маленькое... Скоро выход? — спросил он у Квентина.

Квентин посмотрел на часы.

— Так... — сказал он. — Она щенится сейчас каждые восемьдесят семь минут. Значит, осталось... осталось... Да ничего не осталось, вон она, уже начала.

Клоака щенилась. На ее плоские берега нетерпеливыми судорожными толчками один за другим стали извергаться обрубки белесого, зыбко вздрагивающего теста, они беспомощно и слепо катились по земле, потом замирали, сплющивались, вытягивали осторожные ложноножки и вдруг начинали двигаться осмысленно — еще суетливо, еще тычась, но уже в одном направлении, все в одном определенном направлении, разбредаясь и сталкиваясь, но все в одном направлении, по одному радиусу от матки, в заросли, прочь, одной текучей белесой колонной, как исполинские мешковатые слизнеподобные муравьи...

— Тут же кругом трясина, — говорил Тузик. — Так врюхаемся, что никакой тягач не вытащит — все тросы лопнут.

— А может, с нами поедешь? — сказал Стоян Квентину.

— Рита устала.

— Ну, Рита пусть домой идет, а мы съездим...

Квентин колебался.

— Ты как, Риточка? — спросил он.

— Да, я пойду домой, — сказала Рита.

— Вот и хорошо, — сказал Квентин. — А мы съездим посмотрим, ладно? Скоро, наверное, вернемся. Ведь мы ненадолго, Стоян?

Рита бросила окурок и, не прощаясь, пошла по тропинке к биостанции. Квентин потоптался в нерешительности и потом сказал Перецу тихонько:

— Разрешите мне... Пробраться...

Он пролез на заднее сиденье, и в этот момент мотоцикл ужасно взревел, вырвался из-под Тузика и, высоко подпрыгивая, бросился прямо в клоаку. «Стой! — закричал Тузик, приседая. — Куда?» Все замерли. Мотоцикл налетел на кочку, дико заверещал, встал на дыбы и упал в клоаку. Все подались вперед. Перецу показалось, что протоплазма прогнулась под мотоциклом, словно смягчая удар, легко и беззвучно пропустила его в себя

и сомкнулась над ним. Мотоцикл заглох.

— Сволочь неуклюжая, — сказал Стоян Тузику. — Что же ты сделал?

Клоака стала пастью, сосущей, пробующей, наслаждающейся. Она катала в себе мотоцикл, как человек катает языком от щеки к щеке большой леденец. Мотоцикл кружило в пенящейся массе, он исчезал, появлялся вновь, беспомощно ворочая рогами руля, и с каждым появлением его становилось все меньше, металлическая обшивка истончалась, делалась прозрачной, как тонкая бумага, и уже смутно мелькали сквозь нее внутренности двигателя, а потом обшивка расползлась, шины исчезли, мотоцикл нырнул в последний раз и больше не появлялся.

— Сглодала, — сказал Тузик с идиотским восторгом.

— Сволочь неуклюжая, — повторил Стоян. — Ты у меня за это заплатишь. Ты у меня всю жизнь за это платить будешь.

— Ну и ладно, — сказал Тузик. — Ну и заплачу. А что я сделал-то? Ну, газ повернул не в ту сторону, — сказал он Перецу. — Вот он и вырвался. Понимаете, пан Перец, я хотел газ сделать поменьше, чтобы не так тарахтело, ну и не в ту сторону повернул. Не я первый, не я последний. Да и мотоцикл старый был... Так я пойду, — сказал он Стояну. — Что мне теперь здесь делать? Я домой пойду.

— Ты куда это смотришь? — сказал вдруг Квентин с таким выражением, что Перец невольно отстранился.

— А чего? — сказал Тузик. — Куда хочу, туда и смотрю.

Он смотрел назад, на тропинку, туда, где под плотным изжелта-зеленым навесом ветвей мелькала, удаляясь, оранжевая накидка Риты.

— А ну-ка, пустите меня, — сказал Квентин Перецу. — Я с ним сейчас поговорю.

— Ты куда, ты куда? — забормотал Стоян. — Квентин, ты опомнись...

— Нет, чего там — опомнись, я же давно вижу, чего он добивается!

— Слушай, не будь ребенком... Ну, прекрати! Ну, опомнись!..

— Пусти, говорят тебе, пусти руку!..

Они шумно возились рядом с Перецом, толкая его с двух сторон. Стоян крепко держал Квентина за рукав и за полу куртки, а Квентин, ставший вдруг красным и потным, не сводя глаз с Тузика, одной рукой отпихивал Стояна, а другой рукой изо всей силы сгибал Переца пополам, стараясь через него перешагнуть. Он двигался рывками и с каждым рывком все больше вылезал из куртки. Перец улучил момент и вывалился из вездехода. Тузик все смотрел вслед Рите, рот у него был полуоткрыт, глаза масляные, ласковые.

— И чего она в брюках ходит, — сказал он Перецу. — Манера теперь у

них появилась — в брюках ходить...

— Не защищай его! — заорал в машине Квентин. — Никакой он не половой неврастеник, а просто мерзавец! Пусти, а то я и тебе дам!

— Вот раньше были такие юбки, — сказал Тузик мечтательно. — Кусок материи обернет вокруг себя и застегнет булавкой. А я, значит, возьму и расстегну...

Если бы это было в парке... Если бы это было в гостинице, или в библиотеке, или в актовом зале... Это и бывало — и в парке, и в библиотеке, и даже в актовом зале во время доклада Кима «Что необходимо знать каждому работнику Управления о методах математической статистики». А теперь лес видел все это и слышал все это: похотливое сальце, облившее Тузиковы глаза, багровую физиономию Квентина, мотающуюся в дверях вездехода, какую-то тупую, бычью, и мучительное бормотание Стояна — что-то о работе, об ответственности, о глупости, — и треск отлетающих пуговиц о ветровое стекло... И неизвестно, что думал обо всем этом, ужасался ли, насмехался ли или брезгливо морщился.

— ...! — сказал Тузик с наслаждением.

И Перец ударил его. Ударил, кажется, по скуле, с хрустом, и вывихнул себе палец. Все сейчас же замолчали. Тузик взялся за скулу и с большим удивлением посмотрел на Переца.

— Нельзя так, — сказал Перец твердо. — Нельзя это здесь. Нельзя.

— Так я и не возражаю, — сказал Тузик, пожимая плечами. — Я ведь только к тому, что мне здесь делать больше нечего, мотоцикла-то нет, сами видите... Что ж мне теперь здесь делать?

Квентин громко осведомился:

— По морде?

— Ну да, — с досадой сказал Тузик. — По скуле попал, по самой косточке... Хорошо, что не в глаз.

— Нет, в самом деле, по морде?

— Да, — сказал Перец твердо. — Потому что здесь так нельзя.

— Тогда поехали, — сказал Квентин, откидываясь на сиденье.

— Туз, — сказал Стоян, — полезай в машину. Если завязнем, будешь помогать выталкивать.

— У меня брюки новые, — возразил Тузик. — Давайте я лучше за баранку сяду.

Ему не ответили, и он полез на заднее сиденье и сел рядом с подвинувшимся Квентином. Перец сел рядом со Стояном, и они поехали.

Щенки ушли уже довольно далеко, но Стоян, двигаясь с большой аккуратностью правыми колесами по тропинке, а левыми — по пышному

мху, догнал их и медленно пополз следом, осторожно регулируя скорость сцеплением. «Сцепление сожжете», — сказал Тузик, а потом обратился к Квентину и принялся ему объяснять, что он вообще-то ничего плохого в виду не имел, что мотоцикла у него все равно уже не было, а мужчина — это мужчина, и если у него все нормально, то он мужчиной и останется, лес там вокруг или еще что-нибудь, это безразлично... «Тебе по морде уже дали?» — спрашивал Квентин. «Нет, ты мне скажи, только не соври, дали тебе уже по морде или нет?» — спрашивал он время от времени, прерывая Тузика. «Нет, — отвечал Тузик, — нет, ты подожди, ты меня выслушай сначала...»

Перец гладил свой опухающий палец и смотрел на щенков. На детей леса. А может быть, на слуг леса. А может быть, на экскременты леса... Они медленно и неутомимо двигались колонной один за другим, словно текли по земле, переливаясь через стволы сгнивших деревьев, через рытвины, по лужам стоячей воды, в высокой траве, сквозь колючие кустарники. Тропинка исчезала, ныряла в пахучую грязь, скрывалась под наслоениями твердых серых грибов, с хрустом ломающихся под колесами, и снова появлялась, и щенки держались ее и оставались белыми, чистыми, гладкими, ни одна соринка не прилипала к ним, ни одна колючка не ранила их, и их не пачкала черная липкая грязь. Они лились с тупой бездумной уверенностью, как будто по давно знакомой, привычной дороге. Их было сорок три.

...Я рвался сюда, и вот я попал сюда, и я наконец вижу лес изнутри, и я ничего не вижу. Я мог бы придумать все это, оставаясь в гостинице, в своем голом номере с тремя необитаемыми койками, поздним вечером, когда не спится, когда все тихо и вдруг в полночь начинает бухать баба, забивающая сваи на строительной площадке. Наверное, все, что есть здесь, в лесу, я мог бы придумать: и русалок, и бродячие деревья, и этих щенков, как они вдруг превращаются в лесопроходца Селивана, — все самое нелепое, самое святое. И все, что есть в Управлении, я могу придумать и представить себе, я мог бы оставаться у себя дома и придумать все это, лежа на диване рядом с радиоприемником, слушая симфоджазы и голоса, говорящие на незнакомых языках. Но это ничего не значит. Увидеть и не понять — это все равно что придумать. Я живу, вижу и не понимаю, я живу в мире, который кто-то придумал, не затруднившись объяснить его мне, а может быть, и себе... Тоска по пониманию, вдруг подумал Перец. Вот чем я болен — тоской по пониманию.

Он высунулся в окно и приложил ноющий палец к холодному борту. Щенки не обращали на вездеход никакого внимания. Наверное, они даже не

подозревали, что он существует. От них резко и неприятно пахло, оболочка их теперь казалась прозрачной, под нею волнами двигались словно бы тени.

«Давайте поймаем одного, — предложил Квентин. — Это ведь совсем просто, закутаем в мою куртку и отвезем в лабораторию». — «Не стоит», — сказал Стоян. «А почему? — сказал Квентин. — Все равно когда-нибудь придется ловить». — «Страшно как-то, — сказал Стоян. — Во-первых, не дай бог, он сдохнет, придется писать докладную Домарощинеру...» — «Мы их варили, — сообщил вдруг Тузик. — Мне не понравилось, а ребята говорили, что ничего. На кролика похоже, а я кролика в рот не беру; по мне, что кошка, что кролик — один черт. Брезгую...» — «Я заметил одну вещь, — сказал Квентин. — Число щенков — всегда простое число: тринадцать, сорок три, сорок семь...» — «Ерунда, — возразил Стоян. — Я встречал в лесу группы по шесть, по двенадцать...» — «Так это в лесу, — сказал Квентин, — они же потом расходятся в разные стороны группами. А щенится клоака всегда простым числом, можешь проверить по журналу, у меня все выводки записаны...» — «А еще однажды, — сказал Тузик, — мы с ребятами местную девчонку поймали, вот смеху-то было!..» — «Ну что ж, пиши статью», — сказал Стоян. «Уже написал, — сказал Квентин. — Это у меня будет пятнадцатая...» — «А у меня семнадцать, — сказал Стоян, — и одна в печати. А кого ты в соавторы взял?» — «Еще не знаю, — сказал Квентин. — Ким рекомендует менеджера, говорит, что сейчас транспорт — это главное, а Рита советует коменданта...» — «Только не коменданта», — сказал Стоян. «Почему?» — спросил Квентин. «Не бери коменданта, — повторил Стоян. — Я тебе говорить ничего не буду, но имей в виду». — «Комендант кефир тормозной жидкостью разбавлял, — сказал Тузик. — Это еще когда он был заведующим парикмахерской. Так мы с ребятами ему в квартиру пригоршню клопов подбросили». — «Говорят, готовится приказ, — сказал Стоян. — У кого меньше пятнадцати статей, все пройдут спецобработку...» — «Да ну? — сказал Квентин. — Дрянь дело, знаю я эти спецобработки, от них волосы перестают расти и изо рта целый год пахнет...»

Домой, подумал Перец. Надо скорее ехать домой. Теперь мне уже здесь совсем нечего делать. Потом он увидел, как строй щенков нарушился. Перец сосчитал: тридцать два щенка пошли прямо, а одиннадцать, построившись в такую же колонну, свернули налево и вниз, где между деревьями вдруг открылось озеро — неподвижная темная вода, совсем недалеко от вездехода. Перец увидел низкое туманное небо и смутные очертания скалы Управления на горизонте. Одиннадцать щенков уверенно

направлялись к воде. Стоян заглушил двигатель, все вылезли и смотрели, как щенки переливаются через кривую корягу на самом берегу и один за другим тяжело плюхаются в озеро. По темной воде пошли маслянистые круги.

— Тонут, — сказал Квентин с удивлением. — Топятся.

Стоян достал карту и расстелил ее на капоте.

— Так и есть, — сказал он. — Не отмечено у нас это озеро. Деревня здесь отмечена, а не озеро... Вот написано: «Дерев. абориг. семнадцать дробь одиннадцать».

— Так это всегда так, — сказал Тузик. — Кто же в этом лесу по карте ездит? Во-первых, карты все враные, а во-вторых, и не нужны они тут. Тут ведь сегодня, скажем, дорога, а завтра река, сегодня болото, а завтра колючую проволоку нацепят и вышку поставят. Или вдруг обнаружится склад.

— Неохота мне что-то дальше ехать, — сказал Стоян, потягиваясь. — Может, хватит на сегодня?

— Конечно, хватит, — сказал Квентин. — Перецу еще жалованье получить надо. Пошли в машину.

— Бинокль бы, — сказал вдруг Тузик, жадно всматриваясь из-под ладони в озеро. — Баба там, по-моему, купается.

Квентин остановился.

— Где?

— Голая, — сказал Тузик. — Ей-богу, голая. Совсем без ничего.

Квентин вдруг побелел и опрометью бросился в машину.

— Да где ты видишь? — спросил Стоян.

— А вон, на том берегу...

— Ничего там нет, — сказал Квентин хрипло. Он стоял на подножке и обшаривал в бинокль противоположный берег. Руки его тряслись. — Брехун проклятый... Опять по морде захотел... Нет там ничего! — повторил он, передавая бинокль Стояну.

— Ну как это нет, — сказал Тузик. — Я вам не очкарик какой-нибудь, у меня глаз — ватерпас...

— Подожди, подожди, не рви, — сказал ему Стоян. — Что за привычка рвать из рук...

— Ничего там нет, — бормотал Квентин. — Вранье все это. Мало ли кто что болтает...

— Это я знаю — что, — сказал Тузик. — Это русалка. Точно вам говорю.

Перец встрепенулся.

— Дайте мне бинокль, — сказал он быстро.

— Ничего не видать, — сказал Стоян, протягивая ему бинокль.

— Нашли кому верить, — бормотал Квентин, постепенно успокаиваясь.

— Ей-богу, была, — сказал Тузик. — Должно быть, нырнула. Сейчас вынырнет...

Перец настроил бинокль по глазам. Он ничего не ожидал увидеть: это было бы слишком просто. И он ничего не увидел. Озерная гладь, далекий, заросший лесом берег, да силуэт скалы над зубчатой кромкой деревьев.

— А какая она была? — спросил он.

Тузик стал подробно, показывая руками, описывать, какая она была. Он рассказывал очень аппетитно и с большим азартом, но это было совсем не то, что хотел Перец.

— Да, конечно... — сказал он. — Да... Да.

Может быть, она вышла встречать щенков, думал он, трясясь на заднем сиденье рядом с помрачневшим Квентином, глядя, как мерно двигаются Тузиковы уши — Тузик что-то жевал. Она вышла из лесной чащи, белая, холодная, уверенная, и ступила в воду, в знакомую воду, вошла в озеро, как я вхожу в библиотеку, погрузилась в зыбкие зеленые сумерки и поплыла навстречу щенкам, и сейчас уже встретила их на середине озера, на дне, и повела их куда-то, зачем-то, для кого-то, и завяжется еще один узел событий в лесу, и, может быть, за много миль отсюда произойдет или начнет происходить еще что-то: закипят между деревьями клубы лилового тумана, который совсем не туман, или заработает на мирной поляне еще одна клоака, или пестрые аборигены, которые только что тихо сидели и смотрели учебные фильмы и терпеливо слушали объяснения осипшей от усердия Беатрисы Вах, вдруг встанут и уйдут в лес, чтобы никогда больше не вернуться... И все будет полно глубокого смысла, как полно смысла каждое движение сложного механизма, и все будет странно и, следовательно, бессмысленно для нас, во всяком случае, для тех из нас, кто еще никак не может привыкнуть к бессмыслице и принять ее за норму. И он ощутил значительность каждого события, каждого явления вокруг: и то, что щенков в выводке не могло быть сорок два или сорок пять, и то, что ствол вот этого дерева порос именно красным мхом, и то, что над тропинкой не видно неба из-за нависших ветвей...

Вездеход трясло, Стоян ехал очень медленно, и Перец еще издали через ветровое стекло увидел впереди покосившийся столб с доской, на которой было что-то написано. Надпись была размыта дождями и выцвела, это была очень старая надпись на очень старой грязно-серой доске,

прибитой к столбу двумя огромными ржавыми гвоздями: «ЗДЕСЬ ДВА ГОДА НАЗАД ТРАГИЧЕСКИ УТОНУЛ РЯДОВОЙ ЛЕСОПРОХОДЕЦ ГУСТАВ. ЗДЕСЬ ЕМУ БУДЕТ ПОСТАВЛЕН ПАМЯТНИК». Вездеход, переваливаясь с боку на бок, миновал столб.

...Что же это ты, Густав, подумал Перец. Как это тебя угораздило тут утонуть. Здоровый ты, наверное, был парень, Густав, была у тебя обритая голова, квадратная волосатая челюсть, золотой зуб, а татуировкой ты был покрыт с ног до головы, и руки у тебя свисали ниже колен, а на правой руке не хватало пальца, откушенного в пьяной драке. И лесопроходцем тебя послало, конечно, не сердце твое, просто так уж сложились твои обстоятельства, что отсиживал ты на утесе, где сейчас Управление, положенный тебе срок, и бежать тебе было некуда, кроме как в лес. И статей ты в лесу не писал, и даже о них не думал, а думал ты о других статьях, что были написаны до тебя и против тебя. И строил ты здесь стратегическую дорогу, клал бетонные плиты и далеко по сторонам вырубал лес, чтобы могли при необходимости приземляться на эту дорогу восьмимоторные бомбовозы. Да разве лес это вытерпит? Вот и утопил он тебя на сухом месте. Но зато через десять лет тебе поставят памятник и, может быть, назовут твоим именем какое-нибудь кафе. Кафе будет называться «У ГУСТАВА», и шофер Тузик будет там пить кефир и гладить растрепанных девчонок из местной капеллы...

У Тузика, кажется, две судимости, и почему-то совсем не за то, за что следовало бы. Первый раз он попал в колонию за кражу почтовых наборов соответствующего предприятия, а второй раз — за нарушение паспортного режима. А вот Стоян — чист. Он не пьет ни кефира, ничего. Он нежно и чисто любит Алевтину, которую никто никогда не любил нежно и чисто. Когда выйдет из печати его двадцатая статья, он предложит Алевтине руку и сердце и будет отвергнут, несмотря на свои статьи, несмотря на свои широкие плечи и красивый римский нос, потому что Алевтина не терпит чистоплюев, подозревая в них (не без основания) до непонятности утонченных развратников. Стоян живет в лесу, куда, не в пример Густаву, приехал добровольно, и никогда ни на что не жалуется, хотя лес для него — это всего лишь громадная свалка нетронутых материалов для статей, гарантирующих его от спецобработки... Можно без конца удивляться, что находятся люди, способные привыкнуть к лесу, а таких людей подавляющее большинство. Сначала лес влечет их, как место романтическое, или как место доходное, или как место, где многое позволено, или как место, где можно укрыться. Потом он немного пугает их, а потом они вдруг открывают для себя, что «здесь такой же бардак, как

в любом другом месте», и это примиряет их с необыкновенностью леса, но никто из них не намерен доживать здесь до старости... Вот Квентин, по слухам, живет здесь только потому, что боится оставить без присмотра свою Риту, а Рита ни за что не хочет уезжать отсюда и никогда никому не говорит — почему... Вот я и до Риты дошел... Рита может уйти в лес и не возвращаться неделями. Рита купается в лесных озерах. Рита нарушает все распорядки, и никто не смеет делать ей замечания. Рита не пишет статей, Рита вообще ничего не пишет, даже писем. Очень хорошо известно, что Квентин по ночам плачет и ходит спать к буфетчице, когда буфетчица не занята с кем-нибудь другим... На биостанции все известно... Боже мой, по вечерам они зажигают свет в клубе, они включают радиолу, они пьют кефир, они пьют безумно много кефира и ночью, при луне, бросают бутылки в озера — кто дальше. Они танцуют, они играют в фанты и в бутылочку, в карты и в бильярд, они меняются женщинами, а днем в своих лабораториях они переливают лес из пробирки в пробирку, рассматривают лес под микроскопом, считают лес на арифмометрах, а лес стоит вокруг, висит над ними, прорастает сквозь их спальни, в душные предгрозовые часы приходит к их окнам толпами бродячих деревьев и тоже, возможно, не может понять, что они такое, и зачем они здесь, и зачем они вообще...

Хорошо, что я отсюда уезжаю, подумал он. Я здесь побыл, я ничего не понял, я ничего не нашел из того, что хотел найти, но теперь я точно знаю, что никогда ничего не пойму и что никогда ничего не найду, что всему свое время. Между мной и лесом нет ничего общего, лес ничуть не ближе мне, чем Управление. Но я, во всяком случае, не буду здесь срамиться. Я уеду, буду работать и буду ждать. И буду надеяться, что наступит время...

На дворе биостанции было пусто. Не было грузовика, и не было очереди у окошечка кассы. Только на крыльце, загораживая дорогу, стоял чемодан Переца, а на перилах веранды висел его серый плащ. Перец выбрался из вездехода и растерянно огляделся. Тузик под руку с Квентином уже шел к столовой, откуда доносился звон посуды и несло чадом. Стоян сказал: «Пошли ужинать, Перчик» — и погнал машину в гараж. Перец вдруг с ужасом понял, что все это означает: завывающая радиола, бессмысленная болтовня, кефир, и снова кефир, и опять кефир, и еще, может быть, по стаканчику? И так каждый вечер, много-много вечеров подряд...

Стукнуло окошечко кассы, высунулся сердитый кассир и закричал:

— Что же вы, Перец? Долго мне вас ждать? Идите же сюда, распишитесь.

Перец на негнущихся ногах приблизился к окошечку.

— Вот здесь — сумму прописью, — сказал кассир. — Да не здесь, а здесь. Что это у вас руки трясутся? Получайте...

Он стал отсчитывать бумажки.

— А где же остальные? — спросил Перец.

— Не торопитесь... Остальные здесь, в конверте.

— Нет, я имею в виду...

— Это никого не касается, что вы имеете в виду. Я из-за вас не могу менять установленный порядок. Вот ваше жалованье. Получили?

— Я хотел узнать...

— Я вас спрашиваю, вы получили жалованье? Да или нет?

— Да.

— Слава богу. А теперь получите премию. Получили премию?

— Да.

— Все. Разрешите пожать вашу руку, я тороплюсь. Мне нужно быть в Управлении до семи.

— Я хотел только спросить, — торопливо сказал Перец, — где все остальные люди... Ким, грузовик... Ведь меня обещали отвезти... на Материк...

— На Материк не могу, я должен быть в Управлении. Позвольте, я закрою окошко.

— Я не займу много места, — сказал Перец.

— Это неважно. Вы взрослый человек, вы должны понимать. Я — кассир. При мне ведомости. А если с ними что-нибудь случится? Уберите локоть.

Перец убрал локоть, и окошечко захлопнулось. Сквозь мутное, захватанное стекло Перец смотрел, как кассир собирает ведомости, комкает их как попало, втискивает в портфель, потом в кассе открылась дверь, вошли два огромных охранника, связали кассиру руки, накинули на шею петлю, и один повел кассира на веревке, а другой взял портфель, осмотрел комнату и вдруг заметил Переца. Некоторое время они глядели друг на друга сквозь грязное стекло, затем охранник очень медленно и осторожно, словно боясь кого-то спугнуть, поставил портфель на стул и все так же медленно и осторожно, не сводя глаз с Переца, потянулся к прислоненной к стене винтовке. Перец ждал, холодея и не веря, а охранник схватил винтовку, попятился и вышел, затворив за собой дверь. Свет погас.

Тогда Перец отпрянул от окошечка, на цыпочках пробежал к своему чемодану, схватил его и кинулся прочь, куда-нибудь подальше от этого места. Он укрылся за гаражом и видел, как охранник вышел на крыльцо, держа винтовку наперевес, поглядел налево, направо, под ноги, взял с

перил плащ Переца, взвесил его на руке, обшарил карманы и, еще раз оглядевшись, ушел в дом. Перец сел на чемодан.

Было прохладно, смеркалось. Перец сидел, бессмысленно глядя на освещенные окна, замазанные до половины мелом. За окнами двигались тени, бесшумно крутилась решетчатая лопасть локатора на крыше. Брякала посуда, в лесу кричали ночные животные. Потом где-то вспыхнул прожектор, повел голубым лучом, и в этот луч из-за угла дома вкатился самосвал, громыхнул, подпрыгнув на колдобине, и, провожаемый лучом, поехал к воротам. В ковше самосвала сидел охранник с винтовкой. Он закуривал, закрывшись от ветра, и видна была толстая ворсистая веревка, обмотанная вокруг его левого запястья и уходящая в приоткрытое окно кабины.

Самосвал ушел, и прожектор погас. Через двор, шаркая огромными башмаками, мрачной тенью прошел второй охранник с винтовкой под мышкой. Время от времени он нагибался и ощупывал землю, видимо, искал следы. Перец прижался взмокшей спиной к стене и, замерев, проводил его глазами.

В лесу кричали страшно и протяжно. Где-то хлопали двери. Вспыхнул свет на втором этаже, кто-то громко сказал: «Ну и духота здесь у тебя». Что-то упало в траву, округлое и блестящее, и подкатилось к ногам Переца. Перец снова замер, но потом понял, что это бутылка из-под кефира. Пешком, думал Перец. Надо пешком. Двадцать километров через лес. Плохо, что через лес. Теперь лес увидит жалкого, дрожащего человека, потного от страха и от усталости, погибающего под чемоданом и почему-то не бросающего этот чемодан. Я буду тащиться, а лес будет гукать и орать на меня с двух сторон...

Во дворе снова появился охранник. Он был не один, рядом с ним шел еще кто-то, тяжело дыша и отфыркиваясь, огромный, на четвереньках. Они остановились посреди двора, и Перец услыхал, как охранник бормочет: «На вот, на... Да ты не жри, дура, ты нюхай... Это же тебе не колбаса, это плащ, его нюхать надо... Ну? Шерше, говорят тебе...» Тот, что был на четвереньках, скулил и взвизгивал. «Э! — сказал охранник с досадой. — Тебе только блох искать... Пшла!» Они растворились в темноте. Застучали каблуки на крыльце, хлопнула дверь. Потом что-то холодное и мокрое ткнулось Перецу в щеку. Он вздрогнул и чуть не упал. Это был огромный волкодав. Он едва слышно взвизгнул, тяжко вздохнул и положил тяжелую голову Перецу на колени. Перец погладил его за ухом. Волкодав зевнул и завозился было, устраиваясь, но тут на втором этаже грянула радиола. Волкодав молча шарахнулся и ускакал прочь.

Радиола неистовствовала, на много километров вокруг не осталось ничего, кроме радиолы. И тогда, словно в приключенческом фильме, вдруг бесшумно озарились голубым светом и распахнулись ворота, и во двор, как огромный корабль, вплыл гигантский грузовик, весь расцвеченный созвездиями сигнальных огней, остановился и притушил фары, которые медленно погасли, словно испустило дух лесное чудовище. Из кабины высунулся шофер Вольдемар и стал, широко разевая рот, что-то кричать, и кричал долго, надсаживаясь, свирепея на глазах, а потом плюнул, нырнул обратно в кабину, снова высунулся и написал на дверце мелом вверх ногами: «Перец!!!» Тогда Перец понял, что машина пришла за ним, подхватил чемодан и побежал через двор, боясь оглянуться, боясь услышать за спиной выстрелы. Он с трудом вскарабкался по двум лестницам в кабину, просторную, как комната, и пока он пристраивал чемодан, пока усаживался и искал сигареты, Вольдемар все что-то говорил, багровея, надсаживаясь, жестикулируя и толкая Переца ладонью в плечо, но только когда радиола вдруг замолчала, Перец наконец услышал его голос: ничего особенного Вольдемар не говорил, он просто ругался черными словами.

Грузовик еще не успел выехать за ворота, как Перец заснул, словно к его лицу прижали маску с эфиром.

Глава седьмая КАНДИД

Деревня была очень странная. Когда они вышли из леса и увидели ее внизу, в котловине, их поразила тишина. Тишина была такая, что они даже не обрадовались. Деревня была треугольная, и большая поляна, на которой она стояла, тоже была треугольная — обширная глиняная проплешина без единого куста, без единой травинки, словно выжженная, а потом вытоптанная, совсем темная, отгороженная от неба сросшимися кронами могучих деревьев.

— Не нравится мне эта деревня, — заявила Нава. — Здесь, наверное, еды не допросишься. Какая здесь может быть еда, если у них и поля даже нет, одна голая глина. Наверное, это охотники, они всяких животных ловят и едят, тошнит даже, как подумаешь...

— А может быть, это мы в чудакову деревню попали? — спросил Кандид. — Может быть, это Глиняная поляна?

— Какая же это чудакова деревня? Чудакова деревня — деревня как деревня, как наша деревня, только в ней чудаки живут... А здесь смотри какая тишь, и людей не видно, и ребятишек, хотя ребятишки, может быть, уже спать легли... И почему это тут людей не видно, Молчун? Давай мы в эту деревню не пойдем, очень она мне не нравится...

Солнце садилось, и деревня внизу погружалась в сумерки. Она казалась очень пустой, но не запущенной, не заброшенной и покинутой, а именно пустой, ненастоящей, словно это была не деревня, а декорация. Да, подумал Кандид, наверное, нам не стоит туда идти, только ноги вот болят, и очень хочется под крышу. И поесть что-нибудь. И ночь наступает... Надо же, целый день блуждали по лесу, даже Нава устала, висит на руке и не отпускает.

— Ладно, — сказал он нерешительно. — Давай не пойдем.

— «Не пойдем, не пойдем...» — сказала Нава. — А когда мне есть хочется? Сколько же можно не есть? Я с утра ничего не ела... И воры твои эти... От них знаешь какой аппетит? Нет, мы давай с тобой туда спустимся, поедим, а если нам там не понравится, тогда сразу уйдем. Ночь сегодня теплая будет, без дождя... Пойдем, что ты стоишь?

Сразу же на окраине их окликнули. Рядом с первым домиком, прямо на серой земле, сидел серый, почти совсем не одетый человек. Его было плохо видно в сумерках, он почти сливался с землей, и Кандид различил только его силуэт на фоне белой стены.

— Вы куда? — спросил человек слабым голосом.

— Нам нужно переночевать, — сказал Кандид. — А утром нам нужно на Выселки. Мы дорогу потеряли. Убегали от воров и дорогу потеряли.

— Это вы, значит, сами пришли? — сказал человек вяло. — Это вы молодцы, хорошо сделали... Вы заходите, заходите, а то работы много, а людей что-то совсем мало осталось... — Он еле выговаривал слова, словно засыпал. — А работать нужно. Очень нужно работать... Очень...

— Ты нас не покормишь? — спросил Кандид.

— У нас сейчас... — Человек произнес несколько слов, которые показались Кандиду знакомыми, хотя он знал, что никогда их раньше не слыхал. — Это хорошо, что мальчик пришел, потому что мальчик... — И он опять заговорил непонятно, странно.

Нава потянула Кандида, но Кандид с досадой выдернул руку.

— Я тебя не понимаю, — сказал он человеку, стараясь хоть рассмотреть его получше. — Ты мне скажи, еда у тебя найдется?

— Вот если бы трое... — сказал человек.

Нава потащила Кандида прочь изо всех сил, и они отошли в сторону.

— Больной он, что ли? — сказал Кандид сердито. — Ты поняла, что он там бормочет?

— Что ты с ним разговариваешь? — шепотом спросила Нава. — У него же нет лица! Как с ним можно говорить, когда у него нет лица?

— Почему нет лица? — удивился Кандид и оглянулся. Человека видно не было: то ли он ушел, то ли растворился в сумерках.

— А так, — сказала Нава. — Глаза есть, рот есть, а лица нету... — Она вдруг прижалась к нему. — Он как мертвяк, — сказала она. — Только он не мертвяк, от него пахнет, но весь он — как мертвяк... Пойдем в какой-нибудь другой дом, только еды мы здесь не достанем, ты не надейся.

Она подтащила его к следующему дому, и они заглянули внутрь. Все в этом доме было непривычное, не было постелей, не было запахов жилья, внутри было пусто, темно, неприятно. Нава понюхала воздух.

— Здесь вообще никогда не было еды, — сказала она с отвращением. — В какую-то ты меня глупую деревню привел, Молчун. Что мы здесь будем делать? Я таких деревень никогда в жизни не видела. И дети тут не кричат, и на улице никого нет.

Они пошли дальше. Под ногами была прохладная тонкая пыль, они не слышали даже собственных шагов, и в лесу не ухало и не булькало, как обычно по вечерам.

— Странно он как-то говорил, — сказал Кандид. — Я вот сейчас вспоминаю, и словно я слышал уже когда-то такую речь... А когда, где — не

помню...

— И я тоже не помню, — сказала Нава, помолчав. — А ведь верно, Молчун, я тоже слыхала такие слова, может быть, во сне, а может быть, и в нашей деревне, не в той, где мы сейчас с тобой живем, а в другой, где я родилась, только тогда это должно быть очень давно, потому что я была еще очень маленькая, с тех пор все позабыла, а сейчас как будто бы и вспомнила, но никак не могу вспомнить по-настоящему.

В следующем доме они увидели человека, который лежал прямо на полу у порога и спал. Кандид нагнулся над ним, потряс его за плечо, но человек не проснулся. Кожа у него была влажная и холодная, как у амфибии, он был жирный, мягкий, и мускулов у него почти не осталось, а губы его в полутьме казались черными и масляно блестели.

— Спит, — сказал Кандид, поворачиваясь к Наве.

— Как же спит, — сказала Нава, — когда он смотрит?

Кандид снова нагнулся над человеком, и ему показалось, что тот действительно смотрит, чуть-чуть приоткрыв веки. Но только показалось.

— Да нет, спит он, — сказал Кандид. — Пойдем.

Против обыкновения Нава промолчала.

Они дошли до середины деревни, заглядывая в каждый дом, и почти в каждом доме они видели спящих. Все спящие были жирные потные мужчины, не было ни одной женщины, ни одного ребенка. Нава совсем замолчала, и Кандиду тоже было не по себе. У спящих раскатисто бурчало в животах, они не просыпались, но каждый раз, когда Кандид оглядывался на них, выходя на улицу, ему казалось, что они провожают его короткими осторожными взглядами.

Совсем стемнело, в просветы между ветвями проглядывало пепельное от луны небо, и Кандид снова подумал, что все это жутко похоже на декорации в хорошем театре. Но он чувствовал, что устал до последней степени, до полного безразличия. Ему хотелось сейчас только одного: прилечь где-нибудь под крышей (чтобы не свалилась на сонного сверху какая-нибудь ночная гадость), пусть прямо на жестком утоптанном полу, но лучше все-таки в пустом доме, а не с этими подозрительными спящими. Нава совсем повисла на руке.

— Ты не бойся, — сказал ей Кандид. — Бояться здесь совершенно нечего.

— Что ты говоришь? — спросила она сонно.

— Я говорю: не бойся, они же тут все полумертвые, я их одной рукой раскидаю.

— Никого я не боюсь, — сказала Нава сердито. — Я устала и хочу

спать, раз уж ты есть не даешь. А ты все ходишь и ходишь, из дома в дом, из дома в дом, надоело даже, ведь во всех домах все одинаково, все люди уже лежат, отдыхают, и только мы с тобой бродим...

Тогда Кандид решился и зашел в первый же попавшийся дом. Там было абсолютно темно. Кандид прислушался, пытаясь понять, есть здесь кто-нибудь или нет, но услыхал только сопение Навы, уткнувшейся лбом ему в бок. Он ощупью нашел стену, пошарил руками, сухо ли на полу, и лег, положив голову Навы себе на живот. Нава уже спала. Не пожалеть бы, подумал он, нехорошо здесь... Ну, всего одну ночь... И дорогу спросить... Днем-то они не спят... В крайнем случае — на болото, воры ушли... А если и не ушли... Как там ребята на Выселках?.. Неужели опять послезавтра?.. Нет уж, завтра... Завтра...

Он проснулся от света и подумал, что это луна. В доме было темно, лиловатый свет падал в окно и в дверь. Ему стало интересно, как это свет луны может падать сразу и в окно, и в дверь напротив, но потом он догадался, что он в лесу, и настоящей луны здесь быть не может, и тут же забыл об этом, потому что в полосе света, падающего из окна, появился силуэт человека. Человек стоял здесь, в доме, спиной к Кандиду, и глядел в окно, и по силуэту видно было, что он стоит, заложив руки за спину и наклонив голову, как никогда не стоят лесные жители — им просто незачем так стоять — и как любил стоять у окна лаборатории во время дождей и туманов, когда нельзя было работать, Карл Этингоф, и он отчетливо понял, что это и есть Карл Этингоф, который когда-то отлучился с биостанции в лес, да так больше и не вернулся и был отдан в приказ как без вести пропавший. Он задохнулся от волнения и крикнул: «Карл!» Карл медленно повернулся, лиловый свет прошел по его лицу, и Кандид увидел, что это не Карл, а какой-то незнакомый местный человек, он неслышно подошел к Кандиду и нагнулся над ним, не размыкая рук за спиной, и лицо его стало видно совершенно отчетливо, изможденное безбородое лицо, решительно ничем не напоминающее лицо Карла. Он не произнес ни слова и, кажется, даже не увидел Кандида, выпрямился и пошел к двери, по-прежнему сутулясь, и, когда он перешагивал через порог, Кандид понял, что это все-таки Карл, вскочил и выбежал за ним следом.

За дверью он остановился и оглядел улицу, стараясь унять болезненную нервную дрожь, охватившую вдруг его. Было очень светло, потому что низко над деревней висело лиловое светящееся небо, все дома выглядели совсем уже плоскими и совсем ненастоящими, а наискосок на другой стороне улицы возвышалось длинное диковинное строение, каких в лесу не бывает, и возле него двигались люди. Человек, похожий на Карла,

шел один к этому строению, приблизился к толпе и смешался с нею, исчез в ней, как будто его никогда и не было. Кандид тоже хотел подойти к строению, но почувствовал, что ноги у него ватные и он совсем не может идти. Он удивился, как это он еще может стоять на таких ногах; боясь упасть, он хотел ухватиться за что-нибудь, но ухватиться было не за что, его окружала пустота. «Карл, — бормотал он, шатаясь, — Карл, вернись!» Он повторил эти слова несколько раз, а потом в отчаянии громко выкрикнул их, но никто его не услышал, потому что в то же мгновение раздался гораздо более громкий крик, жалкий и дикий, откровенный плач боли, так что зазвенело в ушах, так что слезы навернулись на глаза, и почему-то он сразу понял, что кричат именно в этом длинном строении, может быть потому, что больше кричать было негде. «Где Нава? — закричал он. — Девочка моя, где ты?» Он понял, что сейчас потеряет ее, что настала эта минута, что сейчас потеряет все близкое ему, все, что привязывает его к жизни, и он останется один. Он повернулся, чтобы броситься обратно в дом, и увидел Наву, которая, откинув голову, медленно падала навзничь, и он подхватил ее и поднял, не понимая, что с ней происходит. Голова ее была откинута, и ее открытое горло было перед его глазами, то место, где у всех людей ямочка между ключицами, а у Навы было две таких ямочки, и он больше никогда их не увидит. Ведь плач не прекратился, и он понимал, что ему нужно туда, где кричат. Он-то знал, что это настоящий подвиг, ведь он сам отнесет ее туда, но он знал также, что для НИХ это никакой не подвиг, а совершенно естественная нормальная процедура, потому что они не понимали, что это значит — держать на руках дочь, теплую и единственную, и самому нести ее туда, где плачут.

Крик оборвался. Кандид увидел, что стоит уже перед самым строением среди этих людей, перед квадратной черной дверью, и он попытался понять, что он здесь делает с Навой на руках, но не успел, потому что из черной квадратной двери вышли две женщины и с ними Карл, все трое нахмуренные и недовольные, и остановились, разговаривая. Он видел, как шевелятся их губы, и догадывался, что они спорят, что они раздражены, но он не понимал слов, только раз он уловил полузнакомое слово «хиазма». Потом одна из женщин, не прекращая разговора, повернулась к толпе и сделала жест, словно приглашая всех войти в строение. Кандид сказал: «Сейчас, сейчас...» И еще крепче прижал к себе Наву. Снова раздался громкий плач, все вокруг зашевелились, жирные люди стали обнимать друг друга, прижиматься друг к другу, гладить и ласкать друг друга, глаза их были сухи и губы плотно сжаты, но это они плакали и кричали, прощаясь, потому что, оказывается, это были мужчины

и женщины, и мужчины прощались с женщинами навсегда. Никто не решался пойти первым, и тогда первым пошел Кандид, потому что он был мужественный человек, потому что он знал, что такое «надо», потому что он знал, что все равно ничто не поможет. Но Карл взглянул на него и едва заметно мотнул головой в сторону, и ему стало невыносимо жутко, потому что это был все-таки не Карл, но он понял и попятился, толкая спиной мягкое и скользкое. И когда Карл снова мотнул головой, он повернулся, вскинул Наву на плечо и по пустой освещенной улице, как во сне, побежал на мягких подгибающихся ногах, не слыша за собой топота преследователей.

Он опомнился, ударившись о дерево. Нава вскрикнула, и он опустил ее на землю. Под ногами была трава.

Отсюда была видна вся деревня. Над деревней лиловым светящимся конусом стоял туман, и дома казались размытыми, и размытыми казались фигурки людей.

— Что-то я ничего не помню, — проговорила Нава. — Почему это мы здесь? Мы ведь уже спать легли. Или это мне все снится?

Кандид поднял ее и понес дальше, дальше, дальше, продираясь сквозь кусты, путаясь в траве, пока вокруг не стало совсем темно. Тогда он прошел еще немного, снова опустил Наву на землю и сел рядом. Вокруг была высокая теплая трава, сырости совсем не чувствовалось, никогда еще в лесу Кандиду не попадалось такое сухое благодатное место. Голова у него болела, и все время клонило в сон, не хотелось ни о чем думать, было только чувство огромного облегчения оттого, что он собирался сделать что-то ужасное и не сделал.

— Молчун, — сказала Нава сонным голосом, — ты знаешь, Молчун, я все-таки вспомнила, где я слыхала раньше такую речь. Это ты так сам говорил, Молчун, когда еще был без памяти. Слушай, Молчун, а может, ты из этой деревни родом? Может, ты просто забыл? Ты ведь очень больной был тогда, Молчун, совсем без памяти...

— Спи, — сказал Кандид. Ему не хотелось думать. Ни о чем не хотелось думать. Хиазма, вспомнил он. И сразу заснул.

Не совсем сразу. Он еще вспомнил, что это не Карл пропал без вести; без вести пропал Валентин, и отдавали в приказ Валентина, а Карл погиб в лесу, и тело его, найденное случайно, положили в свинцовый гроб и отправили на Материк. Но он подумал, что это ему снится.

Когда он открыл глаза, Нава еще спала. Она лежала на животе в углублении между двумя корнями, уткнувшись лицом в сгиб левой руки, а правую откинув в сторону, и Кандид увидел в ее грязном полураскрытом

кулачке тонкий блестящий предмет. Сначала он не понял, что это такое, и только вдруг вспомнил странный полусон этой ночи, и свой страх, и свое облегчение оттого, что не произошло чего-то ужасного. А потом до него дошло, что это за предмет, и даже название его неожиданно всплыло в памяти. Это был скальпель. Он подождал немного, проверяя соответствие формы предмета звучанию этого слова, сознавая вторым планом, что проверять здесь нечего, что все правильно, но совершенно невозможно, потому что скальпель своей формой и своим названием чудовищно не соответствовал этому миру. Он разбудил Наву.

Нава проснулась, села и сейчас же заговорила:

— Какое сухое место, никогда в жизни не думала, что бывают такие сухие места, и как здесь только трава растет, а, Молчун?.. — Она замолчала и поднесла к глазам кулак со скальпелем. Секунду она глядела на скальпель, потом взвизгнула, судорожно отбросила его и вскочила на ноги. Скальпель вонзился в траву и встал торчком. Они смотрели на него, и обоим было страшно. — Что это такое, Молчун? — сказала наконец Нава шепотом. — Какая страшная вещь... Или это, может быть, не вещь? Это, может быть, растение? Смотри, здесь все какое сухое, — может быть, оно здесь выросло.

— А почему — страшная? — спросил Кандид.

— Еще бы не страшная, — сказала Нава. — Ты возьми его в руки... Ты попробуй, попробуй возьми, тогда и будешь знать, почему страшная... Я сама не знаю, почему страшная...

Кандид взял скальпель. Скальпель был еще теплым, а острый кончик его холодил, и, осторожно ведя по скальпелю пальцем, можно было найти то место, где он перестает быть теплым и становится холодным.

— Где ты его взяла? — спросил Кандид.

— Да нигде я его не брала, — сказала Нава. — Он, наверное, сам залез ко мне в руку, пока я спала. Видишь, какой он холодный? Он, наверное, захотел согреться и залез ко мне в руку. Я никогда не видела таких... такого... Я даже не знаю, как это назвать. Наверное, это все-таки не растение, наверное, это такая тварь, может быть, у него и ножки есть, только он их спрятал, и он такой твердый и злобный... А может быть, мы спим еще с тобой, Молчун? — Она вдруг запнулась и посмотрела на Кандида. — А мы в деревне сегодня ночью были? Ведь были же, там еще человек был без лица, и он все думал, что я — мальчик... А мы искали, где поспать... Да, а потом я проснулась, тебя не было, и я стала шарить рукой... Вот где он мне залез в кулак! — сказала она. — Только вот что удивительно, Молчун, я совсем его тогда не боялась, даже наоборот... Он

мне даже был для чего-то нужен...

— Все это был сон, — решительно сказал Кандид. У него мурашки бежали по затылку. Он вспомнил все, что было ночью. И Карла. И как он незаметно мотнул головой: беги, пока цел. И то, что живой Карл был хирургом.

— Что это ты замолчал, Молчун? — с беспокойством спросила Нава, заглядывая ему в лицо. — Куда это ты смотришь?

Кандид отстранил ее.

— Это был сон, — строго повторил он. — Забудь. Поищи лучше какой-нибудь еды, а эту штуку я закопаю.

— А для чего он был мне нужен, ты не знаешь? — спросила Нава. — Что-то я должна была сделать... — Она помотала головой. — Я не люблю таких снов, Молчун, — сказала она. — Ничего не вспомнить. Ты его поглубже закопай, а то он выберется и снова заползет в деревню и кого-нибудь там напугает... Хорошо бы сверху камень на него положить потяжелее... Ну, ты закапывай, а я пойду искать еду. — Она потянула носом воздух. — Где-то тут поблизости есть ягоды. Удивительно, откуда в таком сухом месте ягоды?

Она легко и бесшумно побежала по траве и скоро пропала за деревьями, а Кандид остался сидеть, держа на ладони скальпель. Он не стал его закапывать. Он обмотал лезвие пучком травы и сунул скальпель за пазуху. Теперь он вспомнил все и тем не менее ничего не мог понять. Это был какой-то странный и страшный сон, из которого по чьему-то недосмотру вывалился скальпель. Жалко, подумал он, сегодня голова у меня на редкость ясная, и все-таки я ничего не могу понять. Значит, никогда не смогу.

Нава быстро вернулась и выгребла из-за пазухи целую груду ягод и несколько крупных грибов.

— Там есть тропа, Молчун, — сказала она. — Давай мы с тобой лучше не будем возвращаться в ту деревню, зачем она нам, ну ее... А пойдем мы с тобой по тропе, обязательно куда-нибудь да придем. Спросим там дорогу до Выселок, и все будет хорошо. Просто удивительно, как мне сейчас хочется попасть на эти Выселки, никогда раньше так не хотелось. А в эту лукавую деревню давай мы не будем возвращаться, мне там сразу не понравилось, правильно, что мы оттуда ушли, а то бы обязательно какая-нибудь беда случилась. Если хочешь знать, нам туда и приходить не надо было, тебе же воры кричали, что не ходи, пропадешь, да ты ведь никогда никого не слушаешься. Вот мы из-за тебя чуть в беду и не попали... Что же ты не ешь? Грибы сытные, ягоды вкусные, ты их разотри на ладони, сделай

крошенку, что ты как маленький сегодня? Я теперь вспоминаю, мама мне всегда говорила, что самые хорошие грибы растут там, где сухо, но я тогда не понимала, что это такое — сухо, мама говорила, что раньше много где было сухо, как на хорошей дороге, поэтому она понимала, а я вот не понимала...

Кандид попробовал гриб и съел его. Грибы действительно были хороши, и ягоды были хороши, и он почувствовал себя бодрее. Но он еще не знал, как теперь поступить. В деревню возвращаться ему тоже не хотелось. Он попытался представить себе местность, как объяснял и рисовал ему прутиком на земле Колченог, и вспомнил, что Колченог говорил о дороге в Город, которая должна проходить в этих самых местах. Очень хорошая дорога, говорил Колченог с сожалением, самая прямая дорога до Города, только не добраться нам до нее через трясину-то, вот беда... Врал. Врал хромой. И по трясине ходил, и в Городе, наверное, был, но почему-то врал. А может, Навина тропа и есть та прямая дорога? Надо рискнуть. Но сначала нужно все-таки вернуться. В эту деревню нужно все-таки вернуться...

— Придется все-таки вернуться, Нава, — сказал он, когда они поели.

— Куда вернуться? В ту лукавую деревню вернуться? — Нава расстроилась. — Ну зачем ты мне это говоришь, Молчун? Чего мы в той деревне еще не видели? Вот за что я тебя не люблю, Молчун, так это что с тобой никогда не договоришься по-человечески... И ведь решили уже, что возвращаться в ту деревню больше не станем, и тропу я тебе нашла, а теперь ты опять заводишь разговор, чтобы вернуться...

— Придется вернуться, — повторил он. — Мне самому не хочется, Нава, но сходить туда надо. Вдруг нам объяснят там, как отсюда быстрее попасть в Город.

— Почему — в Город? Я не хочу в Город, я хочу на Выселки!

— Пойдем уж прямо в Город, — сказал Кандид. — Не могу я больше.

— Ну хорошо, — сказала Нава. — Хорошо, пойдем в Город, это даже лучше, чего мы не видели на этих Выселках? Пойдем в Город, я согласна, я с тобой везде согласна, только давай не возвращаться в ту деревню... Ты как хочешь, Молчун, а я бы в ту деревню никогда бы не возвращалась...

— Я бы тоже, — сказал он. — Но придется. Ты не сердись, Нава, ведь мне самому не хочется...

— А раз не хочется, так зачем ходить?

Он не хотел, да и не мог ей объяснить — зачем. Он поднялся и, не оглядываясь, пошел в ту сторону, где должна была быть деревня, — по теплой сухой траве, мимо теплых сухих стволов, жмурясь от теплого

солнца, которого непривычно много было здесь, навстречу пережитому ужасу, от которого больно напрягались все мускулы, навстречу тихой странной надежде, которая пробивалась сквозь ужас, как травинка сквозь трещину в асфальте.

Нава догнала его и пошла рядом. Она была сердита и некоторое время даже молчала, но в конце концов не выдержала.

— Только ты не думай, — заявила она, — я с этими людьми разговаривать не буду, ты теперь с ними сам разговаривай, сам туда идешь, сам и разговаривай. А я не люблю иметь дело с человеком, если у него даже лица нет, я этого не люблю. От такого человека хорошего не жди, если он мальчика от девочки отличить не может... У меня вот с утра голова болит, и я теперь знаю почему...

Они вышли на деревню неожиданно. Видимо, Кандид взял слишком в сторону, и деревня открылась между деревьями справа от них. Все здесь изменилось, но Кандид не сразу понял, в чем дело. Потом понял: деревня тонула.

Треугольная поляна была залита черной водой, и вода прибывала на глазах, наполняя глиняную впадину, затопляя дома, бесшумно крутясь на улицах. Кандид беспомощно стоял и смотрел, как исчезают под водой окна, как оседают и разваливаются размокшие стены, проваливаются крыши, и никто не выбегал из домов, никто не пытался добраться до берега, ни один человек не показывался на поверхности воды, может быть, людей там и не было, может быть, они ушли этой ночью, но он чувствовал, что это не так просто. Это не деревня, подумалось ему, это макет, он стоял, всеми забытый и запылившийся, а потом кому-то стало любопытно, что будет, если залить это водой. Вдруг станет интересно?.. И залили. Но интересно не стало...

Плавно прогнувшись, бесшумно канула в воду крыша плоского строения. Над черной водой словно пронесся легкий вздох, по ровной поверхности побежали волны, и все кончилось. Перед Кандидом было обычное треугольное озеро, пока еще довольно мелкое и безжизненное. Потом оно станет глубоким, как пропасть, и в нем заведутся рыбы, которых мы будем ловить, препарировать и класть в формалин.

— Я знаю, как это называется, — сказала Нава. У нее был такой спокойный голос, что Кандид поглядел на нее. Она и в самом деле была совершенно спокойна и даже, кажется, довольна. — Это называется Одержание, — сказала она. — Вот почему у них не было лица, а я сразу и не поняла. Наверное, они хотели жить в озере. Мне рассказывали, что те, кто жили в домах, могут остаться и жить в озере, теперь тут всегда будет

озеро, а кто не хочет, тот уходит. Я бы вот, например, ушла, хотя это, может быть, даже лучше — жить в озере. Но этого никто не знает... Может быть, искупаемся? — предложила она.

— Нет, — сказал Кандид. — Я не хочу здесь купаться. Пойдем на твою тропу. Идем.

Мне бы только выбраться отсюда, думал он, а то я как та машинка в лабиринте... Мы все стояли вокруг и смеялись, как она деловито тычется, ищет, принюхивается... А потом в маленький бассейн на ее дороге наливали воду, и она трогательно терялась, но только на мгновение, и снова начинала деловито шевелить антеннами, жужжать и принюхиваться, и она не знала, что мы на нее смотрим, а нам было, в общем, наплевать на то, что она не знает, хотя именно это, наверное, страшнее всего. Если это вообще страшно, подумал он. Необходимость не может быть ни страшной, ни доброй. Необходимость необходима, а все остальное о ней придумываем мы... и машинки в лабиринтах, если они могут придумывать. Просто, когда мы ошибаемся, необходимость берет нас за горло, и мы начинаем плакать и жаловаться, какая она жестокая да страшная, а она просто такая, какая она есть, — это мы глупы или слепы. Я даже могу философствовать сегодня, подумал он. Наверное, это от сухости. Надо же, даже философствовать могу...

— Вот она, твоя тропа, — сердито сказала Нава. — Иди, пожалуйста.

Сердится, подумал он. Выкупаться не дал, молчу все время, вокруг сухо, неприятно... Ничего, пусть посердится. Пока сердится — молчит, и на том спасибо. Кто ходит по этим тропам? Неужели по ним ходят так часто, что они не зарастают? Странная какая-то тропа, словно она не протоптана, а выкопана...

Тропа вначале шла по удобным сухим местам, но через некоторое время она круто спустилась по склону холма и стала топкой полоской черной грязи. Чистый лес кончился, опять потянулись болота, заросли моха, сделалось сыро и душно. Нава немедленно ожила. Здесь она чувствовала себя гораздо лучше. Она уже непрерывно говорила, и скоро в голове Кандида возник и установился привычный звенящий шум, и он двигался словно в полусне, забыв обо всякой философии, почти забыв даже о том, куда он идет, отдавшись случайным бессвязным мыслям, и скорее даже не мыслям, а представлениям.

...Ковыляет по главной улице Колченог и говорит всем встречным (а если встречных нет, то просто так), что вот ушел, значит, Молчун и Наву с собой забрал, в Город, наверное, ушел, а Города никакого и нет. А может, и не в Город, может, в Тростники ушел, в Тростниках хорошо рыбу

подманивать, сунул пальцы в воду — и вот она, рыба. Да только, если подумать, зачем ему рыба, не ест Молчун рыбу, дурак, хотя, может, решил для Навы рыбки наловить, Нава рыбу ест, вот он ее и будет кормить рыбой... Но вот зачем он тогда все время про Город спрашивал? Не-ет, не в Тростники он пошел, и нужно ожидать, что не скоро вернется...

А навстречу ему по главной улице идет Кулак и говорит всем встречным, что вот Молчун все ходил, уговаривал, пойдем, говорил, в Город, Кулак, послезавтра пойдем, целый год звал послезавтра в Город идти, а когда я еды наготовил невпроворот, что старуха ругается, тогда он без меня и без еды ушел... Один вот тоже, шерсть на носу, уходил-уходил без еды, дали ему в лоб как следует, так больше не уходит, и с едой не уходит, и без еды боится, дома сидит, так ему дали...

А Хвост стоит рядом с завтракающим у него дома старцем и говорит ему: опять ты ешь, и опять ты чужое ешь. Ты не думай, говорит, мне не жалко, я только удивляюсь, как это в одного такого тощего старика столько горшков самой сытной еды помещается. Ты ешь, говорит, но ты мне скажи, может быть, ты все-таки не один у нас в деревне? Может быть, вас все-таки трое или хотя бы двое? Ведь на тебя смотреть жутко, как ты ешь-ешь, наешься, а потом объясняешь, что нельзя...

Нава шла рядом, держась обеими руками за его руку, и с азартом рассказывала:

— И еще жил в этой нашей деревне один мужчина, которого звали Обида-Мученик, ты его не можешь помнить, ты тогда как раз без памяти был. А этот Обида-Мученик всегда на все обижался и спрашивал: почему? Почему днем светло, а ночью темно? Почему жуки хмельные бывают, а муравьи нет? Почему мертвяки женщинами интересуются, а мужчины им не нужны? У него мертвяки двух жен украли, одну за другой. Первую еще до меня украли, а вторую уже при мне, так он все ходил и спрашивал, почему, спрашивал, они его не украли, а украли жену... Нарочно целыми днями и ночами по лесу ходил, чтобы его тоже угнали и он бы своих жен нашел, хотя бы одну, но его, конечно, так и не угнали, потому что мертвякам мужчины ни к чему, им женщины нужны, так уж у них заведено, и из-за какого-то Обиды-Мученика они порядков своих менять не подумали... Еще он все спрашивал, почему нужно на поле работать, когда в лесу и без того еды вдоволь — поливай бродилом и ешь. Староста ему говорит: не хочешь — не работай, никто тебя за руку не тянет... А тот знай все твердит: почему да почему... Или к Кулаку пристал. Почему, говорит, Верхняя деревня грибами заросла, а наша никак не зарастает? Кулак ему сначала спокойно объясняет: у верхних Одержание произошло, а у нас еще

нет, и весь вопрос. А тот спрашивает: а почему же у нас Одержание не происходит так долго? Да что тебе это Одержание, спрашивает Кулак, что ты без него — соскучился? Не отстает Обида-Мученик. Измотал он Кулака, закричал Кулак громко на всю деревню, кулаками замахал и побежал к старосте жаловаться, староста тоже рассердился, собрал деревню, и погнались они за Обидой-Мучеником, чтобы его наказать, да так и не поймали... И к старику он тоже приставал много раз. Старик сначала к нему есть перестал ходить, потом стал от него прятаться и наконец не выдержал: отстань ты, говорит, от меня, у меня из-за тебя пища в рот не лезет, откуда я знаю — почему? Город знает почему, и все. Пошел Обида-Мученик в Город и больше уже не возвращался...

Медленно проплывали справа и слева желто-зеленые пятна, глухо фукали созревшие дурман-грибы, разбрасывая веером рыжие фонтаны спор, с воем налетела заблудившаяся лесная оса, старалась ударить в глаз, и пришлось сотню шагов бежать, чтобы отвязаться; шумно и хлопотливо, цепляясь за лианы, мастерили свои постройки разноцветные подводные пауки; деревья-прыгуны приседали и корчились, готовясь к прыжку, но, почувствовав людей, замирали, притворяясь обыкновенными деревьями, — и не на чем было остановить взгляд, нечего было запоминать. И не над чем было думать, потому что думать о Карле, о прошлой ночи и затонувшей деревне означало — бредить.

— ...Обида-Мученик был добрый человек, это они с Колченогом нашли тебя за Тростниками. Пошли в Муравейники, да как-то их занесло в Тростники, и нашли они там тебя и притащили, вернее, тащил тебя Обида-Мученик, а Колченог только сзади шел да подбирал все, что из тебя вываливалось. Много он чего подобрал, а потом, рассказывал, страшно ему стало, он все и выбросил. Такое, рассказывал, у нас никогда не росло и расти не может. А потом Обида-Мученик одежду твою с тебя снял, очень на тебе была странная одежда, никто не мог понять, где такое растет и как... Так он эту одежду разрезал и рассадил, думал — вырастет. Но ничего у него не выросло, не взошло даже, и опять он стал ходить по деревне и спрашивать: почему если любую одежду взять, разрезать и рассадить, то она вырастет, а твоя, Молчун, даже и не взошла... Он и к тебе много приставал, жить тебе не давал, но ты тогда без памяти был и только бормотал что-то, вроде как тот, без лица, и рукой заслонялся. Так он от тебя и отстал ни с чем. Потом еще многие мужики за Тростники ходили — и Кулак, и Хвост, и сам староста даже ходил, — надеялись еще одного такого найти. Нет, не нашли... Тогда меня к тебе и приставили. Выхаживай, говорят, как можешь, выходишь — будет тебе муж, а что он чужой — так

ты тоже вроде чужая. Я ведь тоже чужая, Молчун. Как было дело: захватили нас с матерью мертвяки, а ночь была без луны...

Местность опять стала повышаться, но сырости не убавилось, хотя лес стал чище. Уже не видно было коряг, гнилых сучьев, завалов гниющих лиан. Пропала зелень, все вокруг сделалось желтым и оранжевым. Деревья стали стройнее, и болото стало какое-то необычное — ровное, без моха и без грязевых куч. Исчезла паутина зарослей, направо и налево стало видно далеко. И трава на обочинах стала мягче и сочнее, травинка к травинке, словно кто-то специально подбирал и высаживал.

Нава остановилась на полуслове, потянула носом воздух и деловито сказала, оглядываясь:

— Куда бы здесь спрятаться? Спрятаться-то, кажется, и некуда...

— Кто-нибудь идет? — спросил Кандид.

— Кого-то много, и я не знаю, кто это... Это не мертвяки, но лучше бы все-таки спрятаться. Можно, конечно, не прятаться, все равно они уже близко, да и спрятаться здесь негде. Давай на обочину станем и посмотрим... — Она еще раз потянула носом. — Скверный какой-то запах, не то чтобы опасный, а лучше бы его не было... А ты, Молчун, неужели ничего не чуешь? Ведь так разит, будто от перепрелого бродила — стоит горшок у тебя перед носом, а в нем перепрелое бродило с плесенью... Вон они! Э, маленькие, не страшно, ты их сейчас прогонишь... Гу-гу-гу!

— Помолчи, — сказал Кандид, всматриваясь.

Сначала ему показалось, что навстречу ползут по тропинке белые черепахи. Потом он понял, что таких животных видеть ему еще не приходилось. Они были похожи на огромных непрозрачных амеб или на очень молодых древесных слизней, только у слизней не было ложноножек, и слизни были все-таки побольше. Их было много, они ползли гуськом друг за дружкой, довольно быстро, ловко выбрасывая вперед ложноножки и переливаясь в них.

Скоро они оказались совсем близко — белые, блестящие, и Кандид тоже почувствовал резкий незнакомый запах и отступил с тропы на обочину, потянув за собой Наву. Слизни-амебы один за другим проползали мимо них, не обращая на них никакого внимания. Их оказалось всего двенадцать, и последнего, двенадцатого, Нава, не удержавшись, пнула пяткой. Слизень проворно поджал зад и задвигался скачками. Нава пришла в восторг и кинулась было догнать и пнуть еще разок, но Кандид поймал ее за одежду.

— Так они же такие потешные! — сказала Нава. — И так ползут, будто люди идут по тропинке... И куда это они, интересно, идут? Наверное,

Молчун, они в ту лукавую деревню идут, они, наверное, оттуда, а теперь возвращаются и не знают, что в деревне уже Одержание произошло. Покрутятся возле воды и обратно пойдут. Куда же они, бедные, пойдут? Может, другую деревню искать?.. Эй! — закричала она. — Не ходите! Нет уже вашей деревни, одно озеро там!

— Помолчи, — сказал Кандид. — Пойдем. Не понимают они твоего языка, не кричи зря.

Они пошли дальше. После слизней тропинка казалась немножко скользкой. Встретились и разошлись, подумал Кандид. Встретились и разминулись. И я уступил дорогу. Я, а не они. Это обстоятельство вдруг показалось ему очень важным. Они маленькие и беззащитные, а я большой и сильный, но я сошел с тропинки и пропустил их, и теперь думаю о них, а они прошли и теперь уже, наверное, обо мне не помнят. Потому что в лесу они дома, и мало ли что встречается в лесу. Как в доме бывают тараканы, клопы, мокрицы, или залетит безмозглая бабочка. Или муха станет биться в стекло... А ведь это неправда, что мухи бьются в стекло. Мухи-то воображают, что они летят, когда бьются в стекло. А я воображаю, что я иду. Только потому, что передвигаю ногами... Наверное, смотреть на меня со стороны смешно и... как это сказать... жалостно... жалко... Как будет правильно...

— Скоро будет озеро, — сказала Нава. — Пойдем скорее, я хочу пить и есть. Может быть, ты рыбы для меня приманишь...

Они пошли быстрее. Начались заросли тростника. Ну хорошо, думал Кандид, на муху я похож. А на человека я похож? Он вспомнил Карла и вспомнил, что Карл не был похож на Карла. Очень может быть, подумал он спокойно. Очень может быть, что я совсем не тот человек, который сколько-то там лет назад разбился на вертолете. Только тогда непонятно, зачем мне биться о стекло. Ведь Карл, наверное, когда с ним случилось э т о, уже не бился о стекло. А странно будет, когда я выйду к биостанции, и они меня увидят. Хорошо, что я об этом подумал. Об этом мне нужно много и основательно думать. Хорошо, что времени еще много и что я еще не скоро выйду к биостанции...

Тропа раздвоилась. Одна, по-видимому, шла к озеру, а другая круто свернула куда-то в сторону.

— Не пойдем туда, — сказала Нава, — это вверх, а я пить хочу.

Тропа становилась все уже, потом превратилась в рытвину и окончательно заглохла в зарослях. Нава остановилась.

— Знаешь, Молчун, — сказала она, — а может, мы не пойдем к этому озеру? Мне это озеро что-то не нравится, чего-то там не так. По-моему, это

даже не озеро, чего-то там еще много, кроме воды...

— Но ведь вода там есть? — спросил Кандид. — Ты же пить хотела. Да и я тоже не прочь...

— Вода есть, — неохотно признала Нава. — Но теплая. Плохая вода. Нечистая... Знаешь что, Молчун, ты здесь постой, а то больно шумно ты ходишь, ничего из-за тебя не слыхать, так ты шумишь, ты постой и подожди меня, а я тебя позову, крикну прыгуном. Знаешь, как прыгун кричит? Вот я прыгуном и крикну. А ты здесь постой или лучше даже посиди...

Она нырнула в тростники и исчезла. И тогда Кандид обратил внимание на глухую, ватную тишину, царившую здесь. Не было ни звона насекомых, ни вздохов и сопения болота, ни криков лесного зверья, сырой горячий воздух был неподвижен. Это не была сухая тишина лукавой деревни, там было тихо, как ночью за кулисами театра. А здесь было тихо, как под водой. Кандид осторожно присел на корточки, вырвал несколько травинок, растер между пальцами и неожиданно увидел, что земля здесь должна быть съедобна. Он выдрал пучок травы с землей и стал есть. Дерн хорошо утолял голод и жажду, он был прохладен и солоноват на вкус. Сыр, подумал Кандид. Да, сыр... Что такое сыр? Сыр швейцарский, сыр плавленый. Сыр со слезой. Странно...

Потом из тростника бесшумно вынырнула Нава. Она присела рядом и тоже стала есть, быстро и аккуратно. Глаза у нее были круглые.

— Это хорошо, что мы здесь поели, — сказала она наконец. — Хочешь посмотреть, что это за озеро? А то я хочу посмотреть еще раз, но мне одной страшно. Это то самое озеро, про которое Колченог всегда рассказывает, только я думала, что он выдумывает или ему привиделось, а это, оказывается, правда, хотя мне, может быть, тоже привиделось...

— Пойдем посмотрим, — сказал Кандид.

Озеро оказалось шагах в пятидесяти. Кандид и Нава спустились по топкому дну и раздвинули тростники. Над водой толстым слоем лежал белый туман. Вода была теплая, даже горячая, но чистая и прозрачная. Пахло едой. Туман медленно колыхался в правильном ритме, и через минуту Кандид почувствовал, что у него кружится голова. В тумане кто-то был. Люди. Много людей. Все они были голые и совершенно неподвижно лежали на воде. Туман ритмично поднимался и опускался, то открывая, то снова застилая изжелта-белые тела, запрокинутые лица, — люди не плавали, люди лежали на воде, как на пляже. Кандида передернуло. «Уйдем отсюда», — прошептал он и потянул Наву за руку. Они выбрались на берег и вернулись на тропу.

— Никакие это не утопленники, — сказала Нава. — Колченог ничего не разобрал, просто они здесь купались, а тут ударил горячий источник, и все они сварились... Очень это страшно, Молчун, — сказала она, помолчав. — Мне даже говорить об этом не хочется... А как их там много, целая деревня...

Они дошли до того места, где тропа раздваивалась, и остановились.

— Теперь вверх? — спросила Нава.

— Да, — сказал Кандид. — Теперь вверх.

Они свернули направо и стали подниматься по склону.

— И все они женщины, — сказала Нава. — Ты заметил?

— Да, — сказал Кандид.

— Вот это самое страшное, вот это я никак не могу понять. А может быть... — Нава посмотрела на Кандида. — А может быть, их мертвяки туда загоняют? Наверное, их мертвяки туда загоняют — наловят по всем деревням, пригонят к этому озеру и варят... Слушай, Молчун, зачем мы только из деревни ушли? Сидели бы в деревне, ничего бы этого никогда не видели. Думали бы, что это Колченог выдумывает, жили бы спокойно, так нет, тебе вот понадобилось в Город идти... Ну зачем тебе понадобилось в Город идти?

— Не знаю, — сказал Кандид.

Глава восьмая КАНДИД

Они лежали в кустах на самой опушке и сквозь листву глядели на вершину холма. Холм был пологий и голый, а на вершине его шапкой лежало облако лилового тумана. Над холмом было открытое небо, дул порывистый ветер и гнал серые тучи, моросил дождь. Лиловый туман стоял неподвижно, словно никакого ветра не было. Было довольно прохладно, даже свежо, они промокли, ежились от озноба и стучали зубами, но уйти они уже не могли: в двадцати шагах, прямые, как статуи, стояли с широко раскрытыми черными ртами три мертвяка и тоже смотрели на вершину холма пустыми глазами. Эти мертвяки подошли пять минут назад. Нава почуяла их и рванулась было бежать, но Кандид зажал ей рот ладонью и вдавил ее в траву. Теперь она немного успокоилась, только дрожала крупной дрожью, но уже не от страха, а от холода, и снова смотрела не на мертвяков, а на холм.

На холме и вокруг холма происходило что-то странное, какие-то грандиозные приливы и отливы. Из леса с густым басовым гудением вдруг вырывались исполинские стаи мух, устремлялись к вершине холма и скрывались в тумане. Склоны оживали колоннами муравьев и пауков, из кустарников выливались сотни слизней-амеб, гигантские рои пчел и ос, тучи многоцветных жуков уверенно проносились под дождем. Поднимался шум, как от бури. Эта волна поднималась к вершине, всасывалась в лиловое облако, исчезала, и тогда вдруг наступала тишина. Холм снова становился мертвым и голым, а потом проходило какое-то время, снова поднимался шум и гул, и все это вновь извергалось из тумана и устремлялось в лес. Только слизни оставались на вершине, но зато вместо них по склонам ссып`ались самые невероятные и неожиданные животные: катились волосатики, ковыляли на ломких ногах неуклюжие рукоеды и еще какие-то неизвестные, никогда не виданные, пестрые, многоглазые, голые, блестящие не то звери, не то насекомые... И снова наступала тишина, и снова все повторялось сначала, и опять, и опять, в пугающем напористом ритме, с какой-то неубывающей энергией, так что казалось, будто это было всегда и всегда будет в том же ритме и с той же энергией... Один раз из тумана со страшным ревом вылез молодой гиппоцет, несколько раз выбегали мертвяки и сразу кидались в лес, оставляя за собой белесые полосы остывающего пара. А лиловое неподвижное облако глотало и выплевывало, глотало и выплевывало неустанно и регулярно, как машина.

...Колченог говорил, что Город стоит на холме. Может быть, это и есть Город, может быть, это они и называют Городом. Да, наверное, это Город. Только в чем его смысл? Зачем он? И эта странная деятельность... Я ждал чего-нибудь в этом роде... Ерунда, ничего такого я не ждал. Я думал только о хозяевах, а где они здесь — хозяева? Кандид посмотрел на мертвяков. Те стояли в прежних позах, и рты их были все так же раскрыты. Может быть, я ошибаюсь, подумал Кандид. Может быть, они и есть хозяева. Наверное, я все время ошибаюсь. Я совсем разучился думать здесь. Если у меня иногда и появляются мысли, то сразу оказывается, что я совершенно не способен их связать... Из тумана не вышел еще ни один слизень. Вопрос: почему из тумана не вышел еще ни один слизень?.. Нет, не то. Надо по порядку. Я же ищу источник разумной деятельности... Неверно, опять неверно. Меня совсем не интересует разумная деятельность. Я просто ищу кого-нибудь, чтобы мне помогли вернуться домой. Чтобы мне помогли преодолеть тысячу километров леса. Чтобы мне хотя бы сказали, в какую сторону идти... У мертвяков должны быть хозяева, я ищу этих хозяев, я ищу источник разумной деятельности. Он немного приободрился: получалось вполне связно. Начнем с самого начала. Все продумаем спокойно и неторопливо. Сейчас не надо торопиться, сейчас самое время все продумать спокойно и неторопливо. Начнем с самого начала. У мертвяков должны быть хозяева, потому что мертвяки — это не люди, потому что мертвяки — это не животные. Следовательно, мертвяки сделаны. Если они не люди... А почему, собственно, они не люди? Он потер лоб. Я же уже решал этот вопрос. Давно, еще в деревне. Я его даже два раза решал, потому что в первый раз я забыл решение, а сейчас я забыл доказательства...

Он затряс головой изо всех сил, и Нава тихонько зашипела на него. Он затих и некоторое время полежал неподвижно, уткнувшись лицом в мокрую траву.

...Почему они не животные — я уже тоже доказал когда-то... Высокая температура... Да нет, ерунда... Он вдруг с ужасом ощутил, что забыл даже, как выглядят мертвяки. Он помнил только их раскаленное тело и резкую боль в ладонях. Он повернул голову и посмотрел на мертвяков. Да. Думать мне нельзя, думать мне противопоказано, и именно сейчас, когда я должен думать интенсивнее, чем когда-либо. «Пора поесть; ты мне это уже рассказывала, Нава; послезавтра мы уходим», — вот и все, что мне можно. Но я же ушел! И я здесь! Теперь я пойду в Город. Что бы это ни было — Город. У меня весь мозг зарос лесом. Я ничего не понимаю... Вспомнил. Я шел в Город, чтобы мне объяснили про все: про Одержание, про мертвяков,

Великое Разрыхление Почвы, озера с утопленниками... Оказывается, все это обман, всё опять переврали, никому нельзя верить... Я надеялся, что в Городе мне объяснят, как добраться до своих, ведь старец все время говорил: Город знает все. И не может же быть, чтобы он не знал о нашей биостанции, об Управлении. Даже Колченог все время болтает о Чертовых Скалах и о летающих деревнях... Но разве может лиловое облако что-нибудь объяснить? Это было бы страшно, если бы хозяином оказалось лиловое облако. А почему «было бы»? Уже сейчас страшно! Это же напрашивается, Молчун: лиловый туман здесь везде хозяин, разве я не помню? Да и не туман это вовсе... Так вот в чем дело, вот почему людей загнали, как зверей, в чащи, в болота, утопили в озерах: они были слишком слабы, они не поняли, а если и поняли, то ничего не могли сделать, чтобы помешать... Когда я еще не был загнан, когда я еще был дома, кто-то доказывал очень убедительно, что контакт между гуманоидным разумом и негуманоидным невозможен. Да, он невозможен. Конечно же, он невозможен. И теперь никто мне не скажет, как добраться до дома... Мой контакт с людьми тоже невозможен, и я могу это доказать. Я еще могу увидеть Чертовы Скалы, говорят, их можно увидеть иногда, если забраться на подходящее дерево и если это будет подходящий сезон, только нужно сначала найти подходящее дерево, нормальное человеческое дерево. Которое не прыгает. И не отталкивает. И не старается уколоть в глаз. И все равно нет такого дерева, с которого я мог бы увидеть биостанцию... Биостанцию?.. Би-о-стан-ци-ю... Он забыл, что такое биостанция.

Лес снова загудел, зажужжал, затрещал, зафыркал, снова к лиловому куполу ринулись полчища мух и муравьев. Одна туча прошла над их головами, и кусты засыпало дохлыми и слабыми, неподвижными и едва шевелящимися, помятыми в тесноте роя. Кандид ощутил неприятное жжение в руке и поглядел. Локоть его, упертый в рыхлую землю, оплели нежные нити грибницы. Кандид равнодушно растер их ладонью. А Чертовы Скалы — это мираж, подумал он, ничего этого нет. Раз они рассказывают про Чертовы Скалы — значит, все это вранье, значит, ничего этого нет, и теперь я уже не знаю, зачем я, собственно, сюда пришел...

Сбоку раздался знакомый устрашающий храп. Кандид повернул голову. Сразу из-за семи деревьев на холм тупо глядел матерый гиппоцет. Один из мертвяков вдруг ожил, вывернулся и сделал несколько шагов навстречу гиппоцету. Снова раздался храп, треснули деревья, и гиппоцет удалился. Мертвяков даже гиппоцеты боятся, подумал Кандид. Кто же их не боится? Где бы их найти, которые не боятся?.. Мухи ревут. Глупо, нелепо. Мухи — ревут. Осы ревут...

— Мама!.. — прошептала вдруг Нава. — Мама идет...

Она стояла на четвереньках и глядела через плечо. Лицо ее выражало огромное изумление и недоверие. И Кандид увидел, что из леса вышли три женщины и, не замечая мертвяков, направились к подножию холма.

— Мама! — завизжала Нава не своим голосом, перепрыгнула через Кандида и понеслась им наперерез. Тогда Кандид тоже вскочил, и ему показалось, что мертвяки совсем рядом, что он чувствует жар их тел.

Трое, подумал он. Трое... Хватило бы и одного. Он смотрел на мертвяков. Тут мне и конец, подумал он. Глупо. Зачем они сюда приперлись, эти тетки? Ненавижу баб, из-за них всегда что-нибудь не так.

Мертвяки закрыли рты, головы их медленно поворачивались вслед за бегущей Навой. Потом они разом шагнули вперед, и Кандид заставил себя выскочить из кустов им навстречу.

— Назад! — закричал он женщинам, не оборачиваясь. — Уходите! Мертвяки!

Мертвяки были огромные, плечистые, новенькие — без единой царапины, без единой заусеницы. Невероятно длинные руки их касались травы. Не спуская с них глаз, Кандид остановился у них на дороге. Мертвяки смотрели поверх его головы и с уверенной неторопливостью надвигались на него, а он пятился, отступал, все оттягивая неизбежное начало и неизбежный конец, борясь с нервной тошнотой и никак не решаясь остановиться. Нава за его спиной кричала: «Мама! Это я. Да мама же!» Глупые бабы, почему они не бегут? Обмерли от страха?.. Остановись, говорил он себе, остановись же! Сколько можно пятиться? Он не мог остановиться. Там же Нава, думал он. И эти три дуры. Толстые, сонные, равнодушные дуры... И Нава... А какое мне до них дело, думал он. Колченог бы уже давно удрал на своей ноге, а Кулак и подавно. А я должен остановиться. Несправедливо. Но я ДОЛЖЕН остановиться! А ну, остановись!.. Он не мог остановиться, и презирал себя за это, и хвалил себя за это, и ненавидел себя за это, и продолжал пятиться.

Остановились мертвяки. Сразу, как по команде. Тот, что шел впереди, так и застыл с поднятой ногой, а потом медленно, словно в нерешительности, опустил ее в траву. Рты их снова вяло раскрылись, и головы повернулись к вершине холма. Кандид, все еще пятясь, оглянулся. Нава, дрыгая ногами, висела на шее у одной из женщин, та, кажется, улыбалась и пошлепывала ее по спине. Другие две женщины спокойно стояли рядом и смотрели на них. Не на мертвяков, не на холм. И даже не на Кандида — чужого заросшего мужика, может быть, вора... А мертвяки стояли неподвижно, как древние примитивные изваяния, словно ноги их

вросли в землю, словно во всем лесу не осталось ни одной женщины, которую нужно хватать и тащить куда-то, куда приказано, и из-под ног их, как дым жертвенного огня, поднимались столбы пара.

Тогда Кандид повернулся и пошел к женщинам. Даже не пошел, а потащился, не уверенный ни в чем, не веря больше ни глазам, ни слуху, ни мыслям. Под черепом ворочался болезненный клубок, и все тело ныло после предсмертного напряжения.

— Бегите, — сказал он еще издали. — Бегите, пока не поздно, что же вы стоите? — Он уже знал, что говорит бессмыслицу, но это была инерция долга, и он продолжал машинально бормотать: — Мертвяки здесь, бегите, я задержу...

Они не обратили на него внимания. Не то чтобы они не слышали или не видели его — молоденькая девушка, совсем юная, может быть, всего года на два старше Навы, совсем еще тонконогая, оглядела его и улыбнулась очень приветливо, — но он ничего не значил для них, словно был большим приблудным псом, какие бегают повсюду без определенной цели и готовы часами торчать возле людей, ожидая неизвестно чего.

— Почему вы не бежите? — тихо сказал Кандид. Он уже не ждал ответа, и ему не ответили.

— Ай-яй-яй, — говорила беременная женщина, смеясь и качая головой. — И кто бы мог подумать? Могла бы ты подумать? — спросила она девушку. — И я нет. Милая моя, — сказала она Навиной матери, — и что же? Он здорово пыхтел? Или он просто ерзал и обливался потом?

— Неправда, — сказала девушка. — Он был прекрасен, верно? Он был свеж, как заря, и благоухал...

— Как лилия, — подхватила беременная женщина. — От его запаха голова шла кругом, от его лап бежали мурашки... А ты успела сказать «ах»?

Девушка прыснула. Мать Навы неохотно улыбнулась. Они были плотные, здоровые, непривычно чистые, словно вымытые, они и были вымытые — их короткие волосы были мокры, и желтая мешковатая одежда липла к мокрому телу. Мать Навы была ниже всех ростом и, по-видимому, старше всех. Нава обнимала ее за талию и прижималась лицом к ее груди.

— Где уж вам, — сказала мать Навы с деланным пренебрежением. — Что вы можете знать об этом? Вы, необразованные...

— Ничего, — сразу сказала беременная. — Откуда нам это знать? Поэтому мы тебя и спрашиваем... Скажи, пожалуйста, а каков был корень любви?

— Был ли он горек? — сказала девушка и снова прыснула.

— Вот-вот, — сказала беременная. — Плод довольно сладок, хотя и

плохо вымыт...

— Ничего, мы его отмоем, — сказала мать Навы. — Ты не знаешь, Паучий бассейн очистили? Или придется нести ее в долину?

— Корень был горек, — сказала беременная девушке. — Ей неприятно о нем вспоминать. Вот странно, а говорят, это незабываемо! Слушай, милая, ведь он тебе снится?

— Не остроумно, — сказала мать Навы. — И тошнотворно...

— Разве мы острим? — удивилась беременная женщина. — Мы просто интересуемся.

— Ты так увлекательно рассказываешь, — сказала девушка, блестя зубами. — Расскажи нам еще что-нибудь...

Кандид жадно слушал, пытаясь открыть какой-то скрытый смысл в этом разговоре, и ничего не понимал. Он видел только, что эти двое издеваются над Навиной матерью, что она задета, и что она пытается скрыть это или перевести разговор на другую тему, и что это ей никак не удается. А Нава подняла голову и внимательно смотрела на говорящих, переводя взгляд с одной на другую.

— Можно подумать, что ты сама родилась в озере, — сказала мать Навы беременной женщине теперь уже с откровенным раздражением.

— О нет, — сказала та. — Но я не успела получить такого широкого образования, и моя дочь, — она похлопала себя ладонью по животу, — родится в озере. Вот и вся разница.

— Ты что к маме привязалась, толстая ты старуха? — сказала вдруг Нава. — Сама на себя посмотри, на что ты похожа, а потом привязывайся! А то я скажу мужу, он тебя как палкой огреет по толстой заднице, чтобы не привязывалась!..

Женщины, все трое, расхохотались.

— Молчун! — завопила Нава. — Что они надо мной смеются?

Все еще смеясь, женщины посмотрели на Кандида. Мать Навы — с удивлением, беременная — равнодушно, а девушка — непонятно как, но, кажется, с интересом.

— Что еще за Молчун? — сказала мать Навы.

— Это мой муж, — сказала Нава. — Смотрите, какой он хороший. Он меня от воров спас...

— Какой еще муж? — неприязненно произнесла беременная женщина. — Не выдумывай, девочка.

— Сама не выдумывай, — сейчас же сказала Нава. — Чего ты вмешиваешься? Какое тебе дело? Твой, что ли, муж? Я с тобой вообще, если хочешь знать, не разговариваю. Я с мамой разговариваю. А то лезет,

как старик, без спросу, без разрешения...

— Ты что, — сказала беременная женщина Кандиду, — ты что, действительно муж?

Нава затихла. Мать крепко обхватила ее руками и прижала к себе. Она смотрела на Кандида с отвращением и ужасом. Только девушка продолжала улыбаться, и улыбка ее была так приятна и ласкова, что Кандид обратился именно к ней.

— Да нет, конечно, — сказал он. — Какая она мне жена. Она мне дочь... — Он хотел рассказать, что Нава выходила его, что он ее любит и что он очень рад, что все так хорошо и удачно получилось, хотя он ничего не понимает.

Но девушка вдруг прыснула и залилась смехом, махая руками.

— Я так и знала, — простонала она. — Это не ее муж... Это вон ее муж! — Она указала на мать Навы. — Это... ее... муж! Ох, не могу!

На лице беременной появилось веселое изумление, и она стала демонстративно внимательно оглядывать Кандида с ног до головы.

— Ай-яй-яй... — начала она прежним тоном, но мать Навы нервно сказала:

— Перестаньте! Надоело, наконец! Уходи отсюда, — сказала она Кандиду. — Иди, иди, чего ждешь? В лес иди!..

— Кто бы мог подумать, — тихонько пропела беременная, — что корень любви может оказаться столь горек... столь грязен... волосат... — Она перехватила яростный взгляд матери Навы и махнула на нее рукой. — Все, все, — сказала она. — Не сердись, милая моя. Шутка есть шутка. Мы просто очень довольны, что ты нашла дочку. Это же невероятная удача...

— Мы будем работать или нет? — сказала Навина мать. — Или мы будем заниматься болтовней?

— Я иду, не сердись, — сказала девушка. — Сейчас как раз начнется исход.

Она кивнула, и снова улыбнулась Кандиду, и легко побежала вверх по склону. Кандид смотрел, как она бежит — точно, профессионально, не по-женски. Она добежала до вершины и, не останавливаясь, нырнула в лиловый туман.

— Паучий бассейн еще не очистили, — сказала беременная женщина озабоченно. — Вечно у нас неразбериха со строителями... Как же нам быть?

— Ничего, — сказала мать Навы. — Пройдемся до долины.

— Я понимаю, но все-таки это очень глупо — мучиться, нести почти взрослого человека до самой долины, когда у нас есть свой бассейн.

Она резко пожала плечами и вдруг поморщилась.

— Ты бы села, — сказала мать Навы, поискала глазами и, протянув руку к мертвякам, щелкнула пальцами.

Один из мертвяков тотчас сорвался с места, подбежал, скользя ногами по траве от торопливости, упал на колени и вдруг как-то странно расплылся, изогнулся, расплющился. Кандид заморгал: мертвяка больше не было, было удобное на вид, уютное кресло. Беременная женщина, облегченно кряхтя, опустилась на мягкое сиденье и откинула голову на мягкую спинку.

— Скоро уже, — промурлыкала она, с удовольствием вытягивая ноги. — Скорее бы...

Мать Навы присела перед дочерью на корточки и стала смотреть ей в глаза.

— Выросла, — сказала она. — Одичала. Рада?

— Ну еще бы, — сказала Нава неуверенно. — Ведь ты же моя мама. Я тебя каждую ночь во сне видела. А это Молчун, мама... — И Нава принялась говорить.

Кандид озирался, стискивая челюсти. Все это не было бредом, как он сначала надеялся. Это было что-то очень обычное, очень естественное, просто незнакомое ему еще, но мало ли незнакомого в лесу? К этому надо было привыкнуть, как он привык к шуму в голове, к съедобной земле, к мертвякам и ко всему прочему. Хозяева, думал он. Это хозяева. Они ничего не боятся. Они командуют мертвяками. Значит, они хозяева. Значит, это они посылают мертвяков за женщинами. Значит, это они... Он посмотрел на мокрые волосы женщин. Значит... И мать Навы, которую угнали мертвяки...

— Где вы купаетесь? — спросил он. — Зачем? Кто вы такие? Чего вы хотите?

— Что? — сказала беременная женщина. — Послушай, милая моя, он что-то спрашивает.

Мать сказала Наве:

— Погоди минуточку, я ничего из-за тебя не слышу... Что ты говоришь? — спросила она беременную женщину.

— Этот козлик, — сказала та. — Он чего-то хочет.

Мать Навы посмотрела на Кандида.

— Что он может хотеть? — сказала она. — Есть, наверное, хочет. Они ведь всегда хотят есть и едят ужасно много, совершенно непонятно, зачем им столько еды, они ведь ничего не делают.

— Козлик, — сказала беременная женщина. — Бедный козлик хочет травки. Бе-е-е! А ты знаешь, — обратилась она к Навиной матери, — это

ведь человек с Белых Скал. Они теперь, между прочим, попадаются все чаще. Как они оттуда спускаются?

— Труднее понять, как они туда поднимаются. Как они спускаются, я видела. Они падают. Некоторые убиваются, а некоторые остаются в живых.

— Мама, — сказала Нава, — что ты на него так нехорошо смотришь? Это же Молчун! Ты скажи ему что-нибудь ласковое, а то он обидится. Странно, что он еще не обиделся, я бы на его месте давно обиделась...

Холм снова заревел, черные тучи насекомых закрыли небо. Кандид ничего не слышал, он видел только, как шевелятся губы Навиной матери, которая что-то внушала Наве, и как шевелятся губы беременной женщины, которая обращалась к нему, и выражение лица у нее было такое, как будто она и в самом деле разговаривала с домашним козлом, забравшимся в огород. Затем рев стих.

— ...только очень уж грязненький, — говорила беременная женщина. — И как же тебе не стыдно, а? — Она отвернулась и стала смотреть на холм.

Из лиловой тучи на четвереньках выползали мертвяки. Они двигались неуверенно, неумело и то и дело валились с ног, тычась головами в землю. Между ними ходила девушка, наклонялась, трогала их, подталкивала, и они один за другим поднимались с четверенек, выпрямлялись и, сначала спотыкаясь, а потом шагая все тверже и тверже, уходили в лес.

... Хозяева, твердил Кандид про себя. Хозяева. Не верю. А что делать? Он посмотрел на Наву. Нава спала. Ее мать сидела на траве, а она свернулась рядом калачиком и спала, держа ее за руку.

— Какие-то они все слабые, — сказала беременная женщина. — Пора опять все чистить. Смотри, как они спотыкаются... С такими работниками Одержание не закончить.

Мать Навы ответила ей что-то, и они начали разговор, которого Кандид не понимал. Он разбирал только отдельные слова, как в бреду Слухача. Поэтому он просто стоял и смотрел, как девушка спускается с холма, волоча за лапу неуклюжего рукоеда. Зачем я здесь стою, думал он, что-то мне нужно было от них, они ведь хозяева... Он не мог вспомнить. «Стою и все, — сказал он со злостью вслух. — Не гонят больше, вот и стою. Как мертвяк». Беременная женщина мельком глянула на него и отвернулась.

Подошла девушка и сказала что-то, указывая на рукоеда, и обе женщины стали внимательно разглядывать чудище, причем беременная даже привстала с кресла. Огромный рукоед, ужас деревенских детей, жалобно пищал, слабо вырывался и бессильно открывал и закрывал

страшные роговые челюсти. Мать Навы взяла его за нижнюю челюсть и сильным уверенным движением вывернула ее. Рукоед всхлипнул и замер, затянув глаза пергаментной пленкой. Беременная женщина говорила: «...Очевидно, не хватает... Запомни, девочка... Слабые челюсти, глаза открываются не полностью... переносить наверняка не может и поэтому бесполезен, а может быть, даже и вреден, как и всякая ошибка... Надо чистить, переменить место, а здесь все почистить...» — «...холм... сухость и пыль... — говорила девушка, — ...лес останавливается... этого я еще не знаю... А вы мне рассказывали совсем по-другому...» — «...а ты попробуй сама, — говорила мать Навы, — ...это сразу заметно... Попробуй, попробуй!»

Девушка оттащила рукоеда в сторону, отступила на шаг и стала смотреть на него. Она словно прицеливалась. Лицо ее стало серьезным и даже каким-то напряженным. Рукоед покачивался на неуклюжих лапах, уныло шевелил оставшейся челюстью и слабо скрипел. «Вот видишь», — сказала беременная женщина. Девушка подошла к рукоеду вплотную и слегка присела перед ним, уперев ладони в коленки. Рукоед затрясся и вдруг упал, распластав лапы, словно на него уронили двухпудовую гирю. Женщины засмеялись. Мать Навы сказала: «Да перестань ты, почему ты нам не веришь?» Девушка не ответила. Она стояла над рукоедом и смотрела, как тот медленно и осторожно подбирает под себя лапы и пытается подняться. Лицо ее заострилось. Она рывком подняла рукоеда, поставила его на лапы и сделала движение, будто хотела обхватить его. Между ее ладонями через туловище рукоеда протекла струя лилового тумана. Рукоед заверещал, скорчился, выгнулся, засучил лапами. Он пытался убежать, ускользнуть, спастись, он метался, а девушка шла за ним, нависала над ним, и он упал, неестественно сплетая лапы, и стал сворачиваться в узел. Женщины молчали. Рукоед превратился в пестрый, сочащийся слизью клубок, и тогда девушка отошла от него и сказала, глядя в сторону: «Дрянь какая...»

— Чистить надо, чистить, — сказала беременная женщина, поднимаясь. — Займись, откладывать не стоит. Ты все поняла?

Девушка кивнула.

— Тогда мы пойдем, а ты сразу же начинай.

Девушка повернулась и пошла на холм к лиловому облаку. Возле пестрого клубка она задержалась, поймала слабо дергающуюся лапу и пошла дальше, волоча клубок за собой.

— Славная подруга, — сказала беременная женщина. — Молодец.

— Управлять она будет, — сказала мать Навы, тоже поднимаясь. —

Характер у нее есть. Ну что же, надо идти...

Кандид едва слышал их. Он все никак не мог отвести глаз от черной лужи, оставшейся на том месте, где скрутили рукоеда. Она к нему даже не прикасалась, она его пальцем не трогала, она просто стояла над ним и делала что хотела. Такая милая, такая нежная, ласковая... Даже пальцем не притронулась... К этому тоже надо привыкнуть? Да, подумал он. Надо... Он стал смотреть, как мать Навы и беременная женщина осторожно ставят Наву на ноги, берут за руки и ведут, спящую, в лес, вниз к озеру. Так и не заметив его, так и не сказав ему ничего. Он снова посмотрел на лужу. Он почувствовал себя маленьким, жалким и беспомощным, но все-таки решился и стал спускаться вслед за ними, догнал их и, обливаясь потом от страха, пошел в двух шагах позади. Что-то горячее надвинулось на него со спины. Он оглянулся и прыгнул в сторону. По пятам шел огромный мертвяк — тяжелый, жаркий, бесшумный, немой. Ну-ну-ну, подумал Кандид, это же только робот, слуга. А я молодец, подумал он вдруг, ведь это я сам понял. Я забыл, как я до этого дошел, но это не важно, важно, что я понял, сообразил. Все сопоставил и сообразил — сам... У меня мозг, понятно? — сказал он беззвучно, глядя в спины женщин. Нечего вам особенно... Я тоже кое-что могу.

Женщины говорили о каком-то человеке, который взялся не за свое дело и поэтому стал посмешищем. Их что-то забавляло, они смеялись. Они шли по лесу и смеялись. Словно шли по деревенской улице на посиделки. А вокруг был лес, а под ногами была даже не тропа, а густая светлая трава, в такой траве всегда бывают неприметные мелкие цветы, которые разбрасывают споры, проникающие под кожу и прорастающие в теле. А они хихикали и болтали, и сплетничали, а Нава шла между ними и спала, но они сделали так, что она шла довольно уверенно и почти не спотыкалась... Беременная женщина мельком оглянулась, увидела Кандида и рассеянно сказала ему:

— Ты еще здесь? В лес иди, в лес... Зачем за нами идешь?

Да, подумал Кандид. Зачем? Какое мне до них дело? А ведь какое-то дело есть, что-то у них надо узнать... Нет, не то... Нава! — вдруг вспомнил он. Он понял, что Наву он потерял. С этим ничего не поделаешь. Нава уходит со своей матерью, все правильно, она уходит к хозяевам. А я? Я остаюсь. А зачем я все-таки иду за ними? Провожаю Наву? Она же спит, они усыпили ее. Его охватила тоска. Прощай, Нава, подумал он.

Они вышли к развилке тропы, женщины свернули налево, к озеру. К озеру с утопленницами. Они и есть утопленницы... Опять всё переврали, все перепутали... Они прошли мимо того места, где Кандид ждал Наву и ел

землю. Это было очень давно, подумал Кандид, почти так же давно, как биостанция... Био-станция... Он едва плелся; если бы за ним по пятам не шел мертвяк, он бы, наверное, уже отстал. Потом женщины остановились и посмотрели на него. Кругом были тростники, земля под ногами была теплая и топкая. Нава стояла с закрытыми глазами, чуть заметно раскачиваясь, а женщины задумчиво смотрели на него. Тогда он вспомнил.

— Как мне пройти на биостанцию? — спросил он.

На их лицах изобразилось изумление, и он сообразил, что говорит на родном языке. Он и сам удивился: он уже не помнил, когда в последний раз говорил на этом языке.

— Как мне пройти к Белым Скалам? — спросил он.

Беременная женщина сказала, усмехаясь:

— Вот он, оказывается, чего хочет, этот козлик... — Она говорила не с ним, она говорила с матерью Навы. — Забавно, они ничего не понимают. Ни один из них ничего не понимает. Представляешь, как они бредут к Белым Скалам и вдруг попадают в полосу боев!

— Они гниют там заживо, — сказала мать Навы задумчиво, — они идут и гниют на ходу, и даже не замечают, что не идут, а топчутся на месте... А в общем-то, пусть идет, для Разрыхления это только полезно. Сгниет — полезно. Растворится — тоже полезно... А может быть, он защищен? Ты защищен? — спросила она Кандида.

— Я не понимаю, — сказал Кандид упавшим голосом.

— Милая моя, что ты его спрашиваешь? Откуда ему быть защищенным?

— В этом мире все возможно, — сказала мать Навы. — Я слышала о таких вещах.

— Это болтовня, — сказала беременная женщина. Она снова внимательно оглядела Кандида. — А ты знаешь, — сказала она, — пожалуй, от него было бы больше пользы здесь... Помнишь, что вчера говорили Воспитательницы?

— А-а, — сказала мать Навы. — Пожалуй... Пусть... Пусть остается.

— Да, да, оставайся, — сказала вдруг Нава. Она уже не спала, и она тоже чувствовала, что происходит что-то неладное. — Ты оставайся, Молчун, ты не ходи никуда, зачем тебе теперь уходить? Ты ведь хотел в Город, а это озеро и есть Город, ведь правда, мама?.. Или, может, ты на маму обижаешься? Так ты не обижайся, она вообще добрая, только сегодня почему-то злая... Наверное, это от жары...

Мать поймала ее за руку. Кандид увидел, как вокруг головы матери быстро сгустилось знакомое лиловатое облачко. Глаза ее на мгновение

остекленели и закрылись, потом она сказала:

— Пойдем, Нава, нас уже ждут.

— А Молчун?

— Он останется здесь... В Городе ему совершенно нечего делать.

— Но я хочу, чтобы он был со мной! Как ты не понимаешь, мама, он же мой муж, мне дали его в мужья, и он уже давно мой муж...

Обе женщины поморщились.

— Пойдем, пойдем, — сказала мать Навы. — Ты пока еще ничего не понимаешь... Он никому не нужен, он лишний, они все лишние, они ошибка... Да пойдем же! Ну хорошо, потом придешь к нему... если захочешь.

Нава сопротивлялась, наверное, она чувствовала то же, что чувствовал Кандид, — что они расстаются навсегда. Мать тащила ее за руку в тростники, а она все оглядывалась и кричала:

— Ты не уходи, Молчун! Я скоро вернусь, ты не вздумай без меня уходить, это будет нехорошо, просто нечестно! Пусть ты не мой муж, раз уж это им почему-то не нравится, но я все равно твоя жена, я тебя выходила, и теперь ты меня жди! Слышишь? Жди!..

Он смотрел ей вслед, слабо махал рукой, кивал, соглашаясь, и все старался улыбнуться. Прощай, Нава, думал он. Прощай. Они скрылись из виду, и остались только тростники, но голос Навы был еще слышен, а потом Нава замолчала, раздался всплеск, и все стихло. Он проглотил комок, застрявший в горле, и спросил беременную женщину:

— Что вы с нею сделаете?

Она все еще внимательно разглядывала его.

— Что мы с нею сделаем? — задумчиво сказала она. — Это не твоя забота, козлик, что мы с нею сделаем. Во всяком случае, муж ей больше не понадобится. И отец тоже... Но вот что нам делать с тобой? Ты ведь с Белых Скал, и не отпускать же тебя просто так...

— А что вам нужно? — спросил Кандид.

— Что нам нужно... Мужья нам, во всяком случае, не нужны. — Она перехватила взгляд Кандида и презрительно засмеялась. — Не нужны, не нужны, успокойся... Попытайся хоть раз в жизни не быть козлом. Попытайся представить себе мир без козлов... — Она говорила, не думая; вернее, она думала о чем-то другом. — На что же ты еще годен?.. Скажи мне, козлик, что ты умеешь?

Что-то было за всеми ее словами, за ее тоном, за ее пренебрежением и равнодушной властностью, что-то важное, что-то неприятное и страшное, но определить это было трудно, и Кандид только почему-то вспомнил

черные квадратные двери и Карла с двумя женщинами — такими же равнодушными и властными.

— Ты меня слушаешь? — спросила беременная. — Что ты умеешь делать?

— Я ничего не умею, — вяло сказал Кандид.

— Может быть, ты умеешь управлять?

— Умел когда-то, — сказал Кандид. Пошла ты к черту, подумал он, что ты ко мне привязалась? Я тебя спрашиваю, как пройти к Белым Скалам, а ты ко мне привязываешься... Он вдруг понял, что боится ее, иначе он бы давно ушел. Она была здесь хозяином, а он был жалким грязным глупым козликом.

— Умел когда-то... — повторила она. — Прикажи этому дереву лечь!

Кандид посмотрел на дерево. Это было большое толстое дерево с пышной кроной и волосатым стволом. Он пожал плечами.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда убей это дерево... Тоже не можешь? Ты вообще можешь делать живое мертвым?

— Убивать?

— Не обязательно убивать. Убивать и рукоед может. Сделать живое мертвым. Заставить живое стать мертвым. Можешь?

— Я не понимаю, — сказал Кандид.

— Не понимаешь... Что же вы там делаете на этих Белых Скалах, если ты даже этого не понимаешь? Мертвое живым ты тоже не умеешь делать?

— Не умею.

— Что же ты умеешь? Что ты делал на Белых Скалах, пока не упал в лес? Просто жрал и поганил женщин?

— Я изучал лес, — сказал Кандид.

Она строго посмотрела на него.

— Не смей мне лгать. Один человек не может изучать лес, это все равно что изучать солнце. Если ты не хочешь говорить правду, то так и скажи.

— Я действительно изучал лес, — сказал Кандид. — Я изучал... — Он замялся. — Я изучал самые маленькие существа в лесу. Те, которые не видны глазом.

— Ты опять лжешь, — терпеливо сказала женщина. — Невозможно изучать то, что не видно глазом.

— Возможно, — сказал Кандид. — Нужны только... — Он опять замялся. Микроскоп... Линзы... Приборы... Это не передать. Это не перевести. — Если взять каплю воды, — сказал он, — то, имея нужные вещи, можно увидеть в ней тысячи тысяч мелких животных.

— Для этого не нужно никаких вещей, — сказала женщина. — Я вижу, вы там впали в распутство с вашими мертвыми вещами на ваших Белых Скалах. Вы вырождаетесь. Я уже давно заметила, что вы потеряли умение видеть то, что видит в лесу любой человек, даже грязный мужчина... Постой, ты говоришь о мелких или о мельчайших? Может, ты говоришь о строителях?

— Может быть, — сказал Кандид. — Я не понимаю тебя. Я говорю о мелких животных, от которых болеют, но которые могут и лечить тоже, которые помогают делать пищу, которых очень много и которые есть везде... Я искал, как они устроены у вас здесь в лесу, и какие они бывают, и что они могут...

— А на Белых Скалах они другие, — саркастически сказала женщина. — Впрочем, ладно, я поняла, чем ты занимаешься. Над строителями ты никакой власти, конечно, не имеешь. Любой деревенский дурак может больше, чем ты... Куда же мне тебя девать? Ведь ты сам пришел сюда...

— Я пойду, — сказал Кандид устало. — Я пойду, прощай.

— Нет, погоди... Стой, тебе говорят! — крикнула она, и Кандид ощутил раскаленные клещи, сжавшие сзади его локти. Он рванулся, но это было бессмысленно. Женщина размышляла вслух: — В конце концов, он пришел сам. Такие случаи бывают. Если его отпустить, он уйдет в свою деревню и станет совершенно бесполезным... Ловить их бессмысленно. Но если они приходят сами... Знаешь, что я с тобой сделаю? — сказала она. — Отдам-ка я тебя Воспитательницам для ночных работ. В конце концов, были же удачные случаи... К Воспитательницам его, к Воспитательницам! — Она махнула рукой и неторопливо, вперевалку ушла в тростники.

И тогда Кандид почувствовал, что его поворачивают на тропинку. Локти у него онемели, ему казалось, что они обуглились. Он рванулся изо всех сил, и тиски сжались крепче. Он не понял, что с ним будет, и куда его должны отвести, и кто такие Воспитательницы, и что это за ночные работы, но он вспомнил самые страшные из своих впечатлений: призрак Карла посреди плачущей толпы и рукоеда, свертывающегося в пестрый узел. Он изловчился и ударил мертвяка ногой, ударил назад, вслепую, отчаянно, зная, что второй раз этот прием уже не пройдет. Нога его погрузилась в мягкое и горячее, мертвяк всхрапнул и ослабил хватку. Кандид упал лицом в траву, вскочил, повернулся и закричал — мертвяк уже снова шел на него, широко расставив неимоверно длинные руки. Не было ничего под рукой, ни травобоя, ни бродила, ни палки, ни камня. Топкая теплая земля разъезжалась под ногами. Потом он вспомнил и сунул руку за пазуху, и, когда мертвяк навис над ним, он ударил его скальпелем куда-то между

глазами, зажмурился и, навалившись всем телом, потянул лезвие сверху вниз до самой земли и снова упал.

Он лежал, прижимаясь щекой к траве, и глядел на мертвяка, а тот стоял, шатаясь, медленно распахиваясь, как чемодан, по всей длине оранжевого туловища, а потом оступился и рухнул навзничь, заливая все вокруг густой белой жидкостью, дернулся несколько раз и замер. Тогда Кандид поднялся и побрел прочь. По тропинке. Подальше отсюда. Он смутно помнил, что хотел кого-то здесь ждать, что-то хотел узнать, что-то собирался сделать. Но теперь все это было неважно. Важно было уйти подальше, хотя он сознавал, что никуда уйти не удастся. Ни ему, ни многим, многим, многим другим.

Глава девятая ПЕРЕЦ

Перец проснулся от неудобства, от тоски, от невыносимой, как ему показалось сначала, нагрузки на сознание и все органы чувств. Ему было неудобно до боли, и он невольно застонал, медленно приходя в себя.

Нагрузка на сознание оказалась отчаянием и досадой, потому что машина не ехала на Материк, она снова не ехала на Материк и вообще никуда не ехала. Она стояла с выключенным двигателем, мертвая и ледяная, с распахнутыми дверцами. Ветровое стекло было покрыто дрожащими каплями, которые сливались и текли холодными струйками. Ночь за стеклом озарялась ослепительными вспышками прожекторов и фар, и ничего не было видно, кроме этих непрерывных вспышек, от которых ломило глаза. И ничего не было слышно, и Перец даже подумал сначала, что оглох, и только затем сообразил, что на уши равномерно давит густой многоголосый рев сирен. Он заметался по кабине, больно ушибаясь о рычаги и выступы и о проклятый чемодан, попытался протереть стекло, высунулся в одну дверцу, высунулся в другую: он никак не мог понять, где он находится, что это за место и что все это означает. Война, подумал он, боже мой, это война!.. Прожектора со злобным наслаждением били его по глазам, и он ничего не видел, кроме какого-то большого незнакомого здания, в котором равномерно вспыхивали и гасли все окна разом на всех этажах. И еще он видел огромное количество широких лиловых пятен.

Чудовищный голос вдруг произнес спокойно, будто в полной тишине: «Внимание, внимание. Всем сотрудникам стоять на местах по положению номер шестьсот семьдесят пять дробь Пегас омикрон триста два директива восемьсот тринадцать, на торжественную встречу падишаха без специальной свиты, размер обуви пятьдесят пять. Повторяю. Внимание, внимание. Всем сотрудникам...» Прожектора перестали метаться, и Перец различил наконец знакомую арку с надписью «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ» и главную улицу Управления, и темные коттеджи вдоль нее, и каких-то людей в ночном белье с керосиновыми лампами, стоящих около коттеджей, а затем увидел совсем недалеко цепь бегущих людей в черных развевающихся плащах. Эти люди бежали, занимая всю ширину улицы, растянув поперек что-то странное, светлое, и, приглядевшись, Перец понял, что они тащат не то бредень, не то волейбольную сетку, и сейчас же сорванный голос завизжал у него над ухом: «Почему машина? Ты почему здесь стоишь?» И, отшатнувшись, он увидел рядом с собой инженера в

белой картонной маске с надписью по лбу чернильным карандашом «Либидович», и этот инженер полез грязными сапогами прямо по нему, пихая его локтем в лицо, храпя и воняя потом, повалился на место водителя, пошарил ключ зажигания, не нашел, истерически взвизгнул и выкатился из кабины на противоположную сторону. На улице зажглись все фонари, стало светло, как днем, а люди в белье все стояли с керосиновыми лампами у дверей коттеджей, и у каждого в руке был сачок для ловли бабочек, и они мерно размахивали этими сачками, словно отгоняя что-то невидимое от своих дверей. По улице навстречу и мимо прокатились одна за другой четыре мрачные черные машины, похожие на автобусы без окон, и на крышах у них вращались какие-то решетчатые лопасти, а потом из переулка вывернул вслед за ними старинный броневик. Ржавая башня его вращалась с пронзительным визгом, а тонкий ствол пулемета ходил вверх и вниз. Бронеавтомобиль с трудом протиснулся мимо грузовика, люк его башни открылся, и высунувшийся человек в бязевой ночной рубашке с болтающимися тесемками недовольно прокричал Перецу: «Что же ты, голубчик? Проезжать надо, а ты стоишь!» Тогда Перец опустил голову на руки и закрыл глаза.

Я никогда не уеду отсюда, тупо подумал он. Я никому здесь не нужен, я абсолютно бесполезен, но они меня отсюда не выпустят, хотя бы для этого пришлось начать войну или устроить наводнение...

— Бумаги ваши попрошу, — сказал тягучий стариковский голос, и Переца похлопали по плечу.

— Что? — сказал Перец.

— Документики. Приготовили?

Это был старик в клеенчатом плаще, с берданкой, висящей поперек груди на облезлой металлической цепочке.

— Какие бумаги? Какие документы? Зачем?

— А, господин Перец! — сказал старик. — Что же это вы положение не выполняете? Все бумаги уже должны быть у вас в руке в развернутом виде, как в музее...

Перец дал ему свое удостоверение. Старик, положив локти на берданку, внимательно изучил печати, сверил фотографию с лицом Переца и сказал:

— Что-то вы будто похудели, герр Перец. С лица словно бы спали. Работаете много... — Он вернул удостоверение.

— Что происходит? — спросил Перец.

— Что полагается, то и происходит, — сказал старик, внезапно посуровев. — Происходит положение за номером шестьсот семьдесят пять

дробь Пегас. То есть побег.

— Какой побег? Откуда?

— Какой полагается по положению, такой и побег, — сказал старик, начиная спускаться по лестнице. — Того и гляди рванут, так что вы уши берегите, сидите лучше с открытым ртом.

— Хорошо, — сказал Перец. — Спасибо.

— Ты чего здесь, старый хрыч, ползаешь? — раздался внизу злобный голос шофера Вольдемара. — Я тебе покажу — документики! Во, понюхай! Понял? Ну и катись отсюда, если понял...

Мимо с топотом и криками проволокли на руках бетономешалку. Шофер Вольдемар, взъерошенный, ощеренный, вскарабкался в кабину. Бормоча черные слова, он завел двигатель и с грохотом захлопнул дверь. Грузовик рванул с места и помчался по улице мимо людей в белье, размахивающих сачками. В гараж, подумал Перец. Ах, все равно. Но к чемодану я больше не прикоснусь. Не желаю я его больше таскать, провались он пропадом. Он с ненавистью ткнул чемодан пяткой. Машина круто свернула с главной улицы, врезалась в баррикаду из пустых бочек и телег, разнесла ее и помчалась дальше. Некоторое время на радиаторе мотался расщепленный передок извозчичьей пролетки, потом сорвался и хрустнул под колесами. Грузовик несся теперь по тесным боковым улочкам. Вольдемар, насупленный, с потухшим окурком на губе, сгибаясь и разгибаясь всем телом, обеими руками крутил огромный руль. Нет, не в гараж, подумал Перец. И не в мастерские. И не на Материк. В переулках было темно и пусто. Только один раз в лучах фар промелькнули чьи-то картонные лица с надписями, растопыренные руки, и все исчезло.

— Черт меня дернул, — сказал Вольдемар. — Хотел же прямо на Материк ехать, а тут вижу — вы спите, дай, думаю, заверну в гараж, в шахматишки сгоняю партию... Только это я нашел Ахилла-слесаря, сбегали за кефиром, приняли, расставили... Я предлагаю ферзевый гамбит, он принимает, все как надо... Я — «е-4», он — «це-6»... Я ему говорю: ну, молись. И тут как началось... У вас сигаретки нет, пан Перец?

Перец дал ему сигарету.

— А что за побег? — спросил он. — И куда мы едем?

— Побег самый обыкновенный, — сказал Вольдемар, закуривая. — Каждый год у нас такие побеги. У инженеров машинка сбежала. И теперь приказ всем ловить. Вон, ловят...

Поселок кончился. По пустырю, озаренному луной, бродили люди. Они словно играли в жмурки — шли на полусогнутых ногах, широко расставив руки. Глаза у всех были завязаны. Один с размаху налетел на

столб и, вероятно, болезненно вскрикнул, потому что остальные разом остановились и стали осторожно ворочать головами.

— Каждый год такая петрушка, — говорил Вольдемар. — У них там и фотоэлементы, и разная акустика, и кибернетика, охранников-дармоедов понаставили на каждом углу — и все-таки обязательно каждый год у них какая-нибудь машинка да сбежит. И тогда тебе говорят: бросай все, иди ее ищи. А кому охота ее искать? Кому охота с ней связываться, я спрашиваю? Ведь если ты ее хоть краем глаза увидишь — все. Или тебя в инженеры упекут, или загонят куда-нибудь в лес, на дальнюю базу, грибы спиртовать, чтобы, упаси бог, не разгласил. Вот народ и ловчит, кто как умеет. Кто себе глаза завяжет, чтобы не увидеть, кто как... А кто поумней, тот просто бегает и кричит что есть мочи. У одного документы потребует, у другого обыск сделает, а то просто залезет на крышу и вопит. Вроде и при деле, а риска никакого...

— А мы что, тоже сейчас ловим? — спросил Перец.

— А как же, ловим. Народ ловит, и мы как все. Шесть часов ловить будем по часам. Есть приказ: если в течение шести часов бежавший механизм не обнаружен, его дистанционно взрывают. Чтобы все было шито-крыто. А то еще попадет в посторонние руки. Видали, какой кавардак в Управлении? Так это еще райская тишь, вы посм`отрите, что там через шесть часов начнется. Ведь никто не знает, куда эта машинка заползла. Может, она у тебя в кармане. А заряд ей придается мощный, чтобы уж — наверняка... Вот в прошлом году оказалась эта машинка в бане, а в баню множество народу понабилось — спасаться. Баня, думают, место сырое, незаметное... Ну и я там был. Баня же, думаю... Так меня в окно вынесло, плавно так, будто на волне. Моргнуть не успел, сижу в сугробе, а надо мной балки горящие проплывают...

Теперь вокруг была равнина, чахлая травка, мутный свет луны, разбитая белая дорога. Слева, там, где осталось Управление, опять суматошно мотались огни.

— Я только не понимаю, — сказал Перец. — Как же мы будем ее ловить, мы ведь даже не знаем, что она такое... Маленькая она или большая, темная или светлая...

— А это вы скоро увидите, — пообещал Вольдемар. — Это я вам минут через пять покажу. Как умные люди ловят. Черт, где же это место... Потерял. Влево, наверное, взял. Ага, влево... Вон склад техники, а нам, значит, надо правее...

Машина свернула с дороги и закачалась на кочках. Склад остался слева — ряды огромных светлых контейнеров, будто мертвый город на

равнине.

...Наверное, она не выдержала. Они трясли ее на вибростенде, они вдумчиво мучили ее, копались во внутренностях, жгли тонкие нервы паяльниками, она задыхалась от запаха канифоли, ее заставляли делать глупости, ее создали, чтобы она делала глупости, ее совершенствовали, чтобы она делала все более глупые глупости, а вечером оставляли ее, истерзанную, обессиленную, в сухой жаркой комнатушке. И наконец она решилась уйти, хотя знала все — и бессмысленность побега, и свою обреченность. И она ушла, неся в себе самоубийственный заряд, и сейчас стоит где-нибудь в тени, мягко переступая коленчатыми ногами, и смотрит, и слушает, и ждет... И теперь ей, наверное, уже стало совершенно ясно все то, о чем раньше она только догадывалась: что никакой свободы нет, заперты перед тобой двери или открыты, что все глупость и хаос, и есть только одно одиночество...

— А!.. — сказал Вольдемар с удовлетворением. — Вот она, милая. Вот она, родимая...

Перец открыл глаза, но успел увидеть впереди только обширную черную лужу, даже не лужу, а просто болото, и услыхал, как заревел двигатель, а потом волна грязи вздыбилась и упала на ветровое стекло. Двигатель вновь дико взвыл и заглох. Стало очень тихо.

— Вот это по-нашему, — сказал Вольдемар. — Все шесть колес буксуют. Как мыло в тазу. Ясно? — Он сунул окурок в пепельницу и приоткрыл свою дверь. — Тут еще кто-то есть, — сообщил он и заорал: — Эй, друг! Как дела?

— Порядок! — донеслось снаружи.

— Поймал?

— Насморк поймал! — донеслось снаружи. — Унд пять головастиков.

Вольдемар крепко захлопнул дверцу, зажег в кабине свет, посмотрел на Переца, подмигнул ему, вытащил из-под сиденья мандолину и, склонив голову к правому плечу, принялся щипать струны.

— Вы устраивайтесь, устраивайтесь, — гостеприимно сказал он. — Пока утро наступит, пока тягач доползет...

— Спасибо, — покорно сказал Перец.

— Я вам не мешаю? — вежливо спросил Вольдемар.

— Нет-нет, — сказал Перец. — Пожалуйста...

Вольдемар откинул голову, закатил глаза и запел печальным голосом:

Тоске моей не вижу я предела,
Один брожу безумно и устало,

Скажи, зачем ко мне ты охладела,
Зачем любовь так грубо растоптала?

Грязь медленно стекала с ветрового стекла, и стало видно сияющее под луной болото и странной формы автомобиль, торчащий посередине этого болота. Перец включил стеклоочиститель и через некоторое время с изумлением обнаружил, что в трясине, увязнув до башни, стоит давешний броневик.

...Теперь с другим ты радуешься жизни,
А я один, безумный и усталый.

Вольдемар изо всех сил ударил по струнам, сфальшивил и откашлялся.

— Эй, друг! — донеслось снаружи. — Закуски нет?

— А что? — закричал Вольдемар.

— Имеется кефир!

— Я не один!

— Валите все! На всех хватит! Запаслись — знали, на что идем!

Шофер Вольдемар повернулся к Перецу.

— А что? — восхищенно сказал он. — Пошли? Кефиру выпьем, может быть, в теннис сыграем... А?

— Я не играю в теннис, — сказал Перец.

Вольдемар крикнул:

— Сейчас идем! Только лодку надуем!

Он быстро, как обезьяна, выкарабкался из кабины и завозился в кузове, лязгая там железом, роняя что-то и весело посвистывая. Потом раздался плеск, царапанье ногами по борту, и голос Вольдемара откуда-то снизу позвал: «Готово, господин Перец! Сигайте сюда, только мандолину захватите!» Внизу, на блестящей поверхности жидкой грязи, лежала надувная лодка, в ней, как гондольер, широко раздвинув ноги, с большой саперной лопатой в руке стоял Вольдемар и, радостно улыбаясь, глядел вверх на Переца.

...В старом ржавом бронеавтомобиле времен Вердена было жарко до тошноты, воняло горячим маслом и бензиновым перегаром, горела тусклая лампочка над железным командирским столиком, изрезанным неприличными надписями, под ногами хлюпала грязь, ноги стыли, мятый жестяной шкаф для боеприпасов был набит бутылками с кефиром, все

были в ночном белье и чесали пятерней волосатые груди, все были пьяны, и зудела мандолина, и башенный стрелок в бязевой рубахе, которому не хватало места внизу, ронял сверху табачный пепел, а иногда падал сам спиной вниз, и каждый раз говорил: «Пардон, обознался...», и его с гоготом подсаживали обратно...

— Нет, — сказал Перец, — спасибо, Вольдемар, я здесь останусь. Мне кое-что постирать надо... да и зарядки я еще не делал.

— А, — сказал Вольдемар с уважением, — тогда другое дело. Тогда я поплыву, а вы, как со стиркой обернетесь, сразу крикните, мы за вами приедем... Мандолину бы мне только.

Он уплыл с мандолиной, а Перец остался сидеть и смотрел, как он сначала пытался загребать лопатой, но от этого лодка только крутилась на месте, и тогда он стал отталкиваться лопатой, как шестом, и дело пошло на лад. Луна обливала его мертвым светом, и он был похож на последнего человека после последнего Великого Потопа, который плавает между верхушками самых высоких зданий, очень одинокий, ищущий спасения от одиночества и еще полный надежд. Он подплыл к броневику, загремел кулаком по броне, из люка высунулись, весело заржали и втянули его внутрь вниз головой. И Перец остался один.

Он был один, как единственный пассажир ночного поезда, ковыляющего своими тремя облупленными вагончиками по отмирающей железнодорожной ветке, в вагоне все скрипит и шатается, в намертво перекошенные разбитые окна дует и несет паровозной гарью, подпрыгивают на полу окурки и скомканные бумажки, и качается на крючке забытая кем-то соломенная шляпа, а когда поезд подойдет к конечной станции, единственный пассажир выйдет на гнилую платформу, и его никто не встретит, он точно знает, что его никто не встретит, и он побредет домой, и дома зажарит себе на плитке яичницу из двух яиц с третьеводнишней позеленевшей колбасой...

Броневик вдруг затрясся, застучал и озарился судорожными вспышками. Сотни светящихся разноцветных нитей протянулись от него через равнину, и в сиянии луны и в блеске вспышек стало видно, как от броневика по гладкому зеркалу болота пошли широкие круги. Из башни высунулся некто в белом и, надрываясь, провозгласил: «Милостивые государи! Дамы, господа! Салют наций! С совершеннейшим почтением, ваше сиятельство, честь имею оставаться, многоуважаемая княгиня Дикобелла, вашим покорнейшим слугой, техник-смотритель, подпись неразборчива!..» Броневик снова затрясся, засверкал вспышками и снова затих.

Напущу я на вас неотвязные лозы, подумал Перец, и род ваш проклятый джунгли сметут, кровли обрушатся, балки падут, и карелою, горькой карелой дома зарастут...

...Лес надвигался, взбирался по серпантину, карабкался по отвесной скале, впереди шли волны лилового тумана, из них выползали, опутывая и сжимая, мириады зеленых щупалец, а на улицах разверзались клоаки, и дома проваливались в бездонные озера, и прыгающие деревья вставали на бетонных взлетных площадках перед битком набитыми самолетами, где люди лежали штабелями вперемешку с бутылками кефира, с серыми грифованными папками и с тяжелыми сейфами, и земля под утесом расступилась и всосала его. Это было бы так закономерно, так естественно, что никто не был бы удивлен, все были бы только испуганы и приняли бы уничтожение как возмездие, которого каждый в страхе ждал уже давно. А шофер Тузик, как паук, бегал бы между шатающимися коттеджами и искал бы Риту, чтобы напоследок получить все-таки свое, но так и не успел бы...

Из броневика взвились три ракеты, военный голос проревел: «Танки справа, укрытие слева! Экипаж, в укрытие!» И кто-то сейчас же подхватил косноязычно: «Бабы слева, койки справа! Эк-кипаж, по к-койкам!» И раздались ржание и топот, совершенно уже нечеловеческие, словно табун племенных жеребцов бился и лягался в этой железной коробке в поисках выхода на простор, к кобылам. Перец распахнул дверь и выглянул наружу. Под ногами была топь, глубокая топь, потому что чудовищные колеса грузовика уходили в жирную жижу выше ступиц. Правда, до берега было близко.

Перец перелез в кузов и долго шел к заднему борту, с грохотом и звоном ступая по дну этого необъятного стального корыта в густой лунной тени, потом вскарабкался на борт и по одной из бесчисленных лесенок спустился до самой воды. Некоторое время он, набираясь решимости, висел над ледяной жижей, а затем, когда в бронеавтомобиле снова ударили из пулемета, зажмурился и прыгнул. Жижа стала расступаться под ним и расступалась долго, долго-долго, и не было этому конца, и, когда он почувствовал под ногами твердь, грязь затопила его по грудь. Он налег на грязь всем телом, он толкал ее коленями и отталкивался ладонями, и сначала он только бился на месте, а потом приспособился и пошел, и, к своему удивлению, очень быстро оказался на сухом месте.

Хорошо бы где-нибудь отыскать людей, подумал он. Для начала просто людей — чистых, выбритых, внимательных, гостеприимных. Не надо полета высоких мыслей, не надо сверкающих талантов. Не надо потрясающих целей и самоотрицания. Пусть они просто всплеснут руками,

увидев меня, и кто-нибудь побежит наполнять ванну, кто-нибудь побежит доставать чистое белье и ставить чайник, и чтобы никто не спрашивал документы и не требовал автобиографии в трех экземплярах с приложением двадцати дублированных отпечатков пальцев, и чтобы никто-никто не бросался к телефону сообщить куда следует значительным шепотом, что-де появился неизвестный, весь в грязи, называет себя Перецом, но только вряд ли он Перец, потому что Перец убыл на Материк, и приказ об этом уже отдан и завтра будет вывешен... Не нужно еще, чтобы они были принципиальными сторонниками или противниками чего-нибудь. Не нужно, чтобы они были принципиальными противниками пьянства, лишь бы сами не были пьяницами. Не нужно, чтобы они были принципиальными сторонниками правды-матки, лишь бы не врали и не говорили гадостей ни в глаза, ни за глаза. И чтобы они не требовали от человека полного соответствия каким-нибудь идеалам, а принимали и понимали бы его таким, какой он есть... Боже мой, подумал Перец, неужели я хочу так много?

Он вышел на дорогу и долго брел на огни Управления. Там неустанно вспыхивали прожектора, метались тени, поднимался разноцветный дым. Перец шел, в его ботинках ворчала и хлюпала вода, подсохшая одежда стояла коробом и шуршала, как картон, время от времени со штанов отваливались пласты грязи и шлепались на дорогу, и каждый раз Перецу казалось, что он выронил бумажник с документами, и он в панике хватался за карман, а когда он уже подходил к складу техники, его вдруг обожгла жуткая мысль, что документы подмокли и все печати и подписи на них расплылись и стали неразборчивы и непоправимо подозрительны. Он остановился, ледяными руками раскрыл бумажник и вытащил все удостоверения, все пропуска, все свидетельства, все справки и стал их рассматривать под луной. И оказалось, что ничего страшного не произошло, что вода попортила только одну пространную справку на гербовой бумаге, удостоверяющую, что предъявитель сего прошел курс прививок и допущен к работе на счетно-вычислительных машинах. Тогда он снова уложил документы в бумажник, проложив их аккуратно ассигнациями, и пошел было дальше, но тут представил себе, как выходит на главную улицу, и люди в картонных масках и косо приклеенных бородах хватают его за руки, завязывают ему глаза, дают ему что-то понюхать и приказывают: «Ищи! Ищи!», и говорят: «Запомнили запах, сотрудник Перец?», и науськивают: «Шерше, дура, шерше!» И представив себе все это, он, не останавливаясь, свернул с дороги и побежал, пригибаясь, к складу техники, нырнул в тень огромных светлых ящиков, запутался

ногами в мягком и с разбегу упал на кучу тряпок и пакли.

Здесь оказалось тепло и сухо. Шершавые стенки ящиков были горячими на ощупь, и это сначала обрадовало, а потом уже удивило его. В ящиках было тихо, но он вспомнил рассказ о машинах, самостоятельно вылезающих из контейнеров, и понял, что в ящиках идет своя жизнь, но не испугался, а даже, наоборот, почувствовал себя в безопасности. Он сел поудобнее, снял сырые ботинки, стянул мокрые носки и вытер ноги паклей. Здесь было так тепло, так хорошо, так уютно, что он подумал: странно, неужели я здесь один? Неужели никто не сообразил, что гораздо лучше сидеть здесь, в тепле, нежели ползать по пустырям с завязанными глазами или торчать в смердящем болоте? Он прислонился спиной к горячей фанере и упер босые ноги в горячую фанеру напротив, и почувствовал, что ему хочется мурлыкать. Над головой у него была узкая щель, и он видел полоску белесого от луны неба и на ней несколько неярких звездочек. Откуда-то доносился гул, треск, рев моторов, но это его нисколько не касалось.

Хорошо бы здесь остаться навсегда, подумал он. Раз уж мне не уйти на Материк, останусь здесь навсегда. Подумаешь, машины! Все мы машины. Только мы — испорченные машины или плохо отлаженные.

...Есть такое мнение, господа, что человек никогда не договорится с машиной. И не будем, граждане, спорить. Директор тоже так считает. Да и Клавдий-Октавиан Домарощинер этого же мнения придерживается. Ведь что есть машина? Неодухотворенный механизм, лишенный всей полноты чувств и не могущий быть умнее человека. Опять же и структура небелковая, опять же и жизнь нельзя свести к физическим и химическим процессам, а значит, и разум... Тут на трибуну взобрался интеллектуал-лирик с тремя подбородками и галстуком-бабочкой, рванул себя безжалостно за крахмальную манишку и рыдающе провозгласил: «Я не могу... Я не хочу этого... Розовое дитя, играющее погремушечкой... Плакучие ивы, склоняющиеся к пруду... Девочки в беленьких фартучках... Они читают стихи... Они плачут... Плачут!.. Над прекрасной строкой поэта... Я не желаю, чтобы электронное железо погасило эти глаза... эти губы... эти юные робкие перси... Нет, не станет машина умнее человека! Потому что я... Потому что мы... Мы не хотим этого! И этого не будет никогда! Никогда!!! Никогда!!!» К нему потянулись со стаканами воды, а в четырехстах километрах над его снежными кудрями беззвучно, мертво, зорко прошел, нестерпимо блестя, автоматический спутник-истребитель, начиненный ядерной взрывчаткой...

Я тоже этого не хочу, подумал Перец. Но нельзя же быть таким глупым

дураком. Можно, конечно, объявить кампанию по предотвращению зимы, шаманить, нажравшись мухомора, бить в бубны, выкрикивать заклинания, но лучше все-таки шить шубы и покупать валенки... Впрочем, этот седовласый опекатель робких персей покричит-покричит с трибуны, а потом утащит у любовницы масленку из футляра со швейной машинкой, подкрадется к какой-нибудь электронной громадине и станет мазать ей шестеренки, искательно заглядывая в циферблаты и почтительно хихикая, когда его долбает током. Боже, спаси нас от седовласых глупых дураков. И не забудь при этом, боже, спасти нас от умных дураков в картонных масках...

— Я думаю, это у тебя сны, — произнес где-то наверху добродушный бас. — Я по себе знаю, от снов иногда бывает очень неприятный осадок. Иногда даже наступает словно бы паралич. Невозможно двигаться, невозможно работать, а потом все проходит. Надо бы тебе поработать. Почему бы тебе не поработать? И все осадки растворятся в удовольствии.

— Ах, да не могу я работать, — возразил капризный тонкий голос. — Мне все надоело. Всегда одно и то же: железо, пластмасса, бетон, люди. Я сыта этим по горло. Для меня в этом не осталось никакого удовольствия. Мир так прекрасен и так разнообразен, а я сижу на одном месте и умираю от скуки!

— Взяла бы да переменила место, — проскрипел издали какой-то сварливый старик.

— Легко сказать — перемени место! Вот я сейчас не на месте, и все равно мне тоскливо. А как трудно было уйти!

— Ну, хорошо, — сказал рассудительный бас. — А что тебе хочется? Это даже как-то непостижимо. Чего может хотеться, если не хочется работать?

— Ах, как вы не понимаете? Я хочу жить полной жизнью. Я хочу увидеть новые места, получить новые впечатления, ведь здесь все одно и то же...

— Отставить! — рявкнул оловянный голос. — Болтовня! Одно и то же — это хорошо. Постоянный прицел. Ясно? Повторите!

— Ах, да ну вас с вашими командами...

Разговаривали, несомненно, машины. Перец не видел их и никак не мог их себе представить, но ему чудилось, будто он притаился под прилавком игрушечного магазина и слушает, как беседуют игрушки, знакомые с детства, только огромные и поэтому страшные. Этот истерический тонкий голосок принадлежал, конечно, пятиметровой кукле Жанне. На ней было пестрое платье из тюля, и у нее было толстое розовое

неподвижное лицо с закаченными глазами, толстые, нелепо растопыренные руки и ноги со склеенными пальцами. А басом говорил медведь, исполинский Винни Пух, едва умещающийся в контейнере, незлобивый, лохматый, набитый опилками, коричневый, со стеклянными глазами-пуговицами. И остальные были игрушками, но Перец еще не мог понять — какими.

— Я полагаю, что следует все-таки тебе поработать, — проворчал Винни Пух. — Ты, милочка, имей в виду, что здесь есть существа, которым повезло гораздо меньше, чем тебе. Например, наш садовник. Ему очень хочется работать. Но он сидит здесь и думает днем и ночью, потому что не окончательно еще разработал план действий. И никто не слыхал от него никаких жалоб. Однообразная работа — это тоже работа. Однообразное удовольствие — это тоже удовольствие. Это еще не причина для разговоров о смерти и тому подобном.

— Ах, вас не поймешь, — сказала кукла Жанна. — То у вас сны всему причиной, то я не знаю что. А у меня предчувствия. Я места себе не нахожу. Я знаю, что будет страшный взрыв, и я вся разлечусь на мельчайшие брызги и превращусь в пар. Я знаю, я видела...

— Отставить! — грянул оловянный голос. — Не терплю! Что вы знаете о взрывах? Вы можете бежать к горизонту с любой скоростью и под любым углом. И тот, кому надо, достанет вас с любого расстояния, и это будет настоящий взрыв, а не какой-нибудь интеллигентский пар. Но разве тот, кому это надо, — я? Никто этого не скажет, а если бы и хотел сказать, то не успел бы. Я знаю, что я говорю. Ясно? Повторите.

Во всем этом было много тупой самоуверенности. Это был наверняка огромный заводной танк. С такой же точно тупой самоуверенностью он перебирал резиновыми гусеницами, карабкаясь через подставленный ботинок.

— Я не знаю, что вы имеете в виду, — сказала кукла Жанна. — Но если я и прибежала сюда, к вам, к единственным близким мне существам, то это, по-моему, еще не означает, что я намерена ради чьего бы то ни было удовольствия бегать к горизонту под какими-то углами. И вообще прошу обратить внимание, что я не с вами разговариваю... А если речь идет о работе, то я не больная, я существо нормальное, и мне удовольствия нужны, как и всем вам. Но это не настоящая работа, какое-то фальшивое удовольствие. Я все жду моего, настоящего, а его нет, нет и нет. И я не знаю, в чем дело, а когда начинаю думать, то додумываюсь до одних глупостей... — Она всхлипнула.

— Н-ну... — пробасил Винни Пух. — В общем-то, да... Конечно...

Только... Гм...

— Все правильно! — заметил новый голос, очень звонкий и веселый. — Девочка права... Настоящей работы нет...

— Настоящая работа, настоящая работа! — ядовито проскрипел старик. — Вокруг целые рудники настоящей работы. Эльдорадо! Копи царя Соломона! Вон они ходят вокруг меня со своими больными внутренностями, со своими саркомами, с восхитительными свищами, с аппетитнейшими аденоидами и аппендиксами, с обыкновенным, но таким увлекательным кариесом, наконец! Давайте говорить откровенно. Они мешают, они не дают работать. Я не знаю, в чем тут дело, может быть, они издают какой-нибудь особый запах или излучают неизвестное поле, но когда они находятся рядом со мной, у меня начинается шизофрения. Я раздваиваюсь. Одна половина меня жаждет наслаждения, тянется схватить и сделать необходимое, сладостное, желанное, а другая впадает в прострацию и забивает все вечными вопросами: а стоит ли, а зачем, морально ли это... Вот вы, я про вас говорю, вы что, работаете?

— Я? — сказал Винни Пух. — Конечно... А как же?.. Странно даже от вас слышать, не ожидал... Я кончаю проектирование вертолета, и потом... Ведь я рассказывал, что создал превосходный тягач, это было такое наслаждение... По-моему, у вас нет оснований сомневаться, работаю ли я.

— Да не сомневаюсь я, не сомневаюсь, — проскрипел старик. (Гнусный такой тряпичный старикашка, не то гоблин, не то астролог, в черной плюшевой мантии с золотыми блестками.) — Вы мне только скажите, где этот тягач?

— Н-ну... Не понимаю даже... Откуда я знаю? И какое мне дело? Сейчас меня интересует вертолет...

— Об этом и речь! — сказал Астролог. — Вам ни до чего нет дела. Вы всем довольны. Вам никто не мешает. Вам даже помогают! Вот вы разродились тягачом, захлебываясь от удовольствия, и люди сейчас же убрали его от вас, чтобы вы не отвлекались на мелочи, а наслаждались бы по большому счету. А вот вы спросите его, помогают ему люди или нет...

— Мне? — взревел Танк. — Дерьмо! Отставить! Когда кое-кто выходит на полигон и решает немного размяться, продлить удовольствие, поиграть, взять цель в азимутальную или, скажем, вертикальную вилку, они поднимают шум и гам, они поднимают крик, от которого становится противно, и любой впадает в расстройство. Но разве я сказал, что этот любой — я? Нет! Этого вы от меня не дождетесь. Ясно? Повторите!

— И я, и я тоже! — затрещала кукла Жанна. — Сколько раз я уже думала, зачем они существуют? Ведь все в мире имеет смысл, правда? А

они, по-моему, не имеют. Наверное, их нет, это просто галлюцинации. Когда пытаешься проанализировать их, взять пробу из нижней части, из верхней части, из середины, то обязательно натыкаешься на стену или пробегаешь мимо, или вдруг засыпаешь...

— Они несомненно существуют, глупая вы истеричка! — проскрипел Астролог. — У них есть и верхняя часть, и нижняя, и средняя, и все эти части заполнены болезнями. Я не знаю ничего более восхитительного, никакое другое существо не несет в себе столько объектов наслаждения, как люди. Что вы понимаете в смысле их существования?

— Да бросьте вы усложнять! — сказал звонкий веселый голос. — Они просто красивы. Истинное удовольствие смотреть на них. Не всегда, конечно, но вот представьте себе сад. Пусть это будет сколь угодно прекрасный сад, но без людей он не будет совершенен, не будет закончен. Хоть один вид людей должен обязательно оживлять его. Пусть это будут маленькие люди с голыми конечностями, которые никогда не ходят, а только бегают и бросают камни... или средние люди, рвущие цветы... все равно. Пусть даже лохматые люди, которые бегают на четырех конечностях. Сад без них не сад...

— Кое-кого тоска берет слушать эту бессмыслицу, — заявил Танк. — Вздор! Сады ухудшают видимость, а что касается людей, то кое-кому они мешают беспрерывно, и что-нибудь хорошее о них сказать просто нельзя. Во всяком случае, стоит кому-нибудь дать ха-арошний залп по сооружению, в котором почему-либо находятся люди, как пропадает всякое желание работать, тянет поспать, и любой, кто это сделал, засыпает. Натурально, я говорю это не о себе, но если бы кто-нибудь и сказал это обо мне, разве стали бы вы возражать?

— Что-то вы в последнее время много говорите о людях, — сказал Винни Пух. — С чего бы ни начался разговор, вы обязательно сворачиваете на людей.

— А почему, собственно, и нет? — сейчас же взъелся Астролог. — Вам-то что до этого? Вы оппортунист! А если нам хочется говорить, то мы и будем говорить. Не испрашивая у вас разрешения.

— Пожалуйста, пожалуйста, — грустно сказал Винни Пух. — Просто раньше мы говорили главным образом о живых существах, о наслаждении, о замыслах, а теперь я отмечаю, что люди начинают занимать все большее место в наших разговорах, а значит и в мыслях.

Наступило молчание. Перец, стараясь двигаться бесшумно, переменил позу — лег на бок и поджал колени к животу. Винни Пух не прав. Пусть они говорят о людях, пусть они как можно больше говорят о людях. Они,

по-видимому, очень плохо знают людей, и поэтому очень интересно, что же они скажут. Устами младенцев глаголет истина. Когда люди сами говорят о себе, они либо бахвалятся, либо каются. Надоело...

— Вы все достаточно глупы в своих суждениях, — сказал Астролог. — Вот, например, садовник. Я надеюсь, вы понимаете, что я достаточно объективен, чтобы сопереживать удовольствиям моих товарищей. Вы любите сажать сады и разбивать парки. Прекрасно. Сопереживаю. Но скажите на милость, при чем здесь люди? При чем здесь люди, которые поднимают ножку около деревьев, или те, которые делают это иным способом? Я ощущаю здесь некое нездоровое эстетство. Это как если бы, оперируя гланды, я для полноты удовольствия требовал, чтобы оперируемый был при этом замотан в цветную тряпку...

— Просто вы суховаты по натуре, — заметил Садовник, но Астролог не слушал его.

— Или вот вы, — продолжал он, — вы постоянно размахиваете своими бомбами и ракетами, вы рассчитываете упреждения и балуетесь с целеуловителями. Не все ли вам равно, есть ли в сооружении люди или нет? Казалось бы, наоборот, вы могли бы подумать о своих товарищах, обо мне, например. Сшивать раны! — произнес он мечтательно. — Вы представить себе не можете, что это такое — сшивать хорошую рваную рану на животе...

— Опять о людях, опять о людях, — сокрушенно сказал Винни Пух. — Седьмой вечер мы говорим только о людях. Мне странно говорить об этом, но, по-видимому, между вами и людьми возникла некая, пока неопределенная, но достаточно прочная связь. Природа этой связи для меня совершенно неясна, если не считать вас, доктор, для кого люди являются необходимым источником удовольствия... Вообще все это мне кажется нелепым, и, по-моему, настала пора...

— Отставить! — прорычал Танк. — Пора еще не настала.

— Ч-что? — спросил Винни Пух растерянно.

— Пора еще не настала, говорю я, — повторил Танк. — Некоторые, конечно, неспособны знать, настала пора или нет, некоторые — я не называю их — не знают даже о том, что такая пора должна настать, но кое-кто знает совершенно точно, что неизбежно наступит время, когда по людям, находящимся внутри сооружений, стрелять будет не только можно, но даже и нужно! А кто не стреляет — тот враг! Преступник! Уничтожить! Ясно? Повторите!

— Я догадываюсь о чем-то подобном, — неожиданно мягким голосом произнес Астролог. — Рваные раны... Газовая гангрена... Радиоактивный

ожог третьей степени...

— Все они призраки, — вздохнула кукла Жанна. — Какая тоска! Какая печаль!..

— Раз уж вы никак не можете кончить говорить о людях, — сказал Винни Пух, — то давайте попытаемся выяснить природу этой связи. Попытаемся рассуждать логически...

— Одно из двух, — сказал новый голос, размеренный и скучный. — Если упомянутая связь существует, то доминантными являются либо они, либо мы.

— Глупо, — сказал Астролог. — При чем здесь «либо»? Конечно, мы.

— А что такое «доминантный»? — спросила кукла Жанна несчастным голосом.

— Доминантный в данном контексте означает превалирующий, — пояснил скучный голос. — Что же касается самой постановки вопроса, то она является не глупой, а единственно верной, если мы собираемся рассуждать логически.

Наступила пауза. Все, видимо, ждали продолжения. Наконец Винни Пух не выдержал и спросил: «Ну?»

— Я не уяснил себе, собираетесь ли вы рассуждать логически? — сказал скучный голос.

— Да, да, собираемся, — загомонили машины.

— В таком случае, принимая существование связи как аксиому, либо они для вас, либо вы для них. Если они для вас и мешают вам действовать в соответствии с законами вашей природы, они должны быть устранены, как устраняется любая помеха. Если вы для них, но вас не удовлетворяет такое положение вещей, они также должны быть устранены, как устраняется всякий источник неудовлетворительного положения вещей. Это все, что я могу сказать по существу вашей беседы.

Никто больше не произнес ни слова, в контейнерах послышалась возня, скрип, щелканье, словно огромные игрушки устраивались спать, утомившись разговором, и еще чувствовалась повисшая в воздухе всеобщая неловкость, как в компании людей, которые долго болтали языками, не щадя ради красного словца ни матери, ни отца, и вдруг почувствовали, что зашли в болтовне слишком далеко. «Влажность что-то поднимается», — проскрипел вполголоса Астролог. «Я уже давно заметила, — пропищала кукла Жанна. — Так приятно: новые цифры...» — «И что это у меня питание барахлит? — проворчал Винни Пух. — Садовник, у вас нет запасного аккумулятора на двадцать два вольта?» — «Ничего у меня нет», — отозвался Садовник. Потом послышался треск, будто отдирали фанеру,

механический свист, и Перец вдруг увидел в узкой щели над собой что-то блестящее, движущееся, ему показалось, что кто-то заглядывает к нему в тень между ящиками, он облился холодным потом от ужаса, поднялся, вышел на цыпочках в лунный свет и, сорвавшись, побежал к дороге. Он бежал изо всех сил, и ему все казалось, что десятки странных нелепых глаз провожают его и видят, какой он маленький, жалкий, беззащитный на открытой всем ветрам равнине, и смеются, что тень его гораздо больше его самого и что он от страха забыл надеть ботинки и теперь даже думать боится вернуться за ними.

Он миновал мост через сухой овраг и уже видел перед собой окраинные домики Управления, и уже почувствовал, что задыхается и что босым пальцам нестерпимо больно, и хотел остановиться, когда сквозь шум собственного дыхания услыхал позади дробный топот множества ног. И тогда, вновь потеряв голову от страха, он помчался из последних сил, не чувствуя под собою земли, не чувствуя своего тела, отплевывая липкую тягучую слюну, ничего больше не соображая. Луна мчалась рядом с ним над равниной, а топот приближался и приближался, и он подумал: все, конец, и топот настиг его, и кто-то огромный, белый, жаркий, как распаленная лошадь, появился рядом, заслонив луну, вырвался вперед и стал медленно удаляться, в неистовом ритме выбрасывая длинные голые ноги, и Перец увидел, что это человек в футболке с номером «14» и в белых спортивных трусах с темной полосой, и Перецу стало еще страшнее. Множественный топот за его спиной не прекращался, слышались стоны и болезненное вскрикивание. Бегут, подумал он истерически. Все бегут! Началось! И они бегут, только поздно, поздно, поздно!..

Он смутно видел по сторонам коттеджи главной улицы и чьи-то замершие лица, но он все старался не отстать от длинноногого человека номер 14, потому что не знал, куда надо бежать и где спасение, а может быть, где-нибудь уже раздают оружие, а я не знаю где, и опять окажусь в стороне, но я не хочу, не могу быть сейчас в стороне, потому что они там, в ящиках, может быть, по-своему и правы, но они тоже мои враги...

Он влетел в толпу, и толпа расступилась перед ним, и перед его глазами мелькнул квадратный флажок в шахматную клетку, и раздались одобрительные возгласы, и кто-то знакомый побежал рядом, приговаривая: «Не останавливайтесь, не останавливайтесь, Перец... Можно дышать ртом... Глубже, глубже, но не останавливайтесь...» Тогда он остановился, и его тотчас обступили и накинули на плечи атласный халат. Раскатистый радиоголос произнес: «Вторым пришел Перец из отдела Научной охраны со временем семь минут двенадцать и три десятых секунды... Внимание,

приближается третий!»

Знакомый человек, оказавшийся Проконсулом, говорил: «Вы просто молодец, Перец, я никак не мог ожидать. Когда вас объявили на старте, я хохотал, а теперь вижу, что вас необходимо включить в основную группу. Сейчас идите отдыхайте, а завтра к двенадцати извольте на стадион. Надо будет преодолеть штурмовую полосу. Я вас пущу за слесарные мастерские... Не спорьте, с Кимом я договорюсь». Перец огляделся. Вокруг было много знакомых людей и неизвестных в картонных масках. Неподалеку подбрасывали в воздух и ловили длинноногого мужчину, который прибежал первым. Он взлетал под самую луну, прямой, как бревно, прижимая к груди большой металлический кубок. Поперек улицы висел плакат с надписью «ФИНИШ», а под плакатом стоял, глядя на секундомер, Клавдий-Октавиан Домарощинер в строгом черном пальто и с повязкой «ГЛ. СУДЬЯ» на рукаве. «...И если бы вы бежали в спортивной форме, — бубнил Проконсул, — можно было бы засчитать вам это время официально». Перец отодвинул его локтем и на подгибающихся ногах побрел сквозь толпу.

— ...Чем потеть от страха, сидя дома, — говорили в толпе, — лучше заняться спортом.

— То же самое я только что говорил Домарощинеру. Но дело здесь не в страхе, не заблуждайтесь. Следовало упорядочить беготню поисковых групп. Поскольку все и так бегают, пусть хоть бегают с пользой...

— А чья это затея? Домарощинера! Этот своего не упустит. Талант!..

— Напрасно все-таки бегают в кальсонах. Одно дело — выполнять в кальсонах свой долг, это почетно. Но соревноваться в кальсонах — это, по-моему, типичный организационный просчет. Я буду об этом писать...

Перец выбрался из толпы и, шатаясь, побрел по пустой улице. Его тошнило, болела грудь, и он представлял себе, как те, в ящиках, вытянув металлические шеи, с изумлением глядят на дорогу, на толпу в кальсонах и с завязанными глазами, и тщетно силятся понять, какая существует связь между ними и деятельностью этой толпы, и понять, конечно, не могут, и то, что служит у них источниками терпения, уже готово иссякнуть...

В коттедже Кима было темно, плакал грудной ребенок.

Дверь гостиницы оказалась забита досками, и окна тоже были темными, а внутри кто-то ходил с потайным фонарем, и Перец заметил в окнах второго этажа чьи-то бледные лица, осторожно выглядывающие наружу.

Из дверей библиотеки торчал бесконечно длинный ствол пушки с толстым дульным тормозом, а на противоположной стороне улицы догорал

сарай, и по пожарищу бродили озаряемые багровым пламенем люди в картонных масках и с миноискателями.

Перец направился в парк. Но в темном переулке к нему подошла женщина, взяла его за руку и, не говоря ни слова, куда-то повела. Перец не сопротивлялся, ему было все равно. Она была вся в черном, рука ее была теплая и мягкая, и белое лицо светилось в темноте. Алевтина, подумал Перец. Вот она и дождалась своего часа, подумал он с откровенным бесстыдством. А что тут такого? Ведь ждала же. Непонятно почему, непонятно, на что я ей сдался, но ждала именно меня...

Они вошли в дом, Алевтина зажгла свет и сказала:

— Я тебя здесь давно жду.

— Я знаю, — сказал он.

— А почему же ты шел мимо?

В самом деле, почему? — подумал он. Наверное, потому, что мне было все равно.

— Мне было все равно, — сказал он.

— Ладно, это неважно, — сказала она. — Присядь, я сейчас все приготовлю.

Он присел на край стула, положив руки на колени, и смотрел, как она сматывает с шеи черную шаль и вешает ее на гвоздь — белая, полная, теплая. Потом она ушла в глубь дома, и там загудела газовая колонка и заплескалась вода. Он почувствовал сильную боль в ступнях, задрал ногу и посмотрел на босую подошву. Подушечки пальцев были сбиты в кровь, и кровь смешалась с пылью и засохла черными корочками. Он представил себе, как опускает ноги в горячую воду, и как сначала это очень больно, а потом боль проходит и наступает успокоение. «Буду сегодня спать в ванне, — подумал он. — А она пусть иногда приходит и добавляет горячей воды».

— Иди сюда, — позвала Алевтина.

Он с трудом поднялся — ему показалось, что у него сразу болезненно заскрипели все кости — и, прихрамывая, пошел по рыжему ковру к двери в коридор, а в коридоре — по черно-белому ковру в тупичок, где дверь в ванную была уже распахнута, и деловито гудело синее пламя в газовой колонке, и блестел кафель, и Алевтина, нагнувшись над ванной, высып`ала в воду какие-то порошки. Пока он раздевался, сдирая с себя задубевшее от грязи белье, она взбила воду, и над водой поднялось одеяло пены, выше краев поднялась белоснежная пена, и он погрузился в эту пену, закрыв глаза от наслаждения и боли в ногах, а Алевтина присела на край ванны и, ласково улыбаясь, глядела на него, такая добрая, такая приветливая, и не было сказано ни единого слова о документах...

Она мыла ему голову, а он отплевывался и отфыркивался, и думал, какие у нее сильные умелые руки, совсем как у мамы, и готовит она, наверное, так же вкусно, как мама, а потом она спросила: «Спину тебе потереть?» Он похлопал себя ладонью по уху, чтобы выбить воду и мыло, и сказал: «Ну, конечно, еще бы!..» Она продрала ему спину жесткой мочалкой и включила душ.

— Подожди, — сказал он. — Я хочу еще полежать просто так. Сейчас я эту воду выпущу, наберу чистую и полежу просто так, а ты посиди здесь. Пожалуйста.

Она выключила душ, вышла ненадолго и вернулась с табуреткой.

— Хорошо! — сказал он. — Знаешь, мне никогда еще не было здесь так хорошо.

— Ну вот, — улыбнулась она. — А ты все не хотел.

— Откуда же мне было знать?

— А зачем тебе все обязательно знать заранее? Мог бы просто попробовать. Что ты терял? Ты женат?

— Не знаю, — сказал он. — Теперь, кажется, нет.

— Я так и думала. Ты, наверное, ее очень любил. Какая она была?

— Какая она была... Она ничего не боялась. И она была добрая. Мы с нею вместе бредили про лес.

— Про какой лес?

— Как — про какой? Лес один.

— Наш, что ли?

— Он не наш. Он сам по себе. Впрочем, может быть, он действительно наш. Только трудно себе представить это.

— Я никогда не была в лесу, — сказала Алевтина. — Там, говорят, страшно.

— Непонятное всегда страшно. Хорошо бы научиться не бояться непонятного, тогда все было бы просто.

— А по-моему, просто не надо выдумывать, — сказала она. — Если поменьше выдумывать, тогда на свете не будет ничего непонятного. А ты, Перчик, все время выдумываешь.

— А лес? — напомнил он.

— А что — лес? Я там не была, но попади я туда, не думаю, чтобы очень растерялась. Где лес, там тропинки, где тропинки, там люди, а с людьми всегда договориться можно.

— А если не люди?

— А если не люди, так там делать нечего. Надо держаться людей, с людьми не пропадешь.

— Нет, — сказал Перец. — Это все не так просто. Я вот с людьми прямо-таки пропадаю. Я с людьми ничего не понимаю.

— Господи, да чего ты, например, не понимаешь?

— А ничего не понимаю. Я, между прочим, поэтому и о лесе мечтать начал. Но теперь я вижу, что в лесу не легче.

Она покачала головой.

— Какой же ты еще ребенок, — сказала она. — Как же ты еще никак не можешь понять, что ничего нет на свете, кроме любви, еды и гордости. Конечно, все запутано в клубок, но только за какую ниточку ни потянешь, обязательно придешь или к любви, или к власти, или к еде...

— Нет, — сказал Перец. — Так я не хочу.

— Милый, — сказала она тихонько. — А кто же тебя станет спрашивать, хочешь ты или нет... Разве что я тебя спрошу: и чего ты, Перчик, мечешься, какого рожна тебе надо?

— Мне, кажется, сейчас уже ничего не надо, — сказал Перец. — Удрать бы отсюда подальше и заделаться архивариусом... или реставратором. Вот и все мои желания.

Она снова покачала головой.

— Вряд ли. Что-то у тебя слишком сложно получается. Тебе что-нибудь попроще надо.

Он не стал спорить, и она поднялась.

— Вот тебе полотенце, — сказала она. — Вот здесь я белье положила. Вылезай, будем чай пить. Чаю напьешься с малиновым вареньем и ляжешь спать.

Перец уже выпустил всю воду и, стоя в ванне, вытирался огромным мохнатым полотенцем, когда звякнули стекла и донесся глухой отдаленный удар. И тогда он вспомнил склад техники и глупую истеричную куклу Жанну и крикнул:

— Что это? Где?

— Это машинку взорвали, — отозвалась Алевтина. — Не бойся.

— Где? Где взорвали? На складе?

Некоторое время Алевтина молчала, видимо, смотрела в окно.

— Нет, — сказала она наконец. — Почему на складе? В парке... Вон дым идет... А забегали-то все, а забегали...

Глава десятая ПЕРЕЦ

Леса видно не было. Вместо леса под скалой и до самого горизонта лежали плотные облака. Это было похоже на заснеженное ледяное поле: торосы, снежные барханы, полыньи и трещины, таящие бездонную глубину, и если прыгнуть со скалы вниз, то не земля, не теплые болота, не распростертые ветви остановят тебя, а твердый, искрящийся на утреннем солнце лед, припорошенный сухим снегом, и ты останешься лежать под солнцем на льду, плоский, неподвижный, черный. И еще, если подумать, это было похоже на старое, хорошо выстиранное белое покрывало, наброшенное на верхушки деревьев.

Перец поискал вокруг себя, нашел камешек, покидал его с ладони на ладонь и подумал, какое это все-таки хорошее местечко над обрывом: и камешки здесь есть, и Управление здесь не чувствуется, вокруг дикие колючие кусты, немятая выгоревшая трава, и даже какая-то пташка позволяет себе чирикать, только не надо смотреть направо, где нахально сверкает на солнце свежей краской подвешенная над обрывом роскошная латрина на четыре очка. Правда, до нее довольно далеко, и при желании можно заставить себя вообразить, что это беседка или какой-нибудь научный павильон, но все-таки лучше бы ее не было вовсе.

Может быть, именно из-за этой новенькой, возведенной в прошлую беспокойную ночь латрины лес закрылся облаками. Впрочем, вряд ли. Не станет лес закутываться до горизонта из-за такой малости, он и не такое видел от людей.

Во всяком случае, подумал Перец, я каждое утро смогу приходить сюда. Я буду делать, что мне прикажут, буду считать на испорченном «мерседесе», буду преодолевать штурмовую полосу, буду играть в шахматы с менеджером и попробую даже полюбить кефир — наверное, это не так уж трудно, если большинству людей это удалось. А по вечерам (и на ночь) я буду ходить к Алевтине, есть малиновое варенье и лежать в директорской ванне. В этом даже что-то есть, подумал он: вытираться директорским полотенцем, запахиваться в директорский халат и греть ноги в директорских шерстяных носках. Два раза в месяц я буду ездить на биостанцию получать жалованье и премии, не в лес, а именно на биостанцию, и даже не на биостанцию, а в кассу, не на свидание с лесом и не на войну с лесом, а за жалованьем и за премией. А утром, рано утром, я буду приходить сюда и смотреть на лес — издали, и кидать в него камушки

— тоже издали, и когда-нибудь как-нибудь что-нибудь произойдет...

Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно оглянулся, но это был не директор, а все тот же Домарощинер. В руках у него была толстая папка, и он остановился поодаль, глядя на Переца сверху вниз влажными глазами. Он явно что-то знал, что-то очень важное, и принес сюда к обрыву эту странную тревожную новость, которой не знал никто в мире, кроме него, и ясно было, что все прежнее теперь уже не имеет значения и от каждого потребуется все, на что он способен.

— Здравствуйте, — сказал он и поклонился, прижимая папку к бедру. — Доброе утро. Как отдыхали?

— Доброе утро, — сказал Перец. — Спасибо.

— Влажность сегодня семьдесят шесть процентов, — сообщил Домарощинер. — Температура — семнадцать градусов. Ветра нет. Облачность — ноль баллов. — Он неслышно приблизился, держа руки по швам, и, наклонившись к Перецу корпусом, продолжал: — Дубль-вэ сегодня равно шестнадцати...

— Какое дубль-вэ? — спросил Перец, поднимаясь.

— Число пятен, — быстро сказал Домарощинер. Глаза его забегали. — На солнце, — сказал он. — На с-с-с... — Он замолчал, пристально глядя Перецу в лицо.

— А зачем вы мне это говорите? — спросил Перец с неприязнью.

— Прошу прощения, — быстро сказал Домарощинер. — Больше не повторится. Значит, только влажность, облачность... гм... ветер и... О противостояниях тоже прикажете не докладывать?

— Слушайте, — сказал Перец мрачно. — Что вам от меня надо?

Домарощинер отступил на два шага и склонил голову.

— Прошу прощения, — сказал он. — Возможно, я помешал, но есть несколько бумаг, которые требуют... так сказать, немедленного... вашего личного... — Он протянул Перецу папку, как пустой поднос. — Прикажете доложить?

— Знаете что... — сказал Перец угрожающе.

— Да-да? — сказал Домарощинер. Не выпуская папки, он стал поспешно шарить по карманам, видимо, ища блокнот. Лицо его посинело, как бы от усердия.

Дурак и дурак, подумал Перец, стараясь взять себя в руки. Что с него взять?

— Глупо, — сказал он по возможности сдержанно. — Понимаете? Глупо и нисколько не остроумно.

— Да-да, — сказал Домарощинер. Изогнувшись, придерживая папку

локтем и бедром, он бешено строчил в блокноте. — Одну секунду... Да-да?

— Что вы там пишете? — спросил Перец.

Домарощинер с испугом взглянул на него и прочитал:

— «Пятнадцатого июня... Время: семь сорок пять... Место: над обрывом...» Но это — предварительно... Это черновик...

— Слушайте, Домарощинер, — сказал Перец с раздражением. — Какого черта вам от меня надо? Что вы все время за мной шляетесь? Хватит, надоело! (Домарощинер строчил.) И шутка эта ваша глупая, и нечего около меня шпионить. Постыдились бы, взрослый человек... Да перестаньте вы писать, идиот! Глупо же! Лучше бы зарядку сделали или умылись, вы только поглядите на себя, на что вы похожи! Тьфу!

Дрожащими от ярости пальцами он стал застегивать ремешки на сандалиях.

— Правду, наверное, про вас говорят, — пыхтел он, — что вы везде крутитесь и все разговоры записываете. Я думал, это шутки у вас такие дурацкие... Я верить не хотел, я вообще таких вещей не терплю, но вы уж, видно, совсем обнаглели...

Он выпрямился и увидел, что Домарощинер стоит по стойке смирно, и по щекам его текут слезы.

— Да что с вами сегодня? — испугавшись, спросил Перец.

— Я не могу... — пробормотал Домарощинер, всхлипывая.

— Чего не можете?

— Зарядку... Печень у меня... Справка... И умываться.

— Да господи боже мой, — сказал Перец. — Ну не можете и не надо, я просто так сказал... Ну что вы, в самом деле, за мной ходите? Ну поймите вы меня, ради бога, неприятно же это... Я против вас ничего не имею, но поймите...

— Не повторится! — восторженно вскричал Домарощинер. Слезы на его щеках мгновенно высохли. — Никогда больше!

— А ну вас, — сказал Перец устало и пошел сквозь кусты. Домарощинер ломился следом. Паяц старый, подумал Перец. Юродивый...

— Весьма срочно, — бормотал Домарощинер, тяжело дыша. — Только крайняя необходимость... Ваше личное внимание...

Перец оглянулся.

— Какого черта! — воскликнул он. — Это же мой чемодан, отдайте его сюда, где вы его взяли?

Домарощинер поставил чемодан на землю и открыл было кривой от удушья рот, но Перец его слушать не стал, а схватился за ручку чемодана. Тогда Домарощинер, так ничего и не сказав, лег на чемодан животом.

— Отдайте чемодан! — сказал Перец, леденея от ярости.

— Ни за что! — просипел Домарощинер, ерзая коленками по гравию. Папка мешала ему, он взял ее в зубы и обнял чемодан обеими руками. Перец рванул изо всех сил и оторвал ручку.

— Прекратите это безобразие! — сказал он. — Сейчас же!

Домарощинер помотал головой и что-то промычал. Перец расстегнул воротник и растерянно огляделся. В тени дуба неподалеку стояли почему-то два инженера в картонных масках. Поймав его взгляд, они вытянулись и щелкнули каблуками. Тогда Перец, затравленно озираясь, торопливо пошел по дорожке вон из парка. Всякое уже, кажется, бывало, лихорадочно думал он, но это уж совсем... Это они уже сговорились... Бежать, бежать надо! Только как бежать? Он вышел из парка и повернул было к столовой, но на пути его снова оказался Домарощинер, грязный и страшный. Он стоял с чемоданом на плече, синее лицо его было залито не то слезами, не то водой, не то потом, глаза, затянутые белой пленкой, блуждали, а папку со следами клыков он прижимал к груди.

— Не сюда изволите... — прохрипел он. — Умоляю... в кабинет... невыносимо срочно... притом интересы субординации...

Перец шарахнулся от него и побежал по главной улице. Люди на тротуарах стояли столбом, закинув головы и выкатив глаза. Грузовик, мчавшийся навстречу, затормозил с диким визгом, врезался в газетный киоск, из кузова посыпались люди с лопатами и начали строиться в две шеренги. Какой-то охранник прошел мимо строевым шагом, держа винтовку на караул...

Дважды Перец пытался свернуть в переулок, и каждый раз перед ним оказывался Домарощинер. Домарощинер уже не мог говорить, он только мычал и рычал, умоляюще закатывая глаза. Тогда Перец побежал к зданию Управления. Ким, думал он лихорадочно, Ким не позволит... Неужели и Ким?.. Запрусь в уборной... Пусть попробуют... Ногами буду бить... Теперь все равно...

Он ворвался в вестибюль, и сейчас же с медным дребезгом сводный оркестр грянул встречный марш. Мелькнули напряженные лица, вытаращенные глаза, выгнутые груди. Домарощинер настиг его и погнал по парадной лестнице, по малиновым коврам, по которым никогда никому не разрешалось ходить, через какие-то незнакомые двусветные залы, мимо охранников в парадной форме при орденах, по вощеному скользкому паркету, наверх, на четвертый этаж, и дальше, по портретной галерее, и снова наверх, на пятый этаж, мимо накрашенных девиц, замерших, как манекены, в какой-то роскошный, озаренный лампами дневного света

тупик, к гигантской кожаной двери с табличкой «ДИРЕКТОР». Дальше бежать было некуда.

Домарощинер догнал его, проскользнул у него под локтем, страшно, как эпилептик, захрипел и распахнул перед ним кожаную дверь. Перец вошел, погрузился ступнями в чудовищную тигровую шкуру, погрузился всем своим существом в строгий начальственный сумрак приспущенных портьер, в благородный аромат дорогого табака, в ватную тишину, в размеренность и спокойствие чужого существования.

— Здравствуйте, — сказал он в пространство. Но за гигантским столом никого не было. И никто не сидел в огромных креслах. И никто не встретил его взглядом, кроме мученика Селивана на исполинской картине, занимавшей всю боковую стену.

Позади Домарощинер со стуком уронил чемодан. Перец вздрогнул и обернулся. Домарощинер стоял, шатаясь, и протягивал ему папку, как пустой поднос. Глаза у него были мертвые, стеклянные. Сейчас умрет человек, подумал Перец. Но Домарощинер не умер.

— Необычайно срочно... — просипел он, задыхаясь. — Без визы директора невозможно... личной... никогда бы не осмелился...

— Какого директора? — прошептал Перец. Страшная догадка начала смутно формироваться в его мозгу.

— Вас... — просипел Домарощинер. — Без вашей визы... отнюдь...

Перец оперся о стол и, придерживаясь за его полированную поверхность, побрел в обход к креслу, которое показалось ему самым близким. Он упал в прохладные кожаные объятия и обнаружил, что слева стоят ряды разноцветных телефонов, а справа тома в тисненных золотом переплетах, а прямо — монументальная чернильница, изображающая Тангейзера и Венеру, а над нею — белые умоляющие глаза Домарощинера и протянутая папка. Он стиснул подлокотники и подумал: «Ах, так? Дряни вы, сволочи, холопы... Так, да? Ну-ну, подонки, холуи, картонные рыла... Ну хорошо, пусть будет так...»

— Не трясите папкой над столом, — сказал он сурово. — Дайте ее сюда.

В кабинете возникло движение, мелькнули тени, взлетел легкий вихрь, и Домарощинер оказался рядом, за правым плечом, и папка легла на стол и раскрылась, словно бы сама собою, выглянули листы отличной бумаги, и он прочитал слово, напечатанное крупными буквами: «ПРОЕКТ».

— Благодарю вас, — сказал он сурово. — Вы можете идти.

И снова взлетел вихрь, возник и исчез легкий запах пота, и Домарощинер был уже около дверей и пятился, наклонив корпус и держа

руки по швам, — страшный, жалкий и готовый на все.

— Одну минутку, — сказал Перец. Домарощинер замер. — Вы можете убить человека? — спросил Перец.

Домарощинер не колебался. Он выхватил малый блокнот и произнес:

— Слушаю вас?

— А совершить самоубийство? — спросил Перец.

— Что? — сказал Домарощинер.

— Идите, — сказал Перец. — Я вас потом вызову.

Домарощинера не стало. Перец откашлялся и потер щеки.

— Предположим, — сказал он вслух. — А что дальше?

Он увидел на столе табель-календарь, перевернул страничку и прочитал то, что было записано на сегодняшний день. Почерк бывшего директора разочаровал его. Директор писал крупно и разборчиво, как учитель чистописания. «Завгруппами 9.30. Осмотр ноги 10.30. Але пудру. Кефир-зефир попроб. Машинизация. Катушка: кто украл? Четыре бульдозера!!!»

К черту бульдозеры, подумал Перец, все: никаких бульдозеров, никаких экскаваторов, никаких пилящих комбайнов искоренения... Хорошо бы заодно кастрировать Тузика — нельзя, жаль... И еще этот склад машин. Взорву, решил он. Он представил себе Управление — вид сверху — и понял, что очень многое нужно взрывать. Слишком многое... Взрывать и дурак умеет, подумал он.

Он выдвинул средний ящик стола и увидел там кипы бумаг, и тупые карандаши, и два филателистических зубцемера, и поверх всего этого — витой золотой генеральский погон. Один погон. Он поискал второй, шаря руками под бумагами, укололся о кнопку и нашел связку ключей от сейфа. Сам сейф стоял в дальнем углу, очень странный сейф, декорированный под сервант. Перец поднялся и пошел через кабинет к сейфу, оглядываясь по сторонам и замечая очень много странного, чего он не заметил раньше.

Под окном стояла хоккейная клюшка, рядом с нею костыль и протез ноги в ботинке с ржавым коньком. В глубине кабинета оказалась еще одна дверь, поперек нее была натянута веревка, а на веревке висели черные плавки и несколько штук носков, в том числе и дырявые. На двери была потемневшая металлическая табличка с вырезанной надписью «СКОТ». На подоконнике стоял полускрытый портьерой небольшой аквариум, в чистой прозрачной воде среди разноцветных водорослей мерно шевелил ветвистыми жабрами жирный черный аксолотль. А из-за картины, изображающей Селивана, торчал роскошный капельмейстерский бунчук с конскими хвостами...

Перец долго возился возле сейфа, подбирая ключи. Наконец он распахнул тяжелую броневую дверцу. Изнутри дверца оказалась оклеена неприличными картинками из фотожурналов для мужчин, а в сейфе почти ничего не было. Перец нашел там пенсне с расколотым левым стеклом, мятый картуз с непонятной кокардой и фотографию незнакомого семейства (оскалившийся отец, мать — губки бантиком и двое мальчиков в кадетской форме). Был там парабеллум, хорошо вычищенный и ухоженный, с единственным патроном в стволе, еще один витой генеральский погон и железный крест с дубовыми листьями. В сейфе еще была кипа папок, но все они были пустые, и только в самой нижней оказался черновой проект приказа о наложении взыскания на шофера Тузика за систематическое непосещение музея Истории Управления. «Так его, так его, негодяя, — пробормотал Перец. — Подумать только, музей не посещает... Этому делу надо дать ход».

Все время этот Тузик, что за елки-палки? Свет на нем клином сошелся, что ли? То есть в известном смысле сошелся... Кефироман, бабник отвратительный, резинщик... Впрочем, все шоферы резинщики... Нет, это надо прекратить: кефир, шахматишки в рабочее время. Между прочим, что это считает Ким на испорченном «мерседесе»? Или это так и надо — какие-нибудь стохастические процессы... Слушай, Перец, ты что-то очень мало знаешь. Ведь все работают. Никто почти не отлынивает. По ночам работают. Все заняты, ни у кого нет времени. Приказы исполняются, это я знаю, это я сам видел. Вроде все в порядке: охранники охраняют, водители водят, инженеры строят, научники пишут статьи, кассиры выдают деньги...

Слушай, Перец, подумал он, а может быть, вся эта карусель для того и существует, чтобы все работали? В самом деле, хороший механик чинит машину за два часа. А потом? А остальные двадцать два часа? А если к тому же на машинах работают опытные рабочие, которые машин не портят? Само же собой напрашивается: хорошего механика перевести в повара, а повара в механики. Тут не то что двадцать два часа — двадцать два года заполнить можно. Нет, в этом есть какая-то логика. Все работают, выполняют свой человеческий долг, не то что обезьяны какие-нибудь... и дополнительные специальности приобретают... В общем-то нет в этом никакой логики, бардак это сплошной, а не логика... Бог ты мой, я тут стою столбом, а на лес гадят, лес искореняют, лес превращают в парк. Надо скорее что-то делать, теперь я отвечаю за каждый гектар, за каждого щенка, за каждую русалку, я теперь за все отвечаю...

Он засуетился, кое-как закрыл сейф, бросился к столу, отодвинул папку и вытащил чистый лист бумаги из ящика... Но здесь же тысячи

людей, подумал он. Установившиеся традиции, установившиеся отношения, они же будут смеяться надо мной... Он вспомнил потного и жалкого Домарощинера и самого себя в приемной у директора. Нет, смеяться не будут. Плакать будут, жаловаться будут... этому... мосье Ахти... Резать будут друг друга. Но не смеяться. Вот это самое ужасное, подумал он. Не умеют они смеяться, не знают они, что это такое и зачем. Люди, подумал он. Люди, и людишки, и человечишки. Демократия нужна, свобода мнений, свобода ругани, соберу всех и скажу: ругайте! Ругайте и смейтесь... Да, они будут ругать. Будут ругать долго, с жаром и упоением, поскольку так приказано, будут ругать за плохое снабжение кефиром, за плохую еду в столовой, дворника будут ругать с особенной страстью: улицы-де который год не метены, шофера Тузика будут ругать за систематическое непосещение бани, а в перерывах будут бегать в латрину над обрывом... Нет, так я запутаюсь, подумал он. Нужен какой-то порядок. Что у меня теперь есть?

Он стал быстро и неразборчиво писать на листке: «Группа Искоренения леса, группа Изучения леса, группа Вооруженной охраны леса, группа Помощи местному населению леса...» Что там еще? Да! «Группа Инженерного проникновения в л.». И еще... «Группа Научной охраны л.». Все, кажется. Так. А чем они занимаются? Странно, мне никогда не приходило в голову, чем же они здесь занимаются. Более того, мне как-то не приходило в голову узнать, чем занимается Управление вообще. Как это можно совмещать искоренение леса с охраной леса, да при этом еще помогать местному населению... Ну вот что, подумал он. Во-первых, никаких искоренений. Искоренение искоренить. Инженерное проникновение, наверное, тоже. Или пусть работают наверху, внизу им во всяком случае делать нечего. Пусть свои машины разбирают, пусть хорошую дорогу сделают, пусть болото это вонючее засыплют... Тогда что останется? Вооруженная охрана останется. С волкодавами. Ну, вообще-то... Вообще-то лес охранять следует. Только вот... Он припомнил лица известных ему охранников и в сомнении пожевал губами. Н-да... Ну, ладно, ну, предположим. А Управление-то зачем? Я зачем? Распустить Управление, что ли? Ему стало весело и жутко. Вот это да, подумал он. Могу! Распущу — и все, подумал он. Кто мне судья? Я — директор, глава. Приказ — и все!..

Тут он вдруг услышал тяжелые шаги. Где-то совсем рядом. Зазвенели стекляшки на люстре, на веревке колыхнулись сохнущие носки. Перец поднялся и на цыпочках подошел к маленькой дверце. Там, за дверцей, кто-то ходил, неровно, словно спотыкаясь, но больше ничего не было слышно,

а в двери не было даже замочной скважины, чтобы посмотреть. Перец осторожно подергал ручку, но дверь не поддалась. «Кто там?» — спросил он громко, приблизив губы к щели. Никто не отозвался, но шаги не стихли — словно пьяный там бродил, заплетаясь ногами. Перец снова подергал ручку, пожал плечами и вернулся на свое место.

В общем, власть имеет свои преимущества, подумал он. Управление я, конечно, распускать не буду, глупо, зачем распускать готовую, хорошо сколоченную организацию? Ее нужно просто повернуть, направить на настоящее дело. Прекратить вторжение в лес, усилить его осторожное изучение, попытаться найти контакты, учиться у него... Ведь они даже не понимают, что такое лес. Подумаешь, лес! Дрова и дрова... Научить людей любить лес, уважать его, ценить, жить его жизнью... Нет, тут много работы. Настоящей, важной. И люди найдутся — Ким, Стоян... Рита... Господи, а менеджер чем плох?.. Алевтина... В конце концов, и этот Ахти тоже, наверное, фигура, умница, ерундой только занят... Мы им покажем, подумал он весело. Мы им еще покажем, черт побери! Ладно. А в каком состоянии у нас текущие дела?

Он придвинул к себе папку. На первом листе было написано следующее:

«ПРОЕКТ ДИРЕКТИВЫ
О ПРИВНЕСЕНИИ ПОРЯДКА

§ 1. На протяжении последнего года Управление по лесу существенно улучшило свою работу и достигло высоких показателей во всех областях своей деятельности. Освоены, изучены, искоренены и взяты под вооруженную и научную охрану многие сотни гектаров лесной территории. Непрерывно растет мастерство специалистов и рядовых работников. Совершенствуется организация, сокращаются непроизводительные расходы, устраняются бюрократические и другие внепроизводственные препоны.

§ 2. Однако наряду с достигнутыми достижениями вредоносное действие Второго закона термодинамики, а также закона больших чисел все еще продолжает иметь место, несколько снижая общие высокие показатели. Нашей ближайшей задачей становится теперь упразднение случайностей, производящих хаос, нарушающих единый ритм и вызывающих

снижение темпов.

§ 3. В связи с вышеизложенным предлагается в дальнейшем рассматривать проявления всякого рода случайностей незакономерными и противоречащими идеалу организованности, а прикосновенность к случайностям (пробабилитность) — как преступное деяние, либо, если прикосновенность к случайности (пробабилитность) не влечет за собой тяжких последствий, как серьезнейшее нарушение служебной и производственной дисциплины.

§ 4. Виновность лица, прикосновенного к случайности (пробабилитика), определяется и измеряется статьями Уголовного Уложения № 62, 64, 65 (исключ. пп. С и О), 113 и 192 п. К или §§ Административного Кодекса 12, 15 и 97.

Примечание. Смертельный исход прикосновенности к случайности (пробабилитности) не является как таковой оправдывающим либо смягчающим обстоятельством. Осуждение, либо взыскание, в этом случае производится посмертно.

§ 5. Настоящая Директива дана .... месяца .... дня .... года. Обратной силы не имеет.

Подпись: Директор Управления (........)».

Перец облизал пересохшие губы и перевернул страницу. На следующем листе был приказ об отдаче под суд сотрудника группы Научной охраны X. Тойти в соответствии с Директивой «О привнесении порядка» «за злостное потакание закону больших чисел, выразившееся в поскользнутии на льду с сопутствующим повреждением голеностопного сустава, каковая преступная прикосновенность к случайности (пробабилитность) имела место 11 марта с. г.». Сотрудника X. Тойти предлагалось впредь во всех документах именовать пробабилитиком X. Тойти...

Перец щелкнул зубами и посмотрел следующий листок. Это тоже был приказ: о наложении административного взыскания — штрафа в размере четырехмесячного жалованья — посмертно — на собаковода вооруженной охраны Г. де Монморанси, «беспечно позволившего себе быть пораженным атмосферным разрядом (молнией)». Дальше шли заявления об отпусках, просьбы об единовременном пособии по случаю утери кормильца и объяснительная записка некоего Ж. Люмбаго относительно пропажи какой-

то катушки...

— Какого черта! — сказал Перец вслух и снова прочитал проект Директивы. Он вспотел. Проект был отпечатан на меловой бумаге с золотым обрезом. Посоветоваться бы с кем-нибудь, тоскливо подумал Перец, этак я совсем пропаду...

Тут дверь распахнулась, и в кабинет, толкая перед собой столик на колесиках, вошла Алевтина, одетая очень изысканно и модно, со строгим и серьезным выражением на умело подкрашенном и припудренном лице.

— Ваш завтрак, — сказала она деликатным голосом.

— Закройте двери и идите сюда, — сказал Перец.

Она закрыла дверь, толкнула столик ногой и, поправляя волосы, подошла к Перецу.

— Ну что, пусик? — сказала она, улыбаясь. — Доволен ты теперь?

— Слушай, — сказал Перец. — Ерунда какая-то. Ты почитай.

Она села на подлокотник, левой обнаженной рукой обняла Переца за шею, а правой обнаженной рукой взяла Директиву.

— Ну, знаю, — сказала она. — Все правильно. В чем дело? Может быть, тебе Уголовное Уложение принести? Прежний директор тоже ни одной статьи не помнил.

— Да нет, подожди, — нетерпеливо сказал Перец. — При чем здесь Уложение... При чем здесь Уложение! Ты читала?

— Не только читала, но и печатала. И стиль правила. Домарощинер ведь писать не умеет, он и читать-то только здесь научился... Кстати, пусик, — сказала она озабоченно, — Домарощинер там ждет, в приемной, ты его во время завтрака прими, он это любит. Он тебе бутерброды делать будет...

— Да плевал я на Домарощинера! — сказал Перец. — Ты мне объясни, что я...

— На Домарощинера плевать нельзя, — возразила Алевтина. — Ты у меня еще пусик, ты у меня еще ничего не понимаешь... — Она надавила Перецу на нос, как на кнопку. — У Домарощинера есть два блокнотика. В один блокнотик он записывает, кто что сказал — для директора, а в другой блокнотик он записывает, что сказал директор. Ты, пусик, это имей в виду и никогда не забывай.

— Подожди, — сказал Перец. — Я хочу с тобой посоветоваться. Вот эту Директиву... этот бред я подписывать не буду.

— Как это — не будешь?

— А вот так. У меня рука не подымется — такое подписать.

Лицо Алевтины стало строгим.

— Пусик, — сказала она. — Ты не упирайся. Ты подпиши. Это же

очень срочно. Я тебе потом все объясню, а сейчас...

— Да что тут объяснять? — сказал Перец.

— Ну, раз ты не понимаешь, значит, тебе нужно объяснить. Вот я тебе потом и объясню.

— Нет, ты мне сейчас объясни, — сказал Перец. — Если можешь, — добавил он. — В чем я сомневаюсь.

— Ух ты, мой маленький, — сказала Алевтина и поцеловала его в висок. Она озабоченно поглядела на часы. — Ну, хорошо, ну, ладно.

Она пересела на стол, подложила под себя руки и начала, глядя прищуренными глазами поверх головы Переца:

— Существует административная работа, на которой стоит все. Работа эта возникла не сегодня и не вчера, вектор уходит своим основанием далеко в глубь времен. До сегодняшнего дня он овеществлен в существующих приказах и директивах. Но он уходит и глубоко в будущее, и там он пока еще только ждет своего овеществления. Это подобно прокладке шоссе по трассированному участку. Там, где кончается асфальт, и спиной к готовому участку стоит нивелировщик и смотрит в теодолит. Этот нивелировщик — ты. Воображаемая линия, идущая вдоль оптической оси теодолита, есть неовеществленный административный вектор, который из всех людей видишь только ты и который именно тебе надлежит овеществлять. Понятно?

— Нет, — сказал Перец твердо.

— Это неважно, слушай дальше... Как шоссе не может свернуть произвольно влево или вправо, а должно следовать оптической оси теодолита, так и каждая очередная директива должна служить континуальным продолжением всех предыдущих... Пусик, миленький, ты не вникай, я этого сама ничего не понимаю, но это даже хорошо, потому что вникание порождает сомнение, сомнение порождает топтание на месте, а топтание на месте — это гибель всей административной деятельности, а следовательно, и твоя, и моя, и вообще... Это же азбука. Ни единого дня без директивы, и все будет в порядке. Вот эта Директива о привнесении порядка — она же не на пустом месте, она же увязана с предыдущей Директивой о неубывании, а та увязана с Приказом о небеременности, а этот Приказ логически вытекает из Предписания о чрезмерной возмутимости, а оно...

— Какого черта! — сказал Перец. — Покажи мне эти предписания и приказы... Нет, лучше покажи мне самый первый приказ, тот, который в глубине времен.

— Да зачем это тебе?

— То есть как — зачем? Ты говоришь, что они логично вытекают. Не верю я этому!

— Пусенька, — сказала Алевтина. — Все это ты посмотришь. Все это я тебе покажу. Все это ты прочитаешь своими близоруконькими глазками. Но ты пойми: позавчера не было директивы, вчера не было директивы — если не считать пустякового приказика о поимке машинки, да и то устного... Как ты думаешь, сколько времени может стоять Управление без директив? С утра уже сегодня неразбериха: какие-то люди ходят везде и меняют перегоревшие лампочки, ты представляешь? Нет, пусик, ты как хочешь, а Директиву подписать надо. Я ведь добра тебе желаю. Ты ее быстренько подпиши, проведи совещание с завгруппами, скажи им что-нибудь бодрое, а потом я тебе принесу все, что ты захочешь. Будешь читать, изучать, вникать... Хотя лучше, конечно, не вникай.

Перец взялся за щеки и потряс головой. Алевтина живо соскочила со стола, обмакнула перо в черепную коробку Венеры и протянула вставочку Перецу.

— Ну, пиши, миленький, быстренько...

Перец взял перо.

— Но отменить-то ее можно будет потом? — спросил он жалобно.

— Можно, пусик, можно, — сказала Алевтина, и Перец понял, что она врет. Он отшвырнул перо.

— Нет, — сказал он. — Нет и нет. Не стану я этого подписывать. На кой черт я буду подписывать этот бред, если существуют, наверное, десятки разумных и толковых приказов, распоряжений, директив, совершенно необходимых, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимых в этом бедламе...

— Например? — живо сказала Алевтина.

— Да господи... Да все, что угодно... Елки-палки... Ну хоть...

Алевтина достала блокнотик.

— Ну хотя бы... Ну хотя бы приказ, — с необычайной язвительностью сказал Перец, — сотрудникам группы Искоренения самоискорениться в кратчайшие сроки. Пожалуйста! Пусть все побросаются с обрыва... или постреляются... Сегодня же! Ответственный — Домарощинер... Ей-богу, от этого было бы больше пользы...

— Одну минуту, — сказала Алевтина. — Значит, покончить самоубийством при помощи огнестрельного оружия сегодня до двадцати четырех ноль-ноль. Ответственный — Домарощинер... — Она закрыла блокнот и задумалась. Перец смотрел на нее с изумлением. — А что! — сказала она. — Правильно! Это даже прогрессивнее... Миленький, ты пойми: не нравится тебе директива — не надо. Но дай другую. Вот ты дал,

и у меня больше нет к тебе никаких претензий...

Она соскочила на пол и засуетилась, расставляя перед Перецом тарелки.

— Вот тут блинчики, вот тут варенье... Кофе в термосе, горячий, не обожгись... Ты кушай, а я быстренько набросаю проект и через полчаса принесу тебе.

— Подожди, — сказал ошеломленный Перец. — Подожди...

— Ты у меня умненький, — сказала Алевтина нежно. — Ты у меня молодец. Только с Домарощинером будь поласковее.

— Подожди, — сказал Перец. — Ты что, смеешься?

Алевтина побежала к дверям, Перец устремился за нею с криком: «Не сходи с ума!» — но схватить не успел. Алевтина скрылась, и на ее месте, как призрак, возник из пустоты Домарощинер. Уже прилизанный, уже почищенный, уже нормального цвета и по-прежнему готовый на все.

— Это гениально, — тихо сказал он, тесня Переца к столу, — это блестяще. Это наверняка войдет в историю...

Перец попятился от него, как от гигантской сколопендры, наткнулся на стол и повалил Тангейзера на Венеру.

Глава одиннадцатая КАНДИД

Он проснулся, открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку опять шли муравьи. Справа налево нагруженные, слева направо порожняком. Месяц назад было наоборот, месяц назад была Нава. А больше ничего не изменилось. Послезавтра мы уходим, подумал он.

За столом сидел старец и смотрел на него, ковыряя в ухе. Старец окончательно отощал, глаза у него ввалились, зубов во рту совсем не осталось. Наверное, он скоро умрет, старец этот.

— Что же это ты, Молчун, — плаксиво сказал старец, — совсем у тебя нечего есть. Как у тебя Наву отняли, так у тебя и еды в доме больше не бывает. Ни утром не бывает, ни в обед, говорил же я тебе: не ходи, нельзя. Зачем ушел? Колченога наслушался и ушел, а разве Колченог понимает, что можно, а что нельзя? И Колченог этого не понимает, и отец Колченога такой же был непонятливый, и дед его такой же, и весь их Колченогов род такой был, вот они все и померли, и Колченог обязательно помрет, никуда не денется... А может быть, у тебя, Молчун, есть какая-нибудь еда, может быть, ты ее спрятал, а? Ведь многие прячут... Так если ты спрятал, то доставай скорее, я есть хочу, мне без еды нельзя, я всю жизнь ем, привык уже... А то Навы теперь у тебя нет, Хвоста тоже деревом убило... Вот у кого еды всегда было много — у Хвоста! Я у него горшка по три сразу съедал, хотя она всегда у него была недоброженная, скверная, потому его, наверное, деревом и убило... Говорил я ему: нельзя такую еду есть...

Кандид встал и поискал по дому в потайных местечках, устроенных Навой. Еды действительно не было. Тогда он вышел на улицу, повернул налево и направился к площади, к дому Кулака. Старец плелся следом, хныкал и жаловался. На поле нестройно и скучно покрикивали: «Эй, сей веселей, вправо сей, влево сей...» В лесу откликалось эхо. Каждое утро Кандиду теперь казалось, что лес придвинулся ближе. На самом деле этого не было, а если и было, то вряд ли человеческий глаз мог бы это заметить. И мертвяков в лесу, наверное, не стало больше, чем прежде, а казалось, что больше. Наверное, потому, что теперь Кандид точно знал, кто они такие, и потому, что он их ненавидел. Когда из леса появлялся мертвяк, сразу раздавались крики: «Молчун! Молчун!». И он шел туда и уничтожал мертвяка скальпелем, быстро, надежно, с жестоким наслаждением. Вся деревня сбегалась смотреть на это зрелище и неизменно ахала в один голос

и закрывалась руками, когда вдоль окутанного паром туловища распахивался страшный белый шрам. Ребятишки больше не дразнили Молчуна, они теперь боялись его до смерти, разбегались и прятались при его появлении. О скальпеле в домах шептались по вечерам, а из шкур мертвяков по указанию хитроумного старосты стали делать корыта. Хорошие получались корыта, большие и прочные...

Посреди площади стоял торчком по пояс в траве Слухач, окутанный лиловатым облачком, с поднятыми ладонями, со стеклянными глазами и пеной на губах. Вокруг него топтались любопытные детишки, смотрели и слушали, раскрывши рты, — это зрелище им никогда не надоедало. Кандид тоже остановился послушать, и ребятишек как ветром сдуло.

— В битву вступают новые... — металлическим голосом бредил Слухач. — Успешное передвижение... Обширные места покоя... Новые отряды подруг... Спокойствие и слияние...

Кандид пошел дальше. Сегодня с утра голова у него была довольно ясная, и он чувствовал, что способен думать, и стал думать, кто же он такой, этот Слухач, и зачем он. Теперь имело смысл думать об этом, потому что теперь Кандид уже кое-что знал, а иногда ему даже казалось, что он знает очень много, если не все. В каждой деревне есть свой слухач, и у нас есть слухач, и на Выселках, а старец хвастался, какой особенный был слухач в той деревне, которая нынче грибная. Наверное, были времена, когда многие люди знали, что такое Одержание, и понимали, о каких успехах идет речь; и, наверное, тогда ОНИ были в этом заинтересованы, чтобы многие это знали, или воображали, что заинтересованы, а потом выяснилось, что можно прекрасно обойтись без многих и многих, что все эти деревни — ошибка, а мужики не больше чем козлы... Это произошло, когда научились управлять лиловым туманом, и из лиловых туч вышли первые мертвяки... и первые деревни очутились на дне первых треугольных озер... и возникли первые отряды подруг... А слухачи остались, и осталась традиция, которую не уничтожали просто потому, что ОНИ об этой традиции забыли. Традиция бессмысленная, такая же бессмысленная, как весь этот лес, как все эти искусственные чудовища и города, из которых идет разрушение, и эти жуткие бабы-амазонки, жрицы партеногенеза, жестокие и самодовольные повелительницы вирусов, повелительницы леса, разбухшие от парной воды... и эта гигантская возня в джунглях, все эти Великие Разрыхления и Заболачивания, чудовищная в своей абсурдности и грандиозности затея...

Мысли текли свободно и даже как-то машинально, за этот месяц они успели проложить себе привычные и постоянные русла, и Кандид наперед

знал, какие эмоции возникнут у него в следующую секунду. У нас в деревне это называется «думать». Вот сейчас возникнут сомнения... Я же ничего не видел. Я встретил трех лесных колдуний. Но мало ли кого можно встретить в лесу. Я видел гибель лукавой деревни, холм, похожий на фабрику живых существ, адскую расправу с рукоедом... Гибель, фабрика, расправа... Это же мои слова, мои понятия. Даже для Навы гибель деревни — это не гибель, а Одержание... Но я-то не знаю, что такое Одержание. Мне это страшно, мне это отвратительно, и все это просто потому, что мне это чуждо, и, может быть, надо говорить не «жестокое и бессмысленное натравливание леса на людей», а «планомерное, прекрасно организованное, четко продуманное наступление нового на старое», «своевременно созревшего, налившегося силой нового на загнившее бесперспективное старое»... Не извращение, а революция. Закономерность. Закономерность, на которую я смотрю извне пристрастными глазами чужака, не понимающего ничего и потому, именно потому воображающего, что он понимает все и имеет право судить. Словно маленький мальчик, который негодует на гадкого петуха, так жестоко топчущего ногами бедную курочку...

Он оглянулся на Слухача. Слухач с обычным своим обалделым видом сидел в траве и вертел головой, вспоминая, где он и что он. Живой радиоприемник. Значит, есть и живые радиопередатчики... и живые механизмы, и живые машины, да, например, мертвяки... Ну почему, почему все это, так великолепно придуманное, так великолепно организованное, не вызывает у меня ни тени сочувствия — только омерзение и ненависть...

Кулак неслышно подошел к нему сзади и треснул его ладонью между лопаток.

— Встал тут и глазеет, шерсть на носу, — сказал он. — Один вот тоже все глазел, открутили ему руки-ноги, так больше не глазеет. Когда уходим-то, Молчун? Долго ты мне будешь голову морочить? У меня ведь старуха в другой дом ушла, шерсть на носу, и сам я третью ночь у старосты ночую, а нынче вот думаю к Хвостовой вдове пойти ночевать. Еда вся до того перепрела, что и старый пень этот уже жрать ее не желает, кривится, говорит: перепрело у тебя все, не то что жрать — нюхать невозможно, шерсть на носу... Только к Чертовым Скалам я не пойду, Молчун, а пойду я с тобой в Город, наберем мы там с тобой баб. Если воры встретятся, половину отдадим, не жалко, шерсть на носу, а другую половину в деревню приведем, пусть здесь живут, нечего им там плавать зря, а то одна тоже вот плавала, дали ей хорошенько по соплям — больше не плавает и воды видеть не может, шерсть на носу... Слушай, Молчун, а может, ты наврал про

Город и про баб этих? Или, может, привиделось тебе — отняли у тебя воры Наву, тебе с горя и привиделось. Колченог вот не верит: считает, что тебе привиделось. Какой же это Город в озере, шерсть на носу, — все говорили, что на холме, а не в озере. Да разве в озере можно жить, шерсть на носу? Мы же там все потонем, там же вода, шерсть на носу, мало ли что там бабы, а я в воду даже за бабами не полезу, я плавать не умею, да и зачем? Но я могу в крайнем случае на берегу стоять, пока ты их из воды таскать будешь... Ты, значит, в воду полезешь, шерсть на носу, а я на берегу останусь, и мы с тобой этак быстро управимся...

— Ты дубину себе сломал? — спросил Кандид.

— А где я тебе в лесу дубину возьму, шерсть на носу? — возразил Кулак. — Это на болото надо идти — за дубиной. А у меня времени нету, я еду стерегу, чтобы старик ее не сожрал, да и зачем мне дубина, когда я драться ни с кем не собираюсь... Один вот тоже дрался, шерсть на носу...

— Ладно, — сказал Кандид, — я тебе сам сломаю дубину. Послезавтра выходим, не забудь.

Он повернулся и пошел обратно. Кулак не изменился. И никто из них не изменился. Как он ни старался втолковать им, они ничего не поняли и, кажется, ничему не поверили.

...Мертвяки бабам служить не могут, это ты, Молчун, загнул, брат, втроем не разогнуть. Бабы мертвяков до полусмерти боятся, ты на мою посмотри, а потом рассказывай. А что деревня потонула, так это же Одержание произошло, это ж всякий и без тебя знает, и при чем тут твои бабы — непонятно... И вообще, Молчун, в Городе ты не был, чего уж там, признайся, мы не обидимся, уж больно занятно ты рассказываешь. А только в Городе ты не был, это мы все знаем, потому что кто в Городе побывает, обратно уже не возвращается... И Наву твою никакие там не бабы, а просто воры отобрали, наши воры, местные. Никогда бы тебе, Молчун, от воров не отбиться. Хотя мужчина ты, конечно, смелый, и как ты с мертвяками обходишься — это просто смотреть страшно...

Идея надвигающейся гибели просто не умещалась в их головах. Гибель надвигалась слишком медленно и начала надвигаться слишком давно. Наверное, дело было в том, что гибель — понятие, связанное с мгновенностью, сиюминутностью, с какой-то катастрофой. А они не умели и не хотели обобщать, не умели и не хотели думать о мире вне их деревни. Была деревня, и был лес. Лес был сильнее, но лес ведь ВСЕГДА был и всегда будет сильнее. При чем здесь гибель? Какая еще гибель? Это просто жизнь. Вот когда кого-нибудь деревом придавливает — это, конечно, гибель, но тут просто голову нужно иметь на плечах и соображать, что к

чему... Когда-нибудь они спохватятся. Когда не останется больше женщин; когда болота подойдут вплотную к домам; когда посреди улиц ударят подземные источники и над крышами повиснет лиловый туман... А может быть, и тогда они не спохватятся — просто скажут: «Нельзя здесь больше жить — Одержание». И уйдут строить новую деревню...

Колченог сидел у порога, поливал бродилом выводок грибов, поднявшихся за ночь, и готовился завтракать.

— Садись, — сказал он Кандиду приветливо. — Есть будешь? Хорошие грибы.

— Поем, — сказал Кандид и сел рядом.

— Поешь, поешь, — сказал Колченог. — Навы теперь у тебя нету, когда ты еще без Навы приспособишься... Я слыхал, ты опять уходишь. Кто же это мне сказал? А, ну да, ты же мне и сказал: ухожу, мол. Что это тебе дома не сидится? Сидел бы ты дома, хорошо бы тебе было... В Тростники идешь или в Муравейники? В Тростники бы я тоже с тобой сходил. Свернули бы мы сейчас с тобой по улице направо, миновали бы мы с тобой редколесье, в редколесье бы грибов набрали заодно, захватили бы с собой бродила, там же и поели бы — хорошие в редколесье грибы, в деревне такие не растут, да и в других местах тоже не растут, а тут ешь-ешь, и все мало... А как поели бы, вышли бы мы с тобой из редколесья, да мимо Хлебного болота, там бы опять поели — хорошие злаки там родятся, сладкие, просто удивляешься, что на болоте да на грязи — и такие злаки произрастают... Ну а потом, конечно, прямо за солнцем, три дня бы шли, а там уже и Тростники...

— Мы с тобой идем к Чертовым Скалам, — терпеливо напомнил Кандид. — Выходим послезавтра. Кулак тоже идет.

Колченог с сомнением покачал головой.

— К Чертовым Скалам... — повторил он. — Нет, Молчун, не пройти нам к Чертовым Скалам, не пройти. Это ты знаешь где — Чертовы Скалы? Их, может, и вообще нигде нет, а просто так говорят: скалы, мол, Чертовы... Так что к Чертовым Скалам я не пойду, не верю я в них. Вот если бы в Город, например, или еще лучше — в Муравейники, это тут рядом, рукой подать... Слушай, Молчун, а пошли-ка мы с тобой в Муравейники. И Кулак пойдет... Я ведь в Муравейниках, как ногу себе повредил, так с тех пор там и не был. Нава, бывало, все просила меня: сходим, говорит, Колченог, в Муравейники... Охота, видишь, было ей посмотреть дупло, где я ногу повредил... А я ей говорю, что не помню я, где это дупло, и вообще, может быть, Муравейников больше нет, давно я там не был...

Кандид жевал гриб и смотрел на Колченога. А Колченог говорил и

говорил, говорил о Тростниках, говорил о Муравейниках, глаза его были опущены, и он только изредка взглядывал на Кандида. Хороший ты человек, Колченог, и добрый ты, и оратор видный, и староста с тобой считается, и Кулак, а старец тебя просто-таки боится, и не зря был ты лучшим приятелем и спутником известного Обиды-Мученика, человека ищущего и беспокойного, ничего не нашедшего и сгинувшего где-то в лесу... Одна вот только беда: не хочешь ты, Колченог, меня в лес отпускать, жалеешь убогого. Лес — место опасное, гибельное, куда многие ходили, да немногие возвращались, а если возвращались, то сильно напуганные, а бывает, и покалеченные... У кого нога поломана, у кого что... Вот и хитришь ты, Колченог, то сам притворяешься полоумным, то делаешь вид, что Молчуна полоумным считаешь, а в действительности-то уверен ты в одном: если уж Молчуну удалось один раз вернуться, потерявши девчонку, то дважды таких чудес не случается...

— Слушай, Колченог, — сказал Кандид. — Выслушай меня внимательно. Говори что хочешь, думай что хочешь, но я прошу тебя об одном: не бросай меня, пойди в лес со мною. Ты мне очень нужен в лесу, Колченог. Послезавтра мы выходим, и я очень хочу, чтобы ты был с нами. Понимаешь?

Колченог смотрел на Кандида, и выцветшие глаза его были непроницаемы.

— А как же, — сказал он. — Я тебя вполне понимаю. Вместе и пойдем. Как вот отсюда выйдем, свернем налево, дойдем до поля и мимо двух камней — на тропу. Эту тропу сразу отличить можно: там валунов столько, что ноги сломаешь... Да ты ешь грибы, Молчун, ешь, они хорошие... По этой, значит, тропе дойдем мы до грибной деревни, я тебе про нее, по-моему, рассказывал, она пустая, вся грибами поросла, но не такими, как эти, например, а скверными, их мы есть не станем, от них болеют и умереть можно, так что мы в этой деревне даже останавливаться не будем, а сразу пойдем дальше и спустя время дойдем до чудаковой деревни, там горшки делают из земли, вот додумались! Это после того случилось у них, как синяя трава через них прошла. И ничего, не заболели даже, только горшки из земли делать стали... У них мы тоже останавливаться не будем, нечего у них там останавливаться, а пойдем мы сразу от них направо — тут тебе и будет Глиняная поляна...

А может быть, не брать мне тебя? — думал Кандид. Ты уже был там, лес тебя уже жевал, и как знать, может быть, ты уже катался по земле, крича от боли и страха, а над тобой нависала, закусив прелестную губку и растопырив детские ладошки, молоденькая девушка. Не знаю, не знаю. Но

идти надо. Захватить хотя бы двух, хотя бы одну, узнать все, разобраться до конца... А дальше? Обреченные, несчастные обреченные. А вернее, счастливые обреченные, потому что они не знают, что обречены; что сильные их мира видят в них только грязное племя насильников; что сильные уже нацелились в них тучами управляемых вирусов, колоннами роботов, стенами леса; что все для них уже предопределено и — самое страшное — что историческая правда здесь, в лесу, не на их стороне, они — реликты, осужденные на гибель объективными законами, и помогать им — значит идти против прогресса, задерживать прогресс на каком-то крошечном участке его фронта. Но только меня это не интересует, подумал Кандид. Какое мне дело до их прогресса, это не мой прогресс, я и прогрессом-то его называю только потому, что нет другого подходящего слова... Здесь не голова выбирает. Здесь выбирает сердце. Закономерности не бывают плохими или хорошими, они вне морали. Но я-то не вне морали! Если бы меня подобрали эти подруги, вылечили и обласкали бы, приняли бы меня как своего, пожалели бы — что ж, тогда бы я, наверное, легко и естественно стал бы на сторону этого прогресса, и Колченог и все эти деревни были бы для меня досадным пережитком, с которым слишком уж долго возятся... А может быть, и нет, может быть, это было бы не легко и не просто, я не могу, когда людей считают животными. Но может быть, дело в терминологии, и если бы я учился языку у женщин, все звучало бы для меня иначе: враги прогресса, зажравшиеся тупые бездельники... Идеалы... Великие цели... Естественные законы природы... И ради этого уничтожается половина населения? Нет, это не для меня. На любом языке это не для меня. Плевать мне на то, что Колченог — это камешек в жерновах ихнего прогресса. Я сделаю все, чтобы на этом камешке жернова затормозили. И если мне не удастся добраться до биостанции — а мне, наверное, не удастся, — я сделаю все, что могу, чтобы эти жернова остановились. Впрочем, если мне удастся добраться до биостанции... М-да. Странно, никогда раньше мне не приходило в голову посмотреть на Управление со стороны. И Колченогу вот не приходит в голову посмотреть на лес со стороны. И этим подругам, наверное, тоже. А ведь это любопытное зрелище — Управление, вид сверху. Ладно, об этом я подумаю потом.

— Значит, договорились, — сказал он. — Послезавтра выходим.

— А как же, — немедленно ответствовал Колченог. — Сразу от меня налево...

На поле вдруг зашумели. Завизжали женщины. Много голосов закричало хором: «Молчун! Эй, Молчун!» Колченог встрепенулся.

— Никак мертвяки! — сказал он, торопливо поднимаясь. — Давай, Молчун, давай не сиди, посмотреть хочу.

Кандид встал, вытащил из-за пазухи скальпель и зашагал к окраине.

ВТОРОЕ НАШЕСТВИЕ МАРСИАН

Записки здравомыслящего

О, этот проклятый конформистский мир!

1 ИЮНЯ (три часа пополуночи)

Господи, теперь еще Артемида! Оказывается, она все-таки спуталась с этим Никостратом. Дочь, называется... Ну ладно.

Около часу ночи я был разбужен сильным, хотя и отдаленным, грохотом и поражен зловещей игрой красных пятен на стенах спальни. Грохот был рокочущий и перекатывающийся, подобный тому, какой бывает при землетрясениях, так что весь дом колебался, звенели стекла, и пузырьки подпрыгивали на ночном столике. Испугавшись, я бросился к окну. Небо на севере полыхало: казалось, будто там, за далеким горизонтом, земля разверзлась и выбрасывает к самым звездам фонтаны разноцветного огня. А эти двое, ничего не видя и не слыша, озаряемые адскими сполохами и сотрясаемые подземными толчками, обнимались на скамейке под самым моим окном и целовались взасос. Я сразу узнал Артемиду и решил было, что это вернулся Харон и она так ему обрадовалась, что вот целуется с ним, как невеста, вместо того чтобы вести его прямо в спальню. А через секунду в свете зарева я узнал знаменитую заграничную куртку господина Никострата, и сердце у меня упало. Вот в такие минуты человек теряет здоровье. И ведь нельзя сказать, что это был для меня гром с ясного неба. Слухи были, намеки, всякие шуточки, да и я, помню, сам видел на плечах и на шее Артемиды темные пятна величиной с пятак. Разве я не знал, кто у нас в городе оставляет на женщинах такие пятна? Насмотрится нынешних фильмов и оставляет. И все же я был совсем убит.

Держась за сердце и совершенно не понимая, что нужно предпринять, я, как был босиком, потащился в гостиную и стал звонить в полицию. Однако попробуйте дозвониться в полицию, когда вам требуется. Телефон полиции долго был занят, и вдобавок дежурным оказался Пандарей. Я его спрашиваю, что за феномен наблюдается за горизонтом. Он не понимает, что такое феномен. Я его спрашиваю: «Вы можете мне сказать, что происходит за северным горизонтом?» Он осведомляется, где это, и я уже не знаю, как ему объяснить, но тут до него доходит. «А-а, — говорит он, — вы это насчет пожара?» — и сообщает, что некоторое горение действительно наблюдается, но что это за горение и чего, пока не установлено. Дом трясется, все скрипит, на улице истошно кричат что-то про войну, а этот старый осел начинает рассказывать мне, что к нему в участок тут привели Минотавра: пьян мертвецки, осквернил угол особняка

господина Лаомедонта, на ногах не стоит и даже драться не может. «Вы меры принимать будете или нет?» — прерываю я его. «Я вам об этом и толкую, господин Аполлон, — обижается этот осел. — Мне нужно протокол составлять, а вы у меня весь телефон оборвали. Если вас всех так уж волнует этот пожар...» — «А если это война?» — спрашиваю я. «Нет, это не война, — заявляет он. — Я бы знал». — «А если это извержение?» — спрашиваю я. Он не понимает, что такое извержение, я больше не могу и вешаю трубку. Я весь вспотел от этого разговора, вернулся в спальню и надел халат и туфли.

Грохот словно бы утих, но сполохи продолжались, а эти двое больше не целовались и даже не сидели обнявшись. Они стояли, держась за руки, причем всякий мог их увидеть, потому что от огня за горизонтом было светло, как днем, только свет был не белый, а красно-оранжевый, и по нему ползли облака дыма, коричневого, с оттенком жидкого кофе. Соседи бегали по улице кто в чем, госпожа Эвридика хватала всех за пижамы и требовала, чтобы ее спасали, и один только Миртил деловито выкатил из гаража свой грузовик и принялся вместе с женой и сыновьями выносить из дому свое имущество. Это была настоящая паника, как в добрые старые времена, давно такой не видел. Но я-то понимал, что если действительно началась атомная война, то лучшего места, чем наш городок, — укрыться, отсидеться, переждать — не найти во всей округе. А если это извержение, то происходит оно далеко, и опять же нашему городку ничто не угрожает. Да и сомнительно было, что это извержение: какое тут у нас может быть извержение?

Я поднялся наверх и стал будить Гермиону. Ну, тут было как обычно: «Отстань, пьяница; нечего было пить на ночь; ничего я сейчас не хочу», — и прочее. Тогда я стал громко и убедительно рассказывать ей об атомной войне и об извержении, несколько сгущая при этом краски, потому что иначе ничего бы у меня не получилось. Ее проняло, она вскочила с постели, оттолкнула меня и устремилась прямо в столовую, бормоча: «А вот я сейчас посмотрю, и тогда берегись...» Отперев буфет, она обследовала бутылку с коньяком. Я был спокоен. «Откуда же ты такой вернулся? — спросила она, недоверчиво принюхиваясь. — Из какого гнусного ночного вертепа?» Но когда она посмотрела в окно, когда она увидела на улице полураздетых соседей, когда она увидела Миртила, который в одних подштанниках торчал на своей крыше и глядел на север в полевой бинокль, ей стало не до меня. Правда, оказалось, что северный горизонт уже вновь погрузился в тишину и темноту, но угадывалась там еще туча дыма, совершенно скрывавшая звезды. Что там говорить, моя Гермиона — это

вам не какая-нибудь госпожа Эвридика. И возраст не тот, и воспитание иное. Я не успел проглотить рюмку коньяку, как она уже волокла чемоданы и во весь голос звала Артемиду. «Зови, зови, — с горечью подумал я, — так она тебя и услышит». И тут Артемида появляется в дверях своей комнаты. Господи, бледная как смерть, вся трясется, но на ней уже пижама, в волосах болтаются бигуди, и она спрашивает: «Что такое? Что это вы все?»

Как хотите, а это тоже характер. Не будь этого феномена, нипочем бы я ничего не узнал, а уж Харон и подавно. Наши взгляды встретились, она ласково улыбнулась мне дрожащими губами, и я не решился произнести слова, которые вертелись у меня на языке. Чтобы успокоиться, я ушел к себе и начал упаковывать марки. Дрожишь, говорил я ей мысленно, трепещешь! Одиноко тебе, страшно, беззащитно. А он вот не поддержал тебя, не защитил. Сорвал цветок удовольствия и побежал по своим делам. Нет уж, милая моя, если человек бесчестен, то он бесчестен до конца.

Между тем, как я и ожидал, паника быстро шла на убыль. Установилась обыкновенная ночь, земля больше не колыхалась, дома не скрипели. Госпожу Эвридику кто-то увел к себе. Никто больше не кричал о войне, и вообще кричать стало больше не о чем. Выглянув в окно, я увидел, что улица опустела, только кое-где в домах еще виднелся свет да Миртил на своей крыше блестел исподним среди звезд. Я окликнул его и спросил, что там видно. «Ладно, ладно, — раздраженно ответил он. — Ложитесь, храпите. Вы захрапите, а они вам как дадут...» Я спросил, кто это — они. «Ладно, ладно, — ответствовал Миртил. — Умники нашлись. Со своим Пандареем. Дурак он, ваш Пандарей, и больше ничего». Услышав про Пандарея, я решил снова позвонить в полицию. Звонить пришлось долго, а когда я в конце концов дозвонился, Пандарей сообщил мне, что новостей никаких особенных нет, но в остальном все в порядке, пьяному Минотавру впрыснули успокаивающее, сделали промывание желудка, и теперь он угомонился; что же касается пожара, то горение давно прекратилось, тем более что это оказалось никакое не горение, а большой праздничный фейерверк. Пока я вспоминал, какой же это сегодня праздник, Пандарей повесил трубку. Глуп он все-таки и отвратительно воспитан, и всегда был таким. Странно видеть таких людей в нашей полиции. Наш полицейский должен быть интеллигентен, он должен быть образцом для молодежи, героем, которому хочется подражать, чтобы ему можно было без опасения вверить не только оружие и власть, но и воспитательную деятельность. А Харон называет такую полицию «компанией очкариков» и заявляет, что такая моя полиция никакому правительству не нужна, потому что она начнет хватать и перевоспитывать самых полезных государству людей,

начиная с премьер-министра и полицей-президента. Не знаю, не знаю, может быть. Но чтобы старший полицейский не понимал, что такое феномен, и хамил при исполнении обязанностей — это совсем уж никуда не годится.

Спотыкаясь о чемоданы, я пробрался к буфету и налил себе рюмку коньяку как раз в тот момент, когда в столовую вернулась Гермиона. Она сказала, что это сумасшедший дом, что положиться здесь ни на кого нельзя, что мужчины здесь не мужчины, а женщины не женщины. Что я законченный алкоголик, что Харон турист, что Артемида белоручка, совершенно неприспособленная к жизни. И так далее. Может быть, кто-нибудь объяснит, зачем ее подняли среди ночи и заставили собирать чемоданы? Я ответил Гермионе как мог и укрылся у себя в спальне. У меня все болело, и теперь я точно знаю, что завтра у меня опять обострится экзема. Мне уже сейчас хочется чесаться, но пока я еще сдерживаюсь.

Около трех часов земля задрожала снова. Послышался шум от многих моторов и лязг железа. Оказалось, что мимо дома проходит колонна военных грузовиков и бронетранспортеров с войсками. Они двигались медленно, с притушенными фарами, и Миртил увязался за каким-то броневиком, затрусил рядом, держась за выступ люка и что-то крича. Не знаю, что ему ответили, но, когда колонна прошла и он остался один на улице, я его окликнул и спросил, какие новости. «Ладно, ладно, — сказал Миртил. — Знаем мы эти маневры. Разъезжают тут умники за мои деньги». И тут я все понял окончательно. Происходят большие военные учения — возможно, даже с применением атомного оружия. Стоило огород городить!

Господи, уснуть бы теперь спокойно!

2 ИЮНЯ

Весь чешусь. И главное, я никак не могу решиться поговорить с Артемидой. Не выношу я этих сугубо личных разговоров, этого интима. И потом, откуда я знаю, что она мне ответит?

Черт знает, что делать с этими дочерьми. Если бы я хоть понимал, чего ей не хватает! Есть муж, и не какой-нибудь сутулый мозгляк, а мужчина крепкий, в самой поре, не урод какой-нибудь, не калека и вместе с тем не потаскун. А мог бы: казначейская племянница на него устремляет призывные взоры, и Тиона глазки ему делает, это же всем известно, и я уже не говорю о гимназистках, дачницах или мадам Персефоне, которая из всех кошек самая что ни на есть кошачья кошка, и ни один кот устоять против нее не может. Но я же знаю, что Артемида ответит мне на это. Скучно, скажет, папочка, смертная у нас здесь тоска. И ведь крыть нечем! Молодая красивая женщина, детей нет, темперамент завидный, нестись бы ей в вихре развлечений, танцы, флирт и прочее. А Харон, к сожалению, из этих, из философистов. Мыслитель. Тоталитаризм, фашизм, менеджеризм, коммунизм. Танцы — сексуальный наркотик; гости — сплошь болваны, один другого страшнее. О том, чтобы в винт или в четыре короля, — и заикнуться не смей. И притом ведь не дурак выпить! Рассадит вокруг стола пятерых своих умников, поставит пять бутылок коньяку и пошел рассуждать до самого утра. Девчонка позевает, позевает, хлопнет дверью и спать уйдет. Разве это жизнь? Я понимаю, мужчине — мужское, но ведь, с другой стороны, и женщине — женское! Нет, я люблю моего зятя, он мой зять, и я его люблю. Но сколько же можно рассуждать? И что от этих рассуждений меняется? Ясно же: сколько ты ни рассуждай о фашизме, фашизму от этого ни тепло, ни холодно, охнуть не успеешь, напялят на тебя железную каску, и — вперед, да здравствует вождь! А вот если ты перестанешь обращать внимание на молодую жену, она тебе тем же и отплатит. И тут уж никакие философствования не помогут. Я понимаю, образованный человек должен иногда рассуждать на отвлеченные темы, но надо же пропорции соблюдать, господа.

Утро было нынче волшебное. (Температура плюс девятнадцать, облачность один балл, ветер южный, 0,5 метра в секунду. Надо бы сходить на метеостанцию, проверить анемометр, я его опять уронил.) После завтрака я решил, что под лежачий камень вода не течет, и отправился в мэрию выяснить насчет пенсии. Шел и наслаждался покоем, и вдруг

смотрю — на углу улицы Свободы и Вересковой собралась толпа. Оказывается, Минотавр въехал своей цистерной в ювелирную витрину, и народ собрался посмотреть, как он, грязный, распухший, с утра уже опять пьяный, дает показания дорожному инспектору. И до того он дисгармонировал с сияющим утром, что все настроение сразу пропало. И ведь ясно, полиции не надо отпускать Минотавра так рано, знали же, что непременно снова напьется, раз у него запой. Но, с другой стороны, как его не выпустить, когда он единственный золотарь в городе? Тут уж одно из двух: либо ты занимайся перевоспитанием Минотавра и тони в нечистотах, либо иди на компромисс во имя гигиены.

Из-за Минотавра я задержался, и, когда добрался до «пятачка», все наши уже были в сборе. Я уплатил штраф, а потом одноногий Полифем угостил меня превосходной сигарой в алюминиевом футляре. Эту сигару прислал ему для меня его старшенький, Поликарп, лейтенант торгового флота. Этот Поликарп учился у меня несколько лет, пока не сбежал в юнги. Шустрый был мальчик, шалун большой. Когда он удрал из города, Полифем на меня чуть в суд не подал: мол, довел мальчишку учитель до беспутства своими лекциями о множественности миров. Сам Полифем до сих пор уверен, будто небо твердое и спутники по нему бегают наподобие мотоциклистов в цирке. Доводы мои о пользе астрономии ему недоступны, и тогда были недоступны, и сейчас по-прежнему недоступны.

Наши разговаривали о том, что городской казначей опять растратил деньги, отпущенные на строительство стадиона. Это, значит, уже в седьмой раз. Говорили мы сначала о мерах пресечения. Силен пожимал плечами и утверждал, что, кроме суда, ничего, пожалуй, не придумаешь. «Довольно полумер, — говорил он. — Открытый суд. Собраться всем городом в котловане стадиона и пригвоздить растратчика к позорному столбу прямо на месте преступления. Слава богу, — повторял он, — наш закон достаточно гибок, чтобы мера пресечения в точности соответствовала тяжести преступления». — «Я бы даже сказал, что наш закон слишком гибок, — заметил желчный Парал. — Этого казначея судили уже дважды, и оба раза наш гибкий закон огибал его стороной. Но ты-то небось полагаешь, будто так получалось потому, что судили его не в котловане, а в ратуше». Морфей, основательно подумав, заявил, что с нынешнего же дня перестанет казначея стричь и брить. Пусть-ка походит волосатый. «Задницы вы все, — сказал Полифем. — Никак вы допереть не можете, что ему на вас плевать. У него своя компания». — «Вот именно», — подхватил желчный Парал и напомнил нам, что, кроме городского казначея, живет еще и действует городской архитектор, который проектировал стадион в

меру своих способностей и теперь, естественно, заинтересован, чтобы стадион, не дай бог, не начали строить. Заика Калаид зашипел, задергался и, привлеча таким образом всеобщее внимание, напомнил, что именно он, Калаид, в прошлом году чуть не подрался с архитектором на Празднике Цветов. Это заявление придало разговору новый, решительный уклон. Одноногий Полифем, как ветеран и человек, не боящийся крови, предложил подстеречь обоих в подъезде у мадам Персефоны и обломать им рога. В такие решительные минуты Полифем совершенно уже перестает следить за своим языком — так и прет из него казарма. «Обломать этим вонючкам рога, — гремел он. — Дать этому дерьму копоти и отполировать сволочам мослы». Просто удивительно, как возбуждающе такие речи действуют на наших. Все загорячились, замахали руками, а Калаид шипел и дергался гораздо сильнее, чем обыкновенно, будучи не в силах от большого волнения выговорить ни слова. Но тут желчный Парал, единственный из нас, сохранивший спокойствие, заметил, что, кроме казначея и архитектора, в городе проживает еще в своей летней резиденции главный их дружок — некий господин Лаомедонт, и все сразу замолчали и принялись раскуривать свои потухшие за разговором сигары и сигареты, потому что господину Лаомедонту не очень-то обломаешь рога и тем более не отполируешь мослы. И когда в наступившей тишине заика Калаид уже совершенно непроизвольно разразился, наконец, заветным: «Н-надавать по сопатке!», все посмотрели на него с неудовольствием.

Я вспомнил, что мне давно пора в мэрию, вложил недокуренную сигару в алюминиевый футляр и поднялся на второй этаж, в приемную господина мэра. Меня поразило необычное оживление в канцелярии. Все служащие были как бы несколько взволнованы. Даже господин секретарь, вместо того чтобы заниматься обычным для него рассматриванием собственных ногтей, запечатывал сургучными печатями большие конверты, с видом, впрочем, чрезвычайно брезгливым и одолжительным. С чувством большой неловкости приблизился я к этому прилизанному по новейшей моде красавчику с его вызывающими бачками и экстравагантной заграничной курткой. Господи, я бы все на свете отдал, чтобы не иметь к нему никакого дела, не видеть его и не слышать. Я и раньше не любил господина Никострата, как и всех молодых хлыщей в нашем городе, по правде сказать, не любил его еще тогда, когда он у меня учился, — за лень, за наглость, за дерзкие выходки, а после вчерашнего мне даже смотреть на него было тошно. Я представления не имел, как мне с ним держаться. Но выхода не было, и в конце концов я решился произнести: «Господин Никострат, слышно что-нибудь по поводу моего дела?» Он даже не

взглянул на меня, так сказать, не удостоил взглядом. «Извините, господин Аполлон, но ответ из министерства еще не пришел», — сказал он, продолжая ставить печати. Почему не пришел, когда можно ожидать, можно ли вообще ожидать... Я потоптался и пошел к выходу, чувствуя себя отвратительно, как это всегда со мной бывает в присутственных местах. Однако совершенно неожиданно он остановил меня удивительным сообщением. Он сказал, что связи с Марафинами нет со вчерашнего дня. «Да что вы говорите! — сказал я. — Неужели маневры еще не кончились?» — «Какие маневры?» — удивился он. Тут меня прорвало. До сих пор не знаю, стоило ли это делать, но я пристально посмотрел прямо ему в лицо и сказал: «Как так — какие? Да те самые, которые вы изволили наблюдать прошлой ночью». — «Разве это были маневры? — с завидным хладнокровием произнес он, снова склоняясь над своими конвертами. — Это же был фейерверк. Почитайте утренние газеты». Надо, надо было сказать ему пару слов, тем более что в этот момент мы в комнате были одни. Да разве я могу так?

Когда я вернулся на «пятачок», спор уже шел о сущности ночного феномена. Наших прибыло: подошли Миртил и Пандарей. Пандарей был в расстегнутом кителе, небритый и усталый после ночного дежурства. Миртил выглядел не лучше, потому что всю ночь ходил вокруг дома дозором и ждал беды. У всех в руках были утренние газеты, и обсуждалась заметка «Нашего наблюдателя» под названием «Праздник на пороге». «Наш наблюдатель» сообщал, что Марафины готовятся к празднованию своего стопятидесятитрехлетия и что, как ему стало известно из обычно хорошо осведомленных источников, вчерашней ночью был произведен тренировочный фейерверк, которым могли любоваться жители окрестных городов и селений в радиусе до двухсот километров. Стоит Харону уехать в командировку, как наша газета катастрофически глупеет. Хоть бы потрудились прикинуть, как это должен выглядеть фейерверк с расстояния в двести километров. Хоть бы задумались, с коих это пор фейерверки сопровождаются подземными толчками. Все это я немедленно изложил нашим, но они ответили, что и сами знают, который нынче год, и посоветовали почитать «Вестник Милеса». В «Вестнике» черным по белому было написано, что этой ночью «жители Милеса могли любоваться впечатляющим зрелищем военных учений с применением новейших средств боевой техники». «А я что говорил!» — воскликнул было я, но меня прервал Миртил. Он рассказал, что рано утром к его бензоколонке подъехал заправиться незнакомый шофер фирмы «Дальние перевозки», взял сто пятьдесят литров бензина, две банки автола, ящик мармеладу и по

секрету сообщил, будто этой ночью взорвались по неизвестной причине подземные заводы ракетного горючего. Погибло якобы двадцать три человека охраны и вся ночная смена, да еще сто семьдесят девять человек пропало без вести. Мы все ужаснулись, но тут желчный Парал агрессивно осведомился: «А зачем же тогда, спрашивается, ему понадобился мармелад?» Этот вопрос поставил Миртила в тупик. «Ладно, ладно, — сказал он. — Слыхали. Хватит с меня». Нам тоже нечего было сказать. Действительно, при чем здесь мармелад? Калаид пошипел, побрызгал, но так ничего и не сказал. И тогда вперед выдвигается этот старый осел Пандарей. «Старички, — говорит он. — Слушайте. Никакие это были не ракетные заводы. Мармеладные это были заводы, ясно? Ну, теперь держитесь». Мы так и сели. «Подземные мармеладные заводы? — говорит Парал. — Ну, старина, ты сегодня в отличной форме». Мы стали хлопать Пандарея по спине, приговаривая: «Да, Пан, сразу видно, плохо ты нынче спал, старина. Заездил тебя Минотавр, Пан, плохо твое дело. Пора, пора тебе на пенсию, Пан, дружище!» — «Полицейский, а сам сеет панику», — обиженно сказал Миртил, единственный, кто принял Пандареевы слова всерьез. «На то он и Пан, чтобы сеять панику», — сострил Димант. И Полифем тоже сострил удачно, хотя и совершенно неприлично. Пока мы так развлекались, Пандарей стоял столбом, распухал на глазах и только ворочал головой, совсем как бык, которого одолевают матадоры. В конце концов он застегнул китель на все пуговицы и, глядя поверх голов, гаркнул: «Поговорили — все! Р-р-разойдись! Именем закона». Миртил пошел к себе на бензоколонку, а остальные наши отправились в трактир.

В трактире мы сразу заказали пива. Вот удовольствие, которого я был лишен, пока не уволился на пенсию! В таком маленьком городке, как наш, учителя знают все. Родители твоих учеников почему-то воображают, будто ты чудотворец и своим личным примером способен помешать их детям устремиться по стопам родителей. Трактир с утра до поздней ночи буквально кишит этими родителями, и если ты позволяешь себе невинную кружку пива, то на следующий день непременно имеешь унизительный разговор с директором. Во-вторых, у стойки вечно толкутся старшеклассники, манкирующие уроками и пренебрегающие кодексом школьника, где прямо сказано, что учащийся не должен посещать публичных заведений со спиртными напитками. А я люблю трактир! Люблю посидеть в доброй мужской компании, ведя неторопливые серьезные беседы на произвольные темы, рассеянно ловя слухом гул голосов и звон стаканов за спиной, люблю рассказать и выслушать соленый анекдотец, сыграть в четыре короля — по маленькой, но с достоинством —

и при выигрыше заказать всем по кружке. Ну ладно.

Япет подал нам пиво, и мы заговорили о войне. Одноногий Полифем заявил, что если бы это была война, то уже началась бы мобилизация, а желчный Парал возразил, что, если б это была война, мы бы уже ничего не знали. Не люблю я разговоров о войне и с удовольствием завел бы разговор о пенсиях, но где уж мне... Полифем положил костыль поперек стола и спросил, что, собственно, Парал понимает в войнах. «Знаешь ты, например, что такое базука? — грозно спросил он. — Знаешь ты, что такое сидеть в окопе, пасть у тебя забита дерьмом, на тебя прут танки и ты еще не заметил, что навалил полные штаны?» Парал возразил, что про танки и про полные штаны он ничего не знает и знать не хочет, а вот про атомную войну мы все знаем одинаково. «Ложись ногами к взрыву и ползи на ближайшее кладбище», — сказал он. «Шпаком ты был, шпаком и умрешь, — сказал одноногий Полифем. — Атомная война — это война нервов, понял? Они нас, а мы их, и кто первый навалит в штаны, тот и проиграл». Парал только пожал плечами, и Полифем распалился окончательно. «Базуки! — орал он. — Тарзоны! Р-раз — и полные штаны! Верно, Аполлон?» Накричавшись вдоволь, он ударился в воспоминания, как мы с ним отбивали в снегах танковую атаку. Терпеть не могу этих воспоминаний. Сплошные полные штаны. Не знаю, может, так оно все и было, не помню. Да и не люблю к этому возвращаться. А Полифем как был казармой, так и остался. Представления не имею, что же еще нужно оторвать человеку, чтобы он навсегда перестал быть унтер-офицером. А может быть, все дело в том, что не довелось ему попасть в «котел», как мне. Или тут в характере дело?

Мы засиделись, и я решил заодно пообедать. Обычно у Япета кормят хорошо, но на этот раз фирменный его суп с клецками густо отдавал деревянным маслом, и я об этом так и сказал. Оказывается, у Япета третий день болят зубы, да так невыносимо, что он ничего толком не может попробовать. «А помнишь, Феб, как я выбил тебе зуб?» — грустно спросил он. Еще бы я не помнил! Это было в седьмом классе, мы вместе ухаживали за Ифигенией и дрались каждый день. Боже мой, как далеки те времена, когда я мог драться! Ифигения, оказывается, теперь замужем за каким-то инженером на юге, у нее уже внуки и грудная жаба.

Когда я шел к Ахиллесу, у дома господина Лаомедонта стояла эта его страшная красная машина с бронестеклами, и за рулем раскуривал этот гнусный молодчик, который всегда надо мной издевается. И теперь он пристал ко мне так, что пришлось с достоинством перейти на другую сторону улицы, не обращая на него никакого внимания. Ахиллес восседал

за кассой и рассматривал свой «Космос». С тех пор как он раздобыл этот синий треугольник с серебряной надпечаткой, он взял себе за правило доставать альбом как раз к моему приходу, словно бы случайно. Я его вижу насквозь и потому виду не подаю. Хотя, по правде говоря, сердце у меня всегда при этом обливается кровью. Одно утешение, что треугольник у него все-таки с наклейкой. Я ему так и сказал. «Да, — сказал я, — ничего не скажешь, Ахилл, отличная вещь. Жаль только, что с наклейкой». Он весь перекосился и проворчал, что зелен, мол, виноград. «Что поделаешь, — отвечал я ему спокойно. — Наклейка есть наклейка, и никуда от нее не уйдешь. Лично я эту марку за такую цену не взял бы. Зачем она мне с наклейкой? У некоторых, конечно, — сказал я, — такие широкие взгляды, что они берут и гашеные, и с наклейками, но это не по мне, несерьезно. Я беру их разве что для обменного фонда. Всегда ведь найдется простак, которому что с наклейкой, что без — все едино». Я тебя отучу тыкать мне в нос серебряную надпечатку!

А в общем мы хорошо провели с ним время. Он меня убеждал, будто вчерашний фейерверк — это полярное сияние редкого вида, случайно совпавшее с особым видом землетрясения, а я ему втолковывал про маневры и взрыв мармеладного завода. Спорить с Ахиллесом невозможно. Ведь видно же, что человек сам в свои слова не верит, а спорит, упорствует. Сидит как монгольский истукан, смотрит в окно и твердит одно и то же, что, мол, в этом городе не я один разбираюсь в феноменах натуры. Можно подумать, что они там в своем фармацевтическом училище действительно упражнялись в серьезных науках. Нет, ни с кем из наших невозможно довести хоть какой-нибудь спор до разумного завершения. Вот Полифем, например. Он никогда не спорит по существу. Истина его не интересует, ему одно важно: посрамить оппонента. Положим, спор идет о форме нашей планеты. Совершенно точными, известными каждому образованному человеку аргументами я доказываю ему, что Земля есть, грубо говоря, шар. Он ожесточенно и безуспешно атакует каждый аргумент по очереди, а когда мы доходим до формы земной тени во время лунных затмений, он вдруг заявляет что-нибудь вроде: «Тень, тень... Наводишь тут тень на ясный день. Бородавку сначала под носом выведи да волосы на своей плеши отрасти, а тогда уж и спорь». Или, скажем, Парал. Поспорил я с ним как-то о способах излечения алкоголизма. Оглянуться не успел, как мы перешли к внешней политике тогдашнего президента, а от нее — к проблеме панспермии. И что самое удивительное — до панспермии и до внешней политики мне тогда не было и сейчас нет никакого дела, а алкоголизмом мучительно для всех окружающих страдал двоюродный племянник

Гермионы. Сейчас-то он в армии, военфельдшер, а в то время жизнь моя была сплошным кошмаром. Да, алкоголизм есть бич народов.

Спор наш закончился тем, что Ахиллес достал заветную бутылочку, и мы выпили по рюмке джина. Торговля у Ахиллеса идет неважно. У меня такое впечатление, что ему и на джин бы не хватало, если бы не мадам Персефона. Вот и сегодня опять пришли от нее. «Могу предложить антигест», — говорит Ахиллес деликатным шепотом. «Нет, — отвечает посыльная, — просили чего-нибудь повернее, пожалуйста». Повернее, видите ли, ей. Прибегал еще поваренок от Япета за зубными каплями, а больше никто не приходил, и мы побеседовали всласть. Я обменял розовый «Монумент» на его серию «Красный Крест». Собственно, «Красный Крест» мне не нужен, но Харон позавчера сказал, что к нему в редакцию пришло объявление: «Возьму «Красный Крест», предлагаю любую перевернутую надпечатку из стандарта». Надо признаться, что, как это ни странно, Харон — единственный человек в нашем доме, который надо мной не хихикает. Вообще, если подумать, он совсем не плохой человек, и Артемида поступает не только аморально, но и неблагородно. А каков этот Никострат!

Возвращаюсь домой в девять вечера и вижу, что они опять сидят у меня в саду, в тени, и, правда, не целуются, но надо же все-таки совесть иметь. Я вышел в сад, взял Артемиду за руку и говорю этому хлыщу: «До свидания, господин Никострат, спокойной ночи». Артемида вырывает у меня свою руку и, ни слова не говоря, уходит. А этот распутник, весьма неуклюже пытаясь сгладить неловкость, затевает со мной разговор о муниципальных рекомендациях, которые следует прилагать к прошению о пенсии. И я стою и его слушаю. Его палкой надо гнать из сада, а я его слушаю. Деликатность моя проклятая. И неуверенность. Вот уж действительно комплекс неполноценности. И тут он вдруг скверно осклабляется и говорит: «А как поживает очаровательная госпожа Гермиона? Вы, господин Аполлон, не промах. От такой экономки я бы тоже не отказался». У меня сердце упало, и я совсем уже онемел. А он, не дождавшись ответа — да и зачем ему мой ответ? — удалился, хохоча на всю улицу, и я остался один в темном саду.

Да, ничего не поделаешь. Наши отношения с Гермионой придется все-таки как-то урегулировать. Знаю ведь, что ни к чему это мне, но спокойствие душевное требует жертв.

3 ИЮНЯ

Иногда меня охватывает настоящий ужас при мысли о том, что дело с моей пенсией не образуется. У меня все стесняется внутри, и я совершенно ничем не могу заниматься.

Но если рассуждать логически, дело должно кончиться самым благоприятным образом. Во-первых, я проработал учителем тридцать лет, если не считать перерыва на войну. Точнее, даже тридцать лет и два месяца. Во-вторых, я ни разу не менял место службы, никогда не прерывал стажа на переезды и другие отвлекающие обстоятельства и только однажды, семь лет назад, брал кратковременный отпуск за свой счет. А участие в военных действиях не может считаться перерывом стажа, это же ясно. По самым приблизительным подсчетам, через мои классы прошло более четырех тысяч учеников, почти все нынешнее население города. В-третьих, последние годы я все время был на виду и трижды замещал директора гимназии на время его отпуска. В-четвертых, работал я безупречно, имею шестнадцать благодарностей министерства, личный адрес покойного министра ко дню моего пятидесятилетия, а также бронзовую медаль «За усердие на ниве народного просвещения». Целый ящик в моем столе специально отведен под благодарственные адреса родителей. В-пятых, моя специальность. Сейчас все свихнулись на этом космосе, так что астрономия — предмет актуальный. По-моему, это тоже довод. Вот как окинешь все это взглядом, и кажется: какие могут быть сомнения? На месте министра я бы, не задумываясь, назначил мне первый разряд. Господи, тогда бы я, наконец, успокоился. Ведь, по сути дела, мне не так уж много надо в жизни. Три-четыре сигареты, рюмка коньяку, кое-какая мелочь на карты, вот и все. Ну и марки, конечно. Первый разряд — это сто пятьдесят в месяц. Сто я отдаю Гермионе на хозяйство, двадцать — на книжку про черный день, а то, что останется, это уж будет мое. Тут и на марки хватит, и на все прочее. Неужели я не заслужил?

Плохо, что старый человек никому не нужен. Выжмут его как лимон, и иди подыхай. Благодарности, адреса? Кого это сейчас интересует? Медаль? У кого их нет? И обязательно ведь кто-нибудь прицепится, что был в плену. В плену был? Был. Три года? Три года. Все! Значит, стаж прерывался на три года, получите свой третий разряд и не раздувайте нашу переписку.

Вот если бы знакомства! А кстати, ведь один мой ученик, а именно — генерал Алким, и поныне сидит в Нижнем конгрессе. Что если ему

написать? Он меня должен помнить, у нас с ним было много тех маленьких конфликтов, о которых с таким удовольствием вспоминают ученики, ставши взрослыми. Ей-богу, напишу. Так прямо и начну: «Здравствуй, мальчик. Вот я уже и старик...» Подожду немного и напишу.

Сегодня весь день сидел дома: Гермиона вчера была в гостях у тетки и принесла оттуда большой пакет со старыми марками. Разбирая их, получил огромное удовольствие. Это ни с чем нельзя сравнить. Это как бесконечный медовый месяц. Оказалось несколько отличных экземпляров, правда, все с наклейками, придется реставрировать. Миртил разбил у себя во дворе палатку и живет там со всей семьей. Хвастался, что может собраться и выехать за десять минут. Рассказывал, что связи с Марафинами по-прежнему нет. Наверняка врет. Пьяный Минотавр наехал своей грязной цистерной на красный автомобиль господина Лаомедонта и подрался с шофером. Обоих отвели в участок. Потом Минотавра заперли до вытрезвления, а шофера, говорят, отвезли в больницу. Есть все-таки справедливость на свете. Артемида сидит тихо, как мышка: вот-вот должен вернуться Харон. Я уж Гермионе ничего не рассказываю. Может быть, как-нибудь обойдется. Эх, получить бы первый разряд!

4 ИЮНЯ

Только что кончил читать вечерние газеты, но по-прежнему ничего не понимаю. Несомненно, какие-то изменения произошли. Но какие именно? И вследствие каких событий? Любят у нас приврать, вот что.

Утром, попив кофе, я отправился на «пятачок». Утро было хорошее, теплое. (Температура плюс восемнадцать, облачность ноль баллов, ветер южный, 1 метр в секунду по моему анемометру.) Выйдя за калитку, я увидел, что Миртил суетится вокруг разложенной на земле палатки. Я спросил его, что это он. «Ладно, ладно, — ответил он с сильным раздражением. — Умники нашлись. Ну и сидите, ждите, пока вас всех перережут». Я Миртилу ни на грош не верю, но от таких разговоров у меня всегда мурашки. «Да что еще случилось?» — спросил я. «Марсианцы», — коротко ответил он и принялся уминать палатку коленом. Я его не сразу понял, и, может быть, именно поэтому у меня от этого странного слова возникло ощущение, будто надвигается нечто страшное и неодолимое. Ноги у меня ослабели, и я присел на бампер грузовика. Миртил молчал, только пыхтел и сопел. «Как ты сказал?» — спросил я. Он упаковал палатку, перекинул ее в кузов и закурил. «Марсианцы напали, — сказал он шепотом. — Теперь нам всем конец. Марафины сожгли, говорят, дотла, десять миллионов убитых в одну ночь, представляешь? А нынче пожаловали к нам в мэрию. Власть теперь ихняя, так что все. Сеять уже запретили, а теперь, говорят, желудки всем вырезать будут. Желудки им зачем-то нужны, представляешь? Я этого дожидаться не буду, желудок мне самому нужен. Я как услыхал про все это, так сразу и решил: эти новые порядочки не для меня, пропади оно тут все пропадом, а я еду к брату на ферму. Я уже старуху с ребятами отправил на автобусе. Отсидимся, осмотримся, а там видно будет». — «Постой, — сказал я, отчетливо понимая, что он все врет, но слабея все более. — Постой, Миртил, что ты такое говоришь? Кто напал? Кто сжег? У меня сейчас зять в Марафинах». — «Накрылся твой зять, — сказал Миртил сочувственно и бросил окурок. — Считай, что дочка твоя овдовела. То-то секретарю раздольице... Ну, я поехал. Прощай, Аполлон. Мы с тобой всегда были по-доброму. Я на тебя зла не имею, и ты меня лихом не поминай». — «Господи! — в отчаянии закричал я, совсем уже ослабев. — Да кто напал-то?» — «Марсианцы, марсианцы! — сказал он, снова переходя на шепот. — Оттуда! — Он поднял палец к небу. — С кометы подвалили». — «Может быть, марсиане?»

— с надеждой спросил я. «Ладно, ладно, — сказал он, забираясь в кабину. — Ты учитель, тебе виднее. А вот мне так все равно, кто мне кишки выпустит...» — «Господи, Миртил, — сказал я, поняв окончательно, что все это вранье. — Ну нельзя же так. Ты же пожилой человек, у тебя внуки. Какие могут быть марсиане, если Марс — безжизненная планета? Нет там жизни, это научный факт». — «Ладно, ладно, — проворчал Миртил, но было видно, что он засомневался. — Какой там еще факт». — «Да не ладно, а так оно и есть на самом деле, — сказал я. — Спроси любого ученого. Да что там ученого, это каждый школьник знает!» Миртил крякнул и вылез из кабины. «Пропади оно все пропадом! — сказал он, запуская пятерню в затылок. — Кого слушать-то? Тебя мне слушать? Или Пандарея мне слушать? Ничего не пойму». Он плюнул и ушел в дом.

Я тоже решил вернуться домой, чтобы позвонить в полицию. Пандарей, как оказалось, был очень занят, потому что Минотавр проломил решетку в камере и сбежал, так что Пандарею теперь нужно было организовывать облаву. Кто-то действительно часа полтора назад приезжал в мэрию, какое-то начальство, может быть даже марсиане, ходят слухи, что марсиане, но насчет вырезания желудков никаких указаний не поступало, и вообще ему не до марсиан, потому что один Минотавр, на его взгляд, хуже всех марсиан, вместе взятых.

Едва я положил трубку, как Гермиона поймала меня и принудила принять капли от экземы. Какое-то новое средство — гадость феноменальная. Затем я поспешил на «пятачок».

Почти все наши толпились у входа в мэрию и яростно спорили по поводу каких-то странных следов в пыли. Оставил эти следы приезжавший марсианин, это им было точно известно. Морфей твердил, что таких чудовищ даже он, старый парикмахер и массажист, не видывал еще никогда. «Пауки, — говорил он, — громадные мохнатые пауки. То есть самцы у них мохнатые, а самки голые. Ходят на задних лапах, а передними хватают. Видал следы? Жуткое дело! Словно дырки. Это он здесь прошел». — «Дело не в том, что прошел, — рассудительно говорил Силен. — У нас на Земле сила тяжести больше, вот Аполлон подтвердит, так что они просто ногами ходить не способны. Для этого у них есть специальные пружинные ходули, они-то и оставляют в пыли дырки». — «Правильно, ходули, — невнятно подтверждал Япет с повязанной щекой. — Да только это не ходули. Это у них машина такая, это я в кино видел. Не на колесах у них машины, а на таких рычагах, на ходулях». — «Опять наш казначей отвертелся, — сказал желчный Парал. — В прошлый раз град был необыкновенной силы, в позапрошлый объявилась саранча, а теперь вот он

марсиан подстроил — на уровне эпохи, в связи с освоением космических пространств». — «Не могу я на эти следы равнодушно смотреть, — твердил Морфей. — Жуткое дело. Пошли, старички, выпьем, а?» Калаид, который уже давно бился, шипел и содрогался, произнес наконец: «По-п-погодка нынче хорошая, старички! К-как спалось?» Всегда он из-за своего дефекта речи отстает от событий. А ведь он все-таки ветеринар, мог бы что-нибудь сказать полезное по поводу следов. «А Миртил уже деру дал, — сказал Димант, глупо хихикая. — Прощай, говорит, Димант, мы с тобой всегда были по-доброму. Присмотри, говорит, за бензоколонкой, и, если что, сожги ты ее, говорит, чтобы не оставлять неприятелю». Тут я осторожно спросил, что слышно о Марафинах. «Марафины, говорят, сожгли, — охотно ответил Димант. — Звонили, говорят, оттуда, предлагают сохранять спокойствие». Я совершенно уверился в том, что все это бессмысленные слухи, и приготовился было опровергать их, но тут раздался вой полицейской сирены, и мы все обернулись.

Через площадь заячьим зигзагом бежал, шатаясь, расхлюстанный и опухший Минотавр, а за ним на полицейском вездеходе гнался Пандарей. Он стоял, держась за ветровое стекло, что-то выкрикивал и размахивал наручниками. «Все, сейчас догонит», — сказал Морфей. «Это как сказать, — возразил Димант. — Видал, что делает?» Минотавр подбежал к телеграфному столбу, обхватил его руками и ногами и стал карабкаться вверх. Однако Пандарей уже соскочил с машины и вцепился ему в штаны. Вдвоем с младшим полицейским они оторвали золотаря от столба, повалили его в вездеход и надели наручники. После этого младший полицейский уехал, а Пандарей, утираясь носовым платком и на ходу расстегиваясь, направился к нам. «Поймал, — сообщил Морфей, обращаясь к Диманту. — Вечно ты споришь». Пандарей приблизился и спросил, что тут у нас новенького. Ему объяснили про марсианские следы. Он немедленно присел на корточки и погрузился в исследование обстоятельств. Я даже проникся к нему невольным уважением, потому что сразу бросалась в глаза настоящая профессиональная хватка: он глядел на эти следы как-то сбоку и ничего не трогал руками. У меня появилось предчувствие, что вот сейчас все разъяснится. Пандарей двигался вдоль следов утицей, широко поводя обтянутым задом, и все время повторял: «Ага... Все ясно... Ага... Ясно...» Мы нетерпеливо ждали, храня молчание, и только Калаид силился что-то сказать и шипел. Наконец Пандарей с кряхтением выпрямился и, озирая площадь, словно бы в расчете кого-то обнаружить, отрывисто произнес: «Двое. Деньги вынесли в мешке. У одного трость с клинком, второй курит "Астру"». — «Я тоже курю

"Астру"», — сказал желчный Парал, и Пандарей сразу на него уставился. «Кого двое? — спросил Димант. — Марсиан?» — «Сначала я думал, что это не наши, — медленно проговорил Пандарей, не сводя глаз с Парала. — Сначала я подумал, что это ребята из Милеса, я их знаю». Тут разразился Калаид. «Н-н-нет, не догнать ему на машине», — объявил он. «А как же марсиане? — сказал Димант. — Не понимаю...» Пандарей, по-прежнему игнорируя прямые вопросы, разглядывал Парала. «Дай-ка мне твою сигарету, старичок», — сказал он. «Это зачем?» — спросил Парал. «Интересуюсь я посмотреть твой прикус, — объяснил Пандарей, — а также, где ты сегодня был с шести до семи утра». Мы поглядели на Парала, и Парал сказал, что, по его мнению, Пандарей самый большой дурак в мире, если не считать того кретина, который принял Пандарея на работу в полицию. Мы были вынуждены с ним согласиться и принялись хлопать Пандарея по спине, приговаривая: «Да, Пандарей, это ты, старик, дал маху. Не понял ты, старина Пан, что это следы марсианина. Хотя, конечно, откуда тебе знать, старичина, про марсиан? Это тебе не золотарь, Пан!» Пандарей начал понемногу разбухать, но тут из мэрии вышел одноногий Полифем и с ходу врезался в наше веселье. «Дрянь дело, старички! — озабоченно сказал он. — Марсиане наступают, взяли Милес! Наши отходят, жгут посевы, рвут за собой мосты!» У меня опять ослабели ноги и не стало даже сил протолкаться к скамейке и сесть. «Высадили десант на юге: две дивизии, — хрипел Полифем. — Скоро будут здесь!» — «Они уже были здесь, — сказал Силен. — На таких специальных ходулях. Вон следы...» Полифем только глянул и сразу же с негодованием сказал, что это его следы, и все сразу поняли — точно, его. Даже не его, а его костыля. Для меня это было большим облегчением. А Пандарей, как только до него дошло, застегнул китель на все пуговицы и, глядя поверх голов, гаркнул: «Поговорили — все! Р-разойдись! Именем закона».

Я вошел в мэрию. Все там было забито какими-то плоскими мешками, которые стояли вдоль стен в коридорах, на лестничных площадках и даже в приемной. От мешков исходил незнакомый запах, и окна везде были раскрыты настежь, но в остальном все было как обычно. Господин Никострат сидел за своим столом и полировал ногти. Туманно ухмыляясь и с очень неясной интонацией, он дал мне понять, что о марсианах по долгу службы распространяться не имеет права, однако может положительно утверждать, что к вопросу о пенсии все это вряд ли имеет какое-нибудь отношение. Достоверно только одно: пшеницу в наших местах сеять отныне будет невыгодно, а выгодно будет сеять некий новый питательный злак с универсальными, как он выразился, свойствами. Вот в этих мешках

содержатся семена, и с сегодняшнего дня их начнут распределять между фермами округи. «А откуда мешки?» — спросил я. «Доставлены», — ответил он веско. Я превозмог робость и осведомился, кто их доставил. «Официальные лица», — сказал он, выбрался из-за стола, извинился и развинченной своей походкой удалился в кабинет мэра. Я зашел в канцелярию и побеседовал с машинистками и со сторожем. Как это ни странно, они подтвердили почти все слухи о марсианах, но не оставили у меня впечатления подлинной информированности. Ох, уж эти мне слухи! Никто в них не верит, но все их повторяют. Дело доходит до искажения простейших фактов. Вот, например, Полифем и его взорванные мосты. Что было на самом деле? Полифем явился на «пятачок» первым. Его увидели из окна и пригласили в канцелярию починить пишущую машинку. Пока он трудился, развлекая девиц рассказами о том, как ему оторвало ногу, в канцелярию вошел господин мэр, постоял, послушал с задумчивым видом, произнес загадочную фразу: «Да, господа, мосты, видимо, сожжены», — и вернулся в свой кабинет, откуда немедленно потребовал бутерброды с сардинами и бутылку фаргосского пива. А Полифем растолковал девицам, что мосты обыкновенно уничтожают за собой при отступлении, дабы воспрепятствовать продвижению противника. Остальное понятно. Глупость какая! Я счел своим долгом объяснить служащим мэрии, что таинственная фраза господина мэра означает всего-навсего: решение принято бесповоротно. Естественно, на всех лицах изобразилось сразу же облегчение, смешанное, впрочем, с некоторым разочарованием.

На «пятачке» никого не оказалось, Пандарей всех разогнал. Почти совсем уже успокоившись, я направился к Ахиллесу рассказать о новых моих приобретениях и прощупать почву относительно архитектурной серии: может быть, он возьмет гашеную, раз чистую все равно не достать. Ведь берет же он с наклейками. Однако Ахиллес тоже находился под гнетом распространившихся слухов. На мое предложение он рассеянно ответил, что подумает, и тут же, сам того не заметив, подал мне блестящую идею. «Марсиане, — сказал он, — новая власть. А ты знаешь, Феб, новая власть — новые марки». Я поразился, как эта простая мысль не пришла мне в голову самому. Действительно, если бы слухи были хоть отчасти верны, то первой же разумной акцией этих мифических марсиан был бы выпуск новых, своих марок или по крайней мере надпечатывание наших старых. Я торопливо простился с Ахиллесом и прямиком направился на почту. Ну конечно же, никакой корреспонденции с новыми марками не поступало и вообще ничего нового на почте не было. Когда мы, наконец, отучимся верить слухам? Ведь хорошо известно, что Марс обладает

чрезвычайно разреженной атмосферой, климат его чрезмерно суров и почти отсутствует вода, являющаяся основой всей жизни. Мифы о каналах давно и решительно развенчаны, ибо каналы оказались не чем иным, как оптическим обманом. Короче говоря, все это напоминает мне панику в позапрошлом году, когда одноногий Полифем бегал по городу с дробовиком и кричал, что из столичного зоопарка бежал гигантский тритон-людоед. Миртил тогда ухитрился вывезти весь дом и не решался вернуться в город две недели.

Сумеречный разум моих необразованных сограждан, убаюканный монотонной жизнью, при малейших колебаниях рождает поистине фантастические призраки. Наш мир подобен погруженному в ночной сон курятнику, где стоит лишь нечаянно коснуться перышка какой-нибудь пеструшки, дремлющей на шестке, как все приходит в неописуемое волнение, мечется, кудахчет и разбрасывает помет во все стороны. А по-моему, жизнь и без того достаточно беспокойна. Всем нам следовало бы беречь свои нервы. Я читал, что слухи опасны для здоровья в гораздо большей степени, чем даже курение. Автор доказывал это с цифрами в руках. Там еще было написано, что сила воздействия панического слуха прямо пропорциональна невежеству масс, и это верно, хотя должен признаться, что даже самые образованные из нас удивительно легко поддаются общему настроению и готовы мчаться куда глаза глядят вместе с обезумевшей толпой.

Все это я намерен был рассказать нашим, когда по дороге в трактир заметил, что на «пятачке» вновь собралась толпа. Я повернул туда и убедился, что слухи уже оказали свое разрушительное действие. Моих рассуждений и слушать никто не стал. Все были возбуждены сверх всякой меры, а ветераны потрясали оружием, которое не успели должным образом освободить от смазки и которое сильно пачкало их одежду, равно как и платье окружающих. Выяснилось, что из казарм восемьдесят восьмого пехотного полка пришли в увольнение солдаты и рассказали нечто несообразное.

Позапрошлой ночью полк был поднят по тревоге и в течение некоторого времени, а именно до утра, в полной боевой готовности просидел в бронетранспортерах и грузовиках на плацу. Утром тревогу отменили, и вчерашний день прошел обычным порядком. Этой ночью все повторилось — с той, однако, разницей, что утром в казармы прибыл на вертолете полковник генерального штаба, приказал выстроить полк в каре и, не вылезая из вертолета, произнес длинную, совершенно непонятную речь, после чего улетел, и тогда полк почти целиком распустили в

увольнение. Надо сказать, что солдаты, успевшие уже изрядно подзаправиться у Япета, говорили крайне невнятно и то и дело начинали известную неприличную песню «Ниоба-Ниобея, нисколько не робея...». Однако было ясно, что в речи полковника генерального штаба о марсианах не было сказано ни слова. Полковник говорил, собственно, только о двух вещах — о патриотическом долге солдата и о его желудочном соке, причем каким-то неуловимым образом связывал эти два понятия воедино. Сами солдаты во всех этих тонкостях не разобрались, но поняли твердо, что всякий, кто с нынешнего утра будет пойман сержантом с жевательной резинкой «нарко» или с сигаретой «опи», немедленно загремит в карцер на десять суток и будет там сгноен. Сразу после отлета полковника командир полка, не распуская каре, приказал младшим офицерам и сержантам произвести в казармах тщательные обыски на предмет изъятия всех сигарет и жевательных резинок, содержащих тонизирующие вещества. Больше солдаты ничего не знали, да и знать не хотели. Крепко обняв друг друга за плечи, они с таким угрожающим видом грянули: «Ниоба-Ниобея, скучаю по тебе я», что мы поспешно расступились и выпустили их.

Тут Полифем со своим костылем и дробовиком взгромоздился на скамейку и заорал, что генералы нас предали, что кругом шпионы и что настоящие патриоты должны сплотиться вокруг знамени, поскольку патриотизм и так далее. Этот Полифем жить не может без патриотизма. Без ноги он жить может, а вот без патриотизма у него не получается. Когда он охрип и замолчал, чтобы перекурить, я попытался все-таки как-то вразумить наших и стал рассказывать, что жизни на Марсе нет и быть не может, всё это выдумки. Однако говорить мне опять не дали. Сначала Морфей сунул мне под нос утреннюю столичную газету с большой статьей «Есть ли жизнь на Марсе?». В этой статье все прежние научные данные подвергались ироническому сомнению, а когда я, не растерявшись, попробовал дискутировать, Полифем протиснулся ко мне, схватил меня за ворот и грозно захрипел: «Бдительность усыпляешь, зараза? Шпион марсианский, дерьмо плешивое! К стенке тебя!» Я не могу, когда со мной так обращаются. У меня началось сердцебиение, и я крикнул полицию. Хулиганство какое! В жизни Полифему этого не прощу. Что он себе воображает! Я вырвался, обозвал его одноногой свиньей и ушел в трактир.

Приятно было убедиться, что патриотические вопли Полифема были противны не только мне. В трактире уже находился кое-кто из наших. Все обсели Кронида-архивариуса, поили его по очереди пивом и выпытывали насчет утреннего посещения марсиан. «Чего там марсиане, — говорил Кронид, с трудом ворочая белками. — Марсиане как марсиане. Одного

зовут Калханд, другого — Элей, оба южане, с такими вот носами...» — «Ну, а машина?» — спрашивали его. «Машина как машина, черная, летает... Нет, не вертолет. Летает, и все. Да что я вам — летчик? Откуда я могу знать, как она летает?..» Я пообедал, дождался, пока от него отстанут, взял две порции джина и подсел к нему. «Насчет пенсий ничего нового не слышно?» — спросил я. Однако Кронид уже ничего не понимал. Глаза у него слезились, он только хлопал, как автомат, рюмку за рюмкой и бормотал: «Марсиане как марсиане, один Калханд, другой Элей... Черные, летают... Нет, не дирижабли... Элей, говорю... Не я, а летчик...» Потом он заснул.

Когда в трактир ввалился Полифем со своей бандой, я демонстративно пошел домой. Миртил так и не уехал. Он снова разбил свою палатку, сидит и варит ужин на газовой плитке. Артемиды дома не было, ушла куда-то, не сказавшись, а Гермиона чистила ковры. Чтобы успокоиться, я занялся реставрацией марок. Приятно все-таки думать, какого мастерства я достиг. Не знаю, способен ли кто-нибудь отличить мой наведенный клей от настоящего. Во всяком случае, Ахиллес не способен.

Теперь о сегодняшних газетах. Удивительные нынче газеты. Почти все полосы заняты рассуждениями различных медиков о разумных режимах питания. С каким-то противоестественным негодованием говорится о медицинских препаратах, содержащих опий, морфий и кофеин. Что же, если у меня теперь заболит печень, я должен терпеть? Ни в одной газете нет филателистического отдела, о футболе — ни слова, зато все газеты перепечатывают гигантскую, совершенно бессодержательную статью о значении желудочного сока. Можно подумать, что я и без них не знаю, какое значение имеет желудочный сок. Ни одной телеграммы из-за границы, ни слова о последствиях эмбарго — завели глупую дискуссию о пшенице, в пшенице, мол, не хватает витаминов, пшеница, мол, слишком легко поражается вредителями, а некий Марсий, магистр сельскохозяйственных наук, договорился до того, что тысячелетняя история культивирования пшеницы и других полезных злаков (овса, кукурузы, маиса) является всемирной ошибкой человечества, каковую ошибку, впрочем, еще не поздно исправить. Я в пшенице ничего не понимаю, специалистам виднее, но статья написана в недопустимо критиканском, я бы сказал, в подрывном тоне. Сразу видно, что этот Марсий — типичный южанин, нигилист и крикун.

Вот уже двенадцать часов, а Артемиды все нет. И домой она не вернулась, и в саду ее не видно, а между тем на улицах полно пьяных солдат. Могла хотя бы позвонить, где находится. Я все жду — придет Гермиона и спросит, что происходит с Артемидой. Представления не имею,

как я буду отвечать. Не люблю я таких разговоров, не выношу. Спрашивается, в кого у меня такая дочь? Покойница была очень скромная женщина, единственный раз только она увлеклась городским архитектором, но увлечение это было — две-три записочки, одно письмо. И сам я никогда не был кобелем, как выразился бы Полифем. До сих пор с ужасом вспоминаю свой визит к мадам Персефоне. Нет, такое времяпрепровождение не для цивилизованного человека. Все-таки любовь, даже самая что ни на есть плотская, — это таинство, и заниматься любовью в компании даже хорошо знакомых и доброжелательных людей совсем не так увлекательно, как это описывается в некоторых книгах. Упаси бог, я, конечно же, не думаю, что моя Артемида предается сейчас вакхическим пляскам среди бутылок, но она могла бы по крайней мере позвонить. Можно только удивляться глупости моего зятя. Я бы на его месте давно вернулся.

Я совсем уже собрался было закрыть дневник и отправиться спать, когда в голову мне пришла следующая мысль. А Харон ведь, по-видимому, недаром так задержался в Марафинах. Страшно подумать, но я, кажется, догадываюсь, в чем тут дело. Неужели же они решились? Я вспоминаю сейчас все эти сборища под моей крышей, этих его странных приятелей с вульгарными привычками и скверными манерами — какие-то механики с грубыми голосами, пьющие виски без сельтерской и курящие отвратительные дешевые сигары; какие-то стриженые крикуны с болезненным цветом лица, щеголяющие в джинсах и пестрых рубахах, никогда не вытирающие ноги в передней; и все их разговоры о всемирном правительстве, о какой-то технократии, об этих немыслимых «измах», органическое неприятие всего, что гарантирует мирному человеку покой и безопасность; я вспоминаю и понимаю теперь, что произошло. Да, мой зять и его сообщники были экстремистами, и вот они выступили. Все эти разговоры о марсианах — это, конечно, искаженные отголоски истинных событий. Заговорщики всегда обожали громкое, таинственно звучащее слово, и не исключено, что теперь они называют себя «марсианами», или каким-нибудь «обществом по благоустройству планеты Марс», или, скажем, «марсианским возрождением». Даже то, что магистр сельскохозяйственных наук носит имя Марсий, звучит для меня многозначительно: вполне вероятно, он является главой переворота. Что остается непонятным, так это неприязнь путчистов к пшенице и нелепая их заинтересованность в желудочном соке. Наверное, это просто отвлекающий маневр для того, чтобы сбить с толку общественность.

Конечно, я плохо разбираюсь в путчах и революциях, мне трудно

найти объяснение всему, что сейчас происходит, но я знаю одно. Когда нас гнали, как баранов, замерзать в окопах, когда черные рубашки лапали наших жен на наших же постелях, где вы были тогда, господа экстремисты? Тоже навешивали на себя значки и орали: «Да здравствует вождь!» Если вам так нравятся перевороты, почему вы делаете их всегда не вовремя? Кому вы сейчас нужны с вашими переворотами? Мне? Или Миртилу? Или, может быть, Ахиллесу? Почему вы не оставите нас в покое? Все вы, господа, унтер-офицеры, и ничем вы не лучше дурака-патриота Полифема.

Экзема, дрянь, замучила. Чешусь, как обезьяна на ярмарке, никакие капли не помогают, никакие мази. Врут все аптекари. Никакие лекарства мне не нужны. Покой мне нужен, вот что!

Если у Харона достанет ума не остаться в задних рядах, первый разряд мне обеспечен.

5 ИЮНЯ

Этой ночью спал плохо. Сначала разбудила Артемида, которая явилась только в час пополуночи вся в запудренных пятнах. Я совсем решился поговорить с нею начистоту, но ничего не вышло: она меня поцеловала и заперлась в своей спальне. Пришлось принять снотворное, чтобы успокоиться. Задремал, приснилась какая-то ерунда. А в четыре часа утра я был опять разбужен, на этот раз Хароном. Все спят, а он разговаривает громко, на весь дом, словно, кроме него, здесь никого нет. Я накинул халат и вышел в гостиную. Господи, на него смотреть было страшно. Я сразу понял, что переворот не удался.

Он сидел за столом, жадно поедал все, что ему приносила заспанная Артемида, и тут же на столе, прямо на скатерти, были разложены замасленные части какого-то огнестрельного оружия. Он был небрит, глаза у него были красные, воспаленные, волосы взлохмачены и торчали слипшимися космами, и за едой он чавкал, как золотарь. Он был без пиджака и, надо полагать, именно в таком виде заявился в дом. Ничего в нем не осталось от главного редактора небольшой, но респектабельной газеты. Сорочка на нем была разорвана и выпачкана землей, руки грязные, с обломанными ногтями, а на груди виднелись ужасные вспухшие царапины. Поздороваться со мной он и не подумал, только глянул сумасшедшими глазами и пробормотал, давясь пищей: «Дождались, сволочи!» Я пропустил это дикое приветствие мимо ушей, потому что видел: человек не в себе, но сердце у меня упало, и ноги ослабели так, что я вынужден был тут же присесть на диван. И Артемида была сильно испугана, хотя всячески старалась это скрыть. Припудриться со сна она не успела, и Никостратовы пятна были совершенно на виду. Но Харон не обращал на это никакого внимания, а только гаркал на всю округу: «Хлеба!», или: «Бренди, черт подери!», или: «Где горчица, Арта? Я уже двадцать раз просил!» Никакого разговора в обычном смысле этого слова у нас не получилось. Тщетно стараясь преодолеть сердцебиение, я спросил Харона, как он съездил. В ответ он прорычал совершенно невразумительно, что съездил он по морде, да, видно, не тому, кому следовало. Я попытался переменить тему, направить разговор в более мирное русло и осведомился насчет погоды в Марафинах. Он посмотрел на меня, как будто я его смертельно оскорбил, и только прорычал в тарелку: «Идиоты безмозглые...» Решительно нельзя было с ним разговаривать. Он все время

ругался последними словами — и когда ужинал, и потом, когда, отодвинув локтем тарелки, принялся ободранными руками собирать свое оружие. Хорошо еще, что Гермиона спит так крепко, она не присутствовала при этой сцене, она не переносит грубости. Все у него были сволочи, и я никак не мог понять, что произошло. В общем, выходило так, что «вся эта сволочь докатилась в своем сволочизме до того, что теперь любая распоследняя сволочь может делать со всей этой сволочью что угодно, и никакая сволочь пальцем не пошевелит, чтобы помешать всей этой сволочи заниматься любым дерьмом». Бедняжка Артемида стояла за его плечом, ломая пальцы, и слезы бежали по ее щекам. Время от времени она умоляюще взглядывала на меня, но что я мог сделать? Мне самому нужна была помощь, у меня словно пелена какая-то стояла перед глазами от нервного напряжения. Ни на минуту не переставая ругаться, он собрал свое оружие (это оказался современный армейский автомат), вставил обойму и тяжело поднялся на ноги, сбросив на пол две тарелки. Артемида, моя бедная девочка, с бледным, без кровинки лицом так и потянулась к нему, и тогда он, казалось, немного смягчился. «Ну-ну, малыш, — сказал он, перестав ругаться и неловко обнимая ее за плечи, — я мог бы взять тебя с собой, да только вряд ли это тебя обрадует. Я ведь знаю тебя как облупленную».

Даже я ощутил мучительную необходимость, чтобы Артемида нашла сейчас какие-то нужные слова. И, словно уловив мою телепатему, девочка, заливаясь слезами, задала ему главный, по моему мнению, вопрос: «Что же теперь с нами будет?» Я сразу понял, что с Хароновой точки зрения это были далеко не самые нужные слова. Он сунул автомат под мышку, похлопал Артемиду по заду и, неприятно оскалясь, сказал: «Не беспокойся, детка, ничего нового с тобой не будет», — после чего направился прямо к выходу. Но я не мог ему позволить уйти просто так, не давши никаких объяснений. «Одну минутку, Харон, — сказал я, превозмогая слабость. — Что же теперь будет? Что с нами сделают?» Этот мой естественный вопрос привел его в неописуемую ярость. Он остановился на пороге, повернулся вполоборота и, как-то болезненно дергая коленом, прошипел сквозь зубы следующие странные слова: «Хоть бы одна сволочь спросила, что она ДОЛЖНА делать. Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что С НЕЙ будут делать. Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле». После этого он вышел, громко хлопнув дверью, и через минуту на улице заворчал, удаляясь, его автомобиль.

Следующий час прошел словно в аду. У Артемиды началось нечто вроде истерики, хотя больше это напоминало приступ неудержимого

бешенства. Она перебила всю посуду, оставшуюся на столе, сорвала и швырнула в телевизор скатерть, стучала кулаками в дверь и сдавленным голосом кричала что-то вроде: «Так я для тебя дура?.. Дура я для тебя, да?.. А ты?.. А ты... Да наплевать мне на тебя... Ты как хочешь, и я как хочу!.. Понял?.. Понял?.. Понял?.. Еще прибежишь, еще на коленях!..» Наверное, надо было дать ей воды, отшлепать ее по щекам и все такое, но я сам был распростерт на диване, и не было никого, кто бы принес мне таблетку валидола. Кончилось тем, что Артемида умчалась к себе, не обратив на меня никакого внимания, а я, отлежавшись немного, дополз до кровати и забылся в каком-то полуобмороке.

Утро выдалось пасмурное, дождливое. (Температура плюс семнадцать, облачность десять баллов, ветра нет.) Объяснение Артемиды с Гермионой по поводу беспорядка в гостиной я, к счастью, проспал. Знаю только, что был скандал и обе ходят надутые. На лице Гермионы, когда она подавала кофе, явственно обозначилось намерение закатить выговор и мне, однако она промолчала. Вероятно, я очень плохо выгляжу, а она женщина добрая, за что я ее и ценю. После кофе я собрался было с силами сходить на «пятачок», но тут является мальчишка-рассыльный и приносит мне так называемую повестку, подписанную Полифемом. Оказывается, я рядовой член «Добровольной Городской Антимарсианской Дружины», и мне уже предписывается «прибыть к десяти часам утра на площадь Согласия, имея при себе огнестрельное либо холодное оружие и запас пищи на три дня». Да что я ему, молокосос какой-нибудь? Разумеется, я из принципа никуда не пошел. От Миртила, который все еще живет в палатке, я узнал, что с самого рассвета в мэрию прибывают фермеры, забирают там мешки с семенами нового злака и везут их к себе на поля. Якобы урожай пшеницы, обреченный на уничтожение, скупается правительством на корню на выгодных условиях, вручается также задаток за урожай нового злака. Фермеры подозревают во всем этом очередную аграрную аферу, но поскольку с них не требуют ни денег, ни письменных обязательств, не знают, что и подумать. Миртил уверяет (меня!), что никаких марсианцев нет, потому что жизнь на Марсе невозможна, а есть просто новая аграрная политика. Однако выехать из города он готов в любой момент и на всякий случай тоже взял себе мешок семян. В газетах, как и вчера, одна пшеница и желудочный сок. Если так пойдет дальше, я откажусь от подписки. По радио — тоже пшеница и желудочный сок, я уже не включаю, а смотрю только телевизор, где все как было до путча. Господин Никострат приехал на машине, Артемида выскочила ему навстречу, и они укатили. Не желаю об этом думать. Может быть, это судьба, в конце концов.

Поскольку болтовня о пшенице и этом желудочном соке не прекращается, путч, по-видимому, все-таки удался. Харон же, по свойственной ему неуживчивости, не получил того, на что рассчитывал, со всеми там рассорился и оказался в оппозиции. Боюсь, что из-за него у нас еще будут неприятности. Когда такие сумасшедшие, как Харон, берутся за автомат, они стреляют. Боже мой, настанет ли когда-нибудь время, когда у меня не будет неприятностей?

6 ИЮНЯ

Температура плюс шестнадцать, облачность девять баллов, ветер юго-западный, шесть метров в секунду. Исправил анемометр.

Экзема совсем замучила, приходится бинтовать руки. Вдобавок ноют обмороженные уши — наверное, к перемене погоды.

Марсиане так марсиане. Надоело мне об этом спорить.

7 ИЮНЯ

Глаз до сих пор болит, заплыл и ничего не видит. Хорошо, что это левый глаз. Примочки Ахиллеса помогают лишь отчасти. Ахиллес говорит, что синяк будет заметен не менее недели. Сейчас он красно-синий, потом сделается зеленым, потом пожелтеет и исчезнет совсем. Какая все-таки жестокость, какое бескультурье! Ударить пожилого человека, всего лишь собиравшегося задать невинный вопрос. Если марсиане начинают с этого, то я не знаю, чем они кончат. И жаловаться некому, одно только и остается делать — ждать прояснения обстановки. Глаз так болит, что страшно даже вспомнить, как я радовался сегодняшнему безмятежному утру. (Температура плюс двадцать, облачность ноль баллов, ветер южный, один метр в секунду.)

Когда, позавтракав, я поднялся на чердак, чтобы произвести метеорологические наблюдения, я с некоторым удивлением заметил, что поля за городом приняли определенно синеватый оттенок. Вдали поля до такой степени сливались с лазурью неба, что линия горизонта как таковая была совершенно размыта, хотя прозрачность воздуха была очень хороша и всякая дымка отсутствовала. Эти новые марсианские семена взошли удивительно быстро. Надо ожидать, что не сегодня-завтра они окончательно забьют пшеницу.

Придя на площадь, я обнаружил, что почти все наши, а также огромное количество прочих обывателей, которым надлежало бы сейчас быть на работе, фермеры, а также школьники, которым надлежало бы заниматься играми, столпились вокруг трех больших автофургонов, украшенных разноцветными плакатами и рекламными картинками. Я подумал было, что это бродячий цирк, тем более что рекламы предлагали полюбоваться несравненными канатоходцами и другими обыкновенными героями манежа, однако Морфей, стоявший здесь уже давно, объяснил мне, что никакой это не цирк, а передвижные донорские пункты. Внутри там помещаются специальные насосы с кишками, и при каждом насосе сидит здоровенный детина в докторском халате, который предлагает каждому, кто заходит, отсосать излишки и дает удивительную цену: пятерку за стакан. «Какие излишки?» — спросил я. Оказалось, что излишки желудочного сока. Весь мир помешался на желудочном соке.

«Неужели это марсиане?» — спросил я. «Какие там марсиане, — сказал Морфей. — Здоровенные волосатые парни. Один кривой». — «Ну и

что же, что кривой? — естественно, возразил я. — Представитель любой расы, будь то на Земле или на Марсе, если ему повредят один глаз, становится кривым». Тогда я еще не знал, что эти мои слова являются пророчеством. Просто меня раздражало самомнение Морфея. «В жизни не слыхал о кривых марсианах», — заявил он.

Публика вокруг прислушивалась к нашему разговору, и он в приступе тщеславия счел необходимым поддержать свое сомнительное реноме дискуссионера. А ведь ничего в этом предмете не смыслит! «Никакие это не марсиане, — заявляет он. — Обыкновенные ребята из столичных пригородов. Там таких дюжина на каждый трактир». — «Наши сведения о Марсе настолько скудны, — спокойно говорю я, — что предположение, будто марсиане похожи на парней из пригородных трактиров, во всяком случае, не противоречит никакой научной истине». — «Это точно, — вмешивается стоящий рядом незнакомый фермер. — Это вы очень убедительно сказали, господин-не-знаю-как-вас-величать. У этого кривого руки по локоть в татуировке, и все голые бабы. Как засучил он рукава да как подошел ко мне с этой кишкой — нет, думаю, ни к чему нам это». — «Так что говорит наука насчет татуировки у марсиан?» — ехидно спрашивает Морфей. Это он хотел меня уколоть. Дешевый прием, от него так и разит парикмахерской. Такими штучками меня не собьешь. «Профессор Зефир, — говорю я, глядя ему прямо в глаза, — главный астроном Марафинской обсерватории, ни в одной из своих многочисленных статей не отрицает такого обыкновения у марсиан». — «Это точно, — подтверждает фермер. — Они в очках, им виднее». И Морфею пришлось все это проглотить. Он пришипился и со словами: «Пива выпить...» — стал выбираться из толпы, а я остался ждать, что будет дальше.

Некоторое время ничего не было. Все только стояли, глазели и тихо переговаривались. Фермеры да торговцы — нерешительный народ. Потом в первых рядах произошло движение. Какой-то сельский житель сорвал вдруг с себя соломенную шляпу, с размаху ударил ее себе под ноги и громко закричал: «Эх! Пять монет — тоже деньги, не так, что ли?» Произнеся эти слова, он решительно поднялся по ступенькам деревянной лестнички и просунулся в дверь фургона, так что нам осталась видна лишь задняя половина его туловища, вся в пыли и в репьях. Что он там говорил и о чем спрашивал — за дальностью расстояния осталось неизвестным. Я видел только, что вначале поза его была напряженной, затем он как бы расслабился, принялся переступать ногами, сунул руки в карманы и, подавшись назад, покачал головой. Затем он, ни на кого не глядя,

осторожно опустился на землю, подобрал свою шляпу и, тщательно отряхнув ее от пыли, смешался с толпой. В двери же фургона возник человек действительно очень большого роста и действительно кривой на один глаз. Если бы не белый халат, он со своей черной повязкой через лицо, небритой щетиной и волосатыми татуированными руками вполне сошел бы за преступного обитателя трущоб. Мрачно оглядев нас, он неторопливо опустил завернутые рукава, вытащил сигарету и, закурив, произнес грубым голосом: «А ну, заходи! Пять монет дается. За каждый стаканчик пять монет. Деньги ведь! Наличными. Ты за пять монет сколько горб ломать должен? А здесь проглотил кишку, и вся недолга! Ну?!» Я смотрел на него и не мог надивиться близорукости администрации. Да как же можно рассчитывать, что обыватель, и даже фермер, согласится доверить свой организм такому громиле? Я выбрался из толпы и пошел на «пятачок».

Все наши были уже там, все с дробовиками, а некоторые и с белыми повязками на рукавах. Полифем напялил старую военную фуражку и, обливаясь потом, произносил речь со скамейки. У него выходило, что злодеяния марсиан стали уже абсолютно нестерпимыми, и что все патриоты стонут и обливаются кровью под их игом, и что пришла, наконец, пора дать настоящий отпор. А виною всему, утверждал Полифем, являются дезертиры и предатели вроде толстозадых зажравшихся генералов, аптекаря Ахиллеса, труса Миртила и этого отступника Аполлона.

В глазах у меня потемнело, когда я услыхал последние слова. Я совершенно потерял дар речи и опомнился, только заметив, что никто, кроме меня, Полифема не слушает. Все, оказывается, слушали не одноногого дурака, а Силена, который только что вернулся из мэрии и рассказывал, будто налоги впредь будут взиматься исключительно желудочным соком и что из Марафин пришло указание, приравнивающее отныне желудочный сок к обычным денежным единицам. Желудочный сок якобы будет теперь иметь хождение наравне с деньгами и все банки и сберегательные кассы готовы обменивать его на валюту. Желчный Парал сейчас же заметил: «Окончательно докатились. Золотой запасец порастранжирили и теперь желудочным соком деньги обеспечить пытаются». — «Как же это так? — сказал Димант. — Не понимаю. Это что же, теперь нужно будет посуду специальную заводить, вроде кошельков? А если я им воды вместо сока принесу?» — «Слушай, Силен, — сказал Морфей. — Я тебе десятку должен. Соком возьмешь?» Очень он оживился, вечно ему денег не хватало на выпивку, вечно он пил за чужой счет. «Хорошие времена, старички! — воскликнул он. — Захочется мне, например, выпить, иду это я в банк, выделяю им излишки, получаю

наличными и — в трактир». Тут Полифем снова заорал. «Купили вас! — орал он. — Продались марсианам за желудочный сок! Вы тут продались, а они вон по городу разъезжают, как по своему Марсу!»

И действительно, через площадь, медленно и совсем не производя никакого шума, двигалась очень странная машина черного цвета, словно бы вовсе без колес, без окон и без дверей. За нею с криками и свистом бежали мальчишки из пятого «Б» класса, некоторые пытались прицепиться к ней сзади, но она была совершенно гладкая, как рояль, и прицепиться им было не за что. Очень необычная машина. «Неужели она действительно марсианская?» — спросил я. «Ну, а чья же еще? — раздраженно сказал Полифем. — Твоя, что ли?» — «Никто не говорит, что моя, — возразил я ему. — Мало ли машин на свете, что же, они все марсианские?» — «А я и не говорю, что все, требуха ты старая! — заорал Полифем. — Я говорю, марсиане, гады, разъезжают по городу, как у себя дома! А вы тут все продались!» Я только плечами пожал, не желая связываться, а Силен очень рассудительно ответил ему: «Извини, Полифем, но твои крики начинают меня утомлять. И не одного меня. По-моему, мы все исполнили свой долг. Мы вступили в дружину, мы почистили оружие, что же еще, спрашивается?» — «Патрули! Патрули нужны! — с надрывом сказал Полифем. — Дороги надо перекрывать! Не пропускать марсиан в город!» — «Да как же ты их не пропустишь?» — «Да черт бы тебя подрал, Силен! Как не пропустишь? Очень просто! Стой, кто идет? Буду стрелять! И пали!» Не могу я этого слушать. Не человек, а казарма. «Ну, может, создадим патрули? — сказал Димант. — Трудно нам, что ли?» — «Это не наше дело, — решительно сказал я. — Пусть вот Силен подтвердит, что это незаконно. На это есть армия. Пускай она и занимается патрулями и всякой стрельбой».

Не выношу я этих военных игр, и в особенности если командует Полифем. Садизм какой-то. Были, помню, у нас в городе противоатомные учения, так он для полной имитации разбросал везде дымовые шашки, чтобы никто не манкировал противогазами. Сколько людей отравилось — это же кошмар. Он же унтер-офицер, ему ничего поручать нельзя. Или однажды приперся в школу на урок гимнастики, преподавателя изругал последними словами и принялся на своей ноге показывать ребятишкам строевой шаг. Ведь если его в патруль поставить, он будет палить из своего дробовика по каждому, пока в город продовольствие подвозить не перестанут. Он и по марсианам, пожалуй, шарахнет, чего доброго, а те в отместку возьмут и город сожгут. Но наше старичье как дети, ей-богу. В патрули так в патрули. Плюнул я демонстративно и пошел в мэрию.

Господин Никострат полировал ногти и на мои стесненные вопросы ответил примерно так. Финансовая политика правительства в новых условиях несколько меняется. Большую роль в денежном обращении будет теперь играть так называемый желудочный сок. Следует ожидать, что в ближайшее время указанный сок начнет иметь хождение наравне с деньгами. Специального распоряжения о пенсиях пока нет, но есть веские основания полагать, что раз налоги принимаются так называемым желудочным соком, то и пенсии будут выплачиваться все тем же так называемым желудочным соком. Сердце у меня упало, но я собрался с духом и прямо спросил господина Никострата, нельзя ли понимать его слова так, что этот так называемый желудочный сок не является собственно желудочным соком, а представляет собой некий символ новой финансовой политики. Господин Никострат неопределенно пожал плечами и, продолжая рассматривать ногти, произнес: «Желудочный сок, господин Аполлон, это желудочный сок». — «Зачем же мне желудочный сок?» — спросил я в полном отчаянии. Он вторично пожал плечами и заметил: «Вы же прекрасно знаете, что желудочный сок необходим каждому человеку». Мне было абсолютно ясно, что господин Никострат либо врет, либо чего-то недоговаривает. Я так отчаялся, что потребовал свидания с господином мэром. Но мне было отказано. Тогда я покинул мэрию и записался в патруль.

Если человеку, беспорочно проработавшему тридцать лет на ниве народного просвещения, предлагают в награду пузырек желудочного сока, то этот человек вправе демонстрировать любую степень негодования. Марсиане тут виноваты или не марсиане — не имеет решительно никакого значения. Я не выношу никаких анархических действий, но за свои права готов драться с оружием в руках. И хотя всем понятно, что протест мой носит чисто символический характер, пусть они об этом задумаются, пусть они знают, что имеют дело не с тварью бессловесной. Конечно, если бы донорские пункты стали у нас системой и если бы банк и сберегательная касса действительно принимали бы желудочный сок в обмен на валюту, я отнесся бы ко всему этому иначе. Однако о банках и сберкассах рассказывал один только Силен, и это пока всего лишь неподтвержденный слух. А что касается донорских пунктов, то Морфей, записавшись в патруль и решив немедленно спрыснуть это дело, отдал себя в руки кривого громилы, вернулся с красными слезящимися глазами и, показав нам новенькую, хрустящую пятерку, сообщил, что фургоны сейчас уезжают. Значит, ни о какой системе не может быть и речи: приехали и уехали. Успел сдать излишки — хорошо, не успел — пеняй на себя. По-

моему, это возмутительно.

Полифем назначил меня в паре с заикой Калаидом патрулировать площадь Согласия и прилегающие к ней улицы с двенадцати до двух часов ночи. Выдав нам удостоверения, написанные от руки Силеном, он растроганно похлопал меня по плечу и сказал: «Старая гвардия! Что бы эти дерьмовые шпаки делали без нас, Феб? Я знал, что в решительный час ты будешь рядом». Мы обнялись и прослезились оба. В сущности, ведь Полифем неплохой человек, просто он любит, чтобы ему подчинялись беспрекословно. Вполне понятное желание. Я попросил у него разрешения быть свободным и направился к Ахиллесу. Патруль патрулем, а на всякий случай следовало предпринять кое-какие меры. Что такое желудочный сок, спрашивал я Ахиллеса. Кому он может понадобиться? На что он годен? Ахиллес сказал, что этот сок нужен для успешного переваривания пищи и, пожалуй, больше ни для чего. Это я и без него знал. «Скоро я смогу предложить тебе большую партию так называемого желудочного сока, — сказал я. — Может быть, возьмешь?» Он ответил, что подумает, и тут же предложил обменять мой неполный «зоосад» на беззубцовую авиапочту двадцать восьмого года. Ничего не скажешь, беззубцовочка эта — вещь уникальная, но у Ахиллеса она с двумя наклейками и с каким-то сальным пятном. Не знаю, не знаю.

Выйдя из аптеки, я снова увидел марсианскую машину. Возможно, это была та самая машина, а может быть, и другая. Нарушая все правила уличного движения, она плыла посередине улицы, двигаясь, правда, со скоростью пешехода, так что я имел возможность хорошо ее рассмотреть — я шел в трактир, и нам было по пути. Самое первое мое впечатление оказалось совершенно правильным: более всего машина походила на очень запыленный рояль обтекаемой формы. Время от времени под нею что-то вспыхивало, и она слегка подпрыгивала, но это, видимо, не было неисправностью, потому что она продолжала неуклонно продвигаться вперед, не останавливаясь ни на секунду. Ни окон, ни дверей различить было нельзя даже с близкого расстояния, но больше всего меня поражало отсутствие колес. Правда, мое сложение не позволяло мне нагнуться достаточно низко, чтобы заглянуть под днище. Вероятно, там все-таки были колеса — не может же быть, чтобы так уж ни одного колеса не было.

Неожиданно машина остановилась. И конечно же, она остановилась перед особняком господина Лаомедонта. Помнится, я с горечью подумал: ведь есть же на свете люди, для которых новый ли президент, старый ли президент, марсиане или кто-нибудь еще — не составляет никакой разницы. Всегда, думал я, любая власть относится к ним с уважением и

вниманием, которого они отнюдь не заслуживают и даже, если говорить об уважении, наоборот. Однако произошло нечто совершенно неожиданное. Справедливо полагая, что из машины сейчас кто-то выйдет и я увижу, наконец, живого марсианина, я остановился в сторонке и стал наблюдать вместе с другими обывателями, ход мыслей которых совпадал, по-видимому, с моим. К нашему изумлению и разочарованию, из машины, однако, вышли вовсе не марсиане, а какие-то приличные молодые люди в узких пальто и одинаковых беретах. Трое из них подошли к парадному входу и позвонили, а двое в свободных позах, засунув руки глубоко в карманы своих пальто, расположились рядом с машиной, опершись на нее разными частями тела. Парадная дверь открылась, трое вошли внутрь, и оттуда сейчас же донеслись странные, не очень громкие звуки, словно кто-то один принялся там небрежно передвигать мебель, а другие стали размеренными ударами выбивать ковер. Двое, оставшиеся возле машины, не обращали на эти звуки никакого внимания. Они пребывали в прежних позах, один рассеянно смотрел вдоль улицы, а другой, позевывая, разглядывал верхний этаж особняка. Не переменили они позу и через минуту, когда из парадной двери медленно и осторожно, как слепой, вышел мой обидчик, шофер господина Лаомедонта. Лицо его было бледно, рот широко раскрыт, глаза выпучены и стеклянны, а обе руки он крепко прижимал к животу. Сойдя на тротуар, он прошел несколько шагов, с кряхтением сел, посидел немного, сутулясь все больше и больше, а затем повалился на бок, скорчился, перебрал ногами и замер неподвижно. Должен признаться, что сначала я ничего не понял. Все происходило так неторопливо, в такой спокойной деловой обстановке, на фоне такого обычного городского шума, что у меня невольно возникло и укрепилось ощущение, будто так, собственно, и должно быть. Я не испытывал никакого беспокойства и не искал никаких объяснений. Я так доверял этим молодым людям, таким приличным, таким сдержанным... Вот один из них рассеянно поглядел на лежащего шофера, закурил сигарету и снова стал разглядывать верхний этаж. Мне даже показалось, что он улыбается. Потом послышался топот ног, и из подъезда один за другим вышли: молодой человек в узком пальто, промакивающий губы платочком; господин Лаомедонт в роскошном восточном халате, без шляпы и в наручниках; другой молодой человек в узком пальто, снимающий на ходу перчатки; и наконец, третий молодой человек в узком пальто, нагруженный оружием. Правой рукой он прижимал к груди три или четыре автомата, в левой руке он нес несколько пистолетов, просунув палец сквозь спусковые скобы, и еще на каждом плече у него висело по ручному пулемету. На господина

Лаомедонта я взглянул только один раз, и этого было вполне достаточно — у меня до сих пор сохранилось впечатление чего-то красного, мокрого и липкого. Вся кавалькада неторопливо пересекла тротуар и скрылась в недрах машины. Оставшиеся снаружи двое молодых людей лениво оттолкнулись от полированного борта, подошли к лежащему шоферу, осторожно взяли его за руки и за ноги и, слегка раскачав, бросили в подъезд. Один из них затем извлек из кармана и аккуратно приклеил рядом со звонком какую-то бумагу, после чего машина, не разворачиваясь, с прежней скоростью двинулась в обратном направлении, а оставшиеся молодые люди с самым скромным видом прошли через расступившуюся толпу и скрылись за углом.

Когда я очнулся от столбняка, в который был ввергнут неожиданностью и необычайностью случившегося, и вновь обрел способность размышлять, я ощутил нечто вроде психического потрясения, как если бы передо мною свершилось поворотное действие истории. Я уверен, что нечто подобное пережили и ощутили и остальные свидетели. Мы все сгрудились перед подъездом, но никто не решался войти внутрь. Я надел очки и через головы прочитал прокламацию, наклеенную под звонком. Прокламация гласила: «Наркотики — яд и позор нации! Пришла пора покончить с наркотиками. И мы с ними покончим, а вы нам поможете. Беспощадно покараем тех, кто распространяет наркотики». Будь это кто-нибудь другой, разговоров хватило бы часа на два, а тут все только обменивались междометиями, не в силах побороть еще привычную робость: «Ай-яй-яй-яй...», «Надо же, а!», «Эхе-хе-хе-хе...», «Да, господа, увы!..». Кто-то вызвал полицию и врача. Врач вошел в дом и занялся там шофером. Потом прибыл Пандарей на полицейском вездеходе. Он потоптался на крыльце, несколько раз перечитал прокламацию, почесал в затылке и даже заглянул в двери, но войти струсил, хотя врач раздраженно звал его в самых непочтительных выражениях. Он встал в дверях, расставив ноги, засунув руки за ремень и надувшись, как индюк. С появлением полиции толпа несколько осмелела и заговорила более определенно: «Таким, значит, манером, а?», «Да, что уж тут, все ясно...», «Интересно, интересно, господа!», «В жизни бы не поверил...». Я с тревогой чувствовал, что языки развязываются, и хотел уже уйти, хотя любопытство одолевало меня, но тут Силен обратился к Пандарею с прямым вопросом: «Итак, Пан, закон все-таки восторжествовал? Решились наконец?» Пандарей значительно поджал губы и, поколебавшись, произнес: «Я так полагаю, что это не мы решились». — «Как же это так — не вы? А кто же тогда?» — «Я так полагаю, что это столичная жандармерия», —

громовым шепотом произнес Пандарей, оглядевшись по сторонам. «Какая же это жандармерия? — возразили в толпе. — Жандармерия и вдруг в марсианской машине! Нет, никакая это не жандармерия». — «Так что же это, по-вашему? Сами марсиане, что ли?» Пандарей надулся еще больше и гаркнул: «Эй, кто там про марсиан? Осторожно!» Но на него больше не обращали внимания. Языки развязались окончательно: «Машина, может, и марсианская, да сами они не марсиане, это точно. Повадки у них наши, человеческие», «Верно! Какое, спрашивается, марсианам дело до наркотиков?», «Э, старина, новая метла чисто метет. А до желудочного сока нашего какое им дело?», «Нет, господа, это были не люди. Слишком, понимаете ли, спокойные, слишком молчаливые. Думается мне, что это были сами марсиане. Работают, как машины», «Правильно, машины! Роботы! Зачем марсианам руки пачкать? У них роботы есть». Пандарей, не удержавшись, тоже вмешался с предположением. «Нет, старички, — провозгласил он. — Никакие это не роботы. Это теперь порядок такой. В жандармерию теперь набирают исключительно глухонемых. В целях сохранения государственной тайны». Гипотеза эта вызвала сначала изумление, а затем ядовитые реплики, большей частью очень остроумные, но я запомнил только замечание желчного Парала. Парал выразился в том смысле, что неплохо было бы и в полицию набирать исключительно глухонемых, но не в целях сохранения государственной тайны, а чтобы оградить ни в чем не повинных людей от белиберды, извергаемой на них этими официальными лицами. Расстегнувшийся было Пандарей, конечно, сейчас же раздулся, снова застегнул китель и заорал: «Поговорили — все!» И нам, к сожалению, пришлось разойтись, хотя именно в эту минуту подкатила карета «Скорой помощи». Старый осел так рассвирепел, что мы могли лишь издали наблюдать, как из подъезда выносят изувеченного шофера, а следом, к нашему удивлению, еще два каких-то тела. До сих пор неизвестно, кто были эти двое.

Все наши направились в трактир, и я тоже. За стойкой непринужденно расположились те самые двое молодых людей в узких пальто. Как и прежде, они были спокойны и молчаливы, пили джин и рассеянно смотрели поверх голов. Я заказал себе полный обед и, насыщаясь, наблюдал, как самые любопытные из наших постепенно придвигаются к молодым людям. Смешно было смотреть, как неумело Морфей пытается завести с ними разговор насчет погоды в Марафинах, а Парал, вознамерившись взять быка за рога, предлагает им выпивку. Молодые люди, как бы не видя никого вокруг, исправно поглощали придвигавшиеся к ним напитки, но продолжали хранить бесстрастное молчание. Шутки их

не смешили, намеки их не задевали, а прямых вопросов они словно бы даже и не слышали вовсе. Я не знал, что и думать. Я то восхищался их необычной выдержкой, их полным равнодушием к смешным попыткам втянуть их в разговор, то начинал склоняться к мысли, что это действительно марсианские роботы, что отвратительная внешность марсиан не позволяет им представать перед нами самолично, то подозревал в них самих марсиан, о которых мы, в сущности, до сих пор ничего не знаем. Наши, обнаглев, сгрудились вокруг молодых людей и уже без всякого стеснения обсуждали их личности, а кое-кто осмеливался даже пробовать на ощупь материал их пальто. Все теперь были убеждены, что перед ними роботы. Япет даже начал беспокоиться. Подавая мне бренди, он расстроенно сказал: «Как же так — роботы? Взяли по два джина, по два бренди, две пачки сигарет, а платить кто будет?» Я объяснил ему, что программа робота, предусматривающая потребление напитков и сигарет, без сомнения должна предусматривать и какой-то способ оплаты потребленного. Япет успокоился, но тут у стойки началась драка.

Как потом стало известно, желчный Парал заключил пари с дураком Димантом, что Димант приложит к руке робота горящую сигарету и ничего от этого не случится. Своими же глазами я увидел вот что. Из развлекающейся толпы, подобно пробке из бутылки, вырвался вдруг Димант. Он пролетел спиной вперед через весь зал, мелко суча ногами, опрокидывая столики и встречных, и упал в углу. Не прошло и секунды, как совершенно подобным же образом, но в другом углу, оказался Парал. Наши бросились врассыпную, а я, ничего еще тогда не поняв, увидел, что молодые люди по-прежнему тихо сидят у стойки и задумчиво, одинаковым движением подносят к губам рюмки со спиртным.

Парала и Диманта подняли и оттащили за кулисы приводить в себя. Я взял свой стакан и тоже проследовал за кулисы. Мне захотелось выяснить, что произошло. Я пришел в тот момент, когда Димант уже очнулся и сидел с самым идиотским видом, ощупывая свою грудь. Парал еще не приходил в себя, но уже глотал джин и запивал содовой. Рядом с ним, держа наготове полотенце, стояла служанка, чтобы подвязать ему челюсть, когда он очнется. Там я узнал описанную выше версию инцидента и согласился с остальными, что Парал провокатор, а Димант просто дурак, не лучше Пандарея. Однако, высказав эти разумные соображения, наши ничуть не удовлетворились, а забрали себе в голову, что этого так оставить нельзя. Полифем, державшийся до этого в тени, заявил, что это будет первая боевая акция нашей дружины. Этих молодчиков мы встретим, когда они выйдут из трактира, сказал он и принялся командовать, кто из нас где должен встать и

по какому месту и когда начинать бить. Я немедленно отмежевался от этой затеи. Во-первых, я вообще противник насилия, во мне нет решительно ничего от унтер-офицера. Во-вторых, я не видел тогда за молодыми людьми никакой особенной вины. И наконец, я планировал вовсе не драться с ними, а поговорить о своих делах. Я потихоньку выбрался из-за кулис, вернулся к своему столику, и именно эти мои действия положили начало дальнейшему, столь огорчительному для меня событию.

Впрочем, даже сейчас, когда я гляжу на прожитый день совсем другими глазами, я должен констатировать, что логика моих поступков была и остается безупречной. Молодые люди — не из наших мест, рассуждал я. Тот факт, что они прибыли на марсианской машине, свидетельствует об их, скорее всего, столичном происхождении. Более того, участие их в экзекуции господина Лаомедонта свидетельствует об их несомненной принадлежности к власть имущим: вряд ли против господина Лаомедонта послали бы каких-нибудь рядовых исполнителей. Таким образом, по логике вещей получалось, что молодые люди обязательно должны были быть хорошо осведомлены в новых обстоятельствах и могли сообщить мне многое из того, что меня интересует. Не в моем положении маленького человека, над которым издевается шофер господина Лаомедонта и которого отказывается информировать секретарь мэрии, можно пренебречь случаем получить правдивую информацию. С другой стороны, молодые люди отнюдь не вызывали во мне каких-либо опасений. Тот факт, что они несколько жестоко обошлись с господином Лаомедонтом и его телохранителями, нимало не настораживал меня. Это была их служба, и это был господин Лаомедонт, которому давно уже надлежало воздать по заслугам. Что же до инцидента с Паралом и Димантом, то, господа мои, Димант глуп, и иметь с ним дело невозможно, а Парал кого угодно способен вывести из себя своими желчными остротами. Я не говорю уже о том, что и сам никому не позволил бы называть меня роботом и тем более прижигать мне руку сигаретой.

Поэтому, когда я, допив бренди, направился к молодым людям, я был совершенно уверен в успехе своего предприятия. План предстоящей беседы я продумал во всех деталях, приняв во внимание и род их деятельности, и их настроение в связи с только что имевшим место инцидентом, и их природные, видимо, молчаливость и сдержанность. Вначале я намеревался попросить у них извинения за бездарное поведение моих компатриотов. Далее я представился бы, выразил бы надежду, что не обременяю их своей беседой, посетовал бы на качество бренди, которое Япет частенько доливает дешевыми сортами, и предложил бы им

угоститься из моей персональной бутылки. И только после этого и после того, как мы обсудили бы погоду в Марафинах и в нашем городе, я рассчитывал мягко, деликатно перейти к основному вопросу. Направляясь к ним, я отметил, что один из них занят раскуриванием сигареты, а другой, отвернувшись от стойки, внимательно и, как мне показалось, с интересом следит за моим приближением. Поэтому я решил обратиться именно к нему. Подойдя, я приподнял шляпу и сказал: «Добрый вечер». И тогда этот молодчик сделал какое-то ленивое движение плечом, и тотчас в голове у меня словно разорвалась граната. Ничего не помню. Помню только, что я долгое время лежал за кулисами рядом с Паралом, глотал джин, запивая содовой, и кто-то прикладывал мне к пораженному глазу мокрую холодную салфетку.

И вот теперь я спрашиваю себя: чего же ждать дальше? Никто не вступился за меня, никто не поднял голоса протеста. Все повторяется вновь. Опять молодчики, наводящие ужас, избивают граждан на улицах. А когда Полифем привез меня домой в своей инвалидной малолитражке, дочь моя, равнодушная, как и все остальные, целовалась в саду с господином секретарем. Нет, если бы даже я знал, чем все это кончится, я все равно должен был бы, обязан был бы попытаться завязать с ними беседу. Я был бы более осторожен, я не приближался бы к ним, но от кого еще я могу получить сведения? Я не желаю трястись над каждым медяком, я не способен больше давать уроки через силу, я не хочу продавать дом, в котором прожил столько лет. Я боюсь этого, и я хочу покоя.

8 ИЮНЯ

Температура плюс семнадцать, облачность восемь баллов, ветер южный, 3 метра в секунду. Сижу дома, никуда не выхожу, никого не вижу. Опухоль уменьшилась, и поврежденное место почти не болит, но общий вид все равно безобразен. Весь день рассматривал марки и смотрел телевизор. В городе все по-прежнему. Вчера ночью наша золотая молодежь осадила заведение мадам Персефоны, занятое солдатами. Говорят, было форменное сражение. Поле боя осталось за армией. (Это вам не марсиане.) В газетах ничего особенного. Об эмбарго ни слова, такое впечатление, будто его отменили совсем. Есть странное выступление военного министра, набранное петитом, о том, что наше участие в Боевом Содружестве является бременем для страны и не так уж обоснованно, как это может показаться на первый взгляд. Слава богу, догадался через одиннадцать лет! Но главным образом пишут о фермере по имени Перифант, который замечателен тем, что способен давать до четырех литров желудочного сока в сутки безо всякого вреда для своего организма. Сообщается его трудная биография со многими интимными подробностями, приводятся интервью с ним, и несколько раз передавали сцены из его жизни по телевизору. Плотный грубоватый мужчина сорока пяти лет, без какого-нибудь интеллекта. Посмотришь на него и никак не подумаешь, что перед тобою такой удивительный феномен. Он все время упирал на свой обычай высасывать по утрам кусочек сахару. Надо будет попробовать.

Да! В нашей газете есть статья ветеринара Калаида о вреде наркотиков. Калаид там прямо пишет, что регулярное потребление наркотиков крупным рогатым скотом исключительно вредно в смысле отделения желудочного сока. Приводится даже диаграмма. Интересное наблюдение: вот ведь написано у Калаида все черным по белому, а читать невыносимо трудно. Все кажется, будто он пишет и заикается. Но в общем получается, что господина Лаомедонта истребили за то, что он препятствовал гражданам свободно выделять желудочный сок. Создается впечатление, будто желудочный сок является неким краеугольным камнем новой государственной политики. Такого еще не бывало. Но если подумать, то почему бы и нет?

Вернулась из гостей Гермиона. Сначала мы с ней поссорились из-за коньяка. Она считает, что от коньяка у меня усиливается экзема. Я ответил ей, что это вздор, что экзема усиливается у меня от нервных потрясений, от

жары и от таких вот разговоров. Никак она не может понять, что мне необходим покой. Хорошо еще, что она не жена мне и что я имею хотя бы формальное право ей приказывать. За ужином она рассказала, что в бывшем особняке господина Лаомедонта оборудуется стационарный донорский пункт по приему желудочного сока. Если это правда, то я одобряю и поддерживаю. Я вообще за всякую стационарность и устойчивость.

Марочки мои, марочушечки! Одни вы меня никогда не раздражаете.

9 ИЮНЯ

Температура плюс шестнадцать, облачность пять баллов, небольшой дождь. Опухоль исчезла совершенно, однако, как и предсказывал Ахиллес, все пространство вокруг глаза приняло безобразный зеленый оттенок. На улице появиться невозможно: ничего, кроме глупых шуток, не услышишь. Утром позвонил в мэрию, но господин Никострат изволил пребывать в юмористическом настроении и абсолютно ничего нового по поводу пенсии не сообщил. Конечно же, я разволновался, попробовал успокоиться марками, но даже марки меня не утешили. Тогда послал Гермиону в аптеку за успокаивающим, но она вернулась с пустыми руками. Оказывается, Ахиллес получил специальный циркуляр выдавать успокаивающее исключительно по рецептам городского врача. Я разозлился и позвонил ему, затеял ссору, а сказать по правде — что с него взять? Все лекарства, содержащие наркотики, строжайше учитываются полицией и специальным уполномоченным от мэрии. Что ж, лес рубят — щепки летят. Взял и выпил коньяку, прямо при Гермионе. Помогло. Даже лучше. А Гермиона и не пикнула.

Утром к Миртилу, который все еще живет в палатке, вернулось семейство. Честно говоря, я обрадовался. Это был верный признак того, что положение в стране стабилизируется. И вдруг после обеда я вижу, что Миртил снова сажает их всех в автобус. В чем дело? «Ладно, ладно, — отвечает мне Миртил в своей обычной манере. — Все вы здесь умники, а я дурак...» В общем, он ходил на «пятачок» и узнал там, будто казначея и архитектора марсиане намерены привлечь к ответственности за растрату и махинации; якобы их даже куда-то уже вызывали. Я попытался объяснить Миртилу, что это хорошо, что это справедливо, но куда там! «Ладно, ладно, — отвечал он. — Справедливо... Сегодня казначея с архитектором, завтра мэра, а послезавтра я не знаю кого, может быть, и меня. Нечего тут. Тебе вот они в глаз подвесили, это что — тоже справедливо?» Не могу я с ним разговаривать. Ну его.

Звонил господин Корибант, он, оказывается, замещает Харона в газете. Голос жалкий, дрожащий, какие-то у них там в газете неприятности с властями. Умолял сказать, скоро ли вернется Харон. Я говорил с ним, конечно, очень сочувственно, но не сказал ни слова о том, что Харон уже один раз возвращался. Интуитивно я чувствую, что не стоит об этом распространяться. Бог знает, где сейчас Харон и что он делает. Не хватает

мне еще неприятностей из-за политики. Сам о нем никому не говорю и Артемиде с Гермионой запретил. Гермиона сразу меня поняла, но Артемида разыграла сцену.

10 ИЮНЯ

Только теперь я кое-как пришел в себя, хотя по-прежнему болен и измучен. Экзема разыгралась так, как еще не бывало. Весь покрылся волдырями, все время чешусь, хотя знаю, что нельзя. И неотвязно преследуют меня жуткие фантомы, от которых я хотел бы избавиться, но не могу. Я понимаю: идти убивать из-под палки, убивать, чтобы не убили тебя. Это тоже мерзко и скверно, но это по крайней мере естественно. А ведь их-то никто не заставляет. Партизаны! Я-то знаю, что это такое. Но мог ли я ожидать, что на склоне лет мне доведется снова увидеть это своими глазами?

Началось все с того, что вчера утром вопреки всем ожиданиям я получил очень дружелюбный ответ от генерала Алкима. Он писал, что хорошо помнит меня, очень меня любит и желает мне всяческого благополучия. Письмо это сильно взволновало меня. Я просто места себе не находил. Я посоветовался с Гермионой, и она была вынуждена согласиться, что такой случай упускать нельзя. Нас обоих смущало только одно — неспокойные времена. И тут мы видим, что Миртил сворачивает свой временный лагерь и начинает перетаскивать вещи обратно в дом. Это явилось последней каплей. Гермиона сделала мне очень элегантную черную повязку через пораженный глаз, я забрал папку с документами, сел в свой автомобиль и отправился в Марафины.

Погода мне благоприятствовала, я спокойно ехал по пустынному шоссе между синеющими полями и обдумывал возможные варианты своих действий в зависимости от различных обстоятельств. Однако, как всегда, очень скоро обнаружилось непредвиденное. Примерно в сорока километрах от города двигатель начал чихать, машина задергалась, стала плохо тянуть, а потом и совсем остановилась. Случилось это на вершине холма, и когда я вылез на дорогу, передо мной открылся мирный сельский пейзаж, выглядевший, правда, несколько непривычно из-за синевы зреющих злаков. Помню, что, несмотря на задержку, я был совершенно спокоен и не удержался полюбоваться разбросанными в отдалении аккуратными белыми фермами. Синие хлеба стояли очень высоко, достигая местами человеческого роста. Никогда доселе в наших краях не урождались такие обильные хлеба. Шоссе, прямое как стрела, просматривалось до самого горизонта.

Я открыл капот и некоторое время осматривал двигатель, надеясь

найти неисправность. Но я слишком неважный механик, и довольно скоро, отчаявшись, я выпрямил усталую спину и огляделся, пытаясь сообразить, у кого можно получить помощь. Однако ближайшая ферма была все-таки слишком далеко, а на дороге виднелась только одна машина, которая приближалась со стороны Марафин, двигаясь с довольно высокой скоростью. Сначала я обрадовался, но вскоре, к своему большому сожалению, убедился, что это одна из черных марсианских машин. Впрочем, я не потерял надежды полностью, потому что помнил, что в марсианских машинах могут находиться и обыкновенные люди. Перспектива голосовать этот мрачный, черный механизм не слишком меня прельщала, боязно было, что там могут оказаться все-таки марсиане, к которым я испытывал инстинктивный страх. Но что мне оставалось делать? Я вытянул руку поперек шоссе и сделал несколько шагов навстречу машине, достигшей уже подножия холма. И тут началось ужасное.

Машина была в пятидесяти метрах от меня, когда сверкнула вдруг желтая вспышка, машина подпрыгнула и встала дыбом. Раздался громовой удар, шоссе заволоклось облаком дыма. Затем я увидел, что машина словно бы пытается взлететь, она уже поднялась было над облаком, сильно кренясь набок, но тут рядом с нею одна за другой сверкнули еще две вспышки, двойной удар перевернул ее, и она всей тяжестью грохнулась об асфальт, так что я ощутил содрогание почвы своими ослабевшими от неожиданности ногами. Страшная авария, подумалось мне в первый момент. Машина загорелась, и из нее стали выбираться какие-то охваченные огнем черные фигуры. В ту же минуту поднялась стрельба. Я не мог понять, кто стреляет, откуда стреляют, но я отчетливо видел, в кого стреляют. Черные фигурки метались в дыму и пламени и падали одна за другой. Сквозь треск выстрелов я услышал душераздирающие нечеловеческие крики, и вот уже все они лежали, распростертые возле опрокинутой машины, продолжая гореть, а стрельба все еще не прекращалась. Потом машина взорвалась с ужасающим треском, белый неземной свет ударил меня по глазу, и горячий плотный воздух хлестнул мне в лицо. Я невольно зажмурился, а когда вновь открыл глаз, то с ужасом увидел, как прямо ко мне вверх по шоссе бежит, раскорячившись, словно огромная обезьяна, черное существо, объятое пламенем, и хвост черной копоти тянется следом за ним. В ту же секунду из синих хлебов слева от меня выскочил человек в военной форме, с автоматом наперевес, остановился посередине дороги спиной ко мне, быстро присел на корточки и принялся расстреливать черную пылающую фигуру почти в упор. Ужас мой стал так велик, что первое оцепенение покинуло меня, я нашел в себе

силы повернуться и со всех ног бросился к своему автомобилю. Как безумный я нажимал на стартер, ничего не видя перед собой, забыв, что двигатель не работает, а потом силы вновь покинули меня, и я остался сидеть в машине, бессмысленно глядя перед собой, пассивный и оглушенный свидетель страшной трагедии. Безразличие овладело мною. Словно во сне я видел, как на шоссе выходят один за другим вооруженные люди, как они окружают место катастрофы, нагибаются над горящими телами, переворачивают их и обмениваются короткими возгласами, едва слышными за шумом крови, бьющейся у меня в висках. У подножия холма их собралось четверо, а человек в военной форме, судя по погонам — офицер, стоял на прежнем месте, в нескольких шагах от последнего убитого, и перезаряжал свой автомат. Потом я увидел, как он неторопливо приблизился к лежащему, наклонил дуло автомата и дал короткую очередь. Лежащий отвратительно дернулся, и меня тут же вырвало прямо на руль и на брюки. А потом началось самое страшное.

Офицер быстро оглядел небо, затем повернулся ко мне, посмотрел — я никогда не забуду этого холодного беспощадного взгляда — и, держа автомат за рукоятку, направился к моей машине. Я слышал, как стоящие внизу что-то ему кричат, но он не обернулся. Он шел ко мне. Вероятно, на несколько секунд я впал в беспамятство, потому что дальше ничего не помню до того момента, когда очутился стоящим рядом со своим автомобилем перед этим офицером и еще двумя инсургентами. Боже, что это были за люди! Все трое были давно не бриты и грязны, одежда их была измазана и обтрепана, и мундир офицера тоже был в безобразном состоянии. Офицер был в каске, один из штатских — в черном берете, другой, носивший очки, был вообще без головного убора. «Вы что, оглохли?» — резко говорил офицер, тряся меня за плечо, а человек в берете морщился и цедил сквозь зубы: «Да оставьте вы его, зачем вам это нужно?» Я собрал остатки своих слабых сил и заставил себя говорить спокойно, потому что понимал, что речь идет о моей жизни. «Что вам угодно?» — спросил я. «Натуральный обыватель, — сказал человек в берете. — Ничего он не знает и ничего знать не хочет!» — «Подождите, инженер, — раздраженно сказал офицер. — Кто вы такой? — спросил он меня. — Что вы здесь делаете?» Я, ничего не скрывая, объяснил ему все, и, пока я говорил, он все время озирался и то и дело оглядывал небо, словно боялся дождя. Человек в берете один раз прервал меня, крикнув: «Я не желаю рисковать! Я ухожу, а вы как хотите!» — после чего повернулся и побежал вниз. Но двое остались и выслушали меня до конца, а я все пытался угадать по их лицам свою судьбу, но ничего хорошего для себя не видел, и тогда

мне в голову пришла спасительная мысль, и я, забыв про все, что только что говорил, сразу выпалил: «Имейте в виду, господа, я тесть господина Харона». — «Какого Харона?» — спросил инсургент в очках. «Главного редактора окружной газеты». — «Ну и что?» — спросил инсургент в очках, а офицер все оглядывал небо. Я растерялся: они явно не знали Харона. Но я все-таки сказал: «Мой зять в первый же день взял автомат и ушел из дому». — «Вот как? — сказал инсургент в очках. — Это делает ему честь». — «Все это вздор, — сказал офицер. — Что у вас в городе? Что с войсками?» — «Не знаю, — сказал я. — У нас в городе все тихо». — «Вход в город свободный?» — спросил офицер. «По-моему, да, — сказал я и счел своим долгом добавить: — Но вас могут задержать патрули городской антимарсианской дружины». — «Что? — сказал офицер, и на ожесточенном лице его впервые изобразилось что-то похожее на удивление. Он даже перестал смотреть на небо и стал смотреть на меня. — Какая дружина?» — «Антимарсианская, — сказал я. — Во главе с унтер-офицером Полифемом. Может быть, вы знаете? Он инвалид». — «Чертовщина какая-то, — сказал офицер. — Можете вы нас отвезти в город?» У меня упало сердце. «Разумеется, — сказал я. — Но мой автомобиль...» — «Да, — сказал офицер. — Что там у вас с ним?» Я набрался решимости и соврал: «Кажется, заклинило двигатель». Офицер присвистнул и, не говоря больше ни слова, повернулся и скрылся в хлебах. Инсургент в очках продолжал пристально меня разглядывать, а потом вдруг спросил: «У вас есть внуки?» — «Да! — соврал я в полном отчаянии. — Двое! Один грудной...» Он сочувственно покивал. «Ужасно, — сказал он. — Вот это мучит меня больше всего. Они ничего не знают и теперь никогда не узнают...»

Я ничего не понимал из его слов, и я ничего не хотел понимать, я молился только, чтобы он скорее ушел и ничего мне не сделал. Почему-то мне вдруг представилось, что этот тихий человек в очках — самый страшный из них. Несколько секунд он ждал моего ответа, а потом закинул свой автомат за плечо и сказал: «Советую вам поскорее уходить отсюда. До свидания». Я не стал даже дожидаться, пока он скроется. Я повернулся и как мог быстро пошел с холма в сторону города. Словно какая-то буря несла меня на своих крыльях. Я не чувствовал ног, я не ощущал одышки, кажется, я слышал какой-то механический рокот и гул за своей спиной, но я даже не обернулся, а только попробовал бежать. Но отошел я недалеко, когда навстречу мне с проселочной дороги вывернул небольшой грузовик, битком набитый фермерами. Я был в полубеспамятстве, но нашел в себе силы преградить им дорогу. Я замахал руками и закричал: «Стойте! Туда

нельзя! Там партизаны!» Грузовик остановился, меня окружили грубые простые люди, почему-то вооруженные винтовками. Меня хватали за грудь, трясли, ругали черными словами, я ничего не понимал, я был в ужасе и только через некоторое время сообразил, что меня принимают за пособника инсургентов. Ноги мои подкосились, но тут из кабины вылез шофер, оказавшийся, к счастью, моим бывшим учеником. «Да что вы, ребята! — заорал он, хватая за руки замахивающихся. — Это же господин Аполлон, городской учитель! Я его знаю». Не сразу, но в конце концов все успокоились, и я рассказал о том, что видел. «Ага, — сказал шофер. — Так мы и поняли. Сейчас мы их выловим. Пошли, ребята». Я хотел продолжать свой путь в город, но он убедил меня, что мне безопаснее быть с ними, а машину мою он спокойненько починит, пока ребята будут ловить бандитов. Меня подсадили в кабину, и грузовик покатился к месту трагедии. Вот и вершина холма, вот мой автомобиль, но дальше дорога была совершенно пуста. Не было ни трупов, ни обломков, только остались горелые пятна на асфальте да неглубокая выбоина на том месте, где произошел взрыв. «Понятное дело, — сказал шофер, останавливая грузовик. — Подобрали уже. Во-он они летят...» Все загомонили и стали тоже указывать на горизонт в сторону Марафин, но, как я ни всматривался в безмятежное небо своим единственным глазом, так ничего и не увидел.

Потом фермеры со сноровкой, свидетельствующей об определенном опыте, без лишней суеты и споров разбились на две группы по десять человек. Группы эти рассыпались в цепи и пошли прочесывать хлеба — одна направо, другая налево. «У них автоматы, — предупредил я. — И гранаты тоже, кажется, есть». — «Это нам хорошо известно», — отвечали мне, и через некоторое время донеслись крики, говорящие о том, что облава напала на след. Шофер тем временем занялся починкой моей машины, а я, присевши на заднее сиденье, откинулся в блаженном полузабытьи, наконец-то получив время для нервного отдохновения. Шофер не только устранил неисправности (оказалось, что в бензопроводе — воздушная пробка), но и почистил переднее сиденье, испачканный мною руль и приборный щиток. Слезы благодарности выступили у меня на глазах, я пожал ему руку и уплатил сколько мог. Он остался доволен. Этот простой добрый человек (я так и не смог вспомнить его имени) оказался, кроме того, и весьма разговорчивым в отличие от большинства фермеров, людей тоже простых и добрых, но угрюмых и замкнутых. Он многое объяснил мне из происходящего. Оказывается, инсургенты, которых народ называл попросту бандитами, появились в округе уже на другой день после пришествия марсиан. Первое время они дружески общались с фермерами,

и тогда выяснилось, что большинство из них было жителями Марафин, людьми, как правило, образованными и на первый взгляд безобидными, если не считать военных. Намерения их остались для фермеров непонятными. Вначале они призывали сельских жителей подняться против новой власти, но необходимость в этом объясняли крайне смутно — все твердили о гибели культуры, о вырождении и прочих книжных вещах, не задевающих интересы сельского человека. Однако фермеры их кормили и давали им ночлег, потому что обстановка оставалась неясной и еще неизвестно было, чего можно ожидать от новых порядков. Когда же обнаружилось, что от новых властей ничего плохого, кроме хорошего, не видно, когда власть, давши хорошую цену, скупила на корню урожай (даже не урожай, а всходы), когда она выдала щедрый аванс под урожай синего хлеба, когда словно с неба стали падать деньги за бесполезный до того желудочный сок и когда, с другой стороны, выяснилось, что бандиты устраивают засады против представителей администрации, везущих в деревню деньги, когда уполномоченный из Марафин ясно дал понять, что с этим безобразием надобно для всеобщей пользы скорее кончать, тогда отношение к инсургентам совершенно переменилось.

Несколько раз мы прерывали нашу беседу и прислушивались. С полей доносились редкие выстрелы, и каждый раз мы удовлетворенно кивали друг другу и перемигивались. Я уже совсем оправился и сел за руль, чтобы развернуть машину домой (у меня и в мыслях, конечно, не осталось продолжать путь в Марафины: бог с ним, с Алкимом, раз на дорогах такое творится), когда облава возвратилась на шоссе. Сначала четверо фермеров притащили к грузовику два неподвижных тела. Одного убитого я узнал — это был человек в берете, которого офицер называл инженером. Другой, юноша, почти мальчик, был мне незнаком. С некоторым облегчением я заметил, что он, к счастью, не убит, а только тяжело ранен. Затем гурьбой, весело переговариваясь, вернулись и остальные участники облавы. Они привели пленного со связанными руками, которого я тоже узнал, хотя теперь он был без очков. Победа была полная, никто из фермеров не пострадал. Я испытал большое моральное удовлетворение, видя, как эти простые люди, еще, казалось бы, разгоряченные боем, выказывают тем не менее несомненное душевное благородство, обращаясь с поверженным противником почти по-рыцарски. Раненому перевязали раны и довольно бережно уложили в кузов. Пленному хотя и не развязали рук, но дали напиться и сунули в рот сигарету. «Ну вот и сделали дело, — сказал мой друг шофер. — Теперь в округе поспокойнее станет». Я счел своим долгом сообщить, что инсургентов было по крайней мере пятеро. «Ничего, —

ответил он. — Значит, двое ушли. Никуда они не денутся. Что в нашей округе, что в соседней — порядки одни. Перебьют или переловят». — «А этих вы куда отправите?» — спросил я. «Отвезем. Тут километрах в сорока есть марсианский пост. Там их всех принимают: и живых, и мертвых, каких доставишь». Я еще раз поблагодарил его, пожал ему руку, и он отправился к своему грузовику, сказавши остальным: «Поехали, что ли?» И тут пленного провели мимо меня, и он приостановился на секунду и взглянул мне прямо в лицо своими близорукими глазами. Может быть, мне это показалось. Теперь я надеюсь, что мне это показалось. Но в глазах его было нечто такое, отчего сердце мое упало. Бездарный мир! Нет, я не оправдываю этого человека. Он экстремист, он партизан, он убивал и должен быть наказан, но я же не слепой. Я отчетливо видел, что это благородный человек. Не чернорубашечник, не невежда, а человек с убеждениями. Впрочем, теперь я надеюсь, что я ошибся. Всю жизнь я страдаю оттого, что думаю о людях хорошо.

Грузовик покатил в одну сторону, я — в другую, и через час я был уже дома, разбитый до последней степени, измученный и больной. Замечу, кстати, что господин Никострат сидел в гостиной и Артемида угощала его чаем. Однако мне было не до них. Гермиона принялась хлопотать вокруг меня, расстелила постель, положила мне лед на сердце, и скоро я уснул, а когда проснулся ночью, то понял, что экзема у меня вновь обостряется. Это была ужасная, мучительная ночь.

Температура плюс семнадцать градусов, облачность десять баллов, проливной дождь.

Да, они бунтовщики, люди вредные для всеобщего спокойствия. И все-таки я не могу не пожалеть их, насквозь промокших, грязных, загнанных, подобно диким зверям. И во имя чего? Что это — анархизм? Протест против несправедливости? Но против какой? Я их решительно не понимаю. Странно, сейчас я припоминаю, что при облаве не было ни автоматных очередей, ни разрывов гранат. Должно быть, у них кончились боеприпасы.

11 ИЮНЯ (полночь)

Гермиона хотела, чтобы я провел этот день в постели, но я не послушался ее и правильно сделал. В полдень я почувствовал себя достаточно хорошо и сразу после обеда решился выйти в город. Человек слаб. Не скрою, что мне не терпелось рассказать нашим о страшных и трагических происшествиях, свидетелем которых я имел несчастье быть вчера. Правда, к обеду эти события рисовались мне уже не столько в трагическом, сколько в романтическом свете. Рассказ мой на «пятачке» имел огромный успех, меня забросали вопросами, и мое маленькое тщеславие было полностью удовлетворено. Забавно было глядеть на Полифема. (Он, кстати, теперь единственный член антимарсианской дружины, который все еще таскается с дробовиком.) Когда я передал нашим свою беседу с офицером-бунтовщиком, он немедленно возгордился, положив себя причастным к отчаянной и опасной деятельности инсургентов. Он дошел даже до того, что признал инсургентов смелыми ребятами, хотя и поступающими противозаконно. Что он этим хотел сказать — я не понял, да и никто не понял. Он заявил также, что на месте инсургентов показал бы «этому мужичью», почем фунт дыма, и тогда чуть не случилась драка, потому что брат Миртила был фермером и сам Миртил происходил из фермерской семьи. Я не люблю ссор, не выношу их, и, пока драчунов растаскивали, я пошел в мэрию.

Господин Никострат был со мной отменно любезен, участливо интересовался здоровьем и с большим сочувствием выслушал мой рассказ о вчерашнем приключении. Да и не только он — все служащие бросили текущие дела и собрались вокруг меня, так что успех был полным и здесь. Все согласились, что я действовал мужественно и мое поведение делает мне честь. Пришлось пожать множество рук, а красотка Тиона попросила даже разрешения поцеловать меня, каковое разрешение я дал, конечно, с удовольствием. (Черт возьми, меня давно не целовали молоденькие девушки! Признаться, я даже забыл, насколько это приятно.) Насчет пенсии господин Никострат уверил меня, что все, вероятно, будет хорошо, и сообщил под большим секретом, будто вопрос о налогах теперь окончательно решен: начиная с июля налоги будут взиматься желудочным соком.

Эта наша увлекательная беседа была, к сожалению, прервана форменным скандалом. Дверь кабинета мэра вдруг распахнулась, на пороге

появился господин Корибант и, стоя спиною к нам, принялся кричать на господина мэра, что он этого так не оставит, что это нарушение свободы слова, что это коррупция, что господину мэру следует помнить о печальной судьбе господина Лаомедонта и так далее. Господин мэр тоже говорил в повышенном тоне, но голос у него был потише, чем у господина Корибанта, и я так и не понял, что именно он говорил. Господин Корибант в конце концов удалился, с силой хлопнув дверью, и тогда господин Никострат объяснил мне, в чем дело. Оказывается, господин мэр оштрафовал и закрыл на неделю нашу газету за то, что господин Корибант в позавчерашнем номере опубликовал стихи, подписанные неким «икс-игрек-зет», в которых есть строчка: «А на далеком горизонте свирепый Марс горит пожаром». Господин Корибант отказывается подчиниться решению господина мэра, и вот уже второй день они ругаются то по телефону, то лично. Обсудив это происшествие, мы с господином Никостратом пришли к единому мнению, что обе стороны в этом споре по-своему правы и по-своему не правы. С одной стороны, взыскание, наложенное господином мэром на газету, чрезмерно жестоко, тем более что стихотворение в целом абсолютно безобидно, поскольку рассказывает лишь о неразделенной любви автора к ночной фее. Но с другой стороны, ситуация такова, что не следует дразнить гусей — у господина мэра и без того хватает неприятностей хотя бы с тем же самым Минотавром, который позавчера опять напился пьян и повредил своей вонючей цистерной марсианскую машину.

Вернувшись на «пятачок», я снова присоединился к нашим. Ссора Полифема с Миртилом была уже улажена, и беседа происходила в обычной атмосфере дружеской дискуссии. Не без удовольствия я отметил, что мой рассказ, по-видимому, направил умы собравшихся в определенное русло. Говорили об инсургентах, о боевых средствах, которыми располагают марсиане, и прочих подобных предметах.

Морфей рассказал, будто неподалеку от Милеса летательная машина марсиан, совершившая вынужденную посадку из-за непривычки пилота к повышенной силе тяжести, подвергшись нападению группы злоумышленников, перестреляла всех до единого специальными электрическими снарядами, после чего сама собою взорвалась, оставивши огромную яму со стеклянными стенками. Весь Милес якобы ходит теперь смотреть эту яму.

Миртил со слов своего брата-фермера поведал нам о жуткой банде амазонок, которые нападают на марсиан и похищают их в видах получения от них потомства. Одноногий Полифем, со своей стороны, рассказал

следующее. Вчера ночью, когда он нес патрульную службу на Парковой улице, к нему бесшумно подкрались четыре марсианские машины. Незнакомый голос на ломаном языке и с неприятным шипением осведомился у него, как проехать к трактиру, и хотя трактир не является объектом государственной важности, Полифем просто из гордости и презрения к завоевателям отказался ответить, так что марсиане поехали дальше не солоно хлебавши. Полифем уверял нас, что жизнь его при этом висела на волоске, он даже заметил якобы длинные черные стволы, направленные прямо на него, но в упорстве своем не колебался ни секунды.

«А тебе что, жалко было сказать? — спросил Миртил, не забывший еще оскорбление, нанесенное его семейству. — Знаю я таких сволочей. Приедешь, бывало, в незнакомое место, захочется тебе выпить, так нипочем не скажут, где трактир».

Дело опять чуть было не дошло до драки, но тут подошел Пандарей и, радостно улыбаясь, сообщил, что Минотавра, наконец, у нас из города забрали. Марсиане забрали. Подозревают Минотавра в связях с террористами и в саботаже. Мы все возмутились: оставлять в самое жаркое время года город без ассенизатора — да это же преступление!

«Хватит! — орал одноногий Полифем. — Довольно терпеть проклятое иго! Патриоты, слушай мою команду! Ста-ановись!» Мы уже начали строиться, когда Пандарей всех успокоил, сказавши, что марсиане намерены в ближайшую неделю начать работы по прокладке канализации, а пока вместо Минотавра будет младший полицейский. Все сказали, что это другое дело, и вновь перешли к разговорам о террористах. И о том, что это все-таки свинство — устраивать засады.

Димант рассказал, вращая глазами, жуткую историю, что по городу третий день ходят какие-то люди и угощают встречных конфетами. «Съешь такую конфету — и брык! — готов». Надеются таким образом отравить всех марсиан. Мы, конечно, в эту историю не поверили, но стало как-то жутко.

Тут Калаид, который давно уже дергался и брызгал, вдруг ляпнул: «А в-в-вот у Аполлона у самого зять террорист». От меня сразу как-то отшатнулись, а Пандарей, выпятив челюсть, веско заявил: «Это точно. Есть такие сведения и у нас».

Я возмутился до последней степени и заявил им всем, что, во-первых, тесть за зятя не отвечает; во-вторых, у самого Пандарея племянник в прошлом году сел на пять лет за развратные действия; в-третьих, с Хароном я всегда был на ножах, это любой может подтвердить, и в-четвертых, ничего такого я за Хароном не знаю — уехал человек в

командировку, и ни слуху от него, ни духу. Это были неприятные минуты, но вздорность обвинения была настолько очевидна, что все кончилось благополучно, и разговор пошел о желудочном соке.

Оказывается, все наши уже второй день сдают желудочный сок и получают за него наличными. Один я в стороне. Всегда я каким-то непонятным образом оказываюсь в стороне от того, что мне выгодно. Есть на свете такие неустроенные люди: в казармах они вечно чистят сортиры, на фронте они попадают в «котлы», все неприятности они получают первыми, все блага они получают последними. Так вот я один из таких. Ну ладно. Все наши хвастались, как они теперь довольны. Еще бы не быть довольным!

Тут через площадь проехала марсианская машина, и одноногий Полифем задумчиво произнес: «А как вы полагаете, старички, если садануть ее сейчас из дробовика, пробьет или не пробьет?» — «Если, скажем, пуля, то, пожалуй, пробьет», — сказал Силен. «Это куда попадешь, — возразил Миртил. — Если в лоб или в корму, то нипочем не пробить». — «А если в борт?» — спросил Полифем. «Если в борт, то, пожалуй, пробьет», — ответил Миртил. Я хотел было сказать, что граната — и та не пробивает, но Пандарей меня опередил, сказавши глубокомысленно: «Нет, старики, зря вы спорите. Непробиваемы они». — «И в борт непробиваемы?» — ехидно спросил Морфей. «Полностью», — сказал Пандарей. «Что, и пулей?» — спросил Миртил. «Да хоть из пушки стреляй», — сказал Пандарей с большой важностью. Тут все стали качать головами и похлопывать его по спине. «Да, Пан, — говорили они. — Это ты, Пандарей, того. Тут ты, старина Пандор, маху дал. Не подумал, старик, сболтнул». А желчный Парал немедленно подпустил шпильку, что вот ежели Пандарею пальнуть из пушки в корму, то вмятина, может быть, и останется, а вот если в лоб, то просто отскочит, и все. Ну, Пандарей раздулся, застегнул китель на все пуговицы, выкатил свои рачьи глаза и гаркнул: «Поговорили — все! Р-разойдись! Именем закона».

Не теряя времени, я отправился на донорский пункт. Конечно, тут меня опять ожидала неудача. Никакого сока у меня не взяли, и никаких денег я не получил. У них, оказывается, такой порядок, что сок сдавать надо обязательно натощак, а я всего два часа как пообедал. Выдали мне донорскую карточку и пригласили приходить завтра с утра. Впрочем, должен сказать, что донорский пункт вообще произвел на меня самое благоприятное впечатление. Оборудование новейшее. Зонд смазывается самыми лучшими сортами вазелина. Прием желудочного сока производится автоматически, но под наблюдением опытного врача, а не

какого-нибудь громилы. Персонал исключительно вежлив и обходителен, сразу видно, что платят им неплохо. Все вокруг блестит чистотой, мебель новая. В ожидании очереди можно смотреть телевизор или читать свежие газеты. Да и какая очередь! Гораздо меньше и быстрее, чем в трактире. А деньги выдаются немедленно, прямо из автомата. Да, во всем чувствуется высокая культура, гуманность, забота о доноре. И подумать только, что каких-нибудь три дня назад этот дом был логовом такого человека, как господин Лаомедонт!

Однако мысль о зяте не оставляла меня, и я почувствовал необходимость обсудить эту новую досадную проблему с Ахиллесом. Я нашел его, как всегда, за кассой, рассматривающим свой «Космос». Рассказ о моих приключениях произвел на него огромное впечатление, и я почувствовал, что он смотрит теперь на меня совсем другими глазами. Но когда речь зашла о Хароне, он только пожал плечами и сказал, что образ моих действий и опасности, которым я подвергался, полностью реабилитируют не только меня, но, возможно, и самого Харона. Кроме того, он вообще сомневался, что Харон способен принимать участие в чем-либо предосудительном. Харон, заявил он, скорее всего, находится сейчас в Марафинах и принимает деятельное участие в восстановлении порядка, стремясь при этом сделать что-нибудь полезное для родного города, как это и приличествует всякому культурному гражданину, а местные завистники, все эти Пандареи и Калаиды, способные лишь на безответственную болтовню, просто клевещут на него.

У меня были свои сомнения на этот счет, но я, естественно, промолчал и только подивился про себя, насколько мы, жители небольшого, в сущности, городка, плохо знаем друг друга. Я понял, что напрасно заговорил с Ахиллесом на эту тему, и, сделав вид, будто его рассуждения меня вполне успокоили, перевел разговор на марки. И вот тут-то и случилось это удивительное происшествие.

Помнится, вначале я говорил несколько принужденно, потому что основною моей целью было все-таки отвлечь Ахиллеса от разговора о Хароне. Но получилось так, что речь пошла об этой сакраментальной перевернутой литографической надпечатке. В свое время я изложил Ахиллесу совершенно неопровержимые доводы в пользу того, что это фальшивка, и вопрос, казалось, был исчерпан. Однако накануне Ахиллес прочел какую-то книжонку и возомнил себя способным выдвигать свои собственные суждения. В наших отношениях это нечто небывалое. Естественно, я вышел из себя, рассердился и прямо сказал, что Ахиллес ничего не понимает в филателии, что еще год назад он не видел разницы

между климмташем и кляссером и не случайно коллекция его битком набита бракованными экземплярами. Ахиллес тоже вспылил, и у нас началась самозабвенная перебранка, на которую я способен только с Ахиллесом и только по поводу марок.

Я словно бы в тумане сознавал тогда, что во время спора кто-то как будто входил в аптеку, протягивал Ахиллесу через мое плечо какую-то бумагу, и Ахиллес на секунду замолчал, чем я немедленно воспользовался, чтобы вклиниться в его некомпетентные рассуждения. Затем мне запомнилось досадное ощущение помехи, что-то постороннее все время назойливо вступало в сознание, мешая мне мыслить последовательно и логично. Однако потом это прошло, и следующим этапом этого любопытнейшего с психологической точки зрения происшествия был тот момент, когда спор наш закончился и мы замолчали, усталые и несколько обиженные друг на друга.

Помнится, что именно в этот момент я вдруг ощутил непреодолимую потребность оглядеть помещение и испытал смутное удивление, не обнаружив никаких особенных перемен. Между тем я отчетливо сознавал, что какое-то изменение за время нашего спора должно было произойти. Тут же я заметил, что Ахиллес тоже находится в состоянии некоторой душевной неудовлетворенности. Он тоже озирался, а потом прошелся вдоль прилавка, заглядывая под него. Наконец он спросил: «Скажи, пожалуйста, Феб, сюда никто не приходил?» Определенно его мучило то же самое, что меня. Его вопрос поставил все точки над «и», я понял, к чему относилось мое недоумение.

«Синяя рука!» — воскликнул я, озаренный неожиданно ярким воспоминанием. Словно наяву я увидел перед своим лицом синие пальцы, сжимающие листок бумаги. «Нет, не рука! — горячо сказал Ахиллес. — Щупальце! Как у осьминога!» — «Но я отчетливо помню пальцы...» — «Щупальце, как у спрута!» — повторил Ахиллес, лихорадочно озираясь. Потом он схватил с прилавка книгу рецептов и торопливо перелистал ее. Все во мне зашлось от томительного предчувствия. Держа в руке листок бумаги, он медленно поднял на меня широко раскрытые глаза, и я уже знал, что он сейчас скажет.

«Феб, — произнес он придушенным голосом. — Это был марсианин». Оба мы были потрясены, и Ахиллес, как человек, близкий к медицине, счел необходимым подкрепить меня и себя коньяком, бутылку которого он достал из большого картонного ящика с надписью «Норсульфазолум». Да, пока мы здесь спорили об этой злосчастной надпечатке, в аптеку зашел марсианин, вручил Ахиллесу письменное распоряжение сдать

предъявителю сего все лекарственные препараты, содержащие наркотики, и Ахиллес, ничего не помня и не понимая, передал ему приготовленный пакет с этими лекарствами, после чего марсианин удалился, не оставив в нашей памяти ничего, кроме отрывочных воспоминаний и смутного образа, запечатленного краем глаза.

Я отчетливо помнил синюю руку, покрытую короткими редкими белесыми волосиками, и мясистые пальцы без ногтей, и я поражался, как подобное зрелище не вышибло мгновенно из моей головы всякую способность вести отвлеченные споры.

Ахиллес никакой руки не помнил, но зато он помнил длинное, непрерывно пульсирующее щупальце, протянувшееся к нему как бы из ничего. Кроме того, он помнил, что вид этого щупальца привел его в сильное раздражение, ибо оно показалось ему совершенно ни с чем не сообразной шуткой. Помнил он и то, как в сердцах швырнул на прилавок, не глядя, сверток с лекарствами, зато он абсолютно не помнил, читал ли он предписание и клал ли его в регистрационную книгу, хотя очевидно было, что читал (раз выдал лекарства) и клал (раз оно там оказалось).

Мы выпили еще по рюмке коньяку, и Ахиллес припомнил, что марсианин стоял слева от меня и что на нем был модный свитер с вырезами, и мне вспомнилось, что на одном из синих пальцев было блестящее кольцо белого металла с драгоценным камнем. Кроме того, я вспомнил шум автомобиля. Ахиллес потер лоб и заявил, что вид предписания напоминает ему ощущение недовольства, которое вызывалось у него как бы чьими-то попытками, до неприличия назойливыми, вторгнуться в наш с ним спор с какой-то совершенно нелепой точкой зрения на филателию вообще и на перевернутые надпечатки в особенности.

Тогда и я припомнил, что точно, марсианин говорил и голос у него был пронзительный и неприятный. «Скорее низкий и снисходительный», — возразил Ахиллес. Однако я настаивал на своем, и Ахиллес, вновь разгорячившись, вызвал из лаборатории младшего провизора и спросил его, какие звуки он слышал на протяжении последнего часа. Младший провизор, на редкость недалекий юнец, заморгал своими глупыми глазами и промямлил, что слышал все время только наши голоса, а один раз будто бы где-то включили радио, но он не обратил на это особого внимания. Мы отослали провизора и выпили еще по капельке коньяку. Память наша прояснилась окончательно, и, хотя мы по-прежнему расходились в мнении относительно внешности марсианина, мы, однако же, полностью сошлись в воспроизведении последовательности имевших место фактов. Марсианин, несомненно, подъехал к аптеке на машине, не выключая двигателя, вошел в

помещение, остановился слева от меня, чуть сзади, и некоторое время стоял неподвижно, рассматривая нас и прислушиваясь к нашему разговору. (Мороз прошел по коже, когда я осознал свою полную беззащитность в этот страшный момент.) Затем он сделал нам несколько замечаний, по-видимому, относительно филателии и, по-видимому, совершенно некомпетентных, а потом протянул Ахиллесу предписание, которое Ахиллес взял, бегло просмотрел и сунул в регистрационную книгу. Далее Ахиллес, все еще будучи вне себя от этой помехи, выдал сверток с лекарствами, и марсианин ушел, поняв, что мы не желаем принимать его в разговор. Таким образом, отвлекаясь от деталей, возникал образ существа, хотя и плохо разбирающегося в вопросах филателии, но, в общем, не лишенного правильного воспитания и определенной гуманности, если принять во внимание, что в то время он мог сделать с нами все, что ему было бы угодно. Мы выпили еще по рюмке коньяку и почувствовали себя не в силах оставаться здесь и держать наших в неизвестности относительно этого происшествия. Ахиллес спрятал бутылку, передал дежурство младшему провизору, и мы быстрым шагом направились в трактир.

Рассказ о визите марсианина был воспринят нашими по-разному. Одноногий Полифем откровенно счел его враньем. «Вы понюхайте, чем от них разит, — сказал он. — Нализались до синих чертей». Рассудительный Силен предположил, что это был все-таки не марсианин, а какой-нибудь негр — у негров иногда встречается синеватый оттенок кожи. Ну, а Парал остался Паралом. «Хорош аптекарь у нас, — желчно сказал он. — Приходит неизвестно кто, неизвестно откуда, подсовывает ему неизвестно какую бумажку, и тот отдает ему без звука. Нет, с такими аптекарями мы разумного общества не построим. Что это за аптекарь, который из-за своих паршивых марок не ведает, что творит?» Но зато все остальные были на нашей стороне, весь трактир собрался вокруг нас, даже золотая молодежь во главе с господином Никостратом отвалилась от бара послушать. Нас заставляли повторять снова и снова, где стоял я и где стоял марсианин, как он протягивал свою конечность, и так далее. Очень скоро я заметил, что Ахиллес начинает украшать рассказ новыми деталями, как правило потрясающими. (Вроде того, что, когда марсианин молчал, у него мигали только два глаза, как у нас, а когда открывал рот, открывались еще дополнительные глаза, один красный, другой белый.) Я тут же сделал ему замечание, но он возразил, что коньяк и бренди удивительным образом действуют на человеческую память, это, дескать, медицинский факт. Я решил с ним не спорить, попросил Япета подать мне ужин и, внутренне усмехаясь, стал наблюдать, как Ахиллес уверенно компрометирует себя.

Через каких-нибудь десять минут все поняли, что Ахиллес окончательно заврался, и перестали обращать на него внимание. Золотая молодежь вернулась к стойке бара, и скоро оттуда послышалось обычное: «Надоело... Скучища у нас тут. Марсиане? Ерунда, плешь... Чего бы нам отколоть, орлы?» За нашим столиком возобновился старый спор о желудочном соке. Что это такое, куда он годится, для чего он марсианам и для чего он нам самим. Ахиллес объяснил, что человеку желудочный сок нужен для переваривания пищи, пищу переваривать без него было бы невозможно. Но авторитет его был уже подорван, и никто ему не поверил. «Ты бы заткнулся, старая клизма, — сказал ему Полифем. — Чего там — невозможно. Третий день сдаю этот сок, и ничего, перевариваю. Тебе бы так переваривать».

С горя обратились за консультацией к Калаиду, но это, естественно, ничем не кончилось. Калаид после долгих судорог, за которыми в томительном ожидании следил весь трактир, выпалил только: «Ж-ж-жандарм в тридцать лет уже старик, если хочешь знать». Слова эти имели касательство к какому-то полузабытому разговору, происходившему еще на «пятачке» и до обеда, и вообще предназначались не нам, а Пандарею, который уже давным-давно ушел на дежурство. Мы оставили Калаида рожать ответ на наш вопрос, а сами пустились в спекуляции. Силен предположил, что цивилизация Марса зашла в тупик в физиологическом отношении, собственный сок они уже вырабатывать не могут и им приходится осваивать другие источники. Япет подал голос из-за стойки, заявив, что марсиане используют желудочный сок в качестве бродила для производства особого вида энергии. «Вроде атомной», — добавил он, подумав. А дурак Димант, никогда не отличавшийся смелым полетом фантазии, заявил, что человеческий желудочный сок для марсиан все равно что для нас коньяк, или пиво, или, скажем, можжевеловая водка, и этим заявлением испортил аппетит всем, кто в тот момент закусывал. Кто-то предположил, что марсиане добывают из желудочного сока золото или редкие металлы, и это явно безграмотное предположение натолкнуло Морфея на очень верную мысль. «Старички, — сказал он. — А ведь в самом деле, золото они из него добывают или энергию, а надо понимать, что наш желудочный сок для марсиан — вещь очень важная. Не одурачили бы они нас, а?» Сначала его никто не понял, но потом до нас дошло, что настоящей цены на желудочный сок никто ведь не знает и что это за цена, которую назначили марсиане, — неизвестно. Вполне возможно, что марсиане, люди, надо думать, практичные, выгоняют из этого предприятия непропорционально большой доход, пользуясь нашим невежеством.

«Скупают у нас по дешевке, — взбеленился одноногий Полифем, — а потом, стервецы, загоняют на какую-нибудь комету по настоящей цене!» Я рискнул поправить его, что не на комету все-таки, а на планету, на что он с присущей ему грубостью предложил мне сначала залечить глаз, а потом уже вступать в споры. Но дело не в этом.

Всех нас предположение Морфея встревожило, и могла бы получиться очень содержательная и полезная беседа, но тут в трактир ввалился Миртил со своим братом-фермером, оба пьяные до последней степени. Выяснилось, что брат Миртила вот уже несколько дней производил опыты по перегонке барды из синего хлеба и что сегодня эти опыты наконец увенчались успехом. На стол были водружены две порядочные фляги синего первача. Все тут же отвлеклись и стали пробовать, и, надо сказать, «синюховка» произвела на нас большое впечатление. Миртил себе на горе пригласил к столу Япета, чтобы тот тоже попробовал. Япет выпил два стаканчика, постоял, закрыв левый глаз, словно бы размышляя, а затем вдруг сказал: «А ну, валите отсюда, чтобы я вас тут не видел». Сказано это было таким тоном, что Миртил, не говоря ни слова, подхватил опустевшие фляги и своего задремавшего братца и торопливо удалился. Япет оглядел нас тяжелым взглядом и, произнеся: «Взяли манеру — в мое заведение со своим пойлом приходить», вернулся за стойку. Чтобы сгладить неловкость, мы все заказали по выпивке, но прежняя непринужденность уже исчезла. Посидев еще полчаса, я отправился домой.

В гостиной господин Никострат, заняв кресло Харона, сидел напротив Артемиды и пил чай с вареньем. Я не стал вмешиваться в это дело. Во-первых, Харон, по-видимому, уже отрезанный ломоть, и неизвестно, вернется ли он вообще, а во-вторых, где-то неподалеку находилась Гермиона, а от меня так разило спиртным, что я даже сам это чувствовал. Поэтому я предпочел тихонько проскользнуть в свою комнату, не обращая на себя ничьего внимания. Я переоделся и просмотрел газеты. Просто удивительно! Шестнадцать полос, и ничего существенного. Словно вату жуешь. Опубликована пресс-конференция президента. Два раза ее прочитал и ничего не понял — сплошной желудочный сок.

Пойду посмотрю, как там Гермиона.

12 ИЮНЯ

Температура плюс двадцать градусов, облачность ноль баллов, ветра нет. От этой синюховки отвратительная отрыжка. Разыгралась мигрень, весь день сидел дома. Появилась гастрономическая новинка — синий хлеб. Гермиона хвалит, Артемиде тоже понравилось, а я вот ел без всякого аппетита. Хлеб как хлеб, только синий.

13 ИЮНЯ

Наконец-то летняя погода, кажется, установилась. Температура плюс двадцать два, облачно...

Ну и дела! Не знаю даже, с чего и начинать. Насчет пенсии ничего не известно, но, в конце концов, речь сейчас не об этом. Только это я начал сегодняшнюю запись, как вдруг слышу — подъезжает машина. Я было подумал, что это Миртил привез с фермы обещанную четверть синюховки, и выглянул посмотреть. И как раз вовремя выглянул. Сначала я увидел, что под фонарем стоит незнакомый легковой автомобиль, очень роскошный, а потом заметил, что по саду, прямо к скамеечке, где устроились с вечера Артемида с господином Никостратом, решительным шагом направляется Харон. Я глазом моргнуть не успел, как господин Никострат кубарем вылетел за ограду. Вслед ему Харон с силою сверхчеловеческой запустил тросточку и шляпу, но господин Никострат не остановился, чтобы подобрать их, а только ускорил бег. Затем Харон занялся Артемидой. Мне было плохо видно, что между ними происходило, но у меня такое впечатление, что вначале Артемида попыталась упасть в обморок, однако, когда Харон залепил ей оплеуху, отказалась от своего намерения и решила показать свой знаменитый характер. Она испустила протяжный, неприятный для слуха визг и полоснула Харона ногтями по физиономии. Повторяю, всего этого я не видел. Но когда спустя несколько минут я выглянул в гостиную, Харон, как тигр в клетке, расхаживал из угла в угол, заложив руки за спину, и на носу у него багровела свежая царапина. Артемида же деловито собирала на стол, и я заметил, что лицо ее выглядит несколько асимметрично. Я не выношу семейных сцен, у меня от них все слабеет внутри и хочется уйти куда-нибудь и ничего не видеть и не слышать. Однако Харон заметил меня прежде, чем я успел скрыться, и противу всяких ожиданий поздоровался со мною так приветливо и тепло, что я счел необходимым войти в гостиную и завязать с ним беседу.

Прежде всего я был приятно поражен тем обстоятельством, что Харон выглядел совсем не так, как я ожидал. Это был совсем не тот заросший и ободранный бродяга, который брякал здесь оружием и бранился неделю назад. Собственно, я ожидал, что он будет еще более ободран и грязен. Однако передо мною сидел прежний Харон мирного времени, гладко выбритый, хорошо причесанный, элегантно и со вкусом одетый. Только багровая царапина на носу несколько портила общее впечатление, да цвет

лица, непривычно смуглый, свидетельствовал о том, что последние дни этому кабинетному работнику пришлось много бывать под открытым небом.

Пришла Гермиона в бигуди, извинилась за свой вид и тоже присела за стол, и вот мы сидим, как встарь, вчетвером, единой мирной семьей. До тех пор, пока женщины не удалились, убрав со стола посуду, разговор вертелся вокруг общих тем: о погоде, о здоровье, о том, кто как выглядит. Но когда мы остались одни, Харон закурил сигару и сказал, странно глядя на меня: «Ну что, отец, проиграно наше дело?» В ответ я только пожал плечами, хотя мне очень хотелось сказать, что если чье-нибудь дело и проиграно, то, во всяком случае, не наше. Впрочем, Харон, по-моему, и не ожидал ответа. При женщинах он сдерживался, и только сейчас я заметил, что он находится в состоянии почти болезненного возбуждения, в том самом состоянии, когда человек способен резко переходить от нервного смеха к нервному плачу, когда внутри у него все кипит и он испытывает неодолимую потребность излить это кипение в словах и поэтому говорит, говорит, говорит. И Харон говорил.

У людей больше нет будущего, говорил он. Человек перестал быть венцом природы. Отныне и присно и во веки веков человек будет рядовым явлением натуры, как дерево или лошадь, и не больше. Культура и вообще весь прогресс потеряли всяческий смысл. Человечество больше не нуждается в саморазвитии, его будут развивать извне, а для этого не нужны школы, не нужны институты и лаборатории, не нужна общественная мысль, философия, литература, — словом, не нужно все то, что отличало человека от скота и что называлось до сих пор цивилизацией. Как фабрика желудочного сока, сказал он, Альберт Эйнштейн ничем не лучше Пандарея и даже наверняка хуже, потому что Пандарей отличается редкостной прожорливостью. Не в громе космической катастрофы, не в пламени атомной войны и даже не в тисках перенаселения, а в сытой, спокойной тишине кончается, видите ли, история человечества. «Подумать только, — с надрывом проговорил он, уронив голову на руки, — не баллистические ракеты, а всего-навсего горсть медяков за стакан желудочного сока погубили цивилизацию...»

Он говорил, конечно, гораздо больше и гораздо эффектнее, но я плохо воспринимаю абстрактные рассуждения и запомнил только то, что запомнил. Признаться, вначале ему удалось нагнать на меня тоску. Однако я довольно быстро понял, что все это попросту истерические словоизлияния образованного человека, пережившего крушение своих личных идеалов. И я ощутил потребность возразить ему. Не потому,

конечно, что надеялся переубедить его, а потому, что его рассуждения глубоко задели меня, показались мне выспренними и нескромными, и, кроме того, мне хотелось отделаться от того тягостного впечатления, которое произвели на меня его ламентации.

«У вас была слишком легкая жизнь, сын мой, — сказал я прямо. — Вы заелись. Вы ничего не знаете о жизни. Сразу видно, что вас никогда не били по зубам, что вы не мерзли в окопах и не грузили бревна в плену. У вас всегда было что кушать и чем платить. Вот вы и привыкли смотреть на мир глазами небожителя, этакого сверхчеловека. Экая жалость — цивилизацию продали за горсть медяков! Да скажите спасибо, что вам за нее дают эти медяки! Вам они, конечно, ни к чему. А вдове, которая одна поднимает троих детей, которая должна их выкормить, вырастить, выучить? А Полифему, калеке, получающему грошовую пенсию? А фермеру? Что вы предложили фермеру? Сомнительные социальные идейки? Книжечки-брошюрочки? Эстетскую вашу философию? Да фермер плевал на все это! Ему нужна одежда, машины, нужна уверенность в завтрашнем дне! Ему нужно иметь постоянную возможность взрастить урожай и получить за него хорошую цену! Вы смогли ему это дать? Вы, со всей вашей цивилизацией! Да никто за десять тысяч лет не смог ему это дать, а марсиане дали! Что же теперь удивляться, что фермеры травят вас, как диких зверей? Вы никому не нужны с вашими разговорами, с вашим снобизмом, с вашими абстрактными проповедями, легко переходящими в автоматную стрельбу. Вы не нужны фермеру, вы не нужны горожанину, вы не нужны марсианам. Я уверен даже, что вы не нужны большинству разумных образованных людей. Вы воображаете себя цветом цивилизации, а на самом-то деле вы плесень, взросшая на соках ее. Вы возомнили о себе и теперь воображаете, будто ваша гибель — это гибель всего человечества».

Мне показалось, что я буквально убил его своей речью. Он сидел, закрыв лицо руками, он весь трясся, он был так жалок, что сердце мое облилось кровью.

«Харон, — сказал я по возможности мягко, — мальчик мой! Постарайтесь хоть на минуту спуститься из облачных сфер на грешную землю. Постарайтесь понять, что человеку больше всего на свете нужны покой и уверенность в завтрашнем дне. Ведь ничего же страшного не случилось. Вот вы говорите, что человек превратился теперь в фабрику желудочного сока. Это громкие слова, Харон. На самом-то деле произошло нечто обратное. Человек, попавши в новые условия существования, нашел превосходный способ использования своих физиологических ресурсов для

упрочения своего положения в этом мире. Вы называете это рабством, а всякий разумный человек полагает это обыкновенной торговой сделкой, которая должна быть взаимовыгодной. О каком рабстве может идти речь, если разумный человек уже сейчас прикидывает, не обманывают ли его, и если его действительно обманывают, то, уверяю вас, он сумеет добиться справедливости. Вы говорите о конце культуры и цивилизации, но это уж вовсе неправда! Непонятно даже, что вы имеете в виду. Газеты выходят ежедневно, выпускаются новые книги, сочиняются новые телеспектакли, работает промышленность... Харон! Ну чего вам недостает? Вам оставили все, что у вас было: свободу слова, самоуправление, конституцию. Мало того, вас защитили от господина Лаомедонта! И вам, наконец, дали постоянный и верный источник доходов, который совершенно не зависит ни от какой конъюнктуры».

На этом я остановился, потому что обнаружил, что Харон вовсе не убит и не рыдает, как мне показалось, а хихикает самым неприличным образом. Я почувствовал себя в высшей степени оскорбленным, но тут Харон сказал:

«Извините меня, ради бога, я не хотел вас обидеть. Мне просто вспомнилась одна забавная история». Оказывается, два дня назад Харон во главе группы инсургентов из пяти человек захватил марсианскую машину. Каково же было их изумление, когда из машины выбрался им навстречу совершенно трезвый Минотавр с портативным аппаратом для отсасывания желудочного сока. «Что, ребята, выпить захотелось? — спросил он. — Давайте, это я вам сейчас устрою. Кто первый?» Инсургенты даже растерялись. Придя в себя, они без всякого удовольствия накостыляли Минотавру по шее за предательство и отпустили его вместе с машиной. Они-то собирались захватить машину, освоиться с управлением, затем проникнуть в ней на марсианский пост и устроить там побоище, но этот эпизод так на них подействовал, что им стало на все наплевать. Вечером того же дня двое из них ушли по домам, а на другое утро остальных захватили фермеры. Я не совсем понял, какое отношение имеет эта история к предмету нашей беседы, но меня поразила мысль о том, что Харон, следовательно, побывал в плену у марсиан.

«Да, — ответил он на мой вопрос, — поэтому я и смеялся. Марсиане мне говорили точь-в-точь то же самое, что и вы. Правда, несколько более связно. И особенно они напирали на то, что я элита общества, что они испытывают ко мне глубокое уважение и не понимают, почему это я и мне подобные занимаются террористическими актами вместо того, чтобы создать разумную оппозицию. Они предлагают нам бороться с ними

легальными средствами, гарантируя полную свободу печати и собраний. Славные ребята — марсиане, верно?»

Что я мог ему ответить? Особенно когда выяснилось, что обращались с ним превосходно, умыли его, одели, подлечили, дали ему автомобиль, конфискованный у какого-то содержателя опиумокурильни, и отпустили с миром.

«У меня нет слов», — сказал я, разведя руки. «У меня тоже, — отозвался Харон, снова помрачнев. — У меня, к сожалению, тоже пока нет слов, а их надо найти. Грош нам всем цена, если мы их не найдем». После этого он вдруг совершенно неожиданно пожелал мне спокойной ночи и ушел к себе, а я остался сидеть как дурак, охваченный неприятными предчувствиями. Ох, будут у нас еще хлопоты с Хароном! Ох, будут! И что за отвратительная манера уходить, не окончив спора? Уже первый час ночи, а сна ни в одном глазу.

Кстати, сегодня в первый раз сдавал желудочный сок. Ничего страшного, только глотать неприятно, но говорят, что к этому быстро привыкаешь. Если сдавать ежедневно по двести граммов, то это составит сто пятьдесят в месяц. Однако!

14 ИЮНЯ

Температура плюс двадцать два, облачность ноль баллов, ветра нет. Вышли, наконец, новые марки. Боже мой, какая прелесть! Я купил весь выпуск в квартблоках, а потом не удержался и купил полные листы. Хватит экономить. Теперь я могу кое-что себе позволить. Ходили с Гермионой сдавать желудочный сок, в дальнейшем буду ходить один. Есть слух, будто пришел циркуляр министерства образования, подтверждающий прежнее положение о пенсиях, однако подробностей узнать мне не удалось. Господин Никострат не вышел на службу — прислал младшего брата сказать, что простудился и гриппует. Поговаривают, однако, что вовсе не гриппует, а неосторожно где-то упал и получил внутренние повреждения. Ай да Харон! Артемида ходит тише воды, ниже травы.

Да, совсем забыл. Заглянул я сегодня в гостиную и вижу: сидит Харон, а с ним какой-то приятный господин в больших очках. Я узнал его и буквально окаменел. Это был тот самый инсургент, которого на моих глазах захватили фермеры. Он тоже меня узнал и тоже окаменел. Некоторое время мы смотрели друг на друга, потом я опомнился и, поклонившись, вышел. Не знаю, что он там обо мне говорил Харону. Впрочем, он скоро удалился. Я прямо утверждаю: мне это не нравится. Если они будут заниматься легальной борьбой, как им официально предложили, всякими там митингами, брошюрками, газетами, — тогда пожалуйста. Но если я еще хоть раз увижу в своем доме автоматы и прочее железо, тогда уж прошу прощения, дорогой зять. Здесь наши дорожки разойдутся. Хватит с меня.

Чтобы успокоиться, перечитал сейчас вчерашнюю запись своей беседы с Хароном. По-моему, логика моя безукоризненна. Он так ничего и не сумел возразить. Жалко только, что записал я гораздо более связно и убедительно, чем говорил. Говорить я совершенно не умею, это мое слабое место.

В утренних газетах было интересное сообщение о всеобщей демобилизации и полной демилитаризации страны. Слава богу, наконец-то додумались! Надо понимать, что марсиане взяли дело обороны целиком в свои руки, и нам теперь эта оборона не будет стоить ни гроша, если не считать, конечно, желудочного сока. В речи президента об этом прямо ничего не сказано, но это читается между строк. Бывшие военные расходы, сказал он, направляются на повышение благосостояния и на развитие судостроения, предстоят определенные трудности, связанные с

сокращением военной промышленности, однако это явление чисто временное. И еще он подчеркнул несколько раз, что никто от реорганизации не пострадает. Я понимаю это так, что военные промышленники и генералы получат хороший куш. Богатый народ эти марсиане! А демобилизация уже началась. Парал распространяет слухи, что и полиция тоже будет упразднена. Пандарей хотел его засадить, но мы не позволили. Слухи, конечно, это только слухи, но на месте Пандарея я бы вел себя сейчас осторожнее.

Нет, не хочется мне сегодня ничего записывать. Возьму-ка я сейчас свою вчерашнюю речь перед Хароном и перепишу ее начисто. Хорошая речь.

15 ИЮНЯ

Утро выдалось на редкость чистое и ясное. (Температура плюс двадцать один, облачность ноль баллов, ветра нет.) Как приятно встать рано утром, когда солнце уже разогнало утренний туман, но воздух еще свеж и прохладен и хранит в себе ночные ароматы. Мельчайшие капли росы мириадами радуг дрожат и переливаются подобно драгоценным камням на каждой травинке, на каждом листочке, на каждой паутинке, которую хлопотливый паучок протянул за ночь от своего домика к колыхающейся веточке. Нет, с художественной прозой у меня получается не так хорошо. С одной стороны, вроде бы все правильно, на месте, красиво, но все-таки как-то... Не знаю, что-то не то. Ну ладно.

Второй день подряд мы все отличаемся отменным аппетитом. Говорят, все дело в синем хлебе. Действительно, это удивительный продукт. Прежде я никогда не ел хлеба вне бутербродов и вообще мало ел хлеба, теперь же я буквально им объедаюсь. Он тает во рту, как пирожное, и совершенно не обременяет желудка. Даже Артемида, которая всегда заботилась о сохранении фигуры гораздо больше, чем о сохранении семьи, не может теперь удержаться и ест так, как надлежит есть молодой, здоровой женщине ее возраста. Харон тоже ест и похваливает. На мои не лишенные язвительности намеки он отвечает только: «Одно другому не мешает, отец. Одно другому не мешает».

После завтрака я направился в мэрию и пришел как раз к началу присутствия. Наших на «пятачке» еще не было. Господин Никострат выглядит неважно. При каждом движении он морщится, хватается за бок и время от времени тихонько постанывает. Разговаривает он болезненным шепотом, на ногти же свои не обращает никакого внимания. За все время нашей беседы он ни разу не посмотрел на меня, но разговаривал вежливо, учтиво и без малейшей примеси обычной своей иронии. Действительно, получен циркуляр, подтверждающий прежнее положение о пенсионном обеспечении. Мои бумаги, вероятно, уже у министра. Надо думать, все обойдется благополучно и я получу первый разряд, однако не помешало бы попросить господина мэра направить министру особое письмо, в котором подтверждалось бы мое личное участие в вооруженной борьбе против инсургентов. Эта мысль мне очень понравилась, и мы с господином Никостратом договорились, что черновик такого донесения составлю я, а он его отредактирует и представит господину мэру на рассмотрение.

А тем временем на «пятачке» уже собрались наши. Последним подошел Морфей, и мы его оштрафовали. Довольно либерализма, мы последнее время совсем запустили клубные дела. Всех страшно интересовал один вопрос: кончилось ли дело между Хароном и господином Никостратом. Меня заставили самым подробным образом описать все, что я видел, и некоторое время одноногий Полифем с Силеном спорили, что именно может быть повреждено у господина Никострата. Как человек бывалый и унтер-офицер, Полифем утверждал, что при такой схватке у господина секретаря должен быть поврежден копчик, потому что только точно нацеленный удар носком сапога в соответствующее место мог вызвать описанный мною способ оставления господином Никостратом поля боя. Силен же, как человек не менее бывалый и бывший юрист, возражал, что точно такой же эффект проистекает вследствие хорошо нацеленного удара по корпусу, а если принять во внимание позы, которые господин Никострат принимает теперь при ходьбе, то неизбежно заключение, что у него повреждено ребро с левой стороны: либо трещина, либо, может быть, даже перелом. Оба, впрочем, сошлись во мнении, что до конца дела еще далеко и что господин Никострат, человек молодой, горячий и спортивный, не преминет встретить Харона в каком-нибудь темном уголке в компании своих приятелей.

Меня расспрашивали также, продолжает ли Артемида питать благосклонность к господину Никострату, и когда я решительно отказался отвечать на этот бестактный вопрос, заключили почти единогласно, что, конечно же, да, продолжает. «Женщина есть женщина, — сказал желчный Парал. — Женщине всегда мало одного мужчины, это лежит в ее биологической природе». Я окончательно рассердился и заметил, что такое свойство женщин лежит скорее в биологической природе некоторых мужчин, вроде Парала, и все нашли мою шутку очень остроумной, поскольку все недолюбливали Парала за его желчность, а во-вторых, вспомнили, что в свое время, еще до войны, от него убежала с коммивояжером молодая жена. Возникла весьма благоприятная ситуация, чтобы поставить, наконец, Парала с его вечными квазифилософскими сентенциями на место.

Уже Морфей, придумавший новую остроту, заранее давясь от смеха, хватал всех за руки и кричал: «Нет, вы послушайте, что я скажу!», но тут, как всегда не ко времени, приперся этот старый осел Пандарей и, не разобравшись в предмете разговора, объявил своим громовым голосом, что нынче к нам из-за границы пришла такая мода — жить втроем, вчетвером с одной женщиной, как это водится между кошками. Ну что тут будешь

делать! Остается только руками развести. Парал немедленно ухватился за это высказывание и моментально перевел разговор на личность Пандарея. «Да, Пан, — сказал он. — Ты сегодня в ударе, старик, такого я не слыхивал даже от своего младшего зятя — майора». Второго зятя Парала знали далеко за пределами города, удержаться было невозможно, и все мы так и покатились со смеху, а Парал еще добавил со скорбным видом: «Нет, старички, зря мы все-таки демилитаризируемся. Нам, старички, надо было бы лучше деполицеизироваться или, на худой конец, депандареизироваться». Пандарей немедленно раздулся, как рыба-шар, застегнул китель на все пуговицы и гаркнул: «Поговорили — все!..»

Идти на донорский пункт было еще рано, и я направился к Ахиллесу. Я прочел ему свою переписанную начисто речь перед Хароном. Он слушал меня, раскрыв рот. Успех был полный. Вот его точные слова, когда я закончил чтение: «Это написал настоящий трибун, Феб! Где ты это взял?» Я немножко поломался для пущего эффекта, а потом объяснил, как было дело. Но он не поверил! Он объявил, что отставному учителю астрономии просто не под силу столь точно сформулировать мысли и чаяния простого народа. «Это под силу только великим писателям, — говорил он, — или великим политическим деятелям. А я что-то не вижу у нас в стране, — говорил он, — ни великих писателей, ни великих политических деятелей».

«Феб, ты украл его у марсиан, — сказал он. — Признайся, старина, я никому не скажу». Я был в растерянности. Его недоверие одновременно и льстило мне, и вызывало во мне досаду. А тут еще он вдруг показывает мне запечатанный конверт из плотной черной бумаги. «Что это?» — спрашиваю я с нарочитой небрежностью, в то время как сердце мое уже почуяло беду и заныло от дурных предчувствий. «Марки, — говорит этот гордец. — Настоящие. Оттуда!» Не помню, как я справился с собой. Словно в тумане, слушал я его восторги, выражаемые деланно-сочувственным тоном. А он вертел конверт перед моим носом и все рассказывал мне, какая это редкость, до какой степени невозможно их нигде достать, какие баснословные суммы предлагал ему уже за них сам Хтоний и как ловко поступил он, Ахиллес, потребовав компенсации за изъятые лекарства не деньгами, а марками. Суммы, которые он небрежно называл, привели меня в полнейшее смятение. Оказывается, рыночные цены на марсианские марки так высоки, что никакая пенсия первого класса и никакой желудочный сок не способны что-либо изменить в моем положении. Но в конце концов я опомнился, меня осенило, и я попросил Ахиллеса показать мне эти марки. И все стало ясно. Этот хитрец замялся, растерялся и принялся лепетать что-то о том, будто эти марки, будучи марсианскими,

боятся света подобно фотографической бумаге, что рассматривать их можно только при специальном освещении, а здесь, в аптеке, соответствующего оборудования у него пока нет. Я приободрился и попросил разрешения заглянуть к нему вечерком домой. Без всякой живости он пригласил меня, признавшись, что, честно говоря, дома у него пока тоже нет специального оборудования, но к завтрашнему вечеру он постарается что-нибудь придумать. Вот в это я верю. Он наверняка что-нибудь придумает. Наверняка окажется, что эти марки растворяются в воздухе или что вообще смотреть на них нельзя, а можно только щупать руками.

В разгар нашей беседы я вдруг услыхал чье-то дыхание над своим левым ухом и краем глаза уловил некое движение рядом с собой. Я сразу вспомнил таинственное посещение и резко обернулся, но это оказалась прислуга мадам Персефоны, которая пришла попросить чего-нибудь повернее. В поисках препарата, который удовлетворил бы мадам Персефону, Ахиллес удалился в лабораторию и, по-видимому, вознамерился не возвращаться до тех пор, пока я не уйду. Я ушел, не скрывая иронии.

На донорском пункте меня ожидал приятный сюрприз: соответствующие анализы выявили, что в силу имеющихся у меня внутренних хронических заболеваний желудочный сок мой надлежит относить к первому сорту, так что за сто граммов сока мне будут теперь выплачивать на сорок процентов больше, нежели всем прочим. Мало того, дежурный фельдшер намекнул мне, что, употребляя в умеренных, но достаточных количествах синюховку, я смогу добиться перехода в сорт экстра и получать за сто граммов на семьдесят-восемьдесят процентов больше. Я боюсь сглазить, но, кажется, наконец, впервые в жизни мне немножечко повезло.

В самом радужном настроении я отправился в трактир и просидел там до позднего вечера. Было очень весело. Во-первых, Япет теперь вовсю торгует синюховкой, которую поставляют ему оптом окрестные фермеры. От синюховки неприятная отрыжка, но она дешева, пьется очень легко и дает приятное, веселое опьянение. Очень нас развлек один из молодых людей в узком пальто. Я так и не научился различать их и до сегодняшнего вечера испытывал к обоим естественную неприязнь, которую разделяло со мной большинство наших. Обычно эти грозные победители господина Лаомедонта вместе или порознь проводили в трактире все время от обеда и до закрытия — сидели у стойки, пили и упорно молчали, словно бы никого не замечая вокруг. Однако сегодня этот молодой человек вдруг оторвался от

стойки, подошел к нашему столику и, когда все настороженно замолчали, в наступившей тишине прежде всего заказал выпивку на всю компанию. Затем он уселся между Полифемом и Силеном и негромко произнес: «Эак». Сначала все мы решили, что у него отрыжка, и Полифем по своему обыкновению сказал ему: «С приветом». Однако молодой человек несколько обиженно пояснил, что Эак — это его имя и что назвали его так в честь сына Зевса и Эгины, отца Теламона и Пелея, деда Эанта Большого. Полифем немедленно принес свои извинения и предложил выпить за здоровье Эака, так что инцидент был полностью исчерпан. Мы все тоже представились, и очень скоро Эак почувствовал себя среди нас как дома. Он оказался прекрасным рассказчиком, мы просто животы надорвали, слушая его.

Особенно нам понравилось, как они намыливали пол в гостиной, раздевали барышень и устраивали за ними погони. Это у них называлось «играть в пятнашки», и рассказывал он об этом уморительнейшим образом. Должен признаться, что мы все ощущали все-таки некоторый стыд за наше захолустье, где ни о чем подобном слыхом не слыхали, и поэтому очень уместной оказалась остроумная эскапада наших молодых шалопаев из компании господина Никострата.

Они появились на площади, ведя за собой на веревке крупного рыжевато-красного петуха. Господи, до чего же смешно это было! Распевая «Ниобу-Ниобею», они проследовали через всю площадь прямо в трактир. Здесь они обступили стойку и потребовали для себя бренди, а для петуха — синюховки. При этом они во всеуслышание объявили, что празднуют наступление у петуха половой зрелости и приглашают участвовать всех желающих. Мы чуть не лопнули. Эак тоже хохотал вместе с нами, так что город наш, как некий центр остроумных развлечений, был несколько реабилитирован в глазах этого столичного жителя.

Еще интересно было, когда пришел Ахиллес и сообщил, что из зала заседаний мэрии похищено шесть стульев полумягких. Пандарей уже обследовал место преступления и утверждает, что напал на след. Он говорит, что похитителей было двое, причем у одного была велюровая шляпа, а у другого шесть пальцев на правой ноге, но вообще-то все уверены, что стулья украл городской казначей. Желчный Парал так прямо и заявил: «Ну вот он и опять выкрутился. Теперь все будут говорить об этих дурацких стульях и начисто позабудут про последнюю растрату».

Когда я вернулся домой, Харон еще сидел в редакции, и мы поужинали втроем.

Сейчас я выглянул в окно. Дивная летняя ночь распахнула над городом

бездонное небо, усеянное мириадами мерцающих звезд. Теплый ветерок струит волшебные ароматы и ласкает ветви уснувших деревьев. Чу! — слышится легкое жужжание заблудившегося в траве светлячка, спешащего на свидание к своей изумрудной возлюбленной. Сон и благодать опустились на уставший от дневных трудов городок. Нет, как-то не так все-таки. Ну ладно. Я это к тому, что красиво было, когда над городом символом мира и безопасности бесшумно прошли в вышине сияющие волшебным светом огромные летающие корабли — сразу видно, что не наши.

Свою речь я назову «Покой и уверенность» и отдам Харону в газету. Пусть только попробует не напечатать. Как это так, весь город за, а он один, видите ли, против! Не выйдет, дорогой зятек, не выйдет!

Схожу, посмотрю, как там Гермиона.

Б. Стругацкий

КОММЕНТАРИИ К ПРОЙДЕННОМУ

1964 – 1966 гг.

«ХИЩНЫЕ ВЕЩИ ВЕКА»

В дневнике АН сохранилась цитата из Саймака: «The darkness of the mind, the bleakness of the thought, the shallowness of purpose. These were the werewolves of the world». («Time is the simplest thing». Clifford Simak.)

«Темный ум, холодная мысль, мелкая цель. Вот какие они были – оборотни нашего мира».

Сначала именно эти строчки хотели мы сделать эпиграфом к новой повести о людях, ставших жертвами фантастического электронного наркотика – слега (хотя само это слово тогда еще не было придумано). События должны были развиваться на острове Булли, что в Рижском заливе, – там АН отдыхал с семьей в июле 1963-го, и места эти поразили его воображение. Называться новая повесть должна была – «Крысы».

> Дневник АН, 6.09.63: «Приезжал Борис, <...> попробовали представить сюжет «Крысы» – дневник писателя, попавшего в соседство с новыми наркоманами – электронного типа».

Не помню уже всех деталей, помню только, что вещь задумывалась как совершенно реалистическая. Время действия – наши дни. Место действия – Латвийская ССР. Действующие лица – наши современники, только странные и страшные, словно оборотни. Собственно, они и были оборотнями, ночным ужасом острова Булли.

Идея была такая: под воздействием мощного электронного галлюциногена, воздействующего впрямую на мозг, человек погружается в иллюзорный мир, столь же яркий, как и мир реальности, но гораздо более интересный, насыщенный замечательными событиями и совершенно избавленный от серых забот и хлопот повседневности. За наслаждение этим иллюзорным миром надобно, однако, платить свою цену: пробудившись от наркотического сна, человек становится беспощадным животным, стремящимся только к одному – вернуться, любой ценой и как можно скорее, в мир совершенной и сладостной иллюзии.

Дело, впрочем, застопорилось в самом начале. Название «Хищные вещи века» придумано было, видимо, еще в конце 1963-го, и эта строчка из Андрея Вознесенского («О, хищные вещи века! На душу наложено вето...») взята была в качестве нового эпиграфа, но построить сюжет никак не удавалось.

> 21.01.64 – БН: «...Много думаю над ХВВ. Есть в нашем замысле что-то, что отталкивает меня от него, как от «Кракена». Наверное, это – сугубый реализм обстановки. Он имеет массу минусов. Невозможность писать в с е, ч т о л е в а я н о г а з а х о ч е т. Неуверенность в достаточном знании материала. Ограниченность картины в такой постановке сюжета. Можешь меня ругать, но чем больше я думаю, тем больше склоняюсь к мысли делать что-то вроде «ТББ» – чужой мир, другие люди, широкая картина, множественность линий, более острый сюжет, меньшая рыхлость, большая концентрированность идей и проблем. Я тоже давеча перечитал тот план – где Бенни Дуров попадает на страшную планету мещан. Что-то в этом есть. Подумай и разубеди меня...»

Сюжет про Бенни Дурова на планете мещан – это что-то совершенно ныне забытое и, видимо, в принципе невосстановимое. А вот упоминаемый выше «Кракен» – это повесть, над которой АБС бились несколько лет, заходили то с одного боку, то с другого, написали несколько десятков страниц (писал в основном АН, в одиночку), да так и не сумели довести ее до конца. И как я понимаю, именно из-за «сугубого реализма обстановки». Там, в этой повести, привозят в один современный НИИ гигантского спрута-кракена, который, как потом выясняется, умеет проникать в сознание людей и превращать их в холодных эгоистов, абсолютно лишенных морали. Вообще замысел был хорош, много обещал, но не давал возможности как следует развернуться: АБС еще не сформулировали тогда свой основной принцип – «писать следует либо о том, что знаешь хорошо, либо о том, чего никто не знает», – но инстинктивно уже следовали ему. В достоверно построенном, хорошо придуманном мире, снабженном необходимым количеством реалий, они чувствовали себя свободнее, чем в мире, сугубо реальном, списанном с натуры.

Ответ АН на предыдущее письмо не сохранился. Но сохранилось очередное письмо БН, где он снова пытается сформулировать свои сомнения.

> 27.01.64 – БН: «...Дело, Аркашенька, не в других планетах, которые мне самому осто и насто. Дело в ограниченности замысла. <...> Дело в том, что придуманный нами аппарат не позволяет рассматривать проблему мещанства под многими углами зрения. Аппарат этот есть в общем-то не что иное, как

разновидность наркотика, очень мощного, может быть, но всего лишь наркотика. Как-то проблема мещанства заменяется в этом случае совсем другой проблемой: какою жизнью лучше жить – реальной или галлюцинированной. Проблема интересная, но не та, что меня волнует. Да и тебя тоже. Слабым местом замысла является именно этот аппарат. Галлюцинации и электронный онанизм. По-моему, это не то, что надо. В общем, надо много говорить и думать. Писать, по-видимому, начнем не сразу. Сначала будем долго и нудно ругаться. Как-то все это очень не просто...»

На самом деле писать повесть мы начали уже в первых числах февраля. Причем начали сразу с, так сказать, окончательного варианта: курортный городок в некоей стране, – сытый, яркий, богатый, но крайне неблагополучный мир. Все это возникло, видимо, после двух-трех дней обсуждений. Мир оказался придуман, декорации построены, и сюжет немедленно заработал.

Черновик повести был закончен в два приема – первая половина в начале февраля, а вторая половина – в марте 1964 года. Добрых полгода черновик «вылеживался», а в ноябре единым махом был превращен в чистовик. Авторы остались работой довольны, они, естественно, тогда и предположить не могли, какие неприятности ждут их впереди, и были полны оптимизма. А вот первые читатели (родственники, друзья) оказались гораздо проницательнее. Все считали необходимым высказать свои опасения, а один из них выразился не без изящества: «Повесть будет иметь несомненный успех среди лиц, которые ее прочтут. Разумеется – в списках».

Когда читаешь подряд переписку АН и БН периода май 63 – февраль 64, возникает явственное ощущение надвигающейся грозы. Уже и аванс получен, и рукопись благополучно сдана и ушла в производство, отзывы о ней в редакции, вроде бы, самые благосклонные, а все-таки что-то не так, какая-то туча конденсируется, пока еще за горизонтом, какая-то угроза нарастает, и непонятно даже, в чем, собственно, дело.

Первый предупредительный звоночек – письмо АН, полученное БН 3.02.64: «...Как я уже говорил, ХВВ дали на предисловие Ефремову. Позвонил мне старик, попросил зайти. И вот, что он мне сказал. <...> Мир, нами описанный, настолько ярок и страшен, что не оставляет никакой надежды на что-либо

хорошее для человечества. Это не советская фантастика, а западная, с ужасом и горечью перед будущим. Агентишки, как он величает Марию и Жилина, производят жалкое впечатление, совершенно очевидно, что и мир, который они представляют, так же жалок и беспомощен. Кстати, настолько нищи и убоги духом людишки в этой стране (впечатление: во всем мире), что слег выглядит бледным, никому не нужным атрибутом. Он сказал, что предисловие, конечно, напишет, потому что любит нас и считает единственной надеждой советской фантастики (а он не очень-то разорителен на комплименты, впервые от него такое слышу), но судя по разговору с Жемайтисом[1], с которым он виделся за день до этого, предисловие само по себе нам не поможет, и книгу просто остановят. <...>

Что он предлагает? Либо: а) Написать заголовок, вроде: «Хищные вещи века. Часть 1-я. Страна торжествующих дураков». Это даст возможность ему написать в предисловии, что мы собираемся писать вторую часть, где покажем, как человечество справилось с раковой опухолью, возникшей на его теле.

Либо: б) Напихать известное количество вставок, в которых показать торжество и могущество мира, откуда пришел Жилин. <...>

Мне лично не улыбается ни то ни другое. Вопрос вот в чем: будем мы публиковать эту книгу или нет? Прими во внимание то, что главная редакция эту книгу в нынешнем ее виде не пропустит нипочем...»

Что ответил БН, неизвестно: ответ его не сохранился. Может быть, АН специально приехал в Ленинград на пару дней, и какие-то поправки и вставки, «облагораживающие» безнадежный текст, были сделаны? Не помню. Видимо, да. Видимо, именно тогда появились в рукописи большие вставные куски в последней главе, куски, долженствующие придать мрачной картине мира хоть какие-то обнадеживающие проблески. И надо сказать, временно, но это помогло делу.

20.02.65 – АН: «...ХВВ подписана главным редактором без чтения (вероятно, прочитал авторское предисловие и удовлетворился), потери – убран эпиграф из Вознесенского и все. Бела[2] нагло убрала «Книгу первую» и «Авгиевы конюшни», а

также все, что касается этой «Книги первой», из предисловия Ефремова. Молодчина она, ей-ей».

Первая схватка закончилась с минимальными потерями для повести. Сегодня я этого не помню, но, видимо, вдобавок ко всему авторы написали еще и предисловие, куда и вставили всю необходимую идеологию, оставив основной текст почти в неприкосновенности. И номер этот, – вроде бы, пока, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, – у них прошел.

Впрочем, все еще было впереди. Главное сражение разразилось четыре месяца спустя, когда казалось, что все уже на мази.

24.06.65 – АН: «Как ни печально, но придется тебя огорчить: цензура задержала ХВВ.

Коротко итог такой: по ХВВ будет совещание Главной редакции, и тогда возможны три варианта (в порядке понижения вероятности): либо сделают «ряд замечаний» и нам придется калечить книжку дальше; либо книжку запретят и снимут с плана вообще; либо – это наименее вероятное – замечания цензора будут признаны необоснованными. Впрочем, так вообще, кажется, не бывает.

Как все произошло? (Со слов Белы.) Цензорша уже какое-то время боролась с кем-то из главной редакции и решила доказать свою правоту – она добивалась «повышения ответственности главной редакции, которая все подписывает в печать, не читая». Взяла она нашу книгу, «возникли у нее сомнения», и она с торжествующими воплями бросилась в главную редакцию: вот, глядите, что вы в печать подписали! Главред, естественно, к Беле: что там опять эти жиды натворили? Бела к цензорше: в чем дело, какие у вас претензии? Цензорша: никаких политических и идеологических претензий у меня нет, у меня просто возникли сомнения. Бела: почему же вы с сомнениями вылезли сразу на главную редакцию, вы же знаете, что сомневающийся цензор улаживает дело с редактором. Цензорша: ах, простите, я так замоталась, что даже упустила из виду этическую сторону дела, но мне надо было приструнить главную редакцию. Бела: это плохо, что вы забыли об этике, а какие у вас сомнения? Сомнений оказалось три, и за каждое хочется стрелять: 1) не может быть богатых стран, где все есть, и одновременно нищих азиатских стран. 2) этот шпионаж в капиталистической стране – очень

> отдает привнесением революции на штыках. 3) в этой стране нет ничего, что можно было бы противопоставить разложению (это последнее замечание самое дельное, но это же не дело цензора!). Короче говоря, делу дан ход, главная редакция завертелась, остается ждать. <...>
>
> А Котляр ходит в ЦК регулярно и гадит. А? Об этом замглавного Беле шепнул...»

Надо признать, впрочем, что главная редакция вертелась без всякого энтузиазма и поспешала не спеша. Истекали срок за сроком, и ничего не происходило. Рукопись прочли заведующие редакциями зарубежной литературы и эстетического воспитания, крамолы не обнаружили: «Повесть хороша и надобно ее скорее печатать». Прочитал «некто Митрохин, работник Института философии и друг Мелентьева»[3], ему не понравилось «литературно» и «что не определена социология мира и страны». Однако сказал, что будет за. Прочитали еще какие-то члены редсовета, сказали, что можно издавать. Все ждали Мелентьева, директора, пребывающего в длительной заграничной командировке.

> 5.07.65 – АН: «Ты спрашивал о том, в каком состоянии ХВВ. В самом что ни на есть готовом. Это сверка, последняя верстка. Матрицы поставлены в машины и готовы начинать шлепать десятки тысяч экз-ов в день. Со склада привезли сто пятнадцать тысяч готовых обложек. Все наготове. Только цензор оказался сукой. <...> новостей по-прежнему нет. Будем ждать».

Ждать нам оставалось еще недели две. АН, так и не дождавшись, улетел с семьей на юг, в отпуск, БН приехал в Москву и жил один в пустой квартире, ожидая, пока его вызовут. И вот, наконец.

> 17.07.65 – БН: «Встреча состоялась. Присутствовали: Мелентьев, Гусев <зам. главного редактора>, Фальский <видимо, член редсовета>, Бела <Клюева, редактор книги>, Сергей <Жемайтис, заведующий редакцией НФ литературы>. Говорил в основном Мелентьев, остальные молчали. Фальский не сказал ни единого слова. Бела, практически, тоже. Сергей пару раз проснулся и сообщил: один раз – что речь идет о расстановке акцентов, а второй – что Жилин – старый герой Стругацких и из прежних книг видно, что он коммунист. Гусев встревал в

разговор каждый раз, когда мне удавалось остановить словоизвержение Мелентьева (было несколько таких случаев, и каждый раз Мелентьев был весьма недоволен – ему хотелось говорить). Гусев говорил очень странно: то за нас, то вдруг ни с того ни с сего против. <...>

Мелентьев начал с нападения («Как вы себе представляете мир, Землю в вашей повести в описываемое время?») и нападал практически все время. Несколько раз мне удавалось остановить его наступление (я тоже орал), но он возрождался вновь и вновь, пытался ловить меня («Авторы прекрасно понимают, что имеют в виду не только капитализм»), лягал редакцию, «излишне влюбленную в авторов», нес околесицу – совершенно, между прочим, нецензурную – об экспорте революции, об Испании, о Китае – одним словом, излагал.

Я окончательно перешел к защите, когда он прямо сказал, что конец повести находится в противоречии с идеологией издательства. «Это толстовство, мы за экспорт революции, и вы нас не собьете. Извольте, чтобы в конце стало ясно: 1. Что Жилин не один. 2. Что никаких столетних разговоров быть не может. 3. Что Жилин намерен опираться на прогрессивные силы страны и заниматься не воспитанием, а делами похлеще». <...> Если отвлечься от тона и собрать воедино его рассуждения (зачастую противоречивые), то образуется такая картина:

Книга важная и нужная. Мы готовы издать ее и защищать в дальнейшем перед цензором и от котляров. Проделанные исправления уже внесли определенную ясность, этот процесс надлежит завершить. Издательство не защищает ничьих позиций, кроме позиций издательства. Издательство проводит определенную линию и базируется на определенной идеологии.

Для того, чтобы издательство и в дальнейшем могло следовать этому пути, издаваемые книги должны лежать в русле издательской идеологии. Для этого осталось внести последний акцент: сделать Жилина одним из многих и показать, что он намерен заниматься не воспитательной работой (во всяком случае – не только), а помощью прогрессивным силам. В этом случае книга станет нашей, и мы будем готовы за нее отвечать, хотя там останется еще масса двусмысленностей и крючков для повешения собак. Распрощались мы дружески. Я сел и внес все необходимые исправления, а именно:

1. Выбросил слово «угнетение» в одном из размышлений Жилина, когда тот думает: «здесь нет угнетения, здесь никто не умирает с голоду». Мелентьев решительно настаивал на уничтожении первой части этой фразы, дабы не дать оружия в руки котлярам. Ладно.

2. Выбросил слово «столетний». Жилин теперь предлагает просто «план восстановления» и т. д. Слово «столетний» приводило Мелентьева в неистовство, и не помогали никакие ссылки на Ленина. Он просто замолкал, а через некоторое время принимался говорить о том же.

3. Расширил уже сделанную нами ранее вставку в последний абзац книги. Теперь Жилин думает примерно так: я не один, даже здесь должны быть люди, которые ненавидят все это так же, как мы (МЫ). Они просто не знают, как. Но МЫ-то знаем. Мы им поможем, мы их научим, что надо делать и как не растрачивать ненависть на мелочи. НАШЕ место здесь. И мое место здесь... и т. д.

Как видишь, я бросил им огромный кусок, но странно – я не испытываю особых угрызений совести. Во время этого разговора я вдруг осознал, что дело ведь совсем не в том, что предлагает Жилин делать. Это все моча, болтовня. Я даже предложил Мелентьеву вообще выбросить всю резолюционную часть книги, оставить только постановку проблемы, но он требовал крови. «Короче, вы стоите на позиции Марии?» – спросил я. «Да», – сказал он прямо. Мне стало смешно и страшно...»

Мне стало страшно, потому что Мелентьев был в этот момент без пяти минут в ЦК, и я воспринимал его уже как человека из правительства, и вот этот человек из правительства ОТКРЫТО, ПРИЛЮДНО занимает позицию политического экстремиста, готового вмешиваться, вторгаться, переделывать «под себя» любое государство, устройство которого противоречит его идеологии. Это был открытый и уверенный в своей правоте сторонник «привнесения революции на штыках». И мне было смешно, ибо весь сыр-бор загорелся ведь именно потому, что глупая цензорша как раз и обвинила НАС в том, что мы ратуем за такое «привнесение». Директор издательства требовал от авторов того, что цензура полагала недопустимым.

(Это противоречие, несомненно, было следствием невероятного идеологического бардака, который царил в головах начальства еще с 20-х

годов. С одной стороны, «революция на штыках» была выдумкой Троцкого и официально была заклеймена самым решительным образом. А с другой стороны, вся политическая практика – всегда! – опиралась именно на эту доктрину, и как раз именно в середине 60-х уже вовсю напористо шло невидимое вторжение СССР в Африку и в Латинскую Америку.)

Собственно, на этом эпопея и закончилась. И вроде бы, ко всеобщему удовлетворению. Цензоршу убедили дать «добро». Мелентьев ушел в Большой ЦК, сказавши на прощанье, что единственное темное пятно, остающееся у него за спиной, это «Хищные вещи века». Авторы остались в убеждении, что им удалось отделаться малой кровью.

> Но спустя месяц АН писал: «...ХВВ еще немного покалечили и сдали, наконец, в печать. У меня уже выработалось к этой повестушке некое брезгливое отношение, слишком уж она захватана грязными руками, и не отмыться ей никогда...»
>
> А еще пару месяцев спустя, после того, как книга вышла, БН писал: «...Выслушиваю много разговоров о ХВВ. Все они строятся по принципу: «Это здорово сделано, но...» Противу наших ожиданий большинство людей так и не поняло, что цензура порезвилась – все недочеты на наш счет...»

Не-ет, идеологические инстанции знали свое дело! Они умели ПРЕВРАЩАТЬ текст и превращали его в нечто межеумочное, причем руками самих авторов. Авторский замысел смазывался. Черное становилось серым, светлое – тоже. Острота произведения в значительной степени утрачивалась, и в то же время текст оставался открыт для ударов. Так, по «Хищным вещам века», спустя положенное время, ударила самая тяжелая артиллерия – журнал «Коммунист», основной теоретический и идеологический орган ЦК КПСС. Это было неизбежно: авторы покусились на фундаментальнейший тезис коммунистической пропаганды – они изобразили КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ мир, изнывающий от изобилия, и никакие исправления и оговорки не могли этого вызывающего факта заслонить...

Парадоксально, но уже в новейшее время, подготавливая текст к очередному переизданию, я снова вошел в конфликт с одним из издателей, причем – что замечательно! – с человеком пишущим, умным и большим знатоком и любителем АБС. Дело в том, что все вставки, сделанные в свое время под давлением, я, разумеется, из повести убрал. Текст сделался таким (или почти таким), каким он вышел из пишущей машинки в ноябре

1964 года. Но тут вдруг выяснилось, что многие из НЫНЕШНИХ редакторов, с детства привыкших к старому, подслащенному и исковерканному, тексту, ни в какую не хотят с ним расставаться! Меня всячески упрашивали оставить все как есть, ну, хотя бы частично, ну, хотя бы только то-то и то-то... Воистину, на всех не угодишь. Я понимал их, я ценил их чувства и намерения, но уговорить себя не дал. Все, что написано в «Хищных вещах» тридцать с лишним лет назад, сохраняет свою актуальность и сегодня. Мы стоим на пороге Мира Изобилия и должны быть готовы принять решение, как к этому миру относиться. Все мы вместе и каждый из нас в отдельности. Спасения от этого мира по-прежнему не видно, и – хуже того – непонятно даже, надо ли спасаться. И недопустимо, чтобы милые благоглупости, которые авторы вынуждены были (под давлением начальства и от полной безысходности) вложить в уста и в мысли своего героя, смягчали или сглаживали остроту проблемы. Литература способна служить социальным болеутоляющим, но мне совсем не нравится такая литература.

Между прочим, с представлениями самих авторов относительно мира «хищных вещей», ими же созданного, произошла любопытная метаморфоза. Изначально авторы были уверены, что написали антиутопию, изобразили мир, в котором каждому уважающему себя человеку тошно и стыдно жить. Но как-то, добрый десяток лет спустя, один мудрый читатель задал мне совершенно неожиданный вопрос: «А чем, собственно, так уж плох этот ваш мир? Ведь, на самом деле, он существует по принципу «каждому – свое», а это далеко не самый плохой из принципов существования». И я впервые тогда глянул на мир «хищных вещей» глазами непредубежденного, неангажированного человека, далекого от очевидных, но не так уж чтобы общепринятых, хотя и вполне достойных, постулатов типа «человек создан для творчества», «человек это звучит гордо», «правильно мыслить – вот основной принцип морали» и так далее, в том же духе. И этими глазами я увидел мир, не лишенный, разумеется, своих недостатков, в чем-то – убогий, в чем-то – пакостный, в чем-то – даже непереносимо отвратный... Но при всем при том – содержащий в себе немало светлых уголков и оставляющий, между прочим, широчайший простор и для духовной жизни тоже. Ведь человек в этом мире – свободен. Хочешь – обжирайся и напивайся, хочешь – развлекай себя нейростимуляторами, хочешь – предавайся персональному мазохизму. Но с другой-то стороны: хочешь учиться – учись; хочешь читать – читай, все, что угодно и сколько угодно; хочешь самосовершенствоваться – пожалуйста; хочешь, в конце концов, чистить и улучшать свой мир, хочешь

драться за достоинство человека – ради бога! – это отнюдь никем не запрещено, действуй, и дай тебе бог удачи! Ты волен в этом мире стать таким, каким сможешь и захочешь. Выбор за тобой. Действуй.

Наше отношение к этому миру, как к АНТИУТОПИИ, переменилось. Мы поняли, что этот мир, конечно, не добр, не светел и не прекрасен, но и не безнадежен в то же время, – он способен к развитию. Он похож на дурно воспитанного подростка, со всеми его плюсами и минусами. И уж во всяком случае, среди всех придуманных миров он кажется нам наиболее ВЕРОЯТНЫМ. Мир Полудня, скорее всего, недостижим, мир «1984», слава богу, остался уже, пожалуй, позади, а вот мир «хищных вещей» – это, похоже, как раз то, что ждет нас «за поворотом, в глубине». И надо быть к этому готовым.

«УЛИТКА НА СКЛОНЕ» / «БЕСПОКОЙСТВО»

С марта 1965 года у братьев Стругацких появляется, наконец, постоянный рабочий дневник. Нельзя сказать, что записи в этом дневнике кардинально решают проблему восстановления забытых или утраченных фактов, но тем не менее определенная польза от этих записей есть. Именно опираясь на дневник, БН в 1987 году на заседании ленинградского семинара писателей-фантастов прочитал нечто вроде лекции на тему «Как создавалась «Улитка на склоне», история и комментарии». И именно эту лекцию, произведя в ней необходимые исправления, сокращения и дополнения, я взял за основу предлагаемого ниже текста.

4 марта 1965 года два молодых новоиспеченных писателя – и года еще не прошло, как они стали членами Союза писателей – впервые в своей жизни приезжают в Дом творчества в Гагры. Здесь все прекрасно – замечательная погода, великолепное обслуживание, вкусная еда, почти безукоризненное здоровье, прекрасное самочувствие, в загашниках полно новых идей и годных для разработки ситуаций. Все очень хорошо! Их поселяют в корпусе для особо избранных лиц – никогда в жизни они в этот корпус попасть в будущем уже не смогли. А в те дни – попали, потому что было это межсезонье, и в гагринском Доме творчества писателей жили только братья Стругацкие да футбольная команда «Зенит», проводившая в тех краях сборы.

Все было бы изумительно хорошо, если бы не выяснилось вдруг, что, оказывается, Стругацкие-то находятся в состоянии творческого кризиса! Они этого пока не знают. Им кажется, что все в порядке, что все у них ясно и понятно. Ясно, чем надо заниматься, и понятно, о чем они будут писать. Они ведь привезли с собою неплохо задуманный роман. Впрочем, точнее было бы сказать, что это не роман, а пока еще только недурно придуманная ситуация. Представьте себе остров. На этом острове каким-то образом оказываются люди – терпят, например, кораблекрушение или, скажем, прибыли туда в составе научной экспедиции. И они видят там обезьян. Обезьяны эти ведут себя как-то не так, как-то очень странно, совсем не по-обезьяньи. Они жирны и медлительны, и они совсем не боятся людей, наоборот – стараются держаться к ним поближе. И на острове начинают происходить загадочные события, внезапные сумасшествия среди людей, странные необъяснимые смерти... И обнаруживается в глубине острова поселок, где туземцы живут вперемежку с этими обезьянами – жалкое,

явно вымирающее племя, состоящее как бы из одних слабоумных дебилов... Ну, и потом выясняется, что во всем виноваты именно эти странные обезьяны. Выясняется, что это не обычные обезьяны, что это некие ПАРАОБЕЗЬЯНЫ, псевдообезьяны, которые, оказывается, питаются человеческими мыслями. Они высасывают из человека его интеллект, используют его интеллект так же, как мы с вами используем энергию Солнца. Только Солнце от этого не страдает, а люди вот сходят с ума и умирают. Символ, как вы понимаете, достаточно прозрачный: жирные, жадные, жаждущие одних только плотских радостей существа живут за счет человеческого интеллекта, активно превращая духовное в плотское, идеи и замыслы – в дерьмо. Да еще и убивая носителя разума при этом. Обыватели. Мещане. Жлобье...

Вот как это выглядело первоначально. И весь первый день в Гаграх мы занимались тем, что всячески обрабатывали и достраивали эту сюжетную ситуацию. На второй день мы отказались от обезьян. Какое нам до всего этого дело – обезьяны какие-то, какой-то остров, туземцы... Нас общество интересует! Социум! Обезьяны были решительно похерены. Зачем запускать в наш достаточно сложный социум еще и обезьян? Да и не напечатает такого никто и никогда...

(Все, что сохранилось в дальнейшем от обезьяньего варианта, это маленький, очень развлекавший нас время от времени ритуал. Когда у нас происходили размышления по поводу какого-нибудь нового сюжета и когда работа ни в какую не шла, кто-нибудь обязательно и с самым глубокомысленным видом предлагал вариант: «Попадают это они на остров...», а другой тут же подхватывал с готовностью: «...А там обезьяны. Странные!»)

Не надо обезьян и не надо острова. В конце концов, можно взять некое государство неопределенного социального устройства. И там будут не обезьяны. Там будет параллельная эволюция! ТЕНЬ БЕЛКОВОЙ ЖИЗНИ на Земле. Оказывается, с незапамятных времен на Земле существует параллельный тип живых существ, не имеющих самостоятельной формы. Это, как зафиксировано в нашем дневнике, некая ПРОТОПЛАЗМА-МИМИКРОИД. Протоплазма-мимикроид внедряется в живые существа и питается их соками. Она уже уничтожила в свое время трилобитов. Потом она уничтожила динозавров. Потом эта страшная протоплазма-мимикроид напала на неандертальцев. Это было трудней, неандертальцы имели уже зачатки разума, с ними ей было труднее бороться, но и неандертальцы тоже, как известно, сошли с дороги эволюции – они, разумеется, были уничтожены протоплазмой... А сейчас эта протоплазма вовсю

размножается на людях, на нас с вами. Замечательно, что при этом человек, оккупированный протоплазмой, не меняется, в общем-то, в своих проявлениях. Он остается, вроде бы, прежним человеком – просто он перестает интересоваться какими-либо духовными проблемами. У него остаются только проблемы материальные – пожрать, выпить, переспать, поглазеть... Что же мешает протоплазме захватить сей мир? А дело в том, что когда человек усиленно размышляет, протоплазма этого не способна выдержать, она начинает распадаться, гибнет и разливается омерзительным, быстро испаряющимся киселем...

Вот такие вот мало аппетитные картинки возникали тогда перед нашими глазами. Легко видеть, здесь была и социальная символика, и концепция, и новая по тем временам сюжетная ситуация – все было... Но ничего не получилось. Сейчас я уже не знаю (или не помню) почему. Не шло. Застопорило. Опять застопорило, как это уже случилось с нами четыре года назад, во время работы над «Попыткой к бегству». Опять был тупик, и опять мы испытали панику того рода, какую мог бы испытать Дон Жуан, которому врач вдруг сказал: «Все, сударь. Увы, но вам следует забыть об этом. И навсегда».

Исполненные паники, мы принялись судорожно листать наши заметки, где у нас, как и у всякого порядочного молодого писателя, был громадный список всевозможных сюжетов, идей и ситуаций. И на одной из этих ситуаций, издавна нас привлекавшей и увлекавшей, мы и остановились. Представьте себе, что на некоей планете живут два вида разумных существ. И между ними идет борьба за выживание, война. Причем война не технологическая, формы которой земному человеку знакомы и привычны, а – биологическая, которая для постороннего, земного, наблюдателя на войну вообще не похожа. Военные действия на этой планете воспринимаются землянином как некое, скажем, пока необъясненное физиками сгущение атмосферы, либо вообще как созидательная деятельность чужого разума. Но уж никак не война. В дневнике перечисляются некоторые приемы военных действий: «Заболачивание, и обджунгливание, и обызвесткование (метод обороны); прямое отравление болезнями: вирусы, бактерии; расшатывание наследственности мутагенными вирусами; уничтожение <старых> и внедрение новых инстинктов; вирусы, стерилизующие мужчин...» Земляне прилетают, и – ах! – оказываются в такой вот невероятной каше, где совершенно невозможно отличить чьи-то целенаправленные действия от судорожных движений слепой Природы.

Когда-то, несколько лет назад, такой сюжет казался нам

привлекательным и многообещающим, и вот теперь, пребывая в состоянии паники и даже отчаяния, мы решили попробовать его. Мы сели, как сейчас помню, на пляже и, продуваемые ледяным мартовским ветерком и согреваемые уже ласковым мартовским солнцем, принялись внимательно и осторожно прорабатывать ситуацию.

...Пандора. Конечно, планетой должна была стать Пандора. Давно уже нами придуманная странная и дикая планета, где обитают странные и опасные существа. Прекрасное место для наших событий – планета, покрытая джунглями, сплошь заросшая непроходимым лесом. Из этого леса кое-где торчат, наподобие амазонских м е з а с, описанных Конан-Дойлем в «Затерянном мире», белые скалы, плоскогорья, практически необитаемые, – именно здесь земляне устраивают свои базы. Они ведут наблюдение за планетой, практически не вмешиваясь в ее жизнь и, собственно, не пытаясь даже вмешиваться, потому что земляне просто не понимают, что тут происходит. Джунгли живут здесь своей загадочной жизнью. Иногда там исчезают люди, временами их удается найти, временами нет. Пандора превращена землянами в нечто вроде охотничьего заповедника. Тогда, в середине 60-х, мы еще ничего не знали об экологии и слыхом не слыхали о Красной книге. Поэтому одним из распространенных занятий людей нашего будущего была охота. И вот охотники приезжают на Пандору для того, чтобы убивать тахоргов, удивительных и страшных зверей... И там же, на этой планете, который месяц уже живет Горбовский, и никто не понимает, что ему здесь надо и на что тратит он свое драгоценное время великого звездолетчика и члена Мирового Совета.

Горбовский – наш старый герой, в какой-то степени он – олицетворение человека будущего, воплощение доброты и ума, воплощение интеллигентности в самом высоком смысле этого слова. Он сидит на краю гигантского обрыва, свесив ноги, смотрит на странный лес, который расстилается под ним до самого горизонта и чего-то ждет.

В Мире Полудня давно-давно уже решены все фундаментальные социальные и многие научные проблемы. Разрешена проблема человекоподобного робота-андроида, проблема контакта с другими цивилизациями, проблема воспитания, разумеется. Человек стал беспечен. Он словно бы потерял инстинкт самосохранения. Появился Человек Играющий. (Вот когда впервые появляется у нас это понятие – Человек Играющий.) Все необходимое делается автоматически, этим заняты миллиарды умных машин, а миллиарды людей занимаются только тем, чем им нравится заниматься. Как мы сейчас играем в шахматы, в крестики-нолики или в волейбол, так они занимаются наукой, исследованиями,

полетами в космос, погружениями в глубины. Так они изучают Пандору – небрежно, легко, играя, развлекаясь. Человек Играющий...

Горбовскому страшно. Горбовский подозревает, что добром такая ситуация кончиться не может, что рано или поздно человечество напорется в Космосе на некую скрытую опасность, которую представить себе сейчас даже не может, и тогда человечество ожидает шок, человечество ожидает стыд, поражение, смерти – все что угодно... И вот Горбовский, со своим сверхъестественным чутьем на необычайное, таскается с планеты на планету и ищет СТРАННОЕ. Что именно – он и сам не знает. Эта дикая и опасная Пандора, которую земляне так весело и в охотку осваивают уже несколько десятков лет, кажется ему средоточием каких-то скрытых угроз, он сам не знает, каких. И он сидит здесь для того, чтобы оказаться на месте в тот момент, когда что-то произойдет. Сидит для того, чтобы помешать людям совершать поступки опрометчивые, торопливые, поймать их, как расшалившихся детей «над пропастью во ржи»...

(Любопытно, что в рабочем дневнике сохранилась запись: «Горбовский, разобравшись в ситуации на Пандоре, понимает, что ничего страшного для человечества здесь нет. И сразу теряет интерес к этой планете. «Пойду полетаю, есть несколько планет, на которые стоит заглянуть. Например, Радуга». Видимо, нас тогда еще беспокоила проблема «безвременной смерти Горбовского» – проблема, которую мы так и не собрались разрешить.)

Горбовский, охотники, подготовка к пандорианскому сафари – все это происходит на Горе. В Лесу же происходят свои дела. По-моему, в самиздатовской статье известного, тогда опального, советского генетика Эфроимсона, мы вычитали броскую фразу о том, что человечество могло бы прекрасно существовать и развиваться исключительно за счет партеногенеза. Берется женское яйцо, и под воздействием слабо индуцированного тока оно начинает делиться, – через положенное время получается, разумеется, девочка, обязательно девочка и притом точная, разумеется, копия матери. Мужчины – не нужны. Вообще. И мы населили наш Лес существами по крайней мере трех видов: во-первых, это колонисты, разумная раса, которая ведет войну с негуманоидами; во-вторых, это женщины, отколовшиеся от колонистов, размножающиеся партеногенетически и создавшие свою, очень сложную биологическую цивилизацию; и, наконец, несчастные крестьяне – мужики и бабы, – про которых за бранными своими делами все попросту забыли. Они жили себе в деревнях... Когда нужен был хлеб, они были нужны. Научились выращивать хлеб без крестьян – про них забыли. И живут они теперь сами

по себе, со своей старинной технологией, со старинными своими обычаями, совершенно оторванные от бурно текущей реальной жизни. И вот в этот шевелящийся зеленый ад попадает землянин. В первоначальном варианте это наш старый знакомец Атос-Сидоров. Он там живет, пропадает от тоски и исследует этот мир, не умея выбраться, не в силах найти дорогу домой...

Вот так возникают первые наметки повести, ее скелет. Идет разработка глав. Мы уже понимаем, что повесть должна быть построена таким образом: глава «вид сверху, с Горы», глава «вид изнутри, из Леса». Мы придумываем, что речь крестьян должна быть медлительна, вязка и многословна, и все они беспрестанно врут. И врут они не потому, что нехорошие или такие уж аморальные, а просто их мир так устроен, что никто ничего толком не знает, все только передают слухи, а слухи почти всегда врут... Эти медлительные существа, всеми заброшенные, никому не нужные, становятся для нас как бы символом человечества, оказавшегося жертвой равнодушного прогресса. Выясняется, что нам очень интересно писать этих людей, появляется какое-то сочувствие к ним, готовность к сопереживанию, жалость, обида за них...

Мы начинаем писать, пишем главу за главой, глава «Горбовский», глава «Атос-Сидоров», и постепенно из самой ситуации начинает выкристаллизовываться концепция, очень важная, очень для нас существенная и новая. Это концепция взаимоотношения между человеком и законами природы-общества. Мы знаем, что все движения наши, и нравственные, и физические, управляются определенными законами. Мы знаем, что каждый человек, который пытается противостоять этим законам, рано или поздно будет сломлен, повержен, уничтожен, как был сломлен пушкинский Евгений, осмелившийся крикнуть Вершителю Истории: «Ужо тебе!..» Мы знаем, что оседлать Историю может только тот человек, который действует в полном соответствии с ее законами... Но что же тогда делать человеку, которому НЕ НРАВЯТСЯ САМИ ЭТИ ЗАКОНЫ?!

Когда речь идет о законах физических, что ж, там проще, мы как бы привыкли, притерпелись к их непреложности. Или же научились их обходить. А иногда и использовать себе во благо. Человек должен падать, – но летает. В том числе и в космос. Должен тонуть, – но живет у самого морского дна. А если жесткий закон природы не позволяет ему, скажем, двигаться вспять по оси времени – что ж, это грустно, конечно. Но это факт, с которым можно, в конце концов, смириться, и причем без особого напряжения чувств. Это факт, который (почему-то) не задевает ни гордости нашей, ни нашего достоинства.

Гораздо труднее смириться с неодолимой силой законов истории и общества. Попытайтесь представить себе, например, мировосприятие людей, которые до революции были ВСЕ, а после революции стали НИЧТО, людей, принадлежавших к привилегированному классу. С детства они знали, что мир создан для них, Россия создана именно для них, и все у них будет замечательно хорошо. И вдруг мир рухнул. Вдруг те социальные условия, к которым они привыкли, куда-то подевались, и возникли совершенно новые, безжалостные к ним и невероятно жестокие. И при этом самые умные из этих людей прекрасно понимали, что таковы законы развития общества, что это не чья-то там злая воля бросила их в грязь, на самое дно жизни, а слепая, но непреложная закономерность истории. Как они должны были к этому относиться? Как должен относиться человек к закону общества, который ему кажется плохим? Можно ли вообще ставить так вопрос? Плохой закон общества и хороший закон общества – что это такое? То, что производительные силы непрерывно развиваются – это хорошо или плохо? То, что производительные силы рано или поздно войдут в противоречие с производственными отношениями – это закон человеческого общества. Хорошо это или плохо? Я помню, мы много рассуждали на эти темы. Это было интересно. А потом – очень скоро – мы поняли, что фактически об этом и пишем, потому что судьба нашего землянина, оказавшегося среди крестьян, замордованных и обреченных – эта судьба как раз и содержит в себе если не ответ, то, по крайней мере, сам этот вопрос. Ведь там у нас существует и властвует прогрессирующая цивилизация, эта вот биологическая цивилизация женщин. И есть остатки прежнего вида хомо сапиенс, которым суждено неумолимо и обязательно погибнуть под напором «передового, прогрессивного». Так вот, наш землянин, наш собрат по виду, попавший в этот мир, – как он должен относиться к открывшейся ему картине? Историческая правда здесь на стороне крайне неприятных, чужих и чуждых ему, самодовольных и самоуверенных амазонок. А сочувствие героя целиком и полностью на стороне этих туповатых, невежественных, беспомощных и нелепых мужичков и баб, которые его, все-таки, как-никак, а спасли, выходили, жену ему дали, хату ему дали, признали его своим... Что должен делать, как должен вести себя цивилизованный человек, понимающий, куда направлен ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ему прогресс? Как он должен относиться к прогрессу, если этот прогресс ему – поперек горла?!.

6 марта мы написали первые строчки: «Сверху лес был как пятнистая пена...» 20 марта мы закончили первый вариант. Мы писали быстро. Коль скоро план был разработан в подробностях, мы начинали писать очень

быстро. Но тут нас ждал сюрприз – поставивши последнюю точку, мы обнаружили, что написали нечто, никуда не годное, не лезущее ни в какие ворота. Мы вдруг поняли, что нам нет абсолютно никакого дела до нашего Горбовского. При чем здесь Горбовский? При чем здесь светлое будущее с его проблемами, которые мы же сами и изобрели? Елки-палки! Вокруг нас черт знает что творится, а мы занимаемся выдумыванием проблем и задач для наших потомков. Да неужели же сами потомки не сумеют в своих проблемах разобраться, когда дело до того дойдет?! И уже 21 марта мы решили, что повесть считать законченной невозможно, что с ней надо что-то делать, что-то кардинальное. Но тогда нам было еще совершенно неясно – ЧТО ИМЕННО?

Было ясно, что те главы, которые касаются Леса, – годятся. Там «ситуация слилась с концепцией», все закончено и закруглено. Эта повесть внутри повести может даже существовать отдельно. А вот что касается части, связанной с Горбовским, то она никуда не годится. И дело не в том, что она, скажем, дурно написана. Нет, написана она вполне достойно, но вот к тому произведению, над которым мы сейчас работаем, она никакого отношения не имеет. Она нам НЕ ИНТЕРЕСНА сейчас. Главы с Горбовским надлежит вынуть из общего текста и отложить в сторону. Пусть полежат.

(Так они и пролежали «в стороне» аж до середины 80-х. В начале перестройки, когда стало возможным напечатать ВСЕ, когда издатели готовы были вырвать из рук любую не публиковавшуюся ранее вещь, мы достали нашего «Горбовского» из архива, перечитали его и к огромному своему изумлению обнаружили, что это – вовсе недурно! Текст выдержал испытание временем, читался легко и способен был, как нам показалось, заинтересовать нового читателя... Так появилась и стала жить собственной жизнью повесть «Беспокойство».)

Вынуть главы было легко, трудно было их достойным образом заменить. Чем заменить? Ответа на этот мрачный вопрос мы пока не знали. Кризис породил половину повести, но никуда не делся, он по-прежнему нависал над нами. Такого вот двойного кризиса («с разделяющимися боеголовками») мы еще не видывали. Но настоящего отчаяния уже не было – мы были (почему-то) уверены, что с проблемой справимся.

В следующий раз мы встретились в конце апреля. Увы, я уже не помню сейчас, как и кому пришла в голову генеральная идея, определившая содержание и суть второй половины повести. В дневнике, к сожалению, этого нет. В дневнике, собственно, и сама по себе формулировка идеи отсутствует. Просто 28 апреля вдруг появляется запись: «Горбовский –

Перец, Атос – Зыков». И тут же: «1. Убежавшая машинка; 2. Сборы в лес; 3. Уговаривает всех, чтобы взяли в лес...» Идея о том, что из повести надо убрать будущее и заменить его настоящим, возникла и заработала. В дневнике появляются новые имена. Начинается разработка линии «Перец», уже в том виде, в котором она потом реализовалась. «Не состоялась встреча-рандеву с начальником, который иногда выходит делать зарядку...», «договаривается с шофером на завтра...», «ждет в грузовике, с грузовика снимают колеса...». Что-то здесь с нами произошло, что-то важное. Возникла идея Управления по делам Леса – этой бредовой пародии на любое государственное учреждение. Каким-то образом и кому-то пришло в голову, что одну фантастическую линию, линию Леса, надо дополнить второй, но уже, скорее, символической. Не научно-фантастической, а именно символической. Один человек мучительно пытается выбраться из Леса, а какой-то другой человек, совсем другого типа и другого склада, должен мучительно стараться попасть в Лес, чтобы узнать, что там происходит.

30 апреля в дневнике впервые появляется слово «Управление», а за ним идет «штатное расписание»: Группа Искоренения, Группа Изучения, Группа Вооруженной Охраны, Группа Научной Охраны... Идет подробный план первой главы, обрывки будущих рассуждений героев, и вот – фундаментального значения строчка: «Лес – будущее».

Именно с этого момента все встает на свои места. Повесть перестает быть научно-фантастической (если она и была таковой раньше) – она становится просто фантастической, гротесковой, символической, как вам будет угодно. Во всем появляется скрытый смысл, каждая сцена наполняется новым содержанием. Что такое Лес? Лес – это Будущее. Про которое мы ничего не знаем. О котором мы можем только гадать, как правило, безосновательно, о котором у нас есть только отрывочные соображения, так легко распадающиеся под лупой сколько-нибудь пристального анализа. О Будущем, если честно, если – положа руку на сердце, – о Будущем мы знаем сколько-нибудь достоверно лишь одно: оно совершенно не совпадает с любыми нашими представлениями о нем. Мы не знаем даже, будет ли мир Будущего хорош или плох – мы в принципе не способны ответить на этот вопрос, потому что, скорее всего, он будет нам безмерно чужд, он будет до такой степени не совпадать с любыми нашими о нем представлениями, что к нему нельзя будет применять понятия «хороший», «плохой», «неважнецкий», «ничего себе». Он будет просто чужой и ни с чем не сравнимый, как мир современного мегаполиса ни с чем не сравним и ни с чем не сообразен в глазах современного каннибала с

острова Малаита.

Тот Лес, который мы уже написали, прекрасно вписывался в эту концепцию. Почему бы не представить себе, что в отдаленном будущем человечество сольется с природой, сделается в значительной мере частью ее? Человек перестанет быть человеком в современном смысле этого слова. Не так уж много для этого надо. Деформируйте у Homo sapiens всего лишь один инстинкт – инстинкт размножения. Этот инстинкт, как на фундаменте, стоит на гетеросексуальности, на двуполости вида. Уберите один из полов – у вас получатся абсолютно новые существа, похожие на людей, но уже не люди. У них будут совершенно другие, чуждые нам, нравственные принципы, совершенно другие представления о том, что должно и что можно, другие цели, другой смысл жизни, в конце концов... Оказывается, мы сидели месяц и писали – не зря! Мы, оказывается, создавали совершенно новую модель Будущего! Причем не просто гипотетическую структуру, не застывший мертвенно-стабильный мир в манере Олдоса Хаксли или, скажем, Оруэлла, а мир в движении, мир, который еще не закончил сооружать себя, мир, который все еще строится. И при этом в нем сохранились остатки прошлого, живущие своей жизнью, психологически близкие нам и задающие как бы систему нравственных координат...

И в этом аспекте совершенно по-другому выглядел не написанный еще мир Управления. Что такое Управление – в нашей новой, символической схеме? Да очень просто – это Настоящее! Это Настоящее, со всем его хаосом, со всей его безмозглостью, удивительным образом сочетающейся с многоумудренностью, Настоящее, исполненное человеческих ошибок и заблуждений пополам с окостенелой системой привычной антигуманности. Это то самое Настоящее, в котором люди все время думают о Будущем, живут ради Будущего, провозглашают лозунги во славу Будущего и в то же время – гадят на это Будущее, искореняют это Будущее, всячески изничтожают ростки его, стремятся превратить это Будущее в асфальтированную автостоянку, стремятся превратить Лес, свое Будущее, в английский парк со стриженными газонами, чтобы Будущее сформировалось не таким, каким оно способно быть, а таким, каким нам хотелось бы его сегодня видеть...

Интересно, что эта счастливая идея, которая помогла нам сделать сюжетную линию «Управление» и которая совершенно по-новому осветила всю повесть в целом, в общем-то осталась совершенно недоступна массовому читателю. По пальцам одной руки можно пересчитать людей, которые поняли авторский замысел целиком. А ведь мы по всей повести разбросали намеки, расшифровывающие нашу символику. Казалось бы,

одних только эпиграфов для этого достаточно. Будущее, как бор, будущее – Лес. Бор распахнут тебе навстречу, но ничего уже не поделаешь, Будущее уже создано... И улитка, упорно ползущая к вершине Фудзи, это ведь тоже символ движения человека к Будущему – медленного, изнурительного, но неуклонного движения к неведомым высотам...

И вот вопрос – должны ли мы, авторы, рассматривать как наше поражение то обстоятельство, что идея, которая помогла нам сделать повесть емкой и многомерной, осталась, по сути, не понята читателем? Не знаю. Я знаю только, что существует множество трактовок «Улитки», причем многие из этих трактовок вполне самодостаточны и ни в чем не противоречат тексту. Так может быть, это как раз хорошо, что вещь порождает в самых разных людях самые разные представления о себе? И, может быть, чем больше разных точек зрения, тем больше оснований считать произведение удачным? В конце концов, оригинал картины «Подвиг лесопроходца Селивана» был «уничтожен, как предмет искусства, не допускающий двоякого толкования». Так что, может быть, единственная возможность для «предмета искусства» уцелеть как раз в том и состоит, чтобы иметь не одно, а множество толкований?

Впрочем, «Улитке» возможность множественного ее толкования не слишком помогла. Уничтожить ее не уничтожили, но на много лет сделали запретной для чтения. В мае 1968 года некто В. Александров (видимо, титанического ума мужчина) в партийной газете «Правда Бурятии» посвятил «Улитке» замечательные строки (цитирую с некоторыми купюрами, ни в малой степени не меняющими смысла филиппики):

> «...Авторы не говорят, в какой стране происходит действие, не говорят, какую формацию имеет описываемое ими общество. Но по всему строю повествования, по тем событиям и рассуждениям, которые имеются в повести, отчетливо видно, кого они подразумевают. Фантастическое общество, показанное А. и Б. Стругацкими <...> – это конгломерат людей, живущих в хаосе, беспорядке, занятых бесцельным, никому не нужным трудом, исполняющих глупые законы и директивы. Здесь господствует страх, подозрительность, подхалимство, бюрократизм...»

Поневоле задумаешься: а не был ли автор критической заметки скрытым диссидентом, прокравшимся в партийный орган, дабы под благовидным предлогом полить грязью самое справедливое и гуманное

советское государственное устройство? Впрочем, эта заметка была только первой (хотя и самой глупой) в целой серии разгромных рецензий по поводу «Улитки». В результате повесть была впервые опубликована целиком, в ее настоящем виде, уже только в новейшие времена, в 1988 году. А тогда, в конце 60-х, номера журнала «Байкал», где была опубликована часть «Управление» (с великолепными иллюстрациями Севера Гансовского!), были изъяты из библиотек и водворены в спецхран. Публикация эта оказалась в Самиздате, попала на Запад, была опубликована в мюнхенском издательстве «Посев», и впоследствии люди, у которых при обысках она обнаруживалась, имели неприятности – как минимум по работе.

Сами соавторы дружно любили, более того – уважали эту свою повесть и считали ее самым совершенным и самым значительным своим произведением. В России (СССР) по понятным причинам общий тираж ее изданий сравнительно невелик – около 1200 тысяч экземпляров, а вот за рубежом ее издавать любят: 27 изданий в 15 странах – уверенный третий результат после «Пикника» и «Трудно быть богом».

«ВТОРОЕ НАШЕСТВИЕ МАРСИАН»

Ни одно, кажется, из произведений АБС не писалось так легко и весело, как эта повесть. Сама идея о вторжении марсиан (и вообще инопланетян) на Землю сегодняшнего дня интересовала авторов давно. В частности, эта идея промелькнула, скажем, в «Хищных вещах века»: Жилин там мрачно констатирует – для собственного сведения, – что в наши дни уэллсовским марсианам не понадобился бы ни тепловой луч, ни ядовитые газы, – достаточно было бы предложить человечеству иллюзорное бытие, человечество вполне созрело для того, чтобы погрузиться в виртуальную действительность немедленно и с охотой. Мысль о том, что современное нам человечество в массе своей настроено дьявольски конформистски и начисто лишено таких понятий, как ЦЕЛЬ, СМЫСЛ, НАЗНАЧЕНИЕ применительно ко всем людям сразу, – мысль эта неизбежно приводила к естественному сюжетному ходу: человечество не надо завоевывать – его можно без особого труда просто купить.

Повесть была начата и закончена в апреле 1966 года, причем черновик ее получился настолько удачным, что сколько-нибудь существенной чистки, правки и доработки не понадобилось. Повесть состоялась с первого же захода – большая редкость в нашей практике!

Друзья наши и знакомые встретили ее довольно прохладно, официальная критика – раздолбала, главным образом за то, что авторы позволяют себе оскорблять святые для всех нас слова – «патриотизм», «ордена», «ветеран», – вкладывая их в уста обывателей и прочих неположительных персонажей. Сами же авторы, вопреки всему, нежно ее с самого начала любили и – не понимали! Мы не понимали главного – существуют, все-таки, понятия: ЦЕЛЬ, СМЫСЛ, НАЗНАЧЕНИЕ – применительно ко всему человечеству разом? А также смежные с ними понятия: ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО, ГОРДОСТЬ – опять же в самом общечеловеческом, если угодно, даже космическом, смысле? Или не существуют? Каждый отдельный человек – это понятно – может променять «право первородства» на чечевичную похлебку. А человечество в целом? Может или не может? А если может, то позволительно ли это или, наоборот, позорно и срамно? И кто, все-таки, в нашей повести прав: старый, битый, не шибко умный гимназический учитель астрономии или его высоколобый зять-интеллектуал?

Мы так и не сумели ответить – себе – на этот вопрос.

notes

Примечания

1

Тогдашний заведующий редакцией фантастики в издательстве «Молодая Гвардия». – *Прим. БНС.*

2

Бела Григорьевна Клюева, наш редактор и главный благодетель в тогдашней «Молодой Гвардии». – *Прим. БНС.*

3

Тогдашнего директора «Молодой Гвардии». – *Прим. БНС.*